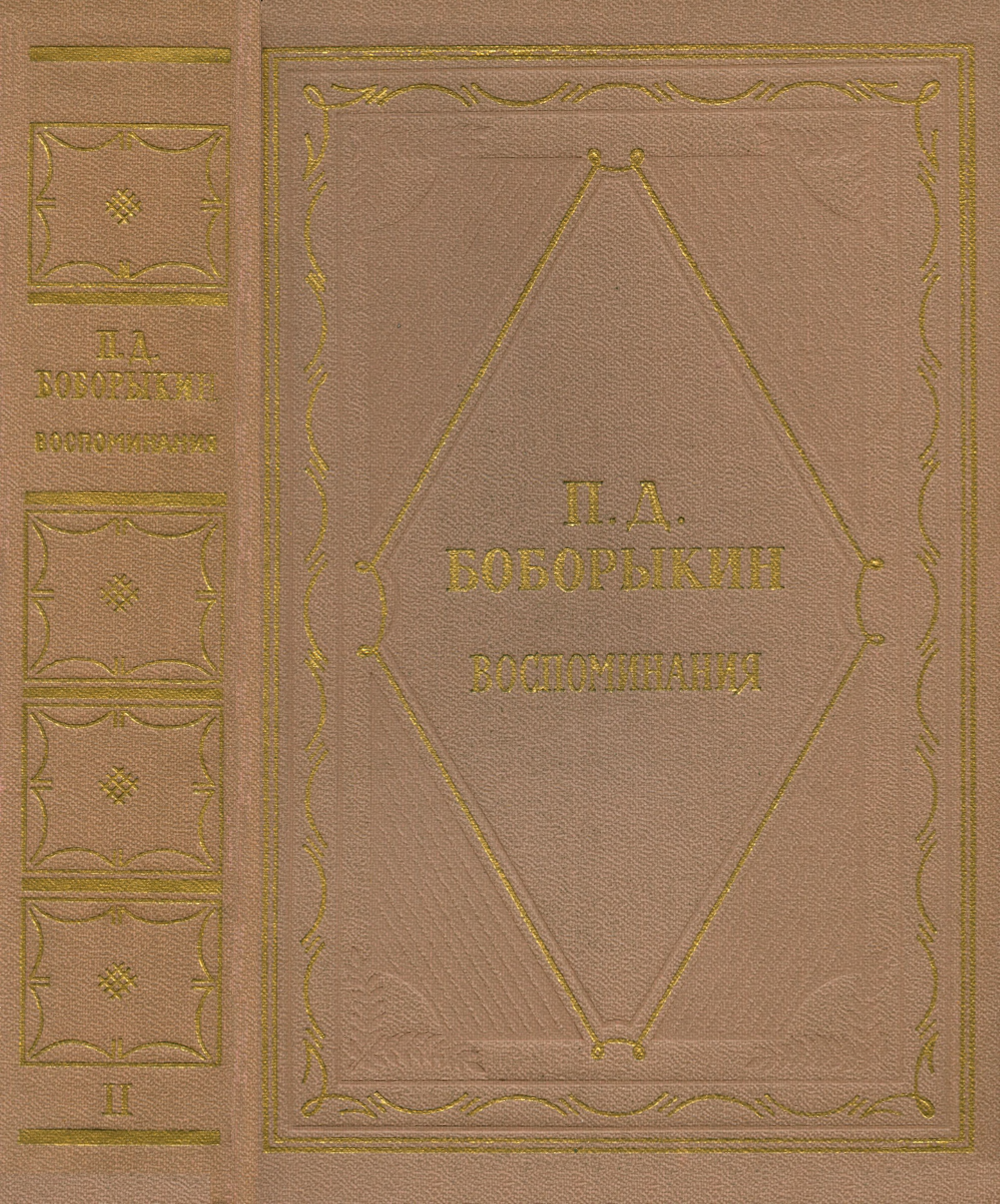

П. Д.
БОБОРЫКИН
ВОСПОМИНАНИЯ
II
П. Д.
БОБОРЫКИН
ВОСПОМИНАНИЯ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией
В. В. ГРИГОРЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ,
С. А. МАКАШИНА, С. И. МАШИНСКОГО, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1965

П. Д. БОБОРЫКИН



ВОСПОМИНАНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

ЗА ПОЛВЕКА

(Глава IX)

ИЗ КНИГИ «СТОЛИЦЫ МИРА.
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВОСПОМИНАНИЙ»

ВОСПОМИНАНИЯ 1878—1917 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1965

Подготовка текста и примечания
Э. ВИЛЕНСКОЙ и Л. РОЙТБЕРГ

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



П. Д. Боборыкин
1890 г.

ЗА ПОЛВЕКА

Мои воспоминания

(Глава IX)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Продолжение 1868 года. — В Баден-Бадене. — На вилле Тургенева. — Конгресс «Мира и свободы» в Берне. — Бакунин и Н. Утин. — «Международное общество рабочих». — Мюнхен. — Вена и ее жизнь в сезон 1868—1869 года. — Театр, пресса, увеселения, нравы. — Русская и славянская молодежь. — Прага. — 300-летняя годовщина Гуса. — В Гусеницах. — Париж весной 1869 года. — Дюма-сын.— Наке. — Встречи с Коршем и Благосветловым. — Повесть «По-американски». — Роман «На суд». — Испания. — Мадрид и Андалузия — Народ и интеллигенция. — Политика. — Кастеляр, Гарри́до. — Стэнлей — корреспондент американской газеты «New York Tribune». — Швейцарский санаторий близ Цюриха.— Чтение «Обрыва». — Париж в сезон 1869—1870 года. — «С Итальянского бульвара». — Г-жа Дельнор, русская дебютантка на театре «Водевиль». — Знакомство с А. И. Герценом и его семейством.— Лиза Огарева-Герцен.— Смерть Герцена. — Тургенев и Герцен. — Мой отъезд в Вену в январе 1870 года. — По Венгрии. — Пешт. — Берлин весной 1870 года. — Вл. Бакст и знакомство с Гончаровым. — Прусская Палата. — Бисмарк.— Тогдашний Берлин.— Гамбург.— Замысел романа «Солидные добродетели». — Война. — Мои скитания около войны до ноября 1870 года. — Первая поездка в Италию. — Тяга на родину. — В деревне отца. — Варшава. — И. И. Иванюков и Н. В. Берг. — Польская сцена. — Мое отношение к полякам. — Петербургская зима 1871 года. — Сотрудничество. — «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова. — Молодая редакция. — «Искра». — Физиономия сезона 1871—1872 года. — Князь А. И. Урусов. — Мои лекции в Клубе художников. — Поездка за границу летом 1871 года. — После Коммуны. — «На развалинах Парижа». — Г-жа Паска. — На итальянских озерах и в Вене. — Возвращение в Петербург. — Театры. — Лекции о французском романе. — Роман «Дельцы». — Знакомство с С. А. Зборжевской. — Моя болезнь и отъезд за границу зимой 1872 года.

В Париж я только заглянул после лондонского сезона, видел народное гулянье в день St. Napoléon, который считался днем именин императора (хотя св. Наполеона совсем нет в католических святцах), и двинулся к сентябрю в первый раз в Баден-Баден — по дороге в

Швейцарию на конгресс «Мира и свободы» *. Мне хотелось навестить И. С. Тургенева. Он тогда только что отстроил и отделал свою виллу и жил уже много лет в Бадене, как всегда, при семье Виардо.

В Баден попадал я впервые. Но много о нем слыхал и читал, как о самых бойких немецких водах с рулеткой. Тогда таких рулеточных водных мест в Германии существовало несколько: Баден-Баден, Висбаден, Гамбург, Эмс. О Монте-Карло тогда и речи еще не заходило. Та скала около Монако, где ныне вырос роскошный игрецкий городок, стояла в диком виде и, кроме горных коз, никем не была обитаема.

Всего полтора года прошло с выхода в свет романа «Дым». [Тол]ки и оценки его были мне известны и в Париже по газетам и журналам. Но самое место действия — Баден-Баден — делался от этого еще привлекательнее. В истории творчества Тургенева Баден представляет собою полосу — после «Отцов и детей» — писательских счетов с публикой и критикой. В эти годы Тургенев и стал как бы отказываться от дальнейшей работы беллетриста-бытописателя, выставляя тот главный мотив, что он должен основываться за границей. А в Бадене и произошел как раз этот выбор оседлости. Семья Виардо поселилась там надолго в собственной даче, и Тургенев стал около их виллы строить свою, собираясь, вероятно, и скоротать свой век около властительницы своих дум и чувств. Иначе из-за чего же бы он стал воздвигать довольно обширный дом, который обошелся ему недешево?

Не случись войны Германии с Францией, Тургенев не переехал бы на конец своей жизни в Париж. Его *перевезла* Виардо, возмутившаяся тем, как немцы обошлись с ее вторым отечеством — Францией *.

Баден в 1868 году привлекал и парижан совершенно так, как теперь Монте-Карло. Такую же тягу производил он и на других иностранцев, особенно на русских. *Такого* русского Бадена после войны и закрытия рулетки — к 1872 году уже не повторялось.

С интересом туриста ехал я на Страсбур — тогда еще французский город *, с населением немецкой расы, ехал демократично, в третьем классе, и дорогой видел много характерного, особенно когда из Страсбура отправился к немецкой границе. Со мною сидели солдаты

и шварцвальдские крестьяне. Францию любили не только эльзасцы и лотарингцы, но и баденские немцы. Близость офранцуженных провинций делала то, что и в Бадене чувствовалось культурное влияние Франции.

Попадал я в самый бойкий момент сезона, во время скачек, и увидал сейчас же *весь* Париж бульваров и театров, вплоть до кокоток, лица которых примелькались вам и в парижских кафе. Еле нашел я мансарду, в скромном отельчике «Deutsher Hof» (и теперь еще существующем, но с другой вывеской) и отправился сейчас же к зданию «Conversation»[1], к той Promenade[2], с описания которой начинается тургеневский «Дым».

Чего-нибудь типично-немецкого (как теперь на всех водах Германии) я не нашел; зато самый развал космополитической публики.

Играли и в большой концертной зале кургауза, и в боковых залах. Не имея никакой игральной жилки, я не поставил даже гульдена — тогда можно было ставить и эту скромную монету, — а только обошел все залы и постоял у столов. Помню, первый русский, сидевший у первого же, от входа, рулеточного стола, был не кто иной, как *Николай* Рубинштейн. Я его уже видал в Москве в конце 1866 года. Он сидел с папиросой в длиннейшем мундштуке, с сосредоточенным лицом страстного игрока.

В той боковой зале, где шла более крупная игра в *trente et quarante*, я заметил наших тогдашних петербургских «львиц» и во главе их княгиню Суворову (рожденную Базилевскую), считавшуюся самой отчаянной игрицей. А рядом несколько тогдашних знаменитых кокоток с Корой Перль (Пирль) во главе, возлюбленной принца Наполеона. И тут, и у киоска музыки, у столиков — вы могли наткнуться на парижских знаменитостей той эпохи: и Оффенбах, и актриса Шнейдер, и тенор Марио, и целый ассортимент бульварных лиц.

Приехал я в Баден под вечер, а на другой день, утром рано, пошел в гору к Старому Замку. Там ведь происходил пикник молодых генералов из «Дыма». Мне представилась вся сцена на одной из лужаек. Вид с вышки замка на весь Баден, его лощины и горы, покрытые черным лесом, на долину Рейна — чудесный, и он

---

[1] Сборное место для посетителей курорта *(франц.)*.
[2] Место для прогулок *(франц.)*.

не мог не захватить меня после долгого сиденья в душных «столицах мира».

Но Баден, как тогдашний «парадиз»[1] европейских вивёров, не восхитил меня. Насколько потом, с 80-х годов, я привязался к этому милому месту — вот уже более 25-ти раз провожу я в нем весну и часть лета, — настолько я тогда простился с ним без всякого сожаления. И в фельетоне «Голоса», где я назвал его «парадизом», весьма насмешливо говорил о нем.

Виллу Тургенева я довольно легко нашел на той Fremersbergstrasse, которая с тех годов вся обстроилась. Тогда это казалось еще «урочищем», довольно отдаленным от центра. Место для виллы Тургенев выбрал в ближайшем соседстве с семейством Виардо, между двумя подъемами в гору, фасадом на Fremersbergstrasse, а сзади сад спускается к той дороге, что ведет к швейцарской ферме, где и тогда уже был «Molkenkur»[2] с рестораном в лесу.

До сих пор вилла стоит в том же виде, немного потемневшая от годов, в стиле французских построек с двумя усеченными крышами, в два этажа. Не знаю, была ли она когда-либо изображена в каком-нибудь русском иллюстрированном издании. В 1908 году я заказал ее фотографический снимок и два экземпляра послал в Россию. И железная решетка вдоль Fremersbergstrasse до сих пор все та же, с выкованными гирляндой словами: «Villa Turguenew». Сад теперь очень запущен, особенно пруд, и со стороны дороги к «Molkenkur'у» нет даже забора, лежит щебень и всякий мусор у самого входа.

Собственником виллы был сначала московский банкир Ахенбах (еще при жизни Тургенева), от которого она перешла к его зятю из фамилии Бисмарков, потом была продана какой-то немке и от нее перешла, как *выморочное имение,* к одному из ганзейских городов (Бремену или Любеку) и куплена англичанкой. Одно время она была превращена в «меблировку». И вот тогда-то я напечатал письмо в газетах, где высказывал мысль — как хорошо было бы приобресть виллу (тогда ее можно было бы купить тысяч за 30—35 на русские

---

[1] рай (от *греч.* paradeisos).

[2] лечение молочной сывороткой *(нем.)*.

деньги) для писательского дома. Мысли этой очень сочувствовал покойный Голубев, который тогда уже решил пожертвовать капитал «Фонду» как раз для создания подобного же убежища. Но моя мысль нашла себе отклик только в лице какой-то *одной* почитательницы имени Тургенева, которая прислала даже вклад. Думаю я и в настоящую минуту, что было бы желательно приобрести виллу Тургенева для какого-нибудь литературно-писательского назначения и не дать ей превратиться в нечто заброшенное и безвестное.

Ивана Сергеевича (ему тогда было ровно 50 лет) нашел я у него в кабинете, в нижнем этаже, в длинноватой комнате, отделанной не особенно уютно, но стильно. Не помню, водил ли он меня наверх или я впоследствии, когда вилла ему уже не принадлежала, видел и залу, и другие комнаты. Зала была настолько велика, что в ней давались музыкальные вечера, где г-жа Виардо выступала с своими ученицами.

Это было как раз то время, когда Тургенев, уйдя от усиленной работы русского бытописателя, отдавался забавам дилетантского сотрудничества с г-жой Виардо, сочинял для ее маленьких опер французский текст и сам выступал на сцене. Но это происходило не в те дни конца летнего сезона, когда я попал впервые в Баден.

Наша денная беседа происходила с глазу на глаз. Никто не пришел ни из русских, ни из иностранных приятелей, ни из семейства Виардо. Кажется, Тургенев пришел от них и что-то мне сказал о каком-то испанце, с которым он играет в шахматы. Тогда он увлекался мыслью переводить «Дон-Кихота» *.

В наружности и *тоне* Тургенева я не нашел разницы с тем впечатлением, какое вынес четыре года перед тем, когда был у него, в Hôtel de France в первый раз в Петербурге. Та же крупная фигура, еще бодрая и прямая, та же преждевременная серебристая седина, та же элегантность домашнего костюма.

Наше предварительное знакомство было слишком еще незначительно, чтобы сейчас же завязался интимный или, во всяком случае, живой разговор. От Тургенева вообще веяло всегда *холодком*, но, как я заметил и в 1864 году, он и с незнакомым ему человеком мог быть в своем роде откровенным. Он как бы стоял выше известных щепетильностей и умолчаний.

Не помню, чтобы в том, что он говорил тогда о России и русской журналистике, слышались очень злобные, личные ноты или прорывались резкие выражения. Нет, этого не было! Но чувствовалось все-таки, что у него *есть счеты* и с публикой, и с критикой, и с некоторыми собратами, например, с Достоевским, который как раз после «Дыма» явился к нему с гневными речами и потом печатно «отделал» его *.

Мне жутко было видеть в таком писателе, как И. С., какую-то *добровольную отчужденность* от родины. Это не было настроение изгнанника, эмигранта, а скорее человека, который примостился к чужому гнезду, засел в немецком курорте (он жил в Бадене уже с 1863 года) и не чувствует никакой особой тяги к «любезному отечеству».

Его европеизм, его западничество проявлялись в этой баденской обстановке гораздо ярче и как бы бесповоротнее. Трудно было бы и представить себе, что он с душевной отрадой вернется когда-либо в свое Спасское-Лутовиново, а, напротив, казалось, что этот благообразный русский джентльмен, уже «повитый» славой (хотя и в временных «контрах» с русской критикой и публикой), кончит «дни живота своего», как те русские баре, которые тогда начали строить себе виллы, чтобы в Бадене и доживать свой век.

Будь у него другой тон, конечно, *молодой* его собрат (мне стукнуло тогда 32 года) нашел бы сейчас же возможность и повод поговорить «по душе» о всем том, что ему самому и русская, и заграничная жизнь уже показала за целых семь-восемь лет с выступления его на писательское поприще.

Тургенев вообще не задавал вам вопросов, и я не помню, чтобы он *когда-либо* (и впоследствии, при наших встречах) имел обыкновение сколько-нибудь входить в *ваши* интересы. Может быть, с другими писателями моложе его он иначе вел себя, но из наших сношений (с 1864 по 1882 год) я вынес вот такой именно вывод. Если позднее случалось вызывать в нем разговорчивость, то опять-таки на темы его *собственного* писательства, его переживаний, знакомств и встреч, причем он выказывал себя всегда блестящим рассказчиком.

Но тогда и этого не было. Мне казалось даже, что он куда-то торопится, должно быть, к завтраку с семейством Виардо. Поэтому я очень порадовался, когда он

пригласил меня позавтракать у него запросто на другой день, узнав, что я еще пробуду сутки в Бадене.

Но этому завтраку не суждено было состояться. Я получил от него записку о том, что его кухарка «вне запно» заболела. Это мне напомнило впоследствии то, что его приятель П. В. Анненков рассказывал про Тургенева * из его петербургской молодой жизни. Я не хотел его тогда ни в чем подозревать и готов был принять болезнь кухарки за чистую монету; но больше уже не счел удобным являться на виллу.

В тот же день я видел Тургенева, издали, еще два раза. В дообеденный час он приехал один к *Promenade* в фаэтоне и прошел в книжный магазин, который тогда помещался в том флигеле кургауза, где была сначала читальня, а теперь временно кафе-ресторан. Тургенев постоял довольно долго на крыльце, и издали его фигура, в широком гороховом пальто, была видна очень отчетливо из-под колоннады кургауза, прославленной им Conversation. На фронтоне, под фризом, стояло собственно слово «Conversations hause». И его теперь замазали, к 1910 году, чем огорчили всех, кому дорога память тогдашнего «тургеневского» Бадена.

Рулетка делала то, что в театре (только что перед тем отстроенном) давались оперные спектакли с итальянцами и приезжали на гастроли артисты Французской комедии.

Вечером я попал в оперу, с бывшей московской примадонной Фриччи Баральди, и с галереи верхнего яруса увидал в крайней ложе бельэтажа седую голову Тургенева. Он стоял позади стула г-жи Виардо. Тут сидело все ее семейство. И я в первый и в последний раз в жизни видел ее. Она уже смотрела пожилой женщиной и поражала своей типичной некрасивостью.

Уехал я из Бадена после встречи с автором «Отцов и детей» *не так, как бы мне тогда хотелось.*

Как человек 60-х годов и как молодой писатель, переживший все, что Тургенев вызывал в людях моей эпохи, я не был нисколько настроен *против* него, ни за «Отцов и детей», ни за «Дым». Лицо Базарова я и тогда уже считал крупнейшим и *умнейшим* лицом русской беллетристики. «Дымом» я не особенно восторгался и все недостатки этой вещи, и в постройке, и в творчестве главных лиц (за исключением, однако, великолепной

фигуры генеральши Ратмировой и ее мужа), я распознавал, когда вчитывался в роман в Париже. Не очень мне нравилось и не совсем свободное отношение к русской заграничной компании разных сортов, злобность и обличительность. Но как хорош был пикник молодых генералов и с каким удовольствием мог всякий *западник* читать тирады Потугина против русофильских претензий на славянофильской закваске.

Правда, тогда уже, не у одного меня, складывалась оценка Толстого (после «Войны и мира») как великого *объективного* изобразителя жизни. Хотя он-то и был всегда «эгоцентрист», но мы еще этого тогда не достаточно схватывали, а видели то, что он даже и в воспроизведении людей несимпатичного ему типа (Наполеона, Сперанского) оставался, по приемам, прежде всего художником и сердцеведом.

И все-таки, повторяю, у меня, когда я ехал в Баден на разговор с Тургеневым, не было на него никакого *предвзятого* взгляда и не свободного к нему отношения. Если он показался мне тогда таким (хотя бы и временно) *отрешенным* от всего русского, то в этом, как я теперь соображаю, сидело то, что в те годы западная жизнь гораздо сильнее захватывала русских «интеллигентов», особенно тех, кто, как Тургенев, связал свою интимную жизнь с исключительным чувством к иностранке и как бы должен был состоять *при ней* и при ее семье.

Да и помимо того, разве такого «россиянина», в какого складывался Тургенев еще к 40-м годам, могла *захватывать* тогдашняя русская жизнь? Он ведь всегда от нее бегал, и его сиденье в деревне было подневольное, в виде ссылки. А потом пошли года, когда он постоянно разрывался между своими русскими писательскими связями и тем, что его влекло в чужие края. После годов больших симпатий русской публики (с «Записок охотника» и «Дворянского гнезда» *до* «Отцов и детей») вдруг подозрительное непонимание молодежи, травля тогдашней радикальной критики, которую не могли ослабить и сочувственные рецензии Писарева! * Что же было для него привлекательного *дома* в этот период, с 1862 по 1868 год? А он был всегда *очень* чувствителен к своим успехам.

По-своему Тургенев любил родину, как художник умел изображать и русскую природу, и русских людей,

но в нем не было такой русской *закваски,* как в его сверстниках-писателях: Островском, Писемском, Достоевском, Некрасове и Герцене. Почему его дружба с Герценом кончилась принципиальной размолвкой? * Потому, что революционность Герцена была на архирусской подкладке, держалась за социалистическое *credo* в народническом духе. А Тургенева *всегда* держал в своих тисках культурный Запад, особенно Германия. Потому-то ему так легко и жилось в Бадене. Франции и французов Второй империи он тогда *терпеть не мог* и только после переселения в Париж, при Третьей республике, стал с ними сближаться. А тогда, то есть в 1868 году, им владели немецкие и отчасти английские симпатии.

Главное, скажу я теперь, глядя назад, в эту культурно-историческую перспективу, было то, что «заграница», как ныне выражаются, захватывала русских интеллигентов гораздо сильнее — и тем сильнее, чем они сами бывали образованнее на европейский лад.

И все-таки за границей Тургенев и при семье Виардо, и с приятельскими связями с немецкими писателями и художниками — жил *одиноко.* И около него не было и одной десятой той русской атмосферы, какая образовалась около него же в Париже к половине 70-х годов. Это достаточно теперь известно по переписке и воспоминаниям * того периода, вплоть до его смерти в августе 1883 года.

Я поехал из Бадена сначала в Швейцарию на конгресс «Мира и свободы», который должен был собраться в Берне. У меня была совершенно выясненная программа: после этого конгресса пожить в Мюнхене и остаться в Вене на весь зимний сезон. Ни в Мюнхене, ни в Вене я еще до того не бывал.

Эти конгрессы начались только с предыдущего года. Первый был в Женеве. На него я не попал. Они служили тогда как бы отдушинами от наполеоновского режима и сборным пунктом для представителей европейской эмиграции, в том числе и русской.

Почему-то Герцен не приехал на Бернский конгресс *. Не приехал и В. Гюго. Но все-таки собралось немало эмигрантов. Из русских — Бакунин, Н. Утин, из немцев — Фохт (брат физиолога), из французов — Кинѐ

и несколько революционеров-социалистов. Явился и Г. Н. Вырубов, стоявший, как позитивист, в стороне от политических фракций и поборников русско-французского социализма.

Мир на этих конгрессах служил только предлогом; а главная гостья была *свобода* и пропаганда революционных идей, получивших тогда уже сильную *политическую* окраску даже и в группе Бакунина с его русскими последователями и с оттенком анархизма и коммунистической доктрины.

Во всяком случае, можно было ждать чего-нибудь интересного.

Мы с Вырубовым не примыкали ни к какой партийной группе. Но он принимал участие в конгрессе и активно: произнес речь, а я был только слушатель. Нас, тогдашних позитивистов, было очень немного. Большинство делегатов принадлежало к материалистическому свободомыслию.

Для меня лично, как для русского писателя, занимательнее и крупнее других была фигура М. А. Бакунина. Я его в первый раз и увидал именно там.

О нем я и раньше слыхал рассказы лиц, лично его знававших, видал его портреты, и наружность его не могла меня поразить неожиданностью. *Таким* я себе и представлял его. Но «в натуре» он оказался еще крупнее размерами, еще *махровее.*

И какой это был архироссийский бытовой тип! Барин с головой протодьякона и даже не очень старого «владыки». Таких типичных лиц великорусского склада не много видал я и среди народа, и среди купечества. И за мужика и за купца вы могли бы издали принять его, если б он захотел выдать себя за того или другого. Но главное — *барин,* пошедший в бунтари и долго скитавшийся по Европе * и до и после крепости, ссылки и бегства из Восточной Сибири через Японию.

Голоса такие, как у Бакунина, встречаются только среди русских: жирный басок, с раскатистой дикцией; легкой одышкой и чрезвычайно значительным и *вкусным* произношением отдельных слов на всех языках, какими он владел.

Бакунин обладал даром слова, как очень редкие русские; а из своих сверстников был, конечно, самый красноречивый. Про него Вырубов говаривал, что он по-



М. А. Бакунин
1860-е гг.

итальянски мог произносить перед толпой громовые речи, а заказать как следует бифштекс — затруднился бы. Французские фразы он выговаривал, как истый русский барин 40-х годов, долго живший в Париже. По-латыни он совсем не знал и раз, сидя около нас в кафе, протянул к нам номер какой-то французской газеты и попросил перевести ему очень известное римское изречение. А сидел я рядом с Элизе Реклю, и тогда уже переходившим к анархизму, хотя еще более умеренному.

Около Бакунина и группировались, кроме русских (Утин с своей компанией) и поляков, французские увриеры[1] революционно-коммунистического credo и интеллигенты из тогдашних самых крайних, вроде Жакляра, впоследствии долго жившего в России после участия в Коммуне 1871 года и бегства из Парижа, где он, конечно, был бы казнен.

Для Бакунина конгресс «Мира» (и свободы) был только предлогом для его анархо-революционной пропаганды. На одном из первых же заседаний (они происходили в городской ратуше) он произнес красивую и необычайно убежденную речь, где, говоря о том, что его отечество, Россия, уже приготовлено к социальной революции, своим зычным баском воскликнул:

— Таких, как я, там уже десятки тысяч! *

Мы много смеялись над этой фразой и над иллюзией Михаила Александровича. Один из нас (не помню уже кто: Вырубов или я) говорит ему:

— Михаил Александрович, помилосердствуйте! Не только десятков тысяч таких, *как вы,* не найдешь у нас, а даже и одного совсем такого, как вы!

Он добродушно рассмеялся, но все-таки продолжал верить, что *тогдашняя* Россия уже готова к взрыву революции, о какой *он* мечтал.

К нам — позитивистам — он относился с снисходительной шуткой, но не прощал нам нашего научно-положительного взгляда на эволюцию общества. Выводы социологии не были для него обязательны, и он к этой доктрине относился вроде того, как смотрел на нее и яснополянский вероучитель.

Сидели мы перед началом заседания рядом с Вырубовым, в коридоре, ведущем в зал. Проходит своей

[1] рабочие (от *франц.* ouvrier).

грузной и величавой поступью Михаил Александрович с кем-то из своих «подручных» и, указывая на нас жестом головы, басит:

— Вот сидят *попы науки!*

И мы не обижались. Иначе он и не мог смотреть на нас.

На съезд Бакунин привез и свою молодую жену, польку, на которой женился еще в Сибири *, в ссылке. Возле него состояли поляки, и он везде и всегда являлся их бурным защитником.

Но, вне своей кучки, он не действовал на большинство съезда, где собрались далеко не однородные элементы. Вполне серьезного политического интереса такие чисто академические конгрессы иметь не могли. И среди иностранных делегатов были даже курьезные индивиды, вроде какого-то скандинавского майора или полковника, который бывал даже скандализован такими речами, как бакунинские, лопотал на смешном французском языке и упорно называл свое отечество, Норвегию, по-французски: «Norvégie» вместо «Norvège».

Из иностранцев самой крупной личностью был Кинэ. Но я не помню, чтобы он произвел сенсацию какой-нибудь речью. Он больше вызывал в толпе интерес своим прошлым, как один из самых видных эмигрантов — врагов бонапартова режима. Он был несомненный республиканец 1848 года, человек идей XVIII века, но гораздо больше демократ, чем сторонник социалистической доктрины.

В заседаниях конгресса, под общей фразеологией начал «Мира и свободы», и происходила более или менее затушеванная распря между *политическим* радикализмом и *социализмом,* вплоть до анархической пропаганды Бакунина. Около него и скучивалась самая крайняя группа из французов и русских.

Между русскими, как я уже сказал, адъютантом Бакунина состоял Николай Утин. Я помнил его еще из Петербурга, где видал в дни волнений в сентябре 1861 года. Он никогда мне не нравился. Его ум, бойкость, талантливость, знания, дар слова — все это покрывалось каким-то налетом великого самомнения, резкостью тона, манер и языка и давало всегда чувствовать его непомерное тщеславие и желание играть роль. Когда в 1868 году он уже пристал к бакунинской «вере», около него была всегда кучка русских барынь и бары-

шень, из которых одна очень красивая, известная под именем «Сони» или «Соньки», — как потом оказалось, какая-то помещица, убежавшая от мужа или что-то в этом роде.

И в Берне, и на следующем конгрессе, в Базеле (где радикалы и социалисты еще больше разобщились) русская коммуна (или, как острили тогда и между русскими, «утинские жены») отличалась озорством жаргона, кличек, прозвищ и тона. Все это были «Иваны», «Соньки», «Машки» и «Грушки», а фамилий и имен с отчеством не употреблялось. Мне случилось раз ехать с ними в одном вагоне в Швейцарии, кажется, после одного из этих конгрессов. Они не только перекликались такими «уничижительными» именами, но нарочно при мне пускали такие фразы:

— Ты груши *слопала* все? — спрашивала Сонька Машку.

— Нет, еще ни одной не *трескала.*

Это был своего рода спорт «опрощения».

И как они все тогда верили в своего идола Утина. А через несколько лет он сжег свои корабли и с легким сердцем превратился в инженера, выхлопотав себе возвращение *без последствий* в Россию, где и делал дальнейшую карьеру денежного воротилы. Судьба нас столкнула раз в театре, по пути в мужскую уборную, если не в самой уборной. Я его сейчас же узнал, да и он меня также, сделал как бы движение в мою сторону, желая подойти, но, должно быть, я так на него посмотрел, что он на это не решился.

Из всей молодой эмиграции, попавшей на конгресс, никто не выделялся. Это были или адъютанты Бакунина, поляки и русские, или же отдельные личности, попавшие сюда случайно или в качестве корреспондентов. Был и женский пол с порываниями к радикализму или смутному еще тогда «пролетарскому» credo.

Нашел я (уж не помню, в Берне или в Базеле, через год) и моего петербургского знакомого Чуйко, с которым мы долго жили в одно и то же время в Париже. Но он не выступал как оратор. Там сошелся он с той русской девушкой из старой дворянской семьи, которая впоследствии сделалась его женой, и я был свидетелем на их свадьбе в русской церкви, состоявшейся во время франко-прусской войны в Женеве в ноябре 1870 года,

куда я заехал по пути на юго-восток Франции. Чуйко был и тогда корреспондент и ездил к войску Гарибальди *.

В публике тоже бывали и русские семейства, например, мать и сестра Гр. Н. Вырубова. Сестра, еще молодая девушка, была менее смущена вольномыслием своего брата, чем их матушка Наталья Григорьевна — московская барыня с головы до пяток. Из конгресса в Базеле, бывшего в следующем году, я вряд ли вынес что-нибудь особенно стоящее более отчетливых воспоминаний. Русский персонал был почти тот же. Партийная борьба резче обозначилась и лишила заседание всякой творческой инициативы. Бакунинцы брали верх, но для *мира и свободы* ничего не могли сделать, будучи заядлыми анархистами.

Из съездов, бывших в последние годы Второй империи — самым содержательным и *вещим для меня* был конгресс недавно перед тем созданного, по инициативе Карла Маркса, «Международного общества рабочих» *. Сам Маркс на него не явился — уже не знаю почему. Может быть, место действия — Брюссель — он *тогда* не считал вполне для себя безопасным.

Я присутствовал на всех заседаниях конгресса и посылал в «Голос» большие корреспонденции *. Думается мне, что в нашей тогдашней подцензурной печати это были первые по времени появления отчеты о *таком* съезде, где в первый раз буржуазная Европа услыхала голос сознательного пролетариата, сплотившегося в союз с грозной задачей вступить в открытую борьбу с торжествующим пока *капиталистическим* строем культурного общества.

Париж последовательно вводил меня в круг идей и интересов, связанных с великой борьбой трудового человечества. Я не примыкал ни к какой партии или кружку, не делался приверженцем той или иной социалистической доктрины, и все-таки, когда я попал на заседание этого конгресса, я был наглядным, прямым воздействием того, что я уже видел и слышал, подготовлен к дальнейшему знакомству с миром рабочей массы, пробудившейся в лице своей интеллигенции от пассивного ярма к формулированию своих упований и запросов.

Главное ядро составляли тогда бельгийские и немецкие представители рабочих коопераций и кружков.

В Брюсселе движение уже давно назревало. Немцы еще не были тогда тем, чем они стали позднее, после войны 1870 года. Трудно было и представить себе тогда, то есть в конце 60-х годов, что у них социал-демократическая партия так разовьется и даст через тридцать с небольшим лет чуть не сто депутатов в рейхстаг.

Тогда только даже и после речей некоторых пролетариев на конгрессах «Мира и свободы», мне привелось слушать настоящих *мастеровых,* произносящих не только сильные по фактам, но и блестящие речи. Какой-нибудь брюссельский портной, или печатник, или оружейник — говорили прекрасно, с заразительным пылом *настоящих* рабочих, а не просто агитаторов «из господ».

Речи произносились на всех языках. А журналисты, писавшие о заседаниях, были больше все французы и бельгийцы. Многие не знали ни по-немецки, ни по-английски. Мы сидели в двух ложах бенуара рядом, и мои коллеги то и дело обращались ко мне за переводом того, что говорили немцы и англичане, за что я был прозван «notre confrère *poliglotte*»[1] тогдашним главным сотрудником «Indépendance Belge» Тардье, впоследствии редактором этой газеты.

Заседания происходили днем, в здании Фламандского театра, летом не играющего.

Никогда я не забуду речи того брюссельского наборщика, который, обращаясь к рабочим из Льежа, сказал им:

— Откажитесь делать ружья и пушки — и войне конец!

Фраза эта вызовет улыбку у поклонников бисмарковой проповеди «железа и крови», но отрадно было слышать и такие «наивные» призывы и чуять в проснувшемся пролетарском самосознании многое такое, что теперь уже реально существует, а тогда, в конце 60-х годов, считалось химерами.

Английские делегаты оказывались самыми буржуазными. Уже и тогда видно было, что «Trade Unions» будут стоять в стороне от социал-демократического движения.

И все мои отчеты с их сочувственным отношением к Международному Союзу рабочих печатались в осторож-

---

[1] наш многоязычный собрат *(франц.)*.

ном и умеренном «Голосе», печатались *без всяких* выпусков, и я не помню, чтобы А. А. Краевский написал мне письмо с просьбою изменить тон или не вдаваться в подробности.

Кто поинтересуется — может найти эти отчеты в «Голосе».

Как его заграничный сотрудник, я подписывался звериным числом: «666».

Путь мой в Вену, где я решил провести целый сезон, лежал на Мюнхен.

«Немецкие Афины» давно меня интересовали. Еще в «Библиотеке для чтения» задолго до моего редакторства (кажется, я еще жил в Дерпте) я читал письма оттуда одного из первых тогдашних туристов-писателей — М. В. Авдеева, после того как он уже составил себе литературное имя своим «Тамариным». Петербургские, берлинские, парижские и лондонские собрания и музеи не сделались для меня предметом особенного культа, но все-таки мое художественное понимание и вкус в области искусства значительно развились.

В Мюнхене я нашел немецкую областную столицу, где благодаря дилетантству ее короля Людовика I все отзывалось как бы обязательным культом античного и нового искусства, начиная с ряда зданий и целых улиц.

Тогда еще не царил (Людовик II уже вступил на престол) Вагнер на тамошней оперной сцене, но это уже было незадолго до его сказочного возвышения, вызванного восторженным поклонением короля *, не лишенным и еще кое-какой подкладки, как впоследствии было ясно из истории их отношений.

Мюнхен оказался по своей физиономии как раз таким, как я себе его представлял.

Старонемецкая архитектура и памятники творчества в живописи и ваянии, собранные в Национальном музее, не могли идти в сравнение с тем, что осталось в Нюрнберге, где я остановился по дороге из Швейцарии.

Там весь город — роскошный музей старонемецкого ваяния и зодчества, а Мюнхен, во всей своей *«казовой»* городской обстановке, — только собрание образцов разных стилей, начиная с греческой архитектуры. Все дышит, в сущности, *аматерством* короля, влюбленного в

искусство, пожелавшего превратить свою резиденцию в «Афины», где вы находили бы модели всяких эпох: вот тут — Эллада, там — Рим, здесь — целый ряд домов в готическом стиле... И колоссальная статуя Баварии — такая же «postiche» [1], такая же подделка под величавый, грандиозный античный стиль. Стоит она среди самого банального поля и не говорит вам ни о каких славных делах баварской родины.

Оба музея, «Пинакотек» и «Гликтотек», такие же подделки под прославленные образцы. После петербургского Эрмитажа, парижского Лувра и лондонского Музея все это не могло уже ни поражать, ни восхищать. Даже и подлинные картины великих иностранных мастеров не могли затмевать те полотна, которые вы видели в Петербурге, Париже, Лондоне. Но здесь вы находили, правда, свою немецкую школу. Король-меценат сделал очень много для поощрения художников в виде посылок в Италию и денежных пособий.

Дело художественного образования привилось в Мюнхене более, чем где-либо в Германии, и к концу XIX века Мюнхен сделался центром новейшего немецкого модернизма. И вообще теперешний Мюнхен (я попадал в него и позднее, и последний раз не дальше как летом 1908 и 1910 годов) стал гораздо богаче творческими силами, выработал в себе очень своеобразную жизнь не только немецкой, но и международной молодежи, стекающейся туда для работы и учения.

Тогда городская жизнь текла тихо и носила на себе провинциальный оттенок, особенно для того, кто приезжал туда после нескольких зим Парижа и целого лондонского сезона.

Моим чичероне оказался один немчик, с которым мы в Париже состояли членами кружка любителей природы, сын мюнхенского придворного каретника, любознательный молодой малый, сумевший сочетать свою специальность с интересом к ботанике и геологии. Он меня ввел в свое типичное семейство, где все дышало патриархальной степенностью, и каждый день в известные часы водил меня по городу, рассказывая мне все время местные анекдоты, восходившие до эпохи, когда знаменитая Лола Монтес, сделавшись возлюбленной

---

[1] *лишняя (франц.)*.

короля Людовика I, скандализовала мюнхенцев своими выходками фаворитки.

Королевский театр стоял и тогда выше Берлинского, но лишен еще был той физиономии, какую придал ему позднее вагнеризм. А драматическая труппа держалась обыкновенных тогда традиций немецкого тона при исполнении репертуара своих классиков: Лессинга, Шиллера, Гете, Геббеля, Грильпарцера и более новых авторов — Гуцкова, Фрейтага и царившего еще тогда легкого поставщика Родрига Бенедикса.

Моя драматическая жилка опять заиграла в Германии, и я ехал в Вену с желанием изучить тамошнее театральное дело так же усердно, как я это делал для Парижа. И мой добродушный каретник-натуралист свел меня с театральным агентом, владетелем бюро, от которого я и получил много указаний, особенно на счет венского Burg-Theater, который тогда стоял всего выше под управлением одного из могикан романтической эпохи — Лаубе, сверстника Гуцкова, еще высоко стоявшего и как драматург, с репутацией самого даровитого и авторитетного «артистического» директора.

Мюнхен служил самым лучшим преддверием к Вене.

О Вене я, как и многие мои сверстники, еще не побывавшие там, имел, конечно, некоторое представление, и даже кое в чем довольно живое, но меньшее, чем, например, о Париже, когда ехал во Францию впервые в 1865 году.

И тут была осень, совсем почти в те же числа русского сентября, но уже не 65-го, а 68-го года.

Все, что удавалось до того и читать и слышать о старой столице Австрии, относилось больше к ее бытовой жизни. Всякий из нас повторял, что этот веселый, привольный город — город вальсов, когда-то Ланнера и старика Штрауса, а теперь его сына Иоганна, которого мне уже лично приводилось видеть и слышать не только в Павловске, но и в Лондоне, как раз перед моим отъездом оттуда, в августе 1868 года.

Прежний, строго консервативный, монархический режим, отзывавшийся временами Меттерниха, уже канул. После войны 1866 года империя Габсбургов радикально изменила свое обличье, сделалась *дуалистиче-*

ским государством *, дала «мятежной» Венгрии права самостоятельного королевства, завела и у себя, в Цизлейтании, конституционные порядки. Стало быть, иностранец уже не должен был бояться, что он будет более стеснен в своей жизни, чем даже и в Париже Второй империи.

Меня всего больше тянул в Вену ее сценический мир. Тогда мой интерес к этой сфере искусства (после почти трехлетнего знакомства с театральным Парижем и целого Лондонского сезона) вошел в еще более содержательный период. С венским Burg-Theater я был знаком еще только понаслышке и знал, что эта лучшая немецкая сцена даст мне богатый материал для проведения параллели между нею и Французской комедией. Я знал, что Бург-театр находился тогда под управлением Лаубе, драматурга и беллетриста, считавшегося первым знатоком театра, одним из «могикан» германского литературного движения 40-х годов, сверстника Гуцкова, к тому времени уже составившего специальную историю Бург-театра.

В Вене, кроме интересного театрального мира, я рассчитывал ознакомиться и с «братьями славянами», хотя и не был никогда славянофилом. Да и вообще разноязычный и разноплеменный состав населения дуалистической империи представлял собою нечто своеобразное. А главный народный кряж Вены — немецкие австрияки — выработал в столице на Дунае характерный городской быт, скорее привлекательный по своей бойкости, добродушию, любви к удовольствиям, к музыке, к тому, что мы уже тогда на нашем литературном жаргоне называли «прожиганием» жизни.

Народ создал и свой особый диалект, на котором венцы и до сих пор распевают свои песни и пишут пьесы. Тогда же был и расцвет легкой драматической музыки, оперетки, перенесенной из Парижа, но получившей там в исполнении свой особый пошиб. Там же давно, уже с конца XVIII века, создавался и театр жанрового, местного репертуара, и та форма водевиля, которая начала называться «Posse» [1].

Париж (хотя он тогда мне еще не приелся) уже утомил меня немного, и хотелось чего-нибудь более при-

---

[1] фарс, шутка *(нем.)*.

вольного, простого, не так пресыщенного парижской бульварной сутолокой. И выезд в Вену в светлый и теплый октябрьский (по новому стилю) день сразу дал мне верную и привлекательную ноту этой весело-привольной столицы. Вы попадаете на Ring[1] с его садами и красивыми зданиями, и вас охватывает чувство приволья и простора, какого не найдете и в Париже, за исключением его Champs Elysées[2]. Сразу чувствуешь себя и после Парижа *совсем по-другому*, и захочется пожить здесь подольше, чтобы войти во все элементы венского быта, от высших до самых заурядных.

Привлекательной стороной Вены была и ее дешевизна, особенно при тогдашнем, очень хорошем русском денежном курсе. Очень легко было устроиться и недорого и удобно. Моим чичероне стал корреспондент «Голоса», впоследствии сделавшийся одним из главных сотрудников «Нового времени», тогда юный московский немчик. Он сильно перебивался и вскоре уехал в Петербург, где из «Голоса» перешел в «Петербургские ведомости», уже позднее, когда я вернулся в Петербург в январе 1871 года и продолжал писать у В. Ф. Корша.

Тогда можно было в Вене иметь квартиру в две комнаты в центре города за какие-нибудь двадцать гульденов, что на русские деньги не составляло и полных пятнадцати рублей. И вся программа венской жизни приезжего писателя, желающего изучать город и для себя самого, и как газетный корреспондент, складывалась легко, удобно, не требуя никаких особенных усилий, хлопот, рекомендаций.

Знание немецкого языка облегчало всякие сношения. Я мог сразу всем пользоваться вполне: и заседаниями рейхсрата (не очень, впрочем, занимательными после французской Палаты), и театрами, и разговорами во всех публичных местах, и знаменитостями в разных сферах, начиная с «братьев славян», с которыми ведь тоже приходилось объясняться на «междуславянском» диалекте, то есть по-немецки же.

Венский день, думается мне, и теперь, по прошествии целых сорока лет, проходит для всякого венца все так же. Жизнь начинается рано, раньше, чем в Париже, по

---

[1] Точнее: Ringstrasse — Кольцевая улица *(нем.)*.
[2] Елисейских полей *(франц.)*.

улицам и в кафе. В 8 часов утра вы могли в кофейных иметь уже *мороженое!* Обедает Вена, как и вся почти Германия, от двенадцати до часу дня, потом начинается после работы в канцеляриях и конторах сиденье по кафе, чтение газет, прогулка по Рингу, с четырех часов — Promenade concert[1] в разных садовых залах, и зимой и летом. Театры теперь открываются поздно, а тогда уже с 7 и даже с $6^1/_2$ часов, например в Бургтеатре, когда давали шекспировские хроники и самые длинные драмы немецкого репертуара. От 9-ти до 10-ти часов Вена ужинает по ресторанам и пивным, а позднее отправляется на публичные балы и маскарады, во время «фашинга», то есть венского карнавала.

Один из своих тогдашних фельетонов я и посвятил описанию того, *как* истый венец проводит свой день, когда фашинг в разгаре, да и во всякое время года.

Это самое легкое и заразное «прожигание» жизни, какое только можно себе вообразить. В Париже одни завзятые вивёры, живущие на ренту, проводят весь день в ничегонеделанье, а в Вене и деловой народ много-много — часа четыре, с 9 часов до обеда, уделяет труду, а остальное время на «прожигание» жизни.

Венец, хоть и немецкой расы, но не такой, как берлинец и даже мюнхенец. Он — *австрияк,* с другим темпераментом, с девизом «Wein, Weib und Gesang»[2]. Да в его крови есть и всякие примеси, а в постоянном населении Вены — огромный процент славян (чехов до ста тысяч), венгерцев и тирольских итальянцев. Все здесь отзывается уже югом — и местный диалект, и разговор, и удовольствия, и еда, и характер безделья, и вся физиономия не только уличной жизни, но и домашнего побыта.

Пока вам Вена не «приестся»— а это непременно наступит рано или поздно, — вы будете себя чувствовать в ней так беззаботно и удобно, как нигде, несмотря на то, что климат ее зимой не из самых мягких. Зато осень и весна — всегда почти ясные и теплые и позволяют не менее, чем в Париже, жить на воздухе.

Фланирование по улицам, бульварам, садам, гуляньям в Пратере — сравнительно с парижским — благодушнее, пестрее типами и туалетами, со множеством вид-

---

[1] концерты для гуляющих *(англ.).*
[2] Вино, женщина и песня *(нем.).*

ных, свежих женщин, тех «süsse Mädels»[1], которые до сих пор еще играют роль в венской беллетристике, в романах и жанровых пьесах. Вена — самый женолюбивый город европейского юга, и например, Рим, если его сравнить с нею, окажется во много раз если не целомудреннее, то суше, сдержаннее. В Риме уличная кокотка совсем не бросается в глаза, а в Вене *все* женщины кажутся более или менее «галантными». Но этот эротизм не имеет такого оттенка, как в Париже. Тут все проще, естественнее. Молодость, кровь, тело, еда и питье вызывают инстинкты, а не извращение фантазии, не смакование разных пикантных пакостей. Это вы находите даже и в светских сферах, и среди тамошней интеллигенции, и в артистическом мире.

Теперь, в XX веке, веселящаяся Вена стала втрое и вчетверо дороже. Даже русские, привыкшие тратить, и те жалуются на дороговизну жизни туриста по венским отелям.

Тогда, сорок лет назад, даже в развале *фашинга* если вы положили себе с утра бумажку в десять гульденов (то есть нынешние двадцать крон), то вы могли провести целый день, до поздних часов ночи, проделав весь цикл венских удовольствий, с обедом, ужином, кофе и разными напитками и прохладительными. Очень сносный обед стоил тогда всего *один гульден,* а кресло в Бург-театре — два и maximum три гульдена. И на русские деньги ваш день (вместе с квартирой) обходился, значит, каких-нибудь 6—7 рублей.

Хорошая и доступная *музыка* входила сейчас же в ваш обиход, совсем не так, как в тогдашнем Париже. И легкий жанр сценической музыки Вена создала еще до того, как Париж пустил в ход оффенбаховскую оперетку.

Венская «Posse» процветала уже с 40-х годов. Имя Нестроя было там так же популярно, как во Франции 40-х годов имя Скриба. Этот актер-директор оставил целый репертуар водевилей, которые и в конце 60-х годов все еще давались в жанровых театрах, где давали и Оффенбаха лучше, чем где-либо, кроме Парижа, по вокальному исполнению и по блеску обстановки — даже и лучше Парижа. У венцев была и своя Шнейдер, Мария Гейхритер (и соперница ее Гальмайер), — велико-

[1] милых девиц *(нем.)*.

лепная Елена. И целый ассортимент комиков и опереточных певцов с тенором Свобода во главе, тем самым, который, перейдя в драму, играл и в Петербурге на казенной немецкой сцене.

Нигде в Европе не было братьев Штраус — этих истых детей Вены, сыновей старшего Иоганна Штрауса, сделавшего вместе с своим соперником Ланнером из вальса самую типичную форму легкой музыки, с оригинальной, народно-австрийской печатью.

И отцы Штрауса и Ланнера были в свою молодость просто скрипачи, игравшие в маленьких оркестрах, в ресторанах и пивных. Старший из них — Иоганн тогда, в конце 60-х годов, был уже на верху славы, как виртуоз и композитор вальсов, но опереточной, такой же блестящей, карьеры еще не начинал. Он сам уже редко появлялся на «Promenade» как дирижер, уступая свой смычок братьям своим Иосифу и Эдуарду, которого и тогда уже венки звали «Эди». Они каждую неделю, в послеобеденные часы, играли то в Stadt-Parck'e[1], то в Volks-Garten'e[2], в концертных залах.

Иосиф, с несколько хмурым, энергичным лицом и жесткой фигурой не пленял женщин, но считался очень талантливым, особенно как композитор.

— Der Saal-Genie![3] — повторяли венцы и венки, говоря о нем.

Эди, подзавитой, с усиками в ниточку, вертлявый и изысканно франтоватый, подпрыгивал, играя свои вальсы и польки, сортом гораздо хуже композиций своих старших братьев. Но это была одна из типичнейших фигур веселой Вены, в данный момент больше даже, чем его брат Иоганн. Между его польками и вальсами, его подпрыгиваньем, усами в ниточку и белыми панталонами при фраке (в летний сезон) и веселящейся Веной вообще — была коренная связь.

В этой веселящейся Вене состояли как бы на равных правах и оперетка, и даже такие театры, как «Ander Wien» и «Karl-Theater», и театр в Josephenstrasse, и Promenade концерты, и все увеселения в Пратере, тогда, в сентябре, бывшие еще в полном ходу.

---

[1] Городском парке *(нем.)*.
[2] Народном саду *(нем.)*.
[3] Гений зала! *(нем.)*

Такого *всенародного* гулянья нигде и до сих пор нет, начиная с Парижа. Это гулянье в таком именно смысле, как понимает это наш народ, всего до отвалу, — и «комеди», и музыки, и пивных, и ресторанов, и каруселей, и зверинцев, и панорам. В Пратере вы и чувствуете всего ярче народную почву венской музыкальности, слушая его дешевых певцов и певиц и такие же дешевые банды всякого рода музыкантов. И тот Фюрст-театр, который тогда составлял центральное место веселящегося Пратера, играл исключительно бытовой репертуар на местном диалекте. Сразу даже и порядочно говорящим по-немецки иностранцам не легко все быстро схватывать и понимать. Но к концу сезона я уже стал хорошо понимать и диалект этих незатейливых демократических комедий, и «Posse», и жаргон извозчиков, прачек, лондинеров [1] и всех истых венцев. Диалектом ведь отшибает и говор образованных людей. Даже и эрцгерцоги любят щегольнуть диалектом.

Актер Фюрст, создатель театра в Пратере, был в ту пору еще свежий мужчина, с простонародной внешностью бюргера из мужиков, кажется, с одним вставным фарфоровым глазом, плотный, тяжелый, довольно однообразный, но владеющий душой своей публики и в диалоге, и в том, как он пел куплеты и песенки в тирольском вкусе. В нем давал себя знать австрийский народный кряж, с теми бытовыми штрихами, какие дает венская жизнь мелкого бюргерства, особенно в демократических кварталах города.

Чего-нибудь в таком роде по игре и репертуару не создала до сих пор ни одна из европейских столиц, не исключая и Парижа. Только в Италии не переводились народные театры и репертуар на местных диалектах — венец[ианском], ломбардском, пьемонтском, неаполитанском. Они не только не падают, а теперь, в начале XX века, добиваются даже всемирной известности, как те сицилийские труппы с их capi-comici [2], которые доезжают даже до наших столиц.

При такой любви венцев к зрелищам ничего не было удивительного в том, что в этой столице с немецким языком и народностью создалась образцовая общене-

---

[1] поденщиков (от *нем.* lohndiener).

[2] директорами комических театров *(итал.)*.

мецкая сцена — Бург-театр, достигшая тогда, в конце 60-х годов, апогея своего художественного развития.

Руководитель Бург-театра Генрих Лаубе считался первым знатоком сцены. И он, действительно, создал труппу к 60-м годам, какой нигде в Германии не было. Ему удалось найти несколько молодых талантов, таких, как трагическая актриса Вальтер, Зонненталь на амплуа героев, Левинс[кий] на сильные характерные роли. В его директорство укрепился и культ шекспировского репертуара. Это было и при другом директоре, Дингельштедте. Лаубе вскоре ушел после какого-то крупного столкновения с придворным интендантством и сделался директором нового частного драматического театра в Вене, побывал и в директорах лейпцигского театра.

Его уход был огромная потеря для этой первой немецкой сцены. Кто читал его книгу, посвященную истории Бург-театра *, тот знает, сколько он вложил любви, энергии, знаний и уменья в жизнь его. Характером он отличался стойким, крутоватым; но труппа все-таки любила его и безусловно подчинялась его непререкаемому авторитету.

Его руководительство резко отличалось от той системы исполнения, которая добилась у нас такого успеха в Московском Художественном театре. Для Лаубе выше всего стояла правда создания лица, дикция, тон и жестикуляция. Остальное: постановка в тесном смысле, тонкости сценировки, декоративный импрессионизм, а главное — подчинение отдельных исполнителей (как бы они ни были даровиты) режиссерской феруле. Все для него сводилось к тому, как разыгран был диалог, сколько в тоне и дикции актер или актриса вложили понимания, правды, благозвучия.

Пьесы из современной жизни шли в обстановке только приличной, но без всех тех бесконечных деталей, которыми жрецы нового искусства желают вызывать в публике ряд психических «настроений». Поэтому теперешние модернисты сценического дела нашли бы подобное ведение дела отсталым, слишком голым, сведенным к словесному выполнению ролей. Но это был — по тому времени — несомненный реализм на подкладке хорошего литературного понимания. Таких же традиций держался тогда и наш образцовый Малый театр, где также не блистали тонкостями постановки и режиссерской «муш-

тры», но где умели исполнять прекрасно и «Горе от ума», и «Ревизора», и весь репертуар Островского.

В стихотворной трагедии и драме Лаубе при всем своем реализме не мог все-таки освободить своих исполнителей от декламаторско-певучего тона немецких актеров. Эта немецкая манера держалась и в общем тоне исполнения шекспировских вещей, но все-таки с большей простотой, чем декламация парижских актеров «Comédie Française» в драмах Корнеля и Расина.

Шекспиром я и хотел прежде всего насытиться в Бург-театре. И мне случалось там (в оба моих зимних сезона в 1868—1869 и 1870 годах) попадать на такие серии шекспировских пьес, какие не давались тогда нигде — ни в Мюнхене, ни в Берлине, и всего менее в Лондоне и вообще в Англии. Где же, кроме тогдашней Вены, могли вы ходить на цикл шекспировских хроник, дававшихся восемь дней кряду? Для такого друга театра, каким был я, это являлось настоящим объедением.

И как гигиенично и удобно давали такие спектакли! Некоторые шекспировские вечера начинались в шесть и даже в половине шестого. И вообще для пятиактных драм и комедий держались правила начинать спектакли в половине седьмого. И к десяти с небольшим кончали самую обширную шекспировскую хронику и все отправлялись ужинать. Так когда-то давали спектакли в Париже в XVIII веке: начинали еще раньше, к 5 часам пополудни, и кончали к десяти.

Первые шесть недель моего венского сезона я едва ли не каждый вечер ходил в Бург-театр.

На оценку новейших «модернистов» режиссерского искусства постановка Шекспира (с его хрониками включительно) не представляла никаких «откровений», и теперь все это считалось бы заурядным, но тогда, повторяю, Шекспира нигде так не обставляли, как в Вене. Важно было то, что дирекция первой по тому времени немецкой сцены так высоко ставила *литературную* сторону театра — и всемирного и германского. Культ Шекспира в Бург-театре прямо отвечал тому культу британского творца, каким проникнута была критика в лице Гервинуса и других специалистов по Шекспиру. Такой культ существовал только в «Comédie Française», но исключительно к корифеям *своего* классического репертуара.

Старый Бург-театр помещался в самом Burg'e, то есть в дворцовом здании. Зала была узковатая, в виде продолговатого ящика, с тесным партером и тремя ярусами лож, кроме бенуаров, таких же низких, как в Московском Малом. Проникали в него под своды одного из дворцовых подъездов, через тесные коридоры. Все носило на себе еще отпечаток XVIII века. Ничего похожего на великолепное здание и внутреннюю отделку теперешнего Бург-театра, который тогда только что был распланирован на том месте, где он красуется. Сцена была скромных размеров, что не мешало все-таки давать столько пьес à grand spectacle [1].

Но публика не была так избалована, как теперь. Она состояла из самых отборных слоев столицы и держала себя чинно. Почти каждый вечер в придворной ложе сидел какой-нибудь эрцгерцог. Император появлялся редко. Цены кресел (даже и повышенные) составляли каких-нибудь 50—60% нынешних. Офицеры и студенты пользовались дешевыми местами *стоячего* партера, позади кресел.

Настоящей любимицей была Вальтер, на которой держался классический репертуар. Как «герой», Зонненталь, получивший впоследствии дворянство, был в расцвете сил. Соперником его на сильные характерные роли считался Леви[нский], а первым комиком состоял Л⟨арош⟩, очень тонкий актер старой школы, напоминавший мне игру И. П. Сосницкого. Из молодых актрис ни одна не выделялась крупным талантом, а актер Баумейстер, позднее сделавшийся «первым сюжетом» труппы, тогда считался только «хорошей полезностью».

Рядом с Шекспиром можно было в один сезон видеть решительно все вещи немецкого классического репертуара — от Лессинга до Геббеля. Только в Вене я увидал гетевского «Геца фон Берлихингена» — эту первую более художественную попытку немецкой сцены в шекспировском театре, сыгравшую такую же роль, как наш «Борис Годунов», также продукт поклонения Пушкина великому Уильяму.

И в течение всего сезона я изучал венский сценический мир все с тем же приподнятым интересом. Позднее (во второе мое венское житье) я ознакомился и с

[1] в пышной постановке *(франц.)*.

преподаванием декламации, в лице известного профессора Стракоша, приезжавшего для публичных чтений немецких стихотворных пьес и в Россию.

Правительственной драматической школы не было в столице Австрии. Но в консерватории Общества друзей музыки (куда одно время наш Антон Рубинштейн был приглашен директором) уже существовал отдел декламации. Я посещал уроки Стракоша. Он считался образцовым чтецом, но стоял по таланту и манере гораздо ниже таких актеров-профессоров Парижской консерватории моего времени, как Сансон, Ренье, Брессан, а впоследствии знаменитый jeune premier классической французской комедии — Делоне.

И Стракош, и другие знатоки декламации и дикции немецкой школы держались все-таки условного тона, особенно в пьесах «героического» репертуара, в стихотворных драмах и комедиях — с певучестью и постоянным *напиранием* на отдельные слова, возгласы и даже целые тирады. Это чувство усилия и внешней «подвинченности» до сих пор портит немецкую «читку», как выражаются у нас актеры. Только в комедии читка у них и тогда была проще, а в Бург-театре тон «высокой комедии» был хороший, мало уступавший манере вести диалог на лучших парижских сценах.

На жанровых венских сценах, где шли легкие комедии и *Posse* местного производства, в «Theater ander Wien», в «Karl-Theater» и в театре Иозефштадтского предместья (где шли постоянно и пьесы на венском диалекте) преобладал реализм исполнения, но все-таки с рутинными приемами и повадками низшего, фарсового комизма.

Среди таких комиков легкого жанра некоторые отличались своей веселостью, прирожденным комизмом и всегдашним уменьем приводить залу в жизнерадостное настроение. Огромной популярностью пользовался многие годы комик-буфф Блазель (по венскому прононсу Блёзель), особенно в пьесах из венской жизни, где он говорил на диалекте.

Литературные сферы Вены специально не привлекали меня после Парижа. И с газетным миром я познакомился уже позднее, в зиму 1869 года, через двоих видных сотрудников «Tagblatt'a» и «Neue Freie Presse». А в

первый мой сезон (с октября 1868 года по апрель 1869) я не искал особенно писательских связей.

Вышло это оттого, что Вена в те годы была совсем не город крупных и оригинальных дарований и ее умственная жизнь сводилась, главным образом, к театру, музыке, легким удовольствиям, газетной прессе и легкой беллетристике весьма не первосортного достоинства. Те венские писатели, которые приподняли австрийскую беллетристику к концу XIX века *, были тогда еще детьми. Ни один романист не получил имени за пределами Австрии. Не чувствовалось никаких новых течений, хотя бы и в декадентском духе.

На всех лежала печать посредственности, за исключением, быть может, некоторых тогда еще только начинавших лирических стихотворцев.

Национальной, чисто *австрийской* славой жил престарелый Грильпарцер. Его пьесы не сходили с подмостков Бург-театра вроде ⟨«Des Meeres und der Liebe Wellen»⟩ («Геро и Леандр») с Вальтер в роли Геро. Но он уже доживал свой век, нигде не показывался и принадлежал уже больше к царству теней, чем к действующим писателям.

Драматург (и отчасти беллетрист) Вильдебрандт — не знаю, был ли австриец родом. Он тогда был в расцвете своих сил, ставил пьесы на Бург-театре (и женат был на молодой актрисе этой сцены), но не представлял собою особенно крупной творческо-художественной величины.

Да и вообще тогда не было в Вене никаких *центров* чисто литературного движения. Поразительно бедной являлась столичная жизнь по части публичных чтений, литературных conférences, писательских вечеров, фестивалов или публичных заседаний литературного оттенка.

Печать «легкости» лежала на всей интеллигентной Вене. И даже как-то плохо верилось, что в этом самом городе есть старый университет, процветает блестящая Медицинская школа, куда приезжают учиться отовсюду — и из Германии, и из России, и из Америки.

В университет я заглядывал на некоторых профессоров. Но студенчество (не так, как в последние годы) держало себя тихо и, к чести тогдашних поколений, не срамило себя взрывами нетерпимого расового ненавист-

ничества. Университет и академические сферы совсем не проявляли себя в общем ходе столичной жизни, гораздо меньше, чем в Париже, чем даже в Москве в конце 60-х годов.

Жуирный, вивёрский склад венской культурной публики не выказывал никаких высших потребностей ни по философским вопросам, ни по религиозным, ни по эстетическим, ни по научным. По всем этим сферам мысли, работы и творчества значились профессора и разные специалисты. Но их надо было отыскивать. Они составляли особый мирок, который совсем почти не влиял на общее течение столичной культурности, на вкусы и увлечения большой публики.

Газеты и тогда уже входили в жизнь венца как ежедневная пища, выходя по несколько раз в день. Кофейни в известные часы набиты были газетной публикой. Но и в прессе вы не находили блеска парижских хроникеров, художественной беллетристики местного происхождения, ничего такого, что выходило бы за пределы Австрийской империи с ее вседневной политиканской возней разных народностей, плохо склеенных под скипетром Габсбургов.

И в венских газетах уже и тогда развилась — до степени махровой специальности — сексуальная и порнографическая публичность: обычай читать целые столбцы и страницы объявлений не только по части брачных предложений, но со всевозможными видами любовной корреспонденции, и прямо публичной и тайной проституции, продажности не только со стороны женщин, но и от разных «кавалеров». Это проникло и к нам, но только тридцать лет спустя. И каждый венец за утренним и вечерним кофе накидывается и до сих пор на эти специфические объявления, письма и предложения. Без них ему никакая газета не будет «всласть». Поэтому ни в какой столице мира (не исключая и Парижа) не происходит такой беспрерывной и несмолкаемой игры в забавные похождения и всякие формы эротизма, половой распущенности и торговли своим грешным телом — и вовсе не в одной сфере проституции, а во всех классах общества.

Венский фашинг того времени еще полон был чувственной жизненности и всяких позывов к развеселому житью, которые совсем не притихли всего каких-нибудь

два года после разгрома Австрии на полях Садовой. Об этом что-то никто не тужил. Империя сделалась *дуалистической,* и когда-то крамольные венгерцы теперь как бы спасали империю той ролью, какую они стали играть.

Венцы и венки справляли фашинг по балам, маскарадам и Promenade концертам — тогда еще настоящее венское удовольствие, не известное ни в Берлине, ни в Париже, дешевое и очень приятное. Кроме военных хоров, играл оркестр Штрауса. Все трое братьев были еще тогда живы. Иоганн уже перешел от сочинений вальсов к оперетке; а Иосиф и «Эди» (Эдуард) попеременно выступали капельмейстерами в разных залах, не с одной только палочкой, но и со скрипками. Иосиф был очень талантлив как композитор бальной музыки и скрипач, но его хмурое лицо не могло очень весело настроивать залу. Зато «Эди», менее даровитый и как композитор, и как скрипач, постоянно подпрыгивал под такт, франтоватый, подзавитой и с усиками в ниточку.

Легкость нравов во время фашинга делалась еще откровеннее, но все-таки на публичных балах и в маскарадах вы не видали такого сухого цинизма, как в тогдашнем Париже, — даже и в знаменитом заведении Шперля с его ежедневными объявлениями в «Tagblatt'e», где неизменно говорилось, что у Шперля балы «ob schön, ob»[1] и что «jeder Fremder geht zum Sperl»[2]. И, в самом деле, каждый приезжий мужчина, холостой или женатый, после театра отправлялся в этот общедоступный *притон* (если посмотреть построже) и кутил там до зари.

В Вене тип кокотки высшей марки еще не создавался, зато легких женщин всяких рангов и цен, начиная с кельнерши и гувернантки и кончая певичками и танцовщицами, город был полон. Да и в бюргерстве, в мелком чиновничестве и даже в светском кругу доступность женщин была и тогда такая же, как и теперь, в начале XX века.

В дворцовых залах, известных под именем «Reduten-Säle», в фашинг давались маскарады высшего сорта. Тут эрцгерцоги, дипломаты, генералы, министры смешивались с толпой масок. Это напоминало петербургские маскарады моей первой молодости в Большом театре и

---

[1] более чем хороши *(нем.).*

[2] каждый иностранец идет к Шперлю *(нем.).*

в Купеческом клубе — в том доме, где теперь Учетный банк.

Там можно было видеть веселого старика с наружностью отставного унтера, в черном сюртуке — дядю императора, окруженного всегда разноцветными домино. Тут же прохаживался с маской под руку и тогдашний первый министр Бейст, взятый на австрийскую службу из Саксонии — для водворения равновесия в потрясенной монархии Габсбургов.

Мой венский сезон не прошел для меня и без экскурсий в мир университетской науки, больше через посредство русских молодых людей — медиков и натуралистов.

Интересовала меня и славянская молодежь. Ко мне ходил и давал мне уроки языка один чех с немецкой фамилией, от которого я узнал много о том, что делается в Чехии и других славянских странах, особенно в Далмации. С далматинцами он много водился и, так же как и они, свободно говорил по-итальянски. Другой чешский патриот, званием фармацевт, был страстный поклонник России и стремился в Петербург слушать лекции Драгомирова *, тогда профессора Военной академии, с целью усовершенствовать себя в теории «уличной войны». Но революционера из него не вышло. Да и вообще тогдашнее славянское движение, как и впоследствии, не имело нашего *подпольного* характера.

В славянофилах я никогда не состоял. Не увлекался никогда и идеей панславизма, но охотно пошел на приглашение студентов общества галицийских русских «Основа» — иметь у них беседы о русской литературе.

Это были, в большинстве, сторонники того направления, которого держалась тогдашняя консервативно-русофильская пресса. Но и среди них уже назревало нечто более народническое, однако без крайних украинофильских мечтаний. Говорили и писали эти молодые люди на том смешанном и смешноватом семинарско-российском диалекте, какого и до сих пор, вероятно, держатся в Галиции консервативные русины.

Это слово «Russin» и «Russinischer» создано было австрийским правительством и официально «Основа» именовалась «Russinischer Grundstein».

И эти полухохлы и другие братья славяне из бедных студентов по необходимости льнули к тому очагу русского воздействия, который представлял собою дом тогдашнего настоятеля посольской церкви, протоиерея Р[аев]ского.

Этот радетель славяно-русского дела был типичный образец заграничного батюшки, который сумел очень ловко поставить свой дом центром русского воздействия под шумок на братьев славян, нуждавшихся во всякого рода — правда, очень не крупных — подачках. У него каждую неделю были и утренние приемы, после обедни, и вечерние. Там можно было всегда встретить и заезжих университетских молодых людей, и славянскую молодежь.

Мне лично гораздо симпатичнее был псаломщик посольской церкви, некий В., от которого я много наслышался о *политике* отца протоиерея. Псаломщик этот, бывший учитель, порывался все назад в Россию. Его возмущало то, что он видел фальшивого и самодурного в натуре и поведении своего духовного принципала. В моих «Дельцах» есть лицо, похожее на личность и судьбу этого псаломщика*. Он кончил, кажется, очень печально, но как именно — в точности не припомню.

Из русских, с какими я чаще встречался, двое уже покойники: нижегородец из купцов У., занимавшийся тогда изучением микроскопической анатомии. Он впоследствии получил кафедру и умер после долгой душевной болезни. Позднее я с ним встречался в Берлине.

Кажется, через него или через протоиерея Р[аев]ского, познакомился я с заезжим отставным кавалеристом, князем Е-товым, балетоманом и любителем театра, тогда еще богатым помещиком. Он приехал в Вену лечиться и привез с собою, как бы в качестве домашнего врача, молодого, очень красивого малого, только что кончившего курс в Москве и игравшего приятно на виолончели. Этот виолончелист-терапевт сделался впоследствии одним из ассистентов Захарьина и сам сделался профессором терапевтической клиники и доживает теперь в звании московской медицинской знаменитости.

Славянские студенты дали в конце сезона большой вечер с речами. Меня просили говорить, и это была единственная во всю мою жизнь *немецкая* речь. А немецкий язык и тут сослужил роль междуславянского языка.

Хотя я с детства говорил по-немецки, в Дерпте учился и сдавал экзамен на этом языке, много переводил — и все-таки никогда ничего не писал и не печатал по-немецки. Моя речь появилась в каком-то венском листке. В ней я — с австрийской точки — высказывался достаточно смело, но полицейский комиссар, сидевший тут, ни меня, ни каких других ораторов не останавливал.

Вообще особо строгого полицейского надзора мы, русские, не чувствовали. Всего раз, да и то в мой следующий приезд, меня пригласили к комиссару, и он, весьма добродушно и как бы конфузясь, спрашивал меня, чем я занимаюсь и долго ли намерен пробыть в Вене. Тем это и покончилось.

В Чехии готовились к трехсотлетней годовщине Яна Гуса.

Мне представлялся очень удачный случай побывать еще раз в Праге — в первый раз я был там также, и я, перед возвращением в Париж, поехал на эти празднества и писал о них в те газеты, куда продолжал корреспондировать. Туда же отправлялся и П. И. Вейнберг. Я его не видал с Петербурга, с 1865 года. Он уже успел тем временем опять «всплыть» и получить место профессора русской литературы в Варшавском университете.

Прагу нашел я в это время года очень оживленной, с тем налетом старины, которую чувствуешь в Москве, но гораздо культурнее и благоустроеннее. По случаю национальных празднеств — и большой съезд, вся чешская интеллигенция была в сборе. Нас, русских, очень услаждали, и нас с князем Е. (тем самым, который сошелся со мною в Вене) поместили в доме какой-то чешской титулованной барыни. Перезнакомился я с группой тогдашних «младочехов»* и их главным штабом — редакцией «Narodi Listy», с братьями Грейер и с другими патриотами и ораторами на всех тогдашних сборищах и рефератах.

Был я с визитом и у знаменитого Палацкого и нашел его по языку и тону и всему обличью — немецким филистером. От него я услыхал и замечание насчет туранской[1] примеси к великорусскому племени.

---

[1] чужеродной, иноязычной *(лингвистич. терм.)*.

— Оттого, — сказал он, — у вас в словах, как трт (торт), вран, врата и других, вставлена везде гласная о.

В женском клубе, на торжествах в замке Софийского острова, на парадном спектакле, где композитор Сметана сам дирижировал своей оперой «Проданная невеста», — всюду нам, русским, оказывали большое внимание. В редакции «Народных листов» меня все просили пустить в ход в моих корреспонденциях мысль: как хорошо было бы для сближения с Россией организовать поездку в Прагу нашей оперной и даже балетной труппы. Мысль о балете показалась странной редакции той русской газеты, куда я писал. А сорок лет спустя наши балетные триумфы в Париже прогремели* как настоящее художественное событие.

Поездка в Гусеницы — родину Гуса — осталась в моей памяти как настоящее столпотворение вавилонское по ужасной свалке на станции Пильзен, где пассажиры нашего поезда атаковали буфет с пильзенским пивом. Селение Гусеницы приняло нас к ночи особенно радушно. И на нескольких транспарантах красовались фразы на русском языке, вроде: «Привет братьям русским».

И в таком селении все было неизмеримо культурнее, чем у нас, в России. Поражала зажиточность крестьян, общая грамотность, живое чувство своего национального достоинства. Когда показалась процессия к дому, где родился Гус, мы любовались целой кавалькадой молодых парней и шествием девушек в белом — и все это были крестьяне и крестьянки.

Нас, корреспондентов, посадили на помост у какого-то сарая, на самом припеке. Этим был всего сильнее недоволен П. И. Вейнберг и мой лондонский приятель, англичанин Рольстон, приехавший также на эти торжества. Тогда, в ожидании процессии, Вейнберг сочинил такое четверостишие, оставшееся у меня в памяти. Кажется, я уже приводил его печатно в другом месте.

Ян Гус в Констанце на костре
Не так страдал от пламенной стихии,
Как страждут, сидя на жаре,
Корреспонденты из России.

Но эта поездка закончила характерной главной нотой мое первое пребывание в веселой и привольной Вене, которую я променял на Париж без особого сожаления.

Потянуло заново в Париж. Жил я опять на Итальянском бульваре, наискосок старой Оперы, вскоре потом сгоревшей.

Тут я остановлюсь на эпизоде знакомства моего с Дюма-сыном.

Я уже упомянул вскользь о том, как он перед приездом моим из Лондона заходил ко мне и оставил карточку, на которой написал несколько очень любезных строк, приглашая к себе, когда я вернусь в Париж. И в приписке стояло, что «Madame Dumas — une compatriote».

Я уже знал это, госпожа Дюма была не кто иная, как бывшая г-жа Н[арышки]на, та самая, у которой на вечере, в Москве, был Сухово-Кобылин в ночь убийства француженки на его квартире. После этой истории она уехала за границу, сошлась с Дюма, от которого имела дочь еще до брака, а потом вышла за него замуж.

Дюма жил в Елисейских полях (кажется, в Avenue Friedland) в барской квартире, полной художественных вещей. Он был знаток живописи, друг тогдашних даровитейших художников, умел дешево покупать их полотна начерно и с выгодою продавал их. Тогда весь Париж знал и его очень удачный портрет работы Дюбёфа.

Как только я написал ему записку, водворившись в Париже, он сейчас же пригласил меня обедать.

Так у нас из моих сверстников — и старших и младших — никто никогда не жил в России. Такой роскошной обстановки и такого train de maison[1] не было и у Тургенева на его вилле в Баден-Бадене. А уж о Гончарове, Достоевском, Салтыкове, Островском и более богатых людях, вроде Фета и даже Толстого, и говорить нечего.

Обед, на который я был зван, был вовсе не «званый обед». Кроме меня и семьи, был только какой-то художник, а вечером пришел другой его приятель — фельетонный романист, одно время с большой бульварной известностью, Ксавье де Монтепен. И эти господа были одеты запросто, в пиджаках. Но столовая, сервировка обеда, menu[2], тонкость кухни и вин — все это было са-

---

[1] домашнего быта *(франц.)*.
[2] меню *(франц.)*.

мое первосортное. Тут все дышало большим довольством, вкусом и крупным заработком уже всемирно известного драматурга.

Дюма был тогда еще в полной силе, бравый, рослый мужчина, военного вида, в усах, с легкой проседью, одетый без франтовства, с тоном умного, бывалого, речистого парижанина, очень привычного к светским сферам; но не фешенебля, не человека аристократической воспитанности.

Госпожа Дюма была уже дама сильно на возрасте, с рыжеватой шевелюрой, худощавая, не очень здорового вида, с тоном светской русской барыни, прошедшей «высшую школу» за границей. Во французском акценте чувствовалась московская барыня, да и в более медленном темпе речи.

Из дочерей старшая, если не ошибаюсь, носила фамилию своего отца Н[арышки]на, а девочка, рожденная уже в браке с Дюма, очень бойкая и кокетливая особа, пользовалась такими правами, что во время десерта, когда все еще сидели за столом, начала бегать по самому столу — от отца к матери.

Разговор Дюма был чисто *литераторский,* не столько преисполненный самовлюбленности и славолюбия, сколько соперничества с своим тогдашним главным соперником по сцене — Сарду. Вот остроумное сравнение, какое он сделал постройке всякой пьесы Сарду:

— Это все равно, как в фокусах... Мускатный шарик, попадая из-под одного стаканчика в другой, все растет, пока не достигнет самых больших размеров, в четвертом стаканчике он сокращается, а в пятом приходит в нормальную величину. Так точно строит свои пьесы и мой собрат Сарду.

Дюма, сделавший себе репутацию защитника и идеалиста женщин, даже падших («Дама с камелиями»), тогда уже напечатал беспощадный анализ женской испорченности — роман «Дело Клемансо» и в своих предисловиях к пьесам стал выступать в таком же духе *. Даже тут, в присутствии своей супруги, он не затруднился повести разговор на тему безыдейности и невежественности светских женщин... и в особенности русских. У него вырвалась, например, такая подробность из их интимной жизни:

— Иногда спросишь мадам Дюма, о чем она думает, она отвечает так невозмутимо: «Да ни о чем».

Разговор этот происходил уже в гостиной, около камина. Госпожа Дюма не спорила с ним, а только снисходительно улыбалась. Она еще интересовалась немного Россией, но он — нисколько, и его совсем не занимало то, что у нас делалось после освобождения крестьян.

Он опять завел речь о невежественности дам и уверял, что когда-то его близкая приятельница, графиня Нессельроде (дочь графа Закревского), которую он когда-то взял в героини своего любовного романа — «La dame aux perles»[1], написанного в pendant к «La dame aux camélias»[2], приехала к нему с какого-то обеда и спрашивала его, «про какую такую Жанну д'Арк все толковали там».

И он прибавил:

— Я уверил ее, что это была знаменитая куртизанка эпохи Людовика Пятнадцатого.

Может быть, это и не была выдумка; но слишком уж он бесцеремонно относился к полу, представительницей которого была ведь его супруга.

Впечатление всего этого дома было какое-то двойственное — ни русская семья, ни совсем парижская. Хозяйка оставалась все-таки московской экс-львицей 40-х годов, старшая дочь — девица без определенной физиономии, уже плоховато владевшая русским языком, а меньшая — и совсем французская избалованная девочка.

В своих пьесах и статьях тогдашний Дюма, несомненно, производил впечатление умного и думающего человека, но думающего довольно однобоко, хотя, по тому времени, довольно радикально, на тему разных моральных предрассудков. Ему, как незаконному сыну своего отца (впоследствии только узаконенному), тема побочных детей всегда была близка к сердцу. И он искренно возмущался тем, что французский закон запрещает «la recherche de la paternité»[3], чем и поблажает беспутству мужчин-соблазнителей.

Если Дюма не отличался сладостью, когда говорил о женской испорченности, то мужчинам доставалось от

---

[1] «Дама с жемчугом» *(франц.)*.
[2] в параллель к «Даме с камелиями» *(франц.)*.
[3] устанавливать отцовство *(франц.)*.

него еще сильнее. И в этих филиппиках он достигал большого подъема, писал сильным, метким, образным языком.

Мой единомышленник Г. И. Вырубов особенно высоко ставил тогдашний стиль Дюма в его статьях и брошюрах.

Вечер закончился тем, что в час нашего вечернего чая подали пиво в изящных стаканах и Дюма стал расхваливать этот «напиток богов». Пиво было венское, которое победило парижан на выставке 1867 года — так называемое дрейеровское «Le Gerbier». А мюнхенское захватило кафе и пивные бульваров уже позднее, в 80-х и особенно в 90-х годах.

Хозяин сводил меня в свою спальню (он спал отдельно), всю увешанную прекрасными картинами парижских художников, все его приятелей, и при этом рассказывал мне, кого из них он первый «открывал» и, разумеется, приобретал их полотна за пустую цену — прежде чем они входили в славу.

В памяти моей остался конец нашего разговора о Тургеневе и г-же Виардо, когда я уже уходил и Дюма провожал меня до передней. Я вспомнил тогда, что один из моих собратов (и когда-то сотрудников), поэт Н. В. Берг, когда-то хорошо был знаком с историей отношений Тургенева к Виардо, теперь только отошедшей в царство теней (я пишу это в начале мая 1910 года), и он был того мнения, что, по крайней мере тогда (то есть в конце 40-х годов), вряд ли было между ними что-нибудь серьезное, но другой его бывший приятель Некрасов был в ту же эпоху свидетелем припадков любовной горести Тургенева, которые прямо показывали, что тут была не одна «платоническая» любовь.

— Знаете что, — сказал мне Дюма тоном бывалого и в точности *осведомленного* человека. — Отзыв господина Берга меня нисколько не удивил бы...

— Почему? — остановил я.

— А потому, — Дюма даже не понизил тона, — что Полина всегда имела репутацию любительницы... женского, а не мужского пола, d'une ...

И он употребил при этом циническое слово парижского арго.

Оставляю эту подробность на совести покойного. Да оно и не существенно, ведь были, всегда есть и будут

и мужчины и женщины, которые, как гоголевский городничий, именинники и именинницы «и на Антона и на Онуфрия».

На тогдашней выставке в Елисейских полях Дюма пригласил меня на завтрак в летний ресторан «Le Doyen», долго ходил со мною по залам и мастерски характеризовал мне и главные течения, и отдельные новые таланты. С нами ходил и его приятель — кажется, из литераторов, близко стоявших к театру. И тут опять Дюма выказал себя на мою тогдашнюю оценку русского слишком откровенным и самодовольным насчет своих прежних любовных связей.

Разговор зашел о «Comédie Française» и об одной актрисе, державшей тогда амплуа jeune première в комедии и легкой драме, не очень красивой и даровитой, но довольно симпатичной. Я не назову ее по фамилии. Дюма заговорил о ней очень сочувственно, повторяя, что никто не знает, какая это милая женщина во всех смыслах.

— Vous savez, — добавил он, — c'est moi qui l'ai ouverte[1].

И это слово «открыл» он сопровождал такой миной, что ему весьма возможно было придать более реальный и довольно-таки бесцеремонный смысл.

Но тогда в парижском писательском мире и не то и не так еще говорилось! Нечего греха таить — и среди русских писателей разных поколений водилась замашка довольно-таки цинического жаргона. Не один Дюма-сын при личном знакомстве оказывался, на более строгую оценку, по своему этическому «я» ниже сортом, чем его талант, ум, наблюдательность, знание жизни. Разве это нельзя сказать в такой же мере и про «поэта-солнце», В. Гюго? А также в значительной степени и про любого знаменитого писателя, не исключая ни Флобера, ни Золя, ни Доде, ни Мопассана?

У французских писателей, особенно если они добились известности, всегда найдете вы больше писательской исключительности и самопоглощения своим писательским «я». С кем я ни беседовал из них на моем веку, мне бросалось в глаза их полное почти равнодушие ко всему, что не их дело, их имя, их писательские успехи.

---

[1] Вы знаете, ее открыл не кто иной, как я (*франц.*).

Дюма, быть может, еще менее хромал на эту ножку. Его все-таки занимали вопросы общественной морали и справедливости. И его интерес к театру, к изящным искусствам делал его беседу более разнообразной. И его ум, меткость суждений и независимость взглядов делали его разговор все-таки менее личным и анекдотическим, чем с большинством французов из литературного и артистического мира.

Со мною его тон был всегда самый приветливый, без малейшего «генеральства». Позднее он не забыл даже послать мне билет на первое представление пьесы, написанной им в сотрудничестве, под псевдонимом. Она шла в «Gymnase» и большого успеха не имела.

Как он переделывал пьесы, которые ему приносили начинающие или малоизвестные авторы, он рассказывал в печати. Из-за такого сотрудничества у него вышла история с Эмилем Жирарденом — из-за пьесы «Le supplice d'une femme»[1]. Жирарден уличил его в слишком широком присвоении себе его добра. Он не пренебрегал — как и его соперник Сарду — ничьим чужим добром, когда видел, что из идеи или сильных положений можно что-нибудь создать ценное. Но *его* театр все-таки состоял из вещей, им самим задуманных и написанных целиком.

Я имел случай и еще раз убедиться в том, как он отзывчиво способен был откликнуться на такое письмо, которое другая бы «знаменитость» оставила без всякого ответа или же ограничилась бы общими местами.

Это было в конце лета того же 1869 года. После поездки в Испанию (о которой речь пойдет дальше) я, очень усталый, жил в Швейцарии, в одном водолечебном заведении, близ Цюриха. И настроение мое тогда было очень элегическое. Я стал тяготиться душевным одиночеством холостяка, которому уже перевалило за тридцать, без всякой сердечной привязанности.

Таким настроением было проникнуто письмо, написанное мною Дюма. И он тотчас же ответил мне на восьми страницах — своим крупным, круглым почерком, — где он остерегал меня, как испытанный мизогин[2], от серьезного сближения с женщиной. До сих пор помню

---

[1] «Мученье женщины» *(франц.)*.

[2] женоненавистник (от *франц.* misogyne).

его характерные две фразы: «Prenez un ami», «Ayez un chien»[1]. И то, что он говорил тут об опасности такого критического момента в жизни одинокого мужчины, было не только очень остроумно и метко, но и в прекрасном, искреннем тоне. Я что-то не помню, чтобы мне за всю мою жизнь молодого писателя привелось получить подобное послание от какого-нибудь из корифеев нашей тогдашней беллетристики.

Быть может, иной читатель найдет, что мне не следовало бы так строговато оценивать Дюма, раз он со мною выказывал себя так благожелательно. На это я скажу раз навсегда (и для всего последующего в моих воспоминаниях), что я ставлю выше всего полную правдивость в передаче того, как я находил известное лицо при личном знакомстве, совершенно забывая о том, как оно относилось лично ко мне. Если б он или кто другой на его месте обошелся со мною невнимательно или некрасиво, это не помешало бы мне оценить его с полной правдивостью. Оговорка тут должна быть одна: надо, чтобы впечатление осталось в памяти достаточно точное. За это нельзя ручаться абсолютно, особенно в деталях, но в общем это возможно.

И вообще я не считаю желательным и ценным придерживаться всегда уклончивого или слащавого тона, говоря даже о покойниках. Ни обвинять, ни оправдывать их нечего, но не следует и бояться высказывать то, что осталось в вашей памяти о человеке, кто бы он ни был и что бы вам впоследствии ни досталось от этого в печати.

В Париж меня потянуло из Вены, но я вскоре почуял, что прежнего интереса парижской жизнью уже не было.

Живя почти что на самом Итальянском бульваре, в Rue Lepelletier, я испытал особого рода пресноту именно от бульваров. В первые дни и после венской привольной жизни было так подмывательно очутиться опять на этой вечно живой артерии столицы мира. Но тогда весенние сезоны совсем не бывали такие оживленные, как это начало входить в моду уже с 80-х годов. В мае, к концу его, сезон доживал и пробавлялся кое-чем для приез-

[1] Заведите друга. Купите собаку *(франц.)*.

жих иностранцев, да и их не наезжало и на одну десятую столько, сколько теперь.

И вся банальная подкраска бонапартова режима выступала в виде своих лишаев и подтеков. Эти каменные лица кокоток на террасах кафе и вдоль тротуаров, эти треугольные шляпы сержантов (как назывались тогда полицейские), это запойное сиденье в кафе и пивных тысяч праздного народа с его приевшимися повадками мелкого французского жуирства. В Елисейских полях — трескотня плохих оркестров и дозволенный цинизм песенок и канканных кривляний. И отсутствие настоящего веселья. Наемные плясуны и плясуньи, толпа мужчин, глазеющих на эти кривлянья, выставка стареющих, намазанных кокоток.

Я стал подумывать, куда бы поехать на лето с таким же интересом, как в прошлом году. На море было еще рано, да и на купаньях я увидал бы опять тот же жуирный Париж.

В числе моих более близких знакомых французов состоял уже с позапрошлого зимнего сезона приятель Вырубова и русского химика Л[угинина] — уже очень известный тогда в парижских интеллигентных сферах профессор Медицинской школы по кафедре химии Альфред Наке. О нем я и раньше знал, как авторе прекрасного учебника, который очень ценился и у нас. Вырубов был уже с ним давно в приятельских отношениях, когда я познакомился с Наке.

В это время он уже не был больше профессором, после того, как в начале своей карьеры преподавал химию в Палермо.

Меня к нему привели в лечебницу, известную тогда в Париже под именем «Maison Dubois» [1]. Это был род санатории, которая была пожертвована богатым буржуа городу Парижу.

Наке отсиживал в нем срок своего тюремного заключения по политическому процессу. Он уже был автор радикально-социальной книжки и предварительно сидел в Мазасе *, уже не помню, по тому ли самому делу или по какому другому.

Тогда политическое правосудие отправлялось в виде суда исправительной полиции, без присяжных, и было,

---

[1] Дома Дюбуа *(франц.)*.

разумеется, крайне произвольным. Но все-таки возможны были такие послабления: государственному преступнику, приговоренному к тюрьме, позволить отсиживаться в санатории без всякого специального надзора. Оттуда он мог преспокойно убежать, когда ему угодно.

Наке послужил мне моделью лица, введенного мною впоследствии в роман «Солидные добродетели» *. Узнать его было нетрудно, и я, набрасывая этот портрет, ничего не преувеличивал и относился к самому оригиналу симпатично.

В нем было тогда много привлекательного. Помимо знаний, живого ума, большой житейской бывалости, он привлекал редким в французе добродушием, простотой, отсутствием мелочности.

По происхождению еврей, с юга Франции (из города Карпантраса), с типичным еврейским профилем, с сильной горбиной, искажавшей его фигуру, он отличался тем, что был, как французы говорят, «un panier percé», то есть крайне нерасчетлив и щедр. Вырубов всегда его вышучивал на эту тему.

Лишившись профессорского места, Наке перебивался учено-литературной работой (главным образом, как сотрудник словаря Ларусса), всегда нуждался и всегда готов был поделиться, чем только мог.

К нему в санаторию ходили постоянно разные народы, в том числе тот самый Рауль Риго, который во время Коммуны был чем-то вроде министра полиции и производил экзекуции заложников. Водил он знакомство и с тогдашними русскими эмигрантами, с той компанией, которая жила коммуной и занималась отчасти сапожным ремеслом: бывший кавалерист О[зеров], некий Т., и тот С[омов], который попал ко мне в секретари и похож был очень на Ломова, являющегося также в «Солидных добродетелях» *. Кажется, этой группой и ограничивалась тогда русская молодая эмиграция, какую можно было встретить в Латинском квартале. Наке особенно интересовался О[зеро]вым и той русской барышней-хохлушкой, на которой тот потом женился.

У Наке всегда можно было найти гостей. И я удивлялся — как он мог работать: не только писать научные статьи, но и производить даже какие-то химические опыты.

К возвращению моему на парижские бульвары он

уже отсидел свой срок. Но его опять собирались судить за книжку о государственной собственности и браке, где тогдашняя прокуратура усмотрела колебание всех основ. Процесс еще не начался, и Наке пока оставался на свободе.

Кажется, он привел ко мне Благосветлова, издателя «Дела», которого я в Петербурге никогда и нигде не встречал. В Париже у Благосветлова был постоянный сотрудник, один из братьев Реклю — старший, Эли. С ним я уже был знаком и у него видал и его младшего брата Элизе, и тогда уже известного географа, но еще не прославившегося как анархист.

Сколько помню, в тот же сезон приезжали в Париж Корш и Краевский. Я был сотрудником обоих. У Краевского я был раз в Петербурге, а Корша видел только раз у Писемского, но знаком еще не был.

Корш был доволен и моими корреспонденциями в текст «Санкт-Петербургских ведомостей», и в особенности моими фельетонами «С Итальянского бульвара». Но сезон кончался, и писать было почти что не о чем.

Мое первое впечатление от знакомства с Коршем было сразу довольно точное.

Добродушный, не очень блестящий умом, либерально мыслящий москвич, нервный, легко возмущающийся, довольно наивный, человек лучших традиций 40-х годов, как журналист, любящий свое дело, но всегда подавленный своими счетами с тогдашней цензурой. В нем не было той хозяйской сметки и в редакционном смысле, какую выказывал Краевский, когда он мне и на письмах, и при личных свиданиях в Париже намечал то, что было бы особенно ценно для его газеты. Но Краевский был то, что народ называет «кулак», то есть чистой крови оппортунист, умевший ловко лавировать между подводными камнями русского режима, а Коршу дороги были известные принципы и идеалы. Но в выборе ближайших участников в газете он не име дара предвидения. Сделав Суворина и Буренина главными своими сотрудниками, он верил в их радикализм и не распознал в них будущих матадоров такого органа, как «Новое время».

Он приблизил к себе Жохова — того, что был убит на дуэли Евгением Утиным *, — как передовика по земским и вообще внутренним вопросам, и я одно время думал, что этот Жохов писал у Корша и критические

фельетоны. И от Корша я тогда в первый раз узнал, что критик его газеты — Буренин, тот самый Буренин, который начинал у меня в «Библиотеке» юмористическими стишками.

В Париже я познакомился и с Жоховым и нашел в нем довольно милого, по многим вопросам, петербургского чиновника, пишущего в газетах, довольно речистого и начитанного в чисто петербургских интересах, но совсем не «звезду», без широкого литературного, философского и даже публицистического образования. Я водил его по Парижу, как раньше редактора «Русского инвалида», и полковник, при всей офицерской складке, и то оказывался нисколько не менее развитым, чем этот передовик «Санкт-Петербургских ведомостей». Корш называл Жохова «мой приятель», и видно было, что он о нем очень высокого мнения.

У Благосветлова, как я сказал выше, были постоянные сношения с Эли Реклю. Оба брата, а также и Наке, называли его «Blago» и считали едва ли не самым радикальным русским журналистом.

Ко мне он обратился прямо, в тоне самого бывалого редактора-издателя, с предложением дать в его «Дело» повесть. Это была та вещь, которая появилась у него под заглавием «По-американски» *.

В Благосветлове все было очень своеобразно: и наружность, и тон, и язык, и манеры. Если он был из «духовного» звания, то этого нельзя было сразу подметить в нем, но *учитель* в нем сразу чувствовался из тогдашних радикалов.

Благосветлов попал в Лондоне в домашние учителя, в семейство Герцена; но он сумел, вернувшись в Петербург, сделаться «persona grata» у графа Кушелева-Безбородко и после редакторства «Русского слова» сделаться издателем сначала его, а потом «Дела».

С ним я вошел в более продолжительное знакомство, когда сам вернулся в Россию в январе 1871 года.

За границей я написал для «Дела» повесть «По-американски», которая явилась *по счету* первой моей повестью, как раньше, в 1866 году, «Фараончики», написанные в конце того года в Москве, были моим первым рассказом.

Как беллетрист, я после «Жертвы вечерней» задумал роман «На суд» и начал его писать в Вене.

Он мне как-то не давался, и писал я его с большими паузами. Его замысел не был навеян ближайшей русской жизнью, а представлял собою интимную супружескую драму, но все же на русской, барской почве. Узел драмы — преступление мужа, в котором жена делается сообщницей, только участвуя в мнимом его сумасшествии, навеян, я это могу теперь сказать, историей Сухово-Кобылина, заподозренного, как я это рассказывал выше, в убийстве в запальчивости своей любовницы-француженки. Но ни характер героя, ни его жены, ни обстановка — ничто не подсказано той историей, которую я слыхал только в самых общих чертах.

Это был мой опыт, и притом единственный, написать целый (хотя и небольшой) роман на психическую тему.

Роман прошел тихо, и только гораздо позднее в «Отечественных записках», в одной рецензии, где разбирались типы женщин в новейшей беллетристике, было разобрано и лицо героини, но с узкофеминистской точки зрения. Автор статьи была Цебрикова *.

Наке предстояло снова отсиживать, и он затеял отправиться в Испанию. Он нашел себе работу корреспондента в одной из тогдашних оппозиционных газет и предложил мне поехать с ним в Мадрид, соблазняя меня тем, что момент был очень интересный — после прошлогодней сентябрьской революции и регентства маршала Серрано *, когда приближался день обнародования новой конституции.

Это было в последних числах мая 1869 года. Сколько помню, я успел столковаться с Коршем насчет этой поездки.

Тогда мы не были избалованы огромными окладами и подъемными корреспондентов. Я не попросил никакого ежемесячного содержания, довольствуясь той построчной платой, какую уже получал в «Санкт-Петербургских ведомостях». Теперь ни один молодой писатель, с некоторой уже известностью, не удовольствовался бы такими условиями. Но повторяю: мы тогда не были избалованы.

Я еще тогда не решил, когда я вернусь в Россию; но я был вполне свободен, в Лондон меня не тянуло, Париж делался летом неинтересен, а тут я мог месяца

два провести в стране, о которой не раз мечтал, но до нее еще не доехал.

Об Испании я читал письма Боткина *, но уже давно, а в Париже стал следить за событиями освободительного движения, особенно после сентябрьской революции.

Встреча и знакомство с Кастеляром (о чем я говорил выше) приблизили ко мне все, что делалось в этой стране, и я прочел и несколько статей и книжек на тему тогдашней Испании.

Всего этого было бы еще недостаточно, чтобы отправиться в страну «заправским» корреспондентом. Но ни я сам, ни редакция газеты, куда я собирался писать, и не смотрели так серьезно на подобную поездку. Меня успокоивало и то, что я, через посредство Наке, попаду сейчас в круг разноплеменных корреспондентов и испанцев из радикального лагеря, в чем я и не ошибся.

Языка я еще не знал настолько, чтобы изъясняться на нем как следует, но я начал его изучать еще раньше и надеялся овладеть им скоро. Газеты я мог уже довольно свободно читать.

Меня не смутило и то, что я отправляюсь на такой юг летом и рискую попасть на большие жары и оставаться в Мадриде в духоте городской жизни. Но молодость брала свое. Не смущало меня и то, что я не имел никаких *добавочных* средств для этой поездки. И тут Наке явился «мужем совета». Выхлопотывая себе даровой проезд, он и мне выправил безденежный билет до Мадрида. Сам он уехал раньше меня за несколько дней. А меня что-то тогда задержало.

И я смело пустился в путь один, без всякого компаньона, с одними только сведениями из печатного гида и несколькими десятками фраз из «разговоров» на железной дороге, таможне, в ресторанах и гостиницах.

Я не мог останавливаться по дороге, боясь лишних расходов и чувствуя себя еще слишком малоподготовленным, и прямо из Парижа на другой же день перед обедом прибыл в Мадрид и на перроне вокзала увидал горб и ласковое лицо моего парижского собрата.

Испания! До сих пор эта страна остается в моей памяти как яркая страница настоящей молодости. Мне тогда еще не было полных 29-ти лет *. И я искренно

упрекаю себя в настоящий момент за то, что я не то что вычеркнул ее из своей памяти, а не настолько сильно влекся к ней, чтобы еще раз и на более долгий срок пожить в ней.

Если жизнь отводила меня от поездки в Испанию в течение следующих двух десятилетий (после 1869 года), то есть до 90-х годов прошлого столетия, то в последние десять лет я, конечно, нашел бы фактическую возможность ехать туда в любое время года и пожить там подольше.

Но располагает, в сущности, не наша «свободная воля», а то, что по-ученому называется «детерминизмом».

Объяснение можно найти и более точное.

Вышло так, что в течение этих долгих лет — в общем, с лишком сорока лет! — я ни разу не задавался какой-нибудь программой изучения Испании на месте, хотя, ознакомившись с языком, стал читать многое в подлиннике, что прежде было мне доступно лишь в переводах, начиная с «Дон-Кихота».

Язык сохранил для меня до сих пор большое обаяние. Я даже, не дальше как пять лет назад живя в Биаррице, стал заново учиться разговорному языку, мечтая о том, что поеду в Испанию, на всю осень, что казалось тогда очень исполнимым, но это все-таки по разным причинам не состоялось. А два года раньше из того же Биаррица я съездил в Сан-Себастьяно и тогда же обещал сам себе непременно пожить в Испании подольше.

Задайся я каким-нибудь определенным планом, как например, насчет Рима (который мне долго решительно не давался), я бы уже успел написать что-нибудь вроде «Вечного города»* после того, как я отправился в Рим осенью 1891 года с твердым намерением *заново* изучить его, для чего я, также заново, стал подготовлять себя к нему целый год.

Может быть и то, что после нового восстановления Бурбонов и падения Республики ни Мадрид, ни провинции *не казались* мне достаточно интересными.

Но если моя поездка к июлю 1869 года и была слишком краткой и летучей, то все-таки я вынес из нее живое и яркое настроение и жил среди испанцев в очень яркий момент и политического и социального кризиса.

Я не стану здесь рассказывать про то, чем тогда была Испания. Об этом я писал достаточно и в корре-

спонденциях, и в газетных очерках, и даже в журнальных статьях *. Не следует в воспоминаниях предаваться такому *ретроспективному* репортерству. Гораздо ценнее во всех смыслах освежение тех «пережитков», какие испытал в моем лице русский молодой писатель, попавший в эту страну одним из первых в конце 60-х годов.

Одновременно со мною не было ни одного пишущего русского. И литература наша об Испании была «никакая», за исключением боткинских писем, но они были уже из совсем другой эпохи.

Не могу утверждать — *до* или *после* меня проживал в Испании покойный граф Салиас. Он много писал о ней в «Голосе», но тогда, летом 1869 года, его не было; ни в Мадриде, ни в других городах, куда я попадал, я его не встречал. Думаю, однако, что если б ряд его очерков Испании стал появляться раньше моей поездки, я бы заинтересовался ими. А «Голос» я получал, как его корреспондент.

Не нашел я в Мадриде за время, которое я провел в нем, ни одного туриста или случайно попавшего туда русского. Никто там не жил, кроме посольских, да и посольства-то не было как следует. Русское правительство после революции, изгнавшей Изабеллу в 1868 году, прервало правильные сношения с временным правительством Испании и держало там только «поверенного в делах». Это был г. Калошин, и он представлял собою единственного россиянина, за исключением духовенства — священника и псаломщика.

И я сейчас же покончу с моими соотечественниками в Мадриде, рассказав, как я попал в посольство.

Это случилось уже через две-три недели после моего приезда. Мне понадобилось засвидетельствовать две доверенности на имя моего тогдашнего приятеля князя А. И. Урусова для получения за меня поспектакльной платы из конторы московских театров. И вот я по указаниям знакомых испанцев отыскал наше посольство, вошел во двор и увидал в нем бородатого, плотного мужчину, сидевшего под навесом еще с кем-то.

Это был псаломщик. Он мне чрезвычайно обрадовался и стал сейчас же изливаться, как ему здесь тоскливо; взялся передать мои бумаги г. Калошину, у которого я и был на другой день.

Этот дипломат, теперь уже покойный, принял меня

изысканно-вежливо и мягко упрекнул меня в том, что я раньше не навестил своего соотечественника. А наглядным доказательством того, как много было текущих дел по консульской части, может служить то, что на моих доверенностях в *конце июля* (то есть в конце целого полугодия) стояли №№ 3-й и 4-й.

Про этого Калошина говорили мне и в России (что я слыхал позднее), и в Мадриде, что он щеголял прекрасным знанием не только литературного и светского кастильского языка, но и разными диалектами иберийского полуострова. Знакомые нам с Наке молодые люди — испанцы рассказывали нам, что русский chargé d'affaires[1] изумлял их своим аппетитом. Он ходил завтракать и обедать в один из самых лучших кафе-ресторанов и проедал каждый день, один, больше чем на двадцать *песет*. Для умеренных в пище «гидальго» это было *нечто колоссальное!*

Наке привез меня в квартиру, где поместился тотчас по приезде, то, что у нас называется «у жильцов». Это было семейство Ортис, жены секретаря Марфорио, фаворита Изабеллы, бежавшего с ней в Париж.

Довольно пикантно показалось мне то, что мой республиканец-социалист выбрал таких хозяев. Он искал дешевизны так же, как и я. Мы оба жили на гонораре, да и то и ему и мне редакции высылали чеки с большой оттяжкой, и раз мы с ним дошли до того, что у нас *обоих* в портмоне осталось по одному реалу (25 сантимов). Но беспечный философ Наке повторял все с своим сильно провансальским акцентом:

— Mon cher ami, quand on a le *vivre* et le *couvert*, on doit être content[2].

А это «vivre» et «couvert», то есть одна большая комната с альковом, с полным пансионом, стоило каждому всего пять песет в день.

Синьора Ортис, хоть и была супруга такого «милашки», как синьор Марфорио, оказалась добродушнейшей особой, очень тихой, ласковой, весьма, конечно, набожной, но без всякого изуверства. Правда, она нас кормила *ужасно*, и на русский и на французский вкус, даже и после дешевых ресторанчиков Парижа.

---

[1] посол *(франц.)*.

[2] Милый друг, будь доволен, что имеешь стол и дом *(франц.)*.

Не знаю, как дело стоит теперь, но тогда домашний стол поражал своей первобытностью и неудобоваримостью. Чтобы дать об этом приблизительное понятие, я приведу рецепт холодного супа, каким нас частенько угощали: возьми воды (да и то ёще тепловатой), накроши в нее *сырых* помидоров, салату, вареного гороху, сельдерея, луку, чесноку, кусков хлеба — и вот вам мадридская ботвинья. И горох-то не общеевропейский, а желтый, величиной с орех, с рубчиками, то, что французы называют «pois sechés»[1] и дают только... скоту, кажется, даже исключительно свиньям.

Зато при синьоре Ортис жили три дочери — взрослые Лола (Долорес) и Консуэла и подросток с таким же благоуханным именем. Каждый вечер приходили молодые люди (les navios, то есть женихи), и их вечеринки с пением и игрой очень напоминали жизнь нашей провинции эпохи моей юности.

Уже по дороге с вокзала до дома, где жила синьора Ортис, я сразу увидал, что Мадрид — совсем не типичный испанский город, хотя и достаточно старый. Вероятно, он теперь получил еще более «обшеевропейскую» физиономию — нечто вроде большого французского города, без той печати, какая лежит на таких городах, как Венеция, Флоренция, Рим, а в Испании—андалузские города. И это впечатление так и осталось за все время нашего житья.

Центр столицы — знаменитая «Puerta del sol» — поразил меня банальной архитектурой ее домов, некрасивостью своих очертаний. А ведь это был тогда самый жизненный центр Мадрида. Посредине ее стоял Palacie de governaries, и этот дом красно-кирпичной обшивкой и всем своим пошибом напомнил мне до смешного трактиры моего родного города Нижнего и на Верхнем, и на Нижнем базаре тогдашних, тоже знаменитых трактирщиков Бубнова, Лопашева и Ермолаева.

Не архитектура, не древности, не красота положения поддерживали интерес, а уличная жизнь, нравы, политическое движение, типы в народе, буржуазии и высшем классе, вечернее оживление по кафе, гулянье в парке «Прадо» и неизбежный Plaza de toros[2].

---

[1] сухим горохом *(франц.)*.
[2] Площадь быков *(испанск.)*.

Толпа в Мадриде на более нарядных и бойких улицах не очень резко отличалась от общеевропейской; но в народных кварталах в ней была южная типичность, которую я видел тогда еще впервые, так как знакомство мое с Италией произошло с лишком годом позднее, в ноябре 1870 года.

Женщины и их наряд давали самую характерную ноту. Тогда, правда, на светских катаньях в Прадо и в театрах франтихи уже носили шляпки и вообще парижские моды, но большинство в буржуазии держалось еще традиционной мантильи, то есть кружевного или шелкового покрывала, которое прикрепляется к гребенке. И всегда цветок в волосах и, конечно, веер. У нашей синьоры Ортис жила в услужении кухарка по имени Пруденсия — всю неделю ужасная замарашка. Но как только воскресенье и ее отпустят «al Prao»[1] (мадридцы не произносят *Прадо, а Прао*), она взденет мантилью, воткнет цветок в волосы и начнет играть грошовым веером.

Я приехал в самый возбужденный момент тогдашней внутренней политики — почти накануне торжества обнародования июньской конституции 1869 года, которая сохранила для Испании *монархическую* форму правления. Торжество это прошло благополучно. Республиканских манифестаций не было, хотя в процессии участвовал батальон национальной гвардии и разных вооруженных обществ. Все это — весьма демократического вида.

Тогдашнего регента, маршала Серрано — скорее любили. Но роль играл не он, а Прим, которого я и видел в первый раз на этом торжестве. Из него сделала героя картина даровитого художника Реньо, изобразившего Прима во главе войска, идущего ниспровергать Изабеллу. Эта картина вызывала восторги Вл. Стасова, видевшего ее в Париже.

Разумеется, в честь «Конституции 3-го июня» дан был и торжественный бой быков — тоже первый по счету, на каком мне удалось быть.

Моим первым разочарованием было то, что музыка вместо чего-нибудь чисто испанского стала играть попурри из оффенбаховских оперетток, так же, как и на торжестве обнародования.

Памятен мне до сих пор тот несчастный случай, ко-

[1] в Прадо *(испанск.)*.

торым ознаменовался тот бой быков. Против самого свирепого быка должен был выступить знаменитый, уже пожилой тореро, который перед тем уже совсем было покончил свою карьеру. Имени его не могу припомнить, но его сухую жилистую фигуру в черном костюме хорошо помню. Публика невзвиделась, как бык (кажется, по числу четвертый или пятый) вздернул заслуженного тореро, или ⟨*spada*⟩ (как он также называется), и тот хлопнулся оземь; его унесли и должны были отнять у него ногу, а через несколько недель (перед нашим отъездом из Мадрида) ему давали серенаду по случаю его выздоровления.

Для всякого заезжего иностранца бой быков — неизбежное зрелище, где мадридская праздная толпа всего ярче мечется вам в глаза, где так называемая «couleur locale»[1] считается самой что ни на есть испанистой.

Во мне первый же бой под конец вызвал почти что отвращение. Говорю это не задним числом, а верно воспроизводя тогдашнее мое настроение.

Граф Салиас в «Голосе» проделал целую кампанию против этого варварского пережитка, который теперь начинает забирать и французскую публику. Он называл бой быков «бойней быков», и в этом он был, в общем, прав, хотя эти «корриды» и кончаются гибелью тореро. В последние годы особенно как-то часто.

Но, должен я здесь признаться, когда вы живете в Мадриде или в Севилье, вы после первого боя, вызвавшего в вас законное брезгливое чувство, испытаете то, что потянет во второй раз, и надо сильно реагировать против этой тяги, чтобы укрепить в себе протест против кровавой, отвратительной бойни лошадей с их распоротыми животами и зрелищем добиваемого быка, который далеко не всегда воинственно настроен. Я очень хорошо помню, что чуть не на этом торжественном бое первый бык выбежал, потоптался на месте и «дал бежку» при смехе и негодующих криках публики, более кровожадной и животненной, чем это четвероногое.

Но на третье воскресенье я уже не пошел на Plaza de toros.

В Мадриде я как газетный корреспондент поставлен был сразу в довольно выгодные условия. Всем этим я

---

[1] местная окраска, колорит *(франц.)*.

был обязан Наке. Он сейчас же познакомился в самом бойком политическом клубе со всеми иностранными корреспондентами, завел знакомство и с испанцами вплоть до выдающихся депутатов левой парламентской партии, где были уже не только республиканцы, но и социалисты, хотя и в ничтожном меньшинстве.

Из корреспондентов я всего чаще видался с немцем Лаузером, с французом Кутульи (впоследствии дипломат) и с тогда совсем еще неизвестным, а впоследствии всемирно знаменитым Стэнлеем, тем, что открывал Ливингстона.

Никто бы из нас, его тогдашних коллег, не мог бы представить себе, что этот довольно-таки первобытный, совсем не образованный полуамериканец-полуангличанин, бывший морской юнга, будет историческим Стэнлеем. Он был в десять раз менее подготовлен к роли корреспондента, чем даже самые плохенькие из нас. Ни одного языка, кроме английского, он не знал, а по-испански мог произнести только две фразы: «Prim — malo» и «yo republicano» [1]. Все над ним подтрунивали, и никто не вступал с ним в разговор. Ко мне он сразу очень льнул, может, потому, что я один мог объясняться с ним по-английски.

Не без удивления узнал я от него, что газета «New York Tribune» послала его в Испанию как специального корреспондента. Редакция той же газеты вскоре потом отправила его отыскивать Ливингстона *, что он и выполнил. Упорства и смелости у него достало на такую экспедицию, но в Мадриде он был совсем не на месте; но «куражу» не терял и вел себя совершенно по-американски во всем, что относилось к его ремеслу газетчика.

Как он смотрел на требование точности тех известий, какие он телеграфировал в длинных, страшно дорогих депешах, показывает такой факт.

Мы в конце моего пребывания в Испании поехали целой группой корреспондентов и депутатов (о чем я ниже расскажу подробнее) на юг Испании, и в больших городах депутаты-республиканцы устроивали митинги.

Первый митинг пришелся на Кордову.

После митинга — мы жили в одном отеле — Стэнлей зашел ко мне в номер и показал мне текст своей

---

[1] Прим — дрянь, я — республиканец *(испанск.)*.

депеши, где стояло, что на этом митинге было больше пятнадцати тысяч народу.

— Помилуйте, Стэнлей, — остановил я его. — Да площадь не может вместить больше четырех-пяти тысяч. Да и их не было!

— Вот еще! — наивно вскричал Стэнлей. — Из-за чего же я стал бы посылать такую дорогую депешу!

Его коллеги-корреспонденты раз в Мадриде пошутили с ним в таком вкусе. Идея этой мистификации принадлежала французам.

Стэнлей был очень целомудрен. И его завели нарочно в один гостеприимный дом, «без классических языков», уверив его, что идут в кафе. В нижней зале было еще пусто в ожидании прихода «барышень». Он все ходил и осматривался. Эта пустота и отделка дома начали приводить его в недоумение. И он не выдержал и все спрашивал:

— Is it a coffee-house? (Разве это кофейная?)

Наконец, когда на лестнице послышалось топанье женских туфель и говор «muchachas bonitas» («хорошеньких девушек»), Стэнлей понял, *куда* его завели.

Прошли долгие годы. Он сделался всемирной знаменитостью. Из «янки» он опять перешел в подданство королевы Виктории, нажил состояние, женился на богатой и очень милой англичанке, устроился в Лондоне и попал депутатом в палату общин. Тогда, в 1895 году (то есть ровно 26 лет после нашего житья в Мадриде в 1869 году), я навестил его в приемный день его жены, когда он уже был в некотором роде «особа», жил в прекрасно обставленном особняке и на его «five-o'clock tea»[1] перед хозяйкой красовался русский посеребренный самовар.

Когда он повел меня из гостиной в свой кабинет с богатой отделкой книжными шкапами, я ему напомнил комический инцидент с coffee-house. Стэнлей много смеялся. Он уже не был такой целомудренный, и когда я в другой раз попал в гостиную его жены, то я по ее намекам понял, что и ей анекдот известен.

И вот уже и Стэнлей — покойник... и вся его судьба, особенно для тех, кто знавал его в Мадриде в 1869 году, кажется какой-то феерией,

---

[1] пятичасовом чае *(англ.)*.

Будь я простым туристом, даже и с хорошими деньгами, а не газетный сотрудник, я бы, попав в Мадрид, вряд ли и на одну половину был ввязан в его жизнь в какие-нибудь полтора месяца. Но для разъездов по всей стране с порядочными деньгами у меня было бы больше и досуга и средств. А то вышло так, что мы с Наке еле-еле пробивались и страдали от неаккуратной высылки довольно-таки скудного гонорара. И вышло так, что в Андалузии я прямо из-за недостатка «пехунии», как мы говаривали студентами в Дерпте, не заехал даже в Гренаду, хотя и был в Севилье.

Поездку с депутатами Наке устроил с даровыми билетами. Таким образом я пробрался из Андалузии в Сарагоссу и Барселону, а оттуда на Пир[инеи], во Францию и в Швейцарию. Но это случилось уже к августу.

Мадридское «сиденье» было для меня в физическом смысле довольно утомительно. Я — северянин и никогда не любил жары, а тут летний зной начал меня подавлять. Мой коллега Наке, как истый южанин, гораздо бодрее меня нес свою корреспондентскую службу, бегал по городу и днем, и даже в полдень. А я выходил только утром, очень редко от 12-ти до 4-х, и начинал «дышать» только по заходе солнца, когда, собственно, и начиналась в Мадриде бойкая жизнь.

Всего чаще мы отправлялись в тот политический клуб, о котором я упомянул выше, я садился на балкон, пил всякие прохладительные (особенно замороженный апельсинный сок — naranjade gelade), смотрел на уличное движение и разговаривал с теми, кого приводил неутомимый Наке и от кого мы тут же узнавали самые свежие новости.

С нами особенно сошелся один журналист, родом из Севильи, Д. Франсиско Тубино, редактор местной газеты «Andalusie», который провожал нас потом и в Андалузию. Он был добродушнейший малый, с горячим темпераментом, очень передовых идей и сторонник федеративного принципа, которым тогда были проникнуты уже многие радикальные испанцы. Тубино писал много о Мурильо, издал о нем целую книгу и среди знатоков живописи выдвинулся тем, что он нашел в севильском соборе картину, которую до него никто не приписывал Мурильо.

Несколько молодых депутатов из крайней левой

дружили с нами, нас принимал и Кастеляро в своей скромной квартире — тогда уже первая по таланту и обаянию фигура Кортесов, все такой же простой и общительный, каким я его зазнал в Берне на конгрессе* всего какой-нибудь год назад. Помню, что он долго говорил нам о том, что ждет Испанию, если она не расстанется с таким политиком, как Прим, который метит ни больше, ни меньше, как в короли. Сам же Кастеляро тогда совсем не метил в президенты республики, каким судьба сделала его, но и тогда он был в душе республиканец, но централист, а не федералист, что и сказалось во всей его политической «платформе» и как простого депутата, и как президента.

Красноречие Кастеляро и тогда уже вошло в пословицу. А чтобы им выдвинуться среди испанцев, надо иметь совершенно исключительный дар.

Я часто — и с особым интересом — изучал самый процесс испанского красноречия. У них совершенно другой мозговой аппарат, чем, например, у нас или у немцев, англичан, — самой передачи умственных образов, артикуляции звуков. Она совершается у них с поражающей быстротой. И способность *мыслить образами* также совсем особенная. На банкете в Андалузии я стоял рядом с одним из ораторов, и этот образно-диалектический аппарат приводил меня в крайнее изумление.

Кастеляро отличался не этой стремительностью передачи идей и артикуляции, а красотой образов, мелодичностью тона, ритмом, жестами, игрой физиономии. Но во всем этом он был продукт позднейшего романтизма. То же сидело и в складе его мировоззрения, во всех его идеалах и принципах.

Стоит только припомнить его знаменитую речь о веротерпимости. Это было большой милостью *для Испании,* где еще царила государственная нетерпимость, не допускавшая ничего «иноверческого»; но в этой красивой и одухотворенной речи Кастеляро все-таки романтик, спиритуалист, а не пионер строгой, научно-философской мысли. Таким он был и как профессор истории, и года изгнания не сделали его более точным исследователем и мыслителем.

После обнародования конституции Кортесы утратили подвинченность интереса. Все уже знали, что будет либеральная монархия с разными претендентами на

престол. Никто еще не ожидал ни того, что Прим погибнет от руки заговорщика, ни того, что из-за пресловутой кандидатуры Гогенцоллернского принца загорится ровно через год такой пожар, как война между германской и французской империями*.

И президентом республики Кастеляро не мог быть не тем, во что он сложился — идеалистом-радикалом, метафизиком, фритредером и, главное, централистом. Федеративным стремлениям он никогда не сочувствовал. А мы, иностранцы, очень скоро распознали, что в Испании более, чем где-либо, могло бы сложиться федеративное государство. Не говоря уже о каталонцах, расе, чуждой и по языку и по всему складу жизни кастильцам, и в других частях Испании была несомненная обособленность. Централизация с ее всяческим гнетом, и политическим и церковным, и доводила эту милую, но несчастную страну до гибели.

Прим, метивший чуть не в короли, отличался крайним тщеславием и славолюбием. Ему всячески хотелось привлечь к себе и нас — иностранных корреспондентов. Он через своих приверженцев засылал к нам приглашения на его журфиксы, но, кажется, никто из нас ими не прельстился. Одному из моих коллег попадались записки Прима к разным лицам, на французском языке. Они вызывали смех своей колоссальной безграмотностью по части орфографии и своими курьезными оборотами речи. Дешевые остряки прохаживались и насчет того пикантного факта, что в улице, носящей его имя (Casse Prim), был всем известный дом терпимости, самый тогда дорогой, хозяйка которого прозывалась Juana de Dios (Божественная Хуана).

Но крайнее тщеславие, дух интриг, безграмотность и всякие смешные претензии этого честолюбца не помешали ему сыграть самую блестящую роль по амплуа генерала ⟨...⟩, правда, в классической стране военных «пронунсиамиенто».

Но то, что в Испании развилось как выгодная карьера, то может еще вспыхивать и в других странах. Да и переворот 2-го декабря, посадивший на престол Франции Наполеона III, был не что иное, как военный заговор, то же «pronunciamiento», разыгранное еще более *en grand,* чем поход Прима на Мадрид и правительство Изабеллы.

Все свободное время от работы корреспондента, в часы, когда жар не пугал меня, я отдавал возможно более разнообразному знакомству с Мадридом, но, разумеется, очень многого не видал. Народная жизнь всего больше привлекала нас. И мы с Наке, взявши себе в учителя испанского языка молодого студента, ходили с ним всюду, вплоть до самых простонародных кафе, куда ходят *агвадоры,* то есть носильщики воды — очень популярный тогда класс рабочих, так как водоснабжение Мадрида было еще в первобытном виде и на дом воду доставляли поденщики, носившие ее в небольших бочках, которые они носили на одном плече.

В этих кафе распевали обыкновенно слепые певцы *сегедильи,* аккомпанируя себе на гитарах и мандолинах. Женский пол, сидевший в таких кафе, принадлежал к миру проституции и «котировался» за чудовищную плату в один *реал,* то есть в 25 сантимов. Что это были бы за отвратительные пьяные мегеры у нас, а эти несчастные «muchachas» поражали тем, как они прилично вели себя и какого были приятного вида. И их кавалеры сидели, вместо водки, за каким-нибудь прохладительным или много — стаканом легкого белого вина.

Ходили мы и в революционно-народный клуб «Anton — Martin», где каждый вечер происходили сходки и произносились замечательные речи. Постоянно туда ходили унтер-офицеры и заражались бунтарскими идеями. Это была своего рода практическая школа «пронунсиамиенто», но нам она давала разнообразный матерьял для знакомства с тем, от чего старая Испания трещала по швам.

Но все это, как известно, не помешало после Амедея Сивы * реставрации Бурбонов в виде сына Изабеллы, воспитанного в Австрии. И тогда уже нам, заезжим иностранцам, обязанным давать читателям наших газет итоги тогдашнего политико-культурного statu quo Испании, было видно, что ни к республике, ни к федерации нация эта еще не была готова. Слишком было еще много разной исторической ветоши в темноте массы, в клерикализме, в бедности, в общем «спустя рукава», напоминавшем мне мое любезное отечество.

В народе сохранялись симпатичные черты характера, но невежественность не только в простом народе, но и в буржуазии поражала, особенно среди женщин,

Наша милая хозяйка принадлежала к среднему чиновному классу, ее девицы воспитывались, как «барышни», бренчали на фортепьяно, пели, читали переводные французские романы. Но они были чудовищно необразованны. Они не знали даже, как называются столицы главных европейских государств. Для одной из них слово «Francia» было собирательным именем для каждой чужой страны, в том числе и России. Но все-таки испанки — и после парижанок — привлекали к себе грацией, своим щебетаньем, ласковостью и наивностью. После типа их красоты и миловидности все уже потом кажется более резким в наружности и тоне француженки, немки, славянинки.

Мы с Наке много были благодарны нашим молодым хозяйкам за их старания о том, чтобы мы постоянно практиковались в разговоре по-испански. При особых уроках, которые нам давал студент, дело шло довольно споро, но Наке язык давался легче, как истому провансальцу, легче по своей лексике и грамматическим формам.

Произношение мне далось очень легко, и когда мы попали в Севилью, в редакцию журнала «Andalusie», то нам произвели экзамен по части «прононса» и поставили мне высшую отметку и не хотели верить, что я всего полтора месяца жил перед тем в Мадриде. Нам, русским, ничего не стоит произносить хорошо звук «хоты», то есть наш *хер,* а французу он никогда как следует не дается.

Испанский (или, правильнее, *кастильский*) язык не так полнозвучен, как итальянский. В его произношении есть какая-то обязательная шепелявость (буквы «с» и «z»), но он, особенно в устах женщин, имеет только ему принадлежащую нежность, а в порывах мужского красноречия может подниматься до громовых звуков и до высокой благозвучности. Мы, русские, очень мало им интересуемся, даже и до последнего времени. А тогда у нас и совсем не было в ходу хоть какое-нибудь знание испанского языка.

В манере говорить, в тоне, в интонациях я находил некоторое сходство светских и вообще образованных испанцев с русским. Даже и много лиц напоминали мне моих соотечественников, в особенности среди мадридцев и уроженцев северных испанских провинций. На юге

сарацинская кровь изменила тип, и окрашивание кожи, и весь облик, хотя и там, например, в Севилье, вы встречаете немало блондинок с золотистыми или более темно-рыжими волосами.

В Андалузию мне удалось попасть опять благодаря юркости и знакомствам моего Наке. Он примкнул к целой группе депутатов, все больше из республиканской оппозиции, для поездки в южные города, где те должны были собирать митинги и выступать на них как ораторы.

Денег у нас было очень мало, и редакции продолжали держать нас впроголодь. Наке выхлопотал и себе и мне даровой проезд по железным дорогам, а муниципалитеты таких городов, как Кордова, Кадикс, Севилья, предоставляли нам даровое содержание. Но мои финансы были настолько скудны, что я — зная, что мне предстоит долгий обратный путь на Сарагоссу и Барселону, не имел даже настолько лишних денег, чтобы съездить специально в Гренаду.

Мадридская жара настолько расслабила меня и расшатала мои нервы, что я решил больше не возвращаться в Мадрид, где уже не было к тому же ничего особенно такого, что требовало бы дальнейшей работы корреспондента. Наке порекомендовал мне ехать лечиться в одно знакомое ему в Швейцарии, близ Цюриха, водолечебное заведение в Альбисбрунн. Но до того мы еще немало поколесили по югу.

Наша хозяйка поручила нам довезти, по пути, до Аранхуэса одну из ее дочерей, хорошенькую Лолу. И наш спутник Тубино, возвращавшийся в свою Севилью, всю дорогу усиленно ухаживал за нею и совсем закидал ее своими чисто андалузскими цветами рыцарского красноречия.

Главной фигурой в группе депутатов был Гарридо, известный социалист, последователь доктрины Фурье, недавний эмигрант и государственный преступник. Он всего больше и выступал на народных митингах, начиная с первого нашего привала в Кордове.

Толпа в несколько тысяч человек (далеко не *пятнадцать,* как телеграфировал Стэнлей) наполняла небольшую четырехугольную площадь, всю обставленную домами, — толпа действительно *народная,* страстно, но сдержанно внимавшая ораторам, которые говорили с балкона, где помещались и все мы — корреспонденты,

А в короткие антракты раздавались крики продавцов холодной воды и лакомств, сливавшиеся с музыкальным гулом толпы, где преобладали подгородние крестьяне.

В Севилье не было устроено такого же народного митинга, хотя мы там пожили подольше.

До сих пор в моей памяти всплывает полная яркого света и пестрых красок та узкая улица, покрытая сверху парусинным завесом, где бьется пульс городской жизни, и собор, и прогулка, и отдельные дома с их восточным patios[1], и неизбежная арена боя быков, где знакомые испанцы взапуски указывали моим коллегам-французам всех знаменитых красавиц. Там национальная «мантилья» еще царила и только некоторые модницы надевали общеевропейские шляпки.

Нашим чичероне, особенно по части архитектуры и живописи, был наш приятель дон Ф. Тубино, принимавший нас и в редакции своей газеты «Андалузия», где он сгруппировал вокруг себя кружок молодых, радикально настроенных сотрудников.

Я уже сказал выше, что он считал себя специалистом по Мурильо и издал к тому времени большой том, где были обозначены все его картины, разбросанные по разным музеям и галереям Европы и Америки. Он водил нас в собор показывать там образ, который он *открыл*, как произведение своего знаменитого земляка.

Мы были уже до отъезда из Мадрида достаточно знакомы с богатствами тамошнего Музея, одного из самых богатых — даже и после Лувра, и нашего Эрмитажа. О нем и после Боткина у нас писали немало в последние годы, но испанским искусством, особенно архитектурой, все еще до сих пор недостаточно занимаются у нас и писатели, и художники, и специалисты по истории искусства.

Эта страна все еще не привлекает русских настолько, как Италия, и те, кто о ней писали в последние годы, были заезжие туристы, за совсем малыми исключениями.

Передо мною юг Испании, где и физически лучше дышалось, даже и в жаркое время, промелькнул, как нечто необычайно милое, яркое и своеобразное.

И что особенно привлекало меня лично — это тип андалузского поселянина, его живописный вид, посадка,

---

[1] внутренним двориком (*испанск.*).

костюм. И во всем проглядывала еще эпоха владычества мавров. Даже его шапочка напоминает мусульманский головной убор, и арабское седло его лошади, и длинная винтовка, и вся его посадка в седле.

В окрестностях Севильи, в одной *упраздненной* церкви, наши спутники-депутаты устроили такой митинг, где заставили говорить и Наке, и даже меня.

Наке уже мог сочинить несколько фраз, а я удовольствовался только обращением к моим слушателям, где преобладали рабочие и их жены, назвав их trabajadores de Sevilla [1], а остальное говорил по-французски.

Говорили мы с церковной кафедры, и это представлялось нам чем-то точно сказочным. Позади меня стоял наш друг Тубино и переводил по-испански каждую фразу. Слушатели шумно нам рукоплескали.

Всего поразительнее было то, что это была, хотя и упраздненная, но все-таки церковь, с алтарями. И на главном алтаре жены и дочери рабочих преспокойно себе сидели, спустив ноги, как со стола, и в антракты весело болтали. Никак уже нельзя было подумать, что мы в стране, где клерикальный гнет и после сентябрьской революции 1868 года продолжал еще чувствоваться всюду. Объяснялось оно тем, что рабочие, сбежавшиеся на эту сходку, принадлежали к республиканской партии и тогда уже были настроены антиклерикально.

Кроме рабочих, съехалось и немало окрестных крестьян. И они возвращались по домам верхом, в своих арабских седлах, в широчайших шароварах, обшитых внизу кожей, и с винтовкой, прикрепленной по-персидски, позади седла.

Доезжали мы и до Кадикса, где городской муниципалитет оказал нам самое широкое гостеприимство, платил за наше содержание в отелях и всячески чествовал.

Кадикс — весь ярко-белый с ярко-зелеными ставнями — выплывал, точно он из морской пены, весь чистый, нарядный, прославленный красотой своих женщин.

Близ Кадикса, в Хересе де ля Фронтеро нас угощали в каменных бараках миллионной фирмы Гонзалеса винами, хранящимися в громадных бочках, названных по именам патриархов. Когда племянник владельца, моло-

---

[1] рабочими Севильи (*испанск.*).

дой человек, учившийся в Париже, спросил нас: «Какого года вино желаете вы, сеньоры, начать пробовать?» — то Гарридо ответил за всех нас: «Я самый здесь старый. Мне уже под пятьдесят. Если угодно, с этого года и начнемте». Мы вышли оттуда под вечер в самом розовом настроении, остановившись на каком-то «Мафусаиле», бочке выше ста лет от роду. И нас в тот же день пригласила какая-то крестьянская винодельческая кооперация. Ее винцо было после тех великолепных и молодо и жидко; но зато настроение этих виноделов было не только демократическое, но и коммунистическое.

Пора было ехать в Швейцарию, восстановлять свою бодрость.

Путь мой лежал на Сарагоссу (где я не останавливался) и Барселону, где провел два дня.

Дорога всегда «кусается», а тут надо было перебраться через Пиринеи и проехать всей южной Францией, прежде чем добраться до немецкой Швейцарии, а на разъезды я, как говорил выше, ничего от редакции не получал.

Барселону нашел я красивым, культурным городом, но в нем мало *испанского,* как и быть следовало, потому что каталонцы — особая раса и гораздо ближе стоят к провансальцам, чем к кастильцам. Они давно бы отделились от центра Иберийского полуострова, что и сказалось в целом ряде вспышек, вплоть до громадных взрывов в 1909 году *.

Я останавливался в прекрасном отеле «Las Quatoras naciones», осматривал город, гулял по его красивому бульвару Ramble, но заживаться не мог, да и не хотел, потому что действительно был очень утомлен и о швейцарской водолечебнице мечтал, как о «возрождающей купели».

Хотел было я дешевым способом переплыть море до Сетты на пароходе, но мне в конторе пароходства сказали, что пароход, отправлявшийся в эту гавань, товарный и нагружен будет, главным образом... баранами. Это меня не восхитило. Я предпочел более сложный и дорогой способ — ехать в дилижансе через горный хребет.

Перевал этот для туриста был очень характерный. Самый дилижанс, его упряжь с мулами вместо лошадей, станции, пассажиры, еда дорогой, а главное — горные кручи, виды, — все это отбрасывало вас к таким картинам, какие попадаются в «Дон-Кихоте».

Я взял место наверху, с кучером. Верх этот был покрыт в виде огромной фуры, и там лежали чемоданы. И я туда удалялся в ночевку, когда привык к тем жутким ощущениям, какие давала вам быстрая езда на шести мулах гусем и головокружительные вольты мулов на крутых поворотах.

Перевал этот был, по тому времени, не безопасным и в другом смысле. Как раз в тех местностях Пиринеев держались банды карлистов *, и наш дилижанс мог быть весьма легко целью нападения. Среди пассажиров был молоденький артиллерийский офицерик. Мы с ним разговорились на одном из привалов, и его безусая рожица не внушала никакого успокоения на случай атаки карлистов. Но все обошлось мирно. Ночь стояла лунная и очень свежая, так что я продрог под легким пледом, но крепко заснул к полуночи и рано утром проснулся уже во Франции, в городе Перпиньяне.

С высоты моего империала я увидал внизу, у дилижанса, фигуру французского комиссара в форменной фуражке с серебряным шитьем на околыше. Он осматривал паспорты у пассажиров. Время было тревожное, и французское правительство не желало пропускать к себе инсургентов. А инсургентами были карлисты.

Всем почти югом Франции я проехал, нигде не останавливаясь, и добрался наконец до вожделенного Альбисбрунна, где тогда царила старинная система водолечения по методу Присница, когда-то очень знаменитая. Сторонником ее был один из моих дядей — В. В. Боборыкин. Он и в деревне по утрам гулял, останавливаясь у каждого колодца или ключа, и выпивал стакан воды.

Основатель этого заведения, старый врач, был еще жив, и он заставил меня проделать все виды лечения, начиная с питья воды и кончая гимнастикой.

Но самая — на первых порах — жуткая операция была — обволакивание вас в постеле ранним утром хо-

лодной простыней. Верзила-швейцарец входил к вам с словами: «Gut morgen, haben sie gut geschlafen?»[1] — и безжалостно начинал погружать вас в этот холодный и мокрый саван. Но через пять минут вы начинали чувствовать приятную теплоту, и когда вас спускали вниз, в отделение гидротерапии, на руках, вы бывали уж в транспирации и вас окачивали опять холодной водой.

Через несколько дней с меня моя мадридская «прострация» окончательно слетела. Я вошел в норму правильной гигиенической жизни с огромными прогулками и с умеренной умственной работой. От политики я еще не мог отстать и получал несколько газет, в том числе и две испанских; но как газетный сотрудник я мог себе дать отдых, привести в порядок мои заметки, из которых позднее сделал несколько этюдов, вернулся и к беллетристике.

Мой роман «На суд», писанный отчасти и в Мадриде, не мог не пострадать от моих переездов. В моей келье Альбисбрунна писалось совсем иначе, хотя и «с прохладцей». Но легче дышалось от чувства полной свободы от всякой обязательной беготни, да еще в африканскую жару.

Заведение, его цены и весь склад жизни были мне по вкусу... и по состоянию моих финансов. Все было довольно просто, начиная с еды и сервиса; а общество за табльдотом собиралось большое, где преобладали швейцарцы и немцы, но были и иностранцы из северной Италии, даже светские и элегантные дамы. С одним англичанином мы сошлись и пешком ходили с ним через горный лес в ближайший городок Цуг и обратно.

Близилась осень, и я начал опять составлять программу переездов.

С Парижем я не прощался. Там я имел постоянную работу у Корша, и мои фельетоны «С Итальянского бульвара» приобрели себе весьма сочувственную публику.

Но перед новым переездом в континентальную «столицу мира» я столкнулся с русской молодежью в двух местах в Швейцарии.

Сначала — в Цюрихе, куда я ездил из Альбисбрунна каждую субботу в ночевку и оставался там целые

[1] Доброе утро, хорошо ли вам спалось? *(нем.)*

сутки. Там очутился тот самый магистрант-ботаник П[етунников], с которым мы жили в Париже в зиму 1865—1866 года. Он состоял пестуном и руководителем занятий одного юноши, сына миллионщицы, московской фабрикантши, которая послала его учиться в Цюрих. Там же, около них, группировался целый кружок русских студентов, больше москвичей, слушателей Политехникума и университета. Некоторых из них я до сих пор видаю в Москве.

Меня очень замолаживала (как любил выражаться Тургенев) эта молодая, шумная, жизнерадостная компания. Мы вместе и обедали в одном из дешевых ресторанов Цюриха, до сих пор существующем. А домой к себе, в Альбисбрунн, я возвращался обыкновенно с книжками «Вестника Европы», который выписывал для своего питомца П[етуннико]в. Тогда печатался «Обрыв» Гончарова *.

«Вестника Европы» я давно не читал, ни в Париже, ни в других местах. С редакцией я не имел еще тогда никаких личных сношений и только в конце 1873 года сделался его сотрудником на целые десятки лет.

Новый роман Гончарова (с которым я лично познакомился только летом следующего 1870 года в Берлине) захватывал меня в чтении больше, чем я ожидал сам. Может быть, оттого, что я так долго был на чужбине (с января 1867 года) и русская жизнь в обстановке волжской природы, среди которой я сам родился, получала в моем воображении яркие краски и рельефы.

Центральную сцену в «Обрыве» я читал, сидя также над обрывом, да и весь роман прочел на воздухе, на разных альпийских вышках. Не столько лица двух героев, Райского и Волохова, сколько женщины: Вера, Марфенька, бабушка, а из второстепенных — няни, учителя гимназии Козлова — до сих пор мечутся предо мною, как живые, а я с тех пор не перечитывал романа и пишу эти строки как раз 41 год спустя, в конце лета 1910 года.

Но это возвращение на родину, в виде художественного произведения, не было настолько сильно, чтобы меня неудержимо потянуло туда.

Мне все-таки жилось за границей настолько легко и разнообразно, что променять то, что я там имел, на то, что могла мне дать жизнь в Петербурге или Москве,

было очень рискованно. А главный мотив, удерживавший меня за границей, был — неослабшая еще во мне любовь к свободе, к расширению моих горизонтов, во всех смыслах — и чисто мыслительном, и художественном, и общественно-политическом.

Альбисбрунн и молодую компанию Цюриха я оставил не без сожаления и перед возвращением в Париж на осенний сезон, побывал на конгрессе* вроде того, как был в предыдущем году в Берне. На этот раз он собирался в Базеле. На нем я нашел опять и русских эмигрантов. Роль вожака и как бы диктатора играл между ними все тот же Николай Утин. Около него состоял целый кружок, больше из женщин. Одну из них, замужнюю барыню дворянского рода, я потом встречал в Петербурге. И там она совсем преобразилась в очень скромную и даже щепетильную барыньку; а в той группе держалась особого жаргона, манер и тона. И все это было у них игра и поза! Мы ехали с ними куда-то в одном вагоне, и они *нарочно* употребляли в громком разговоре словечки вроде «лопать» и «трескать», когда тут же ели какие-то фрукты.

Бакунинская пропаганда анархизма и кружковщины русских отняли у этих конгрессов «Мира и свободы» их первоначальный характер и превратили их во что-то мелко-агитационное, нимало не служившее ни идее *мира*, ни идее *свободы*.

Из всех тогдашних конгрессов, на каких я присутствовал, Съезд Интернационального Союза рабочих (о котором я говорил выше) был, без сомнения, самый содержательный и важный по своим последствиям. Идеи Маркса, создавшего это общество, проникли с тех пор всюду и у нас к половине 90-х годов, то есть около четверти века спустя, захватили массу нашей молодежи и придали ее настроениям гораздо более решительный характер общественной борьбы и наложили печать на все ее мироразумение.

И вот начался опять для меня мой корреспондентский сезон 1869—1870 года. Я стал заново писать свои фельетоны «С Итальянского бульвара» в ожидании большого политического оживления, которое не замедлило сказаться еще осенью.

Те стороны Парижа — и театральное дело, и лекции, и знакомства в разных сферах — теряли прелесть новизны. Политический «горизонт», как тогда выражались в газетах, ничего особенно крупного еще не показывал, но Париж к зиме стал волноваться, и поворот бонапартова режима в сторону конституционного либерализма, с таким первым министром, как бывший республиканец Эмиль Оливье, не давал что-то подъема ни внутренним силам страны, ни престижу империи.

Я поселился все в том же отельчике «Victoria», наискосок старой Оперы, и с наступлением осенних непогод часто простуживался, и в ту зиму вообще стал испытывать на себе неприятности от плохой топки каминов и простуду рук и ног (angelures et gergures), каких мы в России совсем и не знаем. Дома я много работал и над беллетристическими вещами, и над переводом «Гамбургской драматургии» Лессинга — труд, который я задумал еще в Вене, заручившись матерьяльной поддержкой одного русского театрала, с которым познакомился там, в кружке русских. Эта работа нашла потом в Петербурге другого издателя, но почему-то он, начав печатать, не окончил его, и так мой труд, тогда по счету первый, и погиб *.

Кто-то привел ко мне в отель «Victoria» русского эмигранта, но не политического, а покинувшего родину от расстроенных дел, некоего Г. Он прошел через большую нужду, работал сначала на заводе под Парижем, а в России, на юге, был сын богатого еврея-подрядчика и запутался на казенных поставках. Он позднее не скрывал того, что он еврей, но совсем не смотрел типичным евреем ни в наружности, ни в говоре, а скорее малороссом.

Он был очень рад иметь у меня письменную работу. Я ему диктовал и «Драматургию» и статьи. Нрав у него был тихий, почерк прекрасный, и весь он вызывал к себе сочувствие. С переездом моим в Вену я его взял туда с собою и потом переправил его в Прагу, где он хотел найти себе более прочный заработок, долго болел и кончил самоубийством — утопился в Дунае.

В самом начале театрального сезона 1869—1870 года в «Водевиле» дебютировала молодая артистка, по газетным слухам — русская, если не грузинская княжна, готовившая себя к сцене в Париже. Она взяла себе

псевдоним «Дельнор». Я с ней нигде перед тем не встречался, и перед тем, как идти смотреть ее в новой пьесе «Дагмар», я был скорее неприязненно настроен против этой русской барышни и ее решимости выступить сразу в новой пьесе и в заглавной роли в одном из лучших жанровых театров Парижа.

Несмотря на ее эффектную наружность и то, что она была соотечественница, я разобрал ее игру очень строго — даже и к тому, какие она делала погрешности против дикции парижских лучших артистов. Разбор этот вошел в один из моих очередных двухнедельных фельетонов «С Итальянского бульвара».

И эта м-lle Delnord через два года в Петербурге поступила в труппу Александринского театра под именем Северцевой, лично познакомилась с «суровым» критиком ее парижских дебютов, а еще через год, в ноябре 1872 года, сделалась его женою и покинула навсегда сцену. И то, что могло, в других условиях, повести к полному нежеланию когда-либо узнать друг друга — кончилось сближением, которое повело к многолетнему браку, к полному единению во всех испытаниях и радостях совместной жизни.

С Вырубовым мы продолжали видаться. Журнал его и Литтре «La philosophie positive» шел себе полегоньку, и по четвергам были у него вечера, куда Литтре являлся неизменно, выпивал одну чашку чаю и удалялся, как только пробьет одиннадцать.

От Вырубова же я узнал, что А. И. Герцен приезжает из Швейцарии в Париж на весь сезон и будет до приискания постоянной квартиры жить в Hôtel du Louvre. Вскоре потом он же говорит мне:

— Герцен все повторяет — когда же вы познакомите меня с Боборыкиным?

Он очень хвалил ему мои письма и фельетоны в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в «Голосе». От кого он узнал, что я подписывал свои письма в «Голосе» звериным числом *666,* я не знаю, но некоторые фельетоны появлялись там и с моей полной фамилией.

Мне было лестно это слышать, и я был рад, что дожил до того момента, когда личная встреча с Герценом отвечала уже гораздо более ***тогдашней*** моей «плат-

форме», чем это было бы в 1865 году в Женеве. Теперь это не было бы только явлением на поклон знаменитому эмигранту. Да и он уже знал достаточно, кто я, и был, как видно, заинтересован тем, что я печатал в русских газетах. На то, чтобы он хорошо был знаком со мною, как с беллетристом, я и про себя никакой претензии не заявлял.

Не без волнения ждал я вырубовского четверга.

Когда я вошел в гостиную, Герцен вел оживленный разговор с Литтре. Кроме меня, из русских был еще Е. И. Рагозин (впоследствии обычный посетитель герценовских сред) и еще кто-то из сотрудников «Philosophie positive» — быть может, некий доктор Unimus, практикующий теперь в Монте-Карло.

Внешность Герцена, в особенности его взгляд и общий абрис головы, очень верно передавал известный портрет работы Ге, который я уже видал раньше.

Для тогдашнего своего возраста (ему шел 58-й год) он смотрел еще моложаво, хотя лицо, по своему окрашиванью и морщинам, не могло уже назваться «молодым». Рост пониже среднего, некоторая полнота, без тучности, широкий склад, голова немного откинутая назад, седеющие *недлинные* волосы (раньше он отпускал их длиннее), бородка. Одет был в черное, без всякой особой элегантности, но как русский барин-интеллигент.

Это *барство,* в лучшем культурном смысле, сейчас же чувствовалось — барство натуры, образования и всей духовной повадки. Тургенев смотрел более барином и был тоже интеллигент высшей марки, но он, для людей нашей генерации и нашей складки, казался более «отцом», чем Герцен.

В А. И-че чуялось что-то гораздо ближе к нам, что-то более демократическое и знакомое нам, несмотря на то, что он был на целых 6 лет старше Тургенева и мог быть, например, свободно моим отцом, так как родился в 1812, а я в 1836. Но что особенно, с первой же встречи, было в нем знакомое и родное нам — это то, что в нем так сохранилось дитя Москвы, во всем: в тембре голоса, в интонациях, самом языке, в живости речи, в движениях, в мимической игре.

Я должен здесь, по необходимости, повторяться. О встрече с Герценом, нашем сближении, его жизни в Париже, кончине и похоронах — я уже говорил в пе-

чати*. Но пускай то, что стоит здесь, является как бы экстрактом пережитого в общении с автором «Былого и дум» и «С того берега».

Так, я уже высказывался в том смысле, что для меня большое сходство (хотя и не черт лица, в деталях) между ним и К. Д. Кавелиным, которого я лично зазнал раньше. Оба были типичные москвичи одной и той же эпохи. В особенности в языке, тоне речи и ее живости. Они недаром были так долго друзьями и во многом *единомышленниками* и только под конец разошлись, причем размолвка эта была для Кавелина очень тяжкой, что так симпатично для него проявляется в его письмах, гораздо более теплых и прямодушных, чем письма к Герцену на такую же тему Тургенева*.

Разговор Герцена с Литтре продлился, кажется, весь вечер, и для меня он точно нарочно был приготовлен, чтобы сейчас же показать, с каким философским миропониманием кончал Герцен свою жизнь: через три месяца его уже не было в живых.

Не помню, кто начал это прение (это был не просто разговор, а диалектический турнир), но Герцен гораздо больше нападал, чем защищался.

Сначала мне казалось странным: о чем же, собственно, спорить двум сторонникам научного, а не метафизического мышления? Ведь Герцен имел перед собою самого выдающегося поборника тогдашнего позитивизма? Но дело-то в том, что А. И., хотя и был когда-то естественник и держался выводов точной науки, но в нем еще не умер вполне гегельянец и вообще «диалектик». Его слишком точный «позитивизм» не удовлетворял, и он сразу же начал делать Литтре возражения, как бы стал делаться не только сторонником идеализма, но и материализма, а Огюст Конт считал матерьялистическое credo тоже за метафизику.

Вырубов не вмешивался в этот спор, но по игре его физиономии видно было, что он ничего другого и не ожидал от Герцена. Мне лично было неприятно, главным образом, то, что А. И. слишком субъективно и, так сказать, «литературно» нанизывал свои возражения, и Литтре, вообще очень неречистый, побивал его без всяких усилий диалектики. Мне так казалось не потому только, что я тогда был более правоверный позитивист, чем впоследствии, когда и по этой части много воды

утекло, а мне было неприятно видеть, что А. И., при всей живости его доводов и обобщений, все-таки уже отзывался в своем философском credo Москвой 40-х годов.

То же впечатление этот спор произвел и на Е. И. Рагозина, и я помню, что мы, выйдя в другую комнату, обменялись нашим впечатлением именно в этом смысле.

Кроме того, выходило так, что Литтре не сразу схватывал фразеологию своего собеседника. Герцен бойко вел французский разговор, но думал он при этом не по-французски, а по-русски и целиком переводил фразы своего полугегельянского жаргона, чем и приводил не раз Литтре в недоумение.

Но все-таки от *человека* получилось сразу нечто очень живое, искреннее и смелое, хотя он, как мыслитель, на нашу тогдашнюю оценку и не стоял уже на высоте строго научного мироразумения и теории познания *.

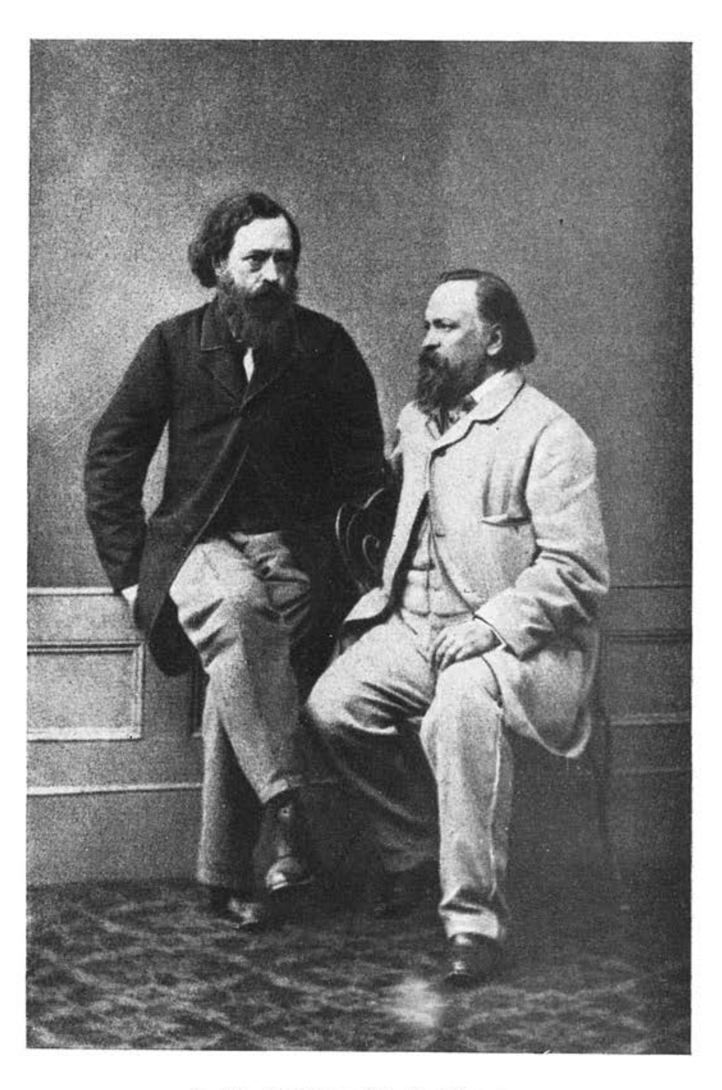
Вскоре после того мы с Вырубовым посетили А. И. При нем тогда была только Н. А. Огарева и их дочь Лиза, официально значившаяся также как девица Огарева. Он просил меня навещать его и собирался взять на зиму меблированную квартиру. Но это ему не удалось тогда сделать. Он получил депешу, что его старшая дочь Н. А. серьезно заболела какой-то нервной болезнью, и он тотчас же решил ехать во Флоренцию, где она гостила тогда у брата своего Александра, профессора в тамошнем Институте высших наук.

И когда мы пришли потом с ним проститься и уходили, А. И. на площадке просил нас бывать у его «дамы», причем мне бросилось в глаза то, что он не говорил об Огаревой, как о своей «гражданской» жене, и, как бы немного стесняясь, прибавил:

— Вы спросите госпожу Огареву.

Это было вполне корректно, но нам тогда казалось, что для такого радикально-мыслящего человека, как Герцен, можно бы и не делать «щекотливого вопроса» из своих совершенно законных отношений к женщине, с которой он жил в настоящем браке и имел от нее дочь.

Но ведь и Лиза, с которой я очень быстро сдружился, о чем сейчас расскажу, никогда при нас не говорила ему «papa» или «отец» и даже не была с ним на



А. И. Герцен и Н. П. Огарев
1860 г.

«ты», а называла всегда с своей англо-французской картавостью «Александр Иваныч», даже в его присутствии говоря о нем и в третьем лице.

Возможность дальнейшего сближения с Герценом наполняла в крупной мере тот пробел, который я чувствовал в Париже теперь сильнее, чем два года назад: скудость русского общества.

С разными «барами», какие и тогда водились в известном количестве, я почти что не встречался и не искал их. А русских обывателей Латинской страны было мало, и они также мало интересного представляли собою. У Вырубова не было своего «кружка». Два-три корреспондента, несколько врачей и магистрантов, да и то разрозненно, — вот и все, что тогда можно было иметь. Ничего похожего на ту массу русской молодежи — и эмигрантской и общей, какая завелась с конца 90-х годов и держится и посейчас.

Писателя или ученого с большой известностью — решительно ни одного; так что приезд Герцена получал значение целого *события* для тех, кто связывал с его именем весь его «удельный вес» — в смысле таланта, влияния, роли, сыгранной им, как первого глашатая свободной русской мысли. Тургенев изредка наезжал в Париж за эти два года, по крайней мере в моей памяти остался визит к нему в отель улицы Лафитт.

Из газетных сотрудников жили в те годы двое: Чуйко и Щербина, корреспондент «Московских ведомостей». С Чуйко я водил знакомство еще с того времени, когда на Вас[ильевском] острову я готовился к кандидатскому экзамену и он приходил к тому вольному слушателю, Калинину, с которым мы готовились на его квартире. Чуйко перебивался кое-какой газетной работой, очень нуждался, жил в плохой комнате и зимой почти что не топил ее, так что между его приятелями-русскими был в ходу анекдот — как его находили утром в постеле, покрытого, кроме одеяла и пуховика, и всем носильным платьем, причем панталоны и жилет лежали на самом верху.

У него я и познакомился с доктором Я[коби], бывшим русским «довудцей» [1] польского восстания 1863 года, а тогда уже врачом и эмигрантом, игравшим роль среди

[1] командиром (от *польск.* dowódca).

тех русских, с которыми в Женеве, как известно, не поладил Герцен.

Тогда я еще не был близок к Герцену, как к концу 1869 года, но меня резали обличительные речи доктора Я[коби], переполненные всякими пересудами и злобными прибаутками весьма сомнительного вкуса. Я стал ему возражать, ставя вопрос так, что, каким бы на оценку тогдашней эмиграции ни оказался Александр Иванович, все-таки эти господа и он — величины несоизмеримые и можно многое простить ему в личных недостатках за то, что он сделал для того движения, без которого и его тогдашние обличители из эмиграции пребывали бы в обывательском равнодушии к судьбам родины и полной безвестности.

Довольно пикантно вышло это словопрение: я, никогда не являвшийся на поклон к Герцену, и такой вот его зоил, который, наверно, значился в числе заядлых герценистов и способен был из офицера русской службы очутиться в *довудцах* польского восстания.

Прошло несколько недель. Я сидел за нашим маленьким табльдотом отеля «Victoria». Мы уже кончали обедать. Было около осьми часов вечера. Мне подают карточку «А. И. Герцен», и я поспешил в свою комнату, где при свете камина, кажется, даже без всякого другого освещения, мы посидели на диване с полчаса. Он только что вернулся из Флоренции и привез оттуда старшую дочь, все еще не оправившуюся от своей нервности. Ее стал лечить в Париже Шарко, которого я впервые и увидал у них. А. И. сообщил мне, что они взяли меблированную квартиру, также на Rue de Rivoli в Pavillon de Rohan, доме, который теперь принадлежит к зданиям «Magasins des Louvre».

Я был очень тронут этим неожиданным посещением и тут сразу почувствовал, что я, несмотря на разницу лет и положения, могу быть с А. И. как с человеком, совсем близким. И тон его, простой, почти как бы товарищеский, никогда не менялся. Не знаю, чем он не угодил женевским эмигрантам *, но ни малейшего генеральства у него не было.

Сравнение с Тургеневым тут более чем кстати. В Иване Сергеевиче, даже когда он ласково принимал вас, вы всегда находили что-то обособленное, не допускающее до настоящего сближения. Это чувствовалось даже

тогда, когда я был уже, к 80-м годам, сорокалетним писателем. А в Герцене я видел вовсе не представителя поколения «отцов», а старшего собрата, с такой живостью и прямотой всех проявлений его ума, души, юмора, какая является только в беседе с близким единомышленником, хотя у меня с ним до того и не было никакой особенной связи.

О дочери и ее болезни он говорил без сладких фраз, но с задушевной простотой.

— Знаете, когда Александр прислал мне депешу сюда, я сейчас же сам собрался в путь. Он у меня человек серьезный, уравновешенный. Зря меня тревожить не стал бы. И это была для меня порядочная встряска.

Он вытянул руку из-под манжеты и указал на что-то.

— Видите. Желвак! То, что французы называют un clou. У меня диабет, и как только какое-нибудь волнение — сейчас и выскочит вот такая история!

От диабета он ведь и угас так рано. Воспаление не унесло бы его без этого осложнения в виде нарыва легкого!

Семейство А. И-ча было в сборе, кроме сына. Приехала и меньшая дочь Ольга, ставшая вскоре невестой профессора Моно, теперешнего известного ученого историка и важного персонажа в парижской Сорбонне.

Подругу А. И-ча, Н. А. Огареву, я до того нигде не встречал, но довольно часто слыхал про нее и был в общих чертах знаком с ее прошлым.

Всякий бы на моем месте был удивлен — как это такая на редкость некрасивая женщина могла влюбить в себя Герцена, особенно если вспомнить, каким обаятельным представляется нам до сих пор образ его жены! Но правда и то, что та все-таки оказалась неверной женой *, и хотя муж, когда она вернулась домой, принял ее с подавляющим великодушием, все-таки рана осталась на дне его души. Характерно и то, что Огарева, когда еще была девицей Тучковой, начала восторженным преклонением перед личностью покойницы и через нее получила также и культ к ее мужу. Потом, как жена Огарева, она незаметно приобретала все большее и большее влияние в семье овдовевшего Герцена. И всего этого она достигла, конечно, своим умом и характером, то есть силой воли, потому что характер ее, в тесном смысле, многие, если не все, считали неприятным.

Я нашел в ней очень умную, тонко наблюдательную, много видавшую на своем веку женщину, с большим тактом, а он нужен ей был, потому что ее положение в семействе было, для посторонних и даже более близких знакомых, какое-то двойственное: жена не жена, хозяйка не хозяйка — и все-таки что-то гораздо большее, чем просто друг дома, приятельница... Сколько я помню (могу и ошибаться), они с Герценом при посторонних не были на «ты» или, во всяком случае, не держались обыкновенного тона между мужем и женой, что было бы даже гораздо более подходяще для них обоих, как врагов всякого церковного или светского формализма.

Об Огареве я не слыхал у них разговоров как о члене семьи. Он жил тогда в Женеве maritalement[1] с англичанкой, бывшей гувернанткой Лизы *. Словом, они оба были вполне свободны, могли бы развестись и жениться гражданским браком для того, чтобы усыновить Лизу. Формально у Лизы было имя. Она значилась Огаревой, но никакого метрического свидетельства — в нашем русском смысле, потому что она ни в какой церкви крещена не была.

Это по тогдашним временам даже и в среде радикалов было в редкость; поэтому многим странно могло казаться, что при такой «эмансипации» от всяких предрассудков они все-таки держались почему-то двойственного положения.

С дочерьми А. И-ча Огарева была корректна, без особых проявлений участия или ласки. Лизу вела на особый лад так, как ее держали с младенческих лет, то есть предоставляла ей свободу, — что хочет говорить и делать, что ей приятно.

Баловство замечалось больше в Герцене. Он любовался не по летам развитым умом Лизы, ее жаргоном, забавными мыслями вслух. Она и тогда еще, по тринадцатому году, была гораздо занимательнее, чем Ольга. Та ничем не проявляла того, что она дочь Герцена. Хорошенькая барышня, воспитанная на иностранный манер, без всякого выдающегося «содержания». И всего менее подходила к своему жениху, слишком серьезному французскому ученому.

Наташа тогда еще мало участвовала в общих бесе-

---

[1] как муж *(франц.)*.

дах; больше молчала, но впоследствии, когда мне приводилось видеться с нею уже после смерти А. И-ча, в ней я находил и его *духовную* дочь, полную сознания — какого отца она потеряла. И чертами лица она всего больше походила на него.

У Герцена собирались по средам в довольно обширном салоне их меблированной квартиры. Только эту комнату я и помню, кроме передней. В спальню А. И-ча (где он и работал и умер) я не заходил, так же как на женскую половину. Званых обедов или завтраков что-то не помню. Раза два Герцен приглашал обедать в рестораны.

Когда их жизнь несколько определилась, то есть к декабрю, кружок постоянных посетителей этих сред оказался очень небольшим. Из выдающихся французов политики, науки, литературы, прессы я не помню решительно никого. Может быть, они посещали Герцена днем, но на эти среды не являлись. Я только и видал Шарко (ездившего как медик к своей пациентке; тогда он еще был сильный брюнет) и жениха Ольги — Моно. Из русских, кроме Вырубова и меня, тоже не припоминаю никого, за исключением Е. И. Рагозина, являвшегося всегда в сопровождении своей belle-soeur[1], жены старшего брата.

Такой «абсентеизм» русских мог показаться очень странным, особенно тем, кто помнил паломничество в Лондон к издателю «Колокола» людей всякого звания и толка — от сановников до политических агитаторов и даже раскольников и атамана наших турецких старообрядцев — некрасовцев *. Но мне, уже достаточно изучившему тогдашний Париж, это не могло казаться настолько странным.

Вообще *таких* русских, которые сейчас бы кинулись к бывшему издателю «Колокола», почти что не было. Баре из Елисейских полей не поехали бы к нему на поклон, молодежи было, как я уже говорил, очень мало, эмигрантов — несколько человек, да и то из таких, которые были уже с ним по Женеве, что называется, «в контрах».

Наверно, водилось несколько заезжих интеллигентов, симпатично относившихся к Герцену, но они, вероятно,

---

[1] невестки *(франц.)*.

не решались являться прямо, а вернее и то, что совсем даже не знали, что он поселился на зиму в Париже.

Все это так, но впечатление было все-таки же довольно жуткое. Вокруг себя Герцен не мог не чувствовать пустоты, и после кризиса, пережитого «Колоколом», он уже видел, что прежний Герцен для большой русской публики перестал быть тем, чем был в Лондоне и из Лондона.

Тут сейчас же поднимается у читателя вопрос: видно ли было, что он тоскует, что его гнетет и невозможность вернуться на родину, и то, что русская публика как бы отхлынула от него?

Горечи он не выказывал в лирических, грустных или негодующих тирадах. Его натура была слишком импульсивная и отзывчивая. Он всегда увлекался беседой, полон был воспоминаний, остроумных тирад, анекдотов и отзывчивости на злобу дня — и русскую, и тогдашнюю парижскую. Дома, у себя в гостиной, он произносил длинные монологи, и каждому из нас было всегда ново и занимательно слушать его. Его темперамент по этой части в *русском* был прямо изумителен.

Тургенев (уже после смерти Герцена) как-то вспоминал о том времени, когда он посещал А. И-ча в Лондоне.

— Бывало, он говорит, говорит без умолку до поздних часов, так что бедная жена его, сидя с нами, совсем разомлеет. Я распрощаюсь с ним, он пойдет меня провожать, дорогой завернет в какую-нибудь таверну и там, за стаканом вина или эля, продолжает говорить с таким же жаром и блеском.

Горечь и ядовитые тирады прорывались у него в Париже, когда речь заходила о разных «особах» из высших сфер, мужчинах и дамах, — как они льстили ему когда-то, а потом вели себя как доносчики и клеветники.

За обедом у «Frères Provençaux» мимо нас прошла одна из таких дам петербургского «монда» и сделала вид, что не узнала его. И тогда он в нескольких штрихах дал ей беспощадную оценку.

Как раз на этом обеде я впервые увидал, насколько А. И. сохранил привычку хорошо поесть и выпить.

Он сам смотрел на себя по части «выпивки» строже, чем того заслуживал. Ему случилось даже при мне

(было ли это именно тогда или позднее, точно не припомню) выразиться о себе так:

— Кто я такой? Старый пьянчужка!

Это было совсем не то, что он представлял собою по этой части.

Но, возбуждаясь вином, он делался излиятельнее, и тогда сквозь остроумные оценки событий и людей и красочные воспоминания проскальзывали и личные ноты горечи, и ядовитые стрелы летели в тех, кого он всего больше презирал и ненавидел на родине.

Громовых тирад против властей, личности Александра II, общего режима я не слыхал у него. И вообще речь его не имела характера трибунного, «митингового» (как ныне говорят) красноречия. У него уже не было тогда прямых счетов ни с кем особенно, но он к тому времени утратил почти все свои дружеские связи и, конечно, не по своей вине.

Жизнь, его темперамент, стойкость идей, симпатий и пристрастий — развела его с такими когда-то друзьями, как Е. Корш, Кетчер, Щепкин, а позднее Кавелин и Тургенев. Их переписка, вышедшая отдельной книжкой в Женеве вскоре после его кончины, всем известна, и из нее видно, как нелегко было такому другу, как Кавелин, разрывать с ним.

О Кавелине он при мне никогда не упоминал, так что я только по поводу этой печатной переписки узнал, как они были близки. Но о Тургеневе любил говорить, и всегда в полунасмешливом тоне. От него я узнал, как Тургенев относился к июньским дням 1848 года, которые так перевернули все в душе Герцена, и сделали его непримиримым врагом западноевропейского «мещанства», и вдохновили его на пламенные главы «С того берега».

Я уже приводил, кажется, в другом месте то, что А. И. в лицах представил мне — когда они стояли где-то на улице, где войска под командою генерала Ляморисьера усмиряли восставших увриеров.

— А он (то есть Тургенев) смотрит на лошадь генерала и восхищается — какие у ней богатые стати!

И рассказ о том, как он повел Тургенева к знаменитому доктору Р-ру, и тот говорит ему про его приятеля:

— Что это за дряблая натура! Человеку всего тридцать лет, а он уже совсем седой.

У Герцена была такая же привычка прохаживаться насчет Тургенева, как у другого его приятеля Григоровича, который и до смерти, и после смерти Тургенева был неистощим в анекдотах и юмористических определениях натуры и характера Ивана Сергеевича. Но с Григоровичем можно было и до смерти сохранять внешнее приятельство, а с такой личностью, как Герцен, *принципиальная* рознь должна была рано или поздно всплыть наверх, что и случилось.

Герцен и в последние годы не потерял веры в устои народной экономической жизни, в общину, в артель. Он остался таким же пламенным обличителем *буржуазной* культуры. А Тургенев не хотел быть ничем иным, как западником и умеренным либералом.

Они, как известно, одно время совсем разошлись и незадолго до этой зимы 1869—1870 года опять наладили немного свою переписку. Но все-таки у Герцена чувствовался против него то, что называется «зуб». Он и на его роман «Отцы и дети» все еще смотрел строгонько, если не совсем так, как в 1862 году, но с весьма вескими оговорками. И в *художественном* смысле не ставил его на подобающую высоту. Это меня гораздо сильнее удивило бы, если б я не брал в соображение — до какой степени *первое* впечатление может залезть в душу и питаться дальнейшим разладом политико-социального *credo*.

Вообще же, насколько я мог в несколько бесед (за ноябрь и декабрь того сезона) ознакомиться с литературными вкусами и оценками А. И., он ценил и талант и творчество, как человек пушкинской эпохи, разделял и слабость людей его эпохи к Гоголю, забывая о его «Переписке», и я хорошо помню спор, вышедший у меня на одной из сред не с ним, а с Е. И. Рагозиным по поводу какой-то пьесы, которую тогда давали на одном из жанровых театров Парижа. Рагозин напал на автора за несимпатичную тенденцию его пьесы и разбирал ее совершенно в духе нашей «направленской» критики. А. Герцен и тут же во время нашего спора, и потом, с глазу на глаз со мною, оценивал пьесу без всякой чисто публицистической узости.

О молодых тогдашних русских писателях у него не было повода высказаться: о Гл. Успенском или о По-

мяловском. Имя Михайловского (уже тогда начавшего писать) он ни разу не упоминал, так же как и про других писателей, более ранних генераций. Не заходила ни разу речь о Льве Толстом, а тогда он уже был автором «Войны и мира». К Некрасову он сохранял все то же неприязненно-брезгливое отношение, мотив которого слишком хорошо известен *. И о поэте Тютчеве он рассказал очень язвительно такую подробность — как тот где-то за границей при входе Герцена читал вслух что-то из «Колокола» (или «Былого и дум») и восхищался так громко, чтобы Герцен это слышал, а потом, когда ветер переменился, выказал себя таким же, как и множество других, приезжавших на поклон к издателю «Колокола».

Если б можно было для нас, бывавших у А. И-ча, предвидеть, что смерть похитит его через какие-нибудь несколько недель, я первый стал бы чаще наводить его на целый ряд тем, где он развернулся бы «вовсю» и дал возможность *воочию* чувствовать его удельный вес как человека, писателя, мыслителя, политического деятеля.

Все это я лично оценил вполне только после его смерти, когда стал изучать его произведения на досуге вплоть до самых последних годов, когда в Москве и Петербурге два года назад выступил *впервые* с публичными лекциями о Герцене — не одном только писателе-художнике, но, главным образом, инициаторе освободительного движения в русском обществе.

В Париже блестящий собеседник заслонял собою писателя высокого таланта, а издатель «Колокола» тогда, и по собственному сознанию, уже потерял обаяние на читающую массу своей родины. Мне кажется, возвратись он тогда в свою родную Москву, он и там не сделался бы «властителем дум» молодых поколений. В Петербурге было бы то же, если еще не хуже, потому что его счеты с нашей эмиграцией были еще слишком свежи. А между тем до какой же степени он — как талант, ум и революционный подъем социальной критики — был выше не только тогдашнего общего уровня, но даже и двадцать и тридцать лет спустя!

Как это часто бывает, в Герцене *человек*, быть может, в некоторых смыслах стоял не на одной высоте с талантом, умом и идеями. Ведь то же можно сказать о таком его современнике, как Виктор Гюго и в полной мере о Тургеневе. И в эти *последние* месяцы его жизни

у него не было и никакой подходящей среды, того «ambiente», как говорят итальянцы, которая выставляла бы его, как фигуру во весь рост, ставила его в полное, яркое освещение.

Я высказываю здесь искренно и без всяких оговорок тогдашние свои впечатления. У нас этого — я знаю! — не любят. У нас или кружковое недоброжелательство (жертвой которого сделался и он), или приторная слащавость, и притом «задним числом».

Но и тогда, *каким* я находил Герцена как сына своей эпохи, как писателя и общественного деятеля второй половины XIX века, он выдержал бы сравнение с кем угодно из выдающихся людей в России и за границей, с какими меня сталкивала жизнь, до той эпохи.

До конца 1869 года я был знаком с такими беллетристами, учеными и журналистами, как Островский, Писемский, Полонский, Костомаров, Бутлеров, Лавров, когда-то друзья Герцена Кетчер и Е. Корш, В. Корш, Анненков, Тургенев и столько других. Герцен был и тогда, в сущности, всех *интереснее,* блестящее и живее, горячее, отзывчивее на все крупные вопросы не одной своей родины, но и всего человечества. И за границей я мог уже и тогда прикинуть его к таким писателям, как Дюма-сын, Жюль-Симон или Готье во Франции, как Дж. Элиот, Льюис, Фредерик Гаррисон — в Англии.

Если он в чисто философском смысле не стоял на высоте Герберта Спенсера, или Литтре, или даже Дж. Ст. Милля, то ведь тут нужен другой оселок. Но я беру цельность писательской личности, в которой ум, талант и гражданские чувства сочетались бы в *такое* целое.

В нем и тогда чувствовался всего более и *общечеловек* и *европеец,* который сам пережил и перестрадал все «проклятые» вопросы XIX века и поднялся над всем тем, чем удовлетворялось большинство его сверстников, не исключая, быть может, и такого изысканного европейца, каким был или казался Тургенев.

Тургенев был, пожалуй, в общем тоньше его образован, имел более разностороннюю *словесную* эрудицию и по древней литературе, и по новой, но он в разговорах с вами оставался первее всего умным собеседником, редко во что клал душу, на много вопросов и совсем как бы не желал откликаться.

Как я замечал и выше, вы (хотя я, например, был уже в конце 60-х годов мужчиной тридцати лет) всегда чувствовали между собою и Тургеневым какую-то перегородку, и не потому, чтобы он вас так поражал глубиной своего ума и знаний, а потому, что он не жил так запросами своей эпохи, как Герцен, даже и за два месяца до своей смерти.

Могу его сопоставить — опять-таки, каким он был тогда, — со всеми крупнейшими писателями, нашими и иностранными, которых знал лично. Это ведь были в России Некрасов, Л. Толстой, Салтыков, Григорович, Михайловский, Гаршин, Короленко, Горький, Андреев, разные критики и публицисты, профессора и адвокаты, не исключая и таких, как Спасович, Утин, кн. Урусов. А за границей — французские романисты Гонкур, Золя, Доде, Мопассан, Бурже, психолог Рибо, Ренан и много других. Герцен никому не уступил бы цельностью своего душевного облика, содержанием своего политико-социального *credo,* не говоря уже о блеске и силе его диалектики.

Если в наших тогдашних разговорах он очень мало касался известных русских писателей, то и об эмиграции он не распространялся. Он уже имел случай в печати охарактеризовать ее отрицательные качества. С тех пор он, по крайней мере в Париже, не поддерживал деятельных революционных связей, но следил за всем, что происходило освободительного среди молодежи.

При мне зашла речь о Н[ечае]ве, тогда уже прославившемся революционере. Кажется, сначала Герцен *верил* в него *, но в это время он уже начинал распознавать, что, в сущности, представлял собою этот террорист как личность.

Настроение А. И-ча продолжало быть и тогда революционным, но он ни в чем не проявлял уже желания стать во главе движения, имеющего чисто подпольный характер. Своей же трибуны как публицист он себе еще не нашел, но не переставал писать каждый день и любил повторять, что в его лета нет уже больше сна, как часов шесть-семь в день, почему он и просыпался и летом и зимой очень рано и сейчас же брался за перо. Но после завтрака он уже не работал и много ходил по Парижу.

После долгой жизни на чужбине, где я, хотя и сталкивался с русскими, но не был вхож почти что ни в один русский семейный дом, меня очень согрела скоро сложившаяся близость с домом Герцена.

Связующим звеном явилась, всего больше, Лиза или «Лизок», как ее звали. Эта слишком рано развившаяся девочка привыкла с детства постоянно обходиться с большими. Про ее жаргон ходило много анекдотов, вроде того, что она садилась в Лондоне в приемные дни А. И-ча на диван и задавала гостю вопросы, вроде:

— Скажите, что нового в политическом мире? — когда ей шел всего седьмой год.

При переездах последних лет ее ничему правильно не учили, и она, говоря по-французски и по-английски с отличным акцентом, по-русски говорила почти что как иностранка, с сильной, хотя и милой, картавостью. Она и смотрела скорее английским подростком, чем русской девочкой по тринадцатому году; блондинка, с одной чисто британской особенностью: у нее выдавались два зуба в верхней челюсти, и она носила машинку из каучука, которая ее ужасно раздражала. Такою она у меня в «Дельцах» *, где есть девочка, вроде нее, дочь вдовы эмигранта, вернувшейся в Петербург.

Лиза не была похожа ни на своего официального отца Огарева, ни на настоящего — Герцена, ни на мать ее.

Я не видал ее взрослой девушкой и не могу сказать — что из нее вышло, но знаю от многих, в том числе и от Тургенева, что вышло что-то весьма малоуравновешенное. И неудачная любовь, вместе с сознанием, что она ничего хорошо не знает и ни к чему не подготовлена, были, вероятно, мотивами ее самоубийства *, навеявшего мне рассказ «По-русски» в виде дневника матери.

Но тогда, то есть в конце 1869 года в Париже, она была пленительный подросток, и мы с ней быстро сдружились. Видя, как она мало знала свой родной язык, я охотно стал давать ей уроки, за что А. И. предложил было мне гонорар, сказав при этом, что такую же плату получает Элизе Реклю за уроки географии; но я уклонился от всякого вознаграждения, не желая, чтобы наше приятельство с Лизой превращалось в отношения ученицы к платному учителю.

На рождество я купил ей книжку популярной химии — в память моего когда-то увлечения этой наукой, и попросил Н. А. Огареву, как это делали нам, детям, положить ей книжку под подушку. И это было всего за несколько дней до болезни А. И-ча.

В это время Париж сильно волновался. История дуэли Пьера Бонапарта с Виктором Нуаром чуть не кончилась бунтом *. Дело доходило до грандиозных уличных манифестаций и вмешательства войск. Герцен ходил всюду и очень волновался. Его удивляло то, что наш общий с ним приятель Г. Н. Вырубов, как правоверный позитивист, признающий как догмат, что эра революции уже не должна возвращаться, очень равнодушно относился к этим волнениям.

— Помилуйте! — говорил мне Герцен своим горячим, проникновенным тоном, — это не молодой человек, а *мудрорыбица* какая-то!

Это прозвище было так удачно придумано, что мы потом не иначе звали нашего позитивного философа, по крайней мере за глаза, как «мудрорыбица».

Не только днем Герцен выходил во всякую погоду, но и вечером — интересовался разными «conférences» на политические темы. И на одной из них тогдашнего молодого радикального публициста Вермореля в известной тогда Salle des capucines он и простудился. Первые два дня никто еще не видел ничего опасного в этой простуде, и среда прошла без участия хозяина, но без всякой особой тревоги. Его стал лечить все тот же Шарко. И на третий же день определилось воспаление легкого, которое от диабета вызвало нарыв.

Я ходил каждый день узнавать о его здоровье в дообеденные часы. Сначала ко мне выходила Огарева, а потом стала высылать Лизу. Она мне, почти возмущенная, говорит:

— Шарко поставил А. И-чу банки! Что это такое! Разве можно лечить потерей крови!

И в эти тяжкие дни Огарева не раз сказала мне про Тургенева то, что я уже приводил в печати, как она просила его остаться хоть еще сутки, чтобы выждать кризис, но он заторопился в Баден, а между тем ездил на казнь Тропмана. Это и меня очень покоробило, и я не счел нужным умолчать об этом, что, может быть, мне

и пеняли. Но я до сих пор помню слова подруги Герцена:

— Тургенев, — сказала она ему, — вы мне всегда говорили, что после Белинского Герцена вы больше всех когда-то любили. Если он умрет, вам будет жутко, что вы не хотели подождать всего одну ночь!

Но он не захотел. Должно быть, его вызывала в Баден ее повелительность.

Больного я не видел. К нему уже не пускали. Он часто лишался сознания, но и в день смерти, приходя в себя, все спрашивал: есть ли депеша «от Коли» *, то есть от Н. П. Огарева. Эта дружба все пережила и умерла только с его последним вздохом. Позднее, уже в России, я взял этот мотив для рассказа «Последняя депеша» *. Такой дружбы не знали писатели моего поколения.

Когда я утром пришел в Pavillon de Rohan, то в зале, у камина, стояли Вырубов и сын Герцена, только что приехавший из Флоренции.

Еще за два дня Вырубов, когда я был у него, говорил тоном заправского врача:

— Он не встанет! Образовался нарыв. Смерть неизбежна!

Похороны Герцена я описывал в печати. Они довольно еще свежи в моей памяти, хотя с тех пор прошло уже целых сорок лет!

Довольно ясное зимнее утро, без снега. Группа парижских рабочих и демократов, несколько молодых русских и петербургский отставной крупный чиновник, который в передней все перебегал от одной кучки к другой и спрашивал:

— А разве духовенства не будет? Разве отпевания не будет?

Я не заметил ни одной известности политического или литературного мира. Конечно, были газетные репортеры, и на другой день в нескольких оппозиционных газетах появились сочувственные некрологи, но проводы А. И-ча не имели и одной сотой торжественности и почета, с которыми парижская интеллигенция проводила тело Тургенева* тринадцать лет спустя.

Речей у могилы решено было не произносить, но

Г. Н. Вырубов, распоряжавшийся похоронами, нашел все-таки нужным сказать короткое слово, которое появилось потом в печати.

Мы с Рагозиным и еще с кем-то из русских шли пешком от кладбища *Père Lachaise* вниз по большим бульварам, и мне тогда сделалось еще грустнее, чем было на кладбище в небольшой толпе, скучившейся около могилы. Для Парижа смерть нашего Герцена была простым «incident», но мы действительно осиротели.

И для меня лично Париж как-то потускнел. Приманки зимнего сезона перестали занимать. Потянуло вон. Для газетного сотрудника было все-таки немало интересного и в Палате с такой новой силой, как Гамбетта, и в журнализме с «Фонарем» Рошфора, и в общем подъеме, направленном против бонапартизма, который искал популярности и шел на разные либеральные уступки.

И в театрах шли новинки, и оперетка еще не выдохлась. В Сорбонне и Collège de France читали те же профессора. Но я не выжил всего сезона и собрался опять в Вену. Не могу теперь с точностью определить — какой главный мотив вызвал этот ранний отъезд; но смерть Герцена дала толчок более грустному настроению. И парижская зима меня физически утомила, я не выходил из простуд, мне надоело шлепать по жидкой грязи или сидеть с лихорадочной температурой в тесной комнате с каминишкой, который, как всегда в дешевых отелях, беспрестанно дымил.

И потребность что-нибудь задумать более крупное по беллетристике входила в эти мотивы, а парижская суета не позволяла сосредоточиться. Были на очереди и несколько этюдов, которые я мог диктовать моему секретарю. Я мог его взять с собою в Вену, откуда он все мечтал перебраться в Прагу и там к чему-нибудь пристроиться у «братьев славян».

Жаль было... мою милую ученицу и приятельницу Лизу. Я ее просил писать мне из Парижа по-русски, что было бы ей полезно для ее орфографии. И в первом же ее письмеце на русском языке стояли такие строки: «Пет Мич» (то есть Петр Дмитриевич). Я ее (то есть все) больше и больше рисую, а у нас здесь будет скоро révolution». Она осталась верна себе по части поли-

тики, хотя немножко рано предсказала переворот 4 сентября *.

Меня тогдашние парижские волнения не настолько захватывали, чтобы я для них только остался там на неопределенное время. Писатель пересиливал корреспондента, и я находил, что Париж дал мне самое ценное и характерное почти за целых четыре года, с октября 1865 года и по январь 1870, с перерывом в полгода, проведенных в Москве.

В Вене на первых порах мне опять жилось привольно, с бо̀льшими зимними удобствами, не было надобности так сновать по городу; выбрал я себе тихий квартал в одном из форштадтов, с русскими молодыми людьми из медиков и натуралистов, в том числе с тем зоологом У., с которым познакомился в Цюрихе за полгода перед тем.

Припоминаю один инцидент, который впоследствии был связующим звеном с моим изучением нашего раскола старообрядчества. На вечернем журфиксе у священника Р[аев]ского я познакомился с одним русским химиком. Мы разговорились, и он мне, как «бытописателю», рассказал про курьезных соседей своих по отелю — депутатов-старообрядцев из Белой Криницы, живущих в Вене по делу об освобождении их от воинской повинности.

— Для вас будет занимательно потолковать с ними.

Мы с ним условились, когда мне зайти в его отель. Он их предупредит, а я их найду в столовой гостиницы.

Старообрядцы явились; один — старец в монашеском клобуке и в лисьей шубе, другой — плотный бородатый брюнет в поддевке. Старец был знаменитый Алимпий Милорадов, тот, что отыскал для Белой Криницы упраздненного греческого митрополита.

Они мне рассказали, что ждут здесь рассмотрения их «промемории» в Палате, что Бейст (первый министр) их обнадеживает, но они ему мало верят. От повинности они желают совсем освободиться, не только не попадать в солдаты, но даже и в военные санитары. Им хотелось, чтобы я просмотрел их «промеморию». По-немецки они, ни тот, ни другой, не знали. А составлял им местный



Лиза Огарева-Герцен

1870-е гг.

венгерский чиновник — «становой», как они его, по-своему, называли.

Меня они в первый раз не застали. Горничная доложила мне, что были какие-то «жиды» — «juden» и оставили какой-то пакет. Это и была их «промемория».

Когда я с ней познакомился, я пришел в ужас от тех доводов, которыми составитель ее хотел убедить правительство. «Мы, — стояло там, — когда у нас власти хотели вводить оспопрививание — наотрез отказались. У нас перемерло больше тысячи человек, а мы все-таки оспопрививания не приняли!» Нетрудно было представить себе — какой эффект произвел бы этот аргумент на рейхстаг.

Я им переделал эту докладную записку и написал текст по-немецки с русским переводом. И когда мы в другой раз разговорились с Алимпием «по душе», он мне много рассказывал про Москву, про писателя П. И. Мельникова, который хотел его «привесть» и представить по начальству, про то, как он возил Меттерниху бочонок с золотом за то, чтобы тот представил их дело в благоприятном свете императору, тому, что отказался от престола в революцию 1848 года *.

Они торопились домой, и я им послал докладную записку по почте, на что и получил от Алимпия благодарственное письмо от имени всего белокриницкого народа, где меня называли «адамантом» и «любительным приятелем».

В Вене я больше видал русских. Всего чаще встречался опять с зоологом У. — добрым и излиятельным малым, страстным любителем театра и сидевшим целые дни над микроскопом. Над ним его приятели острили, что он не может определить, кто он такой — Гамлет или Кёлликер — знаменитый гистолог и микроскопист. У него была страстишка произносить монологи, разумеется по-русски, ибо немецкий *прононс* был у него чисто нижегородский. Он умудрялся даже такое немудрое слово, как Käse (сыр) произносить как «Kaise».

Другой волжанин из Казани, доктор Б. — был совсем другой тип, старше годами, с характерными повадками и говором истого казанца. Он уже имел в своем городе положение известного практиканта и стоял во

главе лечебницы. В Вене, а потом в Берлине, он доделывал свою научную выучку, посещал и госпитальные клиники, и лекции теоретиков.

Давно я не слыхал такого бытового жаргона, как у этого чада Казани. У него был целый словарь своих словечек, большею частью бранных, но с добродушными интонациями. Некоторые имели особый дружеский и хвалебный смысл. Кто ему нравился, кто с ним сходился — он и в глаза не иначе называл его, как «пса». И все почти существительные приобретали окончание на *ец*: вместо баба — *бабец*, вместо лягушка — *лягушец*, вместо кабак — *кабачец*. Его общество, хотя и не представляло для меня ничего выдающегося в высшем интеллигентном смысле, но давало вкус к той бытовой жизни, которая там, на родине, шла своим чередом и от которой я ушел на такой долгий срок.

И У. — смесь Кёлликера с Гамлетом — возвращал меня на мою ближайшую родину, в Нижний, где он также родился и учился в гимназии. Он происходил из купеческой семьи и говорил довольно-таки явственно на «он», как в мое время говорили все купцы, мещане, мелкие чиновники и даже некоторые захолустные дворяне-помещики. С ним я проделал опять и венский *фашинг*.

Для меня в фашинге уже не было обаяния новизны, но У., слабый насчет женских прелестей (хотя в общем даже целомудренный), увлекался маскарадными встречами с венскими «Цирцеями», как говорилось в пушкинское время.

Мы с ним отдали всему этому «привычну дань». Я ведь был еще молодой человек, но излишество прожигания жизни никогда не могло владеть мною. Из Парижа после целых четырех зимних сезонов я вывез чувство большого душевного одиночества. И оно ничем не было заполнено, никаким даже чувственным сближением с сколько-нибудь любимой женщиной.

В предыдущий фашинг, уже описанный мною выше, я на одном из маскарадов в дворцовых «Reduten-Säle» случайно вступил на верхней галерее в разговор с немкой, которая показалась мне очень бойкой, начитанной и с оригинальным складом ума, наблюдательного и скептического. Мы встречались несколько раз, без всяких ужинов и того, что за ними обыкновенно следует. Я сразу увидал, что это порядочная женщина — или

девушка — без всяких замашек галантных посетительниц маскарадов и публичных балов.

Я попросил ее продолжить наше знакомство, и мы сошлись на «Ринге» в дамском кафе. Я ей тогда же дал прочесть свою статью о театре* из «Philosophie Positive», потому что по-немецки я и тогда и впоследствии сам ничего не печатал.

Это было уже перед моим отъездом в Париж. Мы много говорили о Париже, куда она стремилась. Я узнал от нее, что она свободная девушка, сирота, родом с Рейна, скучает, не удовлетворена слишком пустой венской жизнью, хотела бы многому учиться и найти наконец свою дорогу. Она любила музыку и много работала, но виртуозки из нее не будет.

Без маски лицо у нее оказалось некрасивое, с резковатыми чертами, но рост прекрасный и довольно стройные формы. Она была уже не самой первой молодости для девушки — лет под тридцать. Подействовать на мое воображение или на мои эротические чувства она не могла; но она меня интересовала, как незнакомый мне тип немецкой девушки, ищущей в жизни чего-то менее банального.

В тех маскарадах, где мы встречались, с ней почти всегда ходил высокий, франтоватый блондин, с которым и я должен был заводить разговор. Это был поляк Н., сын эмигранта, воспитывавшийся в Париже, учитель французского языка и литературы в одном из венских средних заведений. Он читал в ту зиму и публичные лекции, и на одну из них я попал: читал по писаному, прилично, с хорошим французским акцентом, но по содержанию — общие места.

Между ними был, конечно, флёрт, но больше с его стороны. И когда я ей посоветовал хоть к будущей осени приехать в Париж, где я непременно буду, то она схватилась за этот проект. Мы изредка переписывались, и осенью 1869 года она приехала в Париж; я нашел ей помещение в Латинском квартале, а потом приятель мой Наке предложил ей поселиться в виде жилицы у его приятельницы, госпожи А., очень развитой женщины, где она могла бы и усовершенствоваться в языке, и войти в кружок интересных французов.

Между нами и в Вене и в Париже *ничего* не было, никакого даже невинного флёрта. Она как женщина

мне не нравилась, и в ее характере и складе ума было что-то, что не отвечало на мою потребность в некотором лиризме, в нежности, в тех проявлениях женской души, которые мы находим в славянских женщинах.

Она была честная, правдивая, очень умная и наблюдательная девушка, но с каким-то налетом, может быть напускным, скептицизма и склонности к сарказму. Быть может, и это воздержало меня от всяких попыток сближения. Из Парижа, после смерти Герцена я не уехал бы так скоро, если б между нами закрепилась хоть та дружба, которая часто переходит в более нежную симпатию.

Она осталась еще в Париже до конца сезона, в Вену не приехала, отправилась на свою родину, в прирейнский город Майнц, где я ее нашел уже летом во время франко-прусской войны, а потом вскоре вышла замуж за этого самого поляка Н., о чем мне своевременно и написала, поселилась с ним в Вене, где я нашел ее в августе 1871 года, а позднее прошла через горькие испытания. Муж оказался очень печальной личностью, довел ее до бедноты (у нее были свои средства), и она должна была пойти в гувернантки в какое-то семейство в Англии.

С тех пор мы нигде не видались, и только раз я получил от нее — уже не помню где — письмо по поводу моего романа «Жертва вечерняя», который она прочла только что в немецком переводе *.

И выходило, стало быть, что мой второй венский *фашинг* не внес в мою эмоциональную жизнь молодого мужчины ничего такого, что бы хоть сколько-нибудь наполнило сердечную пустоту холостяка, уже довольно утомленного многолетней сутолокой заграничного корреспондента.

Да и физическое здоровье не то что расстроилось, но получило некоторую аварию. Париж, кроме ряда простуд, дал мне впервые катар желудка — не кишечного канала, а желудка, в виде нервных припадков такого рода, что я, при всей моей любви к театру, стал бояться жарких театральных зал. Мне вдруг делалось не по себе и нападал страх, что я сейчас упаду в обморок. Этот катар нажит был, конечно, от ресторанной дешевой еды и от той привычки, какую приобретаешь в Париже к разным «consommations» в кафе, то есть к разного

рода бурде, вроде cassis, groseille[1] и т. д. Но абсента я никогда даже и не пробовал.

В Вене я надеялся попасть на другой «корм» и вообще пожить с гораздо большим досугом, как у нас говорится — «с прохладцей».

Здесь уместно будет подвести итог и тому, как я относился к француженке как женщине вообще, после такого долгого житья в Париже.

На *сцене* французская женщина могла казаться мне привлекательной своим изяществом, тоном, дикцией, умом, но в жизни я очень скоро распознал в ней многое, что совсем не привлекало к ней моего мужского чувства.

Правда, я мало бывал в парижских семейных домах, но знавал и артисток и тех девиц, с которыми ходил на курсы декламации. А в Латинском квартале, в театрах, на балах, в студенческих кафе и ресторанах бывал окружен молодыми женщинами, очень доступными, часто хорошенькими и, главное, забавными. Но я боялся, как огня, того, что французы зовут «collage», легкой связи, и ушел от нее в целых четыре парижских сезона оттого, вероятно, что все эти легкие девицы ничего не говорили моей душе.

И я до сих пор того мнения, что француженки — и честные и продажные — совсем не годятся нам ни в жены, ни в возлюбленные. Но от этого было не легче, и жизнь сердца была в самые еще молодые года атрофирована.

В России у меня ведь тоже не было ни одной связи. Студентом, в Казани и Дерпте, я годами жил без привязанности, а более мечтательная, чем реальная любовь к девушке, на которой я хотел жениться, кончилась ничем. Единственная моя дружба с моей кузиной пострадала от романа «Жертва вечерняя» *, а родная сестра моя писала мне редко и совсем не входила в мою жизнь.

В Вене, кроме того чисто головного флёрта, который завязался у меня с Агнессой П., я не имел ничего, кроме самых случайных встреч в мире доступных венских женщин.

И тут кстати будет сказать, что если я прожил свою молодость и не Иосифом Прекрасным, то никаким образом не заслужил той репутации по части женского пола,

---

[1] наливок из черной смородины, крыжовника *(франц.)*.

которая установилась за мною, вероятно, благодаря содержанию моих романов и повестей, а вовсе не на основании фактов моей реальной жизни. И впоследствии, до и после женитьбы и вплоть до старости, я был гораздо больше, как и теперь, «другом женщин», чем героем любовных похождений.

К 1870-му году я начал чувствовать потребность отдаться какому-нибудь новому произведению, где бы отразились все мои пережитки за последние три-четыре года. Но странно! Казалось бы, моя любовь к театру, специальное изучение его и в Париже и в Вене должны были бы поддержать во мне охоту к писанию драматических вещей. Но так не выходило, вероятнее всего потому, что кругом шла чужая жизнь, а разнообразие умственных и художественных впечатлений мешало сосредоточиться на сильном замысле в драме или в комедии.

Роман хотелось писать, но было рискованно приниматься за большую вещь. Останавливал вопрос — где его печатать. Для журналов это было тяжелое время, да у меня и не было связей в Петербурге, прежде всего с редакцией «Отечественных записок», перешедших от Краевского к Некрасову и Салтыкову *. Ни того, ни другого я лично тогда еще не знал.

Но первый роман, к которому я приступил бы, должен был неминуемо, по *содержанию*, состоять из того, что я переживал в России, в короткий промежуток второй половины 1866 года в Москве, и того, что мои личные испытания и встречи с русскими дали мне за четыре года. Так оно и вышло, когда тот роман, который представлялся мне еще смутно, весной 1870 года стал выясняться в виде первоначального плана.

А мои итоги, как романиста, состояли тогда из четырех повествовательных вещей: «В путь-дорогу», куда вошла вся жизнь юноши и молодого человека с 1853 по 1860 год, затем оставшихся недоконченными «Земских сил», где матерьялом служила тогдашняя обновляющаяся русская жизнь в провинции, в первые 60-е годы; «Жертва вечерняя» — вся дана петербургским нравам той же эпохи, и повести «По-американски», где фоном служила Москва средины 60-х годов. Роман «На суд» стоит совсем особо, и я им сам не был доволен, писал

его урывками, и моя испанская кампания была главная виновница в том, что эта вещь не получила должной цельности.

От своей мечты начала 1867 года, которая еще довольно сильно владела мною в Париже, я освободился, — идти на сцену; но ей я обязан был тем, что я так уходил в изучение театрального искусства во всех смыслах.

В Вене, кроме интереса к тому, что я нашел нового в театрах за сезон 1870 года, я ознакомился с тамошним преподаванием, в лице тамошнего знатока театра и декламатора Стракоша, и посещал его класс в Консерватории.

Стракош сделал себе имя как публичный чтец драматических вещей и в этом качестве приезжал и в Россию. При его невзрачной фигуре и дикции с австрийским акцентом, он, на мою оценку, не представлял собою ничего выдающегося. Как преподаватель, он в драме и трагедии держался все-таки немецко-условного пафоса, а для комедии не имел ни вкуса, ни дикции, ни тонкости парижских профессоров — даровитых сосьетеров Французской комедии.

В Бург-театре его ученики и ученицы могли видеть хорошее исполнение комедии, но в классическом репертуаре и там царствовал патетический декламационный стиль и тон, за самыми малыми исключениями. И даровитая Вальтер не могла вполне освободиться от декламационных интонаций. Актер на героические роли Зонненталь — был все-таки условный немецкий Гамлет; Левинский, сильный и разнообразный актер, все-таки, на более ценную оценку, слишком подчеркивал и «переигрывал». Тот Баумейстер, который позднее вдруг поднялся до положения первой силы труппы Бург-театра, тогда считался только хорошей полезностью. В одном только старике Лароше, уже сходившем со сцены, жила традиция правдивой и реальной игры.

Среди молодых актрис выделялись такие милые ingénues, как, например, Штрауке, но настоящий венский жанр женской игры был водевильный, в местной Posse. И тогда еще Галльмейер держала все то же амплуа венской субретки. И Гейстингер еще была царицей оперетки. И комики, как Блазель и его сверстники, продолжали смешить венцев в Posse и оперетке. Но весь этот

комизм, когда его вкушаешь в большом количестве, очень скоро приедается. Он и теперь все такой же, с теми же «штуками» дикции, мимической игры, пения куплетов и выделывания смешных па́.

Оперетка к той зиме обновилась музыкой Штрауса, который вошел в полное обладание своего таланта и сделался из бального композитора настоящим «maestro» для оперетки, стоящей даже на рубеже комической оперы. Такие его вещи, как «Летучая мышь» и «Цыганский барон», и рядом с вещами Оффенбаха представляют собою и бытовую и музыкальную ценность.

Старик Лаубе в тот сезон еще не был создателем нового драматического театра, а директорствовал в Лейпциге, куда удалился, поссорившись с придворным интендантством Бург-театра.

В Вене я во второй раз испытывал под конец тамошнего сезона то же чувство пресноты. Жизнь привольная, удовольствий всякого рода много, везде оживленная публика, но *нерва,* который поддерживал бы в вас высший интерес, — нет, потому что нет настоящей политической жизни, потому что не было и своей оригинальной литературы, и таких *движений* в интеллигенции и в рабочей массе, которые давали бы ноту столичной жизни.

Палата очень скоро приедалась. Политика габсбургского дуализма представляла собою все то же упражнение на туго натянутом канате, выдающихся ораторов не было, интересных сходок и митингов еще менее. Братья славяне — из тех, которые льнут к русской церкви и самому ее 〈...〉, при ближайшем знакомстве не вызывали особенных симпатий. И в результате получалось стоячее впечатление от столицы, живущей изо дня в день в свое удовольствие, где не нарождается и не разработывается ни один крупный вопрос культурного человечества.

Я побывал еще зимой и в Пеште, куда ездил в первый раз, захватив и там часть фашинга.

Тогда Венгрия только что вошла во вкус своей обособленности и выработывала приемы нации, которая желает играть в дуалистической империи первенствующую роль.

Город Пешт только еще стал обстроиваться красивыми зданиями, вроде того собрания, где давались балы и маскарады. Но я нашел все это сколком с венских увеселений только с прибавкою национального колорита, да и больше в том, как одеты кучера и лакеи.

Нужно было помириться и с тем, что названия улиц и площадей значились только по-мадьярски, без немецкого перевода.

И в отелях, и в ночных увеселительных местах вы находили еще большую вольность нравов, чем в Вене, особенно в отелях. Тогда еще было в обычае смотреть на женскую прислугу как на штат своего рода одалисок. Такую же распущенность нашел я в Пеште и в войну 1877 года, когда объезжал славянские страны.

Театры, и оперные и драматические, нашел я самые посредственные, отзывающиеся провинцией. Все это очень напоминало нашу провинцию в западном крае, но было низменнее того, что я нашел, например, в Варшаве год спустя, в самом начале 1871 года.

Когда время стало подходить к маю, надо было составлять новую программу переездов. Берлин, где я бывал только проездом, представлялся гораздо более интересным. В мае и июне там еще идет политическая жизнь в Палате, и как раз шла борьба между Бисмарком и оппозицией *.

Мои русские — и зоолог У. и медик Б. — собирались также туда, и мы условливались провести там месяц-другой.

Возвращаться в Россию я еще не собирался, хотя уже и начал чувствовать тягу, какая овладевает вами после такого долгого скитания на чужбине.

Мои долговые дела находились все в том же statu quo. Что можно было, я уплачивал из моего гонорара, но ликвидация по моему имению затягивалась и кончилась, как я говорил выше, тем, что вся моя земля пошла за бесценок и сверх уплаты залога выручилось всего каких-то три-четыре тысячи. Рассчитывать на прочную литературную работу в газетах (даже и на такую, как за границей) я не мог. Во мне засела слишком сильно любовь к писательскому делу, хотя оно же так жестоко и «подсидело меня» в матерьяльном смысле.

Определенного плана на следующий сезон 1870—1871 годов у меня не было, и я не помню, чтобы я решил

еще в Вене, куда я поеду из Берлина на вторую половину лета. Лечиться на водах я еще тогда не сбирался, хотя катар желудка, нажитый в Париже, еще давал о себе знать от времени до времени.

Хотелось очень выработать план романа, хотя и было рискованно пускаться в долгий путь.

И если б события, уже не личного, а всемирного значения, не разразились так неожиданно, более чем вероятно, что я после Берлина поехал бы куда-нибудь в тихий уголок Швейцарии и там отдался бы работе беллетриста.

В Берлине прожил я ровно два месяца — май и июнь 1870 года.

Там нашел я моего товарища по Дерпту, который все еще считал себя как бы на нелегальном положении * из-за своих сношений с политическими эмигрантами, ездил даже в Эмс, где с Александром II жил тогда гр. Шувалов, и имел с ним обьяснение, которое он передавал в лицах.

Шувалов ловко допытывался от него, о чем, собственно, мечтают русские революционеры, и Бакст уверял его, что дальше конституции они в своих pia desideria [1] нейдут.

Вл. Бакст был, по-своему, единственный тип из всех мне на моем веку знакомых евреев.

Внешность его — большой горб, маленький рост, резкие семитические черты — все это говорило против него. Но он был то, что французы называют «un charmeur» [2]. Он умел еще в Дерпте настолько привлечь к себе, что я охотно пошел на его предложение — перевести с ним первый том тогда только что вышедшей немецкой физиологии Дондерса *. Моя доля работы была самая значительная, особенно в смысле русского языка и слога, которыми он тогда плохо владел. Как оказалось, он не совсем корректно поступил позднее, когда выпустил второе издание книги, сняв мое имя и не заплатив мне никакого дополнительного гонорара. Но я ему это простил и, встретившись в Берлине, никогда ему этого не напоминал.

---

[1] благих пожеланиях. *(лат.)*.

[2] обаятельный *(франц.)*.

Он тогда сбирался все приступать к докторскому экзамену, но, как всегда, был гораздо больше Lebensmann [1], чем ревностный докторант. У него был необычайный талант возни с людьми; он знакомился со всяким народом и делался сейчас нужным человеком кружка, давал советы, посредничал, оказывал всевозможные услуги. В этом, конечно, сказывалась одна из характерных черт семитической расы.

Сохранил он и большую слабость к женскому полу: вопреки своей внешности, считал себя привлекательным и тогда в Берлине жил с какой-то немочкой. Любил он и принимать участие в качестве друга и руководителя во всяком прожигании жизни по этой части, хотя к кутежу не имел склонности.

Сейчас же, как только я поселился на квартирке (в одной из улиц, поперечных с Фридрихштрассе), он устроил меня пансионером в табльдоте Hôtel de Rome, и что-то необыкновенно дешево, за талер, с вином, а еда в этой гостинице считалась тогда одной из самых лучших в Берлине.

Он же свел меня с кружком русских молодых людей, которые состояли при И. А. Гончарове, жившем в Берлине как раз в это время, перед отправлением на какие-то воды. Ближайшими приятелями Бакста был сын Пирогова от первой жены и брат его второй жены.

Оба ничего собою выдающегося не представляли, а были вивёры и веселые собеседники, усердные посетители всяких танцклассов и увеселительных вечеров. Но они вместе с Бакстом составляли род маленькой свиты Гончарова. Он жил Unter den Linden, в несуществующем уже теперь Britisch Hôtel, по той стороне бульвара, которая идет справа к Brandenburgertier и к Tïergarten.

Прежде чем меня с ним познакомили, я уже слышал от них, как они, и в особенности Бакст, уговаривали его обедать с ними в Hôtel de Rome, где еда гораздо лучше, чем в этом «Бритиш-Отеле», и даже бросить совсем этот отель. Иван Александрович отвечал им неизменно:

— Друзья мои... я бы с радостью, но как же я буду

---

[1] жизнелюб *(нем.)*.

ходить мимо Britisch Hôtel? А хозяин может стоять на крыльце и увидит меня. Нет, я не могу, как вам угодно!

Этот рассказ как нельзя лучше давал характерную черту натуры Гончарова, его постоянной боязни: попасть в какое-нибудь неловкое положение, что с годами еще усилилось.

Тогда ему было уже 58 лет, так как он родился в один год с Герценом, в 1812 году, и раньше Лермонтова на два года.

В Петербурге в 60-е года мне не привелось с ним лично познакомиться. Я как редактор не обращался к нему с просьбою о сотрудничестве. Тогда он надолго замолк, и перед тем только его «Беловодова» (эпизод из «Обрыва») появился в «Современнике» *. Кажется, я видал его на Невском, но его наружность осталась у меня в памяти больше по портретам, особенно из известной тогда коллекции литографий Мюнстера.

Тогда у него было совсем бритое лицо, а тут, в Берлине, он носил бакенбарды, пополнел и смотрел если не стариком, то уже пожилым, но свежим мужчиной, очень благообразным и корректным во всем — в туалете, в манерах, в тоне.

Мое поколение ставило его как писателя очень высоко. Я лично находился на промежутке десяти лет под впечатлением его «Обломова» (в Дерпте, в конце 50-х годов) и «Обрыва», прочитанного мною с большим подъемом интереса в Швейцарии менее года назад, до нашей встречи в Берлине на тротуаре берлинских Unter den Linden.

Когда меня к нему подвели, он, протягивая мне руку, спросил мягко и ласково:

— Писатель?

Про эту встречу и дальнейшее знакомство с Гончаровым я имел уже случай говорить в печати * — в последний раз и в публичной беседе на вечере, посвященном его памяти в Петербурге, и не хотел бы здесь повторяться. Вспомню только то, что тогда было для меня в этой встрече особенно освежающего и ценного, особенно после потери, какую я пережил в лице Герцена. Тут судьба, точно нарочно, посылала мне за границей такое знакомство.

То, что рассказывалось в писательских кружках о претензии Гончарова против Тургенева за присвоен-

ный якобы у него тип «нигилиста» *, было мне известно, хотя тогда об этом еще ничего не проникало в печать. Но Иван Александрович при личном знакомстве тогда, то есть лет восемь после появления «Отцов и детей», не имел в себе ничего странного или анормального. Напротив, весьма спокойный, приятный собеседник, сдержанный, но далеко не сухой, весьма разговорчивый, охотно отвечающий на все, с чем вы к нему обращались.

По тону, манерам и общему облику он смотрел петербуржцем из светского круга, крупным чиновником, но дворянского типа, хотя и был купеческого рода, что, кажется, всегда скрывал.

Его служебная карьера не могла, конечно, делать его в глазах тогдашней радикальной молодежи «властителем ее дум» — еще менее, чем Тургенева после «Отцов и детей». Он ведь побывал и в цензорах, и долго служил еще в каком-то департаменте, и тогда еще состоял на действительной службе. Но все-таки в нем чувствовался прежде всего *писатель,* человек с приподнятым умственным интересом.

Если б тогда он подольше остался и я видался бы с ним чаще один на один, наверно, я бы вызвал его на такие разговоры, в которых он бы высказывался гораздо полнее. Но наши беседы бывали неизменно в обществе его маленькой свиты. Мы шли обыкновенно в «Тиргартен», гуляли там, возвращались на Linden и доводили Ивана Александровича до его Britisch Hôtel'я.

Он любил говорить о том, как и когда писал «Обрыв». Потом и в печать попали подробности о том, как он *запоем* доканчивал роман на водах, писал по целому печатному листу в день, и больше.

— Даже рука, бывало, онемеет!

По поводу «Обрыва» и лица Марка Волохова он ни разу не сделал намека на тургеневского Базарова, и вообще я тогда не слыхал от него никаких отзывов — как о талантах и людях — о своих ближайших и младших сверстниках: Тургеневе, Островском, Некрасове, Салтыкове, Толстом.

Позднее, то есть ровно через десять лет, мы жили с ним на рижском «Штранде», в Дуббельне, вместе обедали — тогда я уже был женат — и много ходили по прибрежью. Тогда он говорил и о Тургеневе, и его мет-

кое сравнение с своим творчеством я уже вспоминал в печати.

Кажется, он из Берлина поехал опять на какие-то воды, и я не помню, чтоб во вторую половину моего житья я видал его так же часто.

Берлинский сезон был для меня не без интереса. Я ходил в Палату и слышал Бисмарка, который тогда совсем еще не играл роли национального героя, даже и после войны 1866 года, доставившей Пруссии первенствующее место в Германском союзе.

Берлин его недолюбливал, хотя и хвалился его государственным умом и характером. В Палате я слышал его не один раз. И когда он впервые заговорил при мне, я был удивлен, что из такой крупной фигуры, да еще в военной форме, выходит голос картаво-теноровый, совсем не грозный и не внушительный, с манерой говорить прусского офицера или дипломата. Он не был оратор, искал слов, покачивался, когда говорил, и не производил своей манерой говорить никакого особенного впечатления. Но когда его кто-нибудь рассердит, он находчиво и ядовито отвечал и умел заставлять молчать своих противников.

Еще в июне, и даже во второй половине его, никто и не думал о том, что война была уже на носу. Даже и пресловутый инцидент испанского наследства еще не беспокоил ни немецкую, ни французскую прессу *. Настроение Берлина было тогда совсем не воинственное, а скорее либерально-оппозиционное в противобисмарковом духе. Это замечалось во всем и в тех разговорах, какие мне приводилось иметь с берлинцами разного сорта.

Я старался наверстать пробел в моих поездках по Европе и изучал Берлин довольно старательно, бывал везде, причем Бакст был часто моим чичероне, проводил вечера и в разных театрах, которые, в общем, находил гораздо плоше венских. И королевский «Schauspielhaus», где, однако, были такие таланты, как старый Дюринг и ingénue Буска (впоследствии любимица петербургской публики), но в репертуаре и в тоне игры царила рутина. Выдающейся частной драматической сцены (вроде теперешнего «Deutsches Theater») тогда в

Берлине не было, а область комической игры ушла вся в Posse, где были два-три даровитых комика-буффа вроде Неймана.

Доктор Б., видавшийся со мною часто — так же, как и нижегородец У., — познакомил меня с ассистентом Вирхова, добродушным малым, которому Б. дал уже прозвище «щенок» за его несуразные движения. С этим «щенком» мы ходили смотреть мюнхенскую трагическую актрису, тогда одну из самых талантливых на героическом амплуа.

В университете я бывал на лекциях Моммсона и Гнейста. Вирхов читал микроскопическую анатомию в клинике. Меня водил на его лекции Б. И раз при мне случилась такая история. Б. сидел рядом с ассистентом Боткина, покойным доктором П., впоследствии известным петербургским практикантом. Они о чем-то перешепнулись. Вирхов — вообще очень обидчивый и строгий — остановился и сделал им выговор.

Читал Вирхов без всякого особого преподавательского таланта, а в Палате я его не слыхал. Я даже не помню, был ли он уже тогда депутатом *.

С моими русскими я съездил в Гамбург, в дешевом Bummelzug'e[1], и там мы прожили дня два-три, вкусили всех тогдашних чувственных приманок, но эта поездка повела к размолвке с У. — из-за чего, я уже теперь не припомню, — но у нас вышло бурное объяснение — до поздней ночи. И с тех пор нас судьба развела в разные стороны, и когда мы встретились с ним (он тогда профессорствовал) в Москве в зиму 1877—1878 года, то прежнее приятельство уже не могло восстановиться.

В Берлине же пахнула на меня моим Нижним и встреча с моим товарищем по Казани С-вым, который поехал лечиться на какие-то воды. Бедняга — тогда уже очень мнительный — боялся все чахотки, от которой и умер несколько лет спустя.

И я надумал пойти посоветоваться к одной из тогдашних медицинских звезд. Этот консультант нашел у меня катар желудка, что я и сам хорошо знал, и предписал мне Киссинген *.

Но я еще до отъезда стал писать тот роман, который мелькал передо мною еще в Вене.

---

[1] поезде малой скорости *(нем.)*.

Это были «Солидные добродетели». Я написал всего еще одну главу, но много говорил об этой работе с доктором Б. Он желал мне сосредоточиться и поработать не спеша над такой вещью, которая бы выдвинула меня как романиста перед возвращением на родину.

Тут мы с ним и простились. В «Солидных добродетелях» и он и «Гамлет-Кёлликер» послужили мне моделями двух фигур в тех местах романа, где действие переносится в Вену.

С Б. мы столкнулись как-то в России (скорее в Москве, чем в Петербурге), когда он уже устроился заново в Казани и занял довольно видное общественное положение, а я и тогда оставался только *писателем* без всякого места и звания, о котором никогда и не заботился на протяжении всей моей трудовой жизни.

В Берлине, где я уже стал писать роман «Солидные добродетели», получил я совершенно нежданно-негаданно для меня собственноручное письмо от Н. А. Некрасова, в котором он просил у меня к осени 1870 роман *, даже если он и не будет к тому времени окончен, предоставляя мне самому выбор темы и размеры его. Это меня очень порадовало и приходилось как нельзя более кстати. Я ответил, что я начал как раз роман и постараюсь высылать его так, чтобы он мог еще быть напечатан к концу текущего года. Я предполагал сделать его в четырех частях, листов около четырех-пяти в каждой.

С Некрасовым у меня до того не было никаких сношений, ни личных, ни письменных. В Петербурге я с ним нигде не встречался, никогда не бывал в редакции «Современника» и из-за границы никогда к нему не обращался с предложением сотрудничества *, с тех пор как он после гибели «Современника» взял у Краевского его «Отечественные записки».

Это обращение ко мне в такой широкой и лестной для меня форме немного удивило меня. Я мог предполагать, что в его журнале главнейшие сотрудники вряд ли относились ко мне очень сочувственно, и еще не дальше, как в 1868 году там была напечатана анонимная рецензия на мою «Жертву вечернюю» (автор был Салтыков), где меня обличали в намерении возбуждать



Вл. Бакст
1860-е гг.



в публике чувственные инстинкты. Но факт был налицо. Более лестного обращения от самого Некрасова я не мог и ожидать.

Позднее, вернувшись в Петербург в начале 1871 года, я узнал от брата Василия Курочкина — Николая (постоянного сотрудника «Отечественных записок»), что это он, не будучи даже со мной знаком, стал говорить самому Некрасову обо мне как о желательном сотруднике и побудил его обратиться ко мне с письмом. В этом сказался большой ум Некрасова и ширь его отношения к своему делу. Его, стало быть, не смутило то, что у него же в журнале так «прошлись» насчет «Жертвы вечерней». Быть может, это меня самого несколько смутило бы, но я «Отечественных записок» за границей в эти годы не читал, и с рецензией Салтыкова меня познакомил кто-то уже в России.

И вот я поехал пить воды в Киссинген с приятной перспективой вести дальше главы первой части романа. У меня была полнейшая надежда — к сентябрьской книжке доставить в редакцию целых две части романа.

Свое слово я выполнил, но *чего* это мне стоило, читатель увидит сейчас.

В Берлине никто еще и не помышлял о близости той грозы, какая разразилась не дальше, как через каких-нибудь две с половиной недели. Я доехал до Киссингена в самом благодушном и бодром настроении.

Тогда железная дорога шла только до Швейнфурта, а оттуда — в почтовой карете с баварским постильоном в голубой куртке, лосинных рейтузах и ботфортах, с рожком, на котором он разыгрывал разные песни. Эта форма сохранилась до сих пор, то есть до лета 1910 года, когда я был опять в Киссенгене 40 лет спустя после первого посещения.

Первые две недели не было еще политической тревоги. Я сошелся с петербургским французом, учителем одной частной гимназии на Васильевском острову и проводил с ним часы прогулок в приятных разговорах; в жаркие часы писал роман.

А тучи тем временем сгущались на политическом горизонте. Разразилась история в Эмсе с депешей *, которую Бисмарк обработал по-своему, после исторического

диалога французского посла с Вильгельмом I, тогда еще просто прусским королем.

И вдруг — война! Французская Палата, а за ней и весь Париж всколыхнулись, пошел крик: «A Berlin!» [1], и европейская катастрофа была уже на носу.

На наших водах вдруг стряслась такая денежная паника, что за русские сторублевки менялы не давали *ничего,* хотя наш курс стоял тогда очень высоко: в Берлине давали на рубль три талера, а в Париже все время, пока я там жил, 350—360 франков за сто рублей.

Меня прямо война не касалась. Я и не думал предлагать свои услуги одной из тех газет, где я состоял корреспондентом. И вдруг получаю от Корша депешу, где он *умоляет* меня поехать на театр войны. Просьба была такая настоятельная, что я не мог отказать, но передо мною сейчас же встал вопрос: «А как же быть с романом?»

У меня была написана какая-нибудь половина первой части. Но вот что делает молодость и молодая смелость... Я согласился в надежде, что я так или иначе сумею выполнить то, что я обещал Некрасову.

До двадцатых чисел июля я еще оставался в Киссингене, а потом поехал сначала в Мюнхен, куда главнокомандующий одной из прусских армий — наследный принц Фридрих должен был явиться, чтобы стать во главе южной армии.

У меня до сих пор памятно то утро, когда я, с трудом захватив место в почтовой карете (всё разом бросились вон), сидел рядом с постильоном, стариком с плохо выбритой бородой, и тот все повторял своим баварским произношением:

— Ein böser Krieg wird's! [2]

И действительно, это была «злая» война. В Мюнхене я был на торжественном спектакле, когда король Людвиг II — еще очень молодой и красивый, ввел «Фрица» * в ложу и вся публика встала и зааплодировала. Эта война, где Франция (правительство и Палата) повела себя так неразумно и задорно, сразу давала такое предчувствие, что она не кончится торжеством Наполеона III

---

[1] На Берлин! *(франц.)*

[2] Злая будет война! *(нем.)*

над пруссаками; все видели, что это будет *прусская* война, где Бисмарк и Мольтке все заранее подготовили. Бисмарку она была нужна, и вопрос испанской короны был только ничтожный претекст[1].

Ехать корреспондентом на «театр войны» мне не особенно улыбалось, тем более что это делало мой план работы над романом почти что совсем невыполнимым.

Хотя то содержание, какое Корш предложил мне на расходы, по нынешнему времени было слишком скромно, но я все-таки хотел исполнить, в меру возможности, то, что входило в мою обязанность. Для этого надо было получить ход к немцам и выхлопотать себе права специального корреспондента.

Но мои попытки сразу же осеклись о недоверие немецких властей, начиная с командиров разных военных пунктов, к каким я должен был обращаться. Мне везде отказывали. Особых рекомендаций у меня не было, а редакция не позаботилась даже сейчас же выслать мне особое письмо. И я должен был довольствоваться тем, что буду писать письма в «Санкт-Петербургские ведомости» не прямо «с театра войны», как настоящий военный репортер, а «около войны».

Писал я с самого начала кампании почти что ежедневно, но мне сильно не хотелось бросить и роман «Солидные добродетели», и я продолжал, так сказать, «на биваках» писать его.

Теперь мне самому плохо верится, что я мог с августа по конец ноября находить время и энергию, чтобы высылать по частям «оригинал» романа и позволить редакции напечатать его без перерывов в четырех последних номерах «Отечественных записок». Такие tours de force[2] можно выполнять только молодым человеком, надеясь на удачу. Ведь я мог и заболеть, и даже попасть в какую-нибудь переделку, или быть арестованным, с той или другой стороны. Я и заболел ревматизмом под Мецом, где должен был идти пешком в грязи по щиколку, но все-таки оставался на ногах.

Здесь я не стану повторять того, что стоит в моих письмах, и я не мог бы этого сделать, потому что на это нужна слишком колоссальная память. Кто поинтере-

---

[1] предлог (от *франц.* pretexte).
[2] ловкие штуки *(франц.)*.

суется — может заглянуть в тогдашние «Санкт-Петербургские ведомости». Там нет описания битв, так как я не имел доступа в генеральный штаб немцев, а к французам я попал гораздо позднее, когда Париж уже был обложен. Об этом я не жалею. Война всегда была мне ненавистна, и видеть человеческие бойни было бы для меня великим душевным истязанием. Но я, оставаясь «вокруг и около» войны, схватывал разные моменты, характерные для хода событий, начиная с прирейнской области, Эльзаса с Лотарингией и продолжая теми пунктами Франции, куда я потом попадал.

Сначала у меня не было особых симпатий к французскому нашествию на Германию; но когда после Седана сделалось очевидно, что Пруссия хочет раздавить *всю* Францию, разделавшись так легко с Наполеоном III, я не мог не сочувствовать трагическому положению французов. Я прекрасно видел, что немцы *должны* победить. Их превосходство в разных смыслах бросалось в глаза; но я не мог радоваться их победам, чуя за этим погружение самой Германии в дух милитаризма и захвата. Ясно было уже и то, что Эльзас и Лотарингия — потеряны.

И вот тут, на местах немецкого захвата, начиная с Страсбура после его взятия, я впервые столкнулся с редакцией той газеты, которая упросила меня ехать корреспондентом. «Санкт-Петербургские ведомости» сначала держались нейтрально, но немецкие победы изменили их настроение, и Корш позволил своему фельетонисту Суворину начать со мною полемику, заподозрив точность и беспристрастие моих сообщений.

В Страсбуре я ночевал в отеле, два нижних этажа которого занимал тогдашний генерал-губернатор гр. Мантейфель. Гарсон, служивший мне, водил меня показывать в коридоре те места, которые были пробиты немецкими гранатами и бомбами. Я это описал. А хозяин отеля (после того, как моя корреспонденция попала, должно быть, в немецкую печать) написал в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» письмо с уверением, что никаких пробоин в его отеле при осаде не было. И редактор допустил своего забавника-фельетониста «прохаживаться» на мой счет, то есть доверять не мне, а трактирщику, который заведомо лгал, чтобы себя выгородить.

Позднее я уже чувствовал, что редакция перестала бить со мною в унисон, и это делало мою роль корреспондента очень тягостной. А меня все-таки не просили прекратить свои разъезды, и я потерял на них ни больше, ни меньше, как три с половиной месяца.

Не предаваясь никаким иллюзиям, я видел, что исход этой войны будет самый фатальный для Франции, но не мог не жалеть ее, не мог умалчивать и о том, что в Эльзас-Лотарингии *все* население было предано Франции и по *доброй воле* никогда бы от нее не отложилось. Я это подтверждал в моих письмах разными характерными фактами из того, что я сам *видел* и *переживал.*

Под Мец я попал тотчас после сдачи крепости и видел, до какой степени немцы были хорошо приготовлены к войне, как у них все было пропитано духом дисциплины, как их военное хозяйство велось образцово. Все это я подтверждал, но не мог не жалеть Франции, где ненавистный всем нам режим Второй империи уже пал и теперь на заклание была обречена пруссакам не империя, а французская демократическая республика. Этого забывать нельзя!

Известие о Седанском погроме захватило меня в Брюсселе, куда я попал «кружным» путем, и вскоре затем началась блокада Парижа, куда я так и не попал, но слышал много подробностей от очевидца В. Ф. Лугинина, получившего с трудом пропуск, после немалых хлопот. Он и Вырубов принимали также — каждый по-своему — участие в защите Парижа.

Про Седан я на месте слышал много рассказов от тамошних обывателей, не скрывавших и от иностранца того, до какой степени армия Наполеона III была деморализована во всех смыслах. Предательство маршала Базена, сдавшего Мец, еще ярче встало передо мною, когда я видел выход французской гвардии, безоружной, исхудалой, в изношенных мундирах и шинелях, под конвоем прусских гусар. Такие картины не забываются!

В остальных моих переездах я уже не видал ни раненых, ни пленных и опять окольным путем поехал через Нормандию в Тур, куда перелетел в шаре Гамбетта и где было тогдашнее временное правительство с ним во главе, ставшим уже диктатором Франции.

Когда я пробирался по Нормандии, станции были уже блиндированы в ожидании пруссаков, и надо было торопиться.

И везде, где я находил войска, чувствовалась большая растерянность. Солдаты из «мобилей», офицеры совсем не внушительного вида, настроение местных жителей — все это не внушало никакого доверия, и за бедную Французскую республику было обидно и больно.

Неприятель точно по пятам гнался за теми, кто, как я, ехал в сердце Франции — в тот город, где один только Гамбетта представлял собою героическую фигуру борьбы.

Со мною по дороге случился самый обыкновенный казус, но он мог сделаться для меня роковым.

На одной бойкой станции, где в ресторане вокзала сновало множество всякого народа, и военного и штатского, в отдельном стойле, на которые разделена была зала на манер лондонской таверны, я, закусывая, снял свою сумку из красного сафьяна, положил ее рядом на диване, заторопился, боясь не захватить поезд, и забыл сумку. В ней был *весь* мой банковый фонд — больше тысячи франков — и все золотом.

Легко представить себе мой переполох, когда я на платформе спохватился. Бегу и спрашиваю себя: что же я буду делать, если сумку кто-нибудь присвоит себе? Что-то краснеется... Это она!

Факт, показывающий, что в моменты общего возбуждения карманники не практикуют, как в обыкновенное время.

И всю дорогу до Тура, с разными пересадками, меня провожали разговоры испуганных буржуа без малейших проблесков патриотической веры в то, что Франция не может и не должна позволить так раздавить себя. Исключение составляли только те поставщики и подрядчики, которые устремлялись в местопребывание Гамбетты, кто с образцом какого-нибудь ружья, кто с разными консервами, кто с таинственным изобретением, которое должно будет истреблять пруссаков, как их однофамильцев — тараканов. Все это было несерьезно, суетно, мелко, крайне печально и для иностранца, которому с каждым днем становилось все более обидно и жалко за Францию.

В Тур я добрался ясным осенним утром. Город стоит на Луаре, среди милого, улыбающегося пейзажа, на-

стоящий «Jardin de France»[1], как его спокон века звали... Родина Бальзака *, которого судьба избавила от горечи переживать такие дни. А он мог бы еще дожить до 1870 года. Ему было бы всего семьдесят, а такой здоровяк, как он, мог дотянуть и до целой сотни лет. По-нашему говоря, — губернский город, такого же вида вокзал и весь облик города. В здании префектуры, казенного стиля, у ворот два кавалериста на часах, в куртках и плоховатых кепи.

Первое лицо, кого я встречаю в приемной Гамбетты, — Наке. Это была особенно удачная находка, но она не принесла мне ничего особенно ценного. Гамбетта как раз куда-то уехал — к армии, а мне заживаться было нельзя. Я рисковал отрезать себе обратный путь.

Наке сейчас же повел меня по всем залам, где сидели служащие турского временного правительства. И принял меня вместо Гамбетты его личный секретарь, тот самый герой Латинского квартала, который прославился одной брошюрой, под псевдонимом «Деревянная Трубка» — «Pipe en bois».

Тут я его в первый раз видел живым и должен сказать, что внешность этого секретаря Гамбетты была самая неподходящая к посту, какой он занимал: какой-то завсегдатай студенческой таверны, с кривым носом и подозрительной краснотой кожи и полуоблезлым черепом, в фланелевой рубашке и пиджаке настоящего «богемы». Не знаю уже, почему выбор «диктатора» упал именно на этого экс-нигилиста Латинской страны. Оценить его выдающиеся умственные и административные способности у меня не было времени, да и особенной охоты.

При Гамбетте же, в качестве его директора департамента, как министра внутренних дел, состоял его приятель Лорье, из французских евреев, известный адвокат, про жену которого и в Туре поговаривали, что она «дама сердца» диктатора. Это могла быть и сплетня, но и младшие чиновники рассказывали при мне много про эту даму и, между прочим, то, как она незадолго перед тем шла через все залы и громко возглашала:

— Je porte les gilets de flanelle de monsieur le ministre de l'intérieur[2], — то есть все того же Гамбетты.

---

[1] Сад Франции *(франц.)*.

[2] Я несу фланелевые жилеты господина министра внутренних дел *(франц.)*.

Обедал я где-то за рекой, в недорогом трактирчике, с Наке и несколькими молодыми людьми из тех, каких Тур называл «messieurs du gouvernement»[1], и их беседа произвела на меня жуткое впечатление — так все это было и юно, и пусто, и даже малоопрятно по части нравов. Все время говорили взапуски о местных кокотках и о тех притонах, где эти messieurs du gouvernement проводили свои вечера и ночи.

А в это время их родина изнывала под тяжелым сапогом пруссака, и в Версале готовилось провозглашение Вильгельма императором Германии, и Париж начинал уже переживать ужас осады.

С таким настроением оставил я Тур и простился с Наке — надолго, на несколько лет.

Министром полиции при Гамбетте был тогда Ранк, известный радикальный журналист, только недавно умерший. К нему меня водил все тот же Наке, и я получил от него «пропуск» (sauf-conduit) на листке простой почтовой бумаги. Этот «пропуск» тогда мне особенно не понадобился, но он мог бы оказать мне трагическую услугу, если б где-нибудь меня сцапали немцы, а когда я колесил обратно по Франции, они всюду гнались по пятам. Пришлось бы, в случае такой остановки, вовремя проглотить мой sauf-conduit, иначе пришлось бы плохо. Они не церемонились и весьма охотно расстреливали тех, кого считали военными шпионами, и мой русский паспорт меня вряд ли бы спас.

Но все «пронесло», и я очутился в восточной Франции на границе Швейцарии, в тех местах, где еще держались части французской армии.

То, что я видел в городах, на узловых станциях железных дорог, не могло обнадеживать в исходе, сколько-нибудь благоприятном для Франции. Я видел только новобранцев, или мобилей из плохих офицеров, или более комических, чем внушительных francs-tireurs[2], мальчиков, одетых какими-то шиллеровскими разбойниками.

Добравшись до Женевы, очень утомленный и больной ревматизмом ног, схваченным под Мецом, а главное видя, что я нахожусь в решительном несогласии с редакцией, где тон повернулся лицом к победителям и спи-

---

[1] господами из правительства *(франц.)*.
[2] вольных стрелков, партизан *(франц.)*.

ной к Франции, я решил прекратить работу корреспондента, тем более что и «театра»-то войны надо было усиленно искать, перелетая с одного конца Франции к другому.

Меня тяготило и то, что я должен был выполнять свое обещание перед Некрасовым — доставлять части романа, который довел уже до третьей части, воспользовавшись моими остановками, сначала в Брюсселе в начале сентября, а теперь в Женеве — уже к концу октября.

Я известил об этом Корша и стал с остановками двигаться к югу Франции, попал в Марсель, а потом в Ниццу, откуда и решил совершить мою первую поездку в Италию.

Обо всем этом я уже рассказывал, и довольно подробно, во вступлении к моей книге «Вечный город», почему и должен здесь пройти молчанием всю эту поездку из Ниццы по Корнише в Геную, оттуда на пароходе в Ливорно, потом во Флоренцию, Рим (где просидел около трех недель) и в Неаполь, а потом обратно на север Италии: Турин, Милан, Венецию, Триест и через Вену в Россию.

Меня сильнее, чем год и два перед тем, потянуло на родину, хотя я и знал, что там мне предстоит еще усиленнее хлопотать о том, чтобы придать моим долговым делам более быстрый темп, а стало быть, и вдвое больше работать. Но я уже был сотрудником «Отечественных записок», состоял корреспондентом у Корша, с которым на письмах остался в корректных отношениях, и в «Голосе» Краевского. Стало быть, у меня было больше шансов увеличить и свои заработки.

Роман «Солидные добродетели» я докончил в Риме, работая каждый день после денного изучения памятников и музеев.

Вообще для полного вкушения красот Италии недоставало теплого сезона — я провел в ней ноябрь и часть декабря, но я не хотел отказываться от этой поездки, боясь, что, может быть, мне не придется и совсем попасть в Италию.

Возвращение в Россию было полно впечатлений туриста в таких городах, как Турин, Милан, Венеция, Триест, а молодость делала то, что я легко выносил все эти переезды зимой с холодными комнатами отелей

и даже настоящим русским снегом в Турине и Вене, где я не стал заживаться, а только прибавил кое-что к своему туалету и купил себе шубку, в которой мне было весьма прохладно, когда я добрался до русской границы и стал колесить по нашим провинциальным дорогам.

Мне хотелось повидаться с отцом после шестилетней разлуки. Он жил уже безвыездно в усадьбе своего Тамбовского имения в Лебедянском уезде. Туда добраться прямо по железной дороге нельзя было, и вот я с последней станции должен был в своей заграничной шубке, прикрывая ноги пледом, проехать порядочный кончик в большой мороз и даже метель.

Отечество встретило меня своей подлинной стихией, и впечатление тамбовских хат, занесенных снегом, имевших вид хлевов, было самое жуткое... но все-таки «сердцу милое». Вставали в памяти картины той же деревенской жизни летом, когда я, студентом, каждый год проводил часть своих вакаций у отца.

Грустно было найти его уже не тем бодрым, еще далеко не стариком; тут он смотрел уже старцем, хотя ему тогда было немногим больше шестидесяти.

Познал я и приятности наших железнодорожных порядков, когда меня по дороге в Москву заставили просидеть в Орле целых восемь часов, дожидаясь поезда.

В Москве я не нашел самого близкого мне человека, с которым из Парижа вел приятельскую переписку, кн. А. И. Урусова. Он куда-то уехал защищать и был уже в это время «знаменитость» с обширной практикой, занимал большую квартиру, держал лошадей и имел секретаря из студентов его времени, беседа с которым и показала мне, что я уже не найду в Урусове того сотрудника «Библиотеки для чтения», который ночевал у меня на диване в редакции и с которым мы в Сокольниках летом 1866 года ходили в лес «любить природу» и читать вслух «Систему позитивной философии» Огюста Конта.

Между Веной и Петербургом пришлась на моем обратном пути на родину и Варшава.

Она давно меня интересовала, но я попадал в нее в первый раз и в очень хорошей обстановке.

Случилось так, что два моих собрата и сотрудника по «Библиотеке для чтения» Н. В. Берг и П. И. Вейнберг, жили в Варшаве, оба как члены профессорского персонала нового Варшавского университета.

Берг был еще тогда холостой и жил неизменно в Европейской гостинице. Вейнберг жил также временным холостяком в отеле «Маренж» в ожидании переезда на прекрасную квартиру, как редактор «Варшавского дневника», что случилось уже позднее. Он был еще пока профессором русской литературы, а Берг читал русский язык и был очень любим своими слушателями, даже и поляками, за свое знание польского языка и как талантливый переводчик Мицкевича.

Я сразу попал в воздух русской писательской интеллигенции, к моим старшим сверстникам, в воздух милых для меня разговоров и воспоминаний. Оба они могли меня ознакомить с Варшавой в том, что в ней для меня было самого интересного, особенно Берг, уже *старожил* Варшавы и вдобавок любитель театра, и в особенности балета с его мазуркой. Он, как запоздалый холостяк, постоянно увлекался красотой полек и не думал еще выходить в отставку по части любовных похождений. Это был также один из любимых сюжетов его бесконечных рассказов. Его словоохотливость, правда, еще усилилась за эти годы, но содержание его рассказов выкупало некоторую утомительность его досужего словообилия.

У Вейнберга я познакомился с молодым, только что начавшим свою карьеру И. И. Иванюковым и сразу очень сошелся с ним. Меня привлекли сразу и внешность его, и живость ума, и ласковость тона. Он отрекомендовался как мой усердный читатель, уже проглотивший тогда все четыре части только что отпечатанных «Солидных добродетелей».

Он для меня был еще незнакомая личность и по самой своей жизненной дороге: бывший кадет, армейский улан, потом гвардейский кирасир, пошедший в вольные слушатели университета, побывавший в Америке, где работал простым увриером, потом кандидат, магистр политической экономии и университетский профессор.

У нас начались с ним долгие *холостые* беседы о разных эпизодах жизни, где он с полной искренностью вводил меня и в интимные стороны своего недавнего про-

шлого. Разговоры эти происходили на его холостой квартире, после чего он меня водил по Варшаве и знакомил меня с ее нравами.

Он, так же, как и Вейнберг и Берг, ставил чрезвычайно высоко варшавскую сцену и увлекался талантом тогдашней первой актрисы театра «Размантости» (Разнообразие), Моджеевской. Берг повез меня к ней — тогда еще молодой, красивой и изящной женщине, вышедшей незадолго перед тем за одного журналиста из Галиции. Мы с ней говорили по-французски. Кажется, она уже и тогда задумывала, овладев английским языком, выступать в шекспировских ролях в Англии и Америке, чего она и достигла, и умерла недавно с большой известностью как международная артистка.

В Варшаве я ее видел в комедии и интимной драме польского репертуара и думаю, что средний жанр был ее настоящей сферой. Такой изящной, тонкой артистки тогда у нас в столицах еще не было. Да и у себя в гостиной она была гораздо больше светская дама, чем тогдашние наши «первые сюжеты».

Труппу театра «Разнообразие» для комедий из современной польской жизни и для так называемых «кунтушевых» пьес из быта старой Польши нашел я замечательной, с таким ансамблем, какой был только в Москве, но не в Петербурге.

Комик Жулковский, напомнивший мне Садовского, актеры на характерные роли — Кругликовский, Рапацкий, Островский, Шимановский, Лещинский, актрисы Бокалович и Попель — все это были настоящие дарования и с большой артистической выработкой. И впечатление от их игры было тем сильнее, что они играли в тесном, бедно отделанном театре, с такой же бедной обстановкой, с допотопными кулисами вместо «павильонов». Да и Большой театр, где шли оперы и балеты, казался провинциальным, после наших казенных театров Петербурга и Москвы. Опера была посредственная; в балете хороши национальные танцы и, разумеется, мазурка, приводившая в неистовый восторг Берга.

Варшаву как столицу я нашел вроде немецких столиц средней руки, но все-таки со своеобразной физиономией. Русский гнет после восстания 1862—1863 годов чувствовался и на улицах, где вам на каждом шагу по-

падался солдат, казак, офицер, чиновник с кокардой, но Варшава оставалась чисто польским городом, жила бойко и даже весело, проявляла все тот же живучий темперамент, и весь край в лице интеллигенции начал усиленно развивать свои производительные силы, ударившись вместо революционного движения в движение общекультурное, что шло все в гору до настоящего момента.

Мне как русскому, впервые попадавшему в этот «край забраный», как называют еще поляки, было сразу тяжко сознавать, что я принадлежу к тому племени, которое для своего государственного могущества должно было поработить и более его культурное племя поляков. Но это порабощение было чисто *внешнее,* и у поляков нашел я свою национальную жизнь, вековые традиции и навыки, общительность, выработанный разговорный язык, гораздо большую близость к западноевропейской культуре, чем у нас, даже и в среднем классе.

Все эти живучие элементы польской расы и народности в театре еще легче и рельефнее можно было схватить русскому, который *никогда* и раньше не имел никакой нетерпимости к «инородцам».

Меня не связывало с поляками ничего личного: ни родство, ни товарищество, никакое навеянное жизнью пристрастие, но я ни в гимназии, ни студентом, ни писателем, в Петербурге или за границей, не имел к полякам никакого предубеждения, а, напротив, всегда относился к ним симпатично. И это чувство усилилось еще с момента их последней революции. Читатели моих «Воспоминаний» припомнят, что я рассказывал про то, как «Библиотека для чтения» заинтересовалась заниматься польскими делами и Н. В. Берг был послан по моей личной инициативе в Краков как наш специальный корреспондент.

В Париже я стал, без особого внешнего побуждения, а прямо по собственному интересу, брать уроки польского языка у одного эмигранта из бывших московских студентов. И с тех пор меня не оставляло желание изучить язык и литературу более серьезно. Долго жизнь не давала мне достаточно досугов, но в начале 80-х годов, по поводу приезда в Петербург первой драматической труппы и моего близкого знакомства с молодым польско-русским писателем гр. Р-ским, я стал снова зани-

маться польским языком, брал даже уроки декламации у режиссера труппы и с тех пор уже не переставал читать польских писателей; в разное время брал себе и чтецов, когда мне, после потери одного глаза *, запрещали читать по вечерам. Работая над книгой моей «Европейский роман» *, куда я ввел и польскую беллетристику, я еще усиленнее продолжал эти чтения, даже и за границей, и моим последним чтецом в Ницце, с которым я специально изучал «Пана Тадеуша», был поляк, доктор, учившийся в России.

Все это не могло не сложиться в очень прочную симпатию, но без всякого пристрастия и ослепления.

Поляки до сих пор в большинстве не то что уже развитого дворянства, но и образованной шляхты, и университетской интеллигенции не могут еще стряхнуть с себя во многом налета — а то так и оков! — традиции. Католичество и весь склад романтизма, проникающего их чувство к родине (что мы видим и теперь в таких писателях, как Сенкевич) не позволяют этому большинству радикально освободить свои идеи, принципы и упования от такой примеси, которая более трезвому великороссу кажется «неприемлемой». Но и с этим чисто польским придатком они все-таки вызывали во мне лично симпатию за свою любовь к родине, за горячее и стойкое отстаивание своей национально-духовной независимости, которое недаром доставило им имя «народа-мученика».

Дальнейшие мои сношения с поляками в Петербурге, особенно с 80-х годов, только укрепляли тот лад, который всегда был между мною и ими.

К числу ближайших моих собратов и коллег принадлежал и покойный В. Д. Спасович, чрез которого я знакомился со многими постоянными жителями Петербурга из его единоплеменников. Две-три зимы я много бывал в польских домах, на обедах и вечерах, и находил всегда, что поляки и у нас, то есть среди своих «завоевателей» и притеснителей, умеют жить бойко, весело, гостеприимно — для тех русских, кто с ними охотно сходится.

Когда я задумал этюд о двух славянских романах — «Пан Тадеуш» и «Евгений Онегин» — я сделал из него публичную лекцию *, которую и предложил Польскому благотворительному обществу. Она состоялась в зале при костеле Св. Екатерины и доставила мне много со-

чувственников в тогдашнем польском обществе и среди их учащейся молодежи.

Всякий, кто водился с поляками, знает, что они умеют помнить добро и благодарность — одно из их коренных свойств. Они мне это показали, как русскому писателю, в дни моей 40-й годовщины *. Тогда в польском еженедельнике «Край» явилась самая лестная для меня характеристика как писателя и человека, которая начиналась таким, быть может, слишком лестным для меня определением: «Пан Петр Боборыкин, известный русский романист — один из самых выдающихся представителей наиблагороднейшего отдела русской интеллигенции» («Pan Pietr Boborykin znakomity...»).

Но еще гораздо раньше того (то есть в 1900 году) почему-то и в заграничной Польше уже знали, как я отношусь к польской нации. И когда я по дороге в Вену заехал вместе с драматургом Залесским в Краков на первое представление его комедии, то на другой же день в газете «Час» (обыкновенно враждебно настроенной к России) появилось известие о моем приезде, и я назван «известный *друг* польского народа».

Из всех славянских сцен только Краковский театр поставил мою пьесу «Доктор Мошков» * в польском переводе, по инициативе режиссера, актера Семашко, с которым я познакомился еще в России.

И вот в «Отечественных записках», вскоре после моего возвращения в Петербург, появилась моя статья о варшавской драматической труппе * — первая, по времени появления, написанная русским в таком сочувственном тоне, да еще в большом и тогда самом распространенном журнале. В Варшаве в труппе театра «Разнообразие» статья эта приятно *изумила* всех. «Русский, и так пишет о нас!» Мне все это сообщил Н. В. Берг. Артисты обратились к нему с просьбой выразить мне их горячую благодарность. Они хотели даже прислать мне нечто вроде коллективного адреса.

Я думал, что прощаюсь с варшавской сценой, быть может, навсегда, а случилось так, что я еще летом того же года попал туда — и позднее, уже после моей женитьбы.

Варшава сделалась для меня приятной станцией за границу и обратно. И там же еще жили мои приятели, связанные с моим недавним прошлым, и мой

новый приятель И. И. Иванюков, еще не покидавший Варшавы до перехода в Москву и войны 1877 года, где ему пришлось играть роль одного из реформаторов освобожденной Болгарии.

Петербург встретил меня стужей. Стояли январские трескучие морозы, когда я должен был делать большие поездки по городу в моей венской шубке, слишком короткой и узкой, хотя и фасонистой, на заграничный манер. Я остановился в отеле «Дагмар» — тогда на Знаменской площади, около Николаевского вокзала. Возвращаясь из Большого театра, я чуть было не отморозил себе и щек, и пальцев на правой ноге.

Этой стуже отвечало и то, что я мог найти в чухонской столице после пятилетнего отсутствия. У меня не было уже там никаких кровных связей и ни одного друга из моих бывших собратов и сверстников.

Моя кузина С. Л. Баратынская, урожденная Боборыкина, с которой у нас оборвалась переписка из-за романа «Жертва вечерняя», тем временем умерла в чахотке. Ее муж скоропостижно умер в вагоне, вернувшись из Москвы, и хотя в их браке не было особенной нежности, но это так на нее подействовало, что она вдруг бросила светскую жизнь, заперлась дома, стала читать серьезные книжки и нажила скоротечный туберкулез.

Я узнал об этом случайно во время войны, в Германии, сейчас же стал разузнавать об ней, вступил с ней в переписку; она откликнулась, видя, как я верен нашей давнишней дружбе. Но было поздно, и я ее в живых уже не застал.

Один только у меня остался старый друг — кн. М. Н. Д[ондуко]ва, мать той девушки, на которой я, еще студентом, мечтал жениться. Она давно уже была замужем и мать девочки. Муж ее жил долго и умер недавно — очень видным земским и думским деятелем. Он был лет на пять — на шесть моложе меня.

Когда я немного осмотрелся в Петербурге, попадая в самый развал зимнего сезона — перед масленицей, я нашел все тот же чиновничий и вивёрский город, но охваченный тогда «акционерной лихорадкой», прокучивающий дворянские «выкупные свидетельства», очень

поостывший — сверху — насчет либеральных идей, с явными признаками того, что «великим реформам» стали давать задний ход.

И вот в этом самом городе, где я как писатель испытал уже столько горечи, потерял состояние и нажил огромный для меня долг, я должен был теперь *заново* устроивать себе положение.

Другой бы на моем месте попробовал иного поприща. Мне давно уже советовали идти в адвокаты. Я имел все права, и очень может быть, что, владея свободно речью и освежив свое юридическое образование, я мог бы выделиться из массы присяжных поверенных и заработывать гораздо больше, чем могли мне дать литература и журнализм. Но закоренелая преданность писательскому делу брала решительно верх, и я не сделал никакой попытки искания другой карьеры ни в Петербурге, ни в Москве. К этому времени как раз я был даже *идейно* весьма отрицательно настроен против профессии адвокатов и вскоре выступил даже на эту тему в газетном фельетоне *. У меня было, однако ж, три места, где я мог рассчитывать иметь более или менее прочную работу — две самых крупных тогда газеты и один лучший журнал. Во время моих переездов по Германии и Франции, «вокруг да около» войны, я писал исключительно в «Санкт-Петербургские ведомости». Сотрудничество в «Голосе» я приостановил еще летом, до войны. В Вене, на пути в Россию, я получил депешу из «Голоса», где стояло, что работа ждет меня в газете — un travail prompte [1], как выразился сын Краевского, составлявший телеграмму.

Меня удивило даже, как они там знали, что я именно в Вене и еду в Петербург. Потом я узнал, что это шло от Некрасова. Он рассказал мне, когда мы с ним познакомились, что он, видаясь с Краевским по делам «Отечественных записок», посоветовал ему пригласить меня в воскресные фельетонисты на смену тогдашнего его сотрудника Панютина, писавшего под псевдонимом «Нила Адмирари». Краевский на это пошел, и работа, которая меня «ждала» в «Голосе», и была именно такая.

Предложение было бы подходящее, но я считал своим долгом сначала повидаться с Коршем и спросить его, желает ли он моего сотрудничества?

---

[1] живая работа *(франц.)*.

Так я и сделал. Корш предложил мне писать по четвергам фельетоны, особого же содержания не назначил, а только построчную плату. Это было менее выгодно, чем быть воскресным фельетонистом «Голоса», но я остался верен «Санкт-Петербургским ведомостям» и должен был отклонить предложение Краевского.

От этого я вдвойне пострадал. Краевский так обиделся, что до самой смерти своей приказывал обо мне ничего не говорить, что мне сообщил покойный В. В. Чуйко, писавший там рецензии. А у Корша я продержался не больше двух-трех месяцев, и меня отблагодарили за мою верную службу газете увольнением, как чиновники говорят: «по третьему пункту» *.

О моей работе в «Санкт-Петербургских ведомостях» я расскажу дальше; а теперь припомню то, что я нашел в «Отечественных записках».

Как я говорил уже в другой главе, с Некрасовым я в 60-х годах лично не встречался. Его письмо в Берлин было первым его письменным обращением ко мне, и я ему до того никогда ничего не писал.

Журнал его только что отпечатал конец моих «Солидных добродетелей» в декабрьской книжке, и роман — судя по тому, что я слышал, — очень читался.

Некрасова я нашел в той же квартире, где он и умер. Редакция помещалась в первой зале, которая служила потом и бильярдной. По приемным дням в углу у окна стоял стол секретаря. В этой должности я нашел моего старого знакомого А. Н. Плещеева, перебравшегося в Петербург в мое отсутствие, тогда еще мелкого чиновника в Контрольном ведомстве. Мне было приятно найти его в «Отечественных записках». Мы с ним всегда — и впоследствии, вплоть до его превращения в миллионера * — были в прекрасных, товарищеских отношениях, несмотря на довольно большую разницу лет.

Некрасов, видимо, желал привязать меня к журналу, и, так как я предложил ему писать и статьи, особенно по иностранной литературе, он мне назначил сверх гонорара и ежемесячное скромное содержание. А за роман я еще из-за границы согласился на весьма умеренный гонорар в 60 рублей за печатный лист, то есть в пять раз меньше той платы, какую я получаю как беллетрист уже около десяти лет.

Личность Некрасова тогда только в первые две зимы, проведенные мною в Петербурге — 1871—1872 годов, выяснилась передо мною с разных сторон.

В десять лет (с начала 60-х годов, когда я стал его видать в публике) он не особенно постарел, и никто бы не мог ожидать, что он будет так мученически страдать. Но в нем и тогда вы сейчас же распознавали человека, прошедшего через разные болезни. Голос у него был уже слабый, хриплый, прямо показывающий, что он сильно болел горлом. Его долго считали «грудным», и в Риме он жил в конце 50-х годов только для поправления здоровья.

Голова у Некрасова была чрезвычайно типичная для настоящего руссака из приволжских местностей. Он смотрел и в зиму 1871 года всего больше охотником из дворян — псовым или ружейным, холостяком, членом клуба.

Профессионально-писательского было в нем очень немного, но очень много бытового в говоре, в выражении его умного, немного хмурого лица. И вместе с тем что-то очень петербургское 40-х годов, с его бородкой, манерой надевать pince-nez, походкой, туалетом. Если Тургенев смотрел всегда барином, то и его когда-то приятель Некрасов не смотрел бывшим разночинцем, а скорее дворянским «дитятей», который прошел через разные мытарства в начале своей писательской карьеры.

Эта житейская бывалость наложила печать на весь его душевный «habitus». И нетрудно было распознать в нем очень скоро человека, знающего цену материальной независимости.

При нашей личной встрече он сразу взял тот простой и благожелательный тон, который показывал, что, если он кого признает *желательным* сотрудником, он не будет его муштровать, накладывать на него свою редакторскую ферулу. Таким он и оставался все время моей работы в «Отечественных записках» при его жизни до мучительной болезни, сведшей его в могилу, что случилось, когда я уже жил в Москве.

Я уже рассказывал в печати характерную подробность, показывающую, как он широко относился к тем сотрудникам, в которых признавал известную литературную стоимость.

Повторю это и здесь. Я его застал раз утром (это было уже в 1872 году) за самоваром, в халате, читающим корректуры. Это были корректуры моего романа «Дельцы» *. Он тут только знакомился с этой вещью. Если это и было, на иную оценку, слишком «халатно», то это прежде всего показывало отсутствие того учительства, которое так тяготило вас в других журналах. И жил он совершенно так, как богатый холостяк из помещиков, любитель охоты и картежной игры в столице, с своими привычками, с собаками и егерем и камердинером.

А в его внутренних «покоях» помещалась его подруга, которую он не сразу показывал менее близким людям, так что я только на вторую зиму познакомился с нею, когда она выходила к обеду, оставалась и после обеда, играла на бильярде. Это была та самая особа, с которой он обвенчался уже на смертном одре *.

И вся обширная квартира в доме Краевского на Литейной совсем не смотрела редакцией или помещением кабинетного человека или писателя, ушедшего в книги, в коллекции, в собирание каких-нибудь objets d'art [1]. В бильярдной одну зиму стоял и стол секретаря редакции. В кабинет Некрасова сотрудники проникали в одиночку; никаких общих собраний, бесед или редакционных вечеринок никогда не бывало.

Весь склад жизни этой холостой квартиры отзывался скорее дореформенной эпохой, хотя тут и помещалась редакция радикально-народнического органа.

К себе Некрасов приглашал на обеды только некоторых сотрудников. Так, в эти две зимы я не видал в числе гостей ни Скабичевского, ни Михайловского, с которыми познакомился только тогда. Иногда был приглашаем Плещеев и всегда Салтыков. А остальными гостями очень часто бывали два влиятельных цензора и какой-нибудь клубский приятель хозяина.

Игры у себя дома Некрасов тогда уже не держал, но продолжал играть в Английском клубе до очень поздних часов, так что раньше полудня вставать не мог.

Обедывал у него и художник Ге, писавший в одну из тех зим портреты его и Салтыкова.

---

[1] предметов искусства (*франц.*).

Как хозяин Некрасов был гостеприимен, умно-ласков, хотя веселым он почти никогда не бывал. Некоторая хмурость редко сходила с его лица, а добродушному тону разговора мешала хрипота голоса. Но когда он бывал мало-мальски в духе, он делался очень интересным собеседником, и все его воспоминания, оценки людей, литературные замечания отличались меткостью, своеобразным юмором и большим знанием жизни и людей.

Вообще *такого* природно-умного человека в литературной сфере я уже больше не встречал, и все без исключения руководители журнализма, с какими я имел дело как сотрудник, — не могли бы с ним соперничать именно по силе *ума*, которым он дополнял все пробелы — и очень обширные — в своем образовании.

Он изображал собою целую эпоху русской интеллигенции — эпоху героическую, когда люди по характерам стояли на высоте своих талантов.

Замечательной чертой писательского «я» Некрасова было и то, что он решительно ни в чем не выказывал сознания того, что он поэт «мести и печали», что целое поколение преклонялось перед ним, что он и тогда еще стоял впереди всех своих сверстников-поэтов и не утратил обаяния и на молодежь. Если б не знать всего этого предварительно, то вы при знакомстве с ним, и в обществе, и с глазу на глаз, ни в чем бы не видали в нем никаких притязаний на особенный поэтический «ореол». Это также черта большого ума!

Судьба поставила рядом с ним, в руководительстве такого журнала, как тогдашние «Отечественные записки», М. Е. Салтыкова.

Как они держались друг с другом наедине, я не знаю, но при людях за обедами или в редакции Салтыков имел гораздо более хозяйский вид и авторитетный тон, частенько и ворчал и позволял себе «разносы», тогда как Некрасов, когда чем и был недоволен, ограничивался только сухостью тона или короткими фразами.

Не думаю, чтобы они были когда-либо задушевными приятелями. Правда, они были люди одной эпохи (Некрасов немного постарше Салтыкова), но в них не чувствовалось сходства ни в складе натур, ни в общей повадке, ни в тех настроениях, которые дали им их

писательскую физиономию. Если оба были обличители общественного зла, то в Некрасове все еще и тогда жил поэт, способный на лирические порывы, а Салтыков уже ушел в свой систематический сарказм и разъедающий анализ тогдашнего строя русской жизни.

Личных отношений у нас с ним почти что не установилось никаких. В памяти моей не сохранилось даже ни одного разговора со мною как с молодым писателем, который стал постоянным сотрудником журнала, где он играл уже первую роль.

Вскоре по моем приезде они сделали мне вдвоем визит в той меблированной квартире, которую я нанял у немки Иды Ивановны в доме около Каменного моста. И тогда же я им обещал доставить для одной из первых книжек «Отечественных записок» рассказ «Посестрие», начатый еще за границей и, после «Фараончиков», по счету, второй мой рассказ.

Салтыков сложился тогда вполне в того немножко Собакевича, каким и умер. У него были приятели, но не из сотрудников журнала, хотя некоторых, как, например, Глеба Успенского, он по-своему любил и высоко ставил их талант.

Ко мне и впоследствии он относился формально, и в деловых переговорах, и на письмах, вежливо, не ворчливо, отделываясь короткими казенными фразами. Столкновений у меня с ним по журналу не было никаких. И только раз он, уже по смерти Некрасова, отказался принять у меня большой роман. Это был «Китай-город», попавший к Стасюлевичу. Я бывал на протяжении нескольких лет раза два-три и у него на квартире, но уже гораздо позднее, когда он уже начинал хронически хворать.

«Компанию» он водил с двумя-тремя своими приятелями, вроде Унковского и Лихачева, играл с ними в карты и неистово бранился. Тургенев, когда заболел в Петербурге сильными припадками подагры, говорил мне, что стал, от скуки, играть в карты и его партнером был сначала Салтыков.

— Но я не выдержал, перестал его приглашать, уж очень он ругал меня!

Рядом с Салтыковым Некрасов сейчас же выигрывал как литературный человек. В нем чувствовался, несмотря на его образ жизни, «наш брат — писатель»,

тогда как на Салтыкова долгая чиновничья служба наложила печать чего-то совсем чуждого писательскому миру, хотя он и был такой убежденный писатель и так любил литературу.

С Некрасовым вы могли о чем угодно говорить, и если он не проявлял особой сердечности, то все-таки отзывался на всякое проявление вашей личности. С Салтыковым слишком трудно было взять тон задушевной беседы. При другом редакционном компаньоне Некрасова в редакции было бы, вероятно, меньше той сухости, какая на первых порах меня неприятно коробила.

Редакция похожа была на какой-то строговатый помещичий дом, где в известные дни два хозяина, с прибавкой еще третьего компаньона (Елисеева), толковали во внутренних покоях; а молодые сотрудники ждали в приемной, куда то тот, то другой из хозяев и показывался для тех или иных распоряжений. А кому нужен был аванс, тот шел к главному хозяину, вроде как к попу на исповедь, просил и получал, или ему отказывали.

Эти денежные разговоры происходили во второй комнате, где Некрасов имел обыкновение в один из ящиков подзеркальника класть сторублевки, привезенные ночью из клуба. От таких а parté[1] я воздерживался, с самого приезда, тем более что получил сразу порядочную сумму за вторую половину «Солидных добродетелей».

Елисеев, третий член редакционного триумвирата, для меня лично стоял совсем в стороне. В первую зиму я не печатал публицистических статей, а статьи о варшавском театре не входили в круг его компетенции.

Григория Захаровича я видал мало; в редакционные дни почти никогда и изредка за обедом у Некрасова. К нему на дом я попадал гораздо позднее.

И тогда уже он был пожилой человек и тоже, как Некрасов и Салтыков, не смотрел профессиональным литератором. Сейчас же вы во всем его обличье, и даже тоне и говоре, распознавали чадо духовного ведомства. Не носи он гражданского платья, он был бы типичный «батюшка».

---

[1] уединенных бесед *(франц.)*.

У Некрасова он держал себя очень тактично, с соблюдением собственного достоинства, в общий разговор вставлял, кстати, какой-нибудь анекдотический случай из своего прошедшего, но никогда не развивал *идеи,* и человек, не знающий, кто он, с трудом бы принял его за радикала-народника, за публициста, которого цензура считала очень опасным, и тогдашнего руководителя такого писателя, как Михайловский.

До знакомства с ним я еще не встречал известного литератора с таким «духо́вным» обличьем, как он.

Молодой персонал сотрудников, начиная с Михайловского, держался от главных хозяев совсем отдельно, и, как я сказал выше, никакого постоянного общения, бесед или заседаний в журнале не происходило.

Кроме Скабичевского, я нашел в нем постоянных сотрудников — не беллетристов: Николая Курочкина, Деммерта и Пятковского, тогда еще большего либерала.

Николай Курочкин тут только познакомился со мною. Его брат Василий был еще жив, и мы с ним также видались.

Когда-то «Искра», на первых моих шагах, сильно прохаживалась насчет меня, и в стихах и в прозе. В ней появилась первая по счету карикатура, когда мне, на первом представлении «Однодворца», подали в директорскую ложу лавровый венок, что было, конечно, преждевременно. И позднее, во время моего редакторства, Минаев и другие остроумцы «Искры» делали меня мишенью своих довольно-таки злобных эпиграмм *.

Когда я гостил у отца в усадьбе и собирался на Липецкие воды, он, развернув новый номер «Искры», где была моя карикатура, передал мне его со словами:

— На, полюбуйся!

Кроме карикатуры, были тут, кажется, и стихи Минаева «Октавы», откуда я до сих пор помню такую стрелу, пущенную по моему адресу:

Иль получить себе в забаву
Дар Боборыкина Петра,
Сзывать всю прессу на облаву
И пищу дать для эпиграмм.
Пусть нас минует этот срам!

Но в Париже я сделался сам сотрудником «Искры» * и, списавшись с Василием Курочкиным, с которым тогда лично еще не был знаком, стал вести род юмористической хроники Парижа под псевдонимом «Экс-король Вейдевут». Вероятно, немногие и теперь знают, что это был один из моих псевдонимов.

Имя «Вейдевут» выбрал я неспроста. Род Боборыкиных ведет свое начало от Андрея Комбиллы (переиначенного русскими XIII века в *Кобылу*), который пришел с дружиной при Симеоне Гордом и считался потомком славяно-балтийского короля Вейдевута. Н. Костомаров считал этого Вейдевута чем-то вроде легендарного Геркулеса поморских славян, что и высказывал в своих этюдах на тему: кто были Варяго-Русь? *

Николай Курочкин, как я уже говорил выше, дал мысль Некрасову обратиться ко мне с предложением написать роман для «Отечественных записок». Ко мне он относился очень сочувственно, много мне рассказывал про свои похождения, про то время, когда он жил в Швейцарии и был вхож в дом А. И. Герцена *.

В нем я находил разностороннее развитого интеллигента, чем многие тогдашние сотрудники журналов и газет. Но он был человек болезненный, очень нервный, изменчивый в своих взглядах и симпатиях.

В Деммерте я узнал моего товарища по Казани, старше меня одним курсом, на том же камеральном разряде. И все так же он говорил сильно на «он» (хотя и был, кажется, из помещичьего звания), и так же смотрел хмуро на вас, и так же склонен был к выпивке, как и казанским студентом. В журнале он вел провинциальную хронику, и петербургская молодая публика любила его читать, находя в нем должную долю народнического радикализма. Но все это при тогдашних цензурных порядках (хотя журнал выходил и без цензуры) было довольно безобидно, особенно на оценку человека, привыкшего к свободе западной прессы.

Пятковский вел библиографические заметки. В нем я также узнал студента, с которым мы держали в Санкт-Петербургском университете на кандидата, и позднее — моего сотрудника по «Библиотеке». Своим участием в «Отечественных записках» он довольно-таки кичился и давал понять, что его библиографические заметки очень ценятся «принципалами» журнала. Я не думаю,

чтобы он тогда искренно держался той «платформы», которая объединяла главных сотрудников «Отечественных записок». Но все-таки я не ожидал того, *как* он кончит, когда стал издавать свой журнал «Наблюдатель», где дошел до дикой юдофобии.

У Пятковского мы тогда начали было собираться, но дальше двух-трех вечеринок это не пошло.

Скабичевского я видал редко, и, хотя он в глазах публики занял уже место присяжного литературного критика «Отечественных записок», в журнале он не играл никакой заметной роли, и рядом с ним Михайловский уже выдвинулся как «восходящая звезда» русского философского свободомыслия и революционного духа. Молодежь уже намечала его и тогда в свои вожаки.

С ним мы не могли нигде раньше встречаться. Когда я покинул Петербург в 1865 году, он еще учился, кажется в Горном корпусе, а за границу не попадал. Где-то он рассказывал в печати, что я принял в редакции за него стихотворца и переводчика Михаловского или обратно, его за Михайловского. Может быть, так оно и было, но отчетливо я сам этого не помню.

Помню только то, что мы стали охотно беседовать, и мне живость его ума нравилась, и характер его свободомыслия был мне также по вкусу. И только позднее я не мог принимать его русскую социологию за какое-то «открытие», навеянное и на него идеями Лаврова. Я признавал и теперь признаю, что можно находить общественные идеалы Герберта Спенсера подлежащими критике, но я не мог разделять мнения тогдашних и позднейших почитателей русского публициста, что он «повалил» британского мыслителя, с которым и я *дерзал* спорить в Лондоне.

В Михайловском из новых моих собратов я находил всего больше писательского темперамента и верности *призванию* публициста.

Позднее я бывал у него, когда он жил еще семейно с молодой женщиной, от которой имел детей. У него были журфиксы, куда собиралось много молодого народа, и хозяин за ужином поддерживал оживленную беседу. Он еще не приобрел тогда того слишком серьезного вида, каким отличался в последние годы своей жизни, что не мешало ему, как известно, любить

жизнь и увлекаться женщинами. К тому, что произошло для меня нежданно-негаданно в наших отношениях, я перейду дальше.

Плещеев, исполнявший в журнале совершенно стушеванную роль секретаря без всякого веса и значения, по редакционным делам был все тот же мягко-элегический, идейный уже полустарик, всегда нуждавшийся, со скудным заработком, как переводчик и автор небольших статеек. Беллетристикой он уже не грешил и стихи писал редко. Он был отец троих детей, жил очень скромно, но гостеприимно, и к нему льнули все начинающие. Тогда я еще редко бывал у него; но между нами всегда держалась связь, не только писательская, но и по фамильным традициям и воспоминаниям.

Моего бывшего сотрудника, которого я выпускал в «Библиотеке», милейшего Глеба Ивановича Успенского я видал больше в приемные дни редакции. И всегда он был озабочен, сдвигал свои брови, щипал бородку, мучительно дожидаясь момента, когда можно будет захватить денежного хозяина и попросить у него «аванс».

Некрасов ценил его не меньше, чем Салтыков, и вряд ли часто ему отказывал. От самого Г. И. я слыхал, что он «в неоплатном долгу» у редакции, и, кажется, так тянулось годами, до последних дней его нормальной жизни. Но все-таки было обидно за него — видеть, как такой даровитый и душевный человек всегда в тисках и в редакции изображает собою фигуру неизлечимого «авансиста» — слово, которое я гораздо позднее стал применять к моим собратам, страдающим этой затяжной болезнью.

Другая редакция — «Санкт-Петербургских ведомостей» — должна была бы сделаться для меня гораздо ближе. Ведь я состоял не один год ее сотрудником за границей. С Коршем мы уже познакомились в Париже, с двумя его главными фельетонистами — Бурениным и Сувориным — я также был знаком. Буренин помещал когда-то в «Библиотеке для чтения» свои стихи, а с Сувориным я провел несколько дней в Берлине летом, перед моим отъездом в Киссинген. Он тогда ехал в первый раз за границу и вез свою первую жену от чего-то лечиться. И с ними ехал с женою и Лихачев, впослед-

ствии соиздатель Суворина по «Новому времени». Но и раньше, когда я был редактором «Библиотеки для чтения», Суворин раз являлся ко мне за чем-то от моей тогдашней сотрудницы — гр. Салиас.

Оба эти фельетониста считались тогда очень *радикальными* и сотрудничали, кроме газеты Корша, Суворин — у Стасюлевича, а Буренин — в «Отечественных записках», которые печатали его сатирические вещи, направленные и на победителей Франции — пруссаков (одна сатира начиналась, помню, стихами «Как на выси валерьенской» — Mont Valérien), и на вождя русского консерватизма — Каткова, и на педагогов школы его сотоварища Леонтьева.

Но я уже рассказывал, как Суворин, занимаясь хроникой войны, стал заподозривать верность моих сообщений по поводу объяснения хозяина страсбургского Hôtel de Paris, который отрицал то, что я видел своими глазами, то есть следы гранат и бомб в том самом коридоре, где я жил.

Суворина я в первое время по поступлении моем в «Санкт-Петербургские ведомости» не видал: он был нездоров и стал ходить в редакцию уже позднее.

Сам Корш встретил меня не особенно приветливо, но оценил то, что я счел своим долгом сначала отъявиться к нему, чтобы знать, желает ли он иметь меня в постоянных сотрудниках. Какого-нибудь прочного положения в газете я не получил. Мы условились, что я буду по четвергам писать фельетоны, но никакого отдела он мне не предложил и никакого особенного содержания, кроме построчной платы.

Валентин Федорович считался очень добрым человеком и честным журналистом и привез с собою из Москвы хорошие традиции 50-х и 60-х годов. Как «принципал» в газете он не имел ни ума Некрасова, ни его способности оценивать людей, и личные сношения с ним не могли быть ровными и всегда приятными. Для этого он был слишком нервен. И цензурные мытарства постоянно раздражали его, и он редко бывал в ровном, благодушном настроении. Редакторская работа поглощала его всего, и он отводил душу, изредка отправляясь в ресторан, ночью, поужинать с кем-нибудь из сотрудников после ночной работы. В этих ужинах я никогда не

участвовал, потому, вероятно, что в редакции не сидел даже и в денные часы, а только наезжал туда, привозя свои фельетоны.

Редакция помещалась где-то на Васильевском острову, довольно тесно, но кабинет у редактора был просторный. Особенных дней для сбора сотрудников также не было, как и у Некрасова. Не было и никаких вечерних приемов.

Корш был человек с большой семьей, женатый во второй раз на русской француженке Денизе Андреевне, добродушной и оригинальной, но весьма некрасивой женщине, с которой у меня очень скоро установился простой и веселый тон. Она приглашала меня запросто обедать и была всегда оживлена, особенно в отсутствие Корша, который куда-то уезжал за то время, когда я был сотрудником, уж не помню — в Москву или за границу.

Вскоре после моего водворения в «Санкт-Петербургских ведомостях» в Париже разразилось восстание Коммуны *, и это событие очень всех нас волновало. Как раз в это время попал в Петербург после парижской осады пруссаками Г. Н. Вырубов, давно знакомый с Коршем. Помню, в редакторском кабинете, Корш все расспрашивал — кто эти вожаки Центрального комитета Национальной гвардии, но Вырубов их лично не знавал. Он опять вернулся во Францию, но не сейчас, а, вероятно, после взятия Парижа версальскими войсками.

Но мое постоянное сотрудничество не пошло дальше конца великого поста. Никого я в газете не стеснял, не отнимал ни у кого места, не был особенно дорогим сотрудником. Мои четверговые фельетоны, сколько я мог сам заметить, читались с большим интересом, и мне случалось выслушивать от читателей их очень лестные отзывы. Но нервный Валентин Федорович ни с того, ни с сего отказал мне в работе и даже ничего не предложил мне в замену.

Такой «хозяйский» поступок показался мне весьма мало подходящим к редактору самой либеральной газеты. Не затевая с Коршем истории, я свой законный протест высказал в письме к Суворину, где по-товарищески разобрал этот инцидент и выразился, между

прочим, что этаким способом барыни увольняют прислугу, да и то в образованных странах дают ей les huit jours[1], как говорится у французов.

Суворин написал мне умное письмо, с объяснением того, почему я пришелся «не ко двору» в их газете. Главный мотив, по его толкованию, выходит такой, что они все в газете уже спелись и каковы бы, сами по себе, ни были, жили себе потихоньку и считали себя и свою работу хорошими, а я явился с своими взглядами, вкусами, приговорами, оценками людей, и это всех, начиная с главного редактора, стало коробить.

Объяснение, пожалуй, и верное вообще; но никак не в частности, потому что я *ни во что* редакционное фактически вмешиваться не мог и не хотел, никаким отделом газеты не заведовал и никаких личных недоразумений ни с Коршем, ни с влиятельными сотрудниками никогда не имел.

Но пикантно — и для личности будущего издателя «Нового времени» знаменательно — то, что он мое письмо *показал* Коршу и сознался мне в этом с легким сердцем. И еще пикантнее то, что сам Корш, уволивший меня без всякой основательной причины, весной, когда Парижская коммуна переживала осаду, обратился ко мне с предложением: не хочу ли я по английским газетам составлять заметки об этой осаде.

Это еще больше иллюстрировало то, как и в самых либеральных органах печати положение «работников пера» было такое же, как и прислуги у вздорных барынь.

Еще маленькая подробность из времени моей работы у Корша. Немчик Г., которого я когда-то нашел в Вене бедствующим корреспондентом «Голоса», вернулся в Петербург и состоял у Краевского переводчиком за самую малую плату. Я его устроил в «Санкт-Петербургских ведомостях» на более выгодный построчный гонорар, и эта работа устроила его «фортуну». Там он сошелся с Сувориным, начал для него работать по составлению календаря, а когда тот начал издавать «Новое время», стал заведовать иностранной политикой и зарабатывать большие деньги.

---

[1] неделю *(франц.)*.

Петербург принял меня десять лет позднее того сезона, когда я из Дерпта явился молодым автором «Однодворца».

Я попал уже к концу сезона, к масленице, но все-таки настолько отведал его, что мог получить общее впечатление тогдашнего столичного побыта.

Очень резкой перемены не было ни в характере зрелищ и увеселений, ни в уличном движении, ни в физиономии публики. После пятилетнего житья в столицах мира, наша «ингерманландская» столица не могла уже производить на вас прежнего обаяния. Все казалось тусклее, серее, ординарнее, без той печати своеобразия, к которой приучили Париж, Лондон, Рим, Мадрид и привольно-гульливая Вена. И я ощутил в Петербурге в первые дни едва ли не большее одиночество, чем за границей.

Прежние мои родственные и дружеские связи свелись к моим давнишним отношениям к семейству Д[онду]-ковых. Та девушка, которую я готовил себе в невесты, давно уже была замужем за гр. Г[ейденом], с которым я прожил две зимы в одной квартире, в 1861—1862 и 1862—1863 годах. Ее брат тоже был уже отец семейства. Их мать, полюбившая меня, как сына, жила в доме дочери, и эти два дома были единственными, где я бывал запросто. Кузина моя Сонечка Баратынская уже лежала на одном из петербургских кладбищ.

В литературном мире у меня было когда-то много знакомого народа, но ни одного настоящего друга или школьного товарища. Из бывших сотрудников «Библиотеки» Лесков очутился в числе кредиторов журнала, Воскобойников работал в «Московских ведомостях» у Каткова, Эдельсон умер, бывший у меня секретарем товарищ мой Венский практиковал в провинции как врач после довершения своей подготовки на курсах для врачей и получения докторской степени.

Легкий флёрт в балетном мире — из первой трети 60-х годов — отошел уже в прошлое и ничего не оставил после себя. Личная жизнь в тесном смысле не сулила никаких отрадных переживаний.

А поверх всего надо было усиленно продолжать работу наполовину для себя, а наполовину для покрытия долга по «Библиотеке для чтения». Кроме собственного труда, у меня не было и тогда никаких других ресурсов.

От родителей своих (мои отец и мать были еще живы) я не мог получать никакой поддержки. Их доходы были скромны, и я не позволял себе и в больших тисках чем-нибудь отягощать их материальное положение.

Но как «работник пера» я был уже лучше поставлен, чем это было бы пять лет назад, если б я остался в России. Я приехал сотрудником двух газет и самого влиятельного журнала. Если с газетами у меня дело не пошло, как бы я мог ожидать, то в Некрасове я нашел прочного «принципала», сразу давшего мне почувствовать, что у него в журнале я всегда найду работу. И другой радикальный журнал «Дело» — начал печатать мои вещи; после повести «По-американски», написанной еще за границей, я дал Благосветлову другую повесть того же года — «Поддели» *.

Журнал Благосветлова шел тогда очень бойко; он жил на довольно широкую ногу, кормил обедами, собирал немало пишущей братии.

Кроме беллетристики, я стал давать ему и статьи.

Все это позволило мне устроиться не хуже, чем я жил в Париже, Вене и Лондоне. И сразу я вошел в жизнь Петербурга почти так же разносторонне, как и в первые мои столичные зимы до приобретения «Библиотеки для чтения».

Квартирка у меня была очень удобная и светлая, дома я не обедал, но добродушная моя хозяйка Ида Ивановна могла смастерить мне легкую закуску, что нужно добывая aus dem Tracteur[1], как она произносила слово «трактир».

Мне надо было много наверстать в новом знакомстве с физиономией тогдашнего общества, в разных его слоях.

Я попадал как раз в разгар тогдашнего подъема денежных и промышленных дел и спекуляций, и то, что я по этой части изучил, дало уже мне к концу года достаточный матерьял для романа «Дельцы», который печатался целых два года и захватил книжки «Отечественных записок» с конца 71-го года до начала 73-го.

Воздух 60-х годов отошел уже в даль истории. После выстрела Каракозова чувствовалась скорее реакция, чем настоящее «поступательное» движение. Власть затягивала повода, но все-таки тогда еще нельзя было похе-

---

[1] из трактира *(нем.)*.

рить то, что только что было даровано: гласный суд и земские учреждения или университетский устав 1863 года. Поэтому и в остальной жизни, если и не было подъема 60-х годов, то все-таки в интеллигентной сфере произошло неизбежное расширение разных видов культурной работы.

Журнализм и пресса опять значительно ожили, после запрещений таких органов, как «Современник» и даже полуславянофильское «Время» Достоевского *. В беллетристике были еще налицо все наши корифеи. Критика и публицистика заметно оживились. Сатира, в лице Салтыкова, была в самом расцвете.

Театры были по-прежнему в тисках придворной привилегии, и в репертуаре Островский не создал школы хотя бы наполовину таких же даровитых последователей. Но музыка сильно двинулась вперед с русской «кучкой», а братья Рубинштейн заложили прочный фундамент музыкальной образованности и специальной выучки.

Университет не играл той роли, какая ему выпала в 61 году *, но вкус к слушанию научных и литературных публичных лекций разросся так, что я был изумлен, когда попал в первый раз на одну из лекций по русской литературе Ореста Миллера в Клубе художников, долго помещавшемся в Троицком переулке (ныне — улице), где теперь «зала Павловой».

Этот клуб, созданный кружком художников и литераторов в мое отсутствие, пришелся очень по вкусу петербуржцам, и его популярность поднялась, главным образом, от публичных лекций. Рядом с Ор. Миллером читал там проф. Сеченов по физиологии и собирал огромную аудиторию; читали и другие, например, проф. Градовский, тогда вошедший в большую моду в Петербурге и как лектор, и как самый выдающийся публицист газеты «Голос». Такого клуба не находил я и за границей, ни в Париже, ни в Вене. В нем было тогда и занимательно, и разнообразно, и весело; давались спектакли, танцевальные вечера, обеды, ужины, ставились живые картины.

Постом я должен был участвовать в одном литературном *утре*, данном в Клубе художников с какой-то таинственной анонимной целью, под которой крылся сбор в пользу — ни более, ни менее — как гарибальдийцев.

Устраивала красивая тогда дама, очень известная в литературных и артистических кружках, которую тогда все называли «Madame Якоби».

От нее я узнал подробности о болезни и смерти бедного А. И. Бенни *, взятого в плен папскими солдатами. Она ухаживала за ним в римском госпитале, где он и скончался.

На этом утре я прочел заключительную главу из «Солидных добродетелей». В публике был и М. Е. Салтыков. Он подошел ко мне до моего появления на эстраде и начал очень гневно и резко отговаривать меня от участия в организации нового клуба, идея которого принадлежала А. Г. Рубинштейну.

В ту зиму был в Петербурге и Тургенев. Его вызвали по одному делу Третьего отделения *, когда его кто-то оговорил и он должен был дать от себя письменные показания. Мы с ним свиделись и попали на первое совещание о новом Клубе, задуманном Рубинштейном. Тогда я и познакомился с Антоном Григорьевичем и впервые слышал его игру не на эстраде концертного зала, а в маленьком кружке. Он получил от великой княгини Е[лены] П[авловны] позволение собираться в помещении Михайловского дворца в известные дни для литературных и артистических вечеров.

На совещании были, кроме Рубинштейна, Тургенев, друг его Анненков, В. В. Самойлов, несколько художников и музыкантов. Я был приглашен также как учредитель. А после ужина А. Г. угостил нас своей вдохновенной игрой.

Так вот Салтыков, не явившийся на это совещание, стал разносить эту идею, которую он называл разными нецензурными именами.

— Не ходите вы туда! Это — гадость, холопство! Это пахнет... вы знаете чем?

И он еле-еле успокоился. Я с ним спорить не стал, тем более, что из этой, в сущности, весьма неплохой мысли ничего не вышло. Мы собирались раза два у Самойлова, но до основания клуба дело не дошло. Тургенев уехал вскоре за границу, а Рубинштейн почему-то больше нас не собирал.

Позднее, но в том же году, в фойе Большого театра я услыхал от Анненкова новость, что Виардо «заставила» Тургенева покинуть Баден-Баден и перевезла его

в Париж, после того как пруссаки так разгромили Францию.

— А вы знаете, как он недолюбливал французиков. Для него это будет большой жертвой.

Но он сжился с Парижем и даже вошел в такое приятельство с «французиками», какого не водил почти ни с кем в Петербурге. С Салтыковым он позднее стал ладить, а с Некрасовым уже давно не видался и никогда о нем в разговоре со мною не упоминал.

Вскоре по приезде я столкнулся с А. И. Урусовым, которого не нашел в Москве.

Это было в маскараде, в одном из клубов. Он ходил с маской очень роскошной фигуры и говорил с ней все время по-немецки. Кажется, эта особа и была впоследствии его женой. Когда мы встретились с ним и обменялись несколькими словами, я мгновенно зачуял в нем уже *не того* Урусова, с которым я еще из Парижа приятельски и с таким интересом к нему вел переписку. В нем уже слишком давал себя знать и чувствовать успех. Он уже попал в московские знаменитости. И тон его, и франтоватость, и золотые цепи с брелоками — все говорило о том, что он потерял прежнюю милую простоту.

Может быть, он охладел ко мне в силу еще каких-нибудь мне неизвестных причин, но между нами и на письмах не выходило никакой размолвки, а не видались мы с декабря 1866 года, то есть более четырех лет. Он еще наезжал постом в Петербург, и мы с ним провели несколько вечеров, мне с ним было весело, но задушевности отношений уже недоставало.

То дело, за которое он попал в ссылку в Лифляндскую губернию *, случилось позднее. И года его ссылки, а потом прокурорской службы, совпали с моим новым трехлетним отсутствием из России, и я возобновил наше знакомство уже в Варшаве. Из ссылки и потом из Риги он ко мне не писал до самого нашего свидания в Варшаве, где я его нашел в должности товарища прокурора.

В течение великопостного сезона театры тогда закрывались, а давались только живые картины. Клуб художников привлекал меня в члены комитета и как лектора. Тогда среди его старшин и распорядителей выделялись два типичных петербуржца: В. И. Аристов и М. И. Семевский.

Многие, вероятно, и теперь помнят Аристова в качестве устроителя всевозможных спектаклей, вечеров, чтений и праздников. Я с ним участвовал в любительских спектаклях еще в начале 60-х годов и нашел его все таким же — с наружностью отставного военного, при длинных усах и с моноклем в глазу. Никто бы не сказал, что он по происхождению и воспитанию был из духовного звания и, кажется, даже с званием магистра богословия. Где-то он служил и в торжественных случаях надевал на шею орденский крест.

Всегда в хлопотах, но с неизменным самообладанием и немного прибауточным жаргоном, он олицетворял своей личностью для большой публики весь Клуб художников и вообще увеселительно-художественный Петербург. Есть портрет его работы Константина Маковского — как раз из той эпохи. Он представлен в профиль, как он смотрит в отверстие кулисы, с своим моноклем в глазу.

Но не он один был заправилой в клубе. В комитете председательствовал М. И. Семевский, тоже мой старый знакомый. Я помнил его еще гвардейским офицером, когда он в доме Штакеншнейдер отплясывал мазурку на том вечере, где я, еще студентом, должен был читать мою первую комедию «Фразеры», приехав из Дерпта на зимние вакации.

Михаил Иванович в это время уже сделал себе имя «по исторической части» и был уже издатель-редактор «Русской старины». Он тоже считал себя прекрасным чтецом и даже участвовал в спектаклях. С Аристовым они наружно ладили, но между ними был всегда тайный антагонизм. Семевский умел первенствовать, и на него косились многие члены комитета и, когда я поступил в него, то под шумок стали мне жаловаться на него.

Со мною он был внимателен и любезен и всячески показывал мне, что он считает мое участие весьма полезным и лестным для клуба. Он тотчас же устроил те публичные лекции по теории театрального искусства, которые я прочел в клубе. Они входили в содержание моей книги, которую я обработал к 1872 году и издал отдельно *.

Тогда такой сюжет публичных лекций был внове, и я не думаю, чтобы кто-нибудь раньше меня выступал с такими лекциями. Публика была больше клубная, и чи-

тал я по определенным дням. Сколько помню, мне платили какой-то гонорар, но я не помню, чтобы артисты русской труппы или воспитанники тогдашнего училища посещали эти лекции.

Из актеров членом комитета состоял И. Ф. Горбунов, часто исполнявший с эстрады свои рассказы, а из художников помню Микешина и архитекторов Щедрина и Пранке, которого, уже стариком, нашел в Риме, где он поселился в конце 90-х годов.

Мне, конечно, хотелось бы сделать для русского театра и преподавания что-нибудь более существенное, но тогда все еще царила придворная привилегия, с дирекцией у меня не было никаких сношений. Знаменитый П. С. Федоров (прозванный *Губошлепом*) не был уже начальником репертуара, а сценой заведовал некий Лукашевич, чиновник дворцового ведомства, с наружностью польского ксендза; в театральном комитете заседали какие-то ископаемые, и к этим годам относится тот факт, что одна комедия Островского была забракована комитетом *.

Пьес за все четыре с лишком года, проведенных за границей, я не писал и, вернувшись, стоял совершенно вдалеке от театральной сферы. Но я, в 1868 году, когда жил в Лондоне, мог попасть в заведующие труппой Александринского театра.

Умер тогда режиссер Воронов, и Краевский написал мне, что начальник репертуара Федоров (он еще тогда здравствовал) предложил мне место с 3000 рублей оклада и бенефисом, как полагалось тогда по штату. Я ответил, что в принципе я принял бы это предложение, но с двумя условиями, во-первых, вместо бенефиса прибавку к окладу, а главное, полную художественную автономию и место преподавателя в старшем классе Театральной школы. Дело затянулось под тем предлогом, что тогдашний директор еще не вернулся из-за границы. Так из этого ничего и не вышло. И чтобы покончить с этой материей, забегу года на четыре вперед. Тогда, тоже постом, я читал публичные лекции в том же Клубе художников, и ко мне явился туда бывший адъютант варшавского генерал-губернатора с предложением от него принять место Директора варшавских театров. Этот адъютант, назначенный куда-то вице-губернатором, был не кто иной, как печальной памяти

петербургский градоначальник фон Валь*. Я попросил день на «размышление» и не принял места по мотивам, которые считал для себя обязательными, несмотря на то, что я так симпатично относился к варшавской труппе тамошнего драматического театра.

К весне я внезапно заболел, перебрался на Вас. остров и, полубольной, доканчивал повесть «Поддели», которую диктовал тому полячку, кого пристроил к Коршу.

Мой врач настоял на том, что мне необходимо ехать за границу, и вот я опять на пути к Парижу.

Не думал я, что опять попаду в Париж... и когда? После его двойной осады и разорения*.

Мне нужно было посоветоваться с врачами, пробыть в Париже не больше двух недель и проехать в северную Италию, а оттуда пробраться в Вену, где и заняться серьезнее своим лечением.

Вид Парижа схватил меня за сердце, особенно некоторых его руин. Тюльери стоял в пепелище, окраины, около укреплений, разорены, бульвары еще пустые.

Я остановился в Grand Hôtel'е, где во время осады помещался госпиталь, и во всех коридорах стоял еще больничный запах. Зато было дешево. Я платил за большую комнату всего 5 франков в сутки. Но через несколько дней я перебрался в garni[1] тут же поблизости, на B-d des Capucines.

Целыми днями бродил я и ездил по разным кварталам Парижа, и чувство жалости к этому городу, которому я лично был многим обязан, — все росло во мне.

Над членами Коммуны происходил тогда суд в Версальском военном суде. Я туда ездил и был на знаменитом заседании, когда один из вожаков Коммуны был приговорен к расстрелянию за одну записку на клочке бумаги, где стояли слова: «Flambez finances». Это значило: «Подожгите здание министерства финансов».

Тут я видел таких известных членов правительства Коммуны, как живописец Курбе и журналист Паскаль Груссе, бывший у Коммуны министром иностранных дел.

---

[1] меблированные комнаты *(франц.)*.

Рошфора, попавшего также в вожаки Коммуны, тут не судили. Он был приговорен к ссылке в Новую Каледонию, откуда и бежал впоследствии. Во время войны он перед тем, как попасть во временное правительство после переворота 4-го сентября, жил, как эмигрант, в Брюсселе, где я с ним тогда и познакомился, только теперь точно не могу сказать — в ту ли осень или несколько раньше.

Он мне не особенно понравился. Его огромная тогда популярность как создателя памфлетного еженедельника «Lanterne» раздула его тщеславие. Его тон, язык, манера держать себя — все это было бульварно-парижское, и я сомневался, чтобы в нем были стойкие демократические принципы, что и оказалось совершенно верным, когда он сделался буланжистом и крайним националистом, а как сатирик и остроумец пережил себя и теперь окончательно выдохся.

Маленький, хитроумный Тьер спасал тогда Францию и буржуазную республику. Под его президентством генерал Галифе, усмиритель Коммуны, опозорил себя беспримерной жестокостью*, напоминавшей времена герцога Альбы в Нидерландах и Бельгии. Я до сих пор не могу без глубокого негодования вспомнить, как он, когда вел партию пленных коммунаров из Парижа в Версаль, приказал остановить ее и тут же на месте расстрелять несколько сот без всякого разбирательства. А ведь все они были военнопленные и взяты с оружием в руках. И Гамбетта впоследствии ладил с ним, и он был позднее военным министром демократической республики!

Какого же суда можно было ждать от военного трибунала, приговорившего троих вожаков Коммуны к расстрелу?

Никогда не забуду я физии и всей повадки того майорины, который исполнял роль прокурора на том заседании, когда он требовал смерти того, кто написал два слова на клочке бумаги: «Flambez finances!»

Вся картина этого суда, скудная публика, полиция, молодые адвокаты, с которыми я выходил из заседания, их разговоры и даже шутки, мало подходившие к такому трагическому моменту, — все это еще сохранилось в памяти в красках и образах. И весь пустой, казарменный

Версаль, где тогда палата заседала в бывшем придворном театре времен Людовиков.

Я и там побывал и вынес такое впечатление, что все это представительство было такое же театрально-лживое, как и мишурная отделка этой подновленной залы спектаклей.

Состав депутатов дышал злостью реакции обезумевших от страха «буржуев». Гамбетта был как бы в «безвестном отсутствии», не желая рисковать возвращением. Слова «республиканская свобода» отзывались горькой иронией, и для каждого ясно было то, что до тех пор, пока страна не придет в себя, ей нужен такой хитроумный старик, как автор «Истории Консульства и Империи».

И Парижу надо было оправиться, а всей стране стряхнуть с себя позор военной оккупации немцев, то есть заплатить им пять миллиардов, что Тьер и выполнил блистательно.

Но он бы не смог это сделать в такой короткий срок, если б у Франции, даже и разгромленной, не было столько жизненных ресурсов, если б она не была преисполнена мелких собственников, привыкших копить и копить. Знаменитые «bas de laine» — «шерстяные чулки» мужиков и средней руки горожан и выручили разоренную Францию и дали Тьеру возможность высылать вагон за вагоном в Берлин, полных золотом.

Немецкие отряды еще кое-где стояли, но я уже нигде их не видал на своем пути во Франции и из Парижа на юг, в северную Италию, а это было всего через несколько месяцев после взятия Парижа немцами.

Из своих парижских собратов я отыскал только Франциска Сарсе.

То, в *каком* я нашел его настроении, в той же квартире, одного, за завтраком, у стола, который был покрыт даже не скатертью, а клеенкой, было чрезвычайно характерно для определения упадка духа тогдашних парижан, да и вообще массы французов. Я не ожидал такой прострации, такого падения всякой национальной бодрости. И в ком же? В таком жизнерадостном толстяке, как «дяденька», как его позднее стали звать в прессе, с его оптимизмом и галльским юмором.

— Nous sommes une nation, — повторял он любимое французами нецензурное слово.

Потом, через год, много через два года, и он пришел опять в прежнее свое настроение, но тогда на него жалко было смотреть. Весь его мир сводился ведь почти исключительно к театру. А война и две осады Парижа убили, хотя и временно, театральное дело. Один только театр «Gymnase» оставался во все это время открытым, даже в последние дни Коммуны, когда версальские войска уже начали проникать сквозь бреши укреплений.

Мне это рассказывала артистка театра «Gymnase» madame Pasca, которую я стал видать на сцене со второго моего парижского сезона.

Она мне сразу показалась очень своеобразной актрисой, свободной от рутины тогдашней игры большинства женских «первых сюжетов». Она прямо дебютировала в ответственной роли в какой-то новой пьесе, где она не могла еще выказать себя вполне. Ее первым крупным успехом была роль «Фанни Лир» в жанровой комедии, где она играла английскую авантюристку с сильным характером. Дюма-сын очень заинтересовался ее талантом и поручил ей очень ответственную роль матери в «Les idées de madame Aubray». А потом она создала героиню в пьесе Сарду «Фернанда».

Тогда, в те зимы 1866—1870 годов, я с ней не был знаком, знал, что она не из театральных сфер, в консерватории не училась, а пришла из жизни. Она была замужняя дама из хорошей буржуазии, не парижанка, и мне кто-то сообщил, что она имела несчастье выйти за человека, который оказался потом бывшим уголовным преступником, отсидевшим свой тюремный срок.

Узнав, что Дирекция наших императорских театров пригласила ее на несколько лет в Михайловский театр с сентября 1871 года, я отправился к ней знакомиться и поговорить о ее дебютах.

Нашел я ее в небольшой, изящно обставленной квартире, где-то далеко, отрекомендовался ей как друг театра и большой ее почитатель, *отсоветовал* ей брать для первого появления перед петербургской публикой роль Адриенны Лекуврер, которую она, может, играла (я этого не помню), но, во всяком случае, не в ней так выдвинулась в «Gymnase» в каких-нибудь два-три сезона, и после такой актрисы, как уже тогда покойная *Дескле*, которую в Брюсселе открыл все тот же Дюма. Дескле как раз перед Паска сделалась любимицей

Парижа, и ее игра тогда явилась прямо откровением по своей правде, задушевности, блеску и грации. Она была прямой провозвестницей такой актрисы, как Режан, которая тогда еще не выступала.

Я прямо сказал Паска:

— Возьмите эти три роли: Фанни Лир, героиню «Фернанды» и баронессу д'Анж в «Demi-Monde» Дюма.

Она их и сыграла, но после Адриенны, в которой не понравилась, а захватила публику Михайловского театра со второй роли, в «Фанни Лир», что я ей и предсказывал.

Уже и тогда Паска была не первой молодости, но как женщина еще очень интересна. Те, кто ее помнят по Петербургу — а таких еще немало, — наверно, будут того мнения, что такой «интересной» актрисы не только по игре, но и по наружности они потом уже не видали в Петербурге.

Мы с ней простились, сказав друг другу: «До свидания в Петербурге», — где я уже и нашел ее в начале осени.

Мои парижские переживания летом 1871 года я положил на бумагу в ряде статей, которые приготовил позднее для «Отечественных записок» под заглавием «На развалинах Парижа» *. Первые две статьи содержали мои личные впечатления, а третью — очерки истории Коммуны — редакция не решилась пустить «страха ради цензорска», и ее «рукопись» так и погибла в «портфеле» редакции.

Эту еще единственную тогда эпопею Коммуны я набросал по выпускам книги, которые при мне и выходили в Париже. Авторы ее Ланжалле и Каррьер, приятели Вырубова и М. М. Ковалевского, тогда еще безвестные молодые люди, составили свой труд по фактическим данным, без всякой литературной отделки, суховато, но дельно и в объективном, очень порядочном тоне, с явной симпатией тому, что было в идее Парижской коммуны двигательного и справедливого.

Кроме этих статей о разоренной и униженной Франции, я гораздо позднее, у Некрасова же, напечатал этюд о книжке Эдмона Абу, который был арестован в Эльзасе после его завоевания немцами. Этюд этот я озаглавил «На немецком захвате» *. Он был напечатан целиком и редакцию ничем не смутил!

Свою поездку по итальянским озерам, куда я попадал еще в первый раз в моей жизни, я уже рассказывал в вступлении к книге «Вечный город» и здесь повторяться не буду.

Это был прекрасный антракт между, в общем, тяжелыми настроениями в Париже и случайным житьем в Вене, исключительно для лечения.

Там я еще нашел моего бывшего секретаря Г-ва, о котором рассказывал выше, перед его переселением в Прагу. Тогда бедняга еще надеялся как-нибудь найти себе порядочный заработок и не предвидел, что в этой же Вене он найдет добровольную смерть в волнах Дуная.

В Вене я нашел и мою приятельницу Агнессу П. — уже женой того поляка Н-ы, франтоватенького учителя французского языка, за которого она вышла совсем не по страсти.

Во время войны она мне еще писала из родного своего города Майнца, и где-то я получил от нее письмо, в котором она меня извещала, что она собирается повенчаться, «und zwar mit N-na»[1] — добавляла она характерной фразой, с этим архинемецким словом «zwar». Не знаю, было ли это нечто вроде вопросного пункта, направленного на меня, тогда еще свободного холостяка, но в Вене я нашел ее, по-видимому, довольной своим «папа», в хорошенькой квартирке, очень приветливой, с тоном доброй знакомой, которая действительно рада моему приезду.

Они с мужем предложили мне у них обедать, на что я согласился только на условиях платного пансионера. При ней состояла ее сестра не первой молодости девушка, Анна, свежая, довольно даже эффектная, очень простая и неглупая, с юмором.

Мы с ней очень скоро сошлись, но в пределах приятельства — не больше. И вдруг я получаю от господина Н-ны большое письмо, где он говорит, что Анна находится в недоумении — *какие у меня намерения* на ее счет? А у меня ровно никаких намерений не было, и все это отзывалось матримониальным подходом плутоватого полячка и было сделано им без ведома своей жены — чрезвычайно деликатной и корректной

---

[1] и именно с N-па *(нем.)*.

женщины. Я ей о письме ее мужа ничего и не сообщил; и, сколько помню, дал ему понять, что я на такую удочку не пойду.

Вскоре я собрался в Россию.

Это было уже в начале иностранного сентября.

Из русских ко мне явился сам отрекомендоваться как земляку, нижегородцу и бывшему казанскому студенту — молодой магистрант химии Т-ров, теперь крупный администратор в министерстве финансов после долгой карьеры профессора химии.

Была у меня и другая мимолетная встреча на Käzthirerstrasse с коротеньким разговором, который в моей интимной жизни сыграл роль гораздо более серьезную, чем я мог бы вообразить себе. Каких-то два господина ехали в карете, и один из них, приказав «фиакру» (так в Вене называют извозчиков) остановиться, стал громко звать меня:

— Петр Дмитриевич!

Я его легко вспомнил. Это был некто П. П. Иванов, тогдашний акцизный управляющий в Нижнем, с которым я был знаком еще с начала 60-х годов. А рядом с ним сидел в карете седой старик с бородой, — и он также оказался моим еще более старым знакомым. Это был генерал М. И. Цейдлер, когда-то наш нижегородский полицеймейстер, из гродненских гусар, и товарищ по юнкерскому училищу с Лермонтовым.

Иванов уже искал меня, узнав от кого-то, что я мог быть в это время в Вене, возвращаясь в Петербург. У него была ко мне просьба.

— Я хочу вас просить, Петр Дмитриевич, как писателя, работающего в петербургских газетах, принять участие в молодой артистке, родной племяннице моего товарища по Московскому университету С. Е. Калмыкова. Она училась сценическому искусству в Париже и дебютировала в Париже в театре «Vaudeville».

— Под псевдонимом Delnord, — добавил я.

— Да, да!

Он ничего не знал про то, как я в фельетоне «С Итальянского бульвара» сурово оценил тогда ее игру. Все это я ему тут же объяснил.

— Ничего. Это дело прошлое. Теперь она получила прямо ангажемент в Александринский театр, и этой

осенью будет выступать. Ее пригласили на первое амплуа. Пожалуйста, поддержите.

Обещать безусловную поддержку я не мог; но сказал, что буду рад изменить свое мнение о молодой артистке, которая, конечно, будет более на месте на русской сцене, если она в Париже не разучилась родному языку.

И эта русская артистка сделалась через год с небольшим моей женой, о чем я расскажу ниже. Но рецензий я о ней так и не писал, потому что в сезон 1871—1872 года я ни в одной газете не состоял театральным критиком, и я был очень доволен, что эта «чаша» отошла от меня. Может быть, будь я рецензентом и в Петербурге, мы бы никогда не сошлись так быстро, не обвенчались бы и не прожили целых 38 лет.

И опять Петербург. И опять надо было впрягать себя в ту же упряжь бытописателя и хроникера русского общества.

Газетная работа с уходом от Корша от меня отошла. С «Голосом» уже не было никаких дальнейших сношений. Из журналов мой базис для беллетристики — были «Отечественные записки» и отчасти «Дело» Благосветлова, где я позднее писал и о театре.

То, над чем я за границей работал столько лет, принимало форму целой книги. Только отчасти она состояла уже из напечатанных этюдов, но две трети ее я написал — больше продиктовал — заново. Те лекции по мимике, которые я читал в Клубе художников, появились в каком-то журнальце, где печатание их не было доведено до конца, за прекращением его.

С дирекцией я никаких связей не имел, да и порядки, царившие на русской драматической сцене, были все те же. Придворная привилегия душила всякую попытку частной сцены. В труппе Александринского театра не было уже Линской, но Павла Васильева я еще застал; Самойлов доживал свой век, и первой актрисой значилась Струйская, которую я помнил почти что выходной актрисой. Она была очень старательная полезность, но не больше. Ее выдвинул репертуар Дьяченко. И с роли в пьесе «Светские ширмы» она заняла положение «премьерши». Лично я с ней никогда знаком не был,

За мое отсутствие во время разрастания оперетки, овладевшей и Александринским театром, выдвинулись Лядова, бывшая танцовщица, и ее партнер, актер Монахов.

Я его нашел уже в зиму 1871—1872 года молодым актером на первые роли в комедии. Вскоре по приезде я с ним познакомился и нашел в нем развитого малого с университетским образованием, без выгодных внешних средств, но умного, наблюдательного, с своеобразной манерой держать себя на сцене, очень способного и для так называемой «высокой» комедии. Это был уже любимец «Александринки», где он выступал во всяких ролях, а по клубам вызывал шумные приемы пением «куплетов». Он и опереточным персонажам умел придавать нечто более тонкое, как, например, роли губернатора (то есть вице-короля, в подлиннике) в оффенбаховской «Периколе».

После смерти Лядовой опереточной примадонной была Кронеберг, из второстепенных актрис Московского Малого театра, из которой вышла великолепная «Прекрасная Елена». У ней оказалось приятное mezzo-сопрано, эффектность, пластика и прекрасная, сценичная наружность. Петербург так ею увлекался, что даже строгие музыкальные критики, вроде Владимира Стасова, ходили ее смотреть и слушать и писали о ней серьезные статьи.

В репертуаре русского театра не было перемены к лучшему. Островский ставил по одной пьесе в год и далеко не лучшие вещи, к которым я как рецензент относился — каюсь — быть может, строже, чем они того заслуживали, например, хотя бы к такой вещи, как «Лес», которую теперь дают опять везде, и она очень нравится публике.

Та требовательность, какую мы тогда предъявляли, объяснялась, вероятно, двумя мотивами: художественной ценой первых пьес Островского и тем, что он в эти годы, то есть к началу 70-х годов, стал как бы уходить от новых течений русской жизни, а трактование купцов на старый сатирический манер уже приелось. В Москве его еще любили, а в Петербурге ни одна его бытовая пьеса не добивалась крупного успеха.

Гораздо сильнее заинтересовал он постановкой своей большой драматической хроники «Дмитрий Самозванец

и Василий Шуйский», которая и шла в сезон 71—72 года. Самозванца играл Монахов, Шуйского — Павел Васильев. Монахов задумал Самозванца умно и держался очень своеобразного тона ополяченного авантюриста, делал фигуру лжецаря интересной и живой.

Павел Васильев к тому времени как-то оселся и отяжелел, стал забывать, что он прежде всего был комик, считал себя чуть не трагическим актером и серьезно готовил не только Ричарда III (он мне читал отрывки), но и Гамлета.

Мы с ним возобновили старое знакомство, но мне — увы! — нечего было предложить ему. У меня не было никакой новой пьесы, когда я приехал в январе 1871 года, а та комедия, которую я написал к осеннему сезону, на сцену не попала. Ее не пропустил «Комитет» *, где самым влиятельным членом был Манн, ставивший свои комедии на Александринском театре.

Мою вещь брал себе на бенефис Монахов. Эта вещь никогда не была и напечатана. Она называлась «Прокаженные и чистые» — из жизни петербургской писательско-театральной богемы. Я ее читал у себя осенью 1871 года нескольким своим собратам, в том числе Страхову и Буренину, который вскоре за тем пустил свой первый памфлет на меня в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, придя ко мне, сел на диван и воскликнул:

— Что же, виноват! Еже писах-писах!

После того мы еще довольно долго были с ним знакомы, и только когда он сделался мне слишком антипатичным своим злоязычием и сплетнями, я *разнес* его раз на прогулке на Невском в присутствии старика Плещеева, и с тех пор в течение почти сорока лет я ему не кланялся, а он продолжал награждать меня своими памфлетами и даже пасквилями *.

И его приятель Суворин удостоивал меня в печати своих выходок, не менее злобных и бранчивых.

Эта травля вызвала один пикантный эпизод из моей тогдашней еще холостой жизни. Я получил французскую записку от какой-то анонимной дамы, которая просила меня приехать в маскарад Большого театра. Она была заинтересована тем, что меня так травят эти два петербургских остроумца. Но она назвала их первыми слогами их фамилий, и по-французски это выходило так «Bou et les Sou». Но намерение ее было поиграть над

этими слогами, чтобы вызвать во мне представление о *boue,* то есть грязи, и о *sou,* то есть медном *гроше.*

Сезон и тогда, в общем, носил такую же физиономию, как и в последнюю мою зиму 1864—1865 года: те же театры, те же маскарады в Большом, Купеческом и Благородном собрании, только больше публичных лекций, и то, что вносил с собою оживляющего Клуб художников, где я позднее прочел три лекции о «Реальном романе во Франции», которые явились в виде статьи у Некрасова*.

Тогда и о Флобере знали еще у нас очень немного, а тем паче о менее крупных талантах. Но интерес к французской драматургии поддерживал Михайловский театр, где опять сложилась очень хорошая труппа, которую украсила собою новая любимица публики, Паска. Ее соперницей была Деляпорт, тоже когда-то ingénue театра «Gymnase», имевшая уже в петербургской барской публике множество поклонников и даже поклонниц.

С Паска я тотчас же возобновил парижское знакомство, стал у нее часто бывать и у нее сошелся главным образом с Адольфом Дюпюи и с четой Вормсов.

У Паска бывали журфиксы по пятницам. Она приглашала к себе и запросто пообедать вместе с ее товарищами по сцене. Жила она в доме на Михайловской площади, против сквера, на углу Итальянской, со стороны Екатерининского канала. И Дюпюи приглашал к себе пообедать в меблированные комнаты на Невском, против Гостиного, кажется и теперь существующие.

В Петербурге он и развился в прекрасного жанрового актера для комедии. Единственный его недостаток был скороговорка, от которой он так и не мог отрешиться. В Париже, куда он позднее переселился, он сейчас же был оценен как первоклассный актер, сделался украшением театра «Vaudeville», первым его сюжетом и потом даже содиректором.

У себя дома он был гостеприимный хозяин, всегда веселый и остроумный, без актерской хвастливости и позы. Тогда он уже руководил любительскими спектаклями в Аничковом дворце у наследника (впоследствии Александра III), и в его труппе первым комиком был И. А. Всеволожский, попавший в новое царствование в директоры императорских театров.

Вормс — первый любовник, который брал темпераментом, умной, нервной игрой, — в жизни не был занимателен и держался слишком серьезного тона. Но он, не в пример своим товарищам, один выучился читать и писать по-русски. И он доразвил свое дарование в Петербурге, и сразу в Париже попал в сосьетеры Французской комедии.

То, что я не был фельетонистом в петербургский сезон 1871—1872 года, хотя и жил очень бойкой жизнью, оставляло мне более досуга для работы над романом, который я начал с осени.

Это были «Дельцы». Я их задумал в обширных размерах. Тогда редакции не боялись больших романов и охотно брали их, даже и от начинающих писателей. А я тогда был писателем уже около десяти лет, действовавшим как романист с января 1862 года, когда стал печататься «В путь-дорогу». Я решил, что «Дельцы» будут иметь четыре части, или «книги», как я любил тогда называть, по десяти листов в каждой. Не предвидел я, что работа над этой вещью так затянется из-за моего нездоровья и, начатая в октябре 1870 года в Петербурге, будет кончена в начале 1873 года за границей.

Некрасов, после «Солидных добродетелей» стал мне платить по 100 рублей за лист с рассказа «Посестрие» *. Такой гонорар считался тогда очень хорошим. Его получала такая писательница, как Хвощинская, когда я издавал «Библиотеку» еще в половине 60-х годов. Из молодых моих сверстников самый талантливый Глеб Успенский вряд ли и тогда получал значительно больше.

Тогда я еще прибегал и для беллетристики к диктовке. Так и «Дельцов» я начал диктовать одной барышне-москвичке, рекомендованной мне А. Н. Плещеевым.

Вопрос о моей «диктовке» сделался в нашей биографической литературе своего рода легендой. И я хочу здесь еще раз поговорить об этом. До сих пор преобладает мнение, что я *всегда* и *все* диктовал — до последних лет. Это неправда.

Я уже имел случай касаться выше этой легендарной версии и здесь вкратце подведу итоги моей диктовке.

Статьи и книги я почти всегда диктовал, до самых последних лет, когда жил в России; но за границей не диктую газетных и журнальных статей никому и нигде,

а их набралось бы за двадцать лет несколько томов. Беллетристические вещи, романы и повести я диктовал только до 1873 года, и то не все. Продиктованы были некоторые части «В путь-дорогу», «Земские силы», «В чужом поле», «Жертва вечерняя» — все в Париже. Но «Солидные добродетели» все были написаны, а не продиктованы; из «Дельцов» — первая часть и главы остальных. Вот и все. Начиная с романа «Полжизни» *, написанного в Италии летом и осенью 1873 года, все романы, повести и даже рассказы были написаны собственной рукой, стало быть за период времени в 37 лет.

Прежде редакторы печатали ваши вещи, имея в руках одну часть, а иногда и несколько глав. Так печатались и «В путь-дорогу», и «Солидные добродетели», и «Дельцы». Но с 1873 года, когда я стал работать в «Вестнике Европы» у М. М. Стасюлевича, это было уже невозможно. Вы должны были представить ему все произведение, хотя бы в нем было до 35 листов (как, например, в моем «Василии Теркине»). Это приучило меня к более систематической работе, и так длилось с 1873 года до половины первого десятилетия XX века, то есть более тридцати лет.

И *ни одной строки* беллетристики из *всего,* что я печатал в «Вестнике Европы», *не было продиктовано* мною, что не мешало, однако, легенде о моей исключительной диктовке укрепиться и перейти в общее место.

В октябре 1871 года в том же Клубе художников старшина Аристов познакомил меня с С. А. Зборжевской (по театру Северцевой), которая сделалась через год моей женой.

Из ее дебютов на Александринском театре я был перед тем на одном из них, в комедии Манна «Говоруны». Она играла роль светской женщины — не плохо, но и не так, чтобы я признал в ней несомненное дарование.

Ее сценические средства были прекрасны: красивое лицо, рост, фигура, изящные туалеты. Но чувствовалось во всем, что она не рождена для сцены, что у ней нет темперамента, что театр не нужен ей, как он нужен для прирожденных актрис. На публику она мало действовала, пресса относилась к ней очень сдержанно, и самый влиятельный тогда рецензент Суворин не находил

ее приобретением для русской труппы, а между тем она была прямо приглашена на первые роли с большим окладом и бенефисом.

Наша встреча в клубе произошла во время маскарадного бала. Она была в маске и домино. Аристов представил меня; фамилии маски он не назвал, но, дав понять, кто она, оставил нас в одной из гостиных.

Между нами, связанными тяжелыми воспоминаниями о моей строгой парижской рецензии, сразу же завязался очень живой разговор. Она не стала скрывать, кто она, вспомнила про Париж, но уже без всякой горечи; я стал ее расспрашивать, где она играла после Парижа. Она провела зиму 1869—1870 года в Италии, в известной тогда труппе Мен⟨...⟩, играла в Риме, Неаполе, Флоренции, Вене, а летом получила ангажемент в Россию. Перед тем, как покинуть Париж, она потеряла мать, и эта кончина поразила ее так, что она едва пережила этот удар.

Этот рассказ был такой трепетный, что мы в тот же вечер, начав полуврагами, кончили нашу беседу поздней ночью в дружеском тоне. Актриса и тогда не могла меня привлечь, несмотря на ее наружность, но я сразу распознал хорошего человека, и наше сближение пошло быстро.

Я мог бы быть очень полезен ей моей театральной опытностью, но я не мог дать ей того, что составляет основу и тайну таланта. На светское амплуа из нее выработалась бы хорошая полезность.

То, что она сыграла в течение зимнего сезона 1871—1872 года, не выдвинуло ее настолько, чтобы она заняла прочное место в труппе. Кроме двух комедий Манна («Говоруны» и «Паутина»), она играла в переводной довольно-таки заигранной пьесе «Любовь и предрассудок», в переводной же мелодраме «Преступление и наказание» Бёло (по-французски: «Le drame de la rue de la Paix»[1]), в которой в тот же сезон выступала и Паска, играла и Марину Мнишек в хронике Островского — партнершей Монахова, а в свой бенефис, уже весной, поставила какие-то жанровые пьесы. Но все это было для нее не «выигрышное», и я не стал поддерживать в ней самообольщения: оно, впрочем, и не владело ею.

[1] «Драма на улице Мира» *(франц.)*.

Она смотрела на театр как на профессию, к которой долго готовилась в Париже, и надеялась, что из нее все-таки выйдет полезная исполнительница.

Были, однако, и у нее в публике посетители и посетительницы Александринского театра, находившие, что она для светских ролей имеет такие данные и такую выработку дикции, каких не было ни у одной из ее сверстниц.

Сезон прошел и для нее и для меня пестро, с неизбежными волнениями за нее, с моей усиленной работой, с участием в литературно-клубной жизни Петербурга.

Я жил тогда в garni дома, сделавшегося историческим, на углу Невского и одной из Садовых. В нем позднее произошел взрыв, направленный из молочно-сырной лавки, где Желябов с товарищами готовил свою адскую машину *.

Мои знакомства в литературном мире расширились; но, кроме Некрасова и Салтыкова, не было тогда других писателей одинакового ранга. Я встречался с Григоровичем, Полонским, изредка с Майковым; Достоевского же нигде почти не видал, а личного знакомства и раньше с ним не водил. Из молодых, кроме Гл. Успенского, я чаще видался с Михайловским и бывал на его вечерах с шумными ужинами. Он тогда делался уже любимцем молодежи, но как критики ни он, ни Скабичевский не имели такого обаяния на молодую публику, как 10—12 лет перед тем Добролюбов и Писарев.

Вообще тот сезон ничем не выделялся в смысле новых движений в тогдашней интеллигенции.

Но мне как романисту открылся новый мир тогдашнего *делячества.* Я лично не принимал, конечно, участия в тогдашней лихорадке концессий и всяких *грюндерских* спекуляций, но многое я помнил еще из первых 60-х годов и наметил, задумывая своих «Дельцов», три главных типа: такого дельца, как Саламатов, моделью которого мне послужил уже тогда знаменитый Н. И. С-щев, только недавно умерший, и затем двух молодых карьеристов — одного инженера (Малявский) и другого адвоката (Воротилин).

Мой давнишний знакомый Е. И. Р[аго]зин, брат известного на Волге дельца В. И-ча, тогда поселился в Петербурге, заведуя конторой пароходства своего брата, и впоследствии принял участие в издании «Недели»,

где издательницами были госпожа Конради, а потом Гайдебурова. От него я также много слышал подробностей о тогдашнем деляческом мире, но в мой роман я ввел, кроме бытовых сцен, и любовную фабулу, и целую историю молодого супружества, и судьбу вдовы эмигранта с девочкой вроде Лизы Герцен, перенеся их из-за границы в Россию.

Если б моя личная жизнь после встречи с С. А. Зборжевской не получила уже другого содержания, введя меня в воздух интимных чувств, которого я много лет был совершенно лишен, я бы имел больше времени для работы романиста и мои «Дельцы» не затянулись бы так, что я и через год, когда с января 1872 года роман стал появляться в «Отечественных записках», не довел его еще далеко до конца и, больной, уехал в ноябре месяце за границу.

Но это было уже после нашей свадьбы, бывшей в ноябре 1872 года. Я венчался в Троицком соборе и был так еще слаб, что мне поставили кресло во время венчания.

Вернувшись летом из Гельсингфорса, где я простудился, я заболел, и одна часть «Дельцов» была мною написана в постеле, но я должен был торопиться, чтобы получить гонорар (Некрасов аванса мне не предложил) — иметь средства на поездку.

Моей невесте этим временем было отказано от места. По ее условию ее ангажемент был только пробный, на один год. Она было думала поехать играть в провинцию и вошла в переговоры с дирекцией виленского театра, которым заведовал генерал Цейдлер; но мы решились соединить свою судьбу, и она пошла на риск замужества с больным писателем, у которого, кроме его пера и долгов, тогда ничего не было. Но мы уже привязались друг к другу, и с тех пор 40 лет делим и радость и горе, и не имели еще повода жалеть, что согласились в ноябре 1872 года быть мужем и женой. Жене моей сейчас же пришлось делаться сестрой милосердия. Больного повезла она меня зимой, почти калеку, с особым аппаратом для моей правой ноги.

Мы остановились в Варшаве, где я повидался с своими приятелями. Ни Берг, ни Иванюков не были еще женаты. Там я был еще пободрее; но по приезде в Прагу, куда меня звал мой бывший секретарь поле-

читься у тамошних профессоров, я стал хиреть, явилась лихорадка, кашель, ночные испарины.

Меня лечил молодой профессор терапии, ходил ко мне и мой товарищ по Дерпту Л-ский, в то время уже доцент Киевского университета.

В Праге, в отельной комнате, сразу ото всего оторванные и с очень тяжелой перспективой, с кое-какими деньгами и с необходимостью опять усиленно писать, доканчивая «Дельцов», встретили мы Новый русский год.

Мой врач сам находил, что мне не следует заживаться в холодной и сырой Праге, и послал меня в тирольский курорт Меран.

Так подошел для меня исход 1872 года, начавшегося любовью и бойкой жизнью столичного сезона и кончившегося в болезни и тревоге за ближайшее будущее — уже не одного меня, а нас обоих.

Из книги

«СТОЛИЦЫ МИРА. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВОСПОМИНАНИЙ»

VI

Литературное движение.— Его итоги к концу империи.— 70-е годы.— Натурализм и реакция против него. — Идеалистические веяния. — Символизм. — Русский роман. — Скандинавская драма. — «Вольный театр». — Декадентство и литературный анархизм. — Французская академия. — Салоны. — Сравнительное движение в Англии. — Мои знакомства.

Русские писатели моего поколения в течение всех 60-х годов не были особенно захвачены обаянием тогдашней парижской *беллетристики.* Разумеется, все, что появлялось сколько-нибудь заметного в Париже, читали и переводили у нас, но тогда английскими и немецкими романистами интересовались, в сущности, больше, Бальзака мало знали, да и до сих пор не думаю, чтобы было много образованных русских, хорошо знакомых со всей «Человеческой комедией» — этим колоссальным памятником творчества, какой оставил автор «Эжени Гранде» и «Кузена Понса». К первым годам того десятилетия прогремел роман Виктора Гюго «Мизерабли» и едва ли надолго не остался самым популярным у нас, вплоть до 70-х годов. Чтобы убедиться, до какой степени и корифеи русской беллетристики мало ценили все, что было уже крупнейшего в тогдашней французской изящной литературе, я рекомендую моим читателям одно предисловие Тургенева, прошедшее почти совсем незамеченным, к русскому переводу тоже всеми позабытого романа Максима Дюкана *, давно уже умершего — когда-то друга и ближайшего сверстника Флобера. Перевод этот был издан редакцией тогда весьма распространенного у нас журнала «Собрание иностранных романов» г-жи

Ахматовой. Книжка вышла в 60-х годах, стало быть, в то время, когда не только уже существовало огромное наследие Бальзака, умершего более десяти лет до того, но и явилось уже, несколько лет перед тем, произведение Флобера, которое теперь считается «epochemachend»[1] в развитии художественно-реального романа — «Мадам Бовари», и перевод этого романа уже был сделан по-русски*. В то время начали писать братья Гонкур; в области поэзии Виктор Гюго вступил едва ли не в самый блистательный период своего вдохновения с «Légende des siècles»;[2] приобретал имя первоклассного поэта и версификатора Леконт де Лиль; складывалась целая школа парнасцев*. А в предисловии Тургенева вы найдете весьма пренебрежительный взгляд на тогдашнюю французскую беллетристику* и, насколько мне не изменяет память, даже нет никакого упоминания о том великом романисте, который впоследствии вызывал в самом Тургеневе такой энтузиазм, — о Флобере*.

Первая моя парижская зима была отдана, как я уже говорил, главным образом, интересам философско-научным. Я еще не искал тогда знакомств в чисто писательской сфере, к тогдашним знаменитостям присматривался издали. Литературное движение представляли для меня гораздо больше такие деятели, как Ренан, Тэн, Сен-Бёв, Мишле, Кине, выдающиеся публицисты и рецензенты, чем беллетристы и поэты. В Латинском квартале любили декламировать стихи из «Châtiments»[3] Виктора Гюго и читать его памфлет «Napoléon le petit»[4]*, но и тогда уже в некоторых кружках довольно критически относились к его риторической прозе и постоянно подвинченному гиперболическому тону. На левом берегу Сены приобрел некоторую репутацию драматург Понсар своей «Лукрецией» и другими пьесами в стихах; но и он далеко не был «persona grata» тогдашней, более литературной, молодежи. Ни классических, ни романтических вкусов вы уже не находили *в чистом виде,* и общее течение было в сторону того, что после падения империи стало носить кличку «натурализма». Чувствовалась по-

---

[1] сделавшим эпоху *(нем.)*.
[2] «Легендой веков» *(франц.)*.
[3] «Возмездия» *(франц.)*.
[4] «Наполеон Малый» *(франц.)*.

требность в большей правде и простоте, в изменении тона и колорита. А правда изображения была более или менее неприятна тогдашним официальным сферам. Стоит только вспомнить, что из-за «Мадам Бовари» Флобер подвергся обвинению в безнравственности своего романа *, и только после его оправдания книга стала продаваться. Любимым романистом императрицы Евгении и всех благонамеренных светских кружков, вплоть до салонов Сен-Жерменского предместья, был Октав Фёлье — одинаково противный и тогдашней более радикальной молодежи, и таким судьям, как Тургенев. Писатель без глубины и силы творчества, но почуявший, куда идет интерес публики, — Фейдо сразу своим небольшим романом «Фанни» наделал шума и заставил, тогда еще первый критический авторитет, Сен-Бёва говорить о своей вещи как о чем-то в высшей степени замечательном, хотя содержание «Фанни» более чопорной публике казалось уже никак не менее безнравственным, чем содержание романа Флобера. В студенческом мире были свои любимцы: Мюрже — автор всемирно известных «Scénes de la vie de Bohême»[1], и Шанфлёри, который один из первых пустил в Париже самый термин «реализм» *, выступив убежденным ценителем великого романиста Бальзака. Но Бальзака стали ценить как следует и среди молодежи только после блистательного этюда, который посвятил ему Тэн *, между тем как Сен-Бёв, ближайший сверстник Бальзака, писавший о нем в течение многих лет, никогда настоящим образом не думал оценить силы его дарования и значения в истории европейского романа. Стоит только заглянуть в те статьи, какие Сен-Бёв посвящал автору «Человеческой комедии» на протяжении более четверти века.

Молодое литературное поколение второй половины 60-х годов не могло еще иметь более строгих литературных вкусов и потому еще, что оно смотрело на все через пары тогдашнего радикального антиправительственного настроения. Я уже упоминал о скандале, сделанном на первом представлении пьесы братьев Гонкур * из-за того только, что их считали прихвостнями принцессы Матильды, двоюродной сестры императора. Гонкуры уже написали несколько замечательных романов; а я очень

[1] «Сцен из жизни богемы» *(франц.)*.

хорошо помню, что в первые две зимы, проведенные мною на левом берегу Сены, никто из моих знакомых не ценил Гонкуров и никто почти не читал этих романов. Зато публика пришла в приятное возбуждение, когда драма Виктора Гюго «Эрнани» была заново разрешена цензурой * и поставлена на театре Французской комедии. Не столько восхищались драмой, сколько радовались тому факту, что запрет был снят с пьесы Виктора Гюго, который продолжал все так же беспощадно клеймить «маленького Наполеона» и в стихах и в прозе. Когда какая-нибудь старая знаменитость попадала в Латинский квартал, в особенности на представление театра «Одеон», она, конечно, возбуждала любопытство молодежи; но я не помню, чтобы Дюма-отец или Жорж Занд делались предметом особенных оваций. И автора «Трех мушкетеров», и автора «Лелии» я видал в одну из зим второй половины 60-х годов, и каждый раз в театре «Одеон», где всего чаще шли пьесы Жорж Занд, переделанные из ее романов: «François le Champi», «Le Marquis de Villemer», «Les Beaux messieurs du Bois-doré»[1]. Еще незадолго до смерти Дюма-отец сохранял свою легендарную внешность: огромная голова с шапкой курчавых негритянских седых волос, тучное тело, игривый взгляд и чувственный рот; пестрый костюм. Но лета брали уже свое, и я прекрасно помню, как на одном представлении он, на глазах всех, сидя в своем бенуаре, заснул, склонив голову на плечо какой-то американской акробатки, которую взял себе якобы в секретарши. И Жорж Занд смотрела уже старухой, носила свои классические двойные бандо с горошками и неизменную большую брошь, не любила выставляться напоказ и держала себя, как и всегда, чрезвычайно просто и даже застенчиво.

Из всех видов изящной литературы меня тогда всего сильнее влекло к театру; да к концу империи самые талантливые сценические писатели играли, несомненно, преобладающую роль. Они отвечали на все большую и большую потребность в реальном изображении нравов и в разного рода общественных и нравственных *протестах*. Этим требованиям отвечали, каждый по-своему, три тогдашних корифея французской сцены: Эмиль

---

[1] «Франсуа Шампи», «Маркиз Виллемер», «Знатные господа из Буадоре» *(франц.)*.

Ожье, Дюма-сын и Викторьен Сарду. И мы интересовались всего больше пьесами Дюма. Я лично в тот период знакомства с Ожье как с выдающимся драматургом ставил его ниже Дюма, в чем я, конечно, ошибался. И в тогдашней молодежи такие оценки встречались довольно часто. Это произошло также и оттого, что к концу империи Дюма-сын добился нескольких громких успехов с пьесами, которые тогда казались очень смелыми по своим мотивам и задачам;* а лучшие комедии Ожье принадлежали к предыдущему периоду, и их редко возобновляли и в «Comédie Française», и на других сценах, каковы, например. «Les effrontés» или «Maitre Guerin», или «Le Mariage d'Olympe», или «Les lionnes pauvres»[1]. В них, без сомнения, было больше творческого таланта и хорошего художественного реализма, чем в тех тезисах, какие Дюма-сын так ловко облекал в сценическую форму.

Кто полюбопытствует заглянуть в мою статью, появившуюся в конце 66-го года в одном из толстых журналов, под названием «Мир успеха — очерки парижской драматургии» *, найдет в ней эту неполную оценку пьес Э. Ожье, объясняемую еще и тем, что как раз в сезон 65—66-го года на театре «Одеон» поставлена была большая комедия его «La contagion»[2], в которой тогда и молодежь и публика с правого берега Сены не нашла особенно крупных достоинств. Но и позднее, в этюде, напечатанном мною в журнале «Philosophie positive» под заглавием «Les Phénomènes du drame moderne»[3]*, я занялся всего больше Дюма-сыном, и эта статья доставила мне личное знакомство с автором «La dame aux camélias». Это случилось к осени 1868 года, то есть уже больше года спустя. Я только что вернулся из Лондона, где пробыл весь сезон, с начала мая до половины августа, и жил тогда около Итальянского бульвара в rue Lepelletier, в небольшом отеле «Victoria», напротив здания впоследствии сгоревшей Оперы. Дюма сам навестил меня, не застал дома и написал мне весьма любезную записку, где благодарил за сочувственное отношение к

---

[1] «Наглецы», «Учитель Герен», «Бракосочетание на Олимпе», «Бедные львицы» *(франц.)*.

[2] «Зараза» *(франц.)*.

[3] «Особенности современной драмы» *(франц.)*.

нему в моей статье и передал от жены — «une compatriote»[1] — приглашение на обед.

Дюма-сын был тогда на вершине своей писательской славы после того, как он поставил комедию «Les idées de M-me Aubray»[2], которая в то время считалась весьма передовой по своим социально-нравственным тенденциям. Для того поколения, которое несколько лет спустя само выступило в изящную литературу и критику, Дюма был все еще одним из любимейших авторов, умевших в ловкой и завлекательной форме ставить ребром вопросы общественной и частной морали. Из-за этого ему прощали и резонерство, и недостаточную рельефность характеров, и его лжереализм, заключающийся в том, что он облекал в якобы реальный колорит свои тенденциозные темы.

В одном из моих газетных фельетонов я рассказывал тогда про знакомство с Дюма-сыном.

Дюма жил уже и тогда, как богатый «rentier», в квартале Елисейских полей. Отделка комнат, сервировка стола — все это было «первого ранга». В его тоне и манерах чувствовался «лев» литературной эпохи, которую переживала Франция. Беседу вел он с сознанием явного превосходства, с юмором человека, уверенного в том, что он берет «нотой выше» всех, кто действует и задает тон в парижском литературно-артистическом мире.

Жена его — когда-то московская львица * — была уже на склоне лет, но еще молодилась и держала себя тонной дамой. Муж ее не церемонился наводить разговор на невежественность и вздорность женщин, не исключая и русских светских дам. Не знаю — было ли это супружество удачно или нет; но весь дом с дочерью хозяйки дома от первого брака и теми, которые родились от Дюма, производил впечатление чего-то разношерстного. Во всяком случае, сам Дюма жил чисто писательскими интересами и вел себя с своими собратьями по литературе и артистами, как товарищ. К нему запросто являлись литераторы и художники, вечерком, на стакан пива (он очень любил этот напиток), в пиджаках, курили, болтали, рассказывали довольно-таки свободные анекдоты. Я не без удивления нашел в числе его ближайших

---

[1] соотечественницы *(франц.)*.
[2] «Идеи госпожи Обре» *(франц.)*.

друзей Ксавье де Монтепена, автора фельетонных романов довольно-таки ординарного сорта.

Тогда уже вся квартира Дюма была полна картин французских художников, вплоть до его спальни, где он обыкновенно и писал. Он считал себя первым знатоком Парижа и самым *удачным* покупщиком картин тех художников, которые делались потом знаменитостями. Так и составилась его галерея. Он продал ее по смерти первой жены для составления капитала, завещанного им той даме, с которой он обвенчался чуть ли не in extremis[1].

Мне кажется, что ласковый прием, оказанный им мне, был, главным образом, вызван тем, как я говорил о нем в моей статье «Les Phénomènes du drame moderne». После поездки в Париж в августе 1871 года я больше не видал его.

Уже вскоре, в самом начале 70-х годов, я пришел к другой оценке его значения как драматурга и моралиста после напечатания им разных предисловий и брошюр *, вплоть до знаменитого возгласа: «Tue la!»[2] * Во время процесса над коммунарами Дюма-сын выказал себя как восторженный сторонник версальского правительства, посещал заседания и с нескрываемым удовольствием выслушал смертный приговор трем из коммунаров. Но и в тот раз, когда я впервые беседовал с ним и с его женой — русской дамой, которую некоторые московские старички еще до сих пор помнят, я заметил в нем сквозь условно-добродушный тон слишком ревнивое отношение к своему тогдашнему сопернику Сарду. Он не мог, конечно, не сознавать, что Ожье гораздо крупнее; но тот его не беспокоил своими ближайшими успехами, и видно было, с каким удовольствием Дюма анализировал то, в чем заключается суть дарования и ловкости Сарду, которого я в разное время видал, но знакомиться с ним не стремился. Я и тогда находил, что все его пьесы писались и пишутся по одному и тому же рецепту: сначала галерея более или менее забавных лиц, а под конец внешняя интересная интрига, рассчитанная на сентиментальные эффекты. Мне кажется, это верно для целого ряда комедий, от таких вещей, как «Nos inti-

---

[1] при кончине *(франц.)*.
[2] Убей ее! *(франц.)*

mes»[1] и «Les Ganaches»[2] и вплоть до самых последних его пьес. Не очень увлекался я и такими его драмами, как «Patrie»[3], данной в конце империи на театре «Porte St. Martin» в прекрасном исполнении, с Бертоном-отцом, Дюменом и г-жой Фаргёль в главных ролях. Такого рода драмы Сарду кажутся мне только красиво и ловко составленными оперными либретто.

Преобладающий интерес к театру вызвал давнишнее личное знакомство с театральным критиком, уже занявшим тогда, к зиме 1868 года, едва ли не самое видное место среди парижских рецензентов. Это был Франсиск Сарсе, принявший меня просто и радушно. В то время он еще не был богатым человеком, жил почти пером театрального рецензента и литературного критика, занимал очень скромную холостую квартирку в улице Tour d'Auvergne вместе с своей старухой матерью, не был так толст, как впоследствии, но с тою же внешностью жовиального[4] школьного учителя и с той же легендарной близорукостью. Он пригласил меня бывать на его завтраках по понедельникам. На одном из них, как я рассказывал выше, я и познакомился с Гамбеттой *. К нему собирался всякий народ; но преобладали журналисты, актеры, художники, в том числе архитектор Гарнье, строитель Оперы и жанрист Вибѐр, рассказчик во вкусе покойного И. Ф. Горбунова. В узкой столовой иногда не хватало мест тем, кто приходил попозднее. Начинались завтраки в половине двенадцатого. Очень часто попадали и актрисы; а из актеров Французской комедии — Го, бывший тогда еще свежим мужчиной. Сейчас начиналась шумная и веселая болтовня. Политических разговоров избегали; зато не стеснялись ни содержанием, ни формой своих рассказов, анекдотов, острот и прибауток всякого рода. Признаюсь (хотя мне было уже тридцать два года от роду и я никогда не считал себя грешным в преувеличенном ригоризме), мне было трудненько привыкать к тому, *что* говорилось на этих понедельниках, в особенности, когда бывали и дамы. Помню, завтракала с нами известная тогда и талантливая актриса

---

[1] «Наши близкие» *(франц.)*.
[2] «Глупцы» *(франц.)*.
[3] «Отечество» *(франц.)*.
[4] жизнерадостного (от *франц.* jovial).

из театра «Одеон», Жанна Эслер; и один из забавников, романист Шавет стал позволять себе такие цинические россказни, что каждый нефранцуз поневоле покраснел бы. По этой части сборища у Сарсе не стали лучше и в последние годы, в его отеле в rue Douai (недалеко от дома Виардо, где жил Тургенев), и частенько превращались в нечто слишком парижское. Уже в 80-х годах мне привелось, по просьбе известного русского художника, привести его к Сарсе на один из таких завтраков. Художник этот никогда не отличался особенной строгостью нравов; но и он был почти скандализован всем тем, что видел и слышал за столом у одного из самых известных парижских писателей. Можно прямо сказать, что ничего подобного вы не найдете ни в Лондоне, ни в Риме, ни в Берлине, ни даже в Вене.

В последние годы империи Сарсе сделался типическим газетным критиком и популярным лектором на литературные темы. В то время как раз стали входить в большую моду так называемые «conférences», то есть, по-нашему, публичные лекции. На бульваре des Capucines круглый год, кроме летних месяцев, каждый вечер в тесной и низкой зале читались такие лекции на всевозможные сюжеты. Всего больше публики собиралось у Сарсе, который выработал себе манеру полуприятельской, полуотеческой беседы, говорил о новых пьесах, романах и разных течениях в литературе. Хотя он был товарищем по выпуску из Нормальной школы Ипполита Тэна и считался свободным мыслителем, то есть недолюбливал клерикализма, но его умственный склад нисколько не отзывался той же силой систематической работы, какая привела Тэна к постройке своего метода — и в истории философских идей, и в психологии, и в вопросах искусства. Мне кажется, нет более характерного выразителя буржуазного здравого смысла и преобладающих вкусов публики — Франсиска Сарсе, каким он сложился в ту эпоху. Меня лично стали интересовать его фельетоны в газете «Temps», где он писал более четверти века. Но тогда он был менее слащав и запоздал в своих оценках, чем, например, старик Жюль Жанен, который в то время уже доживал свой век и предавался в фельетонах газеты «Débats» совсем неинтересной старческой болтовне. Были тогда в области театрального фельетона люди, гораздо более даровитые, чем Сарсе,

например Готье и Поль де Сен-Виктор. Но и тот и другой относились к современному театру: один — с усталой снисходительностью; другой — почти с высокомерным равнодушием. Готье всех хвалил и, видимо, тяготился обязанностями рецензента; а Поль де Сен-Виктор писал только по рецепту новейших английских «эстетов», то есть совсем не о том, что видел накануне в театре, а по поводу пьесы или актера, актрисы импровизировал свои блестящие тирады, где чувствовался большой любитель античного искусства, человек, понимавший и Шекспира лучше многих своих сверстников. А Сарсе брал все всерьез, жил театром и всякой очередной злобой дня, появлявшейся на подмостках. У него и тогда не было никакой оригинальной критической теории, и никогда ее не было. Ему нравилось то, что нравилось и массе, и он старался всегда показать, почему та или иная пьеса понравилась или провалилась; он поддерживал и старую трагедию, и комедию времен Скриба, и водевили, и фарсы. Но в то же время он сочувствовал и тем новым мотивам, какие приносили с собою более выдающиеся драматурги; очень высоко ставил Дюма-сына, не боялся реальных изображений в комедиях Эмиля Ожье и хвалил Сарду, часто более, чем он того заслуживал. Таким же он являлся и в своих conférences каждую неделю в salle des Capucines; а в последние две зимы, при Второй империи, он же выступал и в тех беседах, какие стали на утренних классических спектаклях предлагать перед поднятием занавеса с театральных подмостков. Инициатива этого дела принадлежала некоему Балланду, и эти conférences, раньше чем в других местах, начались на театре «Одеон».

Мне кажется, что форма публичных бесед на литературные и публицистические темы выработалась именно в то время, и бульварная публика на первых порах интересовалась ими, пожалуй, больше, чем и в последние годы, когда, как мы видели, и в Сорбонне и в Collège de France некоторые аудитории сделались очень популярными и даже модными. В одну из последних поездок я нашел в той самой salle des Capucines, которая честно послужила делу литературы, искусства и популярной науки, представления двух каких-то фокусников. И на всем бульваре нет уже ни одной залы, куда, бывало, вы могли по вечерам, как у нас в Соляной горо-

док, входить с улицы, платить франк или много два и слушать бойко и красиво говорящих лекторов. С каждым годом эта зала все падала, и несколько лет тому назад, уже в конце 80-х годов, и conférences самого Сарсе стали уже гораздо ниже сортом, превратились в какие-то отеческо-учительские беседы о французских поэтах и прозаиках, причем Сарсе обращался беспрестанно к своей аудитории, состоявшей больше из молодых девиц, и производил им род экзамена. Зато в других местах, на левом и на правом берегу Сены, во многих театрах, перед утренними спектаклями новые лекторы выступали перед публикой и в серьезном и в легком роде.

Незадолго перед войной * чисто художественные и литературные интересы отступили на задний план, общественные и политические вопросы были более на очереди. Тогда еще действовал Прево-Парадоль, кончивший тем, что перешел на службу империи. Внутренней душевной борьбой и объясняли тогда его внезапную смерть, которую все считали самоубийством *. Его товарищ по Нормальной школе, одного выпуска с Тэном и Сарсе — Вейс и тогда уже имел хорошее имя публициста с либеральным и свободомыслящим оттенком. Быстро поднималась и репутация их же товарища Эдмона Абу, автора книг о Греции и Египте *, блестящего стилиста и вольтерьянца, язык которого и тогда уже многие ставили не ниже языка самого Вольтера. Первых двух я лично не знавал, а с Абу встречался уже позднее, в конце 70-х годов, когда он играл роль одного из самых выдающихся журналистов и стоял во главе газеты «Le XIX-me Siècle». А из молодых, начинавших тогда свою карьеру публицистов заставил говорить о себе как раз в последний год империи Верморель, печатавший книги об ораторах-якобинцах *, и его coférences в salle des Capucines очень посещались в зиму 1869—1870 года. Впоследствии он играл некоторую роль и в Коммуне *.

Это преобладание политических и общественных мотивов оставляло в тени литературно-художественное движение; но оно шло своим путем. Более даровитые и чуткие молодые писатели воспитались уже на идеях и приемах Сен-Бёва и, главным образом, Тэна. Они выступали уже врагами всякого фразистого и слащавого романтизма, находили, что беллетристика страдает фаль-

шью, не считали своими авторитетами ни Жорж Занд, ни Виктора Гюго и еще менее таких романистов, как Октав Фёлье. Но и среди молодежи эти кружки поборников реализма не настолько преобладали, чтобы давать уже совсем новую окраску настроениям и вкусам читающей публики. Даже и мы, высоко ценившие талант и инициативу Флобера в области романа, не особенно оставались довольны другим его крупным произведением, явившимся как раз в конце Второй империи, — я говорю о его романе «Сентиментальное воспитание» *. И опять Франсиск Сарсе в своей оценке этого романа как рецензент и публичный лектор выразил то, что думали о нем большинство тогдашних передовых французов, которым трудно было оставаться равнодушными к вопросу общественного движения. А Флобер в своем романе выказывал себя совершенно равнодушным к такого рода мотивам и вдобавок задел всех тех, кто к эпохе февральской революции стал бороться во имя республиканских идей. В такой вещи, как «Сентиментальное воспитание», скептицизм и пессимизм автора отзывались для них преувеличением и непониманием того, что они, будучи молодыми людьми, хотели внести в разные сферы жизни. Но у Флобера и Гонкуров народились уже убежденные поклонники и через два-три года стали во главе школы, которая тотчас же после войны и Коммуны всплыла наверх. И в области поэзии в тесном смысле образовалось уже течение, в котором культ формы смело поднял голову. Так называемые «парнасцы», несомненно, продукт конца Второй империи. В этой группе стихотворцев культ формы делал и взгляды молодых людей более широкими и терпимыми. Они по-своему высоко ставили Виктора Гюго не за его политические памфлеты и общие места морали, а за необычайный темперамент — источник великолепных метафор и благозвучных сочетаний. Для обыкновенной публики Готье был уже к тому времени только благодушным утомленным театральным рецензентом; а у парнасцев он считался одним из отцов их церкви. Его стих и прозу ставили они необычайно высоко по богатству и выразительности описательного языка, и в этом смысле Готье является одним из создателей *живописи словом* рядом с Тэном в прозе, а в поэзии с Виктором Гюго. Прямым учеником Готье считал себя и Бодлер — этот продукт

чувственной развинченности и болезненного эротизма, который во всю последнюю треть XIX века производил обаяние на несколько молодых генераций. Книжечка его стихотворений «Les Fleurs du mal» [1] еще в конце 50-х годов проникла и в Россию; но у нас Бодлера стали ценить гораздо позднее в тех кружках, где сочувственно относились ко всякого рода новшествам.

Ни Готье, ни Бодлера я лично не знавал, с самым крупным из всех парнасцев Леконтом де Лилем также не встречался, но в одну из последних зим перед его смертью был с ним в переписке по поводу его трагедии, написанной по трилогии Эсхила «Эриннии» *. У меня была мысль поставить ее в русском переводе, когда я собирался заведовать репертуаром и труппой одного из частных театральных предприятий. К парнасцам причисляют и двух поэтов, еще долго остававшихся в живых: Сюлли-Прюдома и Франсуа Коппе. Известность Коппе пошла на моих глазах в конце империи после успеха его одноактной пьесы «Le Passant» [2]. Тогда только и заговорили о нем как о стихотворце — авторе маленьких художественно-реалистических поэм с оттенком несколько сентиментальной морали. Мое знакомство с ним относится уже к 80-м годам. Он тогда заведовал библиотекой и архивом Французского театра и писал театральные рецензии, которыми очень тяготился. И он мне показался весьма похожим на свои стихотворения: та же мягкость и тонкость отделки фраз, налет тихого пессимизма, скептическое отношение ко многому, чем жил Париж бульварной сутолоки.

Коппе начал свою карьеру работой мелкого чиновника, и в его наружности, в этом бритом лице и в манере держать себя долго было что-то, отзывающееся воздухом канцелярий. Не знаю, повлияло ли на его тон и обхождение избрание в академики (он еще не попадал в число сорока бессмертных), но тогда в нем не было еще никакой важности, и речь его приятно отличалась от обыкновенного жаргона писателей большей задушевностью или по крайней мере простотой, с оттенком грусти, какая бывает у женщин в критический период их жизни.

---

[1] «Цветы зла» *(франц.)*.
[2] «Прохожий» *(франц.)*.

Он был уже старый холостяк, на вид довольно моложавый, и любил тихую домашнюю обстановку. Мне случилось завтракать у него в небольшой квартирке с садиком. Его хозяйством заведовала сестра, с которой он, по-видимому, жил в большой дружбе. И тогда он уже был накануне нескольких денежных успехов своими романтическими драмами; они дали ему возможность отказаться от его синекуры библиотекаря Французской комедии и от обязанностей театрального рецензента. Но, парнасец по выработке стиха и по уменью изображать жизнь разных классов парижского населения, в больших своих стихотворных драмах он остался все-таки же сладковатым романтиком.

Совсем с другим мировоззрением выступил в области лирической поэзии Сюлли-Прюдом. Парижские позитивисты времени моей молодости не без основания считали его сторонником научно-философских взглядов, несмотря на то, что в его стихотворениях и тогда уже были лирические акценты, отзывавшиеся пессимизмом, а положительная философия не должна вести к такому пониманию человеческого бытия. Так или иначе Сюлли-Прюдом ввел во французскую поэзию душевные мотивы, руководимые не одними только инстинктами, а обобщающей мыслью, которая вышла из тисков традиционного мистицизма или слащавых общих мест морали. И по образованию своему Сюлли-Прюдом ближе стоял к точной науке и до конца остался верен мыслительной свободе. Его репутация поднялась к половине 70-х годов, и когда я с ним познакомился в одну из своих поездок после выставки 1878 года, он уже занимал положение всеми признанного таланта, особенно после своего принятия во Французскую академию.

Его друзья и поклонники собирались тогда к нему в дообеденные часы по воскресеньям в скромно отделанную, также холостую квартиру.

Никто из французских романистов, драматургов, критиков и стихотворцев за целые тридцать лет не производил на меня более симпатичного впечатления своим приемом и тоном беседы, как Сюлли-Прюдом. Во всех французских знаменитостях литературно-художественного мира вы чувствуете какую-то актерскую примесь, слишком большое любование собою, и что особенно не-

приятно — они почти все чересчур люди своей профессии и характер их разговора фатально вращается вокруг своего «я» или той специальности, которую они избрали. А у Сюлли-Прюдома, по крайней мере в то время (он был уже человеком лет за сорок), этот оттенок не бросался в глаза. Вы чувствовали в нем более *обще-человека,* отзывчивого не на одни щекотанья своей славы. Я не скажу, чтобы в его известной книге о средствах художественного выражения* в различных областях изящных искусств было много самобытного, нового; но она все-таки показывает, что этот лирический поэт глубоко предан вопросам искусства и всегда любил подвергать их анализу, как серьезно начитанный и мыслящий человек. И наружность его я находил чрезвычайно благородной и своеобразной, очень похожей на общий тон его лирических настроений и дум.

Кажется, в тот же приезд я познакомился и с другим поэтом-мыслителем, известным переводчиком поэмы Лукреция «De rerum natura»[1] — Андре Лефевром. По своим идеям он был солидарен с теми писателями, которые в области романа защищали союз свободной мысли с реальным изображением. У нас Андре Лефевра совсем почти не знают. Быть может, и я не настолько заинтересовался бы им, чтобы искать личного знакомства, если б его не ценили еще и в конце 60-х годов в том кружке позитивистов, где я всего чаще бывал. И он, по тону и характеру разговора, отличался от большинства парижских литературных известностей.

Да и вообще можно сказать, что люди, сложившиеся уже к концу Второй империи, были интереснее и приятнее при личном знакомстве, потому что они гораздо воспитаннее многих нынешних известностей литературного и артистического мира. Какой, например, контраст представляют собою две личности из той же области идейной лирики, как покойная поэтесса Аккерман и теперешний поставщик стихотворных пьес во Французскую комедию, а в начале 70-х годов *поэт-нигилист* Ришпен!

Задолго до увлечения пессимизмом Шопенгауэра г-жа Аккерман выливала в рифмованные звуки откровения своей огорченной души. До 70-х годов ее почти

---

[1] «О природе вещей» *(лат.).*

никто не знал. Она жила после смерти мужа не один десяток лет в полном уединении на юге, в тогда еще итальянской Ницце, и возделывала свой поэтический талант вдали от суетных тревог Парижа. Ее пессимизм был как бы предшественником тех настроений, которые стали овладевать генерацией, явившейся в жизнь и литературу после погрома 1870—1871 годов. Когда г-жа Аккерман переселилась в Париж, уже к 80-м годам, и выпустила книжку своих безотрадных стихотворений, она нашла отклик гораздо более в молодежи, чем в людях своей генерации. Меня лично она заинтересовала не яркостью стихотворного таланта, а мужественным складом своей психической природы и той искренней смелостью, с какой она явилась во французской поэзии сторонницей научно-философского понимания жизни.

В свое время я поделился с русской публикой подробностями моего знакомства с этой характерной старухой, прожившей после того еще несколько лет. Конечно, и в ней, как в истой француженке, чувствовалось славолюбие; вдобавок она по многим своим привычкам и повадкам могла казаться чудачкой и слишком уже охотно повторяла итоги своей психии... Но все это было умно и благодушно, без неприятной претензии и отзывалось жизненной бодростью, которая показывала, что ее пессимизм был более головной, чем органический. Она, вероятно, каждому своему посетителю говорила, что в ее натуру вошли два наследственных элемента: отец был родом из Пикардии, веселый и живой, а мать более меланхолическая и тревожная парижанка. И каждое утро, по ее словам, просыпаясь с вопросом: «Зачем она живет и вообще стоит ли жить?» — эта старуха дожила до преклонного возраста, любя жизнь и производя впечатление умной, разносторонне развитой кумушки с своим ридикюлем и заботами о тысяче мелких подробностей ежедневного обихода.

И к тем же годам относится мое личное знакомство с Ришпеном, о котором я также беседовал с читателями в этюде, написанном по поводу его книги, которая даже при Третьей республике рисковала подвергнуться прокурорскому преследованию. Это был том, озаглавленный «Les Blasphèmes» [1], где Ришпен, закусив удила, объяв-

---

[1] «Богохульства» *(франц.)*.

лял себя почему-то человеком *туранской*[1] расы и плевал на все, что только человечество создало священного и высокого*. Сколько мне известно, никогда еще во французской поэзии не раздавались такие буйные клики разнузданного нигилизма. Он себя так и называл всеуничтожающим нигилистом, кичась своим грубо материалистическим отношением ко всему на свете. С тех пор он присмирел и сделался поставщиком пьес в «Comedie Française», которые по общему тону могли ему даже доставить кресло в академии. Но тогда он еще тешился своей репутацией отчаянного отрицателя и богохульца, тешился, кажется, и скандальной хроникой своих любовных похождений с Сарой Бернар, когда он написал для ее театра пьесу, в которой сам играл, покинув на время супружеский очаг...

Вот тогда-то я с ним и познакомился и нашел в нем рижего детину, действительно, с каким-то восточным типом, хотя он родился в Нормандии. Он тогда только что вернулся опять на лоно супружеской жизни после своей бурной любовной истории с знаменитой актрисой. И у себя дома Ришпен смотрел акробатом из цирка, носил восточные одежды, вплоть до красных сафьянных сапог, и любил окружать себя эффектной комнатной обстановкой тоже в восточном, японско-арабском вкусе. И тогда уже в авторе цинических стихотворений дерзкого богохульца и отрицателя я нашел несомненную рисовку. Он мне показался скорее ритором — себе на уме, выше всего ставящим громкую известность. Ришпен учился в Нормальной школе, и, по остроумному замечанию одного критика, о котором я еще буду говорить, в этом наезднике литературного цирка чувствовался всегда «un normalien défroqué»[2], как есть попы-расстриги — «des prêtres défroqués».

Я несколько забежал вперед и прошу моего читателя вернуться опять к литературному движению Парижа в самом конце 60-х годов.

Все возраставший дух оппозиции и борьба с императорской властью выдвинула тех бульварных писателей, которые стали заниматься игрой на этой ноте.

---

[1] не входящей ни в какое языковое семейство (*лингвистич. терм.*).

[2] обыкновенный расстрига (*франц.*).

Создатель газеты «Figaro» Вильмессан — сам настоящий Фигаро по юркости и бесшабашности своего поведения — отличался замечательным нюхом в выборе тогдашних застрельщиков. Два сотрудника, которых тогдашние карикатурные журналы изображали обыкновенно в виде двух кузнецов, бьющих молотом по наковальне, — Рошфор и прусский еврей Альберт Вольф, превратившийся в парижского boulevardier[1], — всего больше способствовали выработке особенного рода бульварной публицистики, для которой требовался прежде всего литературный талант, дурачливость, остроумие и приятный язык. В этой школе Рошфор подготовился и к той серии памфлетов, которые он в виде красных книжечек стал выпускать против бонапартизма *.

Но эта игра в радикализм в таких газетах, как «Figaro» и десяток других ежедневных и еженедельных листков, шла рука об руку с развитием фривольной и прямо порочной прессы и беллетристики. Правительство Второй империи до конца 50-х годов старалось, по-видимому, очищать изящную литературу и бульварную прессу; но мы видели, что преследованию подвергались и такие крупные произведения, как роман Флобера «Мадам Бовари». А тем временем легкая беллетристика и ежедневная хроника нравов стали все больше и больше занимать публику, действуя на ее чувственные инстинкты. Нравы кокоток и развратных вивёров делались обязательным содержанием заметок, очерков, рассказов, целых романов. Такого рода литературой и прессой Париж стал щеголять в самые последние годы империи. Обыкновенно их считают прямыми продуктами бонапартова режима; но вряд ли это было так. Политическая свобода, форма правления не могут — одни — создавать нравов; и мы видим, что в Третью республику с каждым пятилетием беллетристика, театр, газетная пресса делались все распущеннее. Не при Наполеоне III, а в 70-х годах, когда Франция стала пользоваться демократическими учреждениями, сложился тип такой ежедневной газеты, какой первоначально явился «Le Gil-Blas», где основанием всему служит *порнография,* рассчитанная на эротические вкусы публики. Ничего подобного до тех пор не было ни в одной европейской прессе, и, повторяю, тут

[1] бульварного завсегдатая *(франц.).*

форма правления и расширение политической свободы ни при чем. Напротив, такого рода пресса только при теперешней свободе печати может доходить до геркулесовых столбов испорченности. А в свое оправдание бесчисленные забавники таких журналов, как «Le Gil-Blas» и другие, скажут вам, что они только изображают действительную жизнь и нисколько не виноваты в том, что нравы современного Парижа, да и всей Франции скользят с такой быстротой по наклонной плоскости.

Все те, кто у нас, в Германии, Англии — не охотники до так называемого «натурализма», нередко смешивают эту школу беллетристики с бульварной литературой порнографических забавников. Но это смешение — грубое, часто недобросовестно умышленное. Следует припомнить, что натурализм, нашедший в Эмиле Золя самого энергичного и производительного бойца, ратуя за правду изображения, за беспощадный реализм подробностей, впадая в односторонность в своих взглядах и теориях, не желал умышленно развращать публику и всего менее тешить ее легкой литературой, рассчитанной на одни грубые инстинкты или утонченный эротизм. Золя начал действовать как романист уже в конце 60-х годов;* но его знаменитая серия «Ругон-Маккаров» была задумана как «естественная и социальная история одного семейства при Второй империи». Золя одним этим общим заглавием целой серии романов показывал, что он приводит в прямую связь испорченность нравов с режимом, наступившим после переворота 2-го декабря. В этом он отдал дань тогдашнему радикализму; но чем дальше он шел в изображении современной Франции, всех ее классов и сфер: придворной, чиновничьей, парламентской, буржуазной, увриерской и крестьянской, — тем все ярче показывал, что нравы — нечто коренное, основное и их нельзя сразу изменять теми или иными политическими переворотами. По крайней мере в целой половине серии, составляющей эпопею семейства «Ругон-Маккаров», Золя заходит далеко за конец империи, впадая беспрестанно в анахронизмы, изображая Париж 70-х и 80-х годов.

Этому типическому романисту конца XIX столетия выпало в удел сделаться и глашатаем принципов художественно-литературного реализма, который, под его пером, как теоретика и бойца за этот принцип, приобрел и

общепризнанную кличку *натурализма**. Им, а не кем-либо другим (при явной симпатии очень многих молодых писателей начала 70-х годов), выяснена и программа *школы,* заново изучены и рекомендованы публике те романисты, которых Золя считал отцами своей церкви: Стендаль, Бальзак, Флобер и ближайшие его предшественники и сверстники: братья Гонкур и Альфонс Доде. У нас в журнальной и газетной критике, хотя Золя сразу заинтересовал нашу публику, стали почти недружелюбно относиться к натурализму и обвинять в подражательности и тех из русских беллетристов, которые *задолго* до появления романов Золя были несомненными реалистами. И до сих пор у нас любят повторять, что парижский натурализм для нас совсем не новость, так как у нас уже в 40-х годах сложилась своя «натуральная школа». Но я думаю, что про натуральную школу знал и помнил и наш великий романист И. С. Тургенев, а между тем это ему не помешало после переселения в Париж, в 70-х годах, сделаться горячим защитником принципов реальной школы, почитателем Флобера и прямым покровителем Эмиля Золя, который в то время должен был еще работать в очень тяжелых материальных условиях. Тургенев добыл для Золя постоянную работу в «Вестнике Европы» * с ежемесячным определенным содержанием, что позволило автору «Ругон-Маккаров» освободиться из тисков своего издателя: по первоначальному условию с фирмой Шарпантье Золя должен был за сравнительно ничтожную плату доставлять *по два* романа в год.

Стало быть, так или иначе успех автора «Ругонов» связан и с великодушной поддержкой нашего знаменитого писателя. Следует также признать, что Эмиль Золя, когда вел свою кампанию как критик, не приписывал ни себе, ни своим ближайшим сверстникам — Гонкурам и Доде — *создание* натуралистической школы. Для него она была уже создана Стендалем, Бальзаком и Флобером, в произведениях которого роман XIX века вступил в свой последний фазис развития.

До поездки в Париж в 1878 году я никогда и нигде не встречал корифеев нового реального романа во Франции: ни Флобера, ни братьев Гонкур, ни Доде, ни Золя. Но в зиму 1876—1877 года эта школа беллетристики сделалась предметом моего особенного интереса, и я за-

думал предложить русской публике несколько чтений, которые происходили в тогдашнем Клубе художников, а потом появились в виде статей в «Отечественных записках» *. Первые романы из серии Золя уже читались у нас с интересом и в подлиннике, и в русских переводах *. Чтобы познакомить нашу публику с личностью и карьерой этого главного бойца натурализма, я сначала через Тургенева, а потом лично вступил с Золя в переписку и, если не ошибаюсь, впервые сообщил русской аудитории подробности о нем, взятые из подлинного автобиографического письма его ко мне *. А менее чем через два года я с ним познакомился и в свое время описывал мои посещения и беседы не только с Золя *, но и с другими выдающимися романистами — с Эдмоном Гонкуром и Альфонсом Доде, а также и с так называемыми *меданцами*, то есть с молодыми писателями, примыкавшими к этой школе. Флобер не жил в Париже ни в один из моих приездов, так что мне и не привелось видеть его в живых.

В конце 70-х годов репутация Альфонса Доде стояла никак не ниже, чем имя Золя, и эти два таланта как бы дополняли друг друга. Я помню, что Золя относился к дарованию и характеру произведений своего собрата Доде искреннее и сочувственнее, чем Доде к нему. Тогда еще Золя жил в небольшой квартире, не имел дачи в Медане и считал еще выгодной для себя постоянную работу в «Вестнике Европы». И Доде еще не вполне оперился. Я и тогда находил его приемы и тон беседы приятнее, чем у Золя, который оказался совершенно таким, каким мне описывал его еще Тургенев в первом своем письме, в ответ на то, где я его расспрашивал об авторе «Ругон-Маккаров». И, кажется, в первое же мое посещение Золя говорил мне о нескольких молодых писателях, признававших себя его учениками или по крайней мере большими почитателями: это были Юисманс и Сеар — каждый в своем роде. О Флобере и Гонкуре Золя и тогда еще говорил как о своих непосредственных руководителях, между тем как у Доде было к ним несколько иное отношение. Я думаю, что к Флоберу Золя имел самое искреннее и нежное чувство, на какое он когда-либо был способен, любовно рассказывая всевозможные анекдоты, рисующие личность, привычки, тон и чудачества Флобера. Кто поинтересуется большими подробностями моего личного знакомства с парижскими романистами,

тот заглянет в статью мою, появившуюся в те же годы в журнале «Слово».

Ни одного из моих парижских собратьев не привелось мне изучать, как Золя. За него же мне всего больше и доставалось в русской печати *. Я не стану здесь оправдываться во всех тех обвинениях и нареканиях, какие пришлись на мою долю. Кто хочет знать, *как* я смотрел на талант и писательское дело Золя уже *двадцать пять лет* назад, тот пускай заглянет в критическую статью «Писатель и его творчество», написанную еще в 1883 году («Наблюдатель», № 11) по поводу его романа «Au bonheur des dames»[1]. С тех пор я и в последние годы имел случай высказываться о нем, и, думается мне, без всякого пристрастия, свободно и объективно.

Здесь я приведу только итоги моего личного знакомства с ним. Золя я уже давно не видал, с конца 80-х годов, лет около десяти. В самые последние мои поездки я не ездил к нему, даже когда он жил в городе, в своем собственном отеле. Скажу откровенно, он перестал уже интересовать меня как человек и даже как писательский *тип*. Такие прямолинейные натуры рано складываются и упорно держатся своего основного склада. Как писатель Золя дал уже свою меру, что не мешало ему задумывать и выполнять все новые крупные вещи, как «Лурд» и «Рим».

Знакомство наше, как я сказал, началось в Париже в конце 70-х годов. Тогда Золя не был еще тем полным, почти тучным южанином, каким является на новейших портретах. Жил он еще скромно, в небольшой квартирке, где сказывалась его страсть к брик-а-браку. Я нашел у него, в числе objets d'art[2] финифтевый образок Митрофания и русский медный складень. Говорил он и тогда много, менее уверенно, чем впоследствии, почти исключительно о себе, о своих работах, о парижском литературном рынке. У него не было южного акцента. Он — парижанин по дикции, немного шепелявой. В разговоре был словоохотлив; но совсем не оратор, что и сам прекрасно сознавал. Тогда он еще *снизу вверх* смотрел на Флобера, Гонкуров и Тургенева. Но когда после смерти нашего знаменитого романиста во французской печати

---

[1] «Дамское счастье» *(франц.)*.
[2] предметов искусства *(франц.)*.

огласили его мнение о кружке, с которым он был всего ближе, то Золя, говоря об этом со мною, держался уже огорченного тона свысока, примерно в таких выражениях: «Nous tous, nous aimions beaucoup *ce garçon*. Et il nous arrange si vertement»[1].

Это «ce garçon», признаюсь, меня покоробило. Тургенев, как вы видели, прямо *открыл* Золя, носился с ним, доставил ему работу в «Вестнике Европы», когда он сильно перебивался.

И с каждым годом натура автора «Ругонов» давала себя знать. После рьяных нападок на Французскую академию он стал добиваться чести попасть в число сорока бессмертных и до конца срамил себя своими домогательствами. Точно также и к Société des gens de lettres[2] он относился чуть не с презрением до тех пор, пока его не выбрали в председатели.

Я уже говорил, что едва ли не в первый мой визит к нему он мне указывал на двоих молодых людей, которых он считал своими последователями. Это были Сеар и Юисманс. О Мопассане я тогда ничего еще не слыхал от него. Впоследствии Юисманс стал весьма иронически отзываться о Золя, как о «типе», и рассказал мне и еще одному русскому характерный случай из его интимной жизни. Из первого большого гонорара, полученного им, Золя сейчас же купил себе «бриллиантовый перстень в пятьсот франков».

В денежном смысле Золя быстро оперился, и в 80-х годах у него уже был загородный дом с землицей, на берегу Сены, в Медане. Там и собиралась та молодая братия, которую он поддерживал в критике, прозванная «меданцами». Они так и выпустили — вместе с хозяином усадьбы — книжку «Les Soirées de Medan»[3], в которой Мопассан сразу заявил себя как первоклассный талант *.

В Медане я был раза два, и каждый раз в сопровождении Поля Алекси, одного из «меданцев». Золя обстраивался, ушел весь в свой комфорт, жил в деревне три четверти года и к Парижу стал очень равнодушен. Свой домашний обиход и работу он описывал сам в

---

[1] Мы все, мы очень любили этого парня, а он так резко нас отделывал *(франц.)*.

[2] Обществу писателей *(франц.)*.

[3] «Меданские вечера» *(франц.)*.

печати или сообщал своим биографам и репортерам. Парижскую жизнь он уже менее наблюдал, и я позволил себе высказать ему это в Медане во время прогулки по берегу Сены.

Тогда еще была жива его мать — умная старуха, с приятным тоном. Жена его не представляла для меня особенного интереса. Своему мужу, его писательству и успехам она казалась очень преданной. Бездетный их дом оживлялся двумя собаками. На оценку парижанина и даже иностранца — Золя вел самую однообразную жизнь, но этот филистерский режим помог ему сохранить свои творческие силы.

Во вторую мою поездку в Медан мне привелось и ночевать у Золя. Разговор опять исключительно вертелся около его работ и авторских дел или же носил на себе самый буржуазный оттенок. Хозяин усадьбы преисполнен было довольства своей обстановкой, садом, животными, покупками и планами построек.

С тех пор мы больше не видались.

Альфонса Доде я знал в те годы, когда он жил в старинном доме на Place Royale. Я к нему пришел как раз в тот момент, когда его жена сбиралась производить на свет. Описание нашего первого знакомства появилось по-русски, и сотрудник одной из петербургских газет перевел из моей заметки некоторые подробности, которые показались щекотливыми автору «Набоба». Не знаю, верно ли то, что передавал — и русским, живущим в Париже, — один из бывших секретарей Доде: будто многие рассказы, напечатанные за его подписью в той же петербургской газете *, были целиком или наполовину написаны этим секретарем, с тех пор успевшим сделать себе некоторое литературное имя как хроникер и беллетрист.

Позднее я навестил Доде в другой квартире, около Луксанбургского сада, и встретил его на вечере у г-жи Адан. Он смотрел уже изнуренным. Его хорошенькое лицо с итальянским типом все еще сохраняло привлекательность. Тон его очень подкупал, и голос, и склад речи. Он охотно знакомил с своей *системой* писания романов. Крайностей реализма у Золя он и тогда не одобрял. В нем было что-то артистическое и женственное, изящество языка и манер и порыв южанина, смягченный юмором. По своему общему развитию он казался мне истым

чадом литературной богемы, какая сложилась уже к концу Второй империи.

Не помню, кто меня привел к Гонкуру или с чьим письмом я к нему явился, в его особняк, в Отейль. Его я тоже давно не видал, с самой выставки 1889 года. Но всякий раз, посидев у него, я выносил нечто очень ценное для писателя, приподнятое и бодрящее чувство своего дела и призвания.

Гонкура я нашел в первое мое посещение, то есть двадцать пять лет тому назад, еще довольно бодрым пожилым человеком барского вида и тона, седого, с усами. Принимал он наверху своего двухэтажного дома, в кабинете, говорил тихо, без резких выходок, отвечал охотно на ваши вопросы о своих новых работах, так же охотно показывал свой дом, картины, скульптурные вещи, бронзу, коллекции гравюр, редкие книги. Он всегда жил вне политики и общественных интересов и не скрывал своего скептического и даже брезгливого отношения ко всему, что не мир изящного слова и художественного мастерства. Своему гостю он любил дарить что-нибудь из собственных произведений.

Как представитель своего поколения и писатель, всю свою жизнь занимавшийся только искусствами и изящной литературой, самым интересным для меня остался Гонкур. Впоследствии он сам описал свой изящный дом в Отейле в книжке, озаглавленной «La maison d'un artiste»[1]. Сравнительно с Золя и Доде, Гонкур был настоящий литературный *барин* с тоном и манерами светского человека, способного мириться и со всяким консервативным режимом. Он до смерти был страстный собиратель произведений искусства. Конечно, он был влюблен в себя и произведения лично свои и совместные с братом более, чем кто-либо из людей его генерации. Но все беседы с ним в те разы, когда я был у него в Отейле, я находил *гораздо более* содержательными, чем разговоры с Золя и другими романистами из молодых. Те, в сущности, способны говорить только о себе и о том, за что они в данную минуту ратуют, опять-таки как о своем личном деле. Но и в Гонкуре, и в Золя, и в Доде, и в писателях следующей генерации я находил и до сих пор нахожу коренные и неприятные французские свой-

[1] «Дом художника» *(франц.)*.

ства. Вне себя, своей профессии, своего Парижа и Франции их, по-видимому, очень мало что интересует, по крайней мере они никогда вас ни о чем не спрашивают; а о своих делах, отношениях, планах и удачах могут говорить целыми сутками.

Я уже упоминал, что из так называемых «меданцев», то есть ближайших молодых сверстников Золя, с первыми, по его рекомендации, я познакомился с Юисмансом и Сеаром, которому и нашел тогда работу в одном из петербургских журналов. Через них я увидался с Энником, бывшим тогда секретарем издательской фирмы Шарпантье, и с Мопассаном. Помню, все они пригласили меня на завтрак где-то на верхних бульварах, в каком-то характерном кабачке. Мопассан уже имел имя и приобрел его сразу рассказом, помещенном в сборнике «Les Soirées de Medan». Вскоре затем он выпустил целый сборник своих рассказов, где одна вещь была посвящена Тургеневу *, который уже ставил его очень высоко. Он был ему представлен Флобером, его главным руководителем.

Мопассан считал Флобера своим литературным духовным отцом, а злые языки прибавляли, что он не без гордости намекал на то, что Флобер приходится ему тайным родным отцом.

И тогда Мопассан в этом кружке своих товарищей по натуралистической школе выделялся не одним талантом, а и всей своей повадкой. На мою тогдашнюю оценку, он похож был на многих студентов, какие водились в мое время в конце империи в Латинском квартале: небольшого роста, коренастый, с круглым лицом, лишенным изящества, с некоторой франтоватостью и несколько военным тоном. Приятели за глаза язвительно называли его «Un officier du train», то есть *фурштадтский офицер* * по русской номенклатуре. Преобладающей нотой его разговоров было довольно циническое заявление о том, что он работает для денег, а профессии писателя не ценит и не уважает. Он любил это повторять и впоследствии, кажется вплоть до самой своей душевной болезни *. И тогда он выдавал себя за любителя спорта, считался отличным гребцом, в особенности же (и среди парижан) отличался своим необычайным эротизмом и любил этим хвастаться. Я затруднюсь и по

прошествии более чем двадцати лет сообщать читателям о некоторых из его «prouesses» [1].

Флобер повлиял на него и в смысле огорченного пессимизма, и презрительного взгляда на человечество вообще, и в особенности на ненавистных ему буржуа, хотя Мопассан и сам жил и умер совершенным буржуа-сексуалистом, далеким от каких бы то ни было возвышенных порывов и чувств. Как и Флобер, он был скептик-материалист, с огромным творческим дарованием и с чувственно-поэтичным отношением к природе; но все-таки я прибавлю, что в ту весну, когда я с ним познакомился, он был проще и забавнее, чем впоследствии, когда превратился уже в знаменитость, в самого модного писателя, которого нарасхват приглашали разные великосветские gommeuses [2].

И Гонкуры, и Золя, и Мопассан, и ближайший адъютант Золя — Поль Алекси — автор очень смелого рассказа «La Fin de Lucie Pellegrin» [3], ленивый вивёр, верный принципам узкого реализма и восторженный критик и биограф своего «учителя» *, и Энник, и Сеар, по складу своих идей, принадлежали, собственно, к концу империи, когда все выдающееся верило в науку и научные законы, выше всего ставило жизненную правду и отвергало всякий — религиозный ли, моральный ли — мистицизм. Люди того поколения, к которому принадлежал Золя, сложились уже *вполне* до войны и ужасов Коммуны. Они обладали гораздо большей энергией и выдержкой и верностью своим принципам, чем то поколение, которое подросло и вошло в жизнь тотчас после войны. «L'année terrible» [4], как называют французы годину войны и Коммуны, не могла перевернуть так всю их душу, как это сделалось с последующей генерацией. И тут надо искать одну из главных причин новых душевных стремлений и веяний, принявших к концу 70-х годов явственные черты реакции против натурализма. Но довольно долго это течение еще не находило себе талантливых выразителей. Одним из первых явился Поль Бурже, выступив сначала как стихотворец *, а главное, как критик в целом ряде

---

[1] подвигов *(франц.)*.
[2] щеголихи *(франц.)*.
[3] «Конец Люси Пелегрен» *(франц.)*.
[4] Ужасный год *(франц.)*.

статей, выпущенных им впоследствии под заглавием «Этюды по современной психологии».

Это было уже в начале 80-х годов. Бурже как автор этой книги заинтересовал меня, и я познакомился с ним в один из моих весенних приездов в Париж и нашел в нем молодого человека под тридцать лет, совсем не того умственного и вообще душевного облика, к какому я привык в литературных, артистических и других сферах Парижа. И наружность его отзывалась скорее Германией, чем Францией, и, в особенности, тон. Это был, без сомнения, самый разносторонне развитой молодой писатель, каких я когда-либо встречал во Франции. Он в первую же нашу беседу заговорил сам о том, как его собратья вообще ничего не знают, кроме Парижа и бульвара, не интересуются ни Германией, ни Англией, ни Италией, постоянно копошатся в самом узком круге своих идеек, делишек, самолюбий и домогательств.

Тогда Бурже жил в отдаленном квартале Парижа, около Инвалидов, в оригинальной, тесной квартирке. Из так называемых «меданцев» всего ближе был он к Мопассану. К этому времени он уже делался модным писателем; его «лянсировала»[1] г-жа Адан, в журнале которой * он и начал свою карьеру как критик. Его вместе с Мопассаном видали в одних и тех же модных салонах, в особенности часто в салоне графини П-кой. Но по духу и направлению Бурже был уже из другого мира, чем Мопассан, и не скрывал этого. В первое же мое посещение, когда мы отправились с ним на квартиру Мопассана, в фиакре он стал говорить мне в том духе, что крайний реализм уже не удовлетворяет молодых людей, и предсказывал, что не пройдет и двух-трех лет, как заявят себя симптомы других душевных потребностей и спиритуализм будет брать верх. Все это говорилось умно, довольно искренно и ново. Вообще Бурже необыкновенно подкупал своей беседой, даже если вы не соглашались с его мнениями и взглядами. Но вместе с Мопассаном и он тогда мне во многом мало нравился. И тот и другой слишком были преисполнены своими светскими успехами, и общая беседа принимала тотчас же довольно-таки неприятный оттенок суетного профессионального писательства.

---

[1] выдвинула (от *франц.* lancer).

Прошел год, и Бурже выступил с своим романом «Cruelle énigme»[1], имевшим сразу в светской публике огромный успех, и этот успех так на него подействовал, что я весной того же года, случайно встретившись с ним в одном отеле во Флоренции, не сразу узнал автора книги «Etudes de psychologie contemporaine»[2] в франтоватом французике с манерной, изнеженной речью и светскими замашками. Крупного беллетристического дарования я никогда в нем не признавал, даже и впоследствии, после других его блестящих успехов, вплоть до романа «Cosmopolis». Лично я с ним больше не встречался и, признаюсь, не искал этих встреч, даже и тогда, когда он жил в часе езды от меня, на Ривьере; я в Ницце, он — в Канне. Его ближайшие приятели и сверстники говорили мне не раз в Париже, что Бурже уже не выносит никаких замечаний и отзывается только на льстивые ухаживанья за собою. Я искренно жалел и до сих пор жалею, что успех беллетриста вскружил ему голову и отвлек от работ критика. Он, конечно, и как критик вряд ли бы двинул вперед эту область в смысле научно-философском; но по крайней мере он продолжал бы давать публике во Франции и за границей ряд талантливо написанных и оригинально задуманных оценок тех писателей, которые интересовали людей его поколения.

Предсказание Поля Бурже в значительной степени сбылось, и с каждым моим приездом в Париж я замечал все больше и больше, что в молодых писательских и артистических кружках ищут чего-то другого, тяготятся реализмом Золя и, признавая очень большой талант Мопассана, не могут уже довольствоваться скептическим материализмом и пессимизмом его отношения к жизни вообще и к человечеству. Тогда уже стали поговаривать о том, что и в Латинском квартале студенческая молодежь явно сочувствует тем писателям и профессорам, в которых видит поборников подновленного идеализма, вроде профессора Лависса и будущего академика — виконта Мельхиора де Вогюэ. А тем временем проникали с севера и востока новые литературные веяния. Производили свое мирное завоевание сначала *русский роман,*

---

[1] «Жестокая загадка» *(франц.)*.
[2] «Этюды современной психологии» *(франц.)*.

потом *скандинавская драма**. В области поэзии символисты, встреченные сначала насмешками со стороны людей установившихся вкусов, выступали с своими новыми требованиями, и не в одной только лирической области, а также и в драме и в романе. Нашлись страстные поклонники у Ибсена и у бельгийца Метерлинка. Поэты-символисты и декаденты Верлен и Маларме делались предметом заинтересованных толков. В бульварной прессе и скандальные нравы одного из них уже не отвлекали, а возбуждали нездоровое и все возраставшее любопытство...

Для каждого свежего человека ясно было, что к 80-м годам не только литература романтического оттенка, но и реализм в его крайних проявлениях перестали волновать по-прежнему душу молодых генераций.

В 1878 году во время выставки собрался первый по счету Международный литературный конгресс*. Почетным его президентом был Виктор Гюго, а президентом на очередных заседаниях И. С. Тургенев, избранный тогда par acclamation[1]. По русскому отделу меня выбрали вице-президентом. И на этом конгрессе французская беллетристика была почти исключительно представлена романистами и хроникерами самого узкого профессионального характера. Конгресс был созван обществом писателей («Société de gens de lettres»), куда почти исключительно поступают беллетристы, занимающиеся производством фельетонных романов. Для этого класса литераторов, который до сих пор еще преобладает на парижском бульваре, и поднявший тогда голову реализм был почти ересью. Вряд ли многие мне поверят, если я припомню, что на банкете под председательством Виктора Гюго, когда я позволил себе предложить тост за отсутствовавшего тогда больного Флобера, тост этот был встречен весьма сухо и только два-три молодых писателя подошли ко мне благодарить за эту память; а сидевший рядом со мною собрат, какой-то фельетонный романист, даже спросил меня:

— Что же такого *особенного* написал Флобер?

На этом банкете отсутствовали все тогдашние реальные романисты: Гонкур, Золя, Доде. Мопассан еще не был известен.

---

[1] без голосования *(франц.)*.

Вся литературная братия, которой принадлежал парижский книжный и газетный рынок, признавала только патентованные имена и в поэзии, и в романе, и в драме и, разумеется, безусловно преклонялась перед «поэтом-солнцем». Прошло уже несколько лет, как Виктор Гюго, вернувшийся из изгнания, жил в Париже домом, превратившись заживо в легендарную личность. Тогда, собственно, я и имел случай присмотреться к нему и слышать его речь, произнесенную на торжественном собрании в театре «Chatelet». Ему было уже под восемьдесят лет; но говорил он еще зычным, несколько картавым голосом, с интонациями старых актеров. Лицо, с седыми как лунь волосами, уже носило явственные следы старчества; но держался он еще довольно бодро и речь свою читал все время стоя. Всем было известно, в каких уничтожающих выражениях он тогда отзывался о романистах реальной школы, хотя Флобер, оставшийся до самой смерти своей в душе романтиком, разделял культ Виктора Гюго и любил громовым голосом нараспев цитировать его стихи.

Привелось мне быть свидетелем и всенародных похорон «поэта-солнца». Никогда ничего подобного еще не видал Париж. Но хоронили не одного Виктора Гюго, а вместе с ним и целую эпоху литературы, и траурное торжество ночью, около Триумфальной арки, и длинная бесконечная процессия на другой день, утром — смотрели, однако, скорее праздничным зрелищем, чем похоронной процессией, проникнутой чувством всенародного горя. Тело поэта было набальзамировано и должно было лежать около недели из-за сложных приготовлений к похоронам. Доступ в дом Виктора Гюго на аллее, которая носит его имя, был довольно трудный. Я добыл его через Наке, бывшего в последние годы жизни Гюго своим человеком в его семействе. В той бледно-желтой мумии, которая лежала полуодетая на кровати с балдахином, трудно было узнать живого старика, торжественно-ходульно обращавшегося к нам, членам Международного конгресса, фразой, оставшейся у меня в памяти:

— Вы послы человеческого духа! (Vous êtes les ambassadeurs de l'esprit humain!)

Когда я в аллее Елисейских полей, в толпе зрителей, собравшихся со всех концов Парижа, смотрел на бесконечную вереницу депутаций, следовавших за катафал-

ком, где лежало тело Виктора Гюго, трудно было не видеть, что вся Франция, а за нею вся Европа, провожает останки поэта, достигшего самых недосягаемых высот национальной и всемирной славы. Но тут же на многих пунктах, где стояла толпа, а может быть, и в самих депутатах, находились уже молодые писатели, которые считали себя бойцами новой литературной эпохи. В эти годы уже и натурализм не считался последним словом; народилось уже поколение гораздо более впечатлительных и требовательных людей с ранней изломанностью души. Для них «поэт-солнце» был уже чуть не трескучим ритором и глашатаем общих мест деизма, гуманизма и морализма. Они искали своих божков вне Франции, с презрением относясь ко всякому национальному самомнению. Для них гораздо дороже были и ближе к ним Тургенев, Толстой, Достоевский, Ибсен и Вагнер, невзирая на то, что он был такой архинемец во всех своих увлечениях и ненавистях...

С самого начала 80-х годов, приезжая в Париж почти всегда во время весеннего сезона, я находил все новые симптомы литературного движения, от крайнего натурализма до порываний в надземные сферы. Как талант головою выше всех своих сверстников продолжал стоять Мопассан. Но и этот выученик Флобера, его духовный питомец, один из первых признал русских романистов своими образцами; сначала Тургенева, а вскоре потом Толстого, когда вышел в Париже первоначальный французский перевод «Войны и мира», сделанный одной русской дамой из большого света *. Мопассан и мне, и, вероятно, многим другим повторял часто фразу:

— Нам всем следует учиться у графа Толстого, автора «Войны и мира».

И не прошло двух-трех лет, как парижская публика стала увлекаться нашими романистами, преклоняясь и перед их талантом, и перед тем «нутром», которое им показывали всего больше Толстой и Достоевский. Но не нужно забывать, что увлечение пришло не самостоятельно. Произведения Тургенева давно уже были на парижском книжном рынке; его читали больше, чем других иностранных беллетристов; но он не сделался «властителем дум» даже и вскоре после своей смерти, которая и подняла интерес к нему на некоторое время. Повальное увлечение началось с Толстого; но далеко не тотчас

же после появления в печати его лучшего романа. Роман этот довольно долго лежал у книгопродавцев *без сбыта.* Присяжные критики отозвались о нем с некоторым сочувствием и с большими оговорками. Толкователем Толстого явился Мельхиор де Вогюэ, сделавший из него и вообще из русского романа свой конек. В целом ряде статей, появлявшихся в «Revue des deux mondes», он истолковывал французской публике душу русского человека, избрав Толстого, а потом Достоевского как самых ярких, по его мнению, выразителей этой русской души. И к тому времени, когда он выпустил свои этюды в виде целой книги о русском романе*, наши беллетристы завладели парижской публикой; переводчики стали взапуски предлагать свои рукописи редакторам газет и издателям книг. Не прошло и пяти-шести лет, как парижский литературный рынок был уже запружен этими переводами.

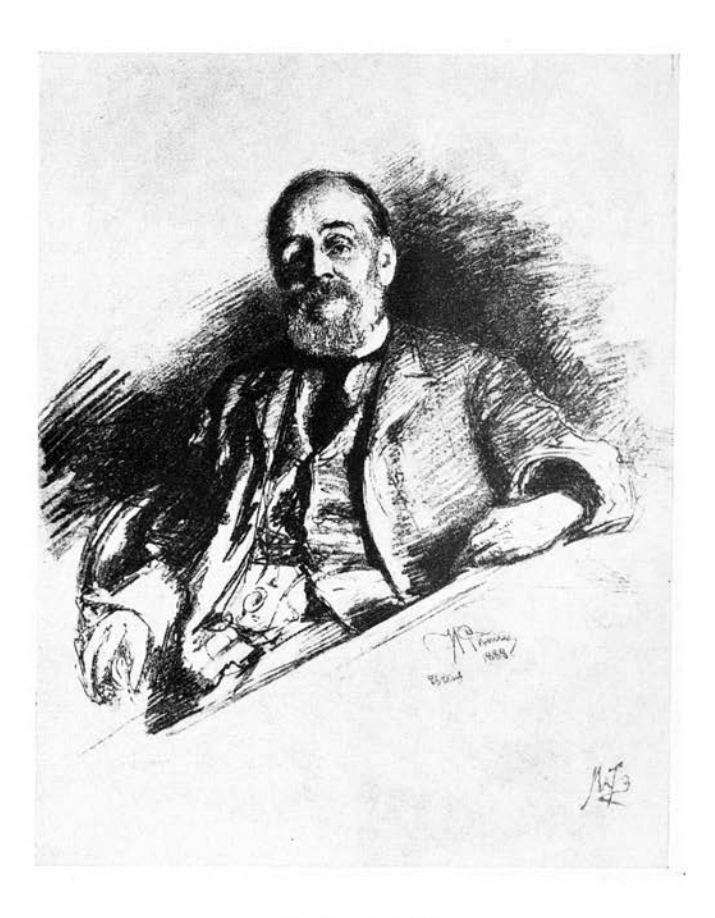
Когда я познакомился лично с Вогюэ, он мне говорил уже о таком непомерном наплыве, находя, что это неминуемо должно повредить обаянию наших писателей, что и случилось, и в начале следующего десятилетия стали всплывать признаки явного пресыщения. Редакции ежедневных журналов и книгопродавцы-издатели, которые так еще недавно готовы были печатать все, что только им ни приносили переводчики, уже делали исключение только разве для Толстого, да и то потому, что он выпускал вещи очень маленьких размеров.

Я не стану здесь разбирать книги Вогюэ «Русский роман», тем более что уже имел случай высказываться о нем в печати. Меня интересовал автор этой книги, как один из тех образованных и более чутких французов, которые серьезнее других занялись изучением нашей жизни, языка и литературы. Вогюэ жил довольно долго в России, еще молодым человеком женился на русской* и через нее стал даже русским помещиком. В беседе с ним я чувствовал, что передо мною сидит искренний почитатель тех корифеев нашей литературы, которых *он* облюбовал. Но и тогда, и в последний мой визит к нему, весной 1895 года, я распознавал в нем одного из тех французов-спиритуалистов, которые своей литературностью, прекрасным языком, вкусом и симпатичными попытками объяснять душу целой расы или целого общества маскируют свою приверженность к *неокатоличе-*

скому идеализму. Вот почему Вогюэ и сделался одно время как бы руководителем некоторой доли молодежи Латинского квартала в конце 80-х и в начале 90-х годов.

По своему происхождению (мать его англичанка), фамильным традициям и натуре он принадлежал к типу серьезных французов, какие всего чаще попадаются среди французских протестантов. У него и наружность такая: он — блондин, похож на русского профессора или чиновника, с примесью даже чего-то немецкого. И говорил он не так, как пишет, — гораздо проще и суше. В первый мой визит к нему он еще не был академиком; но и после избрания в «бессмертные» он мало изменился в тоне, что ему, конечно, делает честь. Теперь чувствуется, однако, что русские беллетристы и вообще Россия для него уже то, что немцы называют «ein überwunderer Standpunkt» или, лучше сказать, отступившие на задний план подмостки, которые помогли ему сделать себе довольно громкое имя и проникнуть в академию. Тогда русскими романистами нельзя было заново захватить интерес публики; и Вогюэ благоразумно воздерживался от угощения публики, как у нас говорят, «подогретым жарким». Он остался представителем литературного эклектизма на подкладке религиозно-нравственной пропаганды, но до конца способен был отдавать должное таланту и литературному блеску даже и малосимпатичных ему новейших беллетристов. Такие критики предназначены попадать в академики в одно время с такими романистами, как Поль Бурже. Я думаю, что между их направлением есть связь, с тою, однако же, разницей, что Вогюэ в своей сфере — писатель с бо́льшим темпераментом, чем Бурже.

Новаторские идеи под влиянием заграничных талантов проникли и в область драматической литературы. В ней Ибсен, Стриндберг, Метерлинк нашли себе такого энергического защитника и пропагандатора, как Антуан — основатель «Théâtre libre». Он же первый поставил и «Власть тьмы» * гораздо раньше, чем эта драма попала на русские подмостки. Об Антуане — актере и директоре труппы — я поговорю дальше, в другой главе; а здесь остановлюсь на нем, как на одном из самых выдающихся бойцов и за общелитературное новаторство. «Вольный театр» сделался как бы ареной для всех, кто искал других путей творческого изображения. Антуан



И. А. Гончаров
1888 г.

испробовал всего: и Толстого, и Ибсена, и Метерлинка, и французских молодых драматургов, стремившихся создать особый тип пьес ультрареального характера, авторы которых заново продолжали и развивали традиции крайнего натурализма. Я уже высказывал мой взгляд на самые лучшие французские произведения «Вольного театра» в той серии статей, какие я помещал на эту тему в журнале «Артист» *. Но как бы ни относиться к такого рода репертуару, мне кажется, что все-таки же более удачные вещи поставлены были на «Вольном театре» *молодыми французскими драматургами в беспощадно реальном направлении,* а не в нотах скандинавских драматургов и символиста Метерлинка.

Да и вообще нельзя сказать, чтобы реальная беллетристика пропела *совсем* свою песенку. Роман только расширяет свои рамки и захватывает более глубоко всякого рода человеческие мотивы из религиозной, социальной, политической и художественной жизни, и в этом направлении Золя, при всех своих недочетах, сделал в последние двадцать лет намного больше, чем его ближайший сверстник Альфонс Доде, не говоря уже о Гонкуре, который уже дал все, что мог. Разумеется, такие выученики Золя, как, например, Поль Алекси, его верный сенд, представляют уже отживающую форму натурализма. С этим южанином — лентяем и циником — я довольно часто встречался, бывал с ним вместе в гостях и в деревенском доме Золя в Медане.

Такого рода натуралисты, как Поль Алекси, дальше не пойдут. Но и тех писателей, которые выступали несколько позднее с самыми широкими замыслами на социально-нравственные темы или ударялись в искание эксцентрических сюжетов, как, например, Рони * и Юисманс, все-таки же нельзя считать представителями чего-то безусловно враждебного реальной беллетристике. Они возросли на той же почве. Юисманс в последние годы стал предаваться какому-то писательскому озорству, создавая или, лучше сказать, сочиняя лица извращенных декадентов, с ненавистью ко всему естественному и нормальному, а потом ударился в какую-то клерикальную чертовщину, поражая своей эрудицией по этой части и выказывая несомненный талант и по игре фантазии, и по языку. И его и Рони я встречал; а Юисманса знаю даже давно, с тех пор как он был мне рекомендован Золя.

Это одна из курьезных писательских личностей, созданных Парижем последней четверти века. Он — голландского происхождения, но по воспитанию и всем умственным и душевным склонностям — дитя извращенного Парижа, наружностью что-то вроде Мефистофеля, испитой, с неряшливой бородкой и угловато-острыми чертами болезненного лица. Он — сознательный эксцентрик, в котором трудно распознать, умышленно ли он чудачит или искренно переходит от одного мозгового дилетантства к другому. По своей карьере бывший чиновник министерства внутренних дел и заведовал тем бюро, которое надзирает за производством и продажей взрывчатых веществ, главным образом динамита.

Рони — автор романов с философско-социальными замыслами и языком, набитым всевозможными техническими терминами, своим складом напоминает наших писателей из народнического лагеря. Ему до сих пор не удалось сделаться модным романистом. Он долго пробивался и в Англии и в Париже; в последнее время стало известно, что он сотрудничает с своим братом, как делали это когда-то Гонкуры.

Трудно подвести под две-три крупные рубрики то брожение, какое за последние двадцать лет происходило в Париже в кружках молодых писателей. Блестящий и более прочный успех завоевывали себе очень немногие. Из них самым удачным конкурентом и Мопассана и Бурже являлся в самые последние годы Марсель Прево, автор эротического романа «Les demi-vierges»[1]. Если судить по его карьере, то опять-таки никак нельзя сказать, что натурализм замирает, потому что и замыслы и колорит романов Прево *реалистические,* даже донельзя, с прибавкою умышленного эротизма, того эротизма, который продолжает царствовать на бульваре, угощая публику ежедневно фельетонными рассказами, повестями и целыми романами, где старательность и часто даже блеск формы вовсе не выкупает цинической порочности содержания. В этой области довольно долго с неизменным успехом действовали такие писатели, как Арман Сильвестр или Катулл Мендес. Многие молодые люди и в Париже и за границей высоко ценят талант, манеру и замыслы беллетристических вещей Анатоля Франса,

[1] «Полудевственницы» *(франц.).*

успевшего завоевать себе имя и как литературный критик. Некоторые из моих парижских приятелей не раз предлагали мне познакомиться с ним; но как критика я не считал, и до сих пор не считаю, его носителем каких-нибудь *новых* идей или приемов, а в беллетристе вижу талантливую и очень блестящую игру в какой-то двойственный полумистический-полупорнографический сексуализм. Не думаю, чтобы он был для самых молодых кружков Парижа глашатаем нового слова в этих кружках.

В последнюю мою поездку замечал я все разрастающиеся признаки литературно-этической *анархии*. Началось это еще лет двадцать тому назад, когда стали нарождаться и скоро погибать небольшие литературно-художественные журнальцы. С редакцией одного из них я имел случай познакомиться. В ней главную роль играл некий Фенеон, впоследствии обвиненный уже прямо в участии в каких-то подпольных агитациях парижских анархистов. Но он был оправдан, и тогда я его нашел руководителем журнала, который представлял собою уже последнее слово литературно-художественной анархии. Журнал этот назывался «Revue blanche». В нем действовал также и молодой романист, помещающий свои более крупные вещи и в фельетонах ежедневных газет. Это — Поль Адан, который силится применить принципы символизма к роману, и в последнюю мою поездку я имел случай беседовать с ним на эту тему. Пишет он, в сущности, вещи на тенденциозные темы, а по приемам держится реальной правды; но по его толкованию выходит, что каждое крупное лицо романа или группа лиц должны собою что-то обозначать «символически».

В журнальце «Revue blanche» вы находили образчики всевозможных новшеств, всякие разновидности эстетического сенсуализма и декадентства. Дело дошло до того, что тот самый романист Поль Адан весною 1895 года напечатал формальную защиту *нравов* английского писателя Оскара Уайльда по поводу тогдашнего скандального процесса *, кончившегося приговором Уайльда к двухлетнему тюремному заключению с принудительными работами. И это извращение инстинктов и нравственных устоев перемешивается как-то с порываниями в

надземную область с одной стороны, а с другой доходит уже прямо до «садизма».

При таких успехах умственно-художественной анархии нечего удивляться, что более трезвая литературная критика хотя и продолжает развиваться в Париже, но действует всего менее на молодых начинающих писателей, бросающихся в литературную свалку. Теперь нет ни Сен-Бёва, ни Тэна, но никак нельзя сказать, чтобы критика находилась в полном упадке. Напротив, в ней мы видим движение вперед, выработку более серьезных научных методов, искание законов развития. Я уже говорил об одном из критических деятелей последних годов — лекторе Сорбонны Эмиле Фаге. Он в то же время принадлежит и текущей литературе, его ценят в журналах и газетах; он состоит и театральным рецензентом и появляется перед публикой как conférencier[1]. Раньше его добился, и очень скоро, успеха Жюль Леметр, еще не так давно безвестный учитель лицея в провинции. Одними критическими статьями и фельетонами он в два, в три года сделался популярным и от критики перешел к работе писателя-художника, — поставил несколько пьес*, имеющих более литературных достоинств, чем большинство того, что ставится на театрах Парижа.

Я познакомился с ним несколько лет тому назад, когда он уже занял видное место в критической прессе Парижа, и нашел в нем человека, по своему умственному складу, приемам и манере говорить очень похожего на то, что и как он пишет. Этот приятный скептик и ценитель способен смаковать решительно все то, что может доставлять ему чисто идейное или эстетическое удовольствие. Когда-то я в одном газетном этюде провел параллель между Леметром и другим, теперь тоже чрезвычайно видным парижским критиком Брюнетьером. С тех пор оба они успели очутиться в академиках. Тогда в моей параллели я становился на сторону таких критиков, как Леметр, то есть более терпимых, без педантства, а Брюнетьера выставлял как противоположность такому типу рецензента и не одобрял его малой терпимости и учительских замашек. Но с тех пор Брюнетьер, сделавшийся редактором «Revue de deux mondes» и при-

---

[1] лектор *(франц.)*.

глашенный Высшей Нормальной школой читать лекции по истории французской литературы, предпринял большое исследование о происхождении и развитии самых главных *родов* творческой литературы: лирики, романа, драмы — начал с картины развития французской критики; и в основу своих работ положил идею *эволюции*, как бы применяя к области творчества принципы дарвинизма. За это можно было ему простить многие пороки его критической организации.

Как бы Брюнетьер ни был односторонен, он все-таки же держится за приемы научного исследования, ищет в развитии каждой формы творчества законов роста и движения. А Жюль Леметр, в эти самые годы, по-моему, разменялся на медные деньги дилетантства. Его заметки и рецензии не дадут вам ничего ровно, кроме прелестно написанных вариаций на тему чисто личных вкусов и настроений самого критика. Если хоть сколько-нибудь серьезно относиться к задаче художественно-литературной критики — вы не можете сочувствовать подобному беспринципию, не можете не жалеть, что даровитый, начитанный и чуткий человек только тешит себя и публику, но нисколько не двигает вперед то дело, которому служит.

Разумеется, и по внешнему виду, и по тону разговора Жюль Леметр и Фердинанд Брюнетьер — крайние полюсы критического диаметра.

Жюль Леме́тр, когда я с ним познакомился, был нестарый еще на вид мужчина, небольшого роста, малопохожий на типического парижского писателя. В нем осталось что-то немножко провинциальное по манере одеваться, прическе, манерам, оттенку вежливости. В его усмешках, маленьких фразах, уклончивом тоне вы сейчас чувствовали, что это — натура, которая будет всегда от вас ускользать. Глаза тоже улыбаются немножко с хитриной, как будто желая сказать: «Стоит ли во что-нибудь класть свои убеждения, доискиваться до коренных причин и всемирных законов? Лучше возделывать свое тонкое понимание и брать от литературы и вообще от жизни все то, что она может дать приятного или нового». Но этот скептик и дилетант иногда выступал с протестами в виде довольно-таки беспощадных разборов того, что ему казалось вредным и ненужным. Он

один из первых начал вести поход против увлечения русскими писателями — Толстым и Достоевским. И ему некоторые ставят в положительную заслугу то, что он имел смелость не разделять общего восхваления драмы Толстого «Власть тьмы».

И Брюнетьера я нашел весьма похожим на его критическую физиономию, особенно за тот период, когда он громил и обличал Эмиля Золя и всю натуралистическую школу. Я познакомился с ним около 20 лет назад, заинтересованный его лекциями о происхождении литературных родов. Он тогда уже заведовал «Revue de deux mondes» как главный редактор и пробирался в академию. Смахивал он на суховатого, уверенного в себе и не любящего шутить чиновника или педагога, также небольшого роста, с проседью, с резковатыми чертами лица, быстрым и нельзя сказать, чтобы мягким взглядом из-за стекол черепахового pince-nez[1]. Говорил он бойко, уверенно, чрезвычайно ясно и отчетливо, гораздо проще, чем пишет. Так же должен он был говорить и с публикой на своих публичных лекциях, которыми в те годы очень выдвинулся.

До большой парижской публики критические идеи и приемы доходят всего удобнее в форме публичных лекций — conférences. По этой части Париж стал еще бойчее, чем это было тридцать пять лет тому назад. Хотя, как мы видели, зала бульвара des Capucines и покончила свое существование, но теперь беседуют с публикой везде: и перед утренними спектаклями больших театров, и в маленьких театриках (где проповедуются разные новшества и где я слышал раз юного и восторженного защитника *гениальных* произведений Метерлинка), и в закрытых обществах вроде клуба St. Simon, и во всевозможных залах за плату и без платы. Лекторы распадаются на два типа: одни серьезные, убежденные, с научным оттенком, как, например, Фаге или Брюнетьер; другие — тоже с начитанностью, но уже в более легком роде, как тот же Жюль Леметр, и еще более легкие и цветистые забавники, вроде некоего Лефевра или Гюга Леру — из тех conférenciers, которые служат живой рек-

---

[1] пенсне *(франц.)*.

ламой для разных актеров, актрис, даже опереточных и кафешантанных певиц, комментируя их «productions»[1]. За исключением Брюнетьера и Фаге, мне кажется, что каждый публичный лектор Парижа хромает на ножку заигрыванья с публикой, выезжая гораздо больше на громких общих местах, рассыпая по своей лекции гирлянды довольно-таки, на наш вкус, пресного прекраснословия. Такими оказываются и духовные ораторы или лекторы на чисто моральные сюжеты. В те же года мне привелось слышать знаменитого отца Гиацинта, превратившегося потом в женатого неокатолического священника под именем отца Луазона, который и в Париже и в провинции, разъезжая из города в город, беседовал с публикой на разные пикантные темы, очень часто касаясь и социальных вопросов. Красноречие таких conférenciers производит на вас всегда одно и то же впечатление: в начале, минут на десять, на пятнадцать, вы слушаете с удовольствием и про себя хвалите изящество фразы, красивый жест, звучность и приятность интонаций, часто удачные фразы и возгласы. Но чем дальше, тем вас более и более тяготит то, что содержание делается жидким и форма переходит в повторение одних и тех же приемов, отзывающихся не мыслителем, не ученым, не серьезным руководителем вкусов и направлений, а ритором и актером.

В стороне от литературного мира, волнуемого всякими идеями, веяниями и новшествами, возвышается до сих пор на берегу Сены здание *Института* *, где сорок «бессмертных» *Французской академии* справляют от времени до времени свои торжества приемов и раздачи наград. И для школы Золя, и для целого ряда новых литературных генераций академия — предмет все тех же беспощадных нападок, более того — презрительного равнодушия, не потому, собственно, что в нее до самой смерти не мог проникнуть Золя (который только срамил себя такой настойчивостью, а некоторые говорят — и таким ренегатством), а потому, что она доныне не находится во главе движения, не дает толчка новым идеям и вкусам и в свою среду привлекает довольно часто писателей, сумевших угодить и нашим и вашим. Так смотрит более строгая молодежь и на все последние избрания

[1] представления (*франц.*).

в академики Поля Бурже, Вогюэ, Пьера Лоти, Брюнетьера, Жюля Леметра и других.

Самое яркое пятно на мантии Французской академии это то, что лучших три романиста современной Франции так и не заседали под куполом Института — Золя, Гонкур и Альфонс Доде. Но из них два последних сами не желали бы быть избранными. Гонкур давно уже составил проект своей собственной академии *, и после его смерти открылось частное общество, которое поддерживается фондом из его средств, и туда попадают по строгому выбору писатели, оставшиеся верными традициям натуралистической школы. И Доде упорно не желал выступать кандидатом, и его поведение, какие бы мотивы ему ни приписывать, во всяком случае последовательнее и достойнее, чем поведение Золя.

Про состав теперешней академии нельзя сказать, что он совсем не отражает уровня того, что во Франции принято метафорически называть: «la Republique des lettres»[1]. Академия то и дело выбирает даже людей, не принадлежащих прямо к писательской корпорации: ученых, адвокатов, иногда даже таких, которые почти что ничего не писали, а только всю свою жизнь говорили. Как к ней ни придирайся, но все-таки в ее составе за последнюю четверть века перебывали очень многие выдающиеся умы и таланты. Перебирая в памяти моей тех академиков, с какими я встречался и говорил, я мог бы сейчас же насчитать более дюжины имен, и потери, понесенные академией в последние годы, были вместе с тем огромными потерями для всей Франции и для всего культурного мира — смерть таких людей, как, например, Ренан или Тэн. Очень многие из тех поэтов, романистов, драматургов, имена которых читатель находил на предыдущих страницах, принадлежали или принадлежат к составу Французской академии: и Дюма-сын, и Жюль Симон, и Сюлли-Прюдом, и Коппе, и Бурже, и Вогюэ, и Гастон Буассье, и много других.

В Париже давно уже разделяют академиков на три главных группы: на герцогов (les ducs), на комедиантов (les cabots) и на остальную братию, со смешанным

---

[1] Республика литературы *(франц.)*.

составом. Драматургов одно время накопилось много: Дюма, Сарду, Пальерон, Лабиш и знаменитые либреттисты оперетки, разорвавшие в последние десять — пятнадцать лет свое сотрудничество, — Мельяк и Галеви. Их обоих я знавал когда-то; каждый из них сам по себе талантлив; но все-таки довольно было странно видеть авторов «Прекрасной Елены» и «Герцогини Герольштейнской» в мундире с зелеными пальмами, в то время как ни Доде, ни Гонкур, ни Золя, ни Мопассан не были привлечены в состав сорока «бессмертных». И это будет более или менее так до тех пор, пока не рухнет унизительный обычай — *самому* представляться кандидатом и делать обязательные визиты всем академикам. Обычай — архирутинный, как и очень многое, чего держатся французы в разных учреждениях, забывая, что они — *первая революционная нация*. Нельзя насильно заставлять никого попадать в «бессмертные», но можно предоставить всякому научному, или литературному, или художественному обществу инициативу избрания новых членов; а кто не пожелает принять такое избрание, тот и будет отказываться.

Самые влиятельные светские салоны в Париже с литературным оттенком часто не что иное, как сборища претендентов в академики и барынь, желающих интриговать в пользу своих кандидатов. Ни на одну модную гостиную в Париже, не исключая и салона г-жи Адан, нельзя указать как на место, откуда веет искренней любовью к литературе; ни одна из них не играет и не будет играть такой роли в истории литературного движения, как это было в XVIII и во второй половине XVII века.

Но в очень многих гостиных, и дворянских, и деляческих, и *растакуерских* (то есть где хозяйки принадлежат к иностранным колониям), и демимондных — ухаживают за известными писателями, приглашают их на обеды и вечера, выставляют их напоказ, точно каких певцов и актеров. Тщеславие по этой части разрослось до огромных размеров, и всякий из тех русских, кто в последние годы знакомится со светским Парижем, знает, что вечера с литературно-артистическим оттенком превратились давным-давно в какие-то бесплатные кафе-шантаны, где вас угощают и настоящими и поддель-

ными знаменитостями в разных родах. И вы находите везде битком набитые салоны, *где немыслим никакой разговор,* а происходит только томительная толкотня и слушание декламации, пения или игры. То, что называется «le tout Paris»[1], сделалось, быть может, гораздо податливее на литературу, чем было в конце Второй империи, но эта литературность скорее — реклама, пища для непомерной суетности и тщеславия разных parvenus[2], которые из кожи лезут, чтобы быть «fin de siècle»[3]. И только в таких гостиных, на обоих берегах Сены, больше у пожилых людей, вы найдете умную и тонкую беседу, и сочувственное понимание того, что даровито и действительно ново, и хороший тон, свободный от выходок модничанья. Писатели: стихотворцы, драматурги, романисты — поднялись в цене во всех смыслах в светских сферах; но идеи и литературные вкусы вырабатываются чаще не на правом, а на левом берегу Сены, на тех сборищах молодежи и курсах, где мы в одной из предыдущих глав побывали вместе с читателем *.

Прошлого вернуть нельзя, но если б я отправлялся в Англию впервые десятью или пятнадцатью годами позднее, я бы, конечно, гораздо более отдался интересу к ее литературному движению, чем это было в первое мое посещение в 1867 году и даже в тот полный лондонский season, какой я провел год спустя. Тогда я должен был, по обязанности корреспондента, следить гораздо усерднее за политическим и общественным движением и за тем, чем жила столичная публика. Мир научно-философских идей привлекал меня в свою очередь сильнее, чем чисто литературная сфера. Но я, конечно, не был к ней равнодушен, и одно из первых моих личных знакомств было с автором «Адама Бида» — с Джорж Элиот, тогдашней подругой Люиса. Ее салон был в то же самое время центром, где собирались почти все лондонские позитивисты и левого и правого лагеря. Она сама под конец жизни стала сторонницей так называемого религиозного позитивизма.

---

[1] весь Париж *(франц.)*.
[2] выскочек *(франц.)*.
[3] конец века *(франц.)*.

Чета Люисов жила в пригородной местности Лондона, в красивом коттедже посреди сада. У них собирались, сколько помню, раз в неделю. Из дам приезжали, конечно, те, кто стоял повыше обыкновенных предрассудков. И Люиса и Джорж Элиот считали в *респектабельном* обществе вольнодумцами. Многим было известно, что знаменитая романистка — невенчанная жена Люиса. В 1868 году она была уже не молодая женщина и смотрела очень похоже на тот тип англичанки, какой попадался у нас в России всего чаще среди гувернанток: такое же худощавое некрасивое лицо с выдающимся ртом, такие же локоны на ушах и такая же манера одеваться. Держала она себя, и как хозяйка гостиной, очень скромно, почти застенчиво, говорила тихим голосом; могла довольно свободно объясняться и по-французски. Не зная, кто она и какое у ней литературное имя, весьма трудно было предположить, что имеешь дело с таким умом и талантом. В этом смысле Джорж Элиот представляла собою резкий контраст с писательницами разных стран и эпох, с какими мне приводилось сталкиваться. Едва ли не одну только Жорж Занд, судя по тому, что я про нее слышал и читал, можно было поставить наряду с Джорж Элиот по скромной манере держать себя и отсутствию всякого желания импонировать собою. Но Жорж Занд, по отзывам тех, кто ее знавал, почти всегда и у себя и в гостях слишком стушевывалась, даже неприятно действовала молчаливостью. Джорж Элиот говорила гораздо больше и умела направлять общий разговор на то, что ее интересовало в данную минуту. Тогда ее слава достигла высшего предела, но самая личность ее оставалась в тени, не делалась предметом оваций и всеобщего поклонения в фешенебельных кругах Лондона. Зато все свободные мыслители, в особенности настоящие позитивисты, собиравшиеся в доме Люиса, выказывали ей высокое почтение, род культа; всего больше профессор Бисли, о котором я упоминал в одной из предыдущих глав *.

Диккенс был еще жив, но в сезон 1868 года находился в постоянных разъездах и жил больше на континенте. Я об этом постоянно жалел, тем более что я имел полную возможность поближе с ним познакомиться. Его приятелем, собутыльником и товарищем по прожиганию

жизни был в то время французско-английский актер Фехтер, о котором я еще буду говорить в главе о театре. К этому Фехтеру я имел рекомендательное письмо из Парижа и часто с ним видался и за кулисами того театра, где он играл каждый вечер как раз в пьесе, переделанной им вместе с Диккенсом из романа «No thoroughfare»[1], и у него в коттедже, где я несколько раз обедал. Там познакомился я с родственником Диккенса — плодовитым и популярным и у нас романистом Уилки Коллинзом. Он мне показался уже сильно утомленным, кажется, у него перед тем был первый удар.

Из крупных поэтов еще жил и действовал тогда королевский поэт-лавреат Тениссон *, пожалованный впоследствии в лорды, Браунинг и Суинборн. В области романа заявил уже себя такой замечательный беллетрист, как Джордж Мередит; но о нем тогда, то есть в 1868 году, в литературных кружках и в гостиных, куда я попадал, никто ничего не говорил; а заливала литературно-книжный рынок второстепенная беллетристика, большею частью женского производства, бесконечные книжки трехтомных «novels»[2] таких писательниц, как Брэддон, Уйда, Олифант и tutti quanti[3]. Мне приводилось в моих корреспонденциях высказываться довольно-таки свободно против этой второстепенной поучительно-моральной беллетристики. И впоследствии я нашел у Золя еще более строгое отношение к английскому роману. Золя хватил через край, что с ним часто случалось, забывая, что в общей эволюции этой формы изящной литературы английскому роману принадлежит очень большая доля.

Начиная с XVIII столетия английские романисты расширяли сферу реального изображения жизни, а в половине XIX века такие таланты, как Диккенс и Теккерей, совершенно законно привлекали к себе интерес всего культурного мира, а у нас сделались по крайней мере лет на десять, на двадцать самыми главными любимцами более серьезной публики. Но сторонники творчества, свободного от всякой тенденции и утилитаризма, имели право и на Диккенса смотреть с большими ого-

---

[1] «Проезд закрыт» *(англ.)*.
[2] романов *(англ.)*.
[3] все другие *(итал.)*.

ворками. И в нем огромный темперамент и богатые творческие способности почти постоянно служили только средством, чтобы приводить читателя в то настроение, какое нужно было романисту для его обличительных тем. Даже и в Теккерее — более объективном изобразителе британского общества — те, кто видел в Флобере высокий тип романиста, имели повод находить слишком много сатирической примеси с накладываньем слишком густых красок в условном юмористическом освещении. Точно так же и лучшие романы Джорж Элиот для сторонников художественного реализма являлись умными и даровитыми сочинениями на общественно-нравственные темы.

Поживя в Англии, нетрудно было признать, что иначе и не могло быть до поры, до времени. Собирательная душа британской нации прежде всего отзывчива на вопросы нравственного порядка; для нее внутренний психический мир, где должна царствовать совесть, важнее мира внешнего — красок, образов, звуков. Поэтическими настроениями английские стихотворцы были всегда чрезвычайно богаты, умели относиться к природе, как редкие из французов, но и в их лирических излияниях мир внутренний звучит гораздо ярче и все богатство изобразительных приемов служит почти всегда только отражением души поэта.

С литературным Лондоном в сезон 1868 года знакомил меня всего больше писатель, бывший тогда одним из самых преданных друзей русской литературы. Имя Рольстона известно и у нас, как одного из немногих британцев, поработавших на славу русской изящной словесности *. Меня с ним познакомил тот самый Артур Бенни, который сыграл какую-то полутаинственную роль в нашем движении начала 60-х годов. Припомню, что покойный Н. С. Лесков напечатал о нем маленькую брошюру *, которая имела целью очистить память этого человека от разных подозрений. Он был несколько лет сотрудником многих петербургских журналов и газет и более года работал и в «Библиотеке для чтения», когда я издавал этот журнал. Сколько помню, его и привел в редакцию Лесков. Бенни был сыном протестантского пастора в Варшаве, родом еврея, и кровной англичанки. Он, как истый энтузиаст, кинулся в тогдашнее передовое движение русского общества, и его запутали в одно

политическое дело *, за участие в котором он и был, как иностранец, выслан из России, после чего поселился в Лондоне и корреспондировал в Италии. Когда папские войска дрались с Гарибальди *, шальная пуля какого-то паписта раздробила ему кисть руки; он попался в плен, пролежал в одном из госпиталей Рима и после ампутации умер.

Для меня Бенни в первый мой приезд был очень ценным чичероне. Ему и Рольстону был я обязан всякого рода указаниями по русской литературе и журналистике. Тогда Рольстон состоял библиотекарем в Британском музее и напечатал уже несколько этюдов в лондонских обозрениях о русских писателях — о Крылове, о Некрасове, об Островском. Он несколько раз побывал в России и, как большой поклонник таланта Кольцова, ездил даже в Воронеж на поклонение его могиле. С ним я еще чаще видался в сезон 1868 года. Он нашел мне помещение рядом с своей квартирой, и от него я узнал про литературный и журнальный Лондон очень многое, во что было бы трудно в короткое время проникнуть без такой поддержки. Но Рольстон представлял собою характерного любителя литературы, и своей и иностранной, чисто британского образца. Кто был признан выдающимся талантом, тот и делался предметом его интереса. Через него вы не получали никаких отголосков новых идей и стремлений, а к политическим и социальным вопросам он был и совершенно равнодушен. Таким же уравновешенным британцем, но уже с более широким кругозором, нашел я Меккензи Уоллеса, до тех пор единственного англичанина, сумевшего так полно и талантливо изобразить характерные черты жизни современной России *. Но с ним я познакомился не в Лондоне, а в Петербурге.

Насколько я попадал в тогдашние писательские кружки, я видел, что лондонские радикалы и свободные мыслители находились под несомненным влиянием французских идей, но в чисто литературной сфере не замечалось еще такого влияния. Я помню, что никто, например, с настоящим интересом не говорил со мною ни о таких поэтах, как Альфред де Мюссе, Ламартин, Виктор Гюго, ни о таких романистах, как Бальзак и Флобер, которые были уже достаточно известны и за пределами Франции. В литературной критике преобладал

свой трезвый, чисто английский тон, более содержательный и приличный, чем на континенте. Но критерий оценок отзывался условной английской порядочностью, и никто еще не выступал с более смелыми требованиями, да и в Париже только еще назревало новое литературное движение. Из тогдашних французских крупных дарований всего более оценен был Тэн как автор «Истории английской литературы». Критика самых серьезных обозрений воздала ему должное, говоря, что Англия не имела еще такого даровитого и блестящего исследования национальной литературы. Да и вообще в 60-х годах в Англии относились к французам с большой мягкостью как к своим недавним союзникам *. Трудно было также не признать в таком писателе, как Тэн, искреннего почитателя британского литературного гения и одного из редких иностранцев, выказавших столько доброжелательной наблюдательности, как сделал он в своей книге об Англии.

Я уже вспоминал о моем знакомстве с Джоном Морлей — тогдашним редактором «Fortnightly review» и автором замечательных книг критического содержания *. Выбор сюжетов таких монографий, как «Ж-Ж. Руссо» или «Дидро», прямо показывал, что радикально мыслящих англичан Франция серьезно интересовала. И многие из них находили, что даже при порядках Второй империи по ту сторону Канала гораздо больше свободы в идеях и нравах, чем по сю сторону. Я уже и тогда замечал, что некоторые англичане из литературного и политического мира, с какими я знакомился, относились к Франции симпатичнее, чем, например, к Америке и американцам, несмотря на близость расы и культуры.

Прошло более четверти века. Английская литература, и художественная и критическая, продолжала интересовать меня. Были полосы, когда я особенно сильно занимался ею. По многим симптомам можно было заключить и издали, не отправляясь в Англию, что и там происходит движение идей и вкусов, параллельное с тем, какое я видел в Париже. Диккенс умер. Умерла и Джордж Элиот. Поэт-лавреат Тениссон доживал свой век. Из новых поэтических талантов Браунинг стал увлекать молодые генерации, и в воздухе критики эстетических идей запахло чем-то другим. Область искусства

давно уже сделалась предметом исследования очень большого критического таланта — писателя с богатым и пылким языком и с огромной эрудицией по истории искусства. Это был Джон Рёскин, до сих пор у нас малоизвестный, а он уже не только в Англии, но и на континенте, и во Франции и в Германии, завоевал себе очень видное место еще тридцать пять лет тому назад. Об этом движении эстетических идей я буду еще говорить в главе об искусстве, а здесь указываю только на то, что художественная критика влияла и на тон и направление литературной. Молодые поколения уже не могли довольствоваться безусловным признанием славы такого поэта, как Тениссон, и таких романистов, как Диккенс, Теккерей, Джорж Элиот. Росло недовольство *профессиональной* беллетристикой с ее избитыми морально-нравоописательными темами.

И к половине 90-х годов, когда я приехал в Лондон в последний раз и стал присматриваться и прислушиваться к тому, что писалось и говорилось и в статьях, и в литературных кружках, и в светских салонах, я нашел у многих молодых людей полную солидарность со всеми теми новыми требованиями и протестами, какие раздавались и раздаются на берегах Сены. И английская публика испытала уже вторжение французского натурализма, затем символизма и декадентства. Русские мотивы прошли через Тургенева, Толстого и Достоевского, а в последние годы особенно сильно увлекались Толстым, как проповедником нового христианско-нравственного учения. Вместе с тем развился и *культ формы,* требование гораздо большей художественной отделки, чем та, какую молодые генерации находят в бесчисленных кропаниях разных досужих мисс. Эти молодые люди нимало не увлекаются насчет всего того, что до сих пор еще преобладает в светской и буржуазной публике Лондона и провинции по части литературных вкусов и симпатий.

«Средняя английская публика, — говорил мне один из таких молодых поборников новых вкусов и идей, — до сих пор еще тяготится изящной формой. Для нее стиль — вещь совершенно третьестепенная. Она поглощает с удовольствием самые банальные романы. Прежде они писались в сантиментально-нравоописательном вкусе; а те-

перь на разные темы социального характера. Но искусство тут ни при чем, и еще не скоро настанет такое время, когда талантливый молодой писатель сразу в состоянии будет завоевать себе имя, не подделываясь под рутинно-банальные вкусы нашей большой публики».

Но время все-таки берет свое. Одним из доказательств может служить то, что писатель, целых двадцать и больше лет оставшийся в тени, теперь все-таки же volens-nolens[1] везде, вплоть до светских гостиных, признается самым выдающимся.

На мой частый вопрос в последнюю мою поездку в Лондон, обращенный к англичанам и англичанкам всяких возрастов и слоев общества: «Кого же следует теперь считать самым крупным английским романистом?» — мне почти везде отвечали: «Джорджа Мередита». А между тем до тех пор его считали в той публике, которая привыкла поглощать трехтомные novels,— писателем с ужасно трудным языком. Он не льстит ни одной из рутинных привычек и настроений большой публики. Интрига его романов не увлекает; он позволяет себе беспрестанно вставлять в ход действия авторские отступления и пестрит страницы афоризмами и рассуждениями. И все-таки же он признан, правда, уже совершенно на склоне своей карьеры. Джордж Мередит — и стихотворец и романист, и даже как романист он действует с конца 50-х годов; стало быть, он выступал в одно почти время с Джорж Элиот, и тогда, когда Джорж Элиот, к концу 60-х годов, пользовалась уже всеобщим признанием, о нем, повторяю, почти что никто не говорил.

И в Лондоне сказались симптомы *эстетического сенсуализма* и нашли в Оскаре Уайльде своего пророка и проповедника. Я как раз попал в Лондон во время скандального процесса, кончившегося приговором над этим «эстетом», игравшим в течение последних годов роль литературно-эстетического денди. Он успел заявить себя и как романист, и как драматург, и как критик, создавший целую теорию, в которой поставлено вверх дном все то, что признавалось несомненным в творчестве и в задачах критики.

---

[1] волей-неволей *(лат.)*.

В Париже литературные символисты смело и даже цинически выступили в защиту нравов Оскара Уайльда, а в Лондоне сейчас же предали не только самую личность, но и имя Уайльда полнейшему остракизму. Пьесы его были сняты тотчас же с афиш двух театров, и ни один книжный магазин не продавал его книг. Это только показывает, что в вопросах морали английское общество не желает делать никаких уступок, и по-своему оно, конечно, право. Но теперь уже в журнализме по текущим вопросам литературного, политического, философского, религиозного характера вы находите очень большую терпимость, которая поражает сравнительно с тем, что вы видели двадцать пять лет назад.

Тогда каждый журналист держался строго программы своей партии. Еще не так давно замечательный критик, теперь покойный, Мэттью Арнольд, повлиявший также на молодые генерации в новом направлении, жаловался на такую тенденциозность и партийность английской критики и публицистики. Теперь возьмите любой журнал, из самых распространенных, будет ли то «Fortnightly» или «Contemporary» — вы в нем найдете как бы полнейшее беспринципие в выборе того, что в одном же номере редакция предлагает своим читателям. Журнал был заведомо основан свободными мыслителями-радикалами четверть века тому назад; а теперь он помещает рядом со статьей материалиста или позитивиста статью богослова, мистика. В конце 60-х годов респектабельные журналы избегали печатать что-нибудь, отзывавшееся крайними социальными теориями, а теперь в любом обозрении рядом с защитой буржуазных принципов и разных устоев британской конституции — вы не только находите руководящие статьи и новые манифесты, написанные анархистами, но даже защиту самих анархистов и тех политических фанатиков, которые в последнее время во Франции и даже в Англии совершали целый ряд покушений, пуская в ход взрывы динамитных бомб. Радоваться этому или печалиться этим — другой вопрос, но несомненно, что и Лондон философских, политических и литературных идей и вкусов весьма изменился.

Разумеется, фон остается как бы прежний. Культурная масса держится еще стародавних устоев англиканства и конституционного уклада нравов и обычаев, вку-

сов и пристрастий, но на этом фоне выступают новые и весьма резкие арабески и зигзаги. Мало того, вы чувствуете, что интеллигенция (руководящая в Лондоне и в других крупных центрах Англии литературно-критическим движением) уже не желает держаться интересов стародавнего британского cant'а[1] и староверства; напротив, она с каждым днем показывает все больше и больше, что она хочет искать истины или по крайней мере не считает уже себя вправе что-либо игнорировать, класть под спуд, предлагает умственную пищу читателям самых разнообразных направлений и настроений.

Одним из типических редакторов новой полосы английского литературно-критического журнализма по праву считался мистер Бентинг, главный редактор ежемесячного журнала «Contemporary review», достаточно известного и у нас в России. По оттенку своего направления, он сам спиритуалист с явно выраженной симпатией к народной трудовой массе, а по профессии адвокат с наружностью и тоном истого «солиситора»[2], когда вы к нему придете в кабинет его адвокатской конторы. Он вам охотно напечатает и последнее поучение графа Толстого, и статью анархиста князя Кропоткина, и этюд Ломброзо, и монографию Гладстона, все это бок о бок, на одной обложке. Но про него нельзя сказать, что он лишен всяких принципов. У него есть своя физиономия. Только времена уже не те, и злые языки говорят, что в этой терпимости, в этих широких программах книжек журнала сказывается также и тот дух *американизма*, который пришел из-за океана.

Я сам лично испытал — до какой степени нынче пали разные зацепки и загородки британских порядков. На первых же порах моего знакомства с мистером Бентингом я ему дал прочесть текст речи об *английском влиянии в России*, которую я хотел произнесть в одном из лондонских обществ. Чтение это, по разным причинам, не состоялось; но редактор «Contemporary» тотчас же взял ее и отдал в набор, еще в мою бытность в Лондоне, так что я сам мог прочесть корректуру. Она появилась в июльской книге его журнала за 1895 год, и обертка

---

[1] ханжества *(англ.)*.
[2] ходатая (от *франц.* solliciteur).

этой книжки могла бы служить типическим образцом нынешней широкой терпимости. Тут и церковно-этическая статья Джорджа Серрэля о браке и разводе, и профессор Ломброзо с теорией атавизма, и попытка примирения религии с наукой, в виде публичной лекции итальянца Фогатцаро, и новый этюд Герберта Спенсера о музыкантах и танцовщиках.

Кончая эту главу, я должен был бы коснуться английской драматической литературы; но я отлагаю это до того места, где я буду говорить о театре в обеих столицах мира.

VII

Искусство. — Парижская Ecole des beaux-arts[1]*. — Лекции Тэна. — Ежегодные Салоны и всемирные выставки. — Успехи техники. — Искание новой формулы. — Импрессионисты. — Живопись в Англии. — Джон Рёскин. — Прерафаэлиты. — Развитие прикладного искусства.*

Музыка. — Музыкальность французов. — Парижская консерватория. — Между двумя представлениями «Тангейзера». — Классические концерты. — Лондон как огромная ярмарка виртуозного исполнения.

Между нашими художниками в 60-х годах стали появляться признаки протестов против «академической выучки» *, но все-таки развиваться, воспринимать природу, изучать высокие произведения античного искусства и эпохи Возрождения ездили в Италию. Париж не был еще таким притягательным центром для артистического мира, каким он сделался в последнюю четверть века.

Мои интересы, как я замечал и выше, были более обращены в сторону мышления, науки, литературы и театра. Но я не мог оставаться равнодушным и ко всему тому, что Париж давал каждому желающему в своих памятниках зодчества, галереях, коллекциях и ежегодных выставках. С зимы 1867—1868 года я стал посещать лекции по истории искусства Тэна в Ecole des beaux-arts, и они были и для меня, и для всех его слушателей превосходнейшими комментариями всему тому, что можно было видеть в музеях Лувра и Люксембурга.

[1] Академия художеств (*франц.*).

Я прослушал его лекции о древнегреческой скульптуре, об итальянской живописи эпохи Возрождения и о фламандских мастерах. Того, другого и третьего было достаточно в национальных сокровищницах, с прибавкою еще такого великолепного собрания памятников средневекового искусства, какое каждый турист находит в музее Клюни.

Тэн не читал о современных французских живописцах в те годы, когда я ходил в Ecole des beaux-arts; но можно было предположить, что далеко не ко всем из тогдашних академиков и модных живописцев он отнесся бы, как к первоклассным талантам. И тогда уже в среде молодых художников давно началось брожение, которое как раз к концу 60-х годов сказалось в так называемом «импрессионизме». И тогда уже в пивных и кафе Латинского квартала молодые люди с длинными волосами и в больших беретах громили рутину и отсталость многих официально признанных светил. Еще жив был Ingres, и молодежь не особенно преклонялась перед ним. Из его сверстников, тогда уже покойных, гораздо выше ставили Жерико и Делакруа. Движение это находилось в прямой связи с натурализмом, и в начале 70-х годов самыми убежденными и энергическими защитниками импрессионистов явились как раз корифеи реалистического романа, и больше всех Эмиль Золя.

И тогда уже для каждого иностранца, посвятившего себя искусству, Париж делался более воспитательным центром, чем Рим, Флоренция или Мюнхен. Французское правительство, давно создавшее в Риме учреждение для своих лавреатов, продолжало поддерживать эти стипендии и посылать в Рим на виллу Медичи пансионеров; и титул «prix de Rome» был высшим отличием не для одних живописцев, и скульптуров, и архитекторов, а также для музыкантов, что продолжается и до сих пор.

Париж делался с каждым годом все более и более и огромной ярмаркой художественного товара. Очередные ежегодные выставки в Palais de l'industrie[1] превращались на всемирных выставках в громаднейшие каравансараи уже не одного французского, а и общеевропейского и американского искусства. И нигде, ни в каком

---

[1] Дворце промышленности *(франц.)*.

городе, пресса так не занималась артистами и продуктами их работы, как в Париже.

Мне кажется, в каждом французе (если только он взял перо в руки и желает жить этим пером) есть две склонности: писать пьесы и разбирать произведения искусства в так называемых *Салонах.* Каждый газетный и журнальный сотрудник считает себя, добившись известного положения в прессе или беллетристике, призванным заниматься Салонами. Это идет еще с XVIII столетия. Энциклопедист Дидро был одним из первых французских писателей, которые этой литературе Салонов придали уже значение особенной специальности.

При такой склонности всей пишущей братии нет ничего мудреного, что Париж сделался таким же местом, где всякий артист, будь он скульптор или живописец, имеет гораздо больше шансов найти себе ценителей, овладеть интересом публики, а стало быть, — сделать карьеру. Государство, с своей стороны, считает искусство такой стороной национальной жизни, которая имеет право на официальную поддержку. Во Французском Институте есть отделение изящных искусств, в котором живопись и скульптура играют преобладающую роль. Ученикам Ecole des beaux-arts открыта дорога к наградам, субсидиям, впоследствии местам преподавателей и членов Института, а также и к правительственным *заказам:* зданий, монументов и картин. До сих пор считается обязательной традиция, по которой правительство непременно должно каждый год приобрести несколько произведений, вызвавших на выставках особенный интерес специальных судей и большой публики. Но в Школе все учиться не могут. Наплыв желающих — французов и иностранцев, мужчин и женщин — с каждым годом все усиливается, и цифры картин, статуй, рисунков — в последнее время, в ежегодных Салонах — достигли почти баснословных размеров. Всемирные выставки 67, 78 и 89-го годов показали, что французская живопись привлекала больше сил, чем какая-либо другая, и во всех родах ее: в пейзаже, в жанре, в исторических сюжетах, в портретах, в nature-morte, в акварели...

Ни в каком городе произведения искусства не делались в такой возрастающей прогрессии предметом любительских вкусов и поползновений, как в Париже.

Прежде, шестьдесят и больше лет назад, только в высшем обществе и среди очень богатой буржуазии было в обычае покупать произведения изящных искусств. В первые сезоны, проведенные мною в Париже, интерес к искусству делался уже очень модным, но все-таки еще тогда не было *такой* общераспространенной страсти к приобретению картин известных художников. В то время можно было приобретать вещи таких пейзажистов, как Коро, оба Руссо, д'Обиньи, за умереные цены. Даже Мэссонье (сделавшийся поставщиком тогдашнего придворного общества) шел еще за сравнительно допустимые цены. Мне известно, например, что лет тридцать пять тому назад московский любитель искусств, покойный Д. П. Боткин, приобрел в Париже у Гупиля одну из крупных по размерам картин Мэссонье, изображающую привал двух мушкетеров, и рассказывал мне, как он долго колебался: давать ли ему двадцать или двадцать пять тысяч франков за эту картину. А теперь она, наверно, если ее привезти в Париж и пустить с аукциона, будет заплачена и сто тысяч.

Тонкие ценители и тогда уже видели, какие достоинства заключены в полотнах таких мастеров, как Коро, Мэссонье или Милле; но масса распознавала это задним числом. На примере одного из этих всемирно известных теперь живописцев — Милле, можно видеть, до какой степени запоздалая репутация растет уже после смерти артиста. Только с начала 70-х годов некоторые писатели, как Эмиль Золя и др., стали ратовать за своеобразное творчество живописца Милле. А к началу 90-х годов его известная картина «Angelus»[1], перекупленная много раз и приобретенная первоначально за несколько тысяч франков, была заплачена каким-то американским набобом с лишком *семьсот* тысяч франков; когда (в один из последних весенних сезонов) устроена была выставка произведений Милле, биржевая ценность его картин и этюдов представляла собою громадную цифру, о какой, конечно, артист при жизни и не мечтал.

Теперь всякий лавочник, каждый чиновник, журналист, адвокат тешат если не свой артистический вкус, то тщеславие покупкою произведений искусств. Но тот же

---

[1] Молитва к пресвятой богородице *(лат.-франц.)*.

огромный спрос вызвал и непомерное предложение. Главной целью всех профессиональных артистов сделалось захватить «буржуа», вызвать в нем тщеславное желание приобрести ту или иную эффектную картинку, о которой заговорили в Салоне. И каждый стал биться из того, чтобы довести свою технику до виртуозного совершенства, и пустились за поисками пикантных сюжетов, а главное, всякого рода наготы.

Мастерство, в тесном смысле, выигрывало с каждым годом, но то, что составляет душу творчества, искренность, высшую наивность — все это молодые художники утрачивали в массе. А кто из них выделялся большей смелостью и упорным преследованием своих идей, те впадали очень часто в крайности школы, в умышленную эксцентричность и озорство. Теперь уже и импрессионисты, за которых ратовал когда-то Золя, с живописцем Мане во главе отошли на задний план; и также жанровые живописцы, как Рафаэлли с его галереей разных парижских оборванцев, уже приелись избалованному парижскому покупателю. Произошла реакция сродни той, какую мы видели в литературном движении. Стал входить в моду известного рода *символизм,* и такие живописцы, как Пювис де Шаванн, нашли свою ноту — изображение вымышленных античных и средневековых сюжетов. И, если б такой даровитый и оригинальный пейзажист и жанрист, как Бастьен Лепаж, не умер так рано, он, вероятно, тоже повернул бы в эту сторону. И тут, как и в литературном движении, дело не обошлось без иностранных влияний. Повеяло другим духом из Англии, чего прежде не было за целых полстолетия.

Тем временем борьба между протестантами и официально-академическим миром все обострялась. И в последние годы дело дошло уже до прямого разлада. Те, кто ищет новых путей и считает себя глашатаем новых слов, стали еще со всемирной выставки 1867 года искать более свободного доступа. Они не желали, чтобы на их произведения жюри накладывали свое veto. Сложился термин «le salon des révoltés» — «выставка возмутившихся». Нечто в этом роде произошло и у нас, когда так называемые передвижники стали устроивать свои собственные выставки в Петербурге, Москве и крупных провинциальных городах. Доступ сделался свободнее, и

были такие сезоны, когда каждый иностранец, приезжавший к первому мая в Париж, бывал буквально подавлен громадным количеством картин, по крайней мере на одну треть не заслуживающих чести попасть в Салон. А в последние годы разделение уже окрепло, и все недовольные новаторы, искатели новой формулы и более возрождающих идей, удалялись обыкновенно на ежегодную выставку Марсова поля, в то здание, которое сохранилось после всемирной выставки 1889 года. В последнюю мою поездку я был свидетелем того, как и пресса и публика разом и в один голос стали выказывать свое недовольство общим уровнем и направлением национального искусства, в особенности живописи. Выходило нечто курьезное. Более четверти века возрастал интерес к изящным искусствам, поднимался спрос на художественные произведения, критика поощряла всякое сколько-нибудь выдающееся дарование, протестанты и бунтовщики могли на свободе выступать перед публикой со всем, что им только приходило на ум; а результат получился такой, что и критика и публика заговорили о *вырождении,* об упадке творчества.

Внешнее мастерство стоит очень высоко; но мастерство — не творчество. Непомерная погоня за выгодным сбытом превратила большинство художников в ловких техников, выезжающих на той или иной специальности. Творческой мысли, души, того «je ne sais quoi» [1], каким брали художники сорок и больше лет назад, ни у кого почти не замечается.

Меня лично такое внезапное настроение критики и публики не изумило. Разумеется, и в двух Салонах 1895 года (и в Елисейских полях и на Марсовом поле) выставлено было такое громадное количество полотен, что одна двадцатая его дала бы материал для очень замечательной выставки, будь это в Петербурге, Москве, Берлине, Вене, даже в Риме и Флоренции или Мадриде. Но для Парижа оно оказалось недостаточным. Перепробованы все приемы и колориты, и ухищрения техники, и эксцентричности фантазии — и ничего не создано истинно нового, своеобразного, национально-французского. Артистический Париж как бы казнил себя за несмолкаемую погоню за успехом, которая сказалась

---

[1] неизвестно чего *(франц.).*

или в озорстве, антихудожественной эксцентричности, или в повторении того, что принесли с собою свои и иностранные художники, от испанцев до англичан включительно, от Мадраса и Фортуни до Росетти и Бёрн-Джонса.

Но ведь и это недовольство, вдруг овладевшее всеми друзьями искусства, а через них и большой публикой,— само по себе хороший симптом. Такое предостережение полезно всем артистам, французам и иностранцам, стремящимся в Париж для заработка и славы. Это показывает, что надо бросить одно «ловкачество» с его погоней за выуживаньем банковых билетов; игра в недовольных, в возмутившихся точно так же ничего не даст до тех пор, пока протестанты не явятся действительно с обновляющими идеями.

Критика почти в голос говорит и парижским знаменитостям:

— Вы исписались, у вас ничего нет за душой, будьте искреннее и наивнее, живите идеалами, а не одними только поисками внешней бездушной виртуозности, ходите почаще в Лувр и проникайтесь тем, что говорит до сих пор с полотен великих мастеров или веет от неувядаемых красот античного ваяния.

И в самом деле, Лувр такая богатая сокровищница творчества, что она способна уврачевать и возродить каждого, кто действительно ищет художественного вдохновения. И эта национальная галерея открыта для всех изо дня в день. Если в вас теплится хоть слабый огонек любви к изящному — вы найдете в залах Лувра отраду и отдохновение, и прежде всего от суетни и трескотни Парижа, от той тщеславной и детской сутолоки, которая сейчас раздражала вас в другом Лувре по ту сторону rue de Rivoli, на торжище женской суетности в магазинах, нахально носящих то же имя.

Припомните, как наш даровитый и задушевный писатель Глеб Успенский трогательно говорил о Лувре и его жемчужине* — статуе Венеры Милосской, которая могла пострадать от прусских бомб и гранат и была зарыта в землю. Теперь она помещена в другой, более просторной зале, и без всякой сентиментальности и напускного пафоса можно сказать, что одно это божественное произведение эллинского творчества способно

дать вам высший подъем духа, если вы не утратили хоть какой-нибудь чуткости к обаяниям прекрасного.

И все развитие европейской живописи проходит перед вами в самых богатых и ярких образцах, давая вам чувство жизненности, которым проникнуты были все великие художники: и предшественники Рафаэля, и создатели нового искусства XVII, XVIII и XIX столетий. Для большинства туристов, к какой бы национальности они ни принадлежали, — старый Лувр все-таки же самое центральное хранилище художественных сокровищ. Во многих столицах есть прекрасные музеи, по-своему незаменимые: и в немецких городах, и в Вене, во Флоренции, в Риме, и в особенности в Мадриде; но я думаю, что воспитательное значение для европейской массы имеет всего больше старый Лувр.

В последние годы, и в особенности в сезон 1895 года, общее недовольство живописью смягчалось немного некоторыми успехами скульптуры. Прикиньте то, что французская скульптура давала за четверть века к тому, что мы видели на выставках Берлина, Вены и русских столиц, — вы, конечно, найдете, что французские художники гораздо больше освободились от рутины академического стиля. В конце Второй империи художественный реализм, в лице талантливого Карпо̀, брал верх и дал новый толчок скульптурному жанру; но нельзя сказать, что и скульптура расцвела так, как она могла бы расцвесть. Ведь французские художники могли бы иначе воспользоваться беспрестанными заказами правительства и городских муниципалитетов.

Патриотическое тщеславие французов сказывается все сильнее и сильнее в страсти к водружению памятников. Кому только не ставят монументов или по крайней мере бюстов и в Париже, и по всей Франции? Генералам, министрам, депутатам, ученым или писателям, артистам... Каждый городишко отыскивает свою знаменитость и собирает по подписке более или менее значительные суммы. Правда, до сих пор крупнейшие таланты еще не удостоились чести украшать скверы и площади Парижа. Ни Бальзаку, ни Флоберу не были воздвигнуты статуи, в то время как многие посредственности добились этого. Все-таки же в скульптуре чувствуется больше внутренней жизни. Но на нее нет такого спроса, как на живопись. Надо иметь заказчиков; а буржуа

падки только на изображение своей собственной физиономии или фигуры, почему ежегодно вы и видите, что в скульптурном отделе выставок господствуют бюсты.

Но как бы строго ни относиться к современному парижскому художественному рынку, XIX столетие, доживая свои последние годы, было веком усиленной художественной работы во всех направлениях. Пройдитесь по залам Люксембургского музея (предназначенного, как известно, для произведений новых школ) — и вы увидите, через какие стадии развития прошло французское искусство, начиная с той эпохи, когда оно еще проникнуто было условными классическими идеями и приемами, вплоть до новаторов и бунтовщиков конца века. И в этой галерее, представляющей собой живую историю нового французского искусства, недавние новаторы являются уже своего рода классиками. Таков, в особенности, Курбе, выступавший в свое время как ультрареалист. Поставьте лучшую его картину рядом с тем, что создано французами в последние двадцать лет — от Реньо до Бастьена Лепажа, и вы увидите, до какой степени ушло вперед артистическое трактование и природы, и человеческого тела, и всех разнообразных настроений, в которых трепещет тревожная, нервная душа культурного человека наших дней.

В 1867 году, когда я впервые попал в Лондон, мне особенно резко бросилась в глаза гораздо меньшая артистичность этой столицы мира, сравнительно с Парижем, в разных смыслах: и по памятникам архитектуры, и по интересу к предметам искусства. Уже одно сравнение зданий Лувра и лондонской Национальной галереи давало характерную ноту. Лувр сам по себе — произведение своеобразного зодчества, особенно когда вы на него посмотрите с внутреннего двора; а лондонская Национальная галерея — тяжеловатое здание довольно-таки дурного вкуса, напоминающее многие наши казенные постройки в стиле классического рококо. Но и тогда уже в мире художественных идей по ту сторону Канала вы могли найти нечто оригинальное и крупное.

Давно уже действовал такой знаток и критик искус-

ства, как Джон Рёскин. Его книга об английских живописцах *проникла уже и на континент. Ею стали интересоваться и французы и немцы гораздо раньше, чем у нас; в России до сих пор имя Рёскина очень мало известно. Прославляя английских пейзажистов и маринистов конца прошлого и начала XIX столетия, Рёскин являлся с оригинальным пониманием природы и задач искусства. То же влагал он и в толкование античного искусства, и средневекового. Для него вся природа одухотворена многообразной, бесконечно проявляющейся красотой; но этот культ красоты связан у него с особого рода нравственным мистицизмом, присущим английской душе. Его художественно-критическая проповедь способствовала всего больше и нарождению той школы, которая впоследствии получила название «прерафаэлитов» *. Она связана с именем художника-поэта Росетти, а в новейшее время — Бёрн-Джонса. Из этой школы пошло преклонение перед старыми флорентийскими мастерами, предшественниками Рафаэля, откуда — и самый термин.

Флорентийских мастеров первой эпохи Возрождения изучали не одни англичане, и сами итальянцы, и немцы, и французы. Уже к 60-м годам европейская литература обогатилась таким произведением, как книга Тэна о сокровищах итальянского искусства *. Для континентальной публики Тэн был положительно самым даровитым руководителем. По натуре своей и философскому направлению он не в состоянии был вдаваться ни в какой мистицизм. Он выработал себе определенный прием и метод и показывал в целом ряде блистательно написанных характеристик, как итальянские мастера все более и более овладевали реальной правдой изображения. Этого было недостаточно для таких ценителей, как Рёскин и его последователи. Они вдались в культ *внутренних настроений* и поставили в этом смысле предшественников Рафаэля гораздо выше позднейших мастеров.

Я не стану разбирать здесь вопроса, в какой степени это английское направление художественно-критических идей заключает в себе истину. Но, во всяком случае, оно самобытно зародилось и развилось на английской почве и явилось продуктом продолжительного и глубокого знакомства с миром искусства. Оно же в самое последнее время стало привлекать и французов в Лондон для

более детального изучения английских старых и новых мастеров. Лет сорок тому назад туристы заглядывали в *Национальную галерею* больше для курьеза, хотя почти всегда находили, что многие английские живописцы XVIII и первой половины XIX века заслуживали бы большей известности, чем та, какую они имели на континенте. Англичане всегда любили природу и умели придавать своим пейзажам и морским видам особый искренний колорит, в котором сказывалось их *настроение*. В жанре их заслуги также несомненны; не менее того и в портретной живописи, и я хорошо помню, что в сезон 1868 года на выставке портретов английских красавиц XIX века получился богатейший подбор и типов национальной красоты, и талантливых художников, не уступавших в этой специальности своим современникам во Франции и Италии.

Но в конце 60-х годов еще не чувствовалось в Лондоне такого всеобщего интереса к успехам живописи, как в Париже. Да и позднее, по прошествии более четверти века, на тогдашней ежегодной выставке 1895 года, даже после расцвета школ «прерафаэлитов» и «символистов», я не нашел и одной четвертой такой производительности, как в Париже. Но теперь самыми экзальтированными поклонниками английского новейшего символизма в живописи являются некоторые французы. Они смакуют лучшие вещи этой школы с гораздо большей подготовкой, чем англичане. Стоит только прочитать то, что писалось в последние годы парижанами о Лондоне, чтобы убедиться в этом. Зато туристы ординарного типа, приезжающие из Франции и попадающие в Музей и на выставки Лондона, до сих пор очень пренебрежительно относятся к английскому искусству. В этом французы, в массе, такие же заскорузлые шовинисты, как это было и сто лет назад.

На глазах моей генерации произошло в Англии роскошное развитие *прикладного* искусства. Англичане со времени их Всемирной выставки в начале 50-х годов стали делать больше, чем все другие нации, в этом направлении, и *Кенсингтонгский музей* явился блистательным результатом этих стремлений. И с тех пор изучение различных стилей художественного производства изощряло таланты и вкусы английских артистов и техников.

Между ними в последние годы особенно выделился Морис. Во всех слоях общества повысился интерес к изящной отделке домов, к декоративным украшениям, к стильной мебели, бронзе, посуде, обоям и драпировкам. И свое английское, и континентальное средневековье, и эпоха Возрождения, и все дальнейшие оригинальные моменты в развитии декоративного искусства нашли в Англии благороднейшую почву.

Когда вы поживете в Лондоне и станете тяготиться казарменным видом тамошних улиц, отсутствием всякой архитектуры целых десятков тысяч домов, перед вами еще резче выступит контраст между такой варварской первобытностью фасадов и художественной отделкой домов и квартир. Фасады изменить трудно, и, вероятно, еще на сотню лет, а то и больше, Лондон на две трети будет покрыт этими кирпичными закопченными ящиками. Зато потребность в изящной обстановке все растет и вкус делается изощреннее. Образцы даже фабричного производства носят уже на себе печать таланта, тонкого изучения различных стилей — и все это не в дюжинно-подражательном роде, а с оттенком чего-то своего, национального, восходящего большею частью к образцам и стилям английского средневековья и Возрождения.

Музыкальный Париж не был у нас предметом особенного интереса в половине 60-х годов. Все мы воспитались на немецкой музыке гораздо больше, чем на какой-либо другой. Новая русская музыкальная школа стала высоко ценить Берлиоза, выше, чем его соотечественники, но французские композиторы еще не овладели симпатиями нашей публики. И к тому времени, когда я попал в Париж, издали, из Петербурга, довольно трудно было составить ясное понятие о том, какую роль играет музыка в жизни Парижа. Но как раз в половине 60-х годов и начались новые успехи французской оперной музыки, французской не потому только, что композиторы избирали Париж постоянным местом своей деятельности... Мейербер уже допевал свою песню; а Россини недавно замолк. Я говорю о восходившей тогда звезде Гуно. Его «Фауст» был только что поставлен * в «Théâtre Lyrique» и сразу сделался всемирно извест-

ным произведением. Не прошло и двух-трех лет, как вся Европа и Америка заслушивались мелодиями этого уже чисто французского композитора.

Но и раньше, в первую половину века, французы имели свою собственную область драматической музыки, разработанную в Париже больше, чем в какомлибо другом музыкальном центре. Это — область *комической* оперы. Когда-то в России гораздо более любили французские комические оперы, вплоть, кажется, до 40-х годов. Я еще ребенком помню, что на всех провинциальных сценах, с грехом пополам, шла «Цампа» Герольда, и вот эту же самую «Цампу» я нашел на репертуаре парижской Комической оперы, и в течение сорока лет она не сходила с него. И теперь, когда бы вы ни приехали, зимой или весной, если вы проживете подольше в Париже, наверно, «Цампу» дадут, и не один раз в месяц. Истый француз, несколько старого покроя, парижанин или провинциал, чувствует себя всего приятнее именно в зале Комической оперы, сгоревшей при мне в одну из моих весенних поездок в Париж. Он любит легкую, игривую музыку, и в этом смысле между старыми французскими генерациями и молодыми легла порядочная пропасть. К 80-м годам культ Вагнера уже открыто поднял голову, и с каждым годом французы все более и более *вагнеризуются*.

У нас в Петербурге и в Москве в начале 60-х годов почти что не давали даже и лучших французских комических опер, так что для меня некоторые старые вещи, вроде, например, «Le Pré aux clercs»[1] Герольда были приятной новинкой; а также и многие давно у нас не идущие оперы старика Обера.

Он и тогда уже был древний старик и доживал свой век в звании директора Парижской консерватории. Я обратился к нему в тот парижский зимний сезон, когда я стал изучать преподавание театрального дела. Я нашел его в знаменитой квартирке rue St. Georges, со старинной отделкой высоких комнат, где он еще сочинял на таком же старинном «флигеле». Принимал он меня в шелковой douillette (шлафрок), в очень ранний утренний час. Наружность этого небольшого роста ста-

[1] «Лужайка писцов» *(франц.)* — место, где обычно дрались в Париже на дуэли.

ричка, бритого, с седыми височками, чрезвычайно напоминала по типу многих наших чиновников 30-х и 40-х годов; но он еще был бодр, хотя, по-видимому, консерваторскими делами занимался уже мало. И, кажется, в ту же зиму или годом позднее поставлена была последняя его опера «Le Premier jour de bonheur»[1], к которой парижане отнеслись более чем снисходительно. Ее можно было смотреть и слушать без скуки, даже с некоторым удовольствием. Поразительно, во всяком случае, было то, что такой древний старичок, уже на краю гроба, мог написать музыку на любовный сюжет, местами очень мелодичную и даже согретую кое-где поэтическим чувством.

Сверстника автора «Фра-Диаволо» — такого же древнего Россини, мне случалось видать в театрах в зиму 1865—1866 года, то есть в первую мою парижскую зиму. «Африканка» Мейербера была еще новинкой *. Мне и некоторым моим русским знакомым она мало нравилась; мне приводилось тогда выдерживать споры с французами. К Мейерберу парижская критика относилась еще более или менее снизу вверх. Для большинства же тогдашних рецензентов «Гугеноты» и «Вильгельм Телль» были столпами *французской* драматической музыки.

Россини, замолкнувший вовремя, доживал свой век богатым человеком в своем парижском доме, куда все являлись на поклонение и выслушивали его бесконечные анекдоты и каламбуры. Случилось так, что на одном первом представлении мне на него указали в креслах; а он сидел рядом с Обером. В антрактах оба встали спиной к рампе, и я мог прекрасно их обоих разглядеть. Тогда еще я не бывал у Обера. Россини показался мне лицом и фигурой худощавее, чем на его портретах того времени. Он держался еще довольно прямо, в высоком старомодном галстухе; быть может, он красил волосы, но большой седины я не заметил, между тем как Обер был совсем седой.

Все эти три корифея отошли на задний план, когда музыка Гуно добилась всеобщего признания. С ней выступал другой оттенок французского *лиризма,* быть может оттого, как находят некоторые, что в Гуно текла

---

[1] «Первый день счастья» *(франц.)*.

отчасти *еврейская* кровь. Но та же кровь текла и в жилах Мейербера; а между тем между «Гугенотами» и «Фаустом» чувствуется целый промежуток, в который настроения и вкусы получили иной оттенок. Но я не скажу, чтобы на Лирическом театре, где первоначально был поставлен «Фауст», представления этой оперы были тем, что французы называют «un succès monstre»[1]. Правда, ее давали постоянно, но она не вызывала тех энтузиазмов и тех протестов, какие обыкновенно выпадают на долю произведениям более смелых и самобытных творцов. Рядом с Гуно — Амбруаз Тома добился славы «Миньоной» и «Гамлетом», но его и в Париже никто не считал новатором. Он представлял собою французские традиции и занял после Обера место директора консерватории.

Вагнер — вот композитор, сделавшийся на наших глазах главным мерилом того, *как* развились и преобразовались музыкальные идеи и вкусы парижан. Тридцать лет разделяют первую постановку «Тангейзера» в Большой парижской опере и последнюю, бывшую в позднейшее время. «Тангейзер» остался все той же самой оперой, но парижская публика изменилась, как французы любят выражаться, «du tout ou tout»[2]. Нужды нет, что и в последние годы при постановке «Лоэнгрина» вышла антипрусская уличная манифестация, но дело противников Вагнера, как высокодаровитого представителя немецкой музыки, было уже проиграно.

Меня познакомили со старым французским писателем, игравшим когда-то роль в движении романтиков из группы, прозванной в свое время «les burgraves», — Альфонсом Руайе, знатоком истории европейского театра, составителем нескольких либретто (в том числе либретто оперы «Фаворитка»*) и переводчиком испанских драматургов. Ко мне он обратился с просьбою составить ему очерк развития нового русского драматического театра. В течение одной зимы я довольно часто видался с ним, и вот от него-то получил я самые точные сведения о «провале», постигшем первое представление «Тангейзера». Альфонс Руайе был как раз в то время

---

[1] чудовищный успех *(франц.)*.
[2] полностью *(франц.)*.

директором Оперы. Теперь по поводу окончательного торжества и «Тангейзера», и других опер Вагнера в Париже вспоминали подробности этой истории. Альфонс Руайе сам по себе не был восторженным неофитом[1] вагнеровской музыки, но считал «Тангейзера» очень замечательной вещью. Он говорил мне, что опера, наверно, прошла бы благополучно, если бы тогдашние поклонники Вагнера держали себя поскромнее. Вдобавок и тут примешалась политика. Опера была патронирована женой австрийского посланника, княгиней Меттерних, и фрондирующая публика смотрела на нее как на вещь, навязанную придворными сферами; а этого было совершенно достаточно. Но, разумеется, четыре пятых всех тогдашних оперных habitués[2] были слишком французских вкусов, чтобы оценить красоты «Тангейзера».

Теперь для любого француза «fin de siècle» такого рода непонимание кажется не только варварским, но совершенно немыслимым, и всего замечательнее, что после войны рядом с выходками шовинизма, обращенными и на Вагнера, культ его разрастался с поражающей быстротой. Теперь всякий «декадент», каждая светская барынька захлебываются, говоря не то, что о вагнеровских операх первой манеры, но о последних продуктах его творчества, — о «Нибелунгах», «Тристане и Изольде» и «Парсивале». Расспросите кого угодно — кто посещал в последние годы представления в Байрейте, и все вам скажут, что число французов всегда очень значительно.

Да, в тридцать лет и по части музыки много утекло воды в Париже. Мы, русские, привыкли повторять, что французы — *антимузыкальная нация*. Вообще это, пожалуй, довольно верно, и до сих пор, несмотря на гораздо высшую культуру и на то, что музыкальное образование и творчество имеют там несравненно более обширную историю, чем, например, у нас, — все-таки же каждый русский, особенно сорок лет назад, поживя в Париже, да и в любом французском городе, приходил к выводу, что музыка и музицирование — совсем не выдающаяся склонность французов. Контраст с Германией выходил даже разительный, да и до сих пор он довольно

---

[1] новым приверженцем (от *греч.* neophytos),
[2] завсегдатаев *(франц.)*.

крупный. У нас, например, не говоря уже о немцах, и в литературных кружках, и в среде научной интеллигенции, давно уже замечается симпатичное отношение к музыке, а в Париже очень многие писатели, поэты, журналисты, критики не церемонились высказывать свое равнодушие и даже некоторую враждебность к области звукового творчества. Фраза покойного Теофиля Готье сделалась исторической: он называл музыку самым дорогим из шумов (le plus cher de bruits). И этот оттенок отношения к музыке вообще я еще находил во многих французах 60-х годов и дальнейших десятилетий, начиная все с того же Франсиска Сарсе; а заметьте, что он по званию рецензента давал постоянные отчеты не только о драмах и комедиях, а также о всех операх и оперетках, как о драматических произведениях.

До войны очень редко можно было встретить молодых или пожилых людей с музыкальным образованием или даже грамотностью. Барышни, конечно, бренчали и там, как бренчат и до сих пор во всех европейских странах, но самое фортепьяно для многих истых французов — предмет довольно-таки явной антипатии. В хорошо содержимых парижских домах не позволяют играть на фортепьянах в квартирах дольше известного часа; а вряд ли такой запрет существует в Германии; у нас же по этой части полная свобода, которой многие пианисты и пианистки злоупотребляют в ущерб ночному спокойствию своих соседей. Даже и то, что комическая опера развилась именно во Франции и в Париже, показывает преобладание во французских вкусах музыкальности особенного рода. Французу нравится милый остроумный *куплет*. Музыка должна развлекать его, а не подавлять, не захватывать. Иначе давным бы давно бросили манеру пересыпать мелодии, хоры и morceaux d'ensemble[1] не речитативами, а просто разговорами в прозе.

И, проживя несколько сезонов в Париже, я все-таки имел повод, как и все почти иностранцы, находить, что французская публика в массе — все еще мало склонна к наслаждению чисто звуковым творчеством; но отсталость этой столицы мира по части серьезной музыки и немцы, и мы, русские, преувеличиваем, прежде чем не

[1] оркестровые пьесы *(франц.)*.

познакомимся побольше с парижским музыкальным движением.

Начать с того, что Парижская *консерватория* — одно из самых старых и почтенных учреждений. Ей теперь более ста лет, и специалисты-музыканты прекрасно знают, что она дала, какие у нее преподаватели и каких учеников она выработала, и как композиторов и как виртуозов. Государство и тут поддерживало развитие этой области искусства, да и до сих пор отправляет на казенный счет кончивших курс с отличием, правда, по раз заведенному обычаю — *в Рим,* почему такие ученики и называются «des prix de Rome». На это нет теперь никакого резона, ни для композиторского высшего развития, ни для виртуозного. Рим, ни в том, ни в другом смысле, ничего не представляет собою особенно замечательного. Но стипендиаты правительства, раз попав в prix de Rome, имеют больше средств доразвивать себя на свободе с материальной поддержкой.

Парижская консерватория и к половине 60-х годов, как высшее музыкальное учреждение, стояла достаточно высоко и могла выдерживать конкуренцию с консерваториями в Брюсселе, Лейпциге, Дрездене или Вене. Она имеет и до сих пор самую прочную и обширную организацию. С характером ее музыкального преподавания и традициями я в первую же мою парижскую зиму 1865—1866 года познакомился из прямого источника. Несколько русских, и я в том числе, пожелали дополнить свое теоретическое музыкальное образование и прошли курс гармонии у одного из тогдашних преподавателей консерватории, носившего немецкую фамилию Дангаузера, хотя он был чистый парижанин и произносил свое имя «Данозер». Он был сам ученик известного теоретика гармонии и контрапункта Александра Базена, который именно в тот сезон выступил перед публикой Комической оперы с веселой музыкальной комедией «Voyage en Chine»[1]. Она потом обошла все опереточные сцены и была даваема у нас в Москве, в Эрмитаже Лентовского.

Каждый ученик консерватории, рассчитывающий на то, чтобы кончить курс с отличием, особенно желающий посвятить себя карьере композитора, проходит весьма

[1] «Путешествие в Китай» *(франц.).*

серьезную и теоретическую и практическую выучку. А вкусы публики консерватория поддерживала на значительной высоте своими всемирно известными концертами, где уже давно классическая немецкая музыка играла выдающуюся роль. На консерваторские концерты попадать было не так легко и до конца 60-х годов большая парижская публика еще лишена была сравнительно дешевых музыкальных удовольствий. Инициатором по этой части явился некий Падлу, капельмейстер, открывший в здании зимнего цирка популярные концерты, на которых рядом с вещами Бетховена, Гайдна, Моцарта, Мендельсона и Шумана стали исполняться все чаще и чаще и произведения еще недостаточно признанных французских композиторов, как Берлиоз, и начинающих композиторов, сделавшихся после войны создателями новой французской драматической музыки. И Вагнер стал этим же путем попадать в обиход парижских концертов.

Большая опера до ее пожара в старом здании rue Lepelletier на нас, русских, не производила особенного впечатления; и самая зала уступала размерами и свежестью отделки тогдашнему петербургскому Большому театру; да и исполнение стояло не очень высоко. Мы были уже избалованы блистательной итальянской оперой за целую серию сезонов в первой половине 60-х годов. И Париж имел тогда итальянскую оперу в Salle Vantadour, даже с Патти в один из сезонов. Но театр этот, содержимый частным антрепренером, окончательно не привился в Париже; и то, что мне приводилось видеть и слышать, — стояло гораздо ниже тогдашней петербургской итальянской оперы. Комическая опера до ее пожара занимала, по-моему, самое центральное место в оперном мире Парижа. Вы чувствовали, что тут бьется жила общенародных музыкальных вкусов. Каждый буржуа считал и до сих пор считает долгом повести свою жену и детей хоть два-три раза в год в балкон или ложу Комической оперы. Во вторую половину 60-х годов Лирический театр, созданный Корвало и его талантливой женой, колоратурной певицей, по репертуару стоял выше. В нем чувствовались новые веяния; он сделался той лирической сценой, где Гуно добился самых крупных успехов. Там же поставили и оперу Вагнера первой манеры — «Риэнзи», которая прошла (не так, как «Тан-

гейзер») без всякого скандала и была оценена довольно сочувственно тогдашней музыкальной критикой.

Еще сильнее бился музыкально-литературный пульс Парижа конца Второй империи в оперетке. Судьбе угодно было, чтобы не француз, а кельнский еврей, Жак Оффенбах, сделался характернейшим выразителем этой опереточной эпохи, прогремевшей на всю Европу в течение по крайней мере четверти века. В оффенбаховской оперетке многих из нас привлекали не скабрезность, не беспардонное шутовство, а несомненный талант, оригинальность мелодий и всей фактуры и удачное сочетание музыкальной сатиры с сатирой немного в аристофановском роде. Мельяк и Галеви — самые даровитые сотрудники Оффенбаха, может быть, и сами того не желая, предавались беспощадному вышучиванью разных общепризнанных классических коньков и, конечно, работали над ускорением той анархии, какая теперь замечается во всех сферах мысли, искусства и общественной жизни. Теперь можно сказать, что в год всемирной выставки 1867 года Париж, а за ним и вся Европа, всего больше увлекался опереткой и заставлял даже венценосцев хохотать над карикатурным изображением многого, что им лично должно быть особенно дорого. В этой полосе музыкального творчества было, несомненно, что-то своеобразное и неумышленное; и нельзя сказать, чтобы опереточный жанр помешал в Париже развитию более серьезного музыкального искусства. Вовсе нет! И симфоническая и оперная музыка двигались вперед.

Париж становился музыкальнее в своих привычках и вкусах. Только иностранцам, особенно русским, легко всегда впасть в ошибку, говоря о музыкальной жизни в Париже, если они сравнивают, например, сезон там и здесь. У нас появление каждого нового виртуоза — гораздо более событие, чем в Париже. Там до последнего времени не было даже таких обширных зал, как у нас. Какая-нибудь Salle Pleyel или Salle Erard сравнительно скромные помещения; но в них перебывали и в 60-х и в 70-х годах все те знаменитости, какими увлекались петербуржцы и москвичи, начиная с незабвенного А. Г. Рубинштейна. В этом смысле парижане и вообще французы менее податливы. В Париже репутация виртуоза может закрепиться, получить всемирную

известность, но он не найдет такого повального увлечения, как в наших столицах.

Мне кажется, что музыкальное творчество французов чрезвычайно поднялось в Третью республику в последнюю четверть века; но все композиторы, признанные теперь на обоих материках: Сен-Санс, Рейер, Массне и их более молодые сверстники — все воспитались в Париже, прошли французскую выучку и потом уже восприняли все то, что творчество немцев дало обновляющего и могучего. Один такой талант, как покойный Бизе с его «Кармен», достаточен, чтобы поставить французское оперное композиторство на подобающую высоту. «Кармен» — типичнейшая опера конца XIX века и самая популярная во всем свете. Но при ее первоначальной постановке в Париже она решительно успеха не имела, и Бизе умер огорченным и полупризнанным у себя дома.

О прежнем непонимании, от которого страдал так долго, до самой смерти, Берлиоз — теперь и речи нет. Каждый сколько-нибудь талантливый композитор, добившийся постановки своей оперы, встречает уже более подготовленную почву. Правда, что до сих пор раздаются в молодых музыкальных кружках Парижа горькие жалобы на то, что пробиться на одну из музыкальных сцен Парижа чрезвычайно трудно, но это доказывает только, что предложение сделалось уже очень обширно, а предприимчивости для создания новых музыкальных сцен не хватает. В конце концов это есть косвенное подтверждение того, что в Париже музыка — и драматическая и оркестровая — может рассчитывать только на известную долю публики. Масса все еще нуждается в дальнейшей подготовке потому, что она по своим традициям и прирожденным свойствам не так склонна к ощущениям и восприятиям музыкальных наслаждений, как немецкая и славянская.

В новом здании Опера (стоившая городу Парижу и государству столько миллионов) волей-неволей подчиняется идеям и вкусам публики; но, в общем, нельзя сказать, чтобы за последние десять — двадцать лет она, как любят выражаться французы — «à bien mérite de la patrie»[1]. Репертуар ее все-таки же беден. Предприятие

[1] оказала важную услугу отечеству (*франц.*).

это в руках антрепренеров, получающих государственную субсидию; а субсидия эта, по нынешним временам, довольно умеренная. Никто что-то не говорит, чтобы в парижской Опере последнего времени сложилась какая-нибудь самостоятельная *школа* пения и чтобы ее можно было поставить по общему уровню музыкальности наряду с оперными театрами Берлина, Вены и даже Петербурга. Русские справедливо находят, что и зала *новой* Оперы, которая теперь уже успела позакоптиться, не представляет собою ничего особенно грандиозного. Она сравнительно тесна, и ее отделка, стоившая таких денег, тяжеловата и чересчур задавлена однообразной декоративной позолотой. Только фойе и лестницы вестибюля отвечают идее «Национальной академии музыки», как Опера до сих пор официально величается во Франции.

После империи мне случалось попадать в Париж почти исключительно в весенние сезоны; раза два-три проезжал я им и зимой, но не имел случая ближе знакомиться с тем, что теперь парижская публика получает в симфонических концертах. Ни весной, ни летом их обыкновенно не дают; но они очень развились. Инициатива Падлу пала на хорошую почву. Концерты Ламурё и Колонна вошли теперь уже в обиход парижских музыкальных удовольствий, и оба эти капельмейстера постоянно расширяли свои программы, знакомили публику не только с произведениями своих соотечественников, но и с русскими композиторами, и с скандинавскими, и в особенности с Вагнером. Словом, *вагнеризм* теперь — характернейший признак нового интеллигентного Парижа, объединяющий собою различные оттенки литературного и художественного движения.

О другой столице мира в смысле музыкальном приходится сказать немного. В Лондоне, как в 1867—1868 годах, так и в последнюю мою поездку, я не нашел самобытного музыкального движения. Ни в камерной музыке, ни в драматической не всплыло решительно ни одного крупного имени, которое могло бы быть поставлено наряду, например, с лучшими теперешними французскими композиторами. Едва ли не в одной об-

ласти оперетки заявил себя в последние годы довольно приятный композитор, мистер Сёлливан, оперетка которого «Микадо» обошла всю Европу и Америку. Музыкального творчества и в Лондоне вчерашнего дня вы не видели, как бы вы старательно ни искали его. Довольно того, что столица Великобритании и вся Британская империя не имеет до сих пор *ни одного* сколько-нибудь сносного национального театра для серьезной оперы, где поют на английском языке, хотя бы и иностранный репертуар. Опера была всегда в Лондоне синонимом *итальянской оперы.* Но и в этой области меломании не заметно особенно ярких успехов, даже в смысле новых предприятий. В конце 60-х годов, во время лондонского сéзона, всегда действовали два оперных театра: *Ковентгарден* и *Друри-Лэн.* В 1895 году в Друри-Лэне уже давались драматические спектакли. Там играла, между прочим, Дузе, а к зиме там ставят пьесы à grand spectacle[1].

Зато как ярмарка оркестрового и виртуозного исполнения Лондон не теряет своего всемирного значения. Это, действительно, такая музыкальная ярмарка, какую вы не найдете нигде. Ежедневно, во всевозможных Halls: и в огромных залах, и в залах средней руки, и в зданиях выставок, вплоть до классического Хрустального дворца, — даются концерты, и симфонические, и вокальные, и разными виртуозами, вплоть до феноменов, мальчиков и девочек, от восьми до двенадцати лет. Английская публика, наезжающая в Лондон на сéзон, огромная потребительница звуков. Это входит в обязательную программу британских удовольствий, и нельзя сказать, чтобы вся эта публика была совершенно невежественна в музыкальном отношении. Высшее общество и вообще образованные классы слишком много ездят на континент, а стало быть, имеют случай слышать в большом количестве хорошую музыку. Классические немецкие вкусы и в последнее время вагнеризм едва ли не больше распространены в Англии, чем даже во Франции. Самое отборное итальянское пение сезонные посетители Лондона слушают уже не один десяток лет и потому могут быть требовательными. Правда, зала Ковентгардена на

[1] с большой роскошью *(франц.).*

вкус свежего человека до сих пор еще является одним из ярких образчиков британской китайщины. Туда, как известно, не пускают мужчин иначе, как в бальных туалетах. Но это уже оттенок светских английских обычаев. Такая парадность нисколько не мешает ни хорошему исполнению, ни внимательному слушанию; напротив, она поднимает даже настроение. И образованные англичане считают своим долгом относиться к музыке чрезвычайно серьезно, почти с благоговением, только такого рода общераспространенный культ не вызывает к жизни творческих способностей ни в серьезном, ни даже в легком роде.

Я не интересовался настолько музыкальной образованностью лондонцев и вообще англичан, насколько я это делал в Париже; но, судя по общеизвестным статистическим фактам, музыкальная грамотность англичан тоже поднялась, а дилетантство достигло даже весьма обширных и, увы, для всех континентальных иностранцев, довольно-таки тяжких размеров. Теперь в любом доме, и буржуазном и аристократическом, вы не уйдете от музыкальных «exhibitions»[1], и на разных инструментах, и вокальных. Вот вокальные-то упражнения всего рискованнее; а между тем юные мисс имеют к ним болезненное пристрастие, в особенности к песням и романсам немецких композиторов — Мендельсона и Шумана.

Если вы ограничиваетесь чисто личными интересами туриста, лондонский музыкальный сезон может вам дать массу всякого рода художественных ощущений. Красота не имеет отечества, и каждый вправе утешаться и тем, что ему гораздо приятнее слушать прекрасных итальянских певцов, превосходные симфонические концерты и всемирно известных скрипачей, виолончелистов, пианистов, певцов и певиц, чем несомненно английские, но плохие продукты музыкального творчества и мастерства. Но всего этого он вкусит, даже в огромном количестве, только под условием порядочных расходов. И опера и концерты в Лондоне дороги, но они почти так же дороги и в Париже. Поэтому более демократическая часть публики в обеих столицах мира тогда только будет делаться музыкальнее в своих вкусах, когда

[1] представлений *(англ.)*.

самая лучшая музыка будет доставляться ей за дешевую цену, как это делается повсюду в Германии. В Лондоне хорошая музыка — достояние богатых и очень достаточных людей; в Париже — также, хотя она немного и доступнее. А масса и по ту сторону Канала, и по сю сторону, и в Англии, и во Франции, остается еще с той музыкальной неразвитостью, которая очень часто неприятно поражает иностранцев, по праву считающих свою расу гораздо восприимчивее к области музыкальной красоты.

VIII

Театральное дело в Париже. — Курсы декламации. — Мои воспоминания за тридцать лет. — «Вольный театр». — В чем Лондон ушел дальше Парижа. — Зрелища и увеселения. — Царство кафешантана. — Куда идет шансонетка. — «Chat noir»[1]*. — Как стоят легкие зрелища в Лондоне. — Театральные залы в обеих столицах, их нравы и обычаи. — Кляка. — Двинулся ли вперед английский репертуар? — Успехи техники во всех лондонских зрелищах.*

Театр! Вот чем Париж будет еще привлекать культурное человечество многие десятки, а может быть, и сотни лет. Его уличная и бульварная жизнь немыслима без театров. Отнимите вы этот вид вечерних удовольствий у континентальной столицы мира — и Париж превратится в город, который сам по себе прелестью положения и красотой художественных памятников, климатом и комфортом жизни занимал бы совсем не первенствующее место.

В 1865 году я отправлялся в Париж не из глухой провинции, а после пяти зим, проведенных в Петербурге, в городе, где все тогдашние шесть казенных сцен были совсем не плохи, а некоторые даже стояли и очень высоко, как, например, французский театр, итальянская опера или балет. Да и Александринский театр (особенно для молодого человека, учившегося долго в тихом немецком университетском городе, без всяких зрелищ) представлял большой интерес и по репертуару и по исполнению. В начале 60-х годов у нас

[1] «Черная кошка» *(франц.)*.

начали ставить шекспировские драмы с такими исполнителями, как Самойлов, Сосницкий, Фанни Снеткова. И бытовая комедия давала такому самородному и сильному таланту, как покойный Павел Васильев, возможность показывать себя в целом ряде характерных ролей. С именами Самойлова, Павла Васильева и Линской (теперь все они уже покойники) связаны были и мои дебюты как драматического писателя в 1861 году на сцене Александринского театра, когда я ставил в бенефис Павла Васильева свою комедию «Однодворец», данную вскоре потом в Москве в бенефис П. М. Садовского с блистательным персоналом.

Стало быть, повторяю я, мои впечатления от парижского театрального мира не падали на совершенно девственную почву. Да и раньше, еще юношей, с первой половины 50-х годов я имел случай познакомиться довольно хорошо с труппой Московского Малого театра, когда действовал еще покойный М. С. Щепкин. Его памяти и посвящены статьи, напечатанные мною в одном из толстых журналов по возвращении из Парижа в 1866 году под заглавием «Мир успеха — очерки парижской драматургии» (я уже упоминал о них выше).

Театр был всегда той формой творческого искусства, которая всего сильнее привлекала меня к себе. И первая вещь, с какой я выступил в печати, была комедия. В Петербурге с конца 1860 до половины 1865 года я очень много жил театром как драматический писатель, ставивший пьесы, и как рецензент, сначала сотрудник «Библиотеки для чтения», а потом сам издатель и редактор. Естественно, что в Париже на правый берег Сены меня тянули всего больше театры, хотя я в первый мой парижский сезон и не отдавался еще так изучению театрального *дела* во всех его деталях, как приступил к этому со второго моего сезона, то есть с 1867 года. Тогда я задался систематической программой: знакомиться не только во всех подробностях с состоянием французской игры и репертуаром всех парижских театров, но также и с сценическим *преподаванием,* и не в теории только, а и на практике. Тогда же у меня родилась мысль по прошествии нескольких лет написать книгу о театральном искусстве, что я и выполнил позднее *, в 1872 году. Может быть — теперь я могу это сказать попутно, — во мне еще бродило тогда желание, не бросая

своей литературной дороги, отдаться театру и не в одном только качестве драматического писателя и критика.

В первые же месяцы, проведенные мною в Париже, я искал знакомства старейшего из сосьетеров[1] Французского театра, Сансона, занимавшего когда-то на первой сцене Франции первое комическое амплуа. Об этом ветеране классической комедии я говорю в статьях «Мир успеха» довольно подробно и привожу даже образчики его мнений и оценок. Старик смотрел на себя как на руководителя Рашели, которому знаменитая трагическая актриса обязана всем своим развитием. В нем жила непоколебимая твердость принципов высшей игры, как ее понимали его сверстники, и он не мог без раздражительных протестов говорить о «разнузданности романтизма» и его тогда уже одряхлевшего представителя «великого» — на оценку романтиков — Фредерика Леметра. С разрешения Обера я посещал и классы Сансона в консерватории, но гораздо больше занялся этим заведением в следующий сезон и считал нужным для полноты своей подготовки брать уроки декламации у частных профессоров в течение целых двух сезонов.

Из них самым замечальным — я к нему попал не к первому — был старик Ашилль Рикур. Он не играл ни на какой сцене как профессиональный актер, а был первоначально по профессии живописец и с молодых лет пристрастился к выразительному чтению, сначала в мастерских, потом в разных литературных кружках. Рикур знавал еще знаменитого Фурье и по идеям своим считал себя свободным мыслителем. Он послужил мне моделью лица учителя декламации в романе «Солидные добродетели». Им была основана практическая сцена, называвшаяся «École lyrique»[2], хотя на ней исполнялись почти исключительно драмы и комедии, а не оперы или отрывки из них, в той самой rue de la Tour d'Auvergne, где жил когда-то и Сарсе. В зале этого театрика (долго бывшего почти единственной порядочной практической школой для начинающих) Рикур вел свой курс три раза в неделю, в дообеденные часы. Он не считал себя ни строгим классиком, ни романтиком, и выра-

---

[1] постоянных членов труппы (от *франц.* sociétaire).
[2] «Школа лирики» *(франц.)*.

ботал себе прекраснейшую манеру произносить стихи и прозу. Такого чтеца и декламатора я положительно нигде потом не встречал ни среди актеров, ни среди тех профессиональных чтецов, которые в последнее время стали исполнять перед публикой целые пьесы, как, например, известный венский преподаватель декламации Стракош.

Рикур очень ценил хорошую поэзию и давал разучивать не одни только отрывки из трагедий и комедий классического репертуара и некоторых новых пьес, а также и стихотворения — небольшие поэмы, даже сонеты, любил он и басни и читал и произносил их в совершенстве. Я был очень счастлив выразить ему мою искреннюю признательность в предисловии книги «Театральное искусство» *. К нему ходил всякий молодой народ, большею частью без подготовки, с очень малым образованием: разные девчоночки, дочери мелких буржуа, а иногда и привратниц; комми[1], студенты, начинающие адвокаты или более или менее подозрительные девицы и барыньки, желающие ставить на своих карточках: «artiste dramatique»[2]. Серьезнее занимался он с теми, кто брал у него уроки на дому, в том числе и я, и на этих уроках я столько же сам упражнялся, сколько слушал его декламацию. И рассказы Рикура были чрезвычайно интересны. Он принимал участие в революции 1848 года, находился в приятельских отношениях с драматургом Понсаром и тогда еще бывшим в живых критиком Жюлем Жаненом, впадавшим уже в старческую болтовню в своих фельетонах. Манеру игры и декламации актеров «Comédie Française» Рикур считал устарелой, напыщенной, охотно любил передразнивать многих актеров и актрис, в том числе и покойницу Рашель, часто повторяя, что в последние годы она тоже значительно изломалась и выезжала на внешних эффектах, утратив от болезни свой прежний прекрасный орган. Рикур умел ценить все, что было живого, свежего, нового и характерного в самых даровитых актерах-романтиках — в Фредерике Леметре, Бокаже, Мари Дорваль, Мелэнге и старике Буффе — этом французском Щепкине, с которым я имел случай познакомиться на

---

[1] приказчики (от *франц.* commis).
[2] драматическая артистка (*франц.*).

вечере у Сансона, а потом видел его на сцене всего один раз, в каком-то бенефисном спектакле.

Для меня Рикур представлял собою живую летопись сценического Парижа, по крайней мере за сорок лет; ему уже тогда было сильно за шестьдесят. Он дожил до войны и Коммуны, и в последний раз в августе 1871 года я навестил его и нашел совсем больным, незадолго до его смерти, все в том же старинном двухэтажном доме, стоявшем на дворе, с высоким крылечком, в тех же низких душноватых комнатах, увешанных картинами старых мастеров. Он был в особенности большой ценитель испанской живописи и любил поговорить о Мурильо, Веласкесе, Рибере и Сурбаране. С этим характерным стариком умерла целая эпоха. И никто из французов — ни один актер, ни один литературный критик, не давали вам такого понимания героических типов, как Рикур. Для нас было всегда великим праздником подбить его на исполнение в лицах первого акта «Мизантропа». И до сих пор, по прошествии целых сорока лет, я еще слышу эти интонации и возгласы, в особенности начало знаменитой тирады Альцеста: «Non, elle est générale, et je hais tous les hommes!» [1]

В консерватории выдающимися преподавателями были: Огюстина Броган — знаменитая субретка 50-х годов, Брессан — бывший любимец петербургской публики, и Ренье. Я посещал классы обоих в качестве иностранца, интересующегося преподаванием. Нельзя было сказать, чтобы тогда эти преподаватели поддерживали рутину классической декламации. И тот и другой стояли за простоту и естественность; но эти требования касались больше комедии. А декламация в классических трагедиях и стихотворных драмах все так же отзывалась условной певучестью и подвинченностью тона. Брессан занимал еще первое амплуа в светских пьесах и даже играл героические роли в стихотворных драмах, вроде, например, роли Карла V в «Эрнани» Виктора Гюго. Он играл и мольеровских героев — Альцеста и Дон-Жуана. Старички, помнившие его еще молодым человеком и в Париже и в Петербурге, будут вам непременно повторять, что такого jeune premier никогда впоследствии не бывало. На нашу оценку, в половине 60-х

---

[1] Нет, она общая, и я ненавижу всех людей! *(франц.)*

годов (когда Брессану уже было за пятьдесят лет), он представлял собою очень законченный образец высоко приличной и часто тонкой игры, держал себя немножечко чопорно, одевался в строгом стиле, говорил в светских ролях с изящной простотой, но стихи читал все-таки же с некоторой певучестью.

Создавать что-нибудь крупное, яркое он не был в состоянии. И тогдашние критики, даже самые снисходительные, находили, что Альцест ему не удавался; и Дон-Жуана он играл суховато, хотя и в очень хорошем тоне. Но по традиции Брессан считался irrésistible[1], как интересный мужчина, способный нравиться каждой зрительнице бельэтажа и балкона. Он брал не страстью, а женолюбивыми интонациями, тоном бывшего покорителя сердец; а на эту удочку ловилась вся женская половина залы.

Настоящим «первым любовником» классической комедии считался не он, а Делоне — самый совершенный продукт французской сценической школы в половине XIX века. Уже и тогда ему шел пятый десяток, а со сцены в костюме и пудреном парике он казался еще юношей. Таких примеров поразительной моложавости немного можно найти в истории всего европейского театра за целое столетие. Его манера читать стих отзывалась, разумеется, традиционной выучкой консерватории; но в пределах ее он создал себе необычайно пленительные интонации, умел «ворковать», как никто, и произносить, когда нужно, горячие и негодующие тирады. И почти таким же молодым, способным восхищать зрителей изяществом манер, искренностью тона и мелодичностью переливов голоса, он оставался вплоть до своей отставки, когда он уже вступил в старческий возраст и был награжден за свою более чем сорокалетнюю службу орденом Почетного легиона. Тогда Делоне — профессор консерватории — был седой, розовый старичок и все с тем же молодым, красивым и задушевным голосом.

Товарищ Брессана по преподаванию в консерватории во второй половине 60-х годов — покойный Ренье считался по праву самым развитым и тонким актером и для мольеровской комедии, и для пьес современного репертуара. Он мог служить примером артиста с очень

---

[1] неотразимым *(франц.)*.

бедными внешними средствами, достигшего художественности внутренней работой, умом, тонким пониманием и артистической отделкой своих ролей. В первый мой зимний парижский сезон Ренье имел большой успех в пьесе Эмиля Жирардена и Дюма-сына «Le supplice d'une femme»[1]. И этот *комик*, исполнявший в мольеровской комедии классическое амплуа Маскариллей и Скапенов, играя пожилого обманутого мужа, трогал вас чрезвычайно правдивым изображением своего горя и душевной борьбы, не прибегая ни к каким внешним эффектным приемам. И как преподаватель в консерватории Ренье стоял гораздо выше своих сослуживцев. Он чрезвычайно горячо относился к ученикам, умел заставлять их работать, не пропускал без внимания ни одной интонации, не жалея себя. Коклен-старший был его любимым учеником и уже действовал во Французском театре с блестящим успехом к половине 60-х годов.

И тогда, и впоследствии до самых последних годов, то есть в течение целых сорока лет, французская сценическая выучка сводилась почти исключительно к выработке *дикции*. В этом состоит неоспоримое преимущество французов. Но после нескольких лет, проведенных в консерватории, молодой актер или актриса выходит, в сущности, с очень односторонней подготовкой; они умеют декламировать стихи, на известный лад произносить прозаические тирады, вести диалог; но их не учили в консерваторских классах создавать характеры, носить костюм, разработывать свою мимику и жестикуляцию. Не всякий поверит тому, что в Парижской консерватории вовсе не было ученических спектаклей. Самая большая зала драматического отделения устроена как театр, с подмостками и кулисами; но ни сорок лет тому назад, ни теперь спектаклей на ней не ставят, и преподавание состоит исключительно из исполнения отрывков, без костюмов и гримировки, и добрая половина года уходит на подготовление к конкурсу, то есть к переходному или к выпускному экзамену. Ничего нет удивительного, что большинство французских актеров и актрис, получивших выучку в консерватории, не имеют оригинальности, все почти вылиты в одну форму; они слишком долго предаются исключительно декламации и волей-

[1] «Мученье женщины» *(франц.)*.

неволей должны перенимать манеру своих преподавателей; а главный учитель у них всегда по выбору, *один* из четырех или пяти профессоров консерватории — система, которая вводилась и в преобразованные театральные училища нашей императорской дирекции в Петербурге и Москве.

Замечания, какие я делал, явились уже результатом очень долгого знакомства со сценическим искусством, и не в одном Париже, а во всей Европе. Но тогда, по приезде моем в Париж, я все-таки же, в общем, был приятно захвачен разнообразием и блеском тамошней театральной жизни, хотя и тогда уже мог с известной разборчивостью относиться к моим впечатлениям. Для меня, да и для каждого приезжего, было несомненно, что Париж, по части театрального дела, и в репертуаре и в исполнении, *на материке* Европы был самой большой лабораторией и пьес, и актеров, и целых театральных предприятий. В пять лет, до конца Второй империи, я, конечно, пересмотрел *все* то, что на обоих берегах Сены было сколько-нибудь замечательного. Даже и маленькие театры не оставлял я без внимания в предместьях, где за дешевую плату мелкая буржуазная и увриерская[1] публика смотрит большею частью те же пьесы, которые имели успех в хороших театрах. И тогда уже можно было подвести итоги всему этому «миру успеха» — я недаром так озаглавил мои очерки парижской драматургии, написанные в Москве в 1866 году.

Успех во что бы то ни стало — вот рычаг театрального дела, и не в одном Париже! Но в Париже, как в огромном городе, с которым может конкурировать только Лондон, — это самый исключительный и могущественный рычаг театральной жизни. И с каждым пятилетием рычаг этот делается настоятельнее и настоятельнее. Стоит только сравнить Французский театр при Второй империи с тем, что мы видим в нем в последние десять, пятнадцать лет. Театр этот — национально-государственный, управляется директором от правительства, то есть от министерства народного просвещения и искусства, и в то же время представляет собою товарищество актеров, пользующееся привилегией, гарантированной правительственной властью с значительной субси-

---

[1] рабочая (от *франц.* ouvrier).

дией на основании декрета, подписанного Наполеоном I в Москве в 1812 году* и известным под именем «décret de Moscou»[1]. Всякое же такое товарищество будет естественно стремиться заработывать возможно больше. Но в конце Второй империи Французский театр все-таки же стоял по принципу выше обыкновенной промышленной конкуренции.

Он, несомненно, более носил на себе характер *национального учреждения*, поставленного государством и правительством в такие условия, чтобы сделать его независимым от меркантильных интересов. Так оно до Третьей республики и было, если не вполне, то в значительной степени. Общники-сосьетеры, составлявшие и тогда товарищество актеров, сдерживали свою любовь к наживе и довольствовались меньшими доходами. Сборы были иногда не очень блистательны, а в летние сезоны даже и совсем плохие, опускались до 500 франков в вечер. И все-таки вы, попадая на спектакли с полупустой залой, получали за свои деньги целых две классических комедии в десять актов и восхищались игрой таких артистов, как Сансон, Ренье, Го, Брессан, Делоне, а из женщин сестры Броган, Натали, Виктория Лафонтен. И цены мест были ниже теперешних, хотя субсидия была все такая же.

В половине 70-х годов под управлением директора Перрена, с которым я лично был знаком, Французский театр оживился. Ему посчастливилось поставить несколько новых пьес, имевших большой денежный успех. И если классическая комедия не имела уже такого блистательного ансамбля, как двадцать лет перед тем, то трагедия и драма нашли себе молодых и даровитых исполнителей. А трагедия вообще во второй половине 60-х годов стояла очень невысоко, и из мужчин не было даже ни одного актера, способного интересовать публику. А тут явился Муне-Сюлли, приглашена была с «Одеона» Сара Бернар, расцвел талант Коклена, выступили новые актрисы — Круазет, Барте — на героические и светские роли. После войны и Коммуны Французский театр стал приобретать новый, как бы патриотический интерес. Для всех слоев парижского общества он сделался любимым местом театральных сборищ. Аппетиты

---

[1] московский декрет *(франц.)*.

сосьетеров также стали разрастаться с тех пор, как сделалось для дирекции обязательным добиваться высших вечеровых сборов в шесть и *семь* тысяч франков, чего при Второй империи и в помине не было. Все такие же крупные сборы продолжались и в последующие годы при директорстве Кларти, с которым я также имел случай видаться и прежде, до его поступления в администраторы Французского театра, и после.

Но и до войны, и после нее театральное *дело* в Париже, в общих чертах, двинулось, сравнительно менее, чем в других центрах европейской жизни, и качественно и количественно. Каждый отдельный театр из самых выдающихся, разумеется, в том или другом смысле изменился; но и тогда и теперь число парижских театров, имеющих художественное значение — почти одно и то же. Кроме Французской комедии, это — «Одеон», «Gymnase», «Vaudeville», «Variétés», «Palais-Royal», два главных театра драмы — «Porte St. Martin» и «Ambigu», к ним за последние десять — пятнадцать лет присоединился и «Renaissance», бывший в начале опереточным театром. Как тогда, так и в последние годы, вы могли быть уверены, что вне этих театров вы вряд ли увидите где-нибудь выдающееся литературное произведение, так что репертуар, в котором сказывается художественное творческое движение драматической литературы, попадает только на какую-нибудь полдюжину театров; остальные уже относятся больше к области зрелищ, чем сценической литературы. То же самое и по выполнению.

Вторая империя покончила свою жизнь с такими выдающимися артистическими силами: во Французском театре, как я уже сказал, в области классической *трагедии* не было ни одного крупного таланта. Были только приличные полезности, вроде, например, г-жи Девойод и Мобана. В *драме* действовали Лафонтен, Брессан и Делоне. Хотя настоящая сфера Делоне и была комедия — и мольеровская и новейшая, — но все-таки же в конце 60-х годов он связал свое имя с возобновлением «Эрнани» Виктора Гюго. Из женщин только Фавар была с некоторым темпераментом, видной наружностью и тоном. Зато в комедии персонал был, *в общем*, выше теперешнего: на стороне мужчин опять Брессан, Делоне, Ренье, Го, оба Коклена, Тальбо — и актрисы, о которых я уже упоминал: сестры Броган, Арно-Плесси, блистав-

шая когда-то в Петербурге, старуха Натали, Гранже, Дина Феликс, прекрасная ingénue Виктория Лафонтен, Дюбуа, дуэнья Жуассен и только что начинавшие тогда, впоследствии сделавшиеся первыми сюжетами — Круазет и Баретта.

«Одеон» считался и до сих пор считается официально Вторым французским театром. Он получает субсидию, но находится в руках антрепренера, обязанного исполнять условия на основании своих cahier des charges[1]. В «Одеон» поступают обыкновенно ученики консерватории; но этот театр, послуживший немало сценической литературе и искусству, никогда не мог добиться успеха у большой парижской публики. «Одеон» слишком далек от центра и бульваров, у него своя, больше местная публика. Конкурировать с лучшими частными сценами правого берега Сены ему трудно, почему он и не в силах давать такие оклады первым сюжетам, какие в последнее время стали получать на бульварах.

При Второй империи к труппе «Одеона» почти постоянно принадлежал Бертон-отец, бывший когда-то первым любовником в Михайловском театре на светские и сильные героические роли. Было и несколько недурных комиков, из которых двое перешли впоследствии во Французскую комедию — Тирон и Барре — и считались там из лучших. Из женщин нравилась студенческой публике героиня пьесы Мюрже «La vie de Bohème»[2] — болезненная и вскоре затем умершая Тюлье, а потом — Жанна Эслер, о которой я упоминал, рассказывая про завтраки у Франсиска Сарсе, перешедшая в «Одеон» с одного из хороших театров правого берега — из «Водевиля». Сара Бернар играла в «Одеоне» со второй половины 60-х годов, но еще без громкой репутации; Париж заговорил о ней только после роли *Дзанетто* в пьесе Коппе и «Le Passant», где роль куртизанки создала красивая и талантливая Агар, перешедшая-таки впоследствии во Французский театр.

На бульварах, как и теперь, с причислением театра «Renaissance» (тогда не существовавшего) лучшими сценами были «Gymnase» и «Vaudeville». Но «Vaudeville» перебрался на бульвар только перед самым

---

[1] условий подряда *(франц.)*.
[2] «Жизнь богемы» *(франц.)*.

падением Второй империи, на угол rue de la chaussée d'Antin в здание, построенное городом. Я еще застал старый «Vaudeville», помещавшийся против Биржи. Его имя показывало, что когда-то — и не так давно — он обязан был играть пьесы с куплетами, так как в театральном деле существовала система привилегий, уничтоженная Наполеоном III на наших глазах. Вот почему в первых пьесах Дюма-сына, как «La dame aux camélias» и «Diane de Lys»[1], непременно была вставлена какая-нибудь песенка, чтобы соблюсти формальное правило. В старом «Водевиле» я еще видел «Даму с камелиями», возобновленную для актрисы Дош, которая когда-то в начале 50-х годов первая «создала» роль Маргариты Готье. А роль Армана Дюваля играл с нею актер Фехтер, перебравшийся впоследствии в Лондон, где и сделал блестящую карьеру на английском языке, так как он был родом полуангличанин.

Старый «Водевиль» покончил свою жизнь в первый мой парижский сезон огромным успехом комедии Сарду «La famille Benoiton»[2], с очень хорошо подобранной труппой, где в мужском персонале были комики Парадь, Делануа, Сен-Жермен (все это уже покойники), резонер Феликс, любимец парижской публики, и Февр в роли молодого мужа, вскоре потом перешедший во Французский театр; из женщин — Жанна Эслер и Фаргёль, тогдашняя кокетка и резонерка, и несколько хорошеньких молодых актрис, вроде Манвуа, игравшей впоследствии в Петербурге.

Театры «Vaudeville» и «Gymnase» в конце Второй империи нашел я самыми интересными по репертуару и ансамблю исполнения. На них работали такие драматурги, как Дюма-сын, Сарду, Баррьер, между тем как Французский театр как бы сторонился от произведений самых любимых тогда авторов, за исключением Эмиля Ожье.

Театр «Gymnase» внутри и отчасти снаружи отделан теперь изящнее, чем это было в конце Второй империи, но он занимает все тот же самый дом на бульваре Poissonnière. Вряд ли за целых тридцать лет (за исключением тех сезонов, когда он добился огромного успеха

---

[1] «Дама с камелиями» и «Диана де Ли» *(франц.)*.
[2] «Семья Бенуатон» *(франц.)*.

пьесой Оне «Maître des forges»[1], с актрисой Адэнг), «Gymnase» стоял когда-либо выше, чем под управлением покойного Монтиньи, мужа талантливой Розы Шери, умершей уже перед моим приездом. С зимы 1865—1866 года вплоть до конца империи каждый сезон «Gymnase» ставил какую-нибудь литературную выдающуюся пьесу, и главными его поставщиками состояли Дюма и Сарду. Там я видел впервые поставленные: «Nos bons villageois»[2], «Les vieux garçons»[3], «Les idées de M-me Aubray»[4], «Hèloise Paranquet»[5], «Le Filleul de Pompignae»[6], «Frou-frou»[7], «Fanny Lear»[8] и др. Да, мужской и женский персонал не уступал нисколько Французской комедии, а по тону исполнения был гораздо новее, более подходил к изображению современных нравов. Я застал на сцене «Gymnase» таких актеров, как Лафон, старик Арналь, Ландроль, Прадо, Лесюер, в молодых ролях — теперешнего директора Пореля и Пьера Бертона-сына. А в женском персонале директору Монтиньи посчастливилось, с содействием Дюма-сына, найти такую редкую артистку, как Эме Декле, игравшую когда-то без всякого успеха и в Петербурге и потом ездившую долго с французской труппой по Италии. На моей памяти в Париже, вплоть до появления Режан, не было актрисы с такой милой натурой и оригинальностью. Она стояла по своеобразности таланта и симпатичности выше всех тогдашних исполнительниц, не исключая и Сары Бернар, которая в то время играла молодые роли в трагедии и комедии на театре «Одеон». В «Gymnase» начали свою карьеру и две артистки, впоследствии сделавшиеся любимицами петербургской публики, — Делапорт и Паска, быстро возбудившая сочувствие парижан с первой ответственной роли, которую поручил ей Монтиньи в анонимной пьесе, переделанной Дюма-сыном «Hèloise Paranquet». Делапорт переехала в Петербург раньше, а Паска —

[1] «Магнат металлургии» *(франц.)*.
[2] «Наши добрые поселяне» *(франц.)*.
[3] «Старые холостяки» *(франц.)*.
[4] «Идеи госпожи Обре» *(франц.)*.
[5] «Элоиза Паранке» *(франц.)*.
[6] «Крестник Понпеня» *(франц.)*.
[7] «Фру-фру» *(франц.)*.
[8] «Фанни Лер» *(франц.)*.

после войны и Коммуны; и «Gymnase» был как раз одним из очень немногих парижских театров, в котором представления не прекращались ни во время осады, ни во время Коммуны, вплоть до последних ужасных дней, когда версальские войска проникли в Париж.

Старые бульварные театры мелодрамы «Porte de St. Martin» и «Ambigu» держались еще в 60-х годах своих традиций, ставили больше костюмные пьесы, а иногда и драмы из современной жизни таких поставщиков, как Денперю и Анисе Буржуа, и возобновляли очень часто пьесы Дюма-отца, на которые можно еще было смотреть с интересом, вроде «Le chevalier de Maison-Rouge» [1], из эпохи великой революции, или романтического представления, перекроенного из его романа «Три мушкатера», или его, сделавшуюся уже классической в своем роде драму «La tour de Nesle»[2]. Но дух времени брал свое, и в самом конце Второй империи на театре «Porte St. Martin» около года, а может быть, и больше, шла феерия «La biche au bois» [3], где на моей памяти впервые выставка женского обнаженного тела достигла теперешних размеров.

Оба эти театра не считались фешенебельными. Цены были довольно умеренные, и две трети публики принадлежали к местному населению мелких лавочников, комми и увриеров. Весь этот люд обожал, да и теперь еще очень любит *мелодраму,* которая в то время недаром так называлась, потому что и в «Porte St. Martin», и в особенности в «Ambigu» даже в пьесах из современной жизни играли *под музыку.* Появление всякого нового лица непременно сопровождалось в оркестре или зловещим *tremolo,* или какой-нибудь жалобной мелодией. Этот обычай стал выводиться только после войны и Коммуны, да и в конце 70-х годов еще не совсем вывелся. Игра на обоих театрах была особенная, приподнятая, в певучем стиле для героических ролей и гораздо более правдивая для всего, что отзывалось бытом, нравами, что носило комический оттенок.

На обоих театрах создали себе репутации крупные бульварные знаменитости, начиная с Фредерика Ле-

---

[1] «Кавалер Красного дома» *(франц.).*
[2] «Нельская башня» *(франц.).*
[3] «Лесная лань» *(франц.).*

метра, которого я уже видел дряхлым стариком. В одну из зим он сыграл несколько своих знаменитых ролей и в том числе главную роль в мелодраме, гремевшей когда-то у нас и в столицах и в провинции, «Тридцать лет, или Жизнь игрока» *. Это была руина, но руина в высокой степени интересная для каждого любителя театра. Вы могли все-таки распознавать, *чем* когда-то Фредерик Леметр брал не у одной только полуразвитой публики, а и у знатоков театрального искусства. В свое время он представлял собою протест более жизненного романтизма против стоячих форм классического исполнения. Его жестикуляция и мимика увлекали не ходульностью, а правдой и силой. И ростом и голосом он действовал также обаятельно, как и страстностью и уменьем художественно выполнять всякие эффекты. Таким мне характеризовал его и мой преподаватель декламации Ашилль Рикур. Для Фредерика Леметра в конце империи поставлена была и новая драма, где он играл роль старика, и в этой роли он дал всем нам чувствовать, какие силы были в нем двадцать лет перед тем. Я никогда не забуду сцены, где главное лицо, пораженное нравственным ударом, внезапно сходит с ума и начинает, схватив соломенный стул, плясать по сцене...

В те же годы доживал свой артистический век и первый актер на роли «de cape et d'épée»[1] в костюмных пьесах Мелэнг, слившийся для парижан того времени с фигурой и похождениями д'Артаньяна в «Трех мушкатерах». Он же всегда играл роль героя и в «La tour de Nesles». Действовали с успехом и другие первые сюжеты, как, например, Лакрессоньер, только недавно умерший, Дюге и Дюмен, исполнявший роль патриота Ризора в драме Сарду «Patrie».

В актерах генерации, к которой принадлежали Лакрессоньер и Дюмен, было уже меньше ходульности. Они могли бы добраться до очень художественной игры, если бы весь строй исполнения не заставлял их быть более бульварными артистами, чем было бы желательно.

На сценах «Porte St. Martin» и «Ambigu» вырабатывались, однако же, замечательные артисты для характерных ролей, например, Полен Менье (он долго жил), создавший себе крупнейшую репутацию едва ли не един-

[1] плаща и шпаги *(франц.)*.

ственной ролью одного из преступников в знаменитой драме «Le courrier de Lyon, которая обошла и все русские сцены под заглавием «Ограбленная почта». Французские актеры, сравнительно с немецкими и английскими, не очень большие мастера художественно гримироваться, меньше занимались этим, да и теперь не так занимаются, как актеры других стран; а Полен Менье именно и поразил искусством «se faire une tête» — создавать облик в малейших подробностях: маске, и манере, и движениях, и тоне.

В меньшей степени таким талантом гримировки и превращений из одного лица в другое в одной и той же пьесе отличался и первый сюжет театра «Ambigu» в конце 60-х годов — Клеман Жюст, о котором теперь и на бульварах, вероятно, очень немногие помнят. Долго еще играл и старик Тальяд и считался самым типичным представителем мелодраматического тона. Он долго играл трагедию на театре «Одеон» и променял ее на изображение подвинченных героев пьес так называемой «бульварной» драмы. Но он пробовал себя и в шекспировских ролях. Сквозь некоторое завывание и условность жестов вы лет тридцать пять тому назад и даже позднее, к 80-м годам, чувствовали в Тальяде силу и способность на артистическое воодушевление. И как большинство актеров той эпохи, Тальяд доживал свой век в бедности, не так, как те знаменитости «fin de siècle», которые стали объезжать Европу и Америку и наколачивать себе миллионы. Когда-то знаменитого первого любовника Лафферьера (игравшего в Петербурге при Николае I) я видел стариком в конце 60-х годов. Он заново сыграл роль *Антони* * в романтической драме Дюма-отца и поражал своей моложавостью: с лишком шестидесяти лет смотрел тридцатилетним мужчиной.

Чисто парижская веселость, жанровый комический фарс приютились давно уже на театре «Пале-Рояля», и вторая половина 60-х годов была, конечно, самой блестящей полосой этой сцены для людей моего поколения. Тогда сложилась образцовая труппа таких комиков и буффов, как Жоффруа, Леритье, Иасент, Брасcёр, Жиль Перес, Ласуш, молодой Пристон. Им под пару шла такая превосходная комическая старуха, как покойная мадам Тьерре, да и все они вскоре перемерли, за исключением одного Ласуша. Из женщин в «Пале-

Рояле» расцвел талант прелестной Селины Манталан (знакомой и петербургской публике) и комической ingénue Селины Шомон. Театр «Пале-Рояля» создал себе специальность, которая и до сих пор держится,— это область, если хотите «желудочного», но все-таки же здорового смеха. С таким артистом в главных ролях, каким был Жоффруа, фарс никогда не опускался слишком низко, а держался на уровне жанровой веселой комедии, да и репертуар стоял тогда выше. Это было время самой талантливой плодовитости водевилиста Лабиша, попавшего во Французскую академию с полным сочувствием всего литературного Парижа, потому что среди его бесчисленных фарсов попадаются вещи с даровитой наблюдательностью, с комическим воображением, с большою долей жизненной правды и хорошей сатиры, как, например, такая пьеса, как «Cagnotte» [1], имевшая в половине 60-х годов огромный успех.

Конкурент «Пале-Рояля» — театр «Варьете» (занимающий самое бойкое и выгодное положение на бульварном перекрестке) в те годы поглощен был почти исключительно опереткой. Можно сказать, что этот театр сделался царством Оффенбаха и его двух даровитых либреттистов — Мельяка и Галеви. С 1867 года вся Европа и Америка, начиная с венценосцев, перебывала в тесной и тогда еще плоховато отделанной зале этого театра. А героиней, «звездой» была теперь где-то доживающая свой век старушкой Шнейдер, знакомая и петербуржцам по покойному театру Буфф. Оффенбах и Шнейдер — это два символа трагикомического конца Второй империи. Так называемая «cascade» создана была этой действительно даровитой и оригинальной актрисой, умевшей соединять буффонство с женственным обаянием. И вокруг нее собралась талантливая труппа опереточных буффов, а постоянным ее партнером был Дюпюи, долго еще действовавший на том же театре «Variétés». Мне привелось присутствовать на спектакле, где один из самых даровитых актеров этого театра Гренье сломал себе ногу, раздурачившись в каскадной сцене оперетки «Barbe bleue» [2]. Это было в одну из последних зим Второй империи.

---

[1] «Кубышка» *(франц.)*.
[2] «Синяя борода» *(франц.)*.

Конкурент театра «Variétés» — «Les bouffes parisiens» ни тогда, ни впоследствии, несмотря на свою опереточную специальность, не переживал такого момента, как театр «Variétés» с 1867 по 1870 год, хотя и там перебывало несколько талантливых, красивых и очень бойких опереточных примадонн. Имена Жюдик, Гранье, Тео, Югальд и др. представляют собою уже переходную эпоху. Но все эти «звезды» опереточной музыки и игры по крайней мере еще на четверть века поддерживали престиж Франции, а за границей, особенно у нас, и до сих пор еще это фривольное обаяние не выветрилось.

Все остальные театры при Второй империи играли второстепенную и третьестепенную роль и отвечали каждый по-своему все возраставшей потребности в зрелищах и вечерних увеселениях. В конце империи поднялась вообще обстановочная часть, и на театре «Porte St. Martin», а главным образом, в «Chatelet» стали давать феерии и обозрения à grand spectacle, стоившие более ста тысяч франков, что в то время считалось очень крупной суммой. Одно из таких обозрений или феерий — «La lanterne magique»[1], шедшее перед выставкой 1867 года — дало характерную ноту того, что Париж 60-х годов считал блестящим, новым, остроумным и забавным. Тогда уже вторжение обнаженного тела на подмостки весьма мало сдерживалось театральной цензурой. Серьезные друзья театра, конечно, сожалели о том, что два прекрасных здания, построенные на средства города Парижа «Chatelet» и театр «Gaité», — и тот и другой, вместо того чтобы служить местом популярных оперных и драматических спектаклей, сделались театрами обстановочных зрелищ; но в таких сетованиях есть всегда доля преувеличения. Более серьезное театральное дело может (даже и в таком огромном центре, как Париж) рассчитывать только на известную долю публики. Иначе как же объяснить себе тот факт, что в течение тридцати лет в Париже не могли с успехом действовать более четырех-пяти *литературных* сцен?

Кроме плохих театриков в отдаленных кварталах Парижа в конце Второй империи, несколько сцен дер-

---

[1] «Волшебный фонарь» *(франц.)*.

жались какой-нибудь специальности, и парижане их любили, даже если они помещались и на левом берегу Сены. Так, я еще застал студенческий театрик «Bobino», умерший на моих глазах, но не естественной, а насильственной смертью: дом, где он помещался, был сломан для проведения новой улицы. С тех пор в Латинском квартале нет уже театрика такого рода, с такими точно нравами залы и с такими дешевыми ценами, где давали водевили и, в особенности, шутовские обозрения. Одной из последних Revue покойного «Bobino» была буффонада, озаглавленная шутовским припевом из «Прекрасной Елены», когда царь Агамемнон выходит на сцену: «Bu qui s'avance». На смену «Bobino» явился более приличный и литературный театр «Cluny», который с 70-х годов стал даже играть роль на театральном рынке Парижа, заказывать пьесы талантливым комическим писателям, и ему удалось в течение двадцати пяти лет добиться нескольких денежных успехов, так что две-три вещи шли по году слишком подряд, вроде комедии «Les trois chapeaux»[1]*. Кое-как доживали свой век три маленьких бульварных сцены в разных родах: театры «Beaumarchais», «Déjazet» и «Délassements comiques», теперь уже не существующий; парижане имели привычку называть его сокращенно «Delass-com». Эта сценка существовала только для выставки молодых и красивых дебютанток. Но театр «Déjazet» был основан знаменитой ingénue, феноменально сохранившей свою сценическую молодость. Я еще видел ее старухой сильно за шестьдесят лет в «travesti» в мужской роли из пьесы Сарду, которого она пустила в ход: «Les premieres armes de Richelieu»[2]. По фигуре, манерам и общему тону, в пудреном парике и кафтане, она поражала тем, как она сохранилась; но при пении куплетов голос дрожал уже по-старушечьи.

С нею сошел в могилу тип парижской субретки 30-х и 40-х годов, умевшей придавать французскому водевилю прелесть и обаяние, о которых мы могли судить только по отзывам ее сверстников.

Вот в крупных чертах общая физиономия парижского театрального дела *до войны*.

---

[1] «Три шляпки» *(франц.)*.
[2] «Излюбленное средство Ришелье» *(франц.)*.

За последнюю четверть века я стал чаще навещать Париж только с конца 70-х годов, и в этот период, почти уже в тридцать лет, в литературно-художественном отношении парижский театральный мир существенно не изменился. Конечно, крупной переменой нужно считать то, что Французский театр, как я уже отчасти говорил, сделался более модным театром. Он открыл у себя абонементы, чего прежде не было. То, что называется «le tout Paris», стал чаще его посещать; и на первых представлениях, и в известные абонементные дни зала сделалась блестящее по туалетам дам и по более корректной tenue[1] мужчин. Теперь в креслах для фешенебельных парижан почти обязательно быть во фраке и даже в белом галстухе и таком же жилете.

В 70-х и 80-х годах Французская комедия[2] оживилась и по репертуару и по исполнению. Трагедии и стихотворной драме придавали блеск Муне-Сюлли, начинавший в конце империи, и Сара Бернар, перешедшая из «Одеона». Любимицей публики она стала только *на правом* берегу Сены. В 1878 году во время выставки я нашел ее уже первым сюжетом Французской комедии, и, по-моему, она и тогда уже сложилась в ту актрису, которая с тех пор стала всемирной знаменитостью, покинув театр, которому она, конечно, обязана очень многим.

В то время Сара Бернар для избранной парижской публики была не «Маргарита Готье» и не «Фру-фру» (как впоследствии для всего культурного света), а героиня расиновских трагедий. Федра поставила ее на такое место. Но и тогда я находил в ее исполнении трагических героинь ту же смесь порыва, нежной страстности и женственной силы с певучей искусственной декламацией и почти с небрежным бормотаньем целых периодов в тех местах, где она не считает для себя выгодным тратить свои силы. В особенности заметно это было в роли Заиры в трагедии Вольтера того же имени, где так выгодно, по крайней мере в моих глазах, оттенял свою роль Оросмана Муне-Сюлли. С тех пор я и не видал Сары Бернар на подмостках Французского театра,

---

[1] манере держать себя *(франц.)*.

[2] Оба термина: Французский театр и Французская комедия одинаково употребляются. Парижане говорят сокращенно: «Comedie» или «Français». *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

хотя все, что она создала впоследствии, я имел случай видеть и вне Франции, в Петербурге в первый ее приезд и в последние годы, а также и в Париже на разных частных сценах, и в Ницце. Этапами ее славы были два главных момента: тот сезон, когда она создала роль Теодоры в пьесе Сарду * на театре «Porte St. Martin», и затем в театре «Renaissance», где она сделалась и состояла долго директоршей, в целом ряде пьес на романтические сюжеты, вроде той «Princesse lointaine» [1], перевод которой давали у нас в Петербурге в Малом театре в начале 1896 года. Я не стану здесь повторять той оценки, к какой я пришел после тридцатипятилетнего знакомства с талантом и карьерой этой актрисы в моих воспоминаниях, помещенных в московском журнале «Артист» *. Скажу только, что по натуре, новизне и глубокой правдивости игры я ставлю выше и покойную Эме Дескле, и теперешний первый талант парижских театров, Режан. Французская комедия не сумела вовремя привлечь в состав своих сосьетеров эту даровитую женщину.

Но нельзя сказать, чтобы женский персонал первой сцены Франции совершенно потускнел после Второй империи. И одновременно с Сарой Бернар, и после ее ухода во Французском театре действовали такие выдающиеся исполнительницы, как Круазет, Баретта и теперешний первый сюжет для высокой комедии и драмы — симпатичная, умная и в высшей степени добросовестная Барте. Недолго раздавался и увлекательный смех даровитой ingénue Жанны Самари. Сошла со сцены прекрасная старуха Натали и дуэнья Жуассен. В мужском персонале из стариков на первые роли доживал свой срок Го. Коклен, окончательно разорвал с Французским театром; его брат Коклен-младший не мог заменить его, и петербургская публика когда-то достаточно в этом убедилась. Отслужил свой срок и Февр, сделавшийся во Французском театре прекрасным исполнителем для характерных ролей в комедии и драме из современной жизни. Из молодых многие попали уже в сосьетеры; но ни одного нельзя поставить наряду с прежними корифеями. Делоне как первый любовник, в особенности в мольеровских пьесах, не нашел себе преемника. Ан-

[1] «Далекой принцессы» *(франц.)*.

самбль, конечно, все еще очень хороший, но более для пьес современного репертуара, чем для классического, который Французский театр обязан давать по крайней мере раз в неделю. У Муне-Сюлли, уже значительно ослабевшего, нет партнерки такого же темперамента и таких же благородных внешних средств. Полуанглийского происхождения актриса Дюдлей, долго исполнявшая роли трагических героинь, — только полезность.

В один из моих приездов в разгар весеннего сезона (для Парижа самого бойкого) Французский театр делал, как всегда, большие сборы; но мало привлекал интерес более взыскательных друзей театрального искусства и сценической литературы. Господам сосьетерам нечего особенно хлопотать: они знают, что если пьеса не провалилась, то она будет непременно давать от шести до семи тысяч вечерового сбора. На спектакли классического репертуара теперь принято ездить в абонементные дни, и Французский театр сделался как бы обязательным для всякого француза, считающего себя порядочным человеком и хорошим патриотом.

Кроме театра «Renaissance» (с Сарой Бернар и нашим петербургским Гитри во главе труппы), за целую четверть века не удержалось ни одной выдающейся новой сцены. Коклен и Порель — теперешний директор соединенных антреприз «Gymnase» и «Vaudeville» — пробовали было пускать в ход новые предприятия, но без успеха.

Самым характерным продуктом последней полосы театрального дела в Париже явился «Вольный театр», но и он просуществовал в первоначальном виде только семь-восемь лет. До тех пор, пока его основатель Антуан ограничивался спектаклями раз в месяц, дело шло, а как только он попробовал превратить свою сцену в постоянное парижское зрелище — произошел крах. В одну из последних своих поездок, когда «Вольный театр» еще действовал, я имел случай познакомиться с Антуаном, а впоследствии видел его в лучших его ролях, когда он с труппой делал свой объезд по Франции.

О том, что Антуан принес с своей инициативой оживлению репертуара, я уже говорил, но столько же, если еще не больше, он сделал для борьбы с прежней актерской рутиной. Как безусловный защитник сценической простоты и естественности, Антуан диктаторски требо-

вал ее от своих товарищей и добился особого строя игры. Несомненно, что этот новый строй исполнения повлиял и на другие театры. Но нельзя считать Антуана единственным инициатором такой перемены. Еще с конца 60-х годов в «Gymnase» и в «Vaudeville» (отчасти даже в «Comédie Française») исполнение *комедий* освобождалось уже от прежних рутинных приемов. Такие артисты, как старик Буффе или Лафон, Жоффруа, Феликс, Февр и другие, а в актрисах — Дескле, Паска, Делапорт принадлежали уже к новому, более правдивому строю игры. По возвращении из Петербурга любимец нашей публики, покойный Адольф Дюпюи, явился также одним из самых убежденных представителей таких новых сценических принципов; и лучшие парижские критики, в особенности Сарсе, горячо поддерживали его. К той же школе принадлежит и Гитри — тоже бывший любимец петербургской публики, которого я считаю теперь самым сильным и характерным актером на героические роли во всем Париже. В светской комедии выдвинулся Нобле, и опять-таки своей непринужденной естественной манерой и чисто парижским тоном. А Режан, можно прямо сказать, довела художественную простоту и новизну приемов до высшего предела, и ее игра не позволяла уже никакой сколько-нибудь заметной исполнительнице в комедии и современной драме пятиться назад и прибегать к прежнему условному тону. Точно так же и во всей *mise en scéne,* в ведении пьесы, в комнатной обстановке — парижское театральное дело ушло вперед, и тут также заметно влияние «Вольного театра» вместе с тем, что доходило в Париж из Лондона.

И все-таки каждый иностранец, особенно русский, отправляющийся в Париж теперь *в первый раз,* найдет, как и до 1870 года, на этом огромном парижском театральном рынке всего каких-нибудь пять-шесть сцен, заслуживающих серьезного интереса, не считая театров «Porte St. Martin» и «Ambigu», где и репертуар изменился к лучшему, и характер игры. Даже и на этих когда-то ходульно-мелодраматических сценах вы чувствуете бо̀льшую простоту и новизну приемов. В общем же, театров и зрелищ больше и посещаются они не менее, чем это было четверть века тому назад. Оперетка почти что слиняла, хотя легкой музыкой занимаются несколько сцен. «Пале-Рояль» поупал. На бульваре держался

театр «Variétés» с более литературным репертуаром, чем прежде, и театрик «Nouveautés», созданный после войны покойным комиком «Пале-Рояля» Брассёром. Его сын — опереточный буфф — наследовал талантливость своего отца. Как предприятие из старых театров один только «Водевиль» в последние годы шел очень ходко. «Gymnase» (несмотря на свою стародавнюю славу, после нескольких лет удачной антрепризы директора Коненга) доведен был почти до падения, и позднее оба театра управлялись дирекцией, состоявшей из Пореля, бывшего директора «Одеона», и ловкого театрального дельца и драматического писателя — Карре.

Актерский мир Парижа за целых сорок лет разроссся. Нравы его вряд ли чище, но честолюбие актеров стало обширнее. Прежние предрассудки больше уже не мешают награждать выдающихся артистов орденом Почетного легиона, чего при Второй империи не было, и только старик Сансон получил крест не как заслуженный артист, а как профессор консерватории. Оклады жалованья и вечеровая оплата поднялись чрезвычайно. Американизм теперь в полном торжестве, с тех пор как Сара Бернар и другие ее сверстники и сверстницы бросились набивать себе карманы в Европе и Америке. Но материальное обеспечение имеют только те, кто добьется успеха, и до сих пор каждая молодая девушка или женщина, идущая на подмостки, должна вперед знать, что ей предстоит иногда целыми годами пробиваться совсем без жалованья или со скудным заработком, который делает фатальным ее нравственное падение.

За сорок лет я был знаком со многими парижскими актерами и актрисами, и все они принадлежали или к разряду всемирных знаменитостей, или хороших известностей. Ни в мужчинах, ни в женщинах я не находил серьезного образования, за самыми малыми исключениями. Женщин только очень большая известность освобождает от необходимости принадлежать более или менее к *полусвету*. Передо мною проходят несколько генераций. Я видал Фредерика Леметра, Буффе и старика Жоффруа, когда он уже отставным сосьетером сыграл во Французском театре роль Галилея в пьесе этого же имени *, поставленной перед падением империи. Я знавал лично Сансона, Ренье, Коклена, Муне-Сюлли и Го, с которым познакомился у Сарсе на его понедельни-

ках; чаще, чем с другими, встречался и с Адольфом Дюпюи, по его возвращении из Петербурга, бывал у Делапорт и Паска. С Дескле лично не был знаком, точно так же, как и с Режан; но встречал в обществе Сару Бернар, Жанну Адэнг и многих других актрис, действующих теперь в лучших парижских театрах.

В каком же *направлении,* спрошу я, двигалось парижское театральное искусство за целых сорок лет? Только на таких периодах и можно что-нибудь обобщать; но и тут вы сейчас же наталкиваетесь на разные сетования и своих сверстников, и ровесников, и тех, кто старше вас, в Париже, и в Петербурге, где Михайловский театр в течение всего почти XIX века, и в особенности с 30-х годов, держался на известной художественной высоте.

Разве не правда, что разные «старички» (как молодежь уже вправе называть людей 60-х годов) постоянно сетуют, вспоминая о лучших временах и в Париже и у нас? Для Михайловского театра это гораздо вернее, потому что действительно и 40, и 30, и даже 20 лет тому назад на нашей французской сцене дарования были крупнее, выбор парижских исполнителей удачнее. И в парижском сценическом мире, как вы сейчас видели, на разных сценах в разные полосы истекшего сорокалетия задавались моменты пышного расцвета. И комедия, в особенности классическая, имела во Французском театре блистательный персонал в конце Второй империи. И труппа «Gymnase» стояла выше теперешней труппы парижских жанровых комиков в театре «Пале-Рояль». И на бульварах в «Porte St. Martin», и в «Ambigu» мелодрама имела своих типических представителей. Все они, или почти все, уже перемерли. При возобновлении какой-нибудь знаменитой мелодрамы доброго старого времени, вы уже не найдете таких исполнителей, какими были Фредерик Леметр, Бокаж, Мари Дорваль, Мари Лоран и даже Дюмен и Лакрессоньер.

Но когда подводятся итоги, то важнее всего знать, в каком именно *направлении* двигалась та или иная отрасль искусства? Мне кажется несомненным, что и театральное дело в Париже (как в одном из самых крупных своих центров) развивалось в соответствии с *литературными идеями,* замыслами и приемами, то есть от романтизма (так как о прежнем классицизме не может

уже идти речи) шли к реальным приемам исполнения. Старожилы Парижа — те, кто посещал Французский театр целых полвека (таких наберется немало между парижскими любителями театра), давно уже говорили, что и на этой сцене, хранящей традиции прежнего времени — манера игры, и в особенности *дикция,* произношение стихов и прозы — несколько раз менялись. И это нисколько не преувеличено; я знаю парижские театры сорок лет, а французскую игру гораздо больше, так как еще дерптским студентом по зимам бывал в Петербурге и с конца 50-х годов попадал на спектакли Михайловского театра. И я скажу, что и в общем и в частностях французская игра значительно изменилась, и притом к лучшему, для всякого, кто стоит за большую простоту, за большее соответствие между содержанием и формой, к которому так называемая «простота», если она художественная, и должна, главным образом, сводиться. И всего сильнее это сказалось в исполнении комедии, если взять манеру лучших актеров и актрис сорок лет тому назад не в фарсах «Пале-Рояля», а в пьесах Дюма-сына, какие давались в «Gymnase», и сопоставить с тем, как играют комедию теперь на лучших театрах Парижа, выбрав, например, таких актеров, как Гитри в более серьезном роде, или Нобле, а между актрисами — Режан. То, что было совершенно «à l'ordre du jour»[1] сорок тому назад, то теперь показалось бы самим актерам или певучим, или вообще искусственно приподнятым в интонациях.

Может быть, теперь уже злоупотребляют *простотой* и впадают частенько в вульгарность. В особенности неприятна одна привычка, овладевающая, сколько я замечаю, и другими европейскими театрами — в Лондоне, в Германии, в Австрии, в Италии — это *скороговорка*; ею грешат и мужчины, а всего больше женщины. И мне кажется, что Сара Бернар одна из первых привила эту привычку тем актрисам, которые ей подражали и до сих пор подражают. В классической трагедии и в романтической драме в стихах манера также изменилась, но менее. Еще многие и талантливые актеры и актрисы считают необходимым декламировать нараспев. И первая — Сара Бернар далеко не свободна от таких прие-

[1] Здесь: в порядке вещей (*франц.*).

мов, которые она пускает не только в трагедиях и драмах, а даже в комедиях с сентиментальным оттенком и прежде всего в своей знаменитой роли Маргариты Готье рядом с преувеличенной скороговоркой.

Самый видный исполнитель героических ролей Муне-Сюлли все еще не хочет расстаться с тем, что французская публика вслед за критикой называет «mélopée», в чем и наша столичная публика могла убедиться в последние годы, когда этот артист посетил Петербург и Москву. Но все-таки, в общем, *читка* стиха (как выражаются у нас на сцене) сделалась проще, и прежние завывания реже раздаются с подмостков парижских театров.

То же движение в сторону большей художественной простоты произошло и в области внешней игры, мимики, жестикуляций, а затем и всего того, что носит техническое название «mise en scène», то есть общего ведения отдельных сцен и всей пьесы. Не на одном «Вольном театре» Антуана замечалось уже в последние двадцать лет желание приблизить общий склад игры во всех смыслах к впечатлениям реальной жизни, хотя до сих пор по этой части Париж не стоит впереди других столиц Европы. Традиционные приемы поддаются здесь туже действию новых идей и вкусов, потому что французская публика и в этом, как и во многом другом, гораздо консервативнее, а в критике долго имели авторитетный голос такие представители ее более рутинных вкусов и настроений, как, например, все тот же старик Сарсе, желавший всегда и везде говорить в унисон с большинством зрительных зал.

Театральное дело, и в особенности игра актеров и актрис, могло бы развиваться гораздо быстрее в Париже, если взять в соображение, до какой степени там занимаются сценическим миром и по репертуару и по игре. Стоит актеру или актрисе выделиться хотя одной ролью, чтобы об них появились оценки в нескольких десятках газет. Количественно в этом есть несомненный прогресс; но *качественно* газетные порядки последних двадцати лет превратили театральные рецензии в репортерские заметки, которые пишутся в ночь первого представления или же после генеральной репетиции. И как бы позднее молодежь пренебрежительно ни смотрела на фельетоны Сарсе — эти фельетоны все-таки

же поддерживали хорошую традицию, когда в лучших парижских газетах театром занимались *раз в неделю* и критики имели возможность писать свои отчеты серьезнее, спокойнее, а стало быть, и литературнее.

Но надо всем театральным миром Парижа, как сорок лет тому назад, так и теперь, господствует *успех*. Все его добиваются, а дается он только избранным, хотя эти избранные очень часто ни малейшим образом не двигают вперед репертуара и не дают художественного материала для игры самых даровитых исполнителей. Парижский успех в последнюю четверть века, это — возможность ставить одну и ту же пьесу от ста пятидесяти до трехсот и даже до пятисот раз подряд. С прежними цифрами представлений ни один театр не мог бы держаться, потому что расходы поднялись втрое и вчетверо. Все первые сюжеты требуют огромной вечеровой платы; а обстановочные пьесы поднимают расходы на декорации, костюмы и аксессуары до цифр, каких не знали в доброе старое время. В этих условиях актерское дело все больше и больше сводится на что же? На профессиональное, почти ремесленное дело. Если вам удалось подняться в глазах публики и вы создали главную роль в пьесе, имеющей прочный успех, вы играете ее бесчисленное количество раз; и вся ваша творческая карьера сводится к созданию нескольких ролей. Лет пятнадцать — двадцать актер и актриса играют в Париже, а потом поедут по Европе и по Америке с репертуаром, состоящим из дюжины ролей, а иногда даже из двух-трех. При таких порядках директору театра нужна не труппа, доведенная до высокого художественного уровня, способная играть всякую пьесу в том или ином роде, а порядочный ансамбль для известной пьесы с одной «звездой». К этому идет дело и не в одном Париже.

Вот почему и в разгар тамошнего театрального сезона приезжий любитель театра должен ограничиваться двумя-тремя пьесами, дающими постоянные сборы, и двумя-тремя актерами или актрисами, добившимися звания любимцев и любимиц Парижа. Прибавьте к этому и то, что французская публика пристращается к известным именам, и если актриса умеет сохранить сценическую молодость, она может десятки лет исполнять такие роли, в которых ей уже нельзя было бы появляться в Италии, Германии или у нас. А тем временем

десятки молодых актеров и актрис, с успехом оканчивающих курс консерватории, томятся в бездействии. Беспрестанно слышите вы жалобы на то — до какой степени трудно пробиться, особенно на такой сцене, как Французский театр, где сосьетеры и сосьетерши, если не пожелают, не дадут ходу никому из начинающих.

В жизни парижских театральных зал, в самых лучших театрах каждого иностранца, особенно сорок лет тому назад, неприятно поражал давно укоренившийся обычай держать наемных хлопальщиков. Царство *кляки*[1] еще не вполне исчезло. Сколько было исписано чернил на эту тему в самом Париже, вплоть до последних годов, и все-таки есть еще и антрепренеры, и рецензенты, и немало зрителей, которые не могут отделаться от такой чисто национальной традиции. Нам, русским, она кажется самой нелепой и раздражает нас больше, чем других иностранцев.

В 60-х годах в каждом парижском театре была кляка, помещавшаяся обыкновенно или в задних рядах партера, или в верхнем балконе. Обычай этот сложился в целое учреждение, и если посмотреть на роль клякеров, как на заработок, то ею в течение нескольких десятков лет, если не вполне, то отчасти питались сотни и тысячи мелкого парижского люда. Начальник кляки, так называемый «chef», мог иметь даже порядочные доходы с платы за места, какие предоставляются кляке от антрепренера каждый вечер. Первое впечатление на свежего человека должно быть всегда довольно-таки несносное. Выходы актеров в наших театрах бывают слишком часто с овациями, и только в последнее время пропадает обычай делать первой актрисе обязательный прием при ее появлении на сцену. В Париже такие «приемы» и тридцать лет тому назад редко входили в программу кляки, но всякая эффектная сцена и даже отдельные слова и возгласы подчеркиваются по предварительному соглашению с режиссером, и «chef de claque» дает знак своей команде.

Вот эта трескотня — правда, не особенно сильная и оглушительная — на первых порах не может не раздражать; но она имела последствием то, что публика парижских театров сделалась сама скупа на вызовы

---

[1] от *франц.* claquer — хлопать.

и аплодисменты и ее вкусы от этого выиграли. Даже первые любимицы театральных зал, каковы Сара Бернар или Режан, никогда не удостоиваются таких шумных оваций, какие бывают в наших театрах. Давным-давно исчез и обычай вызывать актеров поименно; я уже его не застал. Если игра одного исполнителя или нескольких очень понравилась публике, то она при опущении занавеса хлопает, и актер или актриса далеко не всегда появляются у рампы. Так же поступают и с пьесой, имевшей успех. Все это в несравненно более скромных размерах, чем у нас.

В последние мои поездки я нашел, что в некоторых театрах Парижа кляки уже нет или почти что нет, но странно, что «Comédie Française» до сих пор держится еще этого обычая. Эта обязательная трескотня должна была бы раздражать исполнителей, а, напротив, мне кажется, что актеры и актрисы считают такой обычай полезным для себя; того же мнения держатся до сих пор и некоторые антрепренеры, находя, что иначе публика, особенно на первых представлениях, была бы слишком предоставлена самой себе, тогда как тут ей как бы указывают на то, что есть самого лучшего и в пьесе и в исполнении. Как во всем, французы рутинны, и вряд ли к XX веку обычай кляки повсеместно придет в упадок, как в Париже, так и в остальных городах Франции. Есть только один хороший старый обычай: автор *никогда* не появляется перед публикой. Если пьеса не провалилась, то актер объявляет имя автора.

Обыкновенно, начиная со второго, с третьего представления новой пьесы, парижская публика ведет себя чрезвычайно сдержанно, и иностранец, попадающий впервые в любой театр на бульваре на какое-нибудь пятое-шестое представление пьесы, имеющей уже большой успех, часто может совсем не догадаться об этом успехе: до такой степени «приемы» публики умеренны. На дальнейших представлениях сама публика не хлопает даже актерам по окончании акта. Но из этого не следует, чтобы парижские театральные залы были всегда так сдержанны. Первое представление в Париже более похоже на поединок между автором и публикой, чем где-либо, за исключением, может быть, итальянских театров на оперных представлениях. В Германии, даже в таких городах, как Берлин и Вена, где театральная

жизнь чрезвычайно развита, первый вечер не имеет такого решающего значения, как в Париже. И с каждым годом за последнюю четверть века это делалось все резче и резче от возрастающего влияния ежедневной прессы. Когда театральные фельетоны писались раз в неделю, публика могла быть самостоятельнее в своих вкусах и настроениях, а теперь на другой день все на бульваре читают отчеты в нескольких десятках газет о пьесе, шедшей накануне, что делается и не в одном Париже, а во всей Европе и Америке.

Не знаю, могут ли газетные рецензии убить пьесу, если она на первом представлении имела успех; но на рецензиях слишком отражается физиономия залы, а зала в эти «premières» всегда особенная, состоящая на две трети из театралов обоего пола, предающихся своего рода «спорту», более требовательных и часто более рутинных, чем обыкновенный состав зрительной залы. И никакой опытный практик, никакой ловкий антрепренер, режиссер или знаток театрального искусства не могут, судя по репетициям, предсказывать *наверно,* провалится пьеса или даст сто — двести представлений кряду.

Обычай приглашать прессу на генеральные репетиции стал теперь практиковаться на парижских сценах; но и он не дает никакой гарантии успеху. Если зала приняла пьесу довольно благосклонно, но холодновато, без прямых враждебных манифестаций, то все-таки же толки в ложах, в партере и в коридорах отразятся на большинстве рецензий и пьеса не будет иметь продолжительной «карьеры». Но случается до сих пор, что публика с первых явлений первого акта придет в самое опасное для автора и директора настроение — злобно-саркастическое. И не только в таких театрах, где верхи почти исключительно занимают увриеры и мелкие лавочники, но в самых фешенебельных театральных залах — светский «tout Paris» может вести себя очень злобно и беспощадно: шуметь, свистеть в ключи — и чего особенно страшатся директора и актеры — начать вышучивать и самую пьесу, и актеров беспрестанными перерывами, возгласами, смехом, остротами и неприличными словечками.

Мне случилось в 80-х годах попасть не на первое, а на последнее (оно было счетом тридцатое) представление

пьесы Золя, переделанной им самим из его романа «La Curée»[1]. Пьеса шла на таком светском театре, как «Водевиль». Публике она не понравилась с первого же раза, и критики отнеслись к ней довольно сурово, хотя и без бранных выходок. Дирекция продолжала давать ее с плоховатыми сборами, но все-таки же пьеса продержалась целый месяц. И вот на последнее представление все, кому она не нравилась, кто находил ее цинической по некоторым сценам, собрались нарочно похоронить пьесу и в течение *всего представления без перерыва* и в креслах, и в балконе, и в ложах, и в галереях происходило злобно-школьническое высмеивание каждой сцены, чуть не каждой фразы. И надо было удивляться в этих случаях выдержке парижских актеров и актрис, которые могут под градом этих выходок довести пьесу до конца, чему я был опять-таки свидетелем.

А раз пьеса действительно понравилась (хотя бы она была, в сущности, очень ординарна и избита) и на другой день пресса подчеркнула этот успех, весь Париж, а за ним провинция и приезжие иностранцы будут, как «панургово стадо», ходить смотреть на эту новинку три, четыре, пять месяцев, иногда год и больше, как это было, например, не только с некоторыми пьесами талантливых и ловких драматургов, как Сарду, но и с каким-нибудь «Maître de forges» Жоржа Оне — вещи, не имеющей сколько-нибудь ценных литературных достоинств. И тогда каждый вечер повторяется одно и то же: публика уже приходит расположенная к пьесе и к игре актеров и ведет себя тихо и смирно, выражая свое удовольствие, как я заметил, совсем не с такой порывистостью и неумеренным гвалтом, как в наших театрах.

Все, что я говорил о театральном деле в Париже за целых тридцать лет, относилось к более серьезному сценическому искусству. Но в эту четверть века еще сильнее развились легкие зрелища. В конце Второй империи приманкой для приезжих иностранцев и провинциалов делались уже кафешантаны — и зимние и летние. Шансонетка издавна царствовала в Париже и раздавалась с подмостков целых два века и более, но Второй империи кафешантаны обязаны выработкой своего типа. По-

[1] «Добыча» *(франц.)*.

пулярность таких зал или садов сразу поднялась от их дешевизны. Мелкие буржуа шли на приманку дарового входа. До конца империи и даже позднее, до половины 70-х годов, это были действительно дешевые зрелища. За вход вы ничего не платили, и «консоммации»[1] были чуть-чуть дороже того, что с вас брали в кафе и пивных. А теперь места разделены на несколько категорий и вы платите за чашку кофе или за стакан пива до пяти франков. В зимних кафешантанах и увеселительных театрах, устроенных на лондонский образец, с вас берут входную плату, а если вы желаете иметь получше место, то платите за него особенно.

Наполеон III освободил театры как известный вид промышленности. Можно было играть всякий репертуар, где угодно. Но до конца Второй империи кафешантаны должны были ограничиваться программой из вокальных номеров, с прибавкою разных «exhibitions», какими пробавляются цирки. Литературный и художественный уровень кафешантанов и тогда был очень низменный, и каждого из нас поражало то, что в городе, где постоянно живут и работают сотни тысяч увриеров, рабочий народ все более и более привыкал к пошлостям подобных зал. Одна только знаменитая Тереза выделялась своим талантом и некоторой задушевностью в исполнении жанровых песенок, и в ней еще чувствовалось то, что французы называют «l'élément peuple»[2]. Но «народ», как тогда, так и теперь, попадая в более дешевые увеселительные залы, смакует самое низменное шутовство и часто самую разнузданную порнографию. Прежде по крайней мере тот слой общества, который считал себя более развитым и порядочным, несколько брезгливо относился к продуктам кафешантанного производства; а за последние пятнадцать лет все перемешалось.

Бульварная пресса, превратившая порнографию в предмет самой выгодной спекуляции, действовала в руку зрелищам и увеселениям, где циническое озорство и литературное безвкусие соперничают одно с другим. И политика делала кафешантаны своим подспорьем. Генерал Буланже нашел в знаменитом Paulus'е глашатая

---

[1] напитки (от *франц.* consommations).
[2] народная стихия (*франц.*).

своей популярности, и только одна Иветта Гильбер, до сих пор еще не успевшая приесться парижанам, внесла несколько новый, менее пошлый и плоский оттенок в жанровую шансонетку. Ко времени появления этой Терезы Третьей республики развился и особый вид зубоскальства и претенциозной эксцентричности на самые скабрезные темы, нашедший себе выражение в дорогом кафешантане «Chat noir», где дебютировали часто сами сочинители слов и музыки перед избранной публикой — виверов обоего пола, писателей, туристов и кокоток высшего и среднего полета. И в этом ночном кабачке, и в мелких театральных залах исполнительницы шансонеток, с литературными претензиями, предлагали новинки в сантиментальном и порнографическом вкусе и до сих пор находят себе критических чичероне, в виде «conférenciers»[1], которые комментируют то, что пропела или будет петь Иветта Гильбер или другая какая-нибудь шансонеточная «дива».

В последние двадцать лет несколько театральных зал были преобразованы на английский лад, роскошно отделаны, с размерами больших театров и с разными приспособлениями для гулянья и разговоров, с огромными программами, где вы находите и пение, и музыку, и акробатов, и цыганские оркестры, и живые картины, и целые балеты, и оперетки, и обозрения, и зрелища, каких при Второй империи, при Тьере и Мак-Магоне еще не разрешали, вроде, например, изображения того, как одевается и раздевается парижанка. Дальше этого вида эротизма парижские подмостки еще не шли, но, вероятно, пойдут, судя по одной пантомиме, какую я видел в театре «Олимпия» на темы первой брачной ночи. По музыке еще кое-что попадается более талантливое в пантомимах и балетах, но литературность всех этих великолепно отделанных театральных зал до сих пор самая жалкая, и что неприятно даже за французов, за всю нацию, это — смех публики. Сочинители разных pochades[2], сцен и куплетов занимаются исключительно карикатурными пошлостями, где типы крестьян, увриеров, буржуа, военных, франтов, кокоток, светских женщин страдают повальным идиотством. А между тем ка-

[1] конферансье *(франц.)*.
[2] пьесок *(франц.)*.

кое бы обширное поле представляли собою все эти кафешантанные залы для умной шутки, для сатирического изображения современной жизни, для поднятия художественных вкусов и настроений той публики, которая реже ходит в театры и довольствуется более легкими увеселениями.

В одну из моих поездок в Париж я был поражен низменностью комизма в разных пантомимах, какие даются и в летних цирках. И какие-нибудь бессмысленные, безвкусные мимические «пошады» идут несколько месяцев сряду. Только в летнем «Ипподроме» (теперь закрытом) давали не без успеха большие пантомимы с хорошей музыкой начинающих композиторов, вроде, например, эпопеи Жанны д'Арк. Даже и балет, играющий в «Большой опере» менее заметную роль, чем у нас, в Италии и в Австрии, не может добиться в Париже более художественного развития на частных сценах. Попытка перенести из Италии балетные зрелища, когда открыт был Эден-театр, в конце концов не удалась. Эта роскошная зала, стоившая стольких денег, кончила банкротством, и самое здание уже не существует в прежнем виде. И в теперешних кафешантанных залах, начиная с «Folies-bergères», одноактные балеты держатся привозным товаром из Италии и берут больше выставкой полуобнаженного тела и новинками обстановки. Парижская публика в массе мало ценит хореографическое искусство, и в больших феериях на театре «Chatelet» и других зал дело сводится к разным эволюциям и группам большого, но неумелого кордебалетного персонала и к двум-трем номерам какой-нибудь почти всегда итальянской, часто уже перезрелой балерины.

Одно можно сказать к чести парижской публики, ежедневно наполняющей, иногда битком, залы увеселительных заведений: держит она себя прилично, вы никогда не чувствуете чего-то такого трактирно-кабацкого, что частенько бывает у нас, у немцев и даже у англичан. Скандалы очень редки, аплодисменты умеренны, и нет такого галдения и оранья, какое так неприятно поражает иностранцев в наших даже казенных театрах, на оперных и драматических представлениях. Чувство меры скажется всегда в парижской толпе, из кого бы она ни состояла. А с каждым годом, как я уже заме-

тил, залы увеселительных театров, делаясь дороже, посещаются более «избранной» публикой, чем это было в конце империи. Теперь вовсе не редкость видеть и в креслах и в ложах целые семейства с девочками-подростками, которых папеньки и маменьки водят смотреть и слушать бог знает что, под тем, вероятно, предлогом, что они ничего не понимают, а вы, по выражению их лиц, блеску глаз и краске в щеках видите, что они все прекраснейшим образом разумеют. И вы можете сообразить, с какой невинностью духа и тела каждая из таких отроковиц пойдет со временем под венец. А уже о мальчиках, о гимназистах, о так называемых в Париже «potaches»[1] — и говорить нечего: тут испорченность поголовная. Эта юная публика всего более развращается на репертуаре кафешантанов, и этому растлевающему влиянию вряд ли даже противодействуют те утренние спектакли по удешевленным ценам, какие дают по воскресеньям все почти драматические театры Парижа. С ними и тут конкурируют увеселительные места, давая точно так же утренние спектакли по воскресным и праздничным дням, стало быть привлекая и учащуюся молодежь.

Множество парижан и приезжих провинциалов и иностранцев идут в разные «Эльдорадо», «Scala», «Альказар», «Ambassadeurs», «Олимпия», «Casino де Paris», и т. д., и т. д., особенно люди семейные, потому что эти театральные залы все-таки же дешевле настоящих театров. Цены поднялись после империи на всей линии. Тогда кресло, взятое вечером в кассе, стоило во Французском театре всего пять франков, а теперь семь и восемь. И до сих пор Париж не имеет еще ни одного хорошего драматического театра, доступного народной массе. И только потребностью в вечерних зрелищах парижского буржуа объясняются огромные денежные сборы, какие каждый месяц театры и зрелища Парижа доставляют в карманы антрепренеров.

Без зрелищ не могут обойтись даже публичные балы. Двадцать пять лет тому назад самые популярные из этих увеселительных мест держались без всяких придатков к традиционному канкану. На эту приманку и в Мабиль, и в Бюллье в Латинском квартале, и в другие

---

[1] школьниках *(франц.)*.

места шли и парижане и иностранцы. А теперь первая половина вечера непременно занята музыкальной программой: поются куплеты, дают мимические сцены, выделывают в меньших размерах все то, что публика находит и в больших кафешантанных залах. Но эта страсть к зрелищам и превратила, как я сказал в главе об уличной жизни Парижа *, прежние балы, о которых старички любят вспоминать с элегическими вздохами, в упражнения наемных танцоров и танцорок, на которых глазеет публика, да и в ней на две трети таких habitués, которым все это приелось донельзя; а они являются сюда для обрабатывания своих печальных делишек.

Театральный мир Лондона знаком русским в несколько раз менее, чем царство парижской драматургии. В последние годы стали чаще появляться заметки и корреспонденции о лондонских театрах и даже кафешантанах, а в конце 60-х годов, к тому времени, когда я начал знакомиться с лондонскими сценами, в литературно-сценических кружках Петербурга и Москвы об этом очень мало знали.

Первое мое знакомство с сценическим Лондоном в 1867 году было еще очень краткое, но следующий сезон я провел там почти целиком, и мне хотелось, насколько возможно, проникнуть и в закулисную сторону тамошнего театрального мира.

Из Парижа имел я рекомендательное письмо к тому самому Фехтеру, создавшему первоначально в Париже лицо Армана Дюваль в «Даме с камелиями», о котором я упоминал выше. Фехтер учился в Парижской консерватории и был товарищем с покойным Адольфом Дюпюи, когда-то любимцем петербургской публики. По приезде своем в Лондон он должен был заново начать свою карьеру как английский актер, и хотя он был и английского происхождения, но в нем и к тому времени, когда я с ним познакомился, каждый мог легко распознать француза и по всей его внешней повадке, и даже по акценту. Сам он был глубоко убежден, что говорил как истый лондонец. Выдвинулся он исполнением роли Гамлета и вообще шекспировскими ролями и так быстро овладел симпатиями публики, что сделался антрепренером театра «Lyceum», разбогател, играл в Америке

уже как лондонская знаменитость; но на этой высоте не удержался, и в сезон 1868 года я нашел его гастролером на театре «Adelphi», в пьесе, переделанной с его участием из романа Диккенса: «Нет проезда». И его семейная жизнь покачнулась к тому времени, жена и дочь уехали во Францию, и я нашел его одного в хорошеньком, красиво обставленном коттедже. По своему тону, языку, манерам, привычке курить маленькую трубочку он оставался настоящим парижским актером, не более, не менее тщеславным, чем другие «первые сюжеты», довольно приятным в беседе, гостеприимным. Держал он себя вне дома как английский джентльмен; ездил не иначе, как в собственной карете и сохранил в тоне и в манере говорить неизбежную рисовку первых сюжетов, имевших большие любовные успехи и на сцене и вне ее. Теперь можно уже напомнить, что старушка Дежазе влюбилась в него, когда он был еще очень молодым актером, и, кажется, он отвечал ей взаимностью, конечно, на очень короткий срок.

Через него, главным образом, знакомился я тогда с лондонским театральным делом. В театре «Adelphi», где обыкновенно играют драму, я нашел прекрасного комика и приятеля Фехтера, уже пожилого Бенджамина Уэбстера, о котором теперь лондонские рецензенты и любители театра говорят как об одной из крупнейших сценических сил 60-х годов. И в нем, и в других актерах на бытовые и комические роли я и тогда уже находил много сходства с хорошей русской игрой, гораздо больше, чем у французов; на том же амплуа, суше Уэбстера, но с своеобразным юмором и с умением настраивать публику был актер Бёкстон. Застал я тогда и чету Мэтьюсов. Имя Мэтьюса приводится так же, как имя одного из самых оригинальных талантов, характерных для английской игры лет сорок тому назад. Его оценила и французская критика, когда он приезжал играть в начале 60-х годов в Париж, где я впервые видел и актера Созерна, лондонского jeune premier и фата, прославившегося в пьесе «Наш американский кузен».

И в Мэтьюсе, как и в других лучших исполнителях Лондона, особенно приятна была для нас, русских, — необычайная простота тона, впадающая иногда в излишество реализма. Но после подвинченной декламации

во французских трагедиях и драмах, в прозе и стихах, такой реализм успокоивал вас и давал чувство настоящей жизни.

То же нашел я и у женщин. Наибольшей популярностью, даже и в высших слоях лондонского общества, пользовалась тогда Кэт Тѐрри, исполнявшая при мне главную роль в комедии Шекспира «Много шуму из ничего». Этой ролью она прощалась с публикой перед выходом замуж за какого-то лорда. Тогда она была крупного роста, уже не особенно первой молодости девушка, чрезвычайно изящная в своих приемах и тоне, так что и англичане, говоря о ней, постоянно хвалили ее сходство с настоящими леди.

Но трагедий Шекспира ни в тот сезон, ни в последнюю мою поездку я не имел случая видеть в таком исполнении и с такой обстановкой, как это было, когда Фехтер создавал Гамлета и впоследствии, лет десять спустя, когда считающийся первым трагическим актером Англии — Эрвинг, сделал себе специальность из шекспировских героев. В сезон 1868 года Эрвинг еще не был знаменитостью. В двух шекспировских пьесах героического характера — в «Гамлете» и в «Короле Джоне», виденных мною в театре «Виктория» (которого теперь я уже не нашел в прежнем виде), сколько я помню, не было ничего особенно выдающегося ни по талантам главных исполнителей, ни по художественной постановке. И тон декламации стихов еще довольно резко отличался от простоты исполнения пьес в прозе. Крикливость и певучесть еще царствовали, хотя и несколько в другом роде, чем на тогдашних парижских сценах.

Я имел также рекомендацию с континента к театральных дел мастеру, очень характерному для той эпохи. У нас имя его почти что неизвестно. Это был Дайон Бусикỏ — ирландец французского происхождения, по профессии писатель, сделавшийся актером и антрепренером своих пьес. Он составил себе очень большое состояние и громкую известность и в Англии и в Америке целым рядом эффектных драм, более или менее переделанных с французского. Когда я попал к нему в Лондон, он уже отдыхал от усиленной, чисто американской работы и смотрел гораздо больше писателем, чем актером.

И женился он на актрисе, которая создала целый ряд ролей в его пьесах. Бусико был один из тех поставщиков английских и американских сцен четверть века назад, которые стали добиваться огромных денежных успехов, пуская в ход систему, состоящую в том, что они писали и монтировали свою пьесу, делались сами антрепренерами, а иногда и исполнителями главной роли, собирали каждый раз новую труппу только для одной этой вещи и объезжали с ней Великобританию и Североамериканские штаты или же одновременно в разных крупных городах Англии и Америки ставили ее сами как антрепренеры. И тогда уже, то есть в конце 60-х годов, Дайона Бусико знали хорошо в Париже, и Сарду один из первых восхищался его системой и мечтал всегда не иначе эксплуатировать свои драмы и комедии, как таким англо-американским способом.

Дайон Бусико представлял собою центральную фигуру тогдашнего лондонского театрального рынка. Оригинальной драматической литературы я не нашел в конце 60-х годов. Все, что мне случилось видеть в течение целого почти сезона с мая до половины августа, на лучших сценах Лондона, — или были переделки из романов, и притом в абсолютном меньшинстве, или же плагиаты с французского и немецкого. И в этих плагиатах, иногда с сохранением французского заглавия и даже имен действующих лиц, вы находили довольно часто безвкусную стряпню. Такая бедность самостоятельной производительности поражала всякого иностранца, знакомого с другими областями английского изящного творчества, поражала в особенности в стране, давшей человечеству Шекспира, имевшей еще в XVIII столетии оригинальный театр комедии. И так шло до самого последнего времени. Это было тем более досадно, что по тону игры в изображении современной жизни и по разным подробностям постановки лучшие лондонские театры достойны были совсем не такой сценической литературы. Но вы чувствовали при этом, что в Лондоне театральное дело — уже прямой продукт частной конкуренции. Ни правительство, ни даже общество в его самых развитых слоях, не заботилось о том, чтобы страна имела образцовую национальную сцену, как Французский театр, или консерваторию. Ни один драматический театр не получал субсидии; не слышно было также и о каких-либо поощ-

рениях, о каких-нибудь премиях и конкурсах для поднятия уровня литературного творчества.

Прошло двадцать семь лет, и в сезон 1895 года я нашел в Лондоне еще более обширный театральный рынок. Число театров увеличилось, но опять-таки и до сих пор нет чего-либо похожего на «Comédie Française» и театральное дело — еще более отрасль индустрии, чем в Париже, или в Вене, Берлине, Петербурге и Москве.

Но вы не можете не признать, что на берегах Темзы театральная жизнь и в общем и в частностях *интенсивнее,* чем на берегах Сены. Тут больше тратится денег, предприимчивости, технических усовершенствований, значительнее и число театров, интересных для иностранца, любящего сценическое искусство. И все это растет и развивается благодаря чисто личной инициативе и конкуренции...

По литературному творчеству, конечно, театральный Париж до сих пор стоит выше Лондона, хотя далеко не каждый парижский сезон выдвигает какой-нибудь новый талант или даже новое удачное произведение уже патентованных известностей. В последние два-три приезда я не находил в Париже больше одной-двух сколько-нибудь замечательных литературно написанных пьес, а весной 1895 года — и почти ни одного произведения, интересного хотя бы по бытовой, житейской правде и новизне. И в смысле репертуара Лондон ушел теперь вперед. Есть уже несколько имен драматургов, которые не пробавляются переделками французских и немецких пьес, в том числе и Оскара Уайльда — автора двух вещей, имевших большой успех как раз перед скандальным процессом их автора *. Но к моему приезду и та и другая пьесы были сняты с репертуара.

Публика наших газет в последнее время узнавала по корреспонденциям из Лондона про некоторые новинки лондонских театров, отзывающиеся уже прямо гораздо большей литературностью, чем то, что было двадцать пять лет тому назад. Между прочим, Петербург заинтересовался по одной газетной корреспонденции пьесой, шедшей уже более ста раз в то время, когда я приехал в Лондон в мае прошлого года. Она называется «Знаменитая мистрисс Эбсмит» — «Шалая Агнесса», как ее назвал от себя русский корреспондент. Эта пьеса шла,

а может быть, и до сих пор идет на Гаррик-театре, где первый актер и директор Деан Гэр, замечательный артист по художественной правде и простоте игры. В ней главную женскую роль создала г-жа Патрик Кэмбель, занимавшая на английских сценах первое амплуа в современной драме и высокой комедии. Роль шалой Агнессы она передала недавно еще совсем неизвестной актрисе из любительниц, мисс Незерсоль. И вся пьеса, и роль, и игра — все это нашел я очень знаменательным для того Лондона, где прежде публика довольствовалась гораздо более ординарной литературной пищей и более ординарным тоном игры.

Теперь в пьесах лучших лондонских театров изображаются нравы образованного класса, вплоть до высших сфер, с такой смелостью, о какой трудно было и мечтать в 60-х годах. При полной свободе прессы и книжной литературы одна сценическая литература находилась под строгим надзором. Я прекрасно помню, что к половине 60-х годов и во французской и в английской прессе появлялись протесты и обличения лондонских порядков; даже такая пьеса, как «Дама с камелиями» Дюма-сына, долго не была разрешаема в Лондоне и на французском языке. Это теперь — «tempi passati»[1]. Со сцены раздаются весьма смелые тирады, и публика нисколько не скандализована воспроизведением реальной правды и горячими протестами против разных устоев английского общественного быта. Ничего не было бы удивительного слышать подобные протесты в каких-нибудь народных театрах (вроде огромного театра «Британия», помещавшегося на правом берегу Темзы), но в самом центре фешенебельной жизни, в театре «Крайтирион», куда собирается исключительно светская публика, мне привелось видеть пьесу «Министр внутренних дел» — «Home-secretary», где герой — заговорщик-анархист, в которого влюбляется жена министра, и на великосветском рауте этот молодой человек произносит совершенно *разрывные* тирады.

Но рядом с такими оригинальными и гораздо более литературными попытками я нашел и в последнюю мою поездку уровень веселых пьес из лондонской жизни довольно низменным. В такого рода продуктах сейчас вы-

---

[1] прошлые времена *(итал.)*.

ступает большая грубость англичан с прибавкою того эротизма, которым пахнуло на Лондон через Канал из Парижа. В каждом почти фарсе поются гривуазные куплеты и происходит беспрестанный пляс, представляющий собою довольно-таки безобразную смесь парижского канкана с национальной порнографической хореографией. Есть, например, обычай, обязательный для всех субреток, исполняющих водевильные роли, — после того, как она пропоет куплет, непременно начать пляс, в одиночку, совершенно в таком роде, как делают это английские певуньи в кафешантанах.

Актера Эрвинга (которому только что перед тем был пожалован титул *сэра* *) я нашел все в том же театре «Lyceum», где он создал свои лучшие шекспировские роли. Но на этот раз шла романтическая драма в стихах из жизни короля Артура и его рыцарей, на тему супружеской неверности королевы Джиневры и рыцаря Парсиваля. Тогда Эрвинг уже застыл в известных формах исполнения. Он примыкал скорее к немецкой школе. Я думаю, что у него никогда не было большого темперамента. Он выработал себе дикцию не без благородства и приятности, но суховатую и декламаторскую. Его никак нельзя поставить вровень с таким артистом, как Сальвини, и в нем нет даже блеска и виртуозности, какими мы восхищались в лучшие годы Эрнесто Росси. В этот раз он мне показался похожим на пастора, одетого легендарным королем, и притом пастора уже старика. Это происходило и от его длинной худой фигуры и такого же худого, почти испитого лица и глухого голоса, в котором мне не удалось подслушать ни одного молодого звука.

Его постоянная партнерка и подруга Элен Терри (меньшая сестра той Кэт Терри, которая сошла со сцены в 1867 году), хотя по летам уже пожилая женщина (так как ей было около пятидесяти), но со сцены еще очень приятного вида: крупная, роскошных форм, с задушевным голосом и прекрасной манерой произносить стих. Я знаю друзей театрального искусства, которые предпочтут актрису, как Элен Терри, Саре Бернар, хотя она и не обладает такой же виртуозностью. В ней, как и во многих английских женщинах на сцене, нам, русским, слышится что-то близкое, происходящее от большей

задушевности тона и той внутренней некрикливой и теплой страстности, в которой сказываются лучшие стороны британской души.

На театре «Lyceum» и почти везде, куда я попадал в последний раз, я видел, какие успехи сделал Лондон по художественной *постановке* пьес. По этой части он положительно двинулся дальше Парижа, и только мейнингенцы * на своих лучших представлениях могли бы конкурировать с тем, что вы находите в Лондоне. Декорации, аксессуары, освещение, всевозможные детали реальной жизни — все это дышит, дает вам почти полную иллюзию. Особенной законченностью отличались две декоративных обстановки, виденных мною, — первая: лес в мае месяце, куда жена короля Артура приходит с своими приближенными рвать цветы боярышника и вить венки, а вторая — салон с балконом в запущенном венецианском палаццо, с видом на Canal grande. Такое художественное воспроизведение комнаты я считал последним словом обстановочного дела.

В декорации и обстановке были воспроизведены все реальные подробности старого барского палаццо: отделки стен и потолка, мебель, objets d'art, и на первом плане венецианская стуфа, мраморная низкая печка с барельефными украшениями.

В современной драме и комедии английская простота остается в полной силе. Разумеется, парижанин, привыкший к манере и дикции лучших актеров, вправе будет находить, что у английских исполнителей совсем нет никакой дикции, что они болтают, а не говорят; но это будет чисто французский взгляд. Не отрицаю того, что для нашего уха манера говорить английских актеров, особенно в пьесах из современной жизни, чересчур уже реальна. И во всем том, что французы называют «mise en scéne», то есть в ведении действия, в движениях, посадках, переменах места, — вы сейчас увидите огромную разницу с тем, что до сих пор еще обязательно, например, во Французском театре. И в помине нет на лондонских сценах этого торчания на переднем плане у суфлерской будки, которой давным-давно не существует в английских театрах. Суфлер на случай необходимости следит за текстом где-нибудь из-за боковой кулисы и кое-когда подает предречие в незаметное отверстие.

Для меня, так долго изучавшего театральное дело и в особенности преподавание сценического искусства, не совсем легко было согласиться с тем, что уровень сценической игры на лучших и даже второстепенных лондонских сценах (а также и в провинции, куда я попадал) никак не ниже среднего уровня во Франции, Германии и у нас в России. А между тем в Лондоне нет такого учреждения, как Парижская консерватория или наши казенные театральные школы. Я лично обращался по этому вопросу к моему знакомому, известному актеру мистеру Виндаму, содержателю и директору театра «Крайтирион», и он заверил меня, что до сих пор английские актеры и актрисы или совсем самоучки, или проходят выучку под руководством режиссеров, директоров и главных актеров. В Лондоне не было тогда сколько-нибудь известных профессоров декламации или частных школ, имеющих солидную репутацию. И несмотря на это, театральное дело, повторяю я, стояло по игре не ниже, чем где-либо, а по художественной постановке выше, чем даже в Париже. Это стремление к богатству отделки, изяществу обстановки сказывается не только на сцене, но и в том, как декорированы театральные залы. В любом хорошем лондонском театре (где, однако, нет огромных фойе и монументальных лестниц) вы, начиная с коридоров, чувствуете себя совершенно иначе, чем на континенте. Только в последние годы в Германии стали так обставлять внутренность театров. Вы точно попадаете в салоны и даже в коридорах находите отделку, настраивающую вас не так, как в большинстве континентальных театров, не исключая и наших казенных.

То же находите вы и в лондонских зрительных залах легких увеселений. Таких заведений, как Альгамбра на Лейстер-сквере, или его соперник через улицу «Empire», или громаднейший «Олимпик», вы нигде не найдете на континенте. Уровень того, что поется в куплетах, в концертных отделениях таких мест, не выше, чем в Париже, Берлине и Вене, может быть, даже грубее, но балеты, всякого рода «exhibitions», колоссальные пантомимы с персоналом статистов, доходящим до тысячи человек и более, — все это богаче, красивее и оригинальнее. И даже легкие нравы, ютящиеся в тех проходах и

коридорах, где во время спектаклей пьют и курят, не имеют того вызывающего и пошлого оттенка, как в соответственных местах Парижа, несмотря на то, что мужчины больше пьют и при случае способны даже на буйство, весьма редко происходящее в Париже.

Лондон в летние сезоны, как для музыки, так и для всякого рода зрелищ, есть огромнейшая ярмарка, куда стекается все, что только и на континенте есть выдающегося и жаждущего всесветной репутации и золота. Довольно того факта, что в мою последнюю поездку в двух больших театрах Лондона (в том числе в Друри-Лэне) две звезды континентального искусства — Сара Бернар и Дузе — играли в одно и то же время; мало того, бывали дни, когда и та и другая исполняли одна по-французски, другая по-итальянски одну и ту же роль Маргариты Готье в «Даме с камелиями». Сару Бернар я не пошел смотреть, а Дузе видел в роли, в которой ни в Петербурге, ни в Москве мне не удавалось почему-то видеть ее, — в чисто комической роли «Locandiera»[1] Гольдони. Дузе с своей труппой играла в Друри-Лэне, бывшей еще недавно зале итальянской оперы. Публика была почти сплошь английская, на две трети плохо понимающая или совсем не понимающая итальянского текста, публика светская, по-бальному одетая, очень внимательная и платящая свои фунты стерлингов чрезвычайно охотно. Но в Лондоне, как и в Париже, даже знаменитостей не балуют такими криками и вызовами, как у нас. Успех сказывается и в сборах, и в настроении публики, и в сочувственном тоне рецензий, которые в Лондоне влияют также на сборы, как и везде, но пишутся дельно, без той примеси кумовства и сладковатого тона, который так же неприятен в парижских рецензентах, как и неприятна их враждебная болтовня, раз они не церемонятся с автором, что, однако, случается реже, чем у нас.

В Лондоне, как и в Париже, для *народа* в тесном смысле слова, нет хороших театров, и там он обречен на зрелища низменного характера. Все же, что сколько-нибудь повыше в литературном и сценическом смысле, доступно для людей богатых и достаточных. Цены мест

[1] «Хозяйки гостиницы» *(итал.)*.

за четверть века поднялись в Лондоне не меньше, чем в Париже. Еще в 1867 году кресло в каком-нибудь недурном драматическом театре стоило пять-шесть шиллингов, а теперь все театры имеют одну и ту же, очень высокую цену, в каком угодно ряду, хотя бы последнем, — *полгинеи,* то есть на русские деньги пять рублей. Вы еще сильнее чувствуете, что в Англии бедному человеку нечего рассчитывать на дешевые художественные наслаждения. Зато все, что театральная антреприза дает зрителям в любом порядочном театре, стоит своих денег, если не по репертуару, то по всему остальному.

IX

Печать. — Типы парижских журналистов прежде и теперь. — Мои личные знакомства и встречи. — Характерные черты парижской и лондонской газетной жизни. — Общий нравственный уровень писательского класса в Париже и Лондоне. — Заработки. — Реклама и подкуп. — Шантаж. — Отношение к публике. — Положение среднего литератора по сю и по ту сторону Канала. — Дуэли парижских журналистов. — Итоги за тридцать лет.

За тридцать лет разрослась в обеих столицах мира *печать* и стала силой, которой так или иначе все подчиняется.

Уже со второго моего парижского сезона я как корреспондент ежедневных русских газет должен был знакомиться с миром прессы, ее внешней и внутренней жизнью, обычаями и нравами. И мои итоги окажутся не особенно утешительными. Но шила в мешке не утаишь, весь грамотный мир знает, к какому нравственному банкротству пришла в последние годы парижская пресса...

Как и в каждом вопросе, надо брать коренные устои общественного склада. Все держится за нравы, за традиционные правила, а главное, за основные свойства и всей расы, и отдельных классов общества. Тут опять многие из нас, попавших в Париж Второй империи, вдавались в самообман и приписывали почти все отрицательное политическому режиму. После переворота 2-го декабря печатное слово было стеснено, и только известное количество газет осталось в живых, да и то под условием полного подчинения деспотической власти. И тогда слишком легко было играть на струнке подспуд-

ного либерализма. Цензурно-полицейский гнет только поднимал обаяние всего того, что в ежедневной печати было неприятно правительству.

К половине 60-х годов и умеренно-либеральные, и более радикальные идеи высказывались уже с большей свободой. И многим казалось, что падение империи сейчас повело бы к полному расцвету прессы, одушевленной самыми высокими принципами и стремлениями. Из старых ежедневных органов такие газеты, как «Temps», «Siècle» и «Débats», считались в публике честными газетами. К ним присоединились позднее две новых газеты, уже с республиканским налетом «Réveil» и органы джерсейского изгнанника * — «Rappel».

Теперь для каждого из нас легче распознать, на каком социально-нравственном *уровне* стояла та печать, которая всего сильнее действовала на массу, покупающую газеты. На игру в оппозицию всего больше ловилась известная доля парижской публики; но в то же время происходила ежедневная порча ее вкусов и настроений. Ее приучали к хлесткой болтовне, к исканию пикантной новизны, к фельетонным романам; потакали всем ее хищным и беспорядочным инстинктам.

Как тогда, так и по прошествии тридцати лет в парижской газетной прессе преобладало *делечество,* спекуляция всякого рода. Как тогда, так и теперь было всего каких-нибудь три-четыре газеты, издававшихся сколько-нибудь серьезно. И полная свобода прессы, явившаяся с Третьей республикой, нисколько не подняла уровня печати, а наводняла парижский рынок все новыми и новыми ежедневными листками, только *играющими* в политику, а, в сущности, лишенными всякого серьезного raison d'être[1].

Кто были типические журналисты конца Второй империи? Не редакторы таких газет, как «Temps» или «Débats», а личности, вроде Вильмессана и Эмиля Жирардена. И тот и другой всего больше сделали для парижской прессы в смысле успеха, тиража, рекламы, влияния на разные сферы. И в том и в другом нашло себе торжествующее олицетворение самое беспорядочное делечество, то, что выражается французским словом «tripotage».

---

[1] смысла *(франц.)*.

Когда мне случилось лично познакомиться с Эмилем Жирарденом, он издавал газету «Liberté», где каждый день в передовой статье, уснащенной разными saltomortale газетного жонглера и эквилибриста, он разыгрывал роль великого политика и патриота; но вся его карьера была не что иное, как ловкое делечество, и он был предвозвестником и насадителем тех нравов прессы, которые развернулись роскошным букетом в конце века. Всякого рода спекуляцией, участием во всевозможных концессиях, обществах, биржевых повышениях и понижениях Жирарден к концу империи составил себе очень большое состояние и занимал собственный роскошный отель на Елисейских полях.

В нем засели и всего более положительные и характерные свойства французского дельца-журналиста: необычайная подвижность ума, способность к работе, уменье ловить момент, отыскивать талантливых сотрудников. Но превыше всего было — полнейшее отсутствие каких бы то ни было нравственных задержек. И тогда инстинкты хищничества и себялюбия были в нем так же живучи, как и двадцать лет перед тем, когда он добивался успеха как редактор газеты «Presse» * и муж талантливой своей сотрудницы *. Он же пустил в ход и печатание романов в фельетонах всех тогдашних литературных корифеев.

И этот разжившийся газетный туз продолжал попрежнему вести самую деятельную жизнь, вставал зимой в семь часов утра, а в начале девятого его можно было уже видеть по делу, для чего он часто принимал своих посетителей в халате военного покроя. В летописях парижской прессы надолго остались легенды обо всех его повадках и манерах и наружности, с знаменитой прядью волос на лбу, вроде той, какую носил Наполеон I. Как издатель и редактор Жирарден был настоящий деспот, менял своих сотрудников, как перчатки, и заставлял их ходить в струне. До самой своей смерти после падения империи он стоял на бреши и всегда вел какую-нибудь ожесточенную кампанию по внутренней или внешней политике. Ему ничего не стоило превратиться из сторонника наполеоновских идей в республиканца-демократа. Но те, кому известны были закулисные стороны всех таких кампаний, считали Жирардена

до самой его смерти человеком, который даром ничего не сделает и не напишет ни одной строки.

Словом, *трипотаж* и *подкуп* в разных видах были уже и перед падением Второй империи в полном ходу, и если скандалы не разражались так, как в самые последние годы, то потому, что тогда легче было хоронить концы в воду. И тогда уже всякий из нас, иностранцев, поживших в Париже, очень хорошо знал, что в газетах, особенно с большим тиражом, ничто даром не делается. И тогда нас на первых порах достаточно скандализовали различные виды рекламы и поддержки биржевой и всякой другой делеческой игры.

Прошла целая четверть века. Газетное дело в Париже разрослось, как ни в одной столице Европы, по числу ежедневных органов всяких цен и размеров. И все-таки до сих пор, за исключением двух-трех газет, дело ведется гораздо хуже, чем в Англии, Германии, Австрии и России. Цена в одно су неимоверно расширила круг читателей, но едва ли не настолько же понизила уровень ведения дела. Эта дешевизна только поддерживает известного рода жадность в бульварной публике. Каждый, выходя утром, вместо одной-двух газет покупает шесть-семь в первом попавшемся киоске. Но разве не правда, что вы все эти шесть-восемь, а иногда и двенадцать газет можете просмотреть в полчаса? Кроме передовой статьи или хроники, написанной в фельетонном роде и двух-трех коротеньких entrefilet[1] — нечего читать, если вы не следите изо дня в день за каким-нибудь романом. До сих пор три четверти парижских газет не имеют ни хороших корреспондентов за границей, ни богатого отдела депеш, ни сколько-нибудь ценных обозрений по разным сторонам жизни и литературы. Сколько газет пробавляются исключительно более или менее откровенной порнографией с прибавкой скандальной хроники и театральных рецензий?! И тон делается с каждым годом все низменнее и фальшивее. Вы видите и чувствуете, что все держится тут за кумовство, партийные расчеты, а иногда переходит и в прямой шантаж.

Наглядным примером того, что парижская пресса осталась в существенном такою же, какой была и при Второй империи, может служить история газеты «Fi-

---

[1] заметок *(франц.)*.

garo», которая и во всей Европе считается самым характерным органом, созданным парижской жизнью. И успех его — самый солидный. Эта газета превратилась как бы в национальное учреждение. Ему, конечно, далеко соперничать по материальному положению с лондонским «Таймсом», но на *материке* Европы это — первая торговая фирма газетной индустрии. Когда «Figaro» поместился в собственном отеле в rue Drouot — это было для парижского газетного дела настоящее событие, и с тех пор контора и редакция этой газеты с ее залой депеш и приемными покоями служит местом rendez-vous[1] всего мира... Пока этот старейший бульварный орган Парижа еще ничем особенно скандальным не загрязнил своей репутации, но это вопрос времени. К 1896 году один из постоянных сотрудников газеты, заведовавший иностранной политикой, был уже арестован по делу о шантажных взятках, а за год перед тем и раньше в огромном скандале Панамской компании было замешано столько же депутатов, сколько и всякого рода газетчиков.

Лично из моих знакомств и встреч в газетном мире Парижа я не позволю себе преувеличенно карающих выводов, но не могу не сказать, что и я, и все те иностранцы, которые тридцать лет имели дело с миром парижской прессы, — мы желали бы видеть в нем несколько иные нравы и порядки.

Войдите в любое помещение редакции парижских ежедневных газет. Это будет почти всегда в местности около бульвара, по левую сторону от rue Monmartre до rue Taitbout. Есть несколько домов, где помещаются только типографии, конторы и редакции журналов. Во всех этажах вас неприятно поражает теснота, грязь, беспорядочная толкотня, шум и гам в сенях, коридорах и на площадках. Редакционные помещения — тесны, довольно неопрятны, с клетушками для постоянных сотрудников и с тесноватыми, плохо обставленными кабинетами редакторов. Это — общий тип. Исключение составляют только помещение «Figaro» и еще две-три редакции с гораздо большим комфортом и простором. Вы чувствуете, что все эти органы ежедневной печати пущены были в ход как случайные спекулятивные пред-

[1] встреч *(франц.)*.

приятия, в расчете на большой тираж; но что они сами по себе плохо организованы и бедны по персоналу постоянных сотрудников, что все они держатся за рутину буржуазных порядков. До сих пор нет ни одной крупной газеты, не исключая и «Figaro», которая бы издавалась на более великодушных социально-демократических основаниях, представляла бы собою товарищество пайщиков, участвующих в доходах издания своим трудом. Это все акционерные общества самого заскорузло-буржуазного типа, или же единичные предприятия с каким-нибудь давальцем капитала (bailleur de fonds) и с львиной долей заработка главного редактора.

И странное дело! Большинство парижских газет помещаются так мизерно и дают так мало хорошего текста своим читателям, стало быть, расходуют на сотрудников гораздо меньше, чем это делается в Англии и в других европейских странах, а между тем издавать газету в Париже считается очень накладным делом. И это происходит, мне кажется, оттого, что французы во всем так рутинны и держатся многих убыточных и непроизводительных расходов. Вот почему они и должны сводить концы с концами всякими правдами и неправдами. На дельных сотрудников они скупятся, а на разных забавников, пишущих болтливые хроники, тратят большие деньги. При огромной конкуренции ежедневных листков, не имеющих, в сущности, никаких серьезных задач по внешней или внутренней политике, гонорары фельетонистов, умеющих болтать обо всем с известным литературным блеском, поднялись чрезвычайно. Теперь вовсе не трудно любому из таких фельетонных сотрудников получать за статейку в сто строк сто, полтораста, двести франков и таким образом, болтая в нескольких газетах ежедневно, заработывать себе до пятидесяти и больше тысяч франков в год.

И все мирятся с таким порядком вещей. Развился газетный пролетариат, и никто не начинает борьбы с патронами, потому что все более или менее развращены крупным и мелким хищничеством, все смотрят на перо как на средство наживы всякими правдами и неправдами. А до чего дошел цинизм нравов известной доли парижской прессы, можно судить по тем *балам,* которые редакции порнографических газет дают ежегодно. Покойный А. Н. Плещеев в одну из своих поездок в

Париж попал на такой бал и рассказывал мне о нем с ужасом. Дать понятие о тех мерзостях, какие там выделываются, невозможно в печати.

И при таком-то низменном уровне нравов в газетном мире Парижа продолжается до сих пор комедия профессионального *гонóра*. И в конце империи часто случались вызовы и дуэли между журналистами, а в последние десять — пятнадцать лет это превратилось в какую-то повальную болезнь. Вот почему у каждого фехтовального учителя всего больше учеников и клиентов между газетными сотрудниками. Драться на шпагах и стрелять хорошо из пистолета обязательно для всякого самого ничтожного писульки, и малейший пустяк, намек, острое слово или более резкая насмешка — и вызовы летят со всех сторон и перекрещиваются в разных направлениях. А рядом с этим держится по всей линии кумовство, что нам, русским, особенно противно. Только враги говорят друг о друге откровенно, впадая беспрестанно в бранчивый задор. Вообще же господствует условно-сладковатый тон в рецензиях, отчетах, характеристиках, портретах писателей, актеров, актрис, учреждений, обществ, театров, светских домов, клубов, полусвета всяких степеней.

Парижский бульварный газетчик очень часто игрок, и стоит только заглянуть в один из игорных клубов, чтобы убедиться, до какой степени пишущая братия привержена к зеленому столу. И теперь уже ни для кого не тайна, что игорные клубы живут в стачке с теми газетами, которые потакают всем хищным инстинктам публики. На самом бойком месте центрального бульвара, как известно, давно приютился «Le Cercle de la presse» [1], где вы встречаете сотрудников всевозможных газет. Клуб этот помещается довольно роскошно, доставляет своим посетителям прекрасные обеды за пять франков, комфортабельные читальни и салоны; но это, в сущности, игорный притон не только в ночные часы, но и в дообеденные; часов с двух, с трех идет игра в баккара, совершенно так, как в игорных казино морских купаний или в Монте-Карло в тех залах, где играют в trente et quarante. Походите туда дня два-три, и вы воочию убедитесь, какими нравами отличается парижская пресса.

[1] Клуб журналистов *(франц.)*.

Француз-журналист не кутила в нашем смысле; но он жаден на деньги, почему и склонен к игре. Из своего пера он делает себе доходную статью, не задаваясь никакими высшими задачами. Он совершенно так же, как и первый попавшийся boulevardier, думает только о легкой наживе, играет, где можно: в клубах, на скачках, на бирже. И такая повадка ведет, конечно, в конце концов к шантажу, к подкупу, ко всякого рода взяткам. Утрачивается самое понятие о том, что порядочно и что непорядочно, — раз вы можете в любой бульварной газете поместить, что вам угодно, заплативши за это, как платят за объявления, только в пять, в десять, иногда в сто раз дороже.

И нет ничего удивительного, что огромный класс журналистов в целом не представляет собою вовсе *общественно-нравственной силы,* не имеет никакой организации, кроме так называемых *синдикатов* прессы, то есть советов, состоящих из издателей, для целей чисто меркантильных. В последнее время образовалось представительство иностранный прессы в Париже; но у иностранных корреспондентов свои профессиональные цели; они бьются только из-за того, чтобы им был более легкий и своевременный доступ в заседания Палаты да на первые представления театров.

Театры, с своей стороны, помогают распущенности нравов газетного мира. Директорам надо ладить с редакциями. Обычай даровых мест существует в Париже спокон века, и он, несомненно, влиял всегда на тон театральных рецензий. Разумеется, критики с именем сохраняют большую самостоятельность суждений: из-за дарового кресла не станут рахваливать то, что заведомо провалилось. Но все-таки между прессой и театральным миром есть постоянная тайная стачка, которая сказывается не столько в прямых денежных подкупах, сколько в подкупах другого свойства. Легкость нравов актрис поддерживается прессой. Вполне порядочная женщина, да еще замужняя, известная строгостью своих нравов, вряд ли может рассчитывать на быстрый успех, когда начинает свою карьеру. Подкуп свободной любовью — самый распространенный в Париже, и встретить рецензента или хотя бы только театрального репортера, у кокоторого бы не было в этом смысле рыльце в пуху, —

большая редкость. И так пойдет и дальше, и чем дальше, тем будет хуже...

И тогда Эмиль Золя в газетной статье указывал на полное падение духовно-нравственных идеалов в современном французском обществе. Религиозные верования держатся только в народе, больше в виде суеверий и среди клерикалов-легитимистов. И во всей пишущей братии, занимающейся журнализмом, — тоже отсутствие прочных идеалистических принципов, а стало быть, и никаких задержек в инстинктах тщеславия и чувственности. Слово «jouir»[1] — вот лозунг и всей армии, вооруженной пером для добычи себе наибольшего заработка и самых крупных издательских барышей. Жизнь в Париже делается все дороже и дороже, а аппетиты все растут. Всякий ничтожный репортер норовит правдами и неправдами попасть в заметные хроникеры, составить себе имя на бульварах, извлекать из своей печатной болтовни все, что только возможно, и прямо и косвенно. И эта жадность поддерживает всеобщее разъединение. В мире парижских журналистов, да и всей пишущей братии, нет настоящей товарищеской солидарности, и только общий тон несколько более приличный, чем, например, у нас в газетах, во всем том, что касается взаимных товарищеских отношений. Каждый бьется из-за того, чтобы захватить чужое место и заработать куш, и вся эта огромная армия литературных чернорабочих не одушевлена общим стремлением к борьбе с капиталом, к организации труда на других основаниях, к созданию «товариществ». Самое состоятельное общество — «Société des gens de lettres» — охраняет права своих сочленов на узкобуржуазных основаниях. И пенсии, какие выдаются в этом обществе, самых ничтожных размеров.

В последние годы громче заговорили о кризисе *книжного рынка* в Париже и необходимости для писателей вообще освободиться от зависимости, в какую они ставят себя к издателю. И в самом деле, на парижском рынке давно уже замечается обесценение книг. Не только парижане, но и бывалые иностранцы хорошо знают, что каждую книгу можно на другой день после ее выхода купить со скидкою десяти и больше процентов. Прежде классическая цена была — три франка пятьдесят за то-

[1] наслаждаться *(франц.)*.

мики, пущенные впервые в ход издательской фирмой Шарпантье; а теперь повсюду, начиная с магазинов самих издателей, они покупаются за два франка семьдесят пять сантимов. Каждый день в Париже выходит по несколько десятков томов беллетристики, в месяц до тысячи и больше томов, не говоря обо всем остальном, и рынок завален множеством книг и книжонок, представляющих собою простую макулатуру, потому что писательское дело давно перешло в фабричную производительность. Предложение в несколько раз превышает спрос, и начинающие с трудом находят издателей и на самых невыгодных для себя условиях. До сих пор издатели платят автору от 25-ти до 50-ти сантимов за том, и обычай так силен, что очень редко даже люди с установившейся большой репутацией издают что-либо на свой страх. Но и на 50-ти сантимах с тома можно нажить крупный капитал. И этим путем такой беллетрист, как Эмиль Золя, приобрел за последние тридцать пять лет не один миллион франков. И наживаются только беллетристы, драматурги, некоторые стихотворцы и романисты. Драматурги поставлены в самые лучшие условия. Их интересы поддерживает «Общество» и взимает по 10-ти и по 12-ти процентов с валового сбора за пьесу в четыре и пять актов.

Газетные сотрудники — те, кто может заработывать несколько десятков тысяч франков в год, если они не падки до игры и до женщин, — обставляют себя материально гораздо лучше, чем, например, у нас. У редкого не скоплен капитальчик, редкий не заведет себе une petite maison de campagne[1] в окрестностях Парижа. У беллетристов, считая в том числе и поэтов, страсть к наживе и скопидомство — характерная французская черта, тогда как англичане всегда отличались тем, что, заработывая очень много, так же много и проживают. Поэт-солнце Виктор Гюго давно уже имел репутацию большого дельца. Он оставил состояние в несколько миллионов и ограждал свои авторские права с необыкновенной ловкостью и энергией. Такие расточители, какими были сверстники его Ламартин или Дюма-отец, давно уже исчезли. У прожигателя жизни, автора «Трех мушкатеров», сын, автор «Дамы с камелиями», не только

[1] маленькую дачу *(франц.)*.

умел сводить концы с концами, но постоянно копил, покупал картины и выгодно их перепродавал. Да и каждый парижский драматург мечтает столько же о славе, сколько о сборах — о том, что настоящий *успех* есть синоним заработка от пятидесяти до ста тысяч франков за одну пьесу, чего нельзя иметь нигде, кроме Англии и Америки. При такой возможности несколькими пьесами совершенно обеспечить себя французские писатели должны были предаваться культу высшего искусства, а из корифеев современного французского театра едва ли не один Дюма подолгу работал над своими пьесами, воздерживаясь от слишком жадной погони за барышами. Делечество Сарду вошло в пословицу. Правда, и он старательно обработывал свои пьесы, но оставался все-таки же промышленником и, кажется, единственным из парижских драматургов, так безусловно защищавшим свои авторские права за границей.

Русские писатели — беллетристы или газетные сотрудники, конечно, не без зависти видят, как в Париже драматурги и романисты материально обставляют себя, добиваясь очень скоро полной независимости, покупают дома и дачи, отделывают их роскошно и наполняют произведениями искусств. Эта страсть к *брик-а-браку,* к покупке всякого художественного старья, овладевшая парижанами всех слоев за последние десятилетия, — есть один из симптомов скопидомства и страсти к наживе, а также и склонности всякого француза тешить свое тщеславие разными игрушками. Далеко не у всех есть настоящая любовь к изящному. Попадаете вы в квартиру или загородный дом своего парижского собрата, и на вас скорее неприятно действует эта всеобщая погоня за *вещами.* Гостиная и кабинет превращаются в лавки старьевщиков. Вы чувствуете, как во всем этом сказывается коренное себялюбие, услаждение своего я, или маклачество. Все эти парижские разжившиеся драматурги, романисты и хроникеры ведут, в сущности, очень сухую *приобретательскую* жизнь. Если они не клубисты, то они или строчат и копят, или же тратят на разные виды дилетанства. Брик-а-брак и спорт — вот чем услаждает себя душа дельца-писателя, даже когда природа дала ему крупный художественный талант, как это мы видели на примере Мопассана.

С Мопассаном сошел в могилу особый вид писательского фатовства. Почти все теперешние романисты, драматурги и хроникеры играли роль в Салонах, проникали в Академию, окружали свою жизнь комфортом и светским изяществом и при этом высоко ставили свое литературное положение; а Мопассан желал быть прежде всего дворянином-спортсменом, эксплуатировал свой талант только затем, чтобы богато вести жизнь тонкого вивёра с ежегодным доходом, позволяющим ему принимать на своей вилле и на собственной яхте высшее светское общество... Его сверстник Поль Бурже гораздо больше влюблен в свое писательское «я»; но и он давно уже грешит снобизмом.

По-моему, между стариками едва ли не один Эдмон Гонкур доживал свой век как настоящий любитель литературы и искусства, имевший с молодости обеспеченные средства. Попадая в его дом в Отейле, полный редких изданий и ценных objets d'art, вы не испытывали того неприятного чувства, какое дает вам новейшая грубоватая погоня за брик-а-браком. Тут все складывалось десятками лет. И как бы ни было велико самомнение хозяина этого артистического отеля, он мог сказать и про себя, и про покойного своего брата, что они с юных лет преследовали только художественно-литературные цели, работали неустанно над развитием своих идей и талантов. Но тот же Гонкур в своем «Журнале» *, веденном сначала вместе с братом, а потом в одиночку, показал всем нам, до какой степени парижская литературная братия душевно разъединена, как она разъедена отсутствием высших идеалов и предана погоне или за кубышкой, или за шумихой суетного тщеславия.

В одну мою поездку я был приглашен обедать к одному из новейших драматургов — поставщиков веселых пьес, который заработывал почти также много, как Сарду. В несколько лет он так разжился, что купил себе дом-особняк в прекрасном квартале Парижа и по воскресеньям держал у себя открытый стол. У него собирались антрепренеры, драматические писатели, журналисты, особенно те, кто пишет о театре. Обстановка дома — богатая, обед — роскошный и оживленная беседа в товарищеском тоне. Но настоящего товарищества и тут нет, а есть только кумовство, выполнение нашей поговорки: рука руку моет. И сидя за столом с богатой сервировкой

и целым морем живых цветов, я невольно вспомнил о том, как жил и умер создатель русского бытового театра покойный А. Н. Островский. Если б не маленькое именьице, он должен был бы еще больше перебиваться. Только с того времени, как образовалось «Общество драматических писателей» *, Островский стал получать тысячи две-три в год за представления его пьес на частных сценах; а императорские давали ему тогда весьма мало. Переписка его с покойным актером Бурдиным, напечатанная в журнале «Артист» *, показала, до какой степени он плохо был обеспечен и как ему приходилось хлопотать, в сущности, о мизерном заработке.

А в Париже автор двух-трех фарсов в три-четыре года может так себя обставить, как ни один русский драматург и в десять лет самой усиленной работы. Зато нажива и стала там эмблемой всякой душевной деятельности.

В Лондоне я сталкивался с персоналом прессы гораздо меньше, чем в Париже. В сезон 1868 года моим главным чичероне в этом мире был постоянный сотрудник газеты «Daily-News» — мистер Эдуардс, бывший когда-то специальным корреспондентом в Варшаве во время последнего польского восстания. Он там и женился на англичанке. И тогда, да и теперь, газетное дело было поставлено солиднее, чем в Париже, потому, во-первых, что в Лондоне и до последнего времени нет такой конкуренции. Прошло около тридцати лет, и вы находите те же главные газеты, с прибавкою много-много пяти-шести новых листков, успевших занять прочное место. Такой всемирной державы, как газета «Times», Париж еще до сих пор не выработал. Если бы человек пролежал в летаргическом сне целых четверть века, с номером «Таймса» в руках, проснулся и купил себе новый номер этой газеты — он подумал бы, что прошли всего одни сутки. И дорогая цена в три пенса, то есть в двенадцать русских копеек, остается неизменной. В конце 60-х годов газеты, стоившие один пенс, уже существовали, но и они сохраняют и теперь тот же характер и те же размеры. И как тогда, так и теперь, вы абонируетесь в лавочке на три-четыре газеты, и рано утром мальчишка прибегает и бросает номер вниз за решетку, где

в подвальном этаже помещаются кухни; а после вашего завтрака приходит за ними. Но народились и другие органы. Демократические идеи и социальное движение дают себя чувствовать. Из Америки пришли и новые приемы издательства. Реклама усилилась, и уличная продажа обставлена на более американский манер... Вечером на всех бойких пунктах Лондона разносчики расклеивают вдоль тротуаров большие листы, где крупнейшими буквами напечатано оглавление номеров.

Английский обычай анонимности писания и передовых статей, и всякого рода заметок без подписей авторов избавил лондонскую прессу от разных парижских неудобств и прежде всего не мог ни развить, ни поддержать замашки постоянных вызовов и дуэлей. Публика привыкла иметь дело с известным органом и его направлением и не давала никакой потачки тщеславию бесчисленных писак, которые тычат вам в нос свое имя изо дня в день, носятся с своим «я». В ежемесячных журнальных обозрениях и «магазинах»[1] анонимность не обязательна. И вообще в лондонских обозрениях больше жизни, чем в парижских. Я уже говорил, до какой степени широко смотрят на свою задачу издатели и редакторы разных «Reviews»[2]. Это может показаться на первых порах беспринципием; а в сущности, поднимает уровень идей, позволяет каждому смелее и убежденнее служить своему идеалу.

Интерес к театру привел меня в 1868 году к знакомству и с лондонскими театральными рецензентами. И тут анонимность приносит добрые результаты. Нет такого кумовства, как в Париже. В материальном отношении рецензенты обставлены очень хорошо, как и вообще все те, кто успел приобрести прочную работу в газетах. Из театральных критиков, начинавших тогда свою карьеру, я всего чаще встречался с мистером Куком — автором довольно талантливых романов *. Он писал в тогда еще новой газете «Pall-Mall Gazette», которая потом одно время редактировалась Стэдом и окончательно перешла в руки богатого американца; он, убитый внезапной смертью своей жены, сбирался прекращать это издание,

[1] журналах (от *англ.* magazine).
[2] Обозрений *(англ.)*.

выходившее в трех видах: как газета, как еженедельник и как обозрение.

Мистер Стэд — известный своими поездками в России и всем тем, что он печатал о русской жизни и литературе, в особенности пропагандой личности, учения и мистических писаний графа Толстого — характерный продукт Лондона последних десятилетий. Он выдвинулся и одно время наделал большого шума своими разоблачениями из мира тайного разврата *, прикрытого традиционным британским лицемерием. Его статьи, изданные потом отдельной книжкой, облетели весь грамотный мир. Англичане, разумеется, морщились от таких разоблачений, и дело не обошлось без нападок, инсинуаций и подозрений, из которых, однако, Стэд вышел незапятнанным.

Его личность интересовала меня. Я нашел его в бюро редакции журнала «Review of Reviews», в одной из боковых улиц, ведущих на Странд — этот центр газетной и театральной промышленности. Он охотно говорит о России, но его интерес к нашему отечеству окрашен в особый колорит, может быть, оттого, что он, как известно, склонен к спиритизму. Я бы принял его скорее за американца, чем за коренного англичанина. Та кампания, в которой он прославился, является также одним из симптомов американизма в прессе. Репортерство охватывает собою все, и я лично также не избежал посещения газетных и журнальных сотрудников, являвшихся для *интервью*. Один из них, родом ирландец, показался мне самым понаторелым в этой специальности, и в течение какого-нибудь одного часа сумел целым рядом вопросов добыть себе материала на большую статью.

Ежедневная и еженедельная пресса проникает теперь и в Лондоне в частную жизнь так, как этого сорок лет тому назад еще не было. В особенности светские сферы подались по этой части; и тут, кроме американских повадок, действует всего больше Париж, его бульвары и журнальцы, вроде «La Vie parisienne»[1] и др., где ведется эротическая хроника изящного «tout Paris». Французы в своих корреспонденциях и книжках о Лондоне (в последние пять лет в особенности) находят, что страсть ко всякого рода нескромностям дошла в лондонских свет-

[1] «Парижской жизни» *(франц.)*.

ских кругах до крайней степени. Есть журналы, например «Truth»[1], где вы находите огромное количество всяких слухов, сплетен, анекдотов и случаев из фешенебельного общества Лондона, прямо рассчитанных на интерес скандала. Это действительно так: свет по ту сторону Канала сильно подался по части жуирования и приобрел уже болезненную страсть к рекламе и к нескромностям всякого рода. Быть может, в печати это все имеет у англичан нечто более грубоватое и бесцеремонное, чем в парижских бульварных газетах и журнальцах; но все-таки же в лондонской прессе, даже и такой, которая занимается миром спорта, театров, клубов, обедов и вечеров, вы еще не находите такого повального потакательства легким нравам. Большие солидные газеты и совершенно свободны от этого элемента. Вы можете изо дня в день читать по несколько лондонских газет разом, и у вас не явится той противной оскомины, какую дает парижская бульварная пресса.

В последнюю мою поездку я не нашел в Лондоне корифеев писательского мира с таким общественным и материальным положением, как многие парижские знаменитости. Там нет ничего подобного Французской академии, и самые крупные публицисты и критики, работающие в газетах, могут получать огромные оклады; но они скрыты за анонимами; вы можете встречать их в обществе и не знать, в какой они цене и какую роль играют в том или другом органе.

И серьезной солидарности больше в лондонском писательском мире, что и сказалось в нескольких обществах взаимопомощи, в фондах и товариществах, преследущих и материальные и нравственные цели. А главное, нет той ежедневной свалки бесконечных полемик, руготни, инсинуаций, обличений в шантаже и всяких видов нравственного падения, как в Париже. Я как раз жил в те дни, когда шел и закончился скандальный процесс Оскара Уайльда, игравшего роль и в свете, и в театрально-литературном мире Лондона. Репортерские отчеты почти ничего не замалчивали и в подробностях допроса, и в свидетельских показаниях. Это дело показало, каковы могут быть интимные нравы и английских писателей, но по крайней мере оно не подало повода

[1] «Истина» *(англ.)*.

к нечистоплотной болтовне и еще менее к таким защитам противоестественных склонностей, какие об эту самую пору появились, например, в парижском органе декадентов «La Revue blanche». На французский и на русский взгляд, процесс Оскара Уайльда служил также доказательством того, что английское общество не освободилось до сих пор от узкого ригоризма, если не лицемерия. Оскар Уайльд осужден был за порочность преступного характера; но он и после приговора остался писателем с известной литературной физиономией, его романы имели успех и пьесы привлекали лондонскую публику двух театров; а критические статьи вербовали последователей его идей среди молодежи. И стоило ему быть осужденным на два года тюремного заключения, как тотчас же пьесы его сняли с репертуара, романы и книги критического содержания исчезли отовсюду.

— Изуверство! Ханжество! — воскликнут многие и среди нас.

В известной степени, пожалуй; но такого рода строгость публики все-таки же очищает и писательские нравы, не позволяет разным благёрам — вестовщикам и забавникам — выливать целые ушаты всяких порнографических помой и грязнить и без того уже грязную бульварную прессу.

И в конце 60-х годов, и теперь я встречал в Лондоне журнальных и газетных работников, не сумевших составить себе блестящего материального положения. Да и вообще англичане не скопидомы, и если б подвести статистические итоги, то, конечно, окажется, что в парижской пишущей братии больше людей, доживающих свой век безбедно, имеющих недвижимую собственность и ренту. Англичанин, повторяю, любит тратить, часто путешествует, гостеприимнее француза, больше проедает и пропивает и должен больше расходовать на свой комфорт, и вообще и в деталях. Но средний журнальный и газетный работник в Лондоне требует себе более значительных гонораров, чем те, какие существуют на парижском журнально-газетном рынке. Я помню, что еще перед 1868 годом, когда Джон Морлей поручил мне составление статьи «Нигилизм в России», я за этот этюд получил листовую плату выше той, какую имел в России. В Париже самые крупные гонорары берут романисты. Доде или Золя могли в газете, где роман их появится в фелье-

тонах, получить двадцать и тридцать тысяч франков, а затем отдельные издания с тиражом в сто тысяч экземпляров доставят им еще больше. Но в Лондоне громкие книжные успехи считаются не меньше, как тысячами фунтов стерлингов. Даже и без литературного таланта можно одной книгой нажить состояние.

Знаменитый путешественник Стэнлей (мой товарищ по газетной кампании, какую мы вели в 1869 году в Мадриде и других городах Испании) за одну книгу, где он рассказал, как нашел Ливингстона *, получил сразу капитал в двести тысяч русских рублей, и его карьера прямо показывает, чего может достичь простой газетный корреспондент, вдобавок с очень малым образованием, с обыкновенным умением владеть пером. Я нашел его в сезоне 1895 года кандидатом в члены парламента, променявшим американское гражданство на английское подданство, и богатым человеком, живущим открыто с постоянными приемами. И он, и любой англичанин или американец привыкли тратить много, зная, что и заработок при удаче будет в несколько раз крупнее, чем на материке Европы.

⟨ИЗ ГЛАВЫ XIV⟩

За целых пять лет до франко-прусской войны я встречался в Париже со многими русскими, принадлежавшими к трудовым и мыслящим людям. Какого-нибудь крупного центра у русской интеллигенции не было во второй половине 60-х годов, за исключением тех месяцев, какие прожил в Париже с осени 1869-го по январь 1870 года А. И. Герцен. Он тогда приехал в Париж с целью основаться в нем, и у него сходились некоторые русские, и не принадлежавшие к эмиграции. Он сам сознавал уже, что то значение, какое его заграничная деятельность имела в России до 1862 года, больше не повторится. В первый раз увидал я Герцена в Женеве осенью 1865 года. Он пришел к одному из моих русских сожителей *, и я застал его в очень живом разговоре о какой-то петербургской истории. Ему было тогда около пятидесяти пяти лет. Известный портрет, написанный художником Ге, всего больше дает понятие о его наружности в ту эпоху. К приезду в Париж он, разумеется, немножко постарел, сделался полнее, с большой проседью, но сохранил все тот же тон, голос, ту же московскую дикцию. Меня даже изумляло, до какой степени после двадцатилетнего житья за границей, после долгих годов, проведенных в Лондоне, Герцен сохранил в себе все типические особенности москвича 40-х годов, и, прибавлю, москвича-барина, разумеется, в хорошем смысле.

В Париже мы встретились на одном из четвергов у Вырубова. Хозяин сообщил мне перед тем за несколько дней, что Герцен желает со мной познакомиться и говорил ему о моих романах и газетных статьях. На

этом же первом четверге Герцен вступил в философскую беседу со стариком Литтре и явился в ней не то что противником позитивизма, но, во всяком случае, человеком, воспитанным на гегелианских идеях. По-французски говорил он бойко, но с московским барским акцентом. Употребляя беспрестанно фразы и обороты, которые он тут же переводил с русского, он очень часто затруднял Литтре, не привыкшего к такой французско-русской диалектике. Тогда нам — мне и двум-трем русским — показалось, что Герцен вряд ли был особенно хорошо знаком с движением новейшего научного мышления *. После того мы стали видаться довольно часто. Герцен взял большую квартиру против Пале-Рояля, в меблированном доме, который тогда назывался «Pavillon Rohan»; там он и умер. Он поселился со всем семейством и с младшей его дочерью Лизой — девочкой лет двенадцати — мы стали вскоре большими приятелями. Вечерние приемы бывали по средам. Я не помню, чтобы много ходило французов. Герцен всего ближе был к французам из эпохи февральской революции; но некоторые в это время жили за границей, эмигрантами. В его гостиной я не познакомился ни с одним таким французом. К тогдашней внутренней политике Франции Герцен относился с некоторой надеждой на то, что бонапартову режиму подходит конец. В ту зиму произошло убийство Виктора Нуара *, и А. И. присутствовал при уличных волнениях Парижа, и сам он симпатично волновался, причем одного из своих русских молодых приятелей упрекал в равнодушии.

— Это бог знает что за молодежь! — говаривал он мне на эту тему. — Вот наш с вами общий знакомый, это — какая-то *мудрорыбица!* *

И у себя дома, и в кафе за стаканом грога, и за обедом в ресторане Герцен увлекал своей беседой. Он мог целыми часами сряду рассказывать, спорить, защищать и нападать. Тургенев, говоря со мною раз о его темпераменте и вспоминая подробности его супружеской жизни, заметил:

— Не желая этого, Александр Иванович подавлял и жену, и всех домашних своим разговорным темпераментом. Бывало, бедная жена его совсем посоловеет; а у себя он в час ночи только расходился и способен был просидеть до петухов.

Трудно было со стороны догадаться, что Герцена уже подтачивала тогда серьезная болезнь — диабет. Раз, зайдя ко мне по возвращении из Италии, откуда он привез свою больную старшую дочь, он показал мне на руке, около сгиба, припухлость.

— Вот видите, это всегда у меня бывает от внутреннего волнения. Меня испугала депеша моего сына о здоровье дочери, и сейчас же диабет дал себя знать вот в этом *гвозде — «clou»*, как называют французы.

Но он не берег себя, постоянно выходил и на публичной лекции Верморепя в Salle des Capucines, где было очень жарко, простудился, слег, и через несколько дней его не стало. Воспаление легких на почве диабета было осложнено нарывом, и мы уже за два дня до смерти знали, что он не встанет. На его похороны собралось немало французов; но это все был больше совершенно безвестный народ из тогдашних рабочих революционных кружков. Они его знали как знаменитого русского эмигранта, и все оппозиционные газеты напечатали о нем сочувственные отзывы. Но, повторяю, за все эти месяцы знакомства моего с Герценом я не видал, чтобы у него была какая-нибудь особенная связь с тогдашней парижской интеллигенцией.

И все-таки же, за все тридцать лет я не знавал в Париже ни одного русского семейного дома, который играл хотя бы такую роль. В моем романе «Солидные добродетели» * (где как раз захвачен период от моего первого приезда в Париж до франко-прусской войны) есть образчики тогдашней русской молодежи из нелегального мира. К ним надо прибавить тех молодых ученых, которые приезжали в Париж для своих специальных целей. Тогда не было ни русского клуба, никакого кружка или общества, где бы происходил постоянный обмен симпатий между французами и русскими; и с кем я ни сталкивался из выдающихся французов, я ни в ком тогда не находил особенного интереса к моему отечеству. Все по этой части сколько-нибудь ценное я отметил в предыдущих главах, вспоминая о крупных личностях из мира знания, литературы и искусства.

К половине 70-х годов окончательно поселился в Париже И. С. Тургенев. Он жил в доме Виардо, в rue Douai; а летом на вилле в Буживале. У него, по условиям его обстановки, не могло образоваться настоящего

центра для русских; но много молодых людей, писателей, художников и эмигрантов обращались к нему. Он сошелся с кружком парижских «натуралистов», поддерживал Э. Золя, был приятелем Флобера и постоянным участником обедов в ресторане Маньи. В 1878 году на первом писательском конгрессе он единогласно был выбран в президенты. И можно прямо сказать, что в лице его наша литературная интеллигенция одна только и поддерживала *серьезную связь* с французами, задолго до взрыва русско-французских манифестаций. На проводах тела Тургенева из Парижа тамошняя интеллигенция впервые воздала *так торжественно* дань сочувствия и уважения русскому романисту, и речь Ренана была прочтена всей Европой; а из статей, посвященных Тургеневу по поводу его смерти, статья Вогюэ* оказалась одной из самых талантливых и содержательных.

С 50-х годов Лондон сделался убежищем для русской эмиграции. Там стал издаваться «Колокол», и Герцен пользовался гостеприимством Англии все время, пока считал для себя удобным или приятным оставаться в ее пределах. Я не думаю, чтобы его личность добилась очень большой популярности в английской публике. На это нет прямых указаний, но, во всяком случае, все те англичане, которые в печати и в жизни сочувствовали ему, — поступали сознательно и искренно. Они принадлежали к английским радикалам и одинаково были способны поддерживать своими симпатиями и все то, что на материке Европы стремилось к свободе, независимости, свержению всякого рода — иноземных ли, своих ли оков.

Наша интеллигенция, без сомнения, давным-давно была бы в более частых и искренних сношениях с английской, если бы мы сами более интересовались Англией и жили бы в ней чаще, чего, как известно, не было, да и до сих пор нет настолько, насколько это желательно. Русская колония, кроме эмигрантов, — как была в 60-х годах, так и теперь — очень невелика. Ни в одну мою поездку в Лондон я даже не мог найти хотя бы два-три семейства, принадлежащих к светскому обществу, которые основывались бы в Лондоне. Точно так же не находил я и никакого центра для тех русских, которые

ездят в Англию, как туристы или молодые ученые. Но в последние годы образовалось какое-то «англо-русское» общество *, и председатель его обращался и ко мне несколько лет тому назад. От некоторых моих близких знакомых из университетской сферы, живавших в Лондоне, я слыхал, что это — общество, задавшееся целью сближения России с Англией, имеет связь с нашими охранительно-патриотическими кружками. Этого рода Россию представляла довольно долго в лондонских политических и литературных салонах и одна дама, пишущая под инициалами О. К. *, — довольно известная и у нас. Едва ли она была не единственная русская, завязавшая обширные знакомства в разных сферах Лондона, начиная с самых высших. До сих пор рассказывают про ее приятельство с Гладстоном и многими другими его сверстниками по политической борьбе. Может быть, этой представительнице русского охранительного патриотизма мы обязаны тем, что «великий старец» заинтересовался многими сторонами русской жизни и во внешней политике держал нашу руку больше, чем его предшественники.

Нужно только пожалеть о том, что до сих пор в Лондоне русская интеллигенция не имеет настоящего пристанища. Эмигранты должны по необходимости держаться особо, но и ими английское общество, вплоть до самых фешенебельных и респектабельных кружков, интересуется серьезнее, чем, например, парижские соответственные кружки такими же русскими эмигрантами, живущими на берегах Сены. В последнюю мою поездку, почти каждый мой собеседник спрашивал меня непременно о двух выдающихся эмигрантах, из которых один тогда был ушиблен до смерти локомотивом *. Имя его было довольно популярно во всем писательском мире Лондона; но еще популярнее имя графа Толстого — и романиста и вероучителя. Я думаю, что в английском образованном обществе, в особенности между женщинами, учение графа Толстого нашло всего больше сторонниц. В Париже, как я уже говорил, престиж русских романистов, в том числе и графа Толстого, значительно поослаб; а в Лондоне каждая новая вещь Толстого производит еще сенсацию.

И по тону ваших собеседников и собеседниц вы чувствуете, что для них искание истины русского вероучи-

теля не предмет простого любопытства, не курьез, а нечто такое, что глубоко волнует их, отвечая на чисто британскую потребность прислушиваться к запросам совести, искать осуществление своих нравственных идеалов.

Нашим языком, и литературой, и общественной жизнью англичане, в общем, за последние годы занимались, быть может, и не больше французов; но все это сделалось *вне* политических комбинаций. То, что вы теперь находите, — не подкуплено в патриотическом смысле, тут ничто не пахнет той шумихой, какая поднята была во Франции на тему «альянса» *. За последние сорок лет несколько англичан составили себе имя своими статьями о России, ее литературе и ее обществе, ездили к нам и оставались у нас подолгу. Такими британцами были Рольстон, Меккензи Уоллес и профессор Морфилль *, о которых я в своем месте говорил подробнее.

Если сравнить то, как русского принимают теперь во Франции, с тем, какой он прием находит в Англии, даже когда он и рекомендован, то, конечно, с французом ему покажется приятнее. С ним больше будут носиться, говорить ему любезных и льстивых фраз, но такой оселок вряд ли надежный. Положим даже, что англичане нас не любят вообще, то есть в массе; но расспросите любого русского профессора, писателя, техника, просто туриста — если только он желал, обращаясь к англичанам различных положений и слоев общества, серьезнее знакомиться с какими бы то ни было сторонами английской жизни — и он вам скажет, что нигде не наталкивался на недоброжелательный отпор. Англичанин в своем обхождении несколько суховат, иногда чопорен, но в нем вы не чувствуете того снисходительно-самодовольного взгляда на вас, которым проникнуты и самые воспитанные светские французы. И поверьте, у каждого образованного англичанина, каков бы ни был его тон, есть все-таки большее желание ознакомиться с вами как представителем другой страны, чем это мы видим у большинства французов, за исключением тех случаев, когда француз отправляется «интервьюировать» вас или едет в чужую страну в качестве наблюдателя и корреспондента.

ВОСПОМИНАНИЯ 1878—1917 ГОДОВ

У РОМАНИСТОВ

(Парижские впечатления)

I

К какой бы национальности ни принадлежал человек, будь он хоть самый завзятый немецкий или русский шовинист, он все-таки должен сознаться, приехавши в Париж, что дальше уже некуда двигаться, если искать центр общественной и умственной жизни. Мне на моем веку приходилось нередко видеть примеры поразительного действия Парижа на людей самых раздраженных, желчных и скучающих. В особенности сильно врезалось в память впечатление разговора с одним из наших выдающихся литературных деятелей *, человеком не молодым, болезненным, наклонным к язвительному и безотрадному взгляду на жизнь. Он, кажется, лет до пятидесяти не выезжал из России. Болезнь погнала его за границу, где он сначала жил на водах и на юге, а под конец попал в Париж. И даже этот русский скептик, способный на все ворчать, должен был признать, что в Париже дышится легко, что одна картина уличной жизни уже приятно щекочет нервы, что, словом, лучше Парижа не найдешь города. Все это я говорю не затем, конечно, чтобы вдаваться в старомодное и смешное увлечение «заграницею», французами и их «всемирным» городом. Признаюсь, я лично никогда недолюбливал той *францугомании,* которой одержимы очень многие русские из так называемого образованного класса. Мне случалось довольно давно и в легких фельетонных заметках, и в

отдельных статьях нападать на нашу светскую страсть к французскому языку, как известному внешнему лоску, связанному с сословным духом. Я старался всегда доказывать на фактах, что русские, употребляющие обязательно французский жаргон, в сущности, вовсе не любят Франции. Если им приятно в Париже, то потому только, что там все их пустые наклонности, все их барское шалопайство находят для себя обильную пищу. Ни один из таких русских не проходит через хорошее влияние Парижа, не способен слиться с тамошней умственной, политической и социальной жизнью. Все наше «высшее» общество держится французского жаргона, как *сословного отличия.* Дух Франции, который сделался симпатичен развитому меньшинству русских, для нашей светской среды — или совсем неизвестная область, или нечто вредное, антипатичное и разрушительное. На эту разницу в отношениях к Франции, к Парижу наши публицисты недостаточно указывают, и напрасно. Не одни публицисты должны это делать, а также и беллетристические писатели, романисты и драматурги. Если бы всем и каждому было ясно, что внешний французский лоск нашего барского общества есть только известное сословное клеймо, отличие касты, образчик условной порядочности, тогда все это потеряло бы обаяние даже и в глазах менее развитой массы. По этой части типы из «порядочного» общества представляют большой комизм. Поживите вы во Франции, поработайте там, войдите в интересы лучшей доли французского общества, и, вернувшись в Петербург или Москву, вы будете поражены тем, как далеки все употребляющие у нас французский язык от всего, что вам дорого в гении и свойствах французского народа. Французский язык этих русских порядочных людей почти всегда уродливый. Он состоит только из французских слов с огромным количеством русицизмов. Из десяти собеседников девять наверно (и мужчин, и женщин) не в состоянии поддержать на своем французском жаргоне серьезного разговора, ни политического, ни литературного, ни специального. Далее толков о новой оперетке, иногда о романе и о коекаких внешних политических фактах, разговор не пойдет среди этих господ и госпож, обязательно употребляющих французский язык. Сколько бы они ни ездили в Париж, он все-таки для них останется большим увеселительным

местом. Он никогда на них не повлияет серьезной жизненной стороной.

Даже та область, куда мы теперь заглянем, касается русских приезжих и фланеров только с внешней стороны; они читают романы, но подняться до критического взгляда на них они не в состоянии. В сфере искусств — роман и театр принадлежат Парижу более, чем какому-либо городу в мире. И то и другое превратилось там в такой же ежедневный продукт, как газеты или свежий хлеб булочника. Эти легкие доступные формы человеческой мысли слепят глаза даже и более серьезным иностранцам. Из-за них трудно разглядеть ту внутреннюю неустанную работу мысли, которая происходит в разных уголках Парижа. Заезжий иностранец — русский и всякий другой — знает Париж бульваров и спектаклей. Ему нет ни времени, ни случая, а главное — нет охоты проникать в трудовые уголки. Он снимает только сливки блестящей, увлекательной жизни. Но если бы этот иностранец явился в Париж надорванный жизнью, с настоящей душевной хандрой или после какого-нибудь житейского испытания, после суетной жизни, с переворотами, с ударами судьбы, и в нем сохранились бы умственные силы и внутренняя порядочность, то, конечно, трудовой, мыслящий Париж обновит его скорее, чем какая бы то ни было столица в мире! Учиться можно везде, в любом немецком университетском городке, и найти там даже всевозможные тонкости эрудиции. Но нет такого города, как Париж, где бы человек, жаждущий обновления, сознающий большие пробелы в своем гражданском, мыслительном или художественном развитии, мог так легко сбросить с себя и равнодушие, и усталость, и умственную лень. Первый попавшийся трудовой француз, с каким он познакомится, покажет ему на примере собственной жизни, как следует идти вперед и добиваться своих целей, как переносить неудачи. Кто бы это ни был: ученый, артист, литератор, газетный сотрудник или политический агитатор, у каждого намечена дорога, каждому можно сделать карьеру, на все существует спрос. Правда, из тысячи человек только несколько десятков добьются своего, но в других странах из этой тысячи не дойдет до своего предела и одного десятка!..

Париж мысли, таланта и умственного труда занимает две топографические местности. Одна на правом берегу Сены, над бульварами, в улицах, ведущих к Монмартрским высотам; другая — на левом, в так называемом до сих пор Латинском квартале. По составу местность правого берега представляет собою более однообразный характер. Там живут литераторы всяких специальностей и оттенков, но уже люди профессии, составившие себе положение, или простые труженики прессы, но уже не ищущие больше других путей успеха и заработка. Там же живут и художники — и с именем и без имени. На левом берегу интеллигентное население гораздо разнохарактернее. Тут и студенты, тут и начинающие артисты и актеры, тут и молодые ученые, тут же и академики, профессора, специалисты и просто мыслители, живущие в совершенном уединении, не мечтающие о приманках внешней карьеры...

Недавно в одной из книжек «Вестника Европы» Эмиль Золя набросал картину жизни и нравов современной парижской молодежи *, которая из всех концов Франции стремится в Латинский квартал. Он отнесся к этой молодежи строго, но не придирчиво. Я знал ее с половины 60-х годов. Можно и тогда было сказать почти то же самое. Но эта общая картина все-таки не дает понятия о том, что такое мыслительная и трудовая жизнь на левом берегу Сены, где приютилась молодежь. И во Вторую империю, и теперь, при республике, масса студентов медицинской школы, юридической школы и Сорбонны жила и живет праздно. И до сих пор стоит вам только пройтись или проехаться по главной артерии Латинского квартала — бульвару St. Michel — и вы увидите те же кафе, к вечеру битком набитые студентами, те же пивные с женской прислугой (caboulots), тот же публичный бал Бюллье, где по воскресеньям и четвергам пляшут сотни студентов.

И провинциалы и парижане одинаково легко смотрят на студенческое время. Почти все они дети достаточных родителей и знают, что, кое-как взявши звание *licencié*[1] или диплом доктора, они найдут себе место, или папенька купит им контору нотариуса. Но среди этой тысячной толпы гуляк, фланеров, «блягеров», люби-

[1] кандидата (*франц.*).

телей женского пола живут и молодые люди совсем другого типа. Их трудно узнать, но узнать можно. Стоит только походить в публичные библиотеки, читальни, на лекции. В течение четырех сряду лет, которые я провел в Париже, мне удавалось знакомиться с молодыми людьми такого именно типа. Не все они были бедняки: некоторым родители высылали по две, по три тысячи франков в год. Между ними, помимо людей даровитых и блестящих, я находил и отличных тружеников, необычайно выносливые натуры; некоторые поражали даже нас, русских, способностью к какой-то, не то что уж лихорадочной, а *сверхъестественной* деятельности. Один из таких французов погиб на моих глазах жертвой адски усиленного труда. Обыкновенно французские фельетонисты и писатели любят распространяться о той молодежи Латинского квартала, которая ведет жизнь *богемы,* мечтает о литературной славе, больше болтает, шумит и пьет, чем делает дело.

Поэт Мюрже связал свое имя с этим царством богемы, и до сих пор у всякого читателя при одном имени Латинского квартала возникают в воображении картинки разгульной, беззаботной жизни, попавшие и в стихи, и в рассказы, и на сцену. Но и тогда еще это не было вполне верно. Припомните, что говорит о богеме времен Мюрже товарищ его и приятель — французский беллетрист Шанфлери. Он в своих воспоминаниях уверяет, что и тогда и он, и его ближайшие приятели не предавались вовсе поэтическому ничегонеделанию: они были для этого слишком бедны; рядом с порыванием в область идеала нужно было подумать и о насущном куске. Только в то время романтизм накладывал на жизнь молодежи более яркий колорит, а теперь и в Латинском квартале царствует уже более трезвый, положительный дух.

Теперь молодежь распадается на два главных оттенка: или истинно трудовые люди, или же пустые фланёры, неспособные, вплоть до окончания курса, над чем-нибудь задуматься. Но и теперь есть кружки, стремящиеся к художественным наслаждениям, мечтающие о славе поэта, новатора в драме, романе и часто стихотворных произведениях. Несмотря на разрастающийся культ чувственных удовольствий, денег, мелкого честолюбия, мы видим, что в том же Латинском квартале

зародилась новая семья молодых поэтов. Это поэтическое движение назрело в последние годы Второй империи. К половине 70-х годов один из парижских издателей мог уже напечатать большой том стихотворений, который он озаглавил «Парнас». В него вошли отдельные пьесы нескольких десятков молодых, начинающих поэтов. Между ними есть люди крупного дарования, как, например, Ришпен, уже известный русской публике в переводах. Меньшинство этой поэтической плеяды составляют поэты-колористы реального оттенка. Они не останавливаются ни перед какими смелостями, но не из желания вдаваться в какую-нибудь прозаическую односторонность, нет: они только ищут самых реальных выразительных форм, не пугаются никакой правды, но желают облекать ее в жизненные краски, действовать на читателя не сентиментальностью, не условными метафорами, а чем-нибудь новым, сильным, выхваченным из жизни.

Рядом с этими *колористами* реального характера заявляют себя и поэты с философскою мыслью, с смелым интеллигентным протестом. Они уже высвободились из-под влияния прежней декламации, стряхнули с себя устарелый налет романтизма и сладких поэтических бредней. Но есть и такие, которые чересчур вдаются в обработывание формы. Они продолжают традиции В. Гюго и смотрят на него, как на своего великого учителя. Все эти оттенки были также не так давно характеризованы Э. Золя в одном из его русских писем *. Мне рассказывали, что кружок самых смелых реальных колористов, с Ришпеном во главе, в известной степени продолжает традиции той богемы, которая воспета поэтом Мюрже. Эти молодые люди не хотят ничего знать, кроме своей рифмы и своих цветистых образов, сидят по пивным, любят разгульную жизнь, не мечтают о деловой карьере и ко всему относятся с тем «черт побери», которое так соблазнительно было для парижского юношества 30 и 40 лет тому назад; многие считают их даже циниками.

Каковы бы они ни были, это распускание новой поэзии на рубеже Второй империи и Третьей республики показывает, что французская молодежь живет, а не прозябает. Она могла временно подчиниться растлевающим дыханиям бонапартова режима. Две трети ее бросились

на наживу, на грубый материализм, на погоню за местами и окладами, но известная доля осталась восприимчивой к мысли и красоте. Мозг в ней по-прежнему ищет новой работы, кровь волнуется во имя светлых идей и творческих образов, увлечения молодости служат материалом для художественного воспроизведения жизни; сердца ее бьются в унисон со всем лучшим, что французская нация выработывает в лице своих бойцов за свободу ума, человечные права и общественную правду.

Из числа этих поэтов очень многие обратятся и к роману, и к театру, и к журнализму. Да и теперь рядом с ними в мансардах и в маленьких комнатках дешевых отелей живут будущие крупные деятели. Двадцать лет тому назад, один из блестящих теперешних романистов, Альфонс Доде, затерян был также среди этой молодежи. Он рассказывает русским читателям свою эпопею. И его тогда каждый смешивал с толпой студентов, шатающихся по бульвару St. Michel и около театра «Одеон». Другой романист, сильнее по таланту, завоевавший себе едва ли не первое место во французской современной беллетристике, Эмиль Золя каких-нибудь 10—12 лет тому назад ходил также по Латинскому кварталу без дела, пробиваясь в страшной бедности, и не знал, что ему начать, чтобы выбиться на дорогу...

Но каждого такого приезжего провинциала, всякого голяка-юношу, нюхнувшего приманок Парижа и не потерявшего сознания своей личности, своих сил и стремлений, влечет вперед пример других голяков, которые приходили на эту всемирную арену борьбы и соревнования и добивались всего, что им грезилось на их чердаках: славы, денег, положения, влияния, возможности бороться за дорогие идеи и принципы! До сих пор Париж — лучезарное Эльдорадо писателей и художников. Положим, и Лондон может давать огромные деньги своим романистам. Даже в Германии Шпильгаген и Ауэрбах получают капиталы за каждый новый роман; но, кроме денег, Париж дает и многое другое. Из-за этого-то *другого* люди и не теряют энергии тогда, когда у нас человек уже похож на выжатый лимон, когда он еле-еле дотягивает свою житейскую долю, потеряв веру и в себя, и в «среду», и в свою будущность...

II

Французский писатель может достигать решительно всего. Первый большой успех романа, книги, пьесы делает его личностью всемирно известной. Если он человек тихий, любящий свободу, уединение и сознание честно приобретенного имени, он проживет весь свой век спокойно, составит себе состояние и, когда пожелает отдыхать, старость его обеспечена от всяких случайностей. Если он честолюбив, одно имя известного или знаменитого литератора дает ему ход во всех направлениях общественной деятельности. Оставаясь *только писателем,* он будет избран во Французскую академию или Институт, не заискивая в государственной администрации, сохраняя независимость в своих политических взглядах. Он легко может сделаться главою школы. Ему предложат руководить каким-нибудь журналом. Под его влиянием будут воспитываться целые поколения.

В чисто политической сфере можно идти еще быстрее. Если у него выработаны убеждения известной партии, она с охотою выставит его вперед и на муниципальных и на парламентских выборах. Он попадет в мэры, муниципальные советники, а потом и в депутаты, в сенаторы, в министры. Кроме адвокатов, писательская корпорация доставляет самый большой набор людей, играющих роль в политическом мире. Недаром на Международном литературном конгрессе* Эдмон Абу указывал на тех писателей во Франции, которые достигали самых высших государственных званий. Ламартин — поэт и Тьер — журналист и историк были на протяжении тридцати лет президентами Французской республики. Гамбетта хотя и адвокат по своему званию, но, в сущности, никогда не переставал быть журналистом, да и до сих пор хозяин журнала, пишущий в нем руководящие статьи. В сенате и Палате депутатов литераторов насчитывается десятками.

Есть одна литературная личность, именно В. Гюго, который, и как поэт и как гражданин, занимает исключительное положение. Он, кроме того, сенатор; около него группируется целая парламентская партия, несмотря на то, что он давно уже огорчает искренних и серьезных республиканцев своей погоней за популярностью, своими декламаторскими, часто смешноватыми

речами. Я уже говорил в своем письме из Парижа *, что его литературное положение — небывалое во Франции в последние 50 лет. Но такое положение, если еще не высшее, имели уже во Франции другие писатели. Пускай читатель вспомнит факты, недавно еще приведенные на память в статье о Вольтере. Уже в XVIII веке простой писатель мог занимать положение высшее, чем король, и это было *сто лет* тому назад. Да и не один Вольтер — каждый выдающийся писатель тогдашней эпохи уже возбуждал зависть в заграничных литераторах. Лессинг был не охотник до французов и в особенности до Вольтера, а загляните в его «Гамбургскую драматургию», и вы найдете там в одном месте его жалобы, как немца, на низменное положение литературы в Германии. Он указывает на один факт, именно на то, что жители города Кале воздавали огромные почести автору посредственной пьесы, написанной на патриотическую тему, из истории этого города. И тогда, то есть слишком сто лет тому назад, Франция умела уже награждать талант, выдвигать людей мысли и творческого почина!..

Но в Париже сосредоточена и масса простого пишущего люда. Иностранец, попавший на Международный литературный конгресс, устроенный парижским Обществом писателей, мог и на заседаниях этого конгресса видеть немало образчиков среднего парижского писателя. Впечатление залы было весьма не блистательное. Вы видели перед собою заурядных романистов и газетных сотрудников: усталые лица, поношенное платье, преждевременная плешивость, неособенное изящество приемов и тона — все это говорило вам, что серый трудовой люд парижского литературного мира не очень благоденствует. Но и такое впечатление все-таки обманчиво.

Заурядный парижский литератор должен много работать; потому и старится скоро. Неумеренная работа нужна ему, чтобы скопить себе капитал и жить потом на ренту. Для этого ему необходимо получать в год от 20 000 до 30 000 франков. И он их получит. Русский писатель, при той же энергии, при той же неутомимости труда, не в состоянии будет заработать и половины, занимаясь тем же сортом литературы. Мне указывали на десятки плохих газетных романистов и поставщиков второстепенных парижских сцен, которые средней цифрой

получают тридцать и больше тысяч франков в год. Правда, они пишут в год три-четыре романа и ставят по нескольку пьес. Но если даже такая производительность и существовала бы у русского заурядного литератора, ему негде поместить свои манускрипты. Газеты мало печатают у нас беллетристики, а в столицах всего по одному казенному театру, платящему, и то очень скудно, поспектакльный гонорар. И выходит, что и заурядные деятели, если они пробились и нашли себе покупщиков, все-таки легче добиваются своих, хотя бы и чисто материальных целей.

Сколько мне лично удалось (и в прежние мои поездки во Францию, и в этом году на конгрессе) присмотреться к французским писателям-беллетристам, взятым в массе, я не скажу, чтобы они поражали русского своей развитостью, по крайней мере как мы ее понимаем. В последнее время русских беллетристов, и не без причины, стали упрекать в недостатке образования, в том, что они замыкаются в тесную сферу наблюдательности, мало читают, живут слишком ограниченными интересами. Нечего греха таить, такие писатели водятся на Руси. Но все, что у нас прошло через университет, приобретает привычку к некоторой ширине мысли, знает два-три языка, хотя и поверхностно, но разносторонне смотрит на многие вопросы. Как бы к нам, русским, ни придирались, но недаром приписывают нам наклонность к космополитизму, а стало быть, и к *пониманию всего того, что делается в человечестве.* Такие свойства найдете вы и во многих русских писателях-беллетристах. И мне кажется, что средней руки французский романист или драматург окажется по своему развитию одностороннее и уже. Он слишком француз.

Если он рано начал писать исключительно романы, фельетоны и пьесы, то ему уже решительно некогда идти далее в своем общем образовании. Языков они почти не знают, всего больше языкознания найдете вы у людей кабинетных, у эрудитов, пристрастившихся то к английской беллетристике, то к итальянской поэзии или к испанской драме. Но заурядный парижский литератор — не язычник. Всего чаще он знает по-английски, и то немного, настолько, чтобы прочитать газетную статью или роман полегче. Немецкая литература до последнего времени для них — неизведанная страна. Если

вы и встретите литератора, бойко говорящего с вами о разных эпохах из истории иностранных литератур, то поверьте, он это вычитал в последнее время в популярных обозрениях и книгах. При этом он не затруднится говорить обо всем, что ему известно только по заглавиям и общим характеристикам, самоувереннее, легче, резче, чем бы это сделал русский средней начитанности.

Погоня за положением, за обеспеченностью делает то, что парижский романист, драматург и газетный сотрудник действительно пишут с утра до ночи. Когда-то, в одном из моих парижских очерков, я знакомил русского читателя с тем, что такое трудовой день любого бульварного драматурга или сочинителя фельетонных романов. Эти люди, надсаживающие свое воображение, придумывая разные фантастические сюжеты и эротические сцены, в сущности, ведут жизнь чернорабочих. Обыкновенно они только в часы завтрака, обеда и послеобеденного отдыха живут как люди. Остальное время запираются и строчат. Покойный романист Понсон дю Террайль, несмотря на то, что был человек светский, с дворянской фамилией, семейный и, кажется, даже прекрасный семьянин, проводил целый день где-то в глухом квартале, в комнатке, куда убегал с восьми часов утра и возвращался домой только к позднему обеду.

Из живущих — типом такого литературного дельца может служить второстепенный романист и драматург Бело, достаточно известный и русской публике автор «Огненной женщины». Он довольно усердно посещал заседания Международного конгресса. Мне лично случилось с ним не раз беседовать; да и прежде я слышал от его собратов, что он отличается своим трудолюбием, ловкостью, с какой помещает романы и драмы, уменьем, написавши посредственный роман, сколотить на него тысяч 25—30 франков, переделать из этого романа такую же посредственную драму и за нее получить не меньшую сумму. Иная русская барыня, читая «Огненную женщину» или смотря драму «L'article 47»[1], воображает, вероятно, что этот Бело по своему наружному типу, фигуре, разговору, образу жизни — блестящий фешенебль, порхающий по Парижу для собирания пикантных сюжетов. А в действительности, это — коренастый,

[1] «Статья 47» *(франц.)*.

толстоватый человек лет за пятьдесят, с красным лицом, лысиной, хриплым голосом, с манерами и всей общей повадкой какого-то не то отставного майора, не то хозяина мелочной лавочки. Нет ничего общего между его драмами и романами и его личностью.

Таких Бело, в больших и меньших размерах, — десятки в Париже. И прежде, чем они добьются известности и 30 000 франков дохода, им необходимо проходить через адскую работу. Быть может, нигде искус не представляет таких испытаний, как в Париже; это было и сорок лет тому назад, и теперь существует. Припомните, сколько нужно было Бальзаку написать томов, чтобы *пробиться?* Целую библиотеку. Это — факт из 30-х годов. А на нашей памяти несколько лет тому назад романист Габорио получил вдруг известность одним уголовным романом * и стал в один год модным писателем, собиравшим большую денежную жатву с редакторов газет за свои романы. Но этот Габорио писал десяток лет роман за романом, продавая их за ничтожную плату, голодая и бедствуя. Иначе и не может быть в таком громадном приемнике литературной производительности!

Гораздо выгоднее романа — театр. Нет такой страны, кроме Франции, где бы одна пьеса давала в случае успеха до 100 000 франков в одном городе. Вне Франции один только английский писатель, мне лично знакомый, Дайон-Буссико, составил себе миллионное состояние, давая посредственные мелодрамы одновременно в Лондоне и в больших городах Англии и Америки. Но для этого он выдумал целую систему постановки своих пьес, то есть делался их главным подрядчиком. В Париже дело происходит гораздо проще. Вы составили себе имя одной пьесой. Директора уже не задумаются пригласить вас работать на них. А Общество драматических писателей, которого вы членом, берет на себя труд получать ваши деньги и ограждать права и в Париже, и в провинции, и за границей. Средний вечеровой сбор в парижском театре порядочных размеров — от пяти до семи тысяч франков. Вы, как писатель, получаете 12% с *валового* сбора. При большом успехе ваша пьеса может в течение одного сезона идти сто, полтораста и двести раз, а то и больше; так бывали случаи, что драма, феерия или комедия шли круглый год и заходили даже на сле-

дующий. В итоге это — от 60 000 до 120 000 франков в провинции и за границей. Дюма-сын, как всем известно, составил себе состояние пятью пьесами, имевшими подряд — иные большой, другие средний успех. Поэтому-то каждый французский писатель, будь он поэт, журналист, театральный критик, романист или даже публицист, непременно попробует себя на театре. Я лично не знаком ни с одним французским романистом, имеющим имя, который бы явно или под псевдонимом, или в сотрудничестве не пытался добиться успеха на сцене. Если не взрослым, вполне писателем, то, по всей вероятности, живя в Латинском квартале, он непременно снес директору драму, водевиль или либретто.

К таким трем романистам, составляющим теперь генеральный штаб парижской реальной школы, я и поведу читателя. Из них один в сотрудничестве с братом когда-то поставил пьесу, и неуспешно. После того он уже больше не возвращался к театру. Другой писал много для театра, иногда с средним успехом, иногда неудачно. Теперь он оставил, кажется, совсем сцену, чтобы предаться исключительно роману, где в какие-нибудь три года занял блистательное место; третий — романист *по преимуществу*, начавший с романа и добившийся не дальше как в 1877 году первого огромного успеха, все-таки хочет быть комическим писателем. И несмотря на то, что уже две его попытки провалились, он упорствует в этом и не желает покидать театра — из-за денежных расчетов или из-за славы, это уже его дело.

Это три романиста, симпатичные русской публике, хотя и не в одинаковой степени: Эдмон Гонкур, Альфонс Доде и Эмиль Золя.

III

С братьями Гонкур, как с романистами реальной школы, наша публика уже достаточно знакома. Читатель припомнит, что из двух братьев остался в живых старший — Эдмон. Жюль, младший, умер года три тому назад. Но их романы стали у нас читаться только в самое последнее время. Да и в Париже репутация их очень долго оставалась под спудом.

Тринадцать лет тому назад я в первый раз приехал в Париж. В зиму 1865—1866 года была поставлена во

Французском театре комедия обоих братьев «Henriette Marechal»[1]. Я тогда жил в Латинском квартале. Про Гонкуров так мало говорилось, что я не имел даже охоты перечитать их романы. В кружках молодежи и в тогдашней оппозиционной прессе их недолюбливали. Когда они ставили свою комедию, по Парижу ходил слух, что этой постановкой они обязаны покровительству принцессы Матильды или кому-то из родственников императора. Во всяком случае, на них смотрели как на писателей, равнодушных к политическому положению Франции, баричей, дилетантов, занимающихся разными тонкостями, изучением XVIII века не с целью какой-нибудь политической и социальной пропаганды, а с брезгливым дилетантизмом людей сытых, довольных, не обращающих внимания на то, что тогда делалось во Франции. Признаюсь, и я, как приезжий иностранец, поддавался этому взгляду.

На представлении пьесы Гонкуров мне не удалось быть. Дано было, кажется, всего два или три спектакля. На первом же молодежь, занимая верхи театра, освистала пьесу. Но она не имела успеха и в более солидной публике. Довольно резко отнеслась к ней и театральная критика. Гонкуров упрекали в излишнем реализме, в скандальной интриге, где, сколько мне помнится по тексту пьесы, мать и дочь влюбляются в одного и того же человека. Чопорные ценители находили, кроме того, что авторы непочтительно отнеслись к традициям Французской комедии, ввели, например, в пьесу целый акт, происходящий в фойе Большой оперы во время маскарада, что составляло до тех пор достояние «Пале-Рояля» и других мелких комических театров.

Студенчество, освиставшее пьесу Гонкуров, вело себя на представлении настолько дурно, что весь Париж об этом заговорил. Рассказывали, что самого задорного свистуна полиция арестовала; в этом тогда все увидали протест молодежи против бонапартизма, так как авторы считались под покровительством императорского двора. Этого вожака свистунов вскоре узнал весь Париж под псевдонимом или кличкой «Деревянной Трубки» * — *Pipe en bois*. Молодой малый, сочинивший себе такой курьезный псевдоним (он был потом секретарем у Гамбетты в

---

[1] «Генриетта Марешаль» *(франц.)*.

Туре), воспользовался скандалом во Французской комедии и выпустил брошюру, где он высказывал причины, почему молодежь Латинского квартала сочла нужным освистать комедию. В его манифесте было много искреннего, горячего и честного. Даже помимо предполагаемых отношений автора к бонапартизму, в их комедии молодежь видела образец бездушной, жестокой, почти цинической литературы. Хотя *Pipe en bois* с товарищами и явились на верхах театра разрушительным элементом, но, в сущности, они высказали порядочную долю идеализма, только прикрытого симпатичным, политическим оттенком.

Скажу опять, что я тогда становился скорее на сторону молодежи, чем на сторону авторов, что и высказал в журнальном очерке, где старался сгруппировать политическое и умственное движение парижской молодежи под заглавием «Лев Латинского квартала» *. Слово «лев» нужно разуметь не в том смысле, который придавали ему когда-то. Я намекал на метафору, пущенную в ход в одной песне эмигранта Рожера, тогдашнего политического изгнанника, где французская и специально парижская молодежь изображалась в виде этого «льва Латинского квартала», который готов воспрянуть и поддержать своими стремлениями Францию, измученную узурпатором — Бонапартом. Пророчество Рожера сбылось далеко не вполне, и мы знаем, что теперь среди сытой и праздной студенческой массы немало есть бонапартистов и клерикалов...

Но возвратимся опять к протесту Деревянной Трубки. Сделавшись модной личностью, обладатель забавного псевдонима стал выпускать периодически нечто вроде журнальца с виньеткой, изображавшей короткую трубку-носогрейку, до сих пор употребительную во Франции и между студентами, и между всяким деловым и бездельным людом. Журналец этот не пошел; через несколько месяцев история была забыта, а с ней и братья Гонкур, которые, однако, продолжали неутомимо свою беллетристическую работу.

У них были, конечно, свои читатели; но вплоть до начала 70-х годов о них не только никто не кричал, но и не всякий критик признавал за ними их настоящее творческое достоинство. Жили они вдали от журнального мира, мало знались с литературной братией, работали

много, но не спешно; словом, вели существование настоящих артистов, преследующих свои художественные идеалы. Многим было известно, что они люди обеспеченные, не нуждающиеся вовсе в срочной денежной работе.

Когда младший брат, Жюль, умер, критическая пресса заговорила о них. Явился довольно интересный вопрос, как смотреть на их сотрудничество: кто из них был даровитее и будет ли оставшийся в живых, Эдмон, продолжать свою литературную карьеру, что он в состоянии дать публике без пособия своего брата? Тем временем, с конца 60-х годов, реальная школа подняла голову. Между молодежью явились горячие поклонники Бальзака и преемника его Флобера. В конце же 60-х годов выступил как резкий реальный романист и Эмиль Золя. Он признал в Гонкурах не простых хорошо пишущих беллетристов, а людей с прекрасными художественными приемами, наблюдательных, преисполненных правды и творческой смелости.

Около Флобера сгруппировался целый кружок людей с большими дарованиями, не боящихся выступить против обыкновенной рутины, против всего сантиментального, фразистого и романтического. Все эти романисты не были вовсе врагами поэзии. Напротив, они любили и любят жизнь во всех ее прекрасных и характерных проявлениях, только не желают прикрашивать ее по произволу и не останавливаются даже перед патологическими явлениями действительности.

До половины 70-х годов в русской публике Гонкуров, наверно, знали только усердные читатели французских романов на языке подлинников; но наша читающая *масса,* принужденная довольствоваться переводами, не знала о них почти ничего. Письмо Эмиля Золя, посвященное школе реалистов *, указало впервые читателям «Вестника Европы», а затем и всей грамотной русской публике, что братья Гонкур вовсе не заурядные беллетристы с претензией, как об этом толкуют многие и во Франции. Его защита была так горяча и характерна, что тотчас же спрос на романы Гонкура поднялся; меня лично уверяли в этом наши петербургские книгопродавцы. «Вестник Европы» тем временем напечатал весьма подробное изложение одного из лучших романов братьев Гонкур «Жермини Лясерте» *. С тех пор Гонкуры не были уже для нашей публики простым именем. Правда,

переводчики не особенно кинулись на их другие романы, но это объясняется вообще той неразборчивостью, с какой у нас делаются переводы.

Роман, сообщенный «Вестником Европы», не был первым по счету и даже не давал полного понятия о той разнообразной наблюдательности, которой отличались братья-романисты. В нем, как читатель припомнит, рассказывается интимная история простой горничной с страстным темпераментом; но Гонкуры отправлялись в своих романах в разнообразнейшие сферы парижской и вообще французской жизни. У них вы найдете и этюды из мира госпиталей, где героиня — молодая монахиня, и нравы художников, и мелкой парижской прессы, и буржуазии, и, наконец, блистательное психическое исследование в форме интимной же жизни образованной женщины, которая, под влиянием опять-таки темперамента, переходит от свободомыслия к самому крайнему католическому мистицизму. В начале 1876 года я счел уже возможным в трех публичных лекциях, прочитанных с благотворительной целью, обратиться к нашей публике с более полной характеристикой реального движения романа во Франции. Лекции эти были напечатаны потом в «Отечественных записках» *. Я не буду распространяться о том, как некоторые рецензенты напали на самого лектора, а засвидетельствую только тот факт, что никто тогда не протестовал в печати против положительных прав, которые братья Гонкур имели на имя даровитых и оригинальных писателей.

Когда я приготовился к моим чтениям, мне хотелось, кроме книг и журнальных статей, иметь еще некоторые подробности о самых личностях писателей. Статья Э. Золя помогла мне много в уразумении того творческого механизма, посредством которого два брата вели свою работу; о роде их сотрудничества он рассказал достаточно подробностей, и мне оставалось только обобщить их; но о личности Гонкуров, и в особенности старшего брата, пережившего своего сотрудника, я знал очень мало. Ехать в Париж тогда мне было неудобно, и я старался пособрать какие можно сведения от людей, лично их знавших.

Случилось так, что один из русских писателей незадолго перед тем познакомился со всем кружком реалистов, обедал с ними и провел вечер. Ему именно Гонкур

очень не понравился: * он нашел его чопорным, даже фатоватым, сухим, вообще несимпатичным. Другой русский, живущий в Париже, человек тонкой наблюдательности и приятельски знакомый с тем же самым кружком *, в отзывах своих в известной степени подтверждал этот приговор, но гораздо снисходительнее и объективнее. По его характеристике выходило, что Гонкур — человек несколько усталый, действительно убитый смертью своего брата, хорошо воспитанный, не без аристократических слабостей, обращающий внимание на свою частичку «де», равнодушный к политике, но теперь ни в ком не заискивающий, в сношениях суховатый, не сразу вызывающий на дружеский, откровенный разговор. Он объяснял его душевный тон влиянием неудовлетворенного самолюбия. И в самом деле, если признать, что Гонкур и покойный его брат жили только литературным интересом, работали, как истинные художники, и при этом больше десяти лет встречали одно равнодушие, а то так и непонимание, то станет понятно, как подобная борьба с публикой наложила не совсем мягкую и симпатичную печать на людей, принадлежащих по своему происхождению и воспитанию к консервативной сфере.

Вот что я знал и думал о Гонкуре к приезду моему в Париж в июне 1878 года. Я хотел начать личные знакомства с кружком реалистов знакомством с Флобером. О нем я слышал много рассказов, как о человеке, в сущности, очень простом, даже наивном, несмотря на ту жизнь отшельника и мизантропа, которую он ведет. Но Флобера не оказалось в Париже: он жил в Руане или около Руана и отправился туда на все лето и осень. Флобер родом оттуда. Читатели «Г-жи Бовари» припомнят, какие в этом романе прекрасные подробности нормандской жизни и физиономии города Руана. Я бы охотно сделал даже поездку на поклон Флоберу, но времени у меня было в обрез. О своем желании познакомиться лично с Гонкуром я передал ему через Тургенева. Он тотчас написал Тургеневу, что ждет меня на другой же день и что он вообще каждый день к моим услугам до часу пополудни. Ему было уже известно то, как я отнесся к реальной школе парижских романистов и как высоко ставлю в этой школе братьев Гонкур.

За несколько месяцев перед поездкой моей в Париж появился и первый роман, написанный Э. Гонкуром по смерти брата. Его родственное горе было, действительно, так сильно, что он более года не мог приняться ни за какую литературную работу. Роман «La Fille Eliza»[1] встретил, разумеется, брезгливый отпор со стороны рутинных защитников нравственности и рутинных же критиков. Его нашли сухим, прозаичным, скучным, отталкивающим. У нас, в России, он вообще понравился; но даже и либеральные журналы почему-то застыдились переводить его целиком — вряд ли по цензурным соображениям. Для людей не предубежденных и в особенности для тех, кто с симпатией относится к реальным приемам романа, произведение *одного* Эдмона Гонкура было приятным доказательством того, что в этом писателе есть настоящая самобытность. Стало быть, он не обязан был брату всем своим сочинительством. Стало быть, правда то, что рассказывал Золя в своей хронике, то есть, что оба брата представляли собою изумительный образец душевного лада. И у того и у другого были несколько разные литературные дарования; но они одинаково были проникнуты верой в правду своих творческих приемов, одинаково приучили себя к тщательной отделке, одинаково смело шли навстречу всякому реальному изображению, как бы оно ни казалось стыдливым и трусливым буржуа скандальным и возмутительным.

Отправясь к Гонкуру тотчас после раннего завтрака, я уже по одному адресу видел, что он живет не так, как другие французские литераторы. Надо было ехать за всемирную выставку, в отдаленное предместье Парижа — Отейль. Там обыкновенно живут люди тихие, не участвующие в парижском водовороте: или рантье в собственных домиках и небольших отелях, или артисты, то есть художники и актеры, большие любители воздуха, отдыха и зелени. В омнибусе тащились мы, больше в гору, добрых 45 минут; на дороге нас застигла буря и ливень, превратившийся сейчас же в целые реки вдоль покатых улиц Отейля, в эту минуту совершенно пустых. В Отейль вы попадаете через другое предместье — Пасси, которое недавно такими живыми, поэтическими крас-

[1] «Девица Элиза» *(франц.)*.

ками описано было в последнем романе Золя. Омнибус остановился у станции, на углу нового, только что отстроенного бульвара. Приходилось идти пешком; но дождик уже стих.

Через несколько сажен по бульвару Монморанси стоит дом, или, лучше сказать, *отель,* Гонкура. Свои собственные дома имеют в Париже очень немногие литераторы, даже из тех, кто заработывает большие деньги. У Гонкуров было наследственное состояньице. От Тургенева я слышал, что оставшийся в живых брат может, не рассчитывая на доход от романов, проживать тысяч 35—40 франков в год. А он холостой человек.

На той же стороне, по которой я шел, показался и отель Гонкура, в два этажа, изящной, чисто французской архитектуры, с грифельной кровлею и с выходной дверью без всякого навеса посредине; направо и налево — решетки довольно большого сада. Я заметил по зелени, что хозяин охотник до растений. Мне бросилось в глаза несколько тропических деревьев и кустов. Все во внешности этого дома говорило о тонком вкусе хозяина: таких домов вы у нас в городах не найдете, разве какой-нибудь особнячок, да и то он не будет так красив и не в таком строгом стиле, а главное, не будет так опрятен.

Встретила меня служанка и впустила в сени, имеющие вид небольшого вступительного помещения в какой-нибудь музей; по обоим бокам лесенки были площадки. Весь этот покоец уже носил на себе художественный оттенок. По стенам — майолики и разные скульптурные вещицы; стены и плафон декорированы. Словом, вы входите точно к живописцу, а не к литератору, особенно, если вы при этом вспомните петербургские и московские квартиры и романистов, и драматургов, и журнальных сотрудников. Вы сейчас могли понять, почему братья Гонкур с самых первых шагов на писательском поприще так много занимались разными тонкими вещами XVIII и XVII столетий. Нетрудно было также по одному воздуху, какой наполнял отель, догадаться, что вы не у женатого человека со множеством чад. Воздух стоял свежий, но, если так можно выразиться, отзывавшийся некоторой сухостью и чопорностью пожилого холостяка...

IV

Я поднялся во второй этаж. Рабочий кабинет Гонкура — небольшая высокая комната, выходящая окнами в сад, вся уставленная разными художественными произведениями. В ней, еще больше, чем в сенях, проглядывала артистическая натура хозяина. У нас деловые кабинеты обыкновенно поражают иностранца своими размерами; но в Париже даже люди, имеющие свои собственные отели, не любят работать в больших сараях. Французу нравятся, напротив, уютные комнаты, которые все переполнены чем-нибудь ласкающим его взгляд.

Меня встретил человек лет под пятьдесят, может быть, немного меньше, довольно большого роста, широкоплечий, с сильной проседью, по лицу — нечто вроде художника или даже отставного военного, во всяком случае с наружностью, имеющею мало типического собственно для литератора. У Гонкура несколько желтоватое, утомленное лицо с правильными чертами. Сразу видно, что он — барин, а не литературный труженик. Одет он был совершенно по-домашнему, так, как обыкновенно во Франции одеваются у себя люди работающие, то есть в короткой вязаной фуфайке, с фуляром вокруг нее, без белья и, сколько я помню, даже с шапкой на голове, тоже по типичной французской привычке. (В скобках сказать, так же почти одевается там и наш И. С. Тургенев, за исключением французской шапочки.)

Прием Гонкура — вежливый, простой, хотя несколько суховатый. Фатовства, какой-нибудь претензии не видно в том, что французы называют abord[1]. Голос у него немного глуховатый, с двумя-тремя резкими нотами, без картавости. Говорит он просто, без торопливости, без своеобразной парижской скороговорки. Если бы не настоящий довольно тонкий акцент, можно было бы сказать, что так говорят многие русские, долго жившие за границею. Во всем его существе есть действительно что-то не то скучное, не то скептическое; но это только с первого взгляда. По крайней мере мне удалось

[1] обхождением *(франц.)*.

после двух-трех фраз завязать с ним разговор, который показал мне, что этот предполагаемый фешенебль очень легко идет на оживленную беседу с разными подробностями, охотно рассказывает все, на что наводишь его...

Он уже знал, что я беседовал с русской публикой об его романах, был также предупрежден и насчет деловой цели моего визита. Эту часть разговора мы вели без всяких околичностей. Гонкур, действительно, приступил к новому беллетристическому произведению; но не мог еще даже приблизительно сказать, когда он его окончит. Такие люди, как этот художник-романист, пишут не по нужде, а для своего удовольствия. Очень может быть, что он проработает над новым романом два-три года. К замыслу романа мы еще вернемся.

Для меня интересно было подтвердить личными свидетельскими показаниями самого Гонкура то, что Золя приводил в своих письмах о манере работать обоих братьев. Э. Гонкур без всякой рисовки, оживленно, с видимым удовольствием рассказал мне в коротких чертах историю их общего писательства с покойным братом. Они оба с детства были необыкновенно дружны. Учились они в коллеже, и ни тот, ни другой не думали вовсе пойти по писательской дороге. Оба рисовали, один даже очень порядочно. Их мечта была поскорее обзавестись своей мастерской, жить как вольные птицы, путешествовать, не знать других забот, кроме художественных поисков идеала и красоты. Один из них заболел; нужно было ехать на юг. Перебрались они в Алжир и там зажились, им очень полюбилась жизнь туристов, и во время своих поездок, где они снимали эскизы типов и видов природы, явился для них первый повод высказывать на письме свои впечатления. Они описывали без затей все, что попадалось им стоящего внимания, одному парижскому приятелю, и начали это делать сразу, сообща и вдвоем. Эти беглые приятельские заметки найдены были живыми, характерными. По возвращении их в Париж приятели стали убеждать их не бросать пера и попробовать себя в каком-нибудь роде. Тогда же они установили для себя и постоянное сотрудничество, которое доставляло им особое нравственное наслаждение. Жюль, по уверению Эдмона, отличался необычайной восприимчивостью ко всему художественному; он не переставал жить артистическим

интересом, постоянно набрасывал что-нибудь, делал эскизы, а главное, читал по истории искусства, изучал классические произведения, собирал всевозможные вещи, характерные для разных эпох. Так как у обоих из них была с детства любовь ко всему элегантному, красивому и своеобразному, то естественно, что они остановились на блестящей эпохе французской барской культуры, на XVIII и отчасти на XVII столетиях. Тут у них стала развиваться положительная страсть ко всему, что XVIII век дал своеобразного и тонкого. Эта антикварно-художественная полоса и способствовала выработке языка, манеры, привычки к изящным деталям, изучению мельчайших подробностей. Она же сделала их менее чувствительными к вопросам дня, к политическому движению, к разным общественным влияниям. Они жили артистами-исследователями. Но склонность к анализу и к живой наблюдательности взяла свое и с первых же чисто литературных опытов придала им физиономию не тенденциозных, а художественных реалистов...

Когда я спросил Э. Гонкура: «Действительно ли они кончили тем, что стали работать как две половины одного и того же умственного организма?» — он не только подтвердил мне это, но уверял, что в последние годы они до такой степени спелись друг с другом, что сами бывали поражены сходством и даже тождественностью своих впечатлений и мыслей в иные минуты...

— Бывало,— говорил он,— идем мы, гуляем, в деревне или на бульваре. Я остановлюсь и сообщу свою мысль брату, он даже расхохочется. Ему как раз пришла та же мысль. Если мы выходили с какого-нибудь спектакля, особенно из оперы, можно было пари держать, что одна и та же ария понравилась нам больше других и засела сильнее в нашу память. То же самое — с пьесой. Но у брата Жюля натура была гораздо тоньше моей. Он обладал такими же способностями к анализу, как и я; только форма давалась ему гораздо легче. Все выходило у него мягче, образнее, с бóльшим чувством литературного и художественного такта.

Я убежден, — добавил Э. Гонкур, — что если бы мы вместе писали мой роман «La Fille Eliza», то он бы имел гораздо больший успех, потому что все места, требующие художественной отделки, вышли бы приятнее

для читателя. У меня и анализ и описательные места страдают слишком деловой обстоятельностью, говорят более рассудку и внешним чувствам, чем тонкому, художественному инстинкту публики.

Если мнение Э. Гонкура и вызвано любовью к брату, то, во всяком случае, такое «показание» очень ценно. Вряд ли он преувеличивал; он подтвердил это даже фактами, доказательствами. Так, например, напомнив мне роман из последней эпохи их сотрудничества — «Г-жа Жервезе», он сообщил, что все красивые места написаны или отделаны были Жюлем.

— Мы писали по одному и тому же плану, — продолжал он,— и всегда одно и то же, в общих чертах, но мне принадлежала более мыслительная сторона романа: последовательность и детали душевного анализа и общественного отношения действующих лиц; брат прибавлял к этому художественные подробности описательного характера и отделывал язык в местах патетических. Он был настоящий артист, резчик, un ciseleur.

Подтвердил он мне также, что по смерти брата на него напало такое душевное изнеможение, что он положительно сомневался в возможности когда-нибудь приступить к работе. Но случилось так, как я уже выше заметил, что смерть брата, совпавшая с новым изданием их романов, заставила гораздо больше говорить прессу о братьях Гонкур и подготовила значительный успех его роману, написанному в одиночку. Роман этот доставил ему до двадцати изданий, чего не случалось ни с одним из романов, написанных им в сотрудничестве с братом. Видно, что теперь Э. Гонкур ободрился. По крайней мере я в разговоре с ним не подслушал ни одной горькой, досадной ноты. Он очень хорошо знает, что все написанное им предназначено только для известной доли публики. Но содержание и манера его последнего романа все-таки взяли свое. Кто бы как ни возмущался подробностями истории той падшей женщины, которую Гонкур взял героиней, автор глубоко убежден в нравственном характере своего произведения.

— Мне приятно сообщить вам, — сказал он мне, — что общественная тема, задетая мною в «La Fille Eliza», не осталась без последствий. Наше тюремное ведомство чувствует теперь все варварство *системы молчания,* которую я проследил на одной из ее жертв. Я надеюсь,

что вопрос этот будет заново изучен, хотя, признаюсь, я и не имел прямо утилитарной цели; меня как писателя интересовал самый процесс жалкой душевной борьбы в существе, которое и без того с первых дней сознательной жизни обречено было на нравственную гибель.

Французских писателей я лично знаю давно, но час, проведенный мною у Гонкура, необычайно оживил меня как трудового человека и литератора. Во Франции я не был с 1871 года и с тех пор не встречался еще с настоящим беллетристом-художником, который бы сохранил в себе столько любви к делу. Откровенно говоря, у нас, даже в центре нашей умственной жизни, очень и очень трудно вести такие беседы, какую я имел с Гонкуром. Наши писатели — люди совсем другого типа. У нас дело даже тогда, когда оно дорого человеку, стоит все-таки особняком. Оно не проникает писателя внутренним чувством, одушевляющим его беседу. И, главное, оно не дает собеседнику новой душевной бодрости. Мало того. У нас как-то и неприлично толковать о приемах мастерства, о замыслах и выполнении, о разных подробностях интимной жизни чисто писательского характера. Все это считается краснобайством и рисовкой. А между тем такого-то рода беседы и поддерживают в каждом собрате, в человеке одной с вами карьеры, внутреннюю бодрость. Вы видите, что перед вами не рабочий, отбывающий свою повинность, а художник, влюбленный в самое дело, не ставящий для себя никакой другой цели, кроме творческого совершенства. У такого Гонкура я чувствовал себя точно в мастерской артиста эпохи Возрождения, у какого-нибудь итальянского мастера, вроде Бенвенуто Челлини, который в малейшую вещицу вкладывает свой вкус, любовь к делу, тонкость понимания.

Не стал он скрытничать и насчет замысла своего нового романа.

— Я хочу, — сказал он, — взять мелкую актрису, «une cabotine» и сгруппировать около нее целый мир своеобразных типов, интересов, страстей и пороков. Моя *каботинка* будет воплощать в себе всю духовную и общественную сущность этой испорченной среды.

Вот и сюжет. Можно прямо сказать, что у Гонкура достанет и наблюдательности, и глубины, и смелости для всевозможных подробностей этой среды. Может

быть, ему не хватит только мягкости, юмора; но он за ними и не гонится, его приемы совсем иного свойства. После романа «La Fille Eliza» каждому уже ясно, что можно от него требовать и чего нельзя. А пока он приготовляет к изданию этюд об одной певице XVIII века (вроде тех книг, которые он писывал с братом), заключающий в себе разные эпизоды, живописующие тогдашнюю эпоху, с разнообразной перепиской героини, имевшей успех и во Франции и в Англии.

Мне особенно приятно сообщить читателям журнала «Слово», что новое произведение Гонкура они, по всей вероятности, прочтут одновременно с появлением его по-французски, а то так и раньше. Теперь романисты реальной школы очень ценят сочувствие русской публики, да и в денежном отношении им выгодно появляться раньше на русском языке. Хотя в нашей конвенции с Францией и не стоит ничего о переводах, но редакции русских журналов уже понимают, что гораздо лучше предупреждать международные законодательства...

Личность Э. Гонкура характерна еще и в другом смысле. Кто живал во Франции в эпоху Второй империи, сейчас же почувствует, что такие люди, как Гонкур, быть может, не желая того, вобрали в себя нечто напоминающее бонапартов режим. Они по воспитанию и по происхождению сделались рано если не консервативными, то довольно равнодушными к политике. Крайности передовой партии им не привились. По склонности ко всему изящному и красивому, они мирились с некоторыми внешними отличиями бонапартовой системы. Но внутренно они были гораздо серьезнее. Они не могли не понимать и не чувствовать всю фальшь, нравственную беспорядочность и пустоту кучки авантюристов, захвативших в руки Францию. Внутренно они до сих пор остались всего более легитимистами. Они не пренебрегают своей частичкой «de», любят тонкое общество; но не заискивают ни в ком, живут в стороне и не позволяют себе никаких грязных выходок против теперешнего порядка вещей. Я думаю даже, что умеренная республика не оскорбляет их. Люди с таким тонким умом, с такой смелостью анализа, не могут быть ретроградами. Даже если бы в них сидело закоренелое барство и аристократическое высокомерие, то все-таки их произведения не отразят никогда на себе их личных

взглядов и пристрастий. Они верны своему лозунгу: художественному реализму изображения жизни до последних пределов. Пускай Э. Гонкур напишет пять — десять таких романов, как его «La Fille Eliza», и всякий демократ, всякий друг человечества, даже всякий социальный мечтатель скажет ему спасибо: они в любом таком произведении найдут самую обильную пищу для своих протестов, для своей проповеди...

Изящная, если хотите, барская обстановка Э. Гонкура — не фатовство, не выставление напоказ своих средств и привилегированного положения. Все это очень правдиво, потому что отвечает складу человека. Он художник, он до страсти любит все изящное. У нас на Руси (нечего греха таить) свои тридцать — сорок тысяч франков такой Гонкур употребил бы на разные совсем нехудожественные затеи: две трети их проел бы или проиграл в карты; а тут вы видите перед собою трудовую, строгую, самостоятельную жизнь. Измените обстановку, отнимите у Гонкура его доход, он останется все тем же артистом, все тем же другом труда, способным на страстное преследование своих задушевных, творческих целей.

Хозяин проводил меня до дверей. Спускаясь по лесенке, я заметил в полуоткрытую дверь в боковой комнате, отделанной так же артистически, стол с двумя приборами. По сервировке, хотя она и была очень прилична, видно, что хозяин не гастроном, не обжора. В России меня пригласили бы сейчас поесть и выпить. Во Франции гостеприимство по этой части туже; но, право, такая беседа, какой угостил меня Гонкур, стоит нашего закармливания и нашего, иногда весьма наянливого, добродушия, под которым кроется скука и желание какнибудь убить время.

V

Когда я в первый раз беседовал с петербургской публикой, в Клубе художников, о личности Эмиля Золя *, я тотчас увидал по настроению залы, как мои слушатели и слушательницы заинтересованы тем, что это за человек. Ни Гонкуры, ни Доде, ни даже Флобер не возбуждали настолько любопытства. Про Золя до половины 70-х годов и, смею думать, до тех подробностей,

которые я сообщил, наша публика почти ровно ничего не знала. Да и мне самому пришлось обратиться прямо к автору. Ни в фельетонах, ни в биографических словарях я не нашел о Золя ничего сколько-нибудь подробного и характерного. Те, кто слушал мои лекции и читал потом их в «Отечественных записках», припомнят, что автор «Ругонов» сообщил мне сам все те сведения о своей судьбе, какие я ввел в лекцию об его личности и характере. Мне, кроме того, писал еще И. С. Тургенев.

Автобиографическое письмо Золя (приведенное мною целиком в той лекции, которая была посвящена ему исключительно) до сих пор едва ли не исключительный документ не только в нашей, но и во французской литературе. В этом письме сказалась та же реальная манера романиста: кратко, но крупными, выдающимися чертами охарактеризовать свою личность, судьбу, отношения к жизни и современному обществу. Всякий слушатель и потом читатель мог чувствовать, до какой степени этот человек преисполнен жизненности, как он любит и Францию, и Париж, и вообще всю свою эпоху, с какой искренностью, горячностью и, так сказать, *прямолинейностью* он относится к своей задаче: обрабатывать художественные произведения посредством трезвого метода, смотреть на характеры, типы, события как на продукты общественного роста совершенно так, как естествоиспытатели смотрят на явления природы.

В Париж я не ездил с 1871 года и до поездки на Всемирную выставку не имел, разумеется, случая лично повидаться с Золя; но от времени до времени мы обменивались письмами. В прошлую зиму, живя в Москве, я получил приглашение от одного из тамошних благотворительных обществ прочесть одну публичную лекцию. Я выбрал последний тогда роман Золя «Assommoir»[1]. Выбор мой понравился распорядительному комитету этого общества, но, как видно, совсем не пришелся по вкусу тому лицу, от которого зависело утверждение моей программы. По поводу «Assommoir'а» мне хотелось сообщить моей аудитории несколько новых подробностей об авторе. Уже и тогда было известно, что роман этот, несмотря на бурю, поднятую им в лагере разных консерваторов и даже крайних республиканцев, имел по

[1] «Западня» (*франц.*).

счету первый настоящий крупный успех. В мои руки, уже в мае месяце 1877 года, попалась книга с надписью «двадцатое издание». После этого роман имел еще не один десяток изданий.

Я списался опять и с Тургеневым и с Золя. Меня интересовали, главным образом, два пункта: влияние этого огромного успеха на личную судьбу Золя и тот предполагаемый *плагиат*, в котором упрекали его некоторые журналы, говоря, что он будто бы выкрал из какой-то книги все детали увриерской[1] жизни Парижа, множество слов жаргона и даже несколько прозвищ действующих лиц. И Тургенев и сам автор сообщили мне о перемене личной судьбы Золя одно и то же; только Тургенев — немного подробнее о внешней обстановке. Русские читатели уже знали, что Золя если не бедствовал до появления в свет романа «Assommoir», то не особенно благоденствовал. Книгопродавческая фирма Шарпантье выплачивала ему по 500 франков в месяц, а он обязан был писать по два романа в год. Ежемесячная работа, доставленная ему через Тургенева от редакций «Вестника Европы», давала ему также около того. Но он все-таки пробивался. Успех «Assommoir'а» доставил ему сразу около 40 000 франков. Его издатель изменил контракт в его пользу, театр Французской комедии заказал ему после того пьесу... Словом, он вошел в моду и мог считать свое писательское положение упроченным на очень долгое время. Это повлияло и на его внешнюю обстановку: он переменил квартиру, обставил иначе свое новое помещение и даже купил себе в окрестности Парижа небольшой загородный домик.

На мой вопрос, как объяснить такой успех, Золя ответил мне в письме, что он затрудняется это сделать. Кажется ему, впрочем, что реакция, вызванная романом, в некоторых журналах возбудила любопытство, и сначала это был род скандального успеха, а потом книга проникла всюду, даже в очень чопорные светские салоны. Журналы, забившие тревогу по поводу той массы неприличных слов, которая значится в романе, в голос признали за автором несомненное дарование, в том числе и «Figaro», а «Figaro» печатает в воскресные дни до 80 000 экземпляров.

---

[1] рабочей (от *франц.* ouvrier).

На второй вопрос, о предполагаемом плагиате, и Тургенев и сам автор отвечали мне опять-таки почти одно и то же, то есть что действительно существует в книжной торговле книга под названием «Le Sublime». Она составлена анонимным автором и представляет собою итоги его личной опытности и наблюдательности. Автор был сначала простой работник, потом нарядчик (contre-maître), а потом сделался хозяином механического заведения. В книге его две части — и первая занимается нравами рабочих различных нравственных категорий; тут же приведены выдержки из рабочего жаргона и даже маленькие сцены в мастерских и в питейных домах, которые в Париже увриеры прозвали *ассоммуарами*. Из этой части Золя взял несколько общих черт и даже воспользовался (сколько я сам заметил) двумя прозвищами. Книга «Le Sublime» названа так потому, что среди парижских рабочих образовалось особое направление под именем сюблимизма. И способные и плохие увриеры заражаются этим учением о ничегонеделании, постоянном протесте, о законности недовольства и в большинстве случаев оканчивают хронической ленью, пьянством и развратом. Автор изобличает этот сюблимизм и вторую часть своей книги посвящает исключительно социальному вопросу об искоренении этого зла и организации труда. Золя, как я сказал уже, взял из книги только несколько черт. Остальное принадлежит абсолютно ему: и сюжет, и подробности, и характеры, и даже масса будничных сторон из жизни увриеров. Каждый читатель, кому попадется в руки книга «Le Sublime», безусловно убедится в этом.

Задолго до поездки моей на выставку вышел следующий роман Золя «Страница романа». О нем я здесь распространяться не стану, тем более, что читатели «Слова» очень недавно прочли его в русском переводе. Меня опять-таки интересовал в нем один, чисто литературный вопрос.

Собираясь к Золя, я хотел непременно улучить минуту и поговорить на эту тему. Отыскивая пешком в квартале Монмартр улицу, где живет Золя (rue de Boulogne), я шел к человеку, наружность которого была мне довольно хорошо известна по нескольким портретам. Первый его портрет видел я в редакции «Вестника Европы», а потом в Петербурге и Москве в книж-

ных и эстампных магазинах стали продавать коллекцию современных парижских писателей, выходящую в Париже, с факсимиле и биографическими очерками. Раз, как-то зимою, в Москве был я у одного из наших весьма известных беллетристов 40-х годов *. Он только что купил выпуск этой коллекции и, указывая мне на портрет Золя, сказал:

— Такие лица бывают и у русских. Я встречал их и в деревнях, и в уездных и в губернских городах. Больше у плутов такие лица, — прибавил он, засмеявшись своим скептическим смехом.

Это сближение, может быть, немного рискованно, но, действительно, у Золя на портрете вы видите широкое лицо с резкими чертами: несколько нахмуренные брови, подбородок, лоб и в особенности прическа коротко обстриженных волос, — все это говорит о характере и не выказывает никакой особой приятности. Перед моим визитом автору «Assommoir'a» был у него другой приезжий из Петербурга, тоже собрат мой по литературе. Ему Золя совсем не понравился ни по наружности своей, ни по общему нравственному складу, насколько он мог проявиться в получасовой беседе. Но я больше доверял характеристике И. С. Тургенева, знающего Золя уже несколько лет. Он мне повторил ее и устно. По его определению, Золя человек очень самолюбивый, упорный в своих мыслях и вкусах, но в то же время искренний и даже наивный...

Улица, где живет Золя, — вблизи той, где уже несколько лет поселился наш высокодаровитый романист. Это одна из тихих, боковых улиц, почти совсем без лавок, с небольшими домами, даже с садами. Она мне напомнила уголок Флоренции. В ней людям трудовым, любящим спокойствие, должно быть очень приятно. Привратница с хмурым, совсем мужским лицом сказала мне:

— В третьем этаже, дверь направо.

В Париже нет нумеров и нет даже обычая прибивать к дверям дощечки. Без привратницы вы можете целый день ходить вверх и вниз по лестнице и ничего не добиться. На той площадке, которую она мне указала по счету этажа, правая дверь была драпирована портьерой с одной стороны. В Париже в обыкновенных буржуазных квартирах таких портьер не вешают, и это

даже может показаться немного претензией. Меня впустила горничная в совсем темную, очень тесную переднюю, теснее, чем бывает даже в самых незатейливых петербургских квартирах. Налево узкая дверь была приотворена; оттуда раздался сейчас визгливый лай болонки.

Служанка отнесла мою карточку и, вернувшись, впустила меня в кабинет хозяина. Этот кабинет в России считался бы тесной комнатой, но для Парижа он не особенно мал. От входа направо два окна, у стены — прямо письменное бюро, все заставленное разными вещицами; за ним, лицом к двери, сидел Золя. Портреты очень похожи на него. Но в натуре он гораздо толще, или, лучше сказать, пухлее, в лице оказывается некоторая одутловатость, да и все тело его скорее жирное, чем мускулистое, конечно, от сидячей работы. Если вы езжали по югу Европы, вы сейчас догадаетесь, что это человек с южной кровью. Цвет лица у него матовый, но здоровый и незагорелый. По домашнему костюму, по манере, с какой он поздоровался со мною, протянул руку, поднявшись при этом с кресла, видно, что Золя сделался парижанином. Первые года юности провел он уже в Париже; а это всего сильнее влияет и на выговор, и на манеры, и на весь внешний склад человека. Золя родился в Париже, но жил в Провансе до переезда в Париж отроком; но акцента у него не сохранилось. Он говорил не так, как истый парижанин, без этого отчасти горлового, отчасти картавого произношения; но и не как настоящий южный француз; типических звуков, соединенных с буквою «н», у него совсем нет; он произносит их так же в нос, как и любой француз среднего типа. Только во всем пошибе его произношения есть что-то своеобразное. При этом он немножко шепелявит. Сначала вы не заметите, а через пять — десять минут шепелявость все усиливается. Говорит он много, без парижской скороговорки, но пространно, не горячась, с натиском словоохотливого резонера.

Когда я вошел, Золя писал что-то литературное на небольших четвертушках бумаги. Это было в половине первого. Он меня предупредил запиской, что для него самый удобный час — время после завтрака; утрами своими он очень дорожит, а часов с трех опять начинает писать или же просматривать корректуру. Вечером он,

как и все парижские литераторы, не *работает*, то есть не пишет ничего.

Судя по портретам, можно было заключить, что Золя в своем туалете не только не франтоват, но даже небрежен. На портретах он по туалету смотрит каким-то мастеровым. У себя дома Золя гораздо франтоватее. Он работает в коротком пиджаке из белой фланели. В Париже очень многие пишущие люди держатся этого домашнего видоизменения халата. Домашняя рубашка — с воротом, расшитым красной бумагой; манжеты гофрированы, так же как и грудь. Это мне показалось немного странным...

Небольшой кабинетик, вероятно, служит Золя и приемным салоном. В другие комнаты я не проникал ни в этот раз, ни в следующие, когда заходил к нему в те же часы. Вся комната битком набита мебелью разных стилей и разной обивки, картинами и рисунками по стенам, старыми художественными вещами. В левом углу стоит пианино. На полу не один сплошной ковер, а несколько ковриков. На подзеркальнике камина целая разношерстная коллекция всевозможных предметов, купленных у антиквариев. Золя заразился болезнью парижан, впрочем, очень культурной болезнью: страстью к предметам искусства, ко всякому артистическому старью. Нельзя сказать, чтобы его салон-кабинет производил очень изящное и строгое впечатление. Он похож на приемную комнату в небольшом магазине *брикабракиста*. Но все-таки вы чувствуете, что тут работает человек, любящий все художественное. Такие комнаты, наполненные скульптурными и всякими другими орнаментами и безделушками, гораздо больше говорят воображению, гораздо более согревают человека, чем наши огромные, скучные, голые кабинеты с репсовой мебелью и письменными столами, размерами в добрый биллиард. Вы видите, что трудовой человек все свои экономии употребляет на покупку художественных произведений, с интересом ходит по Парижу, отыскивает их, полагает в них свое любительство. Собачка оказалась тоже собачкой хозяина, а не хозяйки: по крайней мере видно было, что она привыкла жить тут, в кабинете. Госпожи Золя я не видал; но по письму, полученному мною в 1876 году, знаю, что, кроме жены, с ним живет еще и теща.

Наш разговор был сначала полуделовой. Речь шла о новом романе Золя; он его только что задумал; а когда окончит — сказать сам не может. Через неделю или через две он собирался переехать в свой загородный домик, где и приняться вплотную за роман. Очень любезно и совершенно по-товарищески Золя перетолковал со мною и о том, кого бы из молодых, знакомых ему литераторов пригласить корреспондентом в один из русских журналов. Он указал на две личности и дал мне несколько нумеров одного журнала, чтобы я мог судить об их критических этюдах. Когда он говорит о ком-либо, ему лично знакомом, разделяющем его взгляды, словом сказать, о *своем человеке,* то это выходит у него чрезвычайно искренно, сильно и толково. Вообще это, должно быть, человек прочных привязанностей и антипатий. Во всем, что касается России и сотрудничества в русских журналах, Золя слушается безусловно своего приятеля и собрата, И. С. Тургенева. Он мне прямо и сказал:

— Позвольте мне переговорить с моим другом Тургеневым; он так много для меня сделал и продолжает так дружественно относиться ко мне, что я привык ему верить и никакого дела не начинать без его совета во всем, что касается русской литературы и прессы.

Так он и сделал в данном случае. С подобными людьми очень приятно иметь всякого рода сношения, хотя бы они и были по натуре не особенно покладисты. Тут нет нашей русской бессознательной, фальшивой мягкости и податливости. Скажет вам что-нибудь человек — будьте уверены, что он выполнит свое слово и не станет хитрить, на что имел бы право по своему происхождению, как южанин.

Золя опять подтвердил мне поразительный для него самого успех «Assommoir'а».

— Я в свет не очень много езжу, — сказал он, — но кое-где бываю и в последнее время стал даже больше выезжать. У самых чопорных барынь я уже вижу на столе мой неприличный роман. Конечно, его не дают читать молодым девицам, но уже не считают ни скандальным, ни неприличным говорить о нем во всеуслышание. Я думаю, что половиною успеха этот роман обязан все-таки женщинам; у нас мужчины читают очень мало беллетристики.

Вообще, — продолжал он, — книги идут у нас туго. Составить себе ими положение можно только в исключительных случаях. Я это дело хорошо знаю, потому что сам был приказчиком в книжном магазине. Два-три издания — вот все, на что может рассчитывать начинающий. Деньги дает роман только тогда, когда зайдет за 15 000 экземпляров.

Я воспользовался первой маленькой паузой, чтобы задать тот чисто литературный вопрос, с каким ехал еще из Москвы. В романе «Страница романа», как читатель припомнит, кроме длиннот и повторений в описаниях Парижа, есть еще одна странная черта для такого даровитого и сильного писателя, как Золя. Это личность доктора Деберля. В начале вы думаете, что автор сделает из него если не тип, то своеобразный характер. Но ожидание не оправдывается. Я и указал на такое противоречие самому Золя.

— Вы совершенно правы, — отвечал он. — Это так. Он у меня гораздо бесцветнее, нежели читатель ожидает. Но моя ошибка заключается не в его бесцветности, а в том, что я возбудил ожидание в читателе. Это произошло потому, что я недостаточно продумал мотивы, связанные с лицом доктора. Когда я начал писать, я рассчитывал заняться им, как настоящей фигурой, а потом пришел к заключению, что для женщины, введенной мною в роман, *безразлично, кого она полюбит*. На нее налетела страсть. Она сама после этого пароксизма, вспоминая о своем романе, не может хорошенько дать себе отчета, почему она полюбила доктора Деберля, а не другого, и должна была сознаться, что она его совсем не знает. Вот этот-то замысел и следовало мне провести с самых первых страниц книги, чего я не сделал.

Это авторское показание зародило во мне мысль: «Стало быть, он печатает первоначально роман до его окончания в рукописи». Я позволил себе сделать этот вопрос. Золя не смутился и сказал, чт. . действительно, он всегда начинает печатать роман в фельетонах газеты и пишет его по мере надобности или по крайней мере начинает печатать, когда дойдет не больше как до половины.

— А разве вам нельзя было в отдельной книге, — спросил я, — переделать лицо доктора, то есть откинуть в начале романа все подробности?

— Это было уже неудобно, — отвечал Золя, — приходилось бы изменять постройку очень многих глав.

— Вас не стесняет печатание в фельетонах? Ведь вы не можете уже потом изменить ни одного деталя. Иногда автор и не в состоянии совершенно ясно представить себе вперед всех подробностей рассказа?

На это Золя заметил, что — «как же быть», что этим смущаться нечего и что только в виде книги можно вполне отделать произведение, хотя и будут иногда случаться неприятности вроде той, какая с ним случилась в «Странице романа».

Правда, Бальзак также писал этим способом; но он и корректуры фельетонов совсем переделывал. Вероятно, Золя ограничивался бы появлением книги, как он это и делал до самого последнего времени, если бы не приманка усиленного дохода. Теперь он популярен, и редакция каждой большой ежедневной газеты готова покупать у него романы, так сказать, «на корню». Кто знает трудность, с какой во Франции добиваются денежного успеха, извинит романиста. Ему уже под сорок лет, вряд ли больше пятнадцати лет в состоянии он будет писать с такой неутомимостью, а на черный день необходимо припасти хотя небольшую ренту.

— Как заглавие вашего будущего романа? — спросил я.

— Он будет называться «Nana».

В «Assommoir'е» есть лицо молодой девочки, той, которую родители отдали в модный магазин. Она и там начинает уже вести неблаговидную жизнь. Вот ее-то Золя и берет героиней своего нового произведения.

— Я превращаю Nana в одну из блестящих дам полусвета Второй империи, вроде Коры Перль, Анны Дельон и разных других. Около нее я сгруппирую целый мир из типов этой эпохи: вивёров[1], дипломатов, коронованных особ, артистов. Дело будет происходить в шестидесятых годах.

У меня опять явилась мысль: Золя был в 60-х годах приказчиком книжного магазина. Конечно, он не мог посещать блестящего полусвета и никаких других фешенебельных кружков. Он реалист. Его принцип — вос-

[1] прожигателей жизни (от *франц.* viveur).

производить то, что знаешь, до тонкости, со всеми живыми, рельефными чертами.

— Знавали вы таких дам? — спросил я его без всяких прелиминарий. — И тех, кто с ними проживал миллионные состояния, всех этих принцев и вице-королей?

— Их самих знавал немножко, — отвечал Золя, — но уже позднее; в то время я стоял совершенно в стороне от всего этого маскарада империи.

Этим читателям будущего романа нечего особенно смущаться. Золя уже показал несколько примеров необычайной творческой способности — создавать живые сцены по рассказам и одним намекам. Помните, как в романе «Его превосходительство Е. Ругон» характерна сцена при дворе Наполеона III в Компьене, где он, наверно, не бывал. Я заметил это еще на моих публичных лекциях. По всей вероятности, и в новом романе будут очень хороши не только сама героиня, но и ее покровители вплоть до вице-короля египетского и принца галльского.

Работает Золя очень много; каждый год он пишет целый роман, листов до двадцати печатных. Кроме того, у него обязательная срочная работа в трех местах: ежемесячное письмо в «Вестник Европы» от одного до двух листов, театральные фельетоны в газете «Bien Public» каждую неделю и парижская корреспонденция в ежедневную провинциальную газету. Я поинтересовался узнать, как он распределяет эти работы, требующие различного напряжения и настроения духа.

— Прежде, — отвечал мне Золя, — я писал утром роман, а после завтрака статьи. Но это слишком утомительно, я не мог выдержать. Теперь я занимаюсь чем-либо одним. Мое парижское письмо для господина Стасюлевича берет у меня дней пять-шесть. Театральный фельетон я пишу в один присест, также и корреспонденцию.

Но все это вместе составляет от двенадцати до четырнадцати дней, то есть полмесяца. Стало быть, он может посвящать роману только две недели. Но, кроме того, Золя хочет составить себе имя и как драматический писатель. В течение года он непременно напишет одну пьесу, а то так и две. И теперь, тотчас после неуспеха своей комедии в театре «Пале-Рояль», он опять что-то пишет для сцены. Года два тому назад он вел

совершенно замкнутую жизнь. Теперь чаще бывает в театрах, по обязанности критика, а зимою начинает ездить и в свет; но все-таки две трети его времени уходит на труд. До обеда он почти безвыходно дома. Жить иначе не может ни один парижский писатель, как это я говорил в начале своих очерков.

Любовь к нему русской публики хорошо известна Золя; он это очень ценит и в первый же мой визит показал мне письмо какой-то особы из Москвы. Он мне его не читал вслух, но сообщил только, что оно чрезвычайно восторженно и что автор этого письма, по всей вероятности, принадлежит к женщинам самого передового образа мыслей. Он попросил меня разобрать в конце письма адрес, написанный также по-французски. Я не мог воздержаться от улыбки, видя, как наивный автор послания перевел французским жаргоном следующий адрес: «Неглинный бульвар, меблированные комнаты купца Ечкина».

Золя, по его словам, постоянно получает предложения от русских редакций и охотно идет на всякую комбинацию по части переводов его романов. С русским гонораром он хорошо знаком и первый сообщил мне заинтересованным голосом, что его приятель Доде получает от петербургской газеты, где появляются его фельетоны, такую-то плату за строчку.

Когда во второй мой визит я уходил и прощался с ним в передней, Золя сказал мне, что через несколько дней перебирается в свой деревенский домик.

— А вы уже сделались собственником? — спросил я шутя.

— Какая собственность! Так, конурка для кроликов. Вы подумайте, — прибавил он с характерным качанием головы, — я теперь только вздохнул. *Я целых десять лет ел хлеб!*

По-французски «есть хлеб» значит вовсе не то, что у нас. По-нашему это — быть обеспеченным и даже благоденствовать; а француз употребляет это в смысле жизни, если не впроголодь, то очень великопостной, на одном хлебе.

Не совсем выгодное впечатление, которое произвел на одного из моих петербургских собратов Золя, может повториться. Я наперед предупреждаю поклонников его таланта не настраивать своего воображения на очень

высокий диапазон. Золя, насколько я пригляделся к нему, — личность совсем не поэтическая. Это рабочий, сознающий свои силы, даже самоуверенный, но не заносчивый, высчитывающий свои выгоды, но в то же время преданный идее искусства. От него нельзя ожидать чего-нибудь особенно тонкого в беседе. Говорит он дельно, с множеством житейских и бытовых штрихов; это разговор очень умного, даровитого, бывалого и сильного человека, прошедшего через нужду и черную работу. Не только в романах, но даже в статьях своих он гораздо блистательнее, новее и глубже. Человек, искренно к нему расположенный и притом чрезвычайно образованный (мне не нужно называть его), уверял меня, что Золя знает очень мало. В доказательство он приводит спор, бывший при нем между Золя и Флобером, которого Золя признает своим учителем. Флобер по поводу одного из писем Золя В. Гюго сказал ему, что критический взгляд на драмы Гюго и его романы, какой Золя выразил так откровенно и смело, уже не новость, что то же почти говорил когда-то Гюстав Планш.

— А кто такой Гюстав Планш? — спросил вдруг Золя.

Как бы то ни было, при всех своих недочетах по образованию и по натуре, Золя типичнейшая личность, именно в теперешнюю эпоху. Хотя он к политическим вопросам относится и не страстно, но сквозь его буржуазную оболочку вы видите не дилетанта, а рабочего. Он дойдет до тех пределов творчества, которые поставил себе; в нем вы чувствуете глубокую веру, какую парижский рабочий имеет в положительное знание, в успехи цивилизации, в трезвый и прочный поступательный ход человечества, и если бы он впоследствии, даже в очень скором времени, сделался еще самоувереннее, вдался бы в культ успеха, комфорта, денежного положения, вряд ли это повлияет на основной тон его творческой работы. Он останется верным сыном своей эпохи, понимая это в здравом, прогрессивном смысле. Таков по крайней мере вывод из всего, что я вижу в нем как романисте и критике. Личное знакомство, к счастию, не повлияло на меня в дурную сторону, потому именно, что Золя чересчур характерен, не только как французский, но и как парижский тип.

VI

Переход от Эмиля Золя к Альфонсу Доде очень естествен в уме каждого читателя, кто интересуется реальным французским романом. Но между ними такая же характерная разница, как и между их произведениями. На А. Доде масса публики и во Франции и у нас накинулись едва ли не больше, чем на Золя, благодаря огромному успеху его романа «Formont jeune et Risler aîné»[1]. Но размер их дарований — совсем не один и тот же. Когда мне случалось беседовать с публикой об А. Доде, я уже и тогда никак не мог поставить его на одну доску с его приятелем и сверстником. Сам Золя, увлекаясь сочувствием к реальному направлению, в силу своей южной натуры очень и очень способен к преувеличению размеров дарования, когда дело идет об его единомышленниках. Доде он особенно любит. Это — исключительная слабость, и я ее вполне понимаю: у Доде талант легче, но гораздо блестящее, или, лучше сказать, игривее и поэтичнее. Недаром он начинал как стихотворец и написал немало премилых поэтических вещиц, прежде чем обратился к сцене, к драмам и комедиям, а под конец к роману. Золя, как несколько грубоватый и тяжелый работник, с его буржуазной оболочкой, должен чувствовать, по закону противоположностей, тяготение к этому игривому, щеголеватому романисту, сумевшему соединить игру фантазии, а иногда и чисто фантастический колорит, с трезвой наблюдательностью и с здравым чувством современной жизни. Если русский читатель поверит на слово Золя, он должен будет поставить А. Доде на самый высокий пьедестал из всей группы даровитых романистов реальной школы. Но этого, в сущности, нет. Доде гораздо жиже Золя и даже Гонкуров, — и обоих братьев, и Э. Гонкура, взятого отдельно.

То, что рассказал недавно Золя русским читателям о творческой работе Доде *, должно быть, безусловно верно. Такой человек прикован к ежедневной действительности. Он должен описывать и срисовывать. В этом его сила, оригинальность и привлекательность. Комбинировать, творить в классическом смысле этого слова,

---

[1] «Формон-младший и Рислер-старший» *(франц.)*.

он менее способен, а то так и вовсе не способен, иначе как в ущерб таланту и достоинству романа. Его авторство может свободно и хорошо обращаться только в поэтических отступлениях фантазии, как это мы видим в его первом романе. У нас любят упрекать новейших русских беллетристов в том, что они только фотографируют, а не создают. Но есть фотографии и фотографии. У А. Доде снимки с действительности равняются очень часто самому строгому творчеству. И я лично совершенно согласен с Золя: чем ближе Доде будет держаться своих прямых, житейских наблюдений, тем он лучше будет писать и тем ценнее для характеристики эпохи будут его романы. Сколько о нем известно, жизнь его в Париже дает ему возможность гораздо разностороннее обработывать современные сюжеты. Он теперь и сам в фельетонах русской газеты рассказывает свои дебюты, испытания, порывы с приезда в Париж бедным, безвестным юношей, такого же южного происхождения, как и Золя. Но ему удалось если не сразу пробиться к большому успеху, то по крайней мере познакомиться со всевозможными сферами парижской жизни, попасть секретарем к герцогу Морни, выезжать в свет, ставить много пьес, знакомиться с самым разнохарактерным людом парижского литературного, делового и придворного мира.

С Доде я не сталкивался прежде, то есть в 60-х годах. Из России я также с ним не переписывался. О моем желании посетить его он был предупрежден Золя. Живет он в очень характерном квартале Парижа, на так называемом Болоте. Это был когда-то модный квартал Парижа в начале и на протяжении XVII века. От этой эпохи сохранилась четырехугольная площадь, вся обставленная домами с архитектурой Возрождения и с конной статуей короля Людовика XIII посредине небольшого сквера. Таких площадей всего одна и есть в Париже. Дома — кирпичные с крытыми тротуарами, вроде того, как у нас строились дома с лавками. На площади всегда тишина. В сквере играют до обеда дети; кое-когда проедет омнибус вдоль одного ряда домов. Вот этот-то ряд, принадлежащий, собственно, к площади, и называется rue de Vosges. Во втором или третьем доме от выхода на площадь от С.-Антуанского предместья и живет Доде, под № 18. Во многих из этих

домов расположение до сих пор прежнее: небольшой дворик, часто с садиком. Квартиры помещаются, кроме главного фасада, и в отдельных павильонах. Я прошел под ворота и, окликнувши привратницу, узнал, что Доде живет налево, через двор. И входные двери, и разные другие подробности постройки — все это отзывается почтенной стариной. Даже странно было видеть, что такой *новейший,* блестящий писатель живет среди архитектурной обстановки времен кардинала Ришелье.

Меня попросили войти из узеньких сеней налево в какую-то странную комнату: она похожа была не то на подвал, не то на чулан, почти без мебели, с голыми стенами; только на одной развешано было оружие: рапиры, перчатки и нагрудники для фехтования. Вероятно, это была фехтовальная зала. Не помню даже, стояло ли там что-нибудь вроде дивана или двух, трех кресел. Но и это странное помещение было оригинально, хотя я никак не воображал, что проникать к автору «Набоба» нужно было через подобную приемную. Далее я и не проник. Я видал, что наверх ведет довольно крутая лестница. Наверх меня не пригласили, а через минуту сошел ко мне сам хозяин и тотчас начал извиняться, что не может меня принять к себе, так как его жена в эту самую ночь произвела на свет сына, кажется, по счету его, второго ребенка.

Портрет Доде я уже видел, опять все в той же коллекции современных знаменитостей, изданной недавно в Париже. На фотографии он снят в профиль или в три четверти и поражает своим благообразием. Глядя на эту фотографию, думаешь, что он крупного роста. Его типичному южному лицу придана тонкость, вероятно, с помощью небольшой ретушевки. Он смотрел на ней не писателем, а каким-то итальянским тенором. В натуре Доде — очень маленький человек, вряд ли больше четырех вершков росту; ему должно быть под сорок лет, но он моложав и даже совсем не утомлен, хотя и рассказывают, что, кроме работы, усиленной и спешной, он не отказывает себе ни в каких удовольствиях... Одет он дома не так, как большинство беллетристов: не в вязаной фуфайке или фланелевой курточке, а просто в старой и довольно даже засаленной визитке. Остальные части туалета были такие же. Женщина, влюбленная в него, наверно бы, стала ему замечать, что с его

изящной, можно сказать, живописной физиономией грех так небрежно относиться к своему туалету даже дома. В обществе я его не встречал, потому не знаю, франтоват он или нет, но дома он смотрит — по туалету — очень ненарядно. Так одеваются наборщики в типографиях. У французов, скажу мимоходом, не редкость некоторая нечистоплотность, особенно если они южного происхождения.

Но это только маленькая, ничтожная подробность. Вы сразу же оставите в покое затасканную визитку и жилет Доде и будете смотреть с удовольствием на его лицо, сожалея в то же время, что он так мал. Голова у него большая, которую бы природе следовало приставить к стройному и высокому телу. Между литераторами различных стран я положительно не встречал такой наружности, и Доде до сих пор смахивает на какого-нибудь итальянского «tenor di grazia». Ворчливый русский краснобай сказал бы, что с такими лицами попадаются шарманщики на улицах русских городов. Волосы он продолжает носить довольно длинные, занимается ими мало и вообще не производит ни малейшего впечатления фатовства. Что вы ни возьмете в его лице: глаза, нос, овал, самый колорит тела — все это такое живописное, милое и несколько, как бы это выразиться, не то что простоватое — напротив — но далеко не барское. Этак красивы бывают действительно люди из народа на юге Евро́пы, в особенности в Италии.

Говорит он приятным акцентом без всяких резких южных особенностей, несколько как бы певуче и без парижской картавости; при этом он очень молод; по звуку голос даже поразительно молод. Слушая его, вам сдается, что с вами беседует юноша, художник, скрипач, певец, а уж никак не реальный писатель, прошедший чрез очень разнообразные жизненные испытания. Чувствуете вы также, глядя на Доде и слушая, как он говорит, что женщины должны были играть в его жизни выдающуюся роль. Он уже несколько лет женат и, как читатель видит, отец семейства, но таким людям на роду написано быть всегда *первым тенором* и обладать от природы культом женской красоты...

Доде накануне назначил мне час для визита в очень милой и простой записке. И вот это-то ожидание моего

прихода подало повод к очень забавному qui pro quo[1], который как нельзя больше характеризует его теперешнее положение как романиста.

Он сначала извинился, что принимает меня в такой «дыре», и прибавил, что он всю ночь не спал, потому что роды его жены были довольно трудные.

— Представьте себе, что со мной сейчас случилось,— весело продолжал он. — Я поджидал вас; служанка докладывает мне, что какой-то господин желает меня видеть. Я должен был просить его, как и вас, вот сюда. Схожу и вижу мужчину ваших же лет и сейчас говорю ему, что я очень рад с ним познакомиться, что мой собрат и друг Эмиль Золя много мне о нем говорил, и притом называю по фамилии, то есть господином Боборыкиным. Но гость состроил удивленную физиономию и возразил мне, что он совсем не Боборыкин и не понимает, почему я ему все это говорю, что господина Золя он не знает и никогда не встречал, а что он маркиз такой-то и пришел объясниться со мною, как с автором романа «Набоб».

Как только это мне сказал Доде, я сейчас же припомнил письмо Золя, где говорится о неприятностях, какие он навлек на себя из-за нескромностей романа.

— Этот маркиз, — продолжал Доде, — вломился в обиду за то, что я позволил себе назвать его настоящей фамилией одно из действующих лиц в «Набобе». Лицо это, действительно, довольно-таки пошлое. Почему это я сделал? Вот почему: настоящий оригинал, списанный мною, прозывался не так, а вроде того. Это созвучие и повело меня к сочинению фамилии, которая оказалась существующей. А маркиза, явившегося ко мне, я отроду и не встречал!..

— Как же объяснились вы? — спросил я.

— Маркиз был чрезвычайно раздражен и даже задорен и, кажется, не совсем удовлетворился фактической стороной дела. Но что прикажете делать? Я вот уже слишком год — жертва таких же столкновений; получал даже вызовы, а о письмах и говорить нечего. Я всем и каждому говорю одно и то же: романист, списывающий с реальной жизни, неминуемо должен впадать в нескромности. Личных и тем менее неблаговид-

[1] недоразумению (*лат.*).

ных побуждений у меня никогда не было; но, помимо этого, я должен стоять за полнейшую свободу изображения.

— Пожалуй, и тут будет вызов? — осведомился я.

— Кто его знает? Это меня ужасно раздражало вначале, а теперь я уже смотрю на все это с комической точки.

Этот кусок разговора показывает, что Доде нисколько не скрывает своей *фотографической* работы. Он берет живое лицо и списывает его, когда ему нужно, и всякий романист, если только он не рутинер и не повторяет прибауток классиков, должен сознаться, что такая свобода литературной работы безусловно необходима. Если смущаться слухами, сплетнями, претензиями частных лиц, нельзя ступить шагу в беллетристике. Исповеди романистов и драматургов были бы переполнены, если бы их появлялось побольше, признанием того факта, что без живых лиц, даже со всеми их особенностями, творческая работа немыслима. В нашей литературе есть образцовое, гениальное произведение, которое все состоит из таких *личностей* — это «Горе от ума». За исключением Чацкого (да и то только отчасти), все остальные лица — портреты, поднятые до значения типов только в силу огромного таланта Грибоедова. Но Москва 20-х годов знала этих людей. Да и Грибоедов нисколько не церемонился подписывать под вымышленными именами имена своих знакомых. Всем грамотным русским людям известен подлинный анекдот, как Грибоедов, читая вслух свою комедию, кивал на того москвича, который послужил ему оригиналом для одного из приятелей Репетилова: *

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, —
И крепко на руку нечист!

Это было, конечно, посильнее, чем по случайному совпадению назвать действительно существующим именем личность пошляка, которая взята из реальной жизни. Претензия маркиза, явившегося к Доде, смешна донельзя. Она объясняется той закоснелостью дворянских взглядов, какая царствует до сих пор в лагере французских легитимистов. Мало ли сколько, например, в России в романах, комедиях и очерках встречается настоящих дворянских фамилий, вписанных даже в VI

книгу, и, наверно, никто из родичей этих фамилий не являлся к писателям с требованием отчета и даже не писал им писем на эту тему. А то, что критики старого пошиба называли «воссозданием», — просто выдохшееся общее место, и ни один писатель, честно и просто относящийся к своему делу, не станет скрывать того, что он в непосредственном наблюдении действительности черпает весь материал своего творчества, что без отдельных лиц не может быть в мозгу писателя конкретных образов.

Так точно всегда писал и до сих пор пишет наш соотечественник И. С. Тургенев. Несколько раз слышал я это от него. Все его типы, сделавшиеся классическими — живые лица *, а вовсе не создания его воображения, живые до такой степени, что они даже не представляют собой сочетания свойств разных лиц, а относятся прямо к одному лицу, наблюденному автором. Так точно созданы и Рудин, и Базаров, и все выдающиеся личности романа «Новь». Из французских драматургов, не говоря уже о Сарду, у которого слишком много эскизной работы, Дюма-сын не раз заявлял в печати, что у него нет ни одного выдуманного сюжета, что он положительно не привык писать какую бы ни было пьесу, если она не основана на действительном происшествии. Читатель извинит меня за это отступление. Мне кажется, оно было не лишним у нас, в нашем журнализме, где часто беллетристу приходится выслушивать массу бесплодных, пустых и придирчивых заметок и требований.

Почти водевильное qui pro quo, случившееся с Доде, сразу придало нашей беседе веселый, бесцеремонный характер; да с таким человеком и вообще очень нетрудно говорить с самого первого знакомства. Он вас не оттолкнет никакой претензией и никакой тяжестью. Иному может показаться, что он чересчур легковесен. Истина элементарная, что характер умственных занятий, в особенности начитанность, непременно отражается на тоне разговора, или, лучше сказать, на его строе и уровне. Этот уровень у Доде показывает, что он почти исключительно жил интересами художественными, и притом в воздухе парижского журнализма, парижских театров и салонов. Но ведь он и не берет на себя разрешения глубоких общественных и философских вопросов. Теперь он напал на настоящий свой путь — путь рома-

ниста. Правда, Доде, как и Золя, состоит театральным критиком. Но театральная критика в Париже ведется почти всеми на один и тот же лад. Для нее считается достаточным: практическое знание театрального мира, вкус, а главное хорошее перо, бойкость и образность языка. Даже без той характеристики, которую Золя посвятил своему приятелю, нетрудно было бы догадаться, что для Доде политические и социальные вопросы стояли всегда на втором плане. Не будь этого, мне кажется, молодой человек с восприимчивой головой и натурой не пошел бы, даже под давлением нужды, в домашние секретари к главному участнику государственного переворота 2-го декабря. Я это говорю вовсе не за тем, чтобы лишний раз попрекнуть своего французского собрата. С тех пор он значительно исправился и в либеральном направлении.

— Мой новый роман, — сообщил он мне, когда мы разговорились, — задуман на очень смелую тему. Он будет радикальнее всего, что я писал. Когда я его кончу, не знаю, но мне хочется поскорее заняться им вплотную.

Перед тем он мне сообщил также, что тот московский журнал, где помещали перевод его «Набоба», обратился к нему с предложением: доставить ему рукопись нового романа раньше появления его в Париже за особый гонорар.

— А вы знаете, какого направления этот журнал? — спросил я.

— Нет, — наивно ответил мне Доде, — я не имею об этом настоящего понятия.

Хотя мне и не хотелось вмешиваться в чужие дела, но я счел своим долгом предупредить Доде, что он может впасть в новое qui pro quo и гораздо более серьезного характера, чем то, которое случилось полчаса назад.

— Если ваш роман *радикальный*, — сказал я, — то ему, конечно, не место в этом московском журнале. Редакция, давая вам предложение, вероятно, спекулировала на вашу теперешнюю популярность, не ожидая, что содержание романа будет противно ее духу. Только берегитесь: редакция эта отличается своеобразными нравами. Она не церемонится, выкидывает целые главы у русских знаменитостей. Можете сообразить, что

случится с вами, если роман ваш действительно очень смелый и радикальный?

Это показывает, до какой степени до сих пор между французским и русским писательским миром мало самого элементарного знакомства. Прибаутки о невежественности французов насчет России всем надоели, но пора бы парижским писателям, даже из чувства самосохранения, знать по крайней мере клички русских журналов и газет, чтобы не давать повод публике считать их солидарными с людьми антипатичного им лагеря.

Доде собирался также выехать из Парижа. Заседания Литературного конгресса и другие дела не позволили мне еще раз зайти к нему. Весь его прием был такой милый и товарищеский, что я искренно сожалел, уезжая несколько поспешно из Парижа, что не привелось еще раз видеть его и побеседовать с ним. Он чрезвычайно цельная личность при всей своей парижской легкости. Вы находите, что романы его и он сам — произведения одной эпохи и одной действительности. Вы от него гораздо менее требуете, нежели от людей вроде Золя, и вполне понимаете, почему для массы читателей — и французских и наших — он приятнее, занимательнее и ближе. Но его поэтический вкус и блеск не стоят и одной трети тяжеловесных, но зато и могучих писательских свойств автора «Ругонов».

VII

Русскому, рассказывающему публике про парижских романистов, просто совестно было бы, в виде заключительной ноты, не сообщить хотя чего-нибудь о том, как поживает в столице Франции наш симпатичный и маститый романист И. С. Тургенев. Личная судьба Тургенева, несмотря на его огромную популярность, очень мало известна соотечественникам. Но они знают, по крайней мере грамотные, что Тургенев, по доброй воле и по каким-то житейским обстоятельствам, сделался как бы особого рода эмигрантом. Вот уже, если не ошибаюсь, больше 15 лет, как он живет не в России, а за границею, и домой наезжает только изредка — на один, на два месяца, и то больше летом. Вопрос влияния та-

кой жизни на его романы — огромной важности и для критика, и для всей русской публики. Естественно, я не буду разработывать его здесь. Скажу лишь, что меня лично эта странная судьба русского бытописателя с такой тонкой, художественной натурой чрезвычайно сильно и занимала и задевала. Никто не скажет, что я шовинист. Еще менее разделяю я замашки тех, кто не церемонится требовать от частных людей непременно такого, а не иного образа жизни. Вероятно, если бы в России жилось получше, то людям, европейски образованным, привыкшим к обществу с истинно культурными нравами, жилось бы у нас легче. Они не обрекали бы себя так часто на добровольное изгнанничество. Как ни рассуждай, а приходится прийти именно к этому главному мотиву.

Вот уже около восьми лет, как Тургенев перебрался из Баден-Бадена, где он продал свою виллу, в Париж. Живет он все там же, где и поселился первоначально, по соседству с Золя, в улице, имеющей почти такую же внешность, такую же тихую и порядочную, в rue de Douai. Вы подходите к воротам с решеткой. Перед вами двор; налево, весь крытый стеклом, подъезд отеля. Направо павильон привратницы. Двор небольшой, прекрасно вымощенный. Видны и деревья садика. Когда вы спросите у привратницы:

— Monsieur Tourguénieff?

Раздастся непременно два звонка сряду. Если он дома, то сейчас же появится на крыльце с стеклянным навесом человек и проводит вас в верхний этаж. Витая лестница открывается с нижней площадки или передней и соединяет между собою все этажи; так что, в сущности, это одно помещение. Дом принадлежит семейству Виардо. По утрам раздаются всегда громкие звуки вокальных упражнений. Какой-нибудь сопрано или контральто выделывает сольфеджи. На каждой площадке вы находите вешалку. Верхний этаж состоит из комнат очень маленьких размеров, по крайней мере для нас, русских. Квартира похожа на помещение в парижских меблированных комнатах: такие же переходцы, крошечные коридорчики, такие же двери, камины, такая же мебель.

Принимает И. С. обыкновенно в своей рабочей комнате. Она же служит ему и салоном. Это низковатая,

не особенно светлая комната в два окна. Прямо против входа небольшой письменный стол, на котором всегда лежат русские журналы и газеты. На стенах несколько картин и рисунков, в том числе небольшая картина Харламова, прекрасно написанная. Тургенев страстный любитель живописи и составил себе порядочную коллекцию, которую недавно должен был продать, и, как мне говорили, в убыток; теперь у него осталось только пять-шесть вещей, и то больше рисунки. Может быть, остальные висят где-нибудь в других комнатах. Я говорю о кабинете. Библиотека — по размерам комнаты; больше все из английских книг. Художественных вещей не особенно много. Мебель стояла в чехлах, по случаю скорого переезда на дачу. Вообще весь кабинет не такой, в котором писалось бы вполне удобно. В нем мало воздуха, негде почти расхаживать, особенно человеку таких крупных размеров, как И. С.

По делам Литературного конгресса мы, русские делегаты, раза два собирались у Тургенева, по утрам. Виделся я с ним почти каждый день в течение двух недель. Он охотно принимает утром до завтрака. Раз я нашел у него на столике маленький самовар: он только что отпил чай. Его парижский день, сколько я сам мог заметить и по рассказам его тамошних приятелей, проходит очень спокойно. В свет он выезжает мало, посещает часто аукционную камеру, в улице Друо, ездит в театр всегда в обществе, видится с некоторыми приятелями и художниками, пишет мало, кажется, даже очень мало.

Изменился ли он в последние годы? На мой взгляд, вовсе не изменился с тех пор, как я его видел в России, то есть с лета 1877 года. Вот уже несколько лет, как он страдает припадками подагры и зимою, и даже в прекрасную весеннюю и летнюю погоду; но это не особенно отразилось на его внешности. Седые волосы украшают его уже более двадцати лет, ходит он все так же прямо, с небольшим наклонением головы, голос все такой же, скорее молодой, чем старый, та же улыбка. И глаза не утратили блеска. Крупные черты лица застыли в неизменяющуюся форму и разве сделались еще более характерны в русском вкусе. Тургенев, по своему воспитанию, настоящий барин, а между тем я мало знаю

русских «господ», у которых лицо напоминало бы самые типичные лица крестьян.

Мой собрат по журнализму, Л. А. Полонский, говорил уже в своих очерках парижского Литературного конгресса, как Тургенев популярен в Париже. Это совершенно верно. Его ставят там решительно наряду с самыми выдающимися своими беллетристами. В любом собрании фигура Тургенева непременно выделится. Даже его застенчивость и неимение ораторских способностей придают ему в глазах французов какую-то особенную симпатичность. Что же удивительного в добровольном изгнанничестве Тургенева? Тщеславен он или нет, — невозможно, чтобы такое отношение публики не влияло на него. У нас даже всякий невежественный и задорный фельетонист третирует его, точно мальчишку-гимназиста, у нас до сих пор не составилось даже известного тона, которым прилично говорить о людях с литературным положением Тургенева. В Европе этот тон обязателен. Не мудрено, что и во взглядах Тургенева засела известная доля несколько узковатого западничества — на особый лад. Если даже и предположить, что он не пошел бы и теперь далее идеала своего Потугина, то его западничество, во всяком случае, благотворнее всей той шумихи славяно-русского мистицизма, которым питается наша новейшая пресса.

Нам никак не следует забывать, что через Тургенева мы приходим в общение с самыми лучшими людьми образованного мира. Он один только из русских сделался достоянием всего Старого и Нового Света. У немцев, у англичан, у американцев (не говоря уже о французах) он теперь свой человек. К этому постыдно относиться с пренебрежением; популярность Тургенева основана на таких высоких мотивах, что в нем даже враги нашего отечества видят выражение лучших сторон русской интеллигенции, самых светлых и двигательных упований нашего общества. Напомню еще раз каждому читающему русскому, что только Тургеневу и возможно было провести в печать замысел и подробности его последнего романа. Кто говорит, он написал бы его гораздо ярче, сильнее, если бы жил постоянно в России; но личности из мира таких, кого он называл «опростелыми», наблюдены им, а не выдуманы; рассказывают,

что одного или двух героев «Нови» он изучал все в том же Париже. Это весьма правдоподобно.

К Тургеневу ходят все русские без исключения. Будь он сильно работающий писатель, ему не было бы возможности так много принимать; да и теперь, я думаю, не все соотечественники доставляют ему удовольствие. Но каждый, посидев у него в тесном кабинетике, вынесет непременно одно главное чувство: это способность его все понять, если и не всему сочувствовать. Не делая никакой нескромности, я прибавлю, что Тургенев постоянно откликается на нужды и интересы русских, если они только мало-мальски заслуживают сочувствия. Уже и то хорошо, что в таком центре, как Париж, куда приливают все больше и больше разные выходцы из русских углов и сфер, живет такой даровитый, гуманный и вдумчивый человек, способный вбирать в себя, как центральный приемник, и дело и безделье, и смех и горе, и надежды и отчаяние русских людей.

ПАМЯТИ А. Ф. ПИСЕМСКОГО

Редеет семья писателей 40-х годов. У нас вообще литераторский срок короткий. Кто-то высчитал, что средняя жизнь русского писателя менее сорока лет. Судя по тому, как умирают наши собраты в последние двадцать лет, это безусловно верно. Сколько безвременно сошло в могилу молодых людей! Стоит только вспомнить генерацию 60-х годов. Все эти Помяловские, Левитовы, Слепцовы, Решетниковы — в какой возраст они умерли? В такой, когда на Западе, где-нибудь во Франции или Англии, человек только начинает свою карьеру. Даровитый романист, скончавшийся на днях в Москве, все-таки дожил до шестидесяти лет. Он родился 10 марта 1820 года *. Старше его, из живых его сверстников, всего каких-нибудь пять-шесть человек.

По поводу смерти Писемского появились уже биографические заметки. Публика знает в общих чертах, как прошла жизнь этого своеобразного и сильного писателя. Известно, что он вышел из помещичьей среды, детство провел в деревне и в губернском городе, учился в Московском университете в 40-х годах, на словесном (по-тогдашнему философском) факультете, был женат и отец семейства, служил в губернском городе вплоть до переезда в Петербург, где он сделался уже профессиональным литератором, что случилось в половине 50-х годов, стало быть, когда Писемский приближался уже к сорокалетнему возрасту. Но и потом, лет восемь спустя, по переезде в Москву, куда он перебрался в 1863 году, Писемский опять поступил на службу совет-

ником в здешнее губернское правление, что многих удивляло, так как, сколько известно, он не был никогда в нужде и давно уже заработывал очень хороший гонорар на своих романах. Только в последние годы жил он частным человеком, жаловался на здоровье, испытал сильный нравственный удар после трагической смерти своего меньшого сына *. И выходит, что, несмотря на плодовитую писательскую деятельность, этот романист провел половину своей жизни, в зрелом возрасте, на казенной службе. То же видим мы в биографии нашего сатирика Салтыкова.

Губернский город и служба дали тому и другому преобладающий материал их произведений. Без этого непосредственного знакомства с дореформенными нравами чиновничества и всеми административными порядками Писемский не написал бы «Тысячи душ». Сила натуры и сказалась в том, что рамки казенной службы не заглушили в романисте писательских позывов.

Он начал рано свою литературную дорогу и умер, только что окончивши обширный роман. Первой печатной вещью Писемского считается повесть «Тюфяк», но оказывается, что раньше «Тюфяка» он напечатал небольшую повесть, о которой никто, кажется, не упоминал *. Я не стану перечислять здесь ряда его повествовательных вещей, давших ему сразу видную литературную физиономию. Он выступил под непосредственным воздействием Гоголя и так называемой «натуральной» школы, как более резкий реалист, чем его ближайший сверстник, Тургенев. К хлесткому, но не всегда объективному изображению он присоединял еще великорусский юмор и беспощадность разоблачения безобразных сторон того сословия, где родился. В забытой теперь повести «Брак по страсти» вся комическая пошлость и беспробудное лганье на подкладке животненных инстинктов, какими опутана была жизнь тунеядного среднего дворянства, представлены живьем. И первый его роман, появившийся гораздо позднее в измененном виде, называется «Боярщина». Это широкая картина нравов целого дворянского гнезда, еще в беспробудную эпоху крепостничества. В этой вещи уже сидел весь Писемский с его наблюдательностью, манерой, языком, проблесками обличительного темперамента и недоде-

ланностью таланта и мастерства, оставшейся у него на всю жизнь.

Приезд в Петербург в начале 50-х годов дал ему новый толчок. Он увидал возможность расстаться с губернским городом и со службой и сделаться только писателем. Я помню рассказы Писемского об этой эпохе своей жизни. Тогдашняя редакция «Современника» хорошо оценила его талант и сделала ему несколько заказов. С полной откровенностью передавал он нам, молодым писателям (это было в начале 60-х годов), как роман «Богатый жених» (который должен он был окончить к сроку для «Современника», вернувшись в Кострому) сделался ему очень скоро противным и к каким возбуждающим средствам прибегал он, чтобы окончить эту тягостную для него работу.

Петербург позволил ему развернуться, рискнуть временем и трудом для больших замыслов, таких, как роман «Тысяча душ». Когда Писемский работал над второй половиной романа, в русских цензурных порядках многое изменилось к лучшему. Он сам мне говорил, что герой романа Калинович сделан был им в первой части смотрителем уездного училища потому, что он не надеялся на пропуск цензуры, если бы сразу превратил его в крупного чиновника. При николаевских порядках он не мог бы напечатать свою «драму губернского правления», как кто-то назвал этот роман при его появлении.

Вторая половина 50-х годов, без сомнения, самая блестящая и плодотворная в писательской жизни Писемского. В это время появилась и «Горькая судьбина», одна из сильных наших драм, пьеса, не утратившая ни художественного, ни общественного интереса даже до сих пор, несмотря на то, что она взята из эпохи крепостных нравов. И в ней целиком весь лучший Писемский: знание помещичьего и крестьянского быта, отсутствие идеализации, ум, трезвость, способность создавать выпуклые характеры. Влияние же тогдашнего литературного либерализма сказывается в подробностях четвертого акта, в сценах следствия с подкупом чиновников и задорным произволом модных молодых следователей, желавших отличиться перед начальством.

До первых годов шестого десятилетия в течение пяти-шести лет Писемский пользовался самой большой

популярностью. Он сделался достоянием Петербурга, жил бойко, редакторы журналов за ним ухаживали, его видали часто и в светских салонах, знали как чтеца и даже как актера-любителя. Припомним тот литераторский спектакль в пользу Фонда *, где Писемский играл городничего и где даже мелкие роли исполнялись литературными знаменитостями. В конце 50-х годов предложена была ему редакция «Библиотеки для чтения» после Дружинина. Издатель возлагал большие надежды на имя Писемского; но потому ли, что издатель этот не хотел увеличения расходов, или потому, что в новом редакторе не было настоящих редакторских свойств, журнал не мог соперничать ни с «Современником», ни с «Отечественными записками». Редактор печатал далеко не все свои вещи в «Библиотеке для чтения», и года через два, через три стал тяготиться своими редакционными обязанностями.

К началу 1861 года относится мое личное знакомство с Писемским. Несколько месяцев перед тем, в сентябре 1860 года, им была принята и напечатана моя комедия «Однодворец». В «Библиотеке для чтения» я нашел как сотрудник широкое гостеприимство и в течение двух лет часто видался с редактором. Мне кажется, что в этот-то период и начал происходить в Писемском поворот. Творческие силы были все те же, но отношение к обществу, главное, к новым идеям, к стремлениям молодежи и к тогдашнему журнальному радикализму не то что изменилось, а обострилось.

Надо перенестись к тому времени, чтобы ясно представить себе эту собирательную психологию литературного и журнального мира. С 1856 года русским журналам стало полегче дышаться; всякий писатель с наблюдательностью, с приемами реалиста, правдивый в своих изображениях легко мог прослыть за либерального литератора. И сам Писемский имел право считать себя за человека, открывающего глаза обществу на застарелые язвы и болячки. Так оно и было в художественном изображении жизни. Но внутри жил другой человек, сын своей эпохи, воспитанный на известных идеях, не пошедший дальше тех пределов, которые давным-давно переступили люди, поднявшие голову к 60-м годам.

Вероятно, прежде всего Писемский был возмущен голым отрицанием искусства. Я помню, что его ужасно

раздражала знаменитая диссертация «об отношениях искусства к действительности» *. Не больше, как пять-шесть лет перед тем он состоял еще сотрудником «Современника». Но когда редакция этого журнала фактически очутилась в руках новых людей *, он не мог идти с ними в ногу. Его реализм как романиста не исключал вовсе того романтизма в идеях, в отношениях к искусству, к реформам, к либерализму, с каким он вышел из университета и до чего додумался, когда стал руководителем журнала *. Вдобавок журнал считался органом защитников «искусства для искусства».

Новые люди не щадили этих традиций и наклонностей. Писательское согласие, какое завязалось было к концу 50-х годов, уже рухнуло. «Современник» стал враждебен Тургеневу; * в его редакции уже высиживались статьи, бывшие преддверием к таким памфлетам, каков пресловутый памфлет г. Антоновича «Новейший Асмодей» *, по поводу «Отцов и детей» Тургенева. Будь у Писемского больше научного образования, умственной смелости и меньше личной впечатлительности, он бы спокойно и трезво присматривался к тому, что начинало бродить в русской интеллигенции. Но он не мог бороться с своими личными впечатлениями и впал в коренную ошибку всех тех, кто не в силах подниматься над субъективным мерилом: он стал слишком скоро обобщать.

Мерило таких субъективных обличителей общества, или известного направления, всегда одно и то же. Они хорошо знают слабости, недомыслие, беспорядочность общества, изучили и более глубокие национальные черты отрицательного характера. Это составляет их грунт. Общество тем временем встрепенулось, явились отрицатели другого сорта, уже не такие практические скептики, как они, а люди с идеалами — верными или ошибочными, это другое дело — но с идеалами, хватившими неизмеримо дальше требований здравого смысла, обыкновенной порядочности или туманного либерализма. Эти новые люди увлекли молодежь, но она не в состоянии была оторваться от своего корня, большинство надело только мундир, да и самые лучшие на первых порах выделывали всевозможные нелепости.

Вот тут огорченный скептик-реалист и пустил свой скороспелый обличительный прием. Он смешал неурядицу,

грязь и пошлость, накопившиеся веками, с влиянием идей, которые до́лжно было бы сначала хорошенько изучить и потом уже делать эти идеи ответственными за бестолковщину и неблаговидность в молодой среде, увлекавшейся всякого рода пропагандой. Говорю это вовсе не в осуждение покойного романиста. Стараюсь только на глазах читателей выяснить мотивы той реакции, какая в нем зрела и разразилась в романе «Взбаламученное море» *. Назревала эта реакция именно в те два года, когда я как сотрудник «Библиотеки для чтения» и как знакомый покойного романиста часто бывал у него и беседовал на литературные темы. В эти две зимы случилось несколько фактов раздражающего свойства для Писемского, вроде, например, столкновения с одним иллюстрированным журналом, редакторы которого вызывали даже Писемского на дуэль *.

Лагери уже так обособились, что трудно было сходиться на нейтральной почве и обмениваться идеями, делать взаимные уступки. Но все-таки надо напомнить, что Писемский как романист, как талантливый писатель редко подвергался тогда нападкам. Ничто, кроме его собственного мировоззрения, не мешало ему идти далее в беспристрастном и смелом изображении русской жизни, ничто не препятствовало ему подождать со скороспелыми обобщениями, — ничто, повторяю, кроме того, что в нем самом происходило.

У себя дома, в кабинете, в задушевных разговорах Писемский высказывался скорее в тоне сокрушения и протеста, чем в тоне непримиримой запальчивости. Посвоему, он был последователен. Люди, возвещающие радикальные принципы, должны были, в его глазах, быть безукоризненны во всех смыслах; а этого далеко не было. Его наблюдательный и сатирический ум одинаково разоблачал и людей противного лагеря, и своих ближайших сверстников. Он мог и про приятеля, человека симпатичного ему по таланту, говорить без всякой поблажки его личным слабостям. Когда-нибудь я сообщу несколько таких разговоров. Тогдашний руководитель «Современника» *, возмущавший его своими новыми идеями, был ему очень мало известен как человек. Но несколько раз он в моем присутствии расспрашивал сотрудника, ходившего и в «Современник»: «Ка-

кой это человек, хороший ли, действительно ли верит он сам в то, что говорит?»

Рядом со всем этим в Писемском продолжал жить литератор своей эпохи, преданный делу изящной литературы, завоевавший себе место по праву, относившийся к своим ближайшим сверстникам без слабости, с очень ярким критическим чутьем. Молодому начинающему писателю было весьма и весьма полезно выслушивать характеристики Писемского, принимавшие у него тогда чрезвычайно своеобразную форму по языку. Особенно памятна мне беседа о Тургеневе. Да и вообще Писемский в эти два года до переезда в Москву любил вести разговоры, в которых обсуждались и манера писателя, и его отношение к действительности. Вы не слыхали избитых мест, формул идеалистической критики; ваше понимание освещалось выводами житейского опыта, указаниями на характерные стороны быта, народного ума, на своеобразные проявления страстей; везде и во всем подмечалась фальшь, идеализация, сантиментальность, умышленная тенденциозность. Так я припоминаю разговор, в котором участвовал покойный критик Эдельсон, о тогдашнем модном романе Авдеева «Подводный камень». Писемскому не могли нравиться такие вещи. Он, не щадя своего приятеля Тургенева, прямо говорил, что Авдеев, благодаря моде на чувствительные сюжеты тургеневских повестей и подражая его манере, сумел увлечь публику сочиненной историей, подкупающей своим радикализмом по брачному вопросу. Но талант в молодых писателях тогдашней эпохи, где бы они ни дебютировали, Писемский оценивал сразу и не торгуясь. Так, например, Помяловский тотчас стал беллетристом чуждого ему лагеря, а он им чрезвычайно интересовался и всегда повторял, что один его язык указывает на настоящую писательскую натуру.

Поездка за границу, на Лондонскую выставку, знакомство с русскими эмигрантами, разные случаи, анекдоты, несколько курьезных типов тогдашних пропагандистов закрепили в Писемском желание набросать широкую картину взбаламученного русского общества. Он приступал к этому труду вполне искренно; я в этом нисколько не сомневаюсь. Помню, в сентябре 1862 года, когда Писемский доканчивал, кажется, первую часть

или, во всяком случае, писал ее, он повторял все, что для него этот роман — дело душевной потребности, хотя он наперед знает, что его предадут проклятию в тогдашней передовой журналистике. Он не остановился перед соображением, что и фотографический снимок с разных курьезов пропаганды и радикализма будет все-таки рискованным поступком, рискованным не в смысле только личной репутации, а просто как скороспелое обобщение.

Писал он свой роман очень горячо и скоро. Процесс писанья был такой, сколько помню: сначала черновой набросок, иногда даже карандашом; этот набросок переписывался тотчас же, и к нему делались прибавления, иногда приклеивались целые листы, и только уже третья редакция представляла собой настоящий текст. Весь конец 1862 года пошел на эту работу.

В доказательство того, что Писемский не считался тогда и в «Современнике» реакционным романистом, я приведу следующий случай. Один из членов редакции «Современника» приезжал к Писемскому за несколько минут до моего прихода: начать переговоры о романе *. Первые две части я слышал в чтении самого автора у него на вечерах, и тогда по содержанию их нельзя еще было видеть, что роман выйдет весьма неприятным для молодежи.

Редакционные обязанности все больше и больше тяготили Писемского. Он оставался редактором только до февраля 1863 года, сладился с «Русским вестником» насчет печатанья романа «Взбаламученное море» и получил от него предложение заведовать беллетристическим отделом. В Москве, по рассказам, после выхода из редакции «Русского вестника» свой досуг Писемский пополнил службой *, по всей вероятности, весьма формальной и скучной, да и в материальном отношении не блестящей. Помню, в один из приездов в Москву я встретил Алексея Феофилактовича на Кузнецком мосту, заметил, что он сбрил себе бороду, узнал об его поступлении на службу и услыхал от него жалобы на то, что в Москве «нечего делать, не к чему примоститься». В это время уже Петербург смотрел на Писемского по-новому, то есть как на автора «Взбаламученного моря».

В Москве сношения с театром, с любителями, участие в спектаклях вызвали в нем новую охоту к пи-

санью пьес. Почти все, появившееся после «Горькой судьбины» в драматическом роде, написано им в Москве. Посильную оценку театра Писемского сделал я в моих публичных лекциях, появившихся потом отдельной статьей в «Слове», под заглавием: «Островский и его сверстники» *.

В Москве как романист Писемский подвел итоги эпохе своей молодости в романе «Люди сороковых годов», современную же Москву изобразил в двух больших вещах: «Водоворот» и «Мещане». Помимо ослабления таланта, с годами, болезнями, душевными ударами в этих романах уже почувствовался человек, ушедший в сторону от литературного и общественного движения. Манера застыла в одних и тех же приемах, понимание действительности ограничивалось несколькими удачными картинами и характерами среди тягучего и старомодного письма. Личная жизнь, обстановка, развивающийся пессимизм сделали свое. Но все-таки закваска здорового реализма сказывается не только в «Водовороте», но и в «Мещанах», прошедших почти незаметно. Привычка к писательскому делу и потребность творчества была настолько велика в романисте, что он задумал опять большой роман «Масоны» и довел его до конца, незадолго до смерти.

Человек в покойном Алексее Феофилактовиче был так же своеобразен, как и писатель. У нас мало занимаются определением областных особенностей русских людей, а надо бы начать это. В Писемском сказывался уроженец приволжской местности, костромич; акцент он удержал до самой смерти. Это был настоящий продукт местной жизни, не обесцветивший себя ни в столицах, ни на службе, ни в литературных сферах. Ум и юмор давали окраску всему, что говорил Писемский, когда бывал в хорошем расположении духа, когда не давал поблажки своей мнительности и ипохондрии. Даже эта мнительность, заботы о здоровье и частые переходы от возбуждения к упадку сил — чрезвычайно типичные помещичьи русские черты. И, конечно, не будь в этой натуре такого сильного мозга и темперамента, немощи тела или наклонность к ипохондрическим ощущениям давным-давно бы сломили человека, а тут мозг все-таки работал, худо ли, хорошо ли, и позволил писателю умереть в старости с пером в руках.

На похоронах Писемского я слышал такой приговор: лучше было бы, если бы он умер двадцать лет тому назад. Конечно, лучше было бы, если бы желать для него полной популярности. Тогда Писемский сошел бы в могилу с именем не только даровитого, но и либерального писателя. Теперь этого нет. Да ведь жизнь всегда возьмет свое, она не любит мистификаций и недомолвок. Что в человеке сидело, то и всплыло. Зачем на основании тенденциозных романов и плохих пьес второй половины судить пристрастно о Писемском до 1863 года? Тот писатель останется и теперь нетронутым. Так к нему и отнеслись во всех заметках, появившихся после его похорон. Вся совокупность его деятельности — в высшей степени знаменательна и характерна для целой генерации людей таких, как он. Ведь и Тургенев, несмотря на то, что не желал так скороспело обобщать, как Писемский, целых десять — пятнадцать лет находился в опале за своих «Отцов и детей». Но его удержало гораздо большее образование, широта и гуманность взгляда. Он менее продукт той среды, откуда вышел Писемский.

В нашем обществе, где все так легко стушевывается и линяет, искренность и смелость — ценные качества. Как понимал Писемский то, что вокруг него делается, так и писал. Пройдут года, страсти улягутся, теперешний либерализм покажется тоже условным и бедным, взгляд на писателей и вообще на публичных деятелей установится, и тогда каждый критик, каждый исследователь нашего движения, всякий образованный читатель найдут в произведениях Писемского, не исключая и его тенденциозных романов, отложения целых слоев действительности и скажут спасибо даровитому русскому беллетристу, а его личные пристрастия и ошибки простят ему.

Москва. 30-го января.

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Роялист восклицает:

— Le roi est mort, vive le roi! [1]

А мы скажем: умер дорогой наш художник, и заживет он вновь, во веки веков! До тех пор, пока не смолкнет русская речь! Умер человек, но национальная наша слава и гордость не померкнут. Имя и обаяние Тургенева разойдутся по всему грамотному свету.

Русские не могут рассчитывать на долголетие, особенно — писатели. Давно уже вычислено, что средняя цифра жизни русского человека умственного труда — что-то вроде тридцати шести лет. Не шестьдесят пять, а по крайней мере век покойного канцлера князя Горчакова пожелал бы каждый Тургеневу *, но и с той же бодростью, с тем же здоровьем. А ведь страдалец, уснувший в Буживале, мучился около двух лет в страшных болях... Разве смерть — не избавительница в таких мучениях? Конечно, да. Надо это говорить прямо. Читать подробности, вроде опубликованных на днях по рассказу одного издателя, — было слишком тяжко за покойного. Он знал, что смерть стоит над ним; а тут еще надо говорить о постылых издательских делах, об исполнении своих обещаний... * Ему, человеку тихой жизни, не знавшему излишеств, — судьба послала такой же адски долгий конец, как и Некрасову *. И он, наверно, повторял не раз среди ужасов бессонных ночей стих своего приятеля, сделавшегося потом недругом:

Хорошо умереть — тяжко умирать.

---

[1] Король умер, да здравствует король! *(франц.)*

Но зачем говорить только о конце?.. Выкиньте три, пять лет, и останется шестьдесят, из которых в течение тридцати он радовал всех полетом своего творчества... Тридцать лет! Многим ли досталось это в удел? Тургенева родина не переставала любить, хотя его писательство подвергалось крутым переменам симпатий и в молодой публике, и в критике.

В самый расцвет его сил, после блистательных успехов с «Дворянским гнездом» и «Накануне», он, по жалкому, хотя и понятному недоразумению, оттолкнул от себя на время известную долю молодежи и тогдашний радикальный журнализм *величайшим* своим произведением: «Отцы и дети». Не забудем, что передовой тогдашний журнал «Современник» с ликованьем выступил против него статьей «Новейший Асмодей» *. Статья эта останется памятником того, как тенденциозность и узость понимания могут играть, в данный момент, роль чего-то нового, торжествующего... Перечтите ее для интереса, и вы увидите, до чего могли доходить ослепление и отсутствие чутья и вкуса!..

Но и позднее в течение целых десяти — пятнадцати лет Тургенев находился в опале. Его авторские признания, написанные в Баден-Бадене, в конце 60-х годов *, прямо указывают, как он себя тогда чувствовал *как* русский писатель. Он совсем было решился прекратить свою деятельность. Говорил он это многим, и приятелям, и простым знакомым. Это желание забастовать было вызвано не тем только, что он связал свою судьбу с семьей Виардо и поселился за границей. Сюда входила и обида, горечь, сознание того, что его перестали понимать *новые* русские люди, для которых он всегда искал идеалов и образов. Не только радикалы и народники, но и либеральные зубоскалы, перебежавшие теперь в охранители, шедшие на буксире ругательных настроений, делали Тургенева предметом газетных фельетонных пародий. Рецензент тогдашних «Санкт-Петербургских ведомостей» забавлялся этим, и такая недостойная игра, конечно, не подходила к общему честному направлению газеты покойного В. Ф. Корша... В «Деле» и «Отечественных записках» продолжали дуться на Тургенева, и со смерти Писарева, который понял Базарова как надо, вряд ли появилась в них хоть одна дельная сочувственная статья.

Помню, при мне Некрасов получил рукопись от начинающего, под заглавием «Всероссийский фаворит». Это было едкое обличение всей писательской карьеры Тургенева с точки зрения народника 70-х годов. Редакция увидела в авторе бойкость; *статья ей понравилась;* но она не решилась из благоразумия напечатать ее. С тех пор автор ее сделался одним из теперешних тенденциозных рецензентов, считающих себя солью земли.

И шло это так вплоть до 1878 года. Стало быть, захватило и «Новь», которой крайний лагерь молодежи опять не понял; да и журналы с газетами отнеслись к этому роману очень узко, за исключением двух-трех органов. В Москве в кружке молодых профессоров Ивана Сергеевича, так сказать, *заново* начали чествовать, и оттуда, с овации, сделанной ими на заседании Общества любителей словесности в Физической аудитории Московского университета*, пошел ряд других оваций и чествований. Из Москвы они перелетели в Петербург. В Москве, с хор аудитории, студент от лица товарищей еще читал автору «Записок охотника» как бы сочувственную *нотацию** за то, что он не понял новейшей молодежи; но потом проявление симпатий пошло все в гору... В Петербурге самыми страстными восторгами заявила себя женская публика, на одном из публичных вечеров вся почти состоявшая из слушательниц высших курсов. Сам Тургенев рассказывал нам про этот вечер с особым одушевлением.

— Ничего не может сравниться, — говорил он, — с ощущением тысячи девственных голосов... Что-то могучее и пылкое... невыразимое!

И он вспоминал с тихим и теплым юмором, как эти девушки кинулись на эстраду, обнимали его, обрывали листы с венков, надевали сами на него шубу, укутывали шарфом...

Этот вечер был, бесспорно, высшей минутой его писательского чувства. Тут он был увенчан и поднят на щит цветом женской русской молодежи, самой свободомыслящей, трудовой, самоотверженной и честной... Овации утомили его тогда чрезвычайно, и я нашел его в отеле перед отъездом за границу совсем без голоса... И все-таки каждый день являлись депутации... больше женские...

Не прошло и двух лет, как болезнь со злостью схватила его в свои когти. Вся Россия стала следить за ее натисками и передышками. Тургенев был *тогда только* понят и оценен *всей страной...* Пропало фрондерство, зубоскальство было уже немыслимо — его бы приняли все за кощунство, даже те, кто прежде забавлялся пародиями на его лучшие вещи. Только в двух-трех журналах, держащихся слишком ревниво тенденциозности 60-х годов, его «не признают» * так, как признают его Россия и вся Европа, преклонившаяся перед его талантом... Доживал он, удостоенный выходок злобы, позорных инсинуаций «Московских ведомостей» и «Русского вестника», который он когда-то украсил такими вещами, как «Накануне» и «Отцы и дети». Без этой злобы и этих доносов слава Тургенева была бы неполна. Они являлись новым доказательством того, как он верен остался своим идеалам, в то время как те, кто его когда-то печатал, показали свою настоящую суть... с переменой ветра.

Скажем, положа руку на сердце, перед могилой нашего художника-писателя, не очень-то ему, должно быть, сладко приходилось от родины на первых шагах его творческого пути, коли он две трети своей жизни провел за границей. Великое ему спасибо и за то, что он совсем не бежал, когда должен был лишиться свободы за несколько сочувственных слов... о ком?... о Гоголе!.. * У нас он был больше гость, чем постоянный житель; но все, что он мог вобрать в свою творческую душу, он вобрал и передал это в образах не одним нам, но и всему свету, той Европе, которую он чтил, как общую мать науки, свободы и человечности, откуда он взял почти все свое духовное добро.

Связь с Европой держала его на высоте все тех же начал и упований, в то время как столько русских писателей и общественных деятелей свихнулись и стали пятиться к татарской орде и византийскому изуверству... Честь и хвала Европе!.. В таких людях, как Тургенев, мы сливаемся с ней всем, что нам драгоценно... И мы знаем, как она умела ценить в нем и писателя и человека.

Мы бывали не раз лично свидетелями того, как на съездах во Франции чествовали Тургенева. На Литера-

турном конгрессе 1878 года все — par acclamation[1] — выбрали его президентом. Надо было видеть, как иностранцы писатели преклонялись не только перед его талантом, но и перед фигурой, обаянием его облика. Он царил над ними своей серебристой головой и благодушным лицом чисто русского, народного — барского типа.

А на себя Тургенев, что бы он ни чувствовал внутри души в минуты писательских обид, смотрел всегда своеобразно и непритязательно. Вот два образчика этого из моих бесед с ним. В конце 60-х годов, когда все к нему придирались в печати, он говорил мне раз:

— Зачем это требуют все от меня: подавай я им чего-то необыкновенного!.. Надо нам смотреть на себя, как на пирожников. Иной раз пирожок удастся, а иной и перегорит. И хороший-то съедят, да и кончено!..

А лет через десять, в большой беседе о графе Льве Толстом, он самым искренним образом воскликнул:

— У меня нет и одной десятой таланта, какой у Левушки Толстого. Он сам не знает размеров своей творческой силы. Это какой-то слон по дарованию!..

Разве не лучше всего кончить такими подлинными словами писателя, которого и на Западе называют: «Великий мастер»?

---

[1] без голосования (*франц.*).

ТУРГЕНЕВ ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

I

В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах. Про Тургенева же сказать это совершенно невозможно, по крайней мере для всех, кто что-нибудь читал на своем веку. Просто человеком, русским барином, помещиком, охотником он бывал для простых людей: крестьян, местных обывателей на своей родине или же в случайных столкновениях в дороге, дома и за границей.

Такое отношение к нему маскировало и в глазах людей чутких много характерных свойств, принадлежащих ему, как типу, созданному и русской и международной жизнью. У нас до сих пор мало разбирали людей, достигших известности в сфере литературы, науки и искусств, с бытовой точки зрения. Первую попытку этого сделал когда-то в своих критических статьях покойный

Аполлон Григорьев *. Его интересовала родина различных писателей и поэтов; он находил у земляков многие родственные черты творчества, склада ума. Это родство заключается, конечно, и в них самих: в их характере, манере, внешнем типе. И в Тургеневе сказывался барин из центральной великорусской местности, поюжнее от Москвы. Кто знавал его и вместе с тем знаком был с графом Л. Н. Толстым, тот, конечно, согласится, что они оба очень похожи по типу, а по тону и складу речи их положительно можно было принять за родных братьев, хотя голос у них и не совсем был похож. Толстой также, если не родился, то обжился в местности из того же района. Тула и Орел по бытовой жизни близки между собою.

Я употребил слово *барин*. Знаю, что оно сделалось почти бранной кличкой. Но всякую тенденциозность мы оставим; она должна уступить место правде, определению характерных особенностей; с чем бы они ни были связаны в глазах иного читателя, известное сословие жило несколько столетий не одними только грубыми хищническими интересами и побуждениями. Оно было и главным носителем образованности вплоть до половины нашего столетия.

Каждому думавшему о законах психологической жизни известно, какую роль играют преемственность и наследственность. Вот эту-то наследственность барского склада и можно было изучать в Тургеневе. Совершенно справедливо, что две трети жизни, проведенные за границей, совсем не обесцветили его в этом отношении. В целой тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса. Такому голосу при подобной фигуре у иностранцев трудно сложиться; он был бы непременно сильнее, гуще или жестче, вообще гораздо эффектнее. Звук остался чисто русский: слабоватый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела, и опять-таки барский, а не чиновничий, не профессорский, даже не литераторский, если взять среднюю манеру говорить петербургского журналиста за последние тридцать лет. Тургенев немного шепелявил, не так резко, как, например, покойный актер Шумский или Павел Васильев, но с прибавкою чуть заметного

звука *с*. Это недостаток тоже дворянский, а не чиновничий и не купеческий. Но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее. Иначе блеск его ума, художественная объективность и меткость определений выходили бы слишком красивы, стесняли бы собеседника своей старательной, мастерской отделкой. Очертание головы в последние двадцать лет оставалось то же; волосы и бороду Тургенев носил без перемены прически. Манера держать ее была также барская; но вся голова, особенно в последние годы, напоминала русские деревенские типы: благочинных, бурмистров, стариков пчелинцев. И между родовитыми купцами попадаются такие лица. Народность в тесном смысле, то есть связь с крестьянским людом, сказывалась всего больше в некоторых особенностях лица, в складках лба, в бровях, в выражении и посадке глаз, в носе, уже совершенно не имевшем ничего западноевропейского. И несмотря на то, что руки и ноги у Тургенева были большие, походка замедленная и тяжеловатая, в нем жил настоящий барин, все приемы которого дышали тем, что французы называют distinction[1], с примесью некоторой робости. Вот эта душевная черта тоже чисто русская, я бы сказал даже — дворянски русская. Француз-писатель, да и всякий иностранец, если б он наполовину столько жил на миру, как Тургенев, и достиг одной трети его репутации, давно бы утратил всякую робость. Ею надо было объяснять и ту сдержанность, кажущуюся суховатость тона, манеру говорить и руководить беседой, которые в Тургеневе многих приводили в недоумение. Но он очень легко сокращался, запирал для случайных собеседников ларчик, где у него лежало столько хороших, интимных вещей. От чувства неловкости, навеваемого людьми или известным положением, местом, необходимостью играть роль знаменитого писателя, являлся и другой совсем тон, тот тон, который вредил Тургеневу в глазах радикальной молодежи. Но рядом с этим жило в нем всегда одно, тоже настоящее барское свойство. Это — способность сразу человеку малознакомому говорить о таких обстоятельствах своей жизни, которые обыкновенно усиленно припрятываются.

---

[1] изысканностью (*франц.*).

Меня черта эта поразила как раз в первый же разговор, который я имел с Тургеневым в 1864 году. Перед тем я к нему обращался письменно как редактор «Библиотеки для чтения». Приехал он в Петербург, сколько я помню, осенью или зимой и остановился в Hôtel de France. Повод моего визита был редакторский: просить его дать что-нибудь журналу. Мне памятны все подробности: небольшая комната с камином, костюм его (синяя визитка по тогдашней моде), диванчик, на котором мы сидели слева от входа из темненькой передней.

— Вот, видите ли, — сказал он мне, — я ничего вам не могу обещать, потому что теперь я покančиваю свою деятельность...

Это, конечно, не могло меня не изумить. Припомню, что тогда Тургенев еще испытывал удручавшее его впечатление «Отцов и детей» на молодую русскую публику. Но никакого особенного раздражения я в нем не видал; на эту тему он не сказал ни одного слова. Объяснение его было гораздо проще, и вот в нем-то и сказалось это свойство: не утаивать даже деликатных вещей из своей жизни, даже перед человеком, являющимся к нему в первый раз.

— *Сочинять,* — продолжал он, — я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было. И вот теперь случилось так, что я поселился за границей...

Без всякого колебания или многозначительной паузы он добавил:

— Жизнь моя сложилась так, что я не сумел свить собственного своего гнезда. Пришлось довольствоваться чужим. Я буду жить за границей почти безвыездно, — стало быть, прости всякое изучение русских людей. Вот почему я и не думаю, чтобы написалось у меня что-нибудь. Надо на этом поставить крест.

Когда я ему заметил, что невероятно такое писательское самоубийство, что наконец он сам не выдержит, заскучает по работе.

— Кое-что буду писать, — сказал он. — Вот сколько

лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод «Дон-Кихота». Буду собирать свои воспоминания... Что же делать!

В другой раз, и уже незадолго до смерти, в 80-м году, он меня опять поразил своею откровенностью, хотя в то время мы уже были в отношениях довольно близкого знакомства и я из молодого человека превратился в человека зрелых лет. Это было в 1880 году после московских и петербургских оваций, о которых я поговорю ниже. Увидался я с ним проездом за границу. Мы его поджидали в Москву в конце апреля или в начале мая, но он выехал из Парижа гораздо позднее, а в Петербурге был задержан сильнейшими припадками подагры. Останавливался он, как известно, в последнее время в меблированных комнатах на углу Невского и Малой Морской. Я вошел на крыльцо, а Тургенев спускался с трудом, даже, сколько я помню, на одном костыле, от себя. У подъезда стояла карета. Он мне рассказал, что это его первый выезд после двухнедельного сиденья в комнате.

— Надо сделать несколько визитов. Совестно, ни у кого не мог еще быть.

И тут, на мой вопрос: «Что его задержало?» — он ответил мне такой подробностью, которую я не имею права передать здесь, но еще более показавшей мне, что в нем в известные минуты сидела настоящая *барская* откровенность — иначе назвать не могу, — которой вы не найдете у людей другого типа, как бы они ни были просты, искренни и смелы: известных вещей они не скажут от той щекотливости, которой в Тургеневе не было относительно себя.

Прибавлю маленькую подробность, не относящуюся прямо к этой характеристике: сойдя с лестницы, он попросил зайти вместе с ним в магазин известного токаря Александра, помещающийся в том же доме, чтобы выбрать себе табакерку.

— Стал нюхать, — говорил он мне с улыбкой, — как старухи у нас толкуют: для глаз хорошо.

Вообще, несмотря на подагру, он был в очень милом настроении и передавал мне, как, сидя дома, пристрастился к картам, собирал у себя двух-трех приятелей, из которых один оказался неудобным по своей горячности и манере ругать партнеров *.

II

В среде иностранцев, особенно французов (я всего больше и видал его с ними), Тургенев, сохраняя свой народный барский тип в манере говорить, в тоне, превращался гораздо больше в общеевропейца, чем большинство русских. Это происходило, главным образом, оттого, что он употреблял новейший, несколько жаргонный парижский язык. У других, например, у Герцена, несмотря на его долгие скитания, самый звук, когда он говорил по-французски, был чисто московский до самой смерти. У Тургенева не только выбор выражений, отдельные слова и словечки, но и интонации отзывались новейшим Парижем. Он слишком много жил с французскими писателями, артистами и светскими людьми, чтобы на него не отлинял их язык. И вообще, мне кажется, на грунте несомненной своеобразности как русского писателя и человека у него было в житейском обиходе множество заимствованных приемов. Не нужно забывать и того, что Тургенев предавался разным видам любительства: был охотник, шахматный игрок, знаток картин, страстный меломан, и по всем этим специальностям он имел приятелей-иностранцев. В их кружках неизбежно приобретал он известного рода пошиб речи и манер.

Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал в течение восемнадцати лет, а между тем не дальше как несколько месяцев тому назад я, признаюсь, был не особенно приятно настроен, прочтя случайно маленькое предисловие Тургенева к митавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим «вторым отечеством» *. То же он высказывал и по-русски в своих воспоминаниях, но там это как-то смягчается. И, вероятно, когда он уходил в самого себя и обозревал историю своего умственного развития, то признавал тот несомненный факт, что немцам, их университетам, их литературе, философской всесторонности, эрудиции он обязан тем, что стал настоящим европейцем по своим идеям, стремлениям и вкусам.

Но, повторяю опять, немецкий склад жизни, ума и вкусов на него резким образом не отлинял. Не было

этого и тогда, когда он жил в Баден-Бадене, где мне привелось посетить его. Напротив, в баденской своей вилле Тургенев смотрел настоящим туристом, полу-французом, полурусским, ничего не имеющим общего с туземным населением и местностью, кроме своей страсти к охоте; а в Шварцвальде по этой части порядочное раздолье. Я позволяю себе высказать ту мысль, что у Тургенева была платоническая любовь к немецкой умственной культуре, сохранившаяся как реликвия молодости, но в плоть и кровь его она нисколько не вошла. Да и стоит только перечитать его романы, повести и рассказы, чтобы найти то здесь, то там резкое отношение к немцу, к жестоким свойствам его характера, к его смешным сторонам, наконец, к его отсталости по удобствам и вкусу, к его невозможной кухне, так едко описанной Тургеневым в «Вешних водах», за что немцы довольно долго на него дулись и до сих пор не могут ему забыть этих строк.

Случалось и мне слышать его разговоры с немецкими писателями. Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки, и из всех мне известных русских писателей он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью. Но все это было *само по себе;* оно не накладывало печати ни на его привычки, ни на его разговор, не давало ему никаких исключительно немецких пристрастий.

Прибавлю, однако, что в Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всем, чем они выше нас. Каких-нибудь выходок в русском вкусе насчет «немчуры», вероятно, никто от него не слыхал иначе, как разве в каких-нибудь шутливых, забавных рассказах.

К французам Тургенев вплоть до переселения в Париж относился, правда, немножко брезгливо; можно даже сказать, что он не любил их. Очень хорошо припоминаю свой разговор с его ближайшим приятелем * по поводу переселения Тургенева с семейством Виардо из Баден-Бадена в Париж. Переселение это было сделано из патриотизма. Виардо и его жена не хотели оставаться у «пруссаков» *, продали, так же как и Тур-

генев, свои виллы, переменили совершенно образ жизни и поселились на постоянное житье в Париже.

— Да, бедный Иван Сергеевич, — говорил мне его приятель, — должен теперь сидеть во Франции. А ведь он до французов куда не охотник, и весь-то склад жизни в Париже ему не по душе!

Это говорилось как вещи, давным-давно известные всем, кто близок с ним. Но патриотизм семейства Виардо, последствия франко-прусской войны, падение Второй империи и новый режим, множество живых связей с писателями и политическими людьми Франции, симпатии и вообще уважение, чуткость французов, и в особенности парижан, к таланту и ко всему, чем, по тургеневскому выражению, «красится и возвышается жизнь», сделали то, что в конце 70-х годов никто бы уже не сказал про Тургенева, что он не любит французов и живет, скрепя сердце, в Париже и Буживале.

Нельзя было этому не порадоваться! В начале франко-прусской войны Тургенев был положительно на стороне немцев, что он и выразил в нескольких корреспонденциях *, напечатанных в тогдашних «Петербургских ведомостях». На французскую литературу, на роман он смотрел с ходячей в 60-х годах русско-немецкой точки зрения. Говорю это не голословно. Стоит только заглянуть в его большое предисловие, написанное в Баден-Бадене, к переводу какого-то романа его знакомого, Максима Дюкана *, появившегося в издании г-жи Ахматовой. Но прошло несколько лет, и мы находим Тургенева в Париже другом реалистов, почитателем Флобера (который, заметим, был уже великим романистом с 1857 года), покровителем Золя, Нестором на их обедах и вечерах, человеком, который уже искренно ставил французскую беллетристику выше всей остальной заграничной литературы романа. Он нашел даже время и охоту, несмотря на частые припадки подагры и любовь к досугу, перевести три повести Флобера *. Из молодых писателей-реалистов он чрезвычайно высоко ставил Мопассана: мне лично несколько раз говорил о нем, как говорят только о самых крупных талантах, называя некоторые его рассказы «шедеврами». Так оно и должно было случиться, и мы все, кому дороги успехи художественного творчества, не можем этому не радоваться. Париж и Франция взяли свое и вытравили осадок

русско-немецких предубеждений, какие целых двадцать — тридцать лет жили в Тургеневе. Оставался только у него его правдивый, аналитический взгляд на разные отрицательные свойства французского характера: на сухость, чувственную испорченность, тщеславие, иногда жестокость, на весь склад буржуазного житья. Но такое правдивое отношение к Франции и французам имеют очень многие друзья этой нации, даже и не так долго жившие среди французов, как Тургенев.

III

Этот русский тонкий европеец, несмотря на то что у него было хорошее дворянское состояние, прожил свой век больше на биваках, во временных квартирах и таких же временных собственных домах, совершенно так, как Герцен. Тот умер в меблированных комнатах, на rue de Rivoli, а в rue d'Amsterdam у него стоял собственный дом. И Тургенев умер в павильоне дачи les Frênes, который владелица объявила *своей* собственностью вплоть до последнего стула его спальни, а его назвала в своем встречном иске «жильцом», не имевшим будто бы никакой движимой собственности (??). Такое же сходство с Герценом по части собирания книг, составления библиотеки. Не знаю, есть ли в усадьбе Спасского-Лутовинова обширная библиотека, но в Баден-Бадене и в Париже я не помню у Тургенева книгохранилища, настолько крупного, чтобы оно занимало, например, целую залу или просторную комнату.

В обстановке Тургенева, даже в изящной баденской вилле, чувствовался холостяк. Кабинет был узкий, суховато отделанный, совсем не наполненный множеством вещей, которые накопляются в комнатах семейного и домовитого человека. Хозяин только известные часы сидел у себя, а настоящим-то образом жил рядом, у своих друзей. Парижскую обстановку Тургенева я описывал, и кто поинтересуется, заглянет в очерк «У романистов», напечатанный в «Слове». Относится он к лету 1878 года, когда мы съехались на Литературный конгресс *. Размеры комнат, простота отделки показывали нетребовательность в человеке богатом, барски воспитанном и в то время уже болезненном. Кто бы другой

согласился, страдая подагрой, каждый день подниматься в верхний этаж и слушать с утра, часов с десяти, рулады и сольфеджии учениц г-жи Виардо, доносившиеся в спальню и кабинет его звонко и раздирающе? Москвичи в таких случаях говорят: «Точно пролито». Не знаю, как было и работать в таких условиях. От одной искренно преданной покойному русской артистки я слышал * рассказы насчет других сторон домашнего комфорта, прямо показывающие, что Тургенев был крайне невзыскателен.

Эта «холостая» простота не мешала ему держаться многих чисто европейских привычек в туалете, в еде, в разных деталях нероскошного комфорта. Тонко поесть он любил, и в Париже охотно ходил с знакомыми завтракать и обедать в рестораны, знал, какой ресторан чем славится. Все это без русских замашек угощенья, платил свою долю, по-товарищески, и вообще на такие вещи денег не любил бросать. Насмешка судьбы сделала его данником подагры, а вина он почти не пил. В русской еде выше всего ставил икру и всегда повторял, когда закусывал зернистой икрою, весело озираясь:

— Вот это — дело!

У себя дома Тургенев принимал всех (я говорю о писателях) в ровном настроении, с тем оттенком вежливости, который теперь иным не нравится, но сейчас же, при первом живом вопросе, делался очень сообщителен. Таких собеседников из русских людей его эпохи было всего-то два-три человека, и в том числе Герцен. Но Тургенев имел свою особенность: уменье изобразительно-художественной беседы без пылких тирад и проблесков чувства или негодования, но с редким обилием штрихов, слов, определений, жизненных итогов и взглядов на всевозможные стороны литературной и бытовой жизни, на людей, книги, картины, пьесы, русские и западные порядки. Не нужно скрывать и того, что он, при всем своем мягком нраве, доходившем до слабости, бывал иногда весьма ядовит в беседах, рассказах и письмах. Это свойство вошло и в его произведения, в романы и воспоминания. Овладевать общим разговором он мог так, что сейчас же начинался его монолог и мог длиться несколько часов сряду. Завтракать или обедать с ним вдвоем было истинным наслаждением: до такой сте-

пени щедро осыпал он вас всем, до чего вы только касались в ваших расспросах и замечаниях. Так содержательно, тонко, правдиво и колоритно рассказывать умел только он. Придирчивый человек заметил бы разве то, что в Тургеневе — собеседнике и рассказчике, как в артисте на сцене, всегда чувствовалась забота о форме...

Но все это исчезало в публичных сборищах, на больших обедах, как только нужно ему было подняться с места и связать несколько фраз. Никто не поверит, кто слыхал его в гостиных, до какой степени он терялся. Целую неделю сидел я рядом с ним за бюро конгресса литераторов. Чтобы сказать три-четыре слова, вроде: «Monsieur X a la parole sur la proposition de la section anglaise» [1], — он нанизывал, путаясь, множество ненужных слов и вообще как председатель выказывал трогательную несостоятельность.

Всякий теперь знает, как иностранные писатели преклонялись перед ним. Держался он между ними величаво, но говорил всегда крайне мягко; а в речи своей на митинге в театре «Chatelet» даже уже слишком «прибеднивался» за нашу литературу перед Западом *.

Та же неловкость, когда нужно было говорить в публике, овладевала им и в России, даже в тот приезд, когда нежданно для него самого полились на его серебристую голову приветствия и теплые речи профессоров, писателей, студентов, курсисток. Светлее и радостнее этого времени в его писательской карьере не было. И внутреннюю свою радость Тургенев проявлял особенно мило, без рисовки, с тихим умилением, стыдливо и достойно.

Теперь уместно припомнить еще раз ход этих оваций. Зародились они в Москве в кружке молодых профессоров, к которому примкнуло несколько человек писателей и адвокатов. На интимном обеде профессора Ковалевского мы в первый раз приветствовали Тургенева. Заметка, появившаяся в «Русских ведомостях» *, о том, что на ближайшее заседание Общества любителей словесности ждут Тургенева, заинтересовала всю мыслящую московскую публику. Когда Тургенев во-

---

[1] Господин X имеет слово для предложения от английской делегации *(франц.)*.

шел, все встали, захлопали и закричали. Менее восторженный, но вроде этого, прием был ему оказан и в Петербурге в начале 70-х годов, на литературном утре в Клубе художников. Но в Физической аудитории Московского университета с хор обратилось к нему студенчество. Слушал он речь студента, смущенный и тронутый, с закрытыми глазами и опущенной вниз головой. На обеде, данном потом в «Эрмитаже» по подписке, Тургенев сидел между Писемским и Островским. Его *европеизм* блистал между ними ярко, привлекательно и говорил, что одного таланта недостаточно, чтобы быть обаятельным носителем идей и стремлений своей эпохи и нации... К торжественности никакой такой обед не располагал его. Говорить он все-таки не мог, а читал; в антрактах же, между тостами, за закуской, за кофеем привлекал своей изящной простотой и уже совершенно русской ласковостью и товарищеским тоном веселого, минутами мужского разговора.

Считаю жеманством и лицемерием не сказать кстати и того, что Тургенев был весьма не прочь рассказать историю во вкусе Rabelais[1] и делал это мастерски. В нем в таких случаях сидел настоящий барин XVIII века. Да и вообще идеализм его повестей, оттенок чувствительности и сладкой элегичности почти совсем не являлся в его беседах... Иностранец, не читавший его, никогда бы не подумал в иной веселый вечер или обед, что перед ним автор «Якова Пасынкова» или «Дворянского гнезда». Под этим отсутствием чувствительного тона таилась, быть может, известного рода стыдливость, даже немножко ложный стыд, очень знакомый нашим отцам. Стыдлив в обнаружении своих душевных волнений Тургенев был настолько, что раз, говоря со мною о работе с секретарем, о диктовке, заметил:

— Я и больной никогда не пробовал диктовать. Как же это?.. Иногда ведь взволнуешься, слезы навернутся... При постороннем совестно станет...

Такую же стыдливость и тонкую оценку красоты и грации выказывал Тургенев и к женщинам. Привязанность к одной особе взяла у него всю жизнь, но не делала его нечувствительным к тому, что немцы называют

---

[1] Рабле *(франц.)*.

«das ewige Weibliche»[1]. Лучшего наперсника, советника, сочувственника и поощрителя женщин, их таланта и ума трудно было и придумать. Способен он был и стариком откликнуться на обаяние женского существа.

В Петербурге, в зиму оваций, я был в числе других гостей свидетелем шутливого разговора Тургенева с одной из своих поклонниц.

Он ходил по комнате, утомленный, без голоса, и вдруг говорит:

— Ах, если бы мне лет десять с костей, я бы в вас ужасно влюбился.

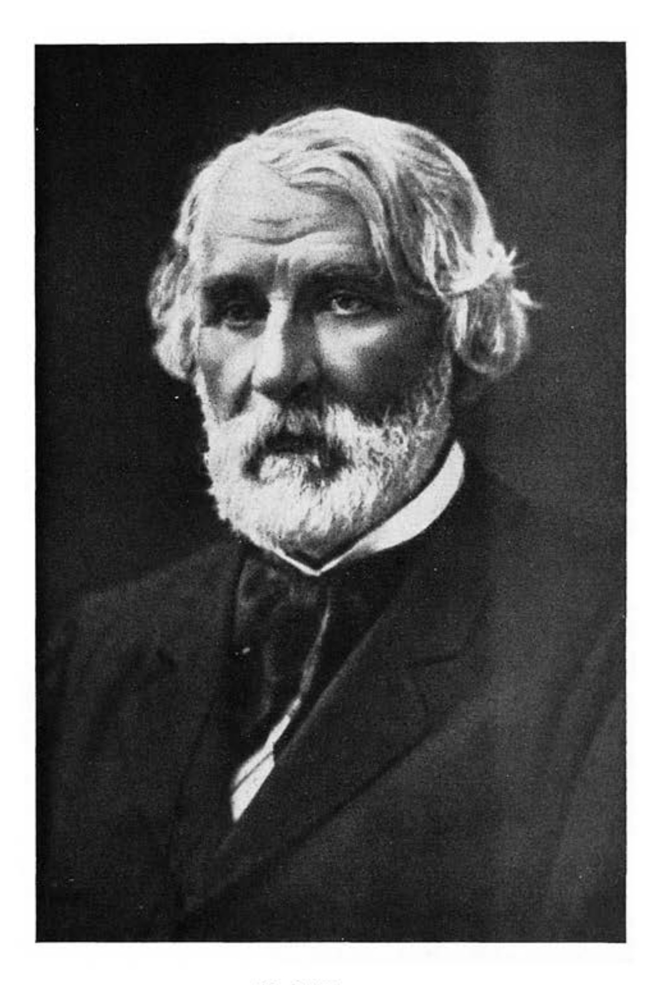
— А вы попробуйте теперь, — ответили ему, — право, можно!..

Не только женщинам, но и мужчинам он всегда, здоровый, на досуге, занятый или в постеле, отвечал на каждое письмо, по-европейски, иногда кратко, иногда обстоятельно, но всегда отвечал. Это в русском человеке дворянского происхождения великая редкость. Потому-то его корреспонденция и будет так огромна. В ней окажется много писем без особенного интереса для его личности; эти тысячи ответов покажут, как человечно и благовоспитанно относился он ко всем, кто обращался к нему...

О двух наших последних встречах в Петербурге в 1880 году и в Париже в 1881 году (она была самой последней) я уже рассказывал. В том, что я набросал здесь, мне хотелось восстановить выдающиеся черты человека своей эпохи. Есть еще сторона для нас, писателей, высокого интереса — Тургенев как мастер-художник в своих беседах о работе, творчестве, приемах, направлениях вкуса. Об этом в другой раз.

---

[1] вечно женственное *(нем.)*.



И. С. Тургенев

1879 г.

ПЕЧАЛЬНАЯ ГОДОВЩИНА

(Из воспоминаний о Тургеневе)

I

День *22-го августа 1883 года*, который сегодня вся истинно грамотная Россия вспоминает с сердечным сокрушением, не мог не вызвать в нас, давно знавших нашего великого романиста, целого роя личных воспоминаний...

Но я не хотел бы здесь повторять многое такое, что мне уже приводилось говорить в печати и тотчас после кончины Ивана Сергеевича, и в день его похорон, и позднее — в течение целой четверти века, вплоть до текущего года, до той беседы с читателями, где я вспоминал о некоторых ближайших приятелях Тургенева*, и литературных и, так сказать, бытовых.

Да будет мне позволено взять в этом очерке только несколько моментов из своих встреч с Тургеневым в разные эпохи его писательской жизни и начать с его торжественных похорон в Петербурге, идя все назад, к нашему первому знакомству в 1864 году, в такой момент *его* писательского поприща, когда он стоял на распутье вследствие того, *как* сложилась его интимная жизнь, и под влиянием той *размолвки*, какая произошла после «Отцов и детей» между ним и русской критикой и молодой публикой.

Я не видал похорон Достоевского и Некрасова (тогда я жил в Москве), а поэтому не могу и сравнивать

их с тем, как Россия (а не один Петербург) провожала в могилу Тургенева...

Но таких похорон я никогда и *нигде,* за исключением В. Гюго, в Западной Европе не видал, да, вероятно, и не увижу...

В них было что-то радостно-торжественное, — как такое определение ни противоречит самой идее похоронной процессии. Но это было именно *так.* Те, кто помнят этот день, вероятно, подтвердят верность *такого* «настроения»...

Светлый, ярко-солнечный, теплый день. Вся столица встрепенулась и готовилась к этой могучей, *первой по счету,* манифестации... «Манифестация» значит *обнаружение,* а это и было настоящее обнаружение чувств лучшей доли русского общества, которая хотела показать всем охранителям и гасильникам, *как* она желает проводить тело Тургенева в могилу...

II

И сейчас же память переносит меня к другому солнечному, даже жаркому дню в том же году, всего за несколько недель до 22-го августа 1883 года.

Я был в Париже, когда болезнь Ивана Сергеевича превратилась уже в нестерпимое мучительство, когда он доходил до признаков отчаяния от ужасных болей и раз стал умолять, чтобы его «убили»...

Он лежал в своем домике, около виллы Виардо, в Буживале, где мне очень давно не приводилось бывать — с половины 60-х годов.

Зная, что при нем тогда находился почти бессменно г. О[не]гин, которого я встречал еще с 1867 года, я обратился к нему, чтобы узнать, можно ли навестить больного. Ответ был очень тревожный. Понятно, что больного усиленно ограждали от всяких посещений, даже и близких ему людей. А я был только его младший собрат и не мог претендовать на исключение в мою пользу. Но мне было бы слишком жутко уехать из Парижа, не побывав в Буживале, если не за тем, чтобы видеть Ивана Сергеевича, то хотя для того, чтобы что-нибудь узнать о нем от тех, кто находился при нем.

До сих пор, — а прошло четверть века, — точно в стереоскопе перед моим внутренним зрением дорожка в парке, поднимающаяся к замку Тургенева. Вилла Виардо — по левую руку для того, кто поднимается.

И каждый раз, как я в Баден-Бадене хожу гулять через лес к «Новому замку» (а это бывает всякий год) и поднимаюсь по лесной дорожке, — она мне поразительно напоминает ту дорожку и невольно вызывает думу о Тургеневе, об его мучительной кончине, об его привольном житье в Бадене, где и я его навестил в 1868 году, об его «Дыме».

Не могу совершенно отчетливо припомнить, кто именно говорил со мною, когда я проник в замок, но никого из членов семьи Виардо я не видал. Вероятно, это была сиделка или горничная. Мне сказали, что больного видеть нельзя... Я не настаивал...

Внизу, наискосок от виллы, на самом берегу реки, примостился трактирчик... Я сел там позавтракать. Хозяйка, узнав, что я был на вилле Виардо, сказала мне:

— Ce pauvre monsieur Tourguénieff! [1]

Это были единственные сочувственные слова, слышанные мною за все мое тогдашнее житье в Париже... И было обидно и печально, что наш великий писатель умирал в таком отчуждении от родины.

III

И всего годом или двумя раньше я в последний раз видел *здорового* Тургенева опять в Париже в конце лета. Он жил в Буживале и наезжал в город — или наоборот, — назначил мне быть у него в таком-то часу утра и опоздал. Я его встретил уже поблизости, около Place St. George, и он меня подвез к себе. Не в первый раз я попадал к нему, в его тесноватые комнаты третьего этажа. О моих впечатлениях от его обстановки я уже имел повод говорить в печати и не хотел бы напирать на то, что многим русским (в особенности покойному В. В. Верещагину и артистке М. Г. С[ави]ной) не нравилось и часто *обижало* их за Ивана Сергеевича... В салон г-жи Виардо я не попадал и не знаю, какую

---

[1] Бедный господин Тургенев! *(франц.)*

фигуру изображал там *при гостях* знаменитый «друг дома». Но в памяти моей сохранились два маленьких, весьма характерных факта.

Когда мы доехали до дома Виардо и вошли во двор, то из окна первого этажа, около высокого крыльца, покрытого стеклянной маркизой, раздался женский низкий голос...

— Jean! [1] — окликнули Тургенева.

И он сейчас же весь как-то подобрался и пошел на этот зов, попросив меня подняться к нему. Зов этот исходил, конечно, от г-жи Виардо.

А раньше я сидел у Тургенева в его кабинетике. Дверь приотворилась, показался старичок в халате, бросил на стол пачку газет и, не входя как следует, кинул, ни к кому не обращаясь.

— Voici tes journaux, Tourgénieff [2].

Возглас и главное *тон* его были самые... если уж не крайне бесцеремонные, то слишком как-то небрежные... Ни один из русских друзей совершенно *так* бы не окликнул его, особенно в присутствии постороннего лица.

Тургенев все это сносил и благодушно нес свое любовное ярмо. Да и вообще не был злопамятен. Я это знаю по личному опыту.

Когда в 1878 году на первом Литературном конгрессе во время Парижской выставки мы с ним заседали рядом (он — как председатель, я — как вице-председатель *русского* отдела), мне случалось часто подталкивать его и даже тихонько поправлять, так как он в публике терялся и, чтобы сказать фразу: «La parole est à monsieur X» [3], заводил целую длинную перифразу с русскими «aura la complaisance» [4] и т. п. оборотами...

Иван Сергеевич все это принимал кротко. А в день митинга в театре «Chatelet», когда он произносил речь, где, на мой тогдашний суд, слишком «расшаркивался» перед французами, говоря о нашей литературе, я позволил себе при выходе с митинга в сенях театра, быть может, слишком горячо высказать ему свой протест. Он не оправдывался, но мог счесть себя задетым таким

---

[1] Жан! *(франц.)*

[2] Вот твои газеты, Тургенев *(франц.)*.

[3] Слово имеет господин X *(франц.)*.

[4] Предстоит удовольствие *(франц.)*.

«разносом». И это не помешало нам и в следующем, 1879 году, в Москве и Петербурге, и позднее за границей встречаться, и беседовать, и переписываться... Другой бы, наверно, «надулся» на всю жизнь...

IV

Овации, доставшиеся Тургеневу в 1879 году как бы «задним числом», положили предел его размолвке с русской публикой и критикой. Ведь прошло целых 17 лет с появления пресловутой статьи «Современника» и печатного недовольства «Отцами и детьми» даже со стороны его старого приятеля Герцена *.

Я видел их и в Москве и в Петербурге и по порядку, подвигаясь *назад,* а не вперед, остановлюсь сначала на Петербурге. Петербург-то первый и *рассердился* на творца Базарова... А вот по прошествии семнадцати лет подхватил тот подъем сочувствий и чествований, почин которого принадлежал *Москве.* И целую неделю делал из Тургенева героя дня, предмет горячих приемов, рукоплесканий, женской ласки на вечерах, где преобладала молодежь, переставшая обижаться за кличку «нигилист».

Я приехал тогда в Петербург тотчас после московских дней и нашел Ивана Сергеевича в отеле, окруженного своими старыми приятелями. Тут был и М. М. Стасюлевич и М. Г. Савина, участница тех чтений, на которых появлялся Тургенев. С этой зимы и началось их сближение. Известно, что у М. Г-ны есть большая коллекция его писем интимного характера, которые она не желает печатать при жизни *.

Без всякого сомнения, это был в писательской карьере Тургенева *кульминационный* пункт. Ничего подобного и даже сколько-нибудь похожего на его долю не выпадало и тогда, когда он, как художник, стоял всего выше...

Замечательно и то, что петербургские и московские овации случились всего какой-нибудь год после напечатания «Нови». А ведь молодежь не была довольна революционными героями этого романа, и вообще «Новь» прошла без того, что принято называть «большим успехом».

Быть может, молодые девушки, курсистки разных заведений, сделавшие ему такой прием, о котором он потом говорил всегда с умилением, вспомнили, что его Марианна — не отрицательное, а *положительное* лицо, и созданием его Тургенев воздал дань всему тому душевному героизму, на какой способна интеллигентная русская девушка.

V

В московских приемах и мне привелось лично участвовать.

Все эти дни живо сохранились в памяти.

Ничего не было заранее приготовлено. Никто сначала в городе и не знал, что Тургенев проездом в Москве и заболел у Маслова *, в доме Удельной конторы. Наш общий приятель М. М. Ковалевский повез к нему проф. Остроумова. Тот и помог ему настолько, что он мог уже позволить себе выезжать... Там я его навестил значительно оправившегося и нашел у него Чичерина, которого и видел там в первый и последний раз в моей жизни.

Покойный Юрьев устроил заседание Общества любителей российской словесности и задумал поднести Тургеневу диплом почетного члена. Об этом я сделал анонимную заметку в «Русских ведомостях» *, где говорилось, что на заседании ожидают присутствия Ивана Сергеевича. Это было подхвачено всей интеллигентной Москвой, и старая Физическая аудитория ломилась от наплыва публики.

Многие помнят это заседание, и я не хочу повторять здесь того, что сохранилось в их памяти.

Тот момент, когда Иван Сергеевич стоял на кафедре, склонив голову под натиском волнения, овладевшего им, и вся аудитория поднялась со своих мест, — был торжеством русского художественного творчества, просвещенной и благородной мысли, истинной любви к своей родине... И все это вышло так непроизвольно, так для многих неожиданно... Даже и внезапное обращение к нему — с хор — студента В[икторова] * не испортило общего подъема. В этих запросах тогдашнего радикала прозвучали в последний раз слишком юные протесты 60-х годов.

Мы в профессорском кружке хлопотали об обеде в зале «Эрмитажа», где Тургенев сидел между Писемским и Островским. И кто-то мне сказал на ухо, указав сначала жестом головы на обоих московских писателей:

— Какой разительный контраст: *он* — Европа с головы до пяток; а эти оба смотрят дореформенными обывателями.

Впервые русская женщина выступила с застольными обращениями к «властителю дум» целого ряда поколений... Прекрасная собою, слушательница тогдашних курсов Е. П. Л[етко]ва с большим волнением высказалась * за многих и многих его почитательниц!.. А бедный «виновник торжества», когда начал говорить, признавался в своем неумении произносить спичи и после моего обращения к нему * шутливо восклицал:

— И откуда только у него все это берется!

VI

А ведь сколько раз перед зимой этих оваций в обеих столицах приходилось Тургеневу проезжать и Петербургом, и Москвой, *с 1862 по 1879* год, и *никто* этим не интересовался!..

Из таких проездов два я прекрасно помню. Оба связаны и с болезненностью Ивана Сергеевича, и с его многим памятной чертой мнительности — непомерным страхом холеры...

Первое произошло в Петербурге... Я зашел к нему в отель. Это было в те годы, когда обер-полицеймейстером состоял знаменитый генерал Трепов... * В нумере Тургенева нахожу М. В. Авдеева, романиста, одного из тогдашних его подражателей. И. С. стоит в своей парижской вязаной куртке у печки и встречает меня с изменившимся лицом вопросом:

— Вы ничего не знаете?!!

— Ничего! А что такое?

— Ведь здесь — холера!.. Трепов приказал напечатать в «Полицейских»... *

— Ну так что ж? Холера здесь болезнь — уже *эндемическая*... *

— Ах, батюшка! Да разве вы не знаете, как я ее боюсь?

И он стал нам рассказывать, беспощадно выдавая самого себя, как он накануне был в гостях у своего приятеля Анненкова, и туда принесли весть о лихой гостье, и он так расстроился, что не был в состоянии ночевать один в отеле и остался на всю ночь у них.

— Ведь поймите, — говорил он почти дрожащим голосом, — *она* не щадит именно тех, кто ее боится, — вот как я!

— Но если так, Иван Сергеевич, — возразил я, — то вас в первую голову она должна была бы поражать. А вы пережили несколько холер в России и ни разу не заражались!..

В другой раз, значительно позднее, он проездом в Петербург заболел подагрой, и припадки были так сильны, что ухаживавший за ним Е. И. Рагозин боялся за его жизнь. Было это летом, и остановился он в меблированных комнатах на углу Невского и М. Морской. И в газетах не появилось даже краткой заметки, что «Иван Сергеевич Тургенев здесь и сильно заболел».

В то лето я, попав в Петербург, узнал о нем от Рагозина и поспешил навестить его. Поднимаюсь к нему по лестнице, а он уже сходит от себя с костылем, с трудом переступая. Я потужил, что ему приходится сидеть одному в пустом Петербурге, вместо того чтобы быть или в Париже, или в деревне, куда он и проезжал.

— В карты выучился!.. Сначала приглашал Салтыкова. Но он меня так всегда ругал за ошибки, что я взмолился и взял другого партнера!

Так безвестно и протянулись в Петербурге целые недели его болезни.

VII

Еще дальше (и ближе к первому моему разговору с И. С.) запомнилась мне продолжительная беседа с ним в ресторане теперь уже не существующего в Петербурге отеля «Демут», с окнами, выходившими на Мойку. Это было в те годы, когда Тургенев основался в Париже (после житья в Бадене), но стал чаще наезжать в Россию и проводить лето в своем Спасском-Лутовинове, куда я никогда не заглядывал.

Только к этому времени я имел возможность оценить, какой он был блестящий и пленительный собеседник, бытовой рассказчик и художник в своих устных очерках и русской и заграничной жизни, в портретах и характеристиках людей.

Всем известно, что при очень большом росте и богатырской фигуре у него был жидкий, высокий, слабый и несколько шепелявый голос, с оттенком произношения старожилов местностей пониже Москвы, в Орловской, Тульской и Тамбовской губерниях. Но это не мешало обаянию его разговора, так же, как не мешало ему, когда он сам читал свои вещи, особенно из «Записок охотника». Прибавлю, что он хотя и был настоящий барин и *светский* человек более, чем все писатели его эпохи, но в *русском* произношении не грешил никакой манерностью и сохранял настоящий великорусский говор. По-французски же он говорил уже как старый парижанин «из русских», с разными ударениями и словечками, какие прививаются только после очень долгого житья с французами. Как он говорил по-немецки и по-английски, я не имел случая наблюдать.

Так вот, за тем обедом у Демута речь зашла почему-то о Л. Толстом, которого он, как и другие его сверстники, привык за глаза называть «Левушка Толстой».

Тогда он уже не скрывал ни перед кем (и это попало в его письма), что он не восхищается *очень многим,* что есть в «Анне Карениной» *. Но его преклонение перед автором «Казаков» и «Войны и мира» было *безусловно,* — такое, как ни у кого из тогдашних писателей. Тогда-то он и любил называть его «слоном» по силе творчества и без всякой фальшивой скромности ставил его неизмеримо *выше* себя.

Вот тут он и рассказал мне подробно историю своей ссоры с Толстым * — очень просто, с необыкновенной объективностью тона, не умаляя того неприязненного к нему чувства, которое уже сидело в Толстом, *но* и *не выгораживая самого себя нисколько...*

И никогда, ни в тот раз, ни в другие разговоры на литературные темы, он не отзывался дурно о русских писателях. О парижских своих приятелях в последние годы высказывался с большой меткостью, за что они по смерти его и рассердились все.

VIII

В долгий промежуток между 70-ми годами и первой встречей с ним в 1864 году помещаю я мою поездку в Баден, где он только что выстроил себе виллу рядом с домами, где жило семейство Виардо.

Кстати, вилла эта давно уже перешла в чужие руки, и теперь там — просто «меблировка». Несколько лет назад (в письме, напечатанном мною в одной из наших газет) я высказывал, как желательно было бы приобрести эту виллу и сделать в ней убежище для писателей, нуждающихся в таком курорте, как Баден-Баден... Мысль моя сочувствия что-то не встретила.

В начале сентября 1868 года (по-нашему в конце августа) я после целого сезона, проведенного в Англии, из Парижа направился в Швейцарию, на конгресс «Мира и свободы» *. Мне захотелось по дороге посетить автора «Дыма» в его тогдашнем «Buenretiro» [1], как называют испанцы.

Насколько *теперешний* Баден-Баден мне мил, настолько же *тогдашний* мне не понравился; вероятно, оттого, что я нашел в нем все тот же Париж игроков, «растакуэров» [2] и кокоток, который к тому времени мне уже достаточно приелся. Тогда царила рулетка и привлекала всех таких россиян, какие изображены Тургеневым в «Дыме».

Я нашел его и тогда уже *на вид* очень пожилым, совсем белым, но еще бодрым. В кабинете, где он меня принимал, мы беседовали недолго, но в его тоне, когда он заговорил о России и русских, сквозило некоторое субъективное чувство... Ведь тогда еще не улеглись раздраженные и недовольные толки об его последнем романе. *Но другого* из жизни тогдашнего *русского* Бадена он написать не мог.

В тот же день я видел его издали еще два раза: в книжной лавке (где теперь читальня кургауза) и на представлении итальянской оперы, в ложе с семейством Виардо, когда я в первый раз мог достаточно рассмотреть наружность властительницы его сердца.

На другой день я должен был у него завтракать, но

---

[1] прибежище (*испанск.*).
[2] авантюристов (от *франц.* rastaquouère).

получил извинительную записку, — кухарка его заболела. А мне нельзя было заживаться: я спешил в Швейцарию.

И опять перерыв — в четыре года. Это было в Петербурге, в зиму 1863—1864 года. Я сделался издателем-редактором «Библиотеки для чтения» и приехал просить его о сотрудничестве. Перед тем я слышал, как он читал на вечере «Довольно» *. Это совпало с его тогдашним разладом с публикой, и он решился устроиться за границей навсегда.

С откровенностью, которая меня даже удивила, он начал говорить, что обещать ничего мне не может, потому что он смотрит на свое писательское дело точно как на *поконченное*.

— Своего гнезда я не свил себе, а примостился к чужому и буду теперь жить вдали от России. *Сочинять* из себя я ничего не могу. Мне надо *жить* среди тех, кого я описываю.

Это были почти что подлинные его выражения.

А теперь вернемся к 22-му августа 1883 года и скажем «Finis!» [1]

---

[1] Конец! *(лат.)*

«МОНРЕПО»

(Дума о Салтыкове)

I

Прямо против моих окон в той вилле, где я живу на водах, через полотно железной дороги вижу я сдавленный между двумя пансионами домик в швейцарском вкусе. Под крышей, из полинялых красноватых букв, выходит: «Pavillon Monrepos».

В первый день я случайно разобрал эту надпись, и она не вызвала во мне ничего. Но вчера я повторил раза два вслух, стоя у окна: «Mon repos, mon repos» [1], — и целая вереница образов и воспоминаний всплыла в моей голове вокруг одной фигуры — автора «Убежища Монрепо»...

О смерти Салтыкова узнал я в переездах по краткому некрологу какой-то парижской газеты *, где, разумеется, среди всяких сочувственных фраз стоял и такой вздор, что с Салтыковым в лицее учился в одно время Федор Достоевский, как сын «знатных» родителей *. Та же газета упомянула о книжке, составленной, во французском переводе, из его заграничных очерков, под заглавием: «Paris et Berlin». По этому поводу говорилось о его *великой* любви к Франции и французам.

Имя Салтыкова в Париже не было, однако, и наполовину известно, как имена Достоевского, Толстого и

---

[1] «Мой приют, мой приют» *(франц.)*.

Тургенева; да и сам он не особенно искал этой известности.

В начале 80-х годов * случай поместил нас с ним в одном гарни[1], позади церкви Мадлен. Он там останавливался несколько раз.

Было это в конце русского августа. Я вернулся с морских купаний из Нормандии, и хозяйка гарни сейчас же мне доложила, что через несколько дней у нее поместится «Toute la famille du général Saltikoff»[2]. Этим «генералом» оказался Михаил Евграфович, уже больной, с раскатистым кашлем и одышкой, но еще на вид довольно бодрый.

Я жил на самом верху и на другой день по приезде русского семейства заслышал на лестнице знакомый кашель. Салтыков поднимался ко мне. Я сошел вниз и не допустил его утомлять себя подъемом на шестой этаж.

Первое, чем Михаил Евграфович начал тогда, были горькие жалобы на то, как он тоскует в Париже.

— Мне здесь ровно нечего делать! — нервно повторял он, глядя пристально страдающими глазами. — Работать я не могу, таскаться по театрам — духота в них невыносимая, Палата закрыта, знакомства с французами я не вожу...

И, в самом деле, он очень мало интересовался личностями парижских писателей; у него мне не случилось видеть ни одного француза из ученого, литературного или политического мира. А как он относился к вопросу о переводе своих произведений на французский язык, может показать отрывок из разговора, бывшего в тот же его приезд и в той же гостиной его меблированной квартиры.

В числе корреспондентов проживал в Париже довольно уже давно один петербуржец, дававший там и уроки русского языка. У него был ученик-француз, богатый светский человек, езжавший в Москву как турист. Он перевел под руководством своего учителя «Сказки» Салтыкова и издал их на свой счет; * а когда узнал, что автор в Париже, доставил ему экземпляр и пожелал выразить ему лично глубокое сочувствие его таланту.

---

[1] меблированные комнаты (от *франц.* garni).
[2] Семейство генерала Салтыкова (*франц.*).

Надо было видеть Михаила Евграфовича! — до какой степени это подношение растревожило его.

— Помилуйте, — говорил он с беспощадною суровостью к самому себе, — какой интерес могу я представлять для французской публики?.. Я — *писатель семнадцатого века,* на их аршин. То, против чего я всю жизнь ратую, для них не имеет даже значения курьеза. Надо это понять!..

Спорить с ним было трудновато, и он никак не хотел сойти с того тезиса, что он писатель «семнадцатого века». А между тем разве он по-своему не был прав? Разве после представления «Грозы» Островского самые авторитетные парижские критики не сказали без всякой иронии, что нравы эти напоминают им XIV век во Франции; вы видите: даже «четырнадцатый», а не «семнадцатый». Перенесите на сцену «Господ Головлевых» (что и было сделано в Москве), и они нашли бы точно то же. И, быть может, у одного Салтыкова достало мужества так резко определить *содержание своей сатиры* для французов, а *форма* его слишком своеобразна, чтобы получить в переводе обаяние чисто эстетического характера, чего не вышло ведь до него ни с Толстым, ни с Тургеневым, которые взяли больше содержанием и общим колоритом.

II

Любил ли он французскую литературу? Не знаю. Может быть, некоторые вещи Виктора Гюго и Жорж Занд, по старой памяти.

Но вот что я прекрасно помню. Раз у Некрасова (это было в начале 70-х годов) за обедом речь зашла о парижских писателях, романистах и драматургах. Я перед тем прожил несколько зим во Франции, с 1865 года по год войны.

Из тогдашних сценических писателей я ставил выше других Ожье и Дюма-сына, который *по тому времени,* был, без сомнения, новатор если не в художественном смысле, то как проводитель разных *идей* и нравственных *идеалов,* казавшихся и публике 60-х годов и критике очень смелыми: * стоит мне только припомнить «Идеи госпожи Обрэ». За них и автор, и директор театра «Жимназ», и актриса Деляпорт, создавшая роль Жан-

нины — девицы с «изъяном», на которой почтенная мать решается наконец женить своего сына, — дрожали на первом представлении. По своим эмансипационным идеям Дюма-сын должен был бы скорее нравиться Салтыкову. Но Михаил Евграфович, помолчав довольно долго, разразился, к десерту, огульным неодобрением парижских знаменитостей.

— Один у них есть настоящий талант, — решил он, — это — Флобер; да и тот большой, говорят, хлыщ!

Это было до его поездки за границу. Личное знакомство через Тургенева с Флобером и другими натуралистами не смягчило его приговоров. Флобер ему не очень понравился. А как он смотрел на всю школу, вы сейчас увидите из маленькой сценки, разыгравшейся у меня в кабинете, на Песках, в зиму 1876—1877 года.

В отсутствие Михаила Евграфовича были напечатаны в «Отечественных записках» три лекции, прочитанные мною в пользу женских курсов в Клубе художников, «О реальном романе во Франции» *.

Первая фраза, произнесенная Михаилом Евграфовичем, когда он вошел в кабинет, была:

— Какой это вы нашли у них реализм?!

Я, конечно, не стал спорить, а дал ему излить свой протест...

В моих лекциях я занимался больше других именно Флобером и входившим в славу Золя, который выпустил тогда уже первые романы своей серии. И его реализма не признавал суровый сатирик... Не пощадил он и Флобера, на этот раз не захотел его выделить как единственного человека «с настоящим талантом». О Доде, Гонкурах и говорить нечего. Их он растер в порошок...

Привожу эти подлинные документы, ярко сохранившиеся в моей памяти, не затем, конечно, чтобы обличать эстетические вкусы покойного, а чтобы показать, до какой степени скороспешно объявляют его теперь французы исконным другом Франции и *всего* французского.

В Париже ему мало что нравилось: иначе бы он не тосковал там до такой степени. Самое привлекательное, что есть для приезжего иностранца, это — парижские театры. И к искусству французских актеров, даже и в «Comédie Française», относился он очень строго,

— Они, — говаривал он мне не раз, — умеют только хорошо *произносить* стихи и прозу, да и то в комедии; в трагедии я их *пения* слышать не могу! Вся их игра — в дикции. А жесты у них — рутинные, мимика лица — казенная и бедная.

И это, в общем, довольно верно. Его требования были — русские. Требования человека, воспитанного на игре Щепкина, Мартынова, Садовского, Мочалова, то есть на игре более нервной и выразительной, полной внутреннего юмора и комизма или богатой трагическими жестами и экспрессиями лица.

В тот приезд в Париж, с которого я начал, Салтыков пожелал пойти в театр на феерию «La Biche au bois» [1]. Мы смотрели ее втроем с общим добрым знакомым, князем У[русовым]. Выставка женского тела в разных эволюциях и группах давала ему повод ядовито и забавно острить в антрактах над нравственным уровнем парижских сцен. В театре он сильно раскашлялся и после четвертого акта запросился домой, обвязав себе шею большим фуляром, хотя температура была тропическая.

Вышли мы на бульвар, в этом месте, против театра «Porte St. Martin», высоко поднятый над мостовой, и нас охватила живая картина ночного Парижа.

— Вот это здесь лучше всего! — вскричал Салтыков, и его глаза сразу повеселели.

Он постоял с нами, любуясь бульварной толпой, где преобладал простой люд: блузники, торговки апельсинами, гамены [2], проходившие домой работницы.

Кажется, только это ему безусловно и нравилось в Париже.

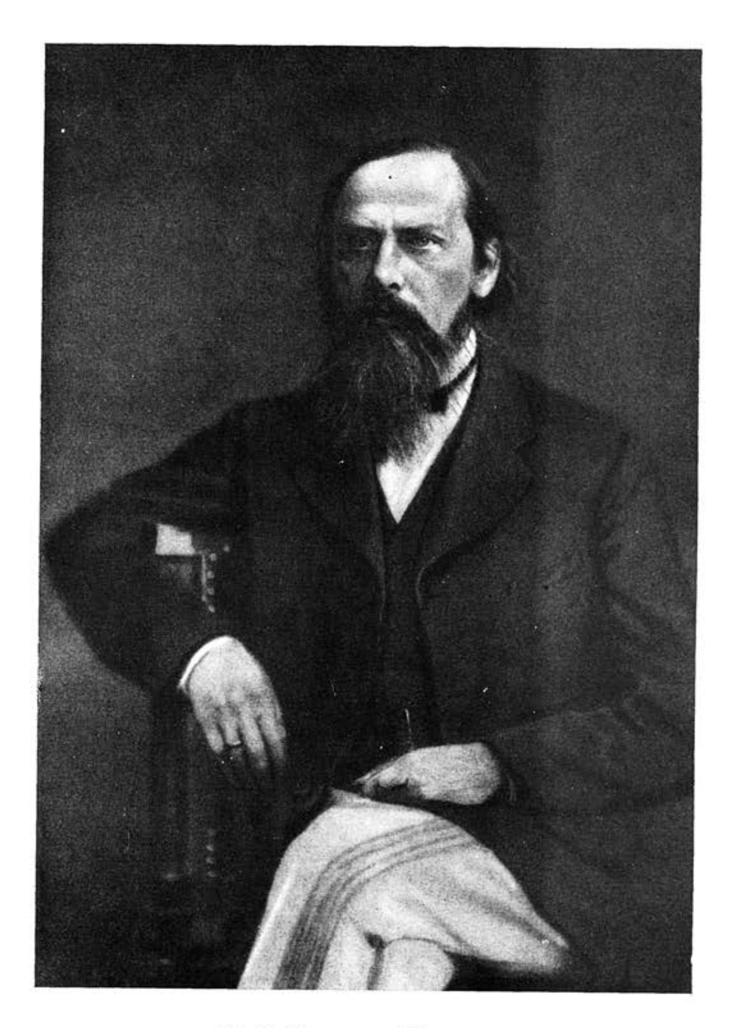
III

Но, наверно, было такое время, когда он чувствовал себя ближе к Франции, в лице людей 30-х и 40-х годов, мечтавших о социальных преобразованиях, об эльдорадо на земле.

И прямо в конце Николаевской эпохи от запретных книжек Сен-Симона, Фурье, Луи-Блана, Виктора Конси-

---

[1] «Лесная лань» *(франц.)*.
[2] мальчишки (от *франц. gamin*).



М. Е. Салтыков-Щедрин

1870-е гг.

дерана, Кабе — очутиться в служебной ссылке и две трети своей жизни провести в самой трясине губернских нравов до- и пореформенной родины!

Казалось бы, что после несносной жизни в убийственном климате севернорусских губернских городов, а потом Петербурга (от него он и скончался еще совсем не старым человеком), Салтыков должен был бы стремиться давно на благодатный юг, в эту Францию, к народу, среди которого ему все-таки легче дышалось, — о чем он заявлял иногда в печати, — устроить там свое «Монрепо» где-нибудь на Ривьере, в окрестностях Ниццы, в Канне, где солнце ласкает вас круглый год, где население красиво и весело, где жизнерадостность проникала бы и в его горькую, хронически раздражаемую душу! Он и жил в Ницце по приказанию врачей, но скучал в ней; его всегда и отовсюду тянуло домой, и никуда, как все в тот же Петербург, к самому нездоровому образу жизни, к писательскому кабинету, к спертому воздуху, к своим чисто русским привычкам, к вечерней партии в какую-нибудь коммерческую игру, за которой он ужасно волновался и только усиливал постоянное недомоганье, портил себе окончательно и нервы, и легкие, и кровеносную систему...

Раз в Баден-Бадене мы разговорились о его заграничных поездках с покойным П. В. Анненковым, его старшим сверстником и — в последние годы — приятелем. На его глазах проходила жизнь Салтыкова — еще слабого, но выздоравливающего, в этом приятнейшем из немецких курортов, где ему оказано было — все это помнят — публичное чествование как писателю от покойного канцлера кн. Горчакова *.

И там ему было не по себе...

— Михаил Евграфович, — говорил мне Анненков, — любит Петербург, хоть и клянет его на разные лады... Ему без его петербургских привычек и обстановки и жизнь не в жизнь!..

Вероятно, так оно и было. Когда у него в последние годы открылась полная возможность выбрать себе «Монрепо» в самом благословенном уголке Западной Европы или даже в России, где-нибудь на Южном берегу Крыма, на прибрежьях Кавказа, усадьба его очутилась на болотном севере, неподалеку все от того же Петербурга, этого «города ядовитых признательностей», как назвал

его Салтыков еще в одном из первых своих «Губернских очерков».

Да, «город *ядовитых признательностей»!* И он вкушал добровольно этот яд, не мог стряхнуть с себя ностальгии[1] по Петербургу. Мечтая иногда о «Монрепо», настоящем, привольном, с солнцем и тенью роскошных деревьев, с благоуханием и рокотом нежной морской волны, он тайно любил гнилой и пасмурный Петербург, любил потому главнее всего, что *там ему писалось.*

Это не мое досужее предположение. Я слышал от самого Михаила Евграфовича, и не один раз, такие слова:

— Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель. Но работается мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу.

Мечтал он и о переселении в Москву... Там прошло его детство. Там жил его школьный товарищ С. А. Юрьев... Но не пощадивший его долгий и мучительный недуг подкрался в последний раз, и Москва не увидала в своих стенах заката писательской жизни русского сатирика. Раньше сошел в могилу и Юрьев, очень быстро, еще юный духом, полный увлечений идеями прекрасного, любви к поэзии, к театру, приглашенный накануне смерти руководить новым журналом *.

Он нашел вечное «Монрепо» еще скорее своего московского школьного товарища.

IV

Случилось так, что в мои недавние переезды тотчас после кончины Салтыкова я совсем не читал русских газет, не видал полемики, поднявшейся из-за него, не удержал в голове никаких общих мест и ходячих формул «преданности и уважения» личности и таланту покойного русского *Свифта* и *Поля-Луи Курье.*

Эти два имени неспроста подвернулись под перо. Не стану сравнивать Салтыкова ни с одним из них, определять: выше ли он их по таланту и значению в истории

---

[1] тоски по родине (от *греч.* nostos algos).

нравственных идеалов своей родины как творец и художник слова. Но они в двух передовых нациях Европы считаются самыми крупными выразителями сатирического гения. Оба страдали от людской глупости, тщеславия, пошлых инстинктов, от мирской неправды, от мелкоты и грязи. И британский «декан» *, и французский деревенский буржуа были, каждый в свою меру, несчастны, как люди, не умевшие мириться с действительностью.

Но Салтыков был самым несчастным из европейских сатириков на протяжении более ста лет со дня рождения Свифта и по день смерти русского писателя.

И у Свифта и у Поля-Луи Курье имелись в запасе свойства национального темперамента, позволяющие им легче переносить зрелище мирской глупости, пошлости и порочности. Свифт мог даже полусумасшедшим объективно относиться и к самому себе: припомните его сравнение своей головы с высыхающим деревом во время прогулки... Кровь и нервы галла не допускали и Поля-Луи Курье до той горечи и надсады, какими исходил Салтыков!..

Судьбе угодно было наделить его темпераментом, всего чутче отзывавшимся на темные стороны жизни. Мне говаривали и его литературные сверстники, помнившие его молодым — тотчас по выходе из лицея, когда он уже бывал в писательских кружках, что и в то время он проявлял те же признаки человека, не умеющего примирительно смотреть на людей, на личную долю и общественную жизнь. Детство и отрочество прошли, судя по его «Пошехонской старине», среди особенно бездушных нравов. На долю его выпало нечто гораздо более способное воспитать негодующего сатирика, чем то, что представлял собою общий уровень дворянской среды николаевского времени. И позади — как начало всякой думы и основа всякого взгляда на родину — та эпоха, постылая, рабовладельческая, которая даже в такой мягкой натуре, как Тургенев, вызвала побег на Запад и клятву: не мириться с крепостным строем тогдашней России! *

Кому же, как не Салтыкову, нужнее было к старости «Убежище Монрепо», выражаясь его языком? Но оно ему не давалось. Русская жизнь, как разъедающий лишай, грызла его, не пускала никуда, сделала равнодуш-

ным к приволью и благодати других стран. И когда к моральной желчи, душившей его, присоединились еще несносные, тягучие физические недуги, сатирик не выдерживал и в лирических жалобах изливался перед публикою, за что многие *осуждали* его, находили, что он не имеет права позволять себе такие сетования Иова!.. *

Но «Монрепо» все-таки было неизбежно — последнее, верное и безобидное *убежище,* против которого бессильна и самая злая сатира!

Эмс

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ СКЕПТИК

(Из воспоминаний о Ренане)

I

Есть два Ренана: один — полулегендарный, другой — настоящий, реальный, оставшийся в памяти тех, кто имел случай хоть немного знавать его. И вряд ли конец нашего века создал еще одну личность, где бы между нравственным обликом человека, сочиненным в известных сферах, и его живым, неподдельным типом, было так мало соответствия.

Ренан был для католического духовенства не простым грешником, а отщепенцем, предателем. Ведь он воспитался в семинарии!! Он — своего рода Конрад Валленрод *. С детских лет вкусил он от теологической мудрости. В семинарии подготовили его к работе экзегета *. Такие вещи не прощаются даже и в лагерях, где безусловно не царит догмат.

До самой его смерти (а ведь он жил почти 70 лет), кто бы о нем ни говорил в печати, дружественно или враждебно характеризуя его, непременно намекал или прямо указывал на то, что в нем чувствуется *семинарист,* что он сохранил и облик и обхождение католического патера, несмотря на свой явный бунт против предания, что по складу своей души, по оттенку в направлении мышления он все-таки отзывается тем тяжелым казенным зданием около церкви св. Сюльпиция, где квадратная площадка украшена статуями великих церковных ораторов Франции...

Что же мудреного в легендарных наветах скандального характера, зашипевших вокруг личности Ренана? Когда я в первый раз попал в Латинский квартал, еще очень легко было, живя среди студентов, молодых ученых и писателей, очутиться в воздухе довольно горячих прений по поводу книги Ренана *, остающейся до сих пор его главным патентом на многовековую известность. И тогда уже мне приводилось слышать от собеседников (враждебно, по-якобински смотревших на католичество) о подробностях его частной жизни, каких можно ожидать только от непримиримых врагов.

По этой части вы можете всегда и везде наблюдать характерный общественно-психический факт. Человек выступил с чем-нибудь прямо симпатичным для всех, кто разделяет известные воззрения; он своей книгой, пропагандой или социальной борьбой необычайно двинул вперед признание дорогих им принципов. Будь он их товарищ по школе, воспитывайся он с детства в безразличной сфере, люди этого лагеря будут всегда защищать его гораздо искреннее и горячее, чем если бы он по первоначальному своему воспитанию *мог попасть во враждебный лагерь.*

То же замечал я еще в то время, во второй половине 60-х годов, в толках о Ренане тогдашних моих сверстников по Латинскому кварталу, хотя обаяние его имени было очень высоко; сознание важности того, что он предпринял, гораздо ярче и острее, чем теперь. Он был для молодежи в последнее пятилетие Второй империи одним из самых крупных вожаков свободомыслия. От него не требовали радикальной политической программы; знали и тогда, что он мирится с политическим режимом, так как еще 10 лет перед тем принял место при казенном учреждении, при *императорской* публичной библиотеке, а позднее был назначен одним из верных слуг Наполеона III, министром Дюрюи, профессором в Collège de France.

Правда, из-за скандала, устроенного ему клерикалами, он тотчас же вышел в отставку, но все-таки мирился с тогдашней властью, которая в лице министерства народного просвещения выказывала себя гораздо шире по общему направлению, чем часть молодежи, подстрекаемая старыми клерикалами и устроившая Ренану знаменитую демонстрацию 2-го февраля 1862 года *.

Все знали также, что Ренан вместе с Сент-Бёвом и некоторыми профессорами и писателями того десятилетия — обычный гость «Пале-Рояля», где жил принц Наполеон. Этот убежденный отпрыск бонапартова дома всегда был поддержкой цезаризма, несмотря на свои якобы республиканские чувства. Но *тогда* принц Наполеон находился в постоянной дворцовой оппозиции. Его считали свободным мыслителем; он терпеть не мог императрицы и ее испанского ультрамонтанства;[1] вместе со своей сестрой, принцессой Матильдой, он ставил себя просветительным меценатом; в их салонах собиралась тогда не чисто политическая, а *литературно-идейная оппозиция* всему, что пропитано духом обскурантизма.

Но и в то время в кружках, где мне привелось бывать, на Ренана смотрели уже как на скептика-эпикурейца, в душе которого остался осадок туманного спиритуализма. Строгим научно-философским мыслителем не считали его даже и более юные мои сверстники. Но самый определенный взгляд на него в этом смысле нашел я в кружке позитивистов, группировавшемся вокруг старика Литтре.

В 1867 году был основан журнал «La Philosophie Positive» с Литтре во главе, по инициативе и при материальном участии нашего соотечественника (отчасти даже москвича) Г. Н. Вырубова.

Теперь эта эпоха кажется уже *очень давней,* хотя ей минуло всего четверть века. Было бы занимательно и полезно восстановить ее физиономию. Здесь я могу коснуться ее только попутно.

Последние годы Второй империи останутся для людей моей генерации, живших тогда в центре европейского движения, светлой памятью, и, мне кажется, не потому только, что все это *было,* и великий наш поэт обмолвился простым и вечным афоризмом: «Что пройдет, то будет мило...»

Теперь принято считать даже и конец Второй империи удушливым, смрадным временем. Любой француз-патриот будет повторять вам фразы о растлевающем действии бонапартизма, доведшего Францию до разгрома 1870 года. Гнет и гниль этого режима чувствовали

---

[1] стремления добиться неограниченного влияния папы римского на духовные и светские дела (от *франц.* ultramontain).

и тогда на левом берегу Сены все те, кто не мирился с ним и работал над возрождением Франции. Не в виде заговоров и политической агитации делали они это, а не переставая проводить траншеи во имя знания, философской мысли, нравственного и общественного идеала, подготовляли путь тем, кто так легко, в один день, почти в несколько минут, с трибуны Законодательного Корпуса провозгласил династию Наполеонидов падшей и на ее место посадил опять изгнанницу во фригийском колпаке *.

И что же! Тогда, в эти пять последних лет седьмого десятилетия, в Латинской стране Парижа дышалось гораздо лучше, чем двадцать лет спустя, не потому, чтобы было больше политической свободы. Нет! Но все мыслящее и честное готовилось к борьбе, служило идее; не было, как теперь, разъедаемо самодовольным сенсуализмом, слащавой метафизикой или презрительным равнодушием к тому, что на парижском жаргоне называется: «les grands dada»[1].

И рядом с нетленной, вечной обителью знания и мышления на том же левом берегу Сены роились ульи, где пробовали свои силы бойцы политической арены. Знаменитый *Кафе Прокоп* уже несколько лет как не существует. Теперь надо брать гида, хорошо знакомого с местностью, который привел бы вас к тому дому, где внизу, в помещении кофейной, не прекращалась мозговая жизнь в течение более века, где витали тени великих будильников прошлого столетия с пылким говоруном Денизом Дидро на первом плане. В мое время в *Кафе Прокоп* приходили тогда совсем еще безвестные молодые люди: студенты, адвокаты, медики, журналисты, художники. За одним из столов по вечерам раздавался пылкий, как бы дымящийся говор южанина с итальянским типом, тогда еще бедного, начинающего адвоката и репортера заседаний Палаты. С ним на одном из холостых понедельников у Франсиска Сарсе познакомился я по поводу желания этого южанина узнать что-нибудь о двух русских деятелях, интересовавших его: Каткове и Николае Милютине. Это был Леон Гамбетта, уже и тогда вожак молодежи Латинского квартала. Ни он, ни

---

[1] любимый конек *(франц.)*.

те, кто верил в его звезду, не принадлежали прямо к кружку Литтре, но считали его своим учителем и свое сочувствие разделяли между ним и Ренаном, сознавая всю разницу их душевных обликов.

II

По четвергам у Вырубова собирались его сотрудники вечером на чашку чаю. Неизменно являлся старик Литтре: низкорослый, плечистый, морщинистое лицо старой няньки; всегда в просторном сюртуке, с огромною цилиндрическою шляпой в руках. Он садился также неизменно у камина, около стола, смотрел хмуро и разговаривал спокойно, низким тихим голосом. В половине одиннадцатого выпивал он чашку крепкого чая, и как только на камине пробьет одиннадцать, вставал, брал свой колоссальный цилиндр и с общим поклоном удалялся.

И вот в этих-то беседах Литтре я впервые стал знакомиться с личностью Ренана, прежде чем увидал его и попал к нему в кабинет, что случилось уже, как вы найдете ниже, в самые последние годы.

Литтре, еще до избрания его во Французскую академию, был ближайшим товарищем Ренана по другому отделению Института *, по так называемой «Академии надписей и изящной словесности». По пятницам Литтре ходил в Институт, и там они часто вступали в прения с Ренаном, разбирая происхождение разных слов французского языка. Оба считались и были глубокими знатоками его, Литтре, как составитель знаменитого «Словаря» *, имел даже бо́льший авторитет. Он любил писать отделанным и точным языком; сам считал себя стилистом, но вряд ли смотрел на себя как на такого же даровитого *писателя,* как Ренан.

Помню, в один из этих четвергов Литтре, не поднимая голоса, все с тем же добродушно-хмурым видом, своеобразно выпятив свои большие губы, стал нам передавать подробности спора, завязавшегося между ним и Ренаном по поводу одного слова на букву F. Кажется, это было слово fistule — фистула.

— Видите ли, — обратился ко всем нам Литтре глазами из-под нависших старых бровей, — слово это еще в

начале семнадцатого века произносилось и писалось совершенно иначе, так что трудно даже сразу увидать, как из него вышло нынешнее fistule. Его писали и выговаривали: «flestre».

А Ренан отстаивал противное мнение насчет того пути, каким произошло превращение одного слова в другое. В этой беспристрастной передаче видно было, однако ж, что знаменитый коллега Литтре по Институту отстаивал свои взгляды очень горячо, что натура его была противоположна натуре Литтре: один — спокойный холерик, другой — шумный сангвиник. Тогда я уже прошел через обаяние языка Ренана, его чудесного тона, музыки его периодов, живости и образности характеристик и описаний. Но я представлял себе его совсем иным, похожим на его портреты лет тридцать тому назад, сколько помню, работы фотографа Надара, где он снят еще почти молодым, с крупным, значительным и бритым лицом, с выражением спокойным и уравновешенным.

У моих позитивистов, особенно в более молодом обществе, не было, как я заметил, культа личности Ренана-*мыслителя*. Они считали его и до сих пор считают не без основания только свободомыслящим деистом, стряхнувшим с себя ярмо католического правоверия. И тогда уже повторяли они при всяком подходящем случае, что у Ренана *нет настоящего мировоззрения,* что его скептицизм проникнут совсем не научным духом. Заслугу его они ценили высоко, но только как человека с огромным талантом, пробивающего брешь в крепость клерикализма с помощью своих специальных познаний, где, однако, он как историк не поднимается еще до приемов *высшего социологического исследования,* не перестает быть поэтом, романистом, великим мастером изящного слова.

Пред писателем, пред знатоком и артистом в деле языка и стиля все они преклонялись. Я находил даже, что это преклонение шло несколько дальше, чем следовало бы для *позитивистов,* у которых сравнительный метод изучения должен быть в почете, а и в то время нельзя было сказать, что язык Ренана стоял безусловно выше языка таких его предшественников и сверстников, как Виктор Гюго, в прозе — Флобер, Мишле, Тэн и др.

Незадолго до войны, когда политический воздух Парижа уже был насыщен разрывными газами, я попал на публичное сборище в помещении Зимнего цирка,

данное от какого-то литературного общества. Повод был, кажется, благотворительный, но подкладка все та же: громкое заявление принципов религиозного свободомыслия и политической свободы. Ренан произносил вступительную речь. Тут я увидал и услыхал его в первый раз. В громадном цирке, сидя где-то наверху, очень высоко, в двойственном свете полусумерек и газовых рожков, я не мог отчетливо рассмотреть его лица. Может быть, этому мешало и волнение, которым была охвачена многотысячная толпа. Прием, оказанный Ренану, показывал, что его ставят наряду с тогдашними вожаками оппозиции, сочувствуют ему не меньше, чем «поэту-солнцу» *, доживавшему тогда дни изгнания на своем острове...

Из галереи третьего яруса я видел на эстраде уже пожилого человека с бритым полным лицом священника, во фраке и белом галстухе; довольно длинные волосы серебрились, заметно было и брюшко. Совсем не таким представлял его я себе по складу фигуры и абрису лица; зато голос подходил к его печатному языку: гибкий, ясный, сочный, с манерой хорошего актера, играющего симпатичные роли благородных отцов и резонеров, без излишней сладости, с переливами, где звучал порою энтузиазм, умеряемый добродушной иронией и жизнерадостным скептицизмом.

Не требуйте от меня, чтобы я передал содержание этой речи. Говорю прямо: я его не помню. Вы ее, конечно, найдете в одном из томов его сочинений. Но ее выполнение сохранилось во мне. Говорил не политический деятель, не строго-научный мыслитель, а гуманист, влюбленный в родной язык, идеально настроенный аналитик и вместе поэтический изобразитель высших стремлений души человека...

III

Прошло более пятнадцати лет. Франция конца 60-х годов принадлежала уже истории. Рухнула империя, укрепилась республика; умер Тьер; слинял Мак-Магон, собиравшийся наградить Францию королем Генрихом V; не стало и Гамбетты, промчавшегося по политической арене с такой же быстротой, с какой генерал Бонапарт

очутился цезарем, а генерал Буланже опереточным агитатором...

Мои наезды в Париж, где я не был целых семь лет, с года Коммуны до выставки 1878 года, сделались опять довольно частыми, но краткими. Во второй половине 80-х годов зашел я раз, по старой памяти, в тот дорогой для меня Collège de France, куда в течение пяти зим хаживал на лекции многих профессоров, теперь уже большею частью покойников. С тех пор Ренан из ошиканного и освистанного клерикалами лектора превратился в первое лицо этого единственного в мире *просветительного* учреждения, куда всякий прохожий — будь он француз или китаец, знаменитый ученый или неуч, блузник, оборванец, солдат, нарядная дама — могут входить в любую аудиторию и где давным-давно в самых больших залах отводится для женщин почетная трибуна вокруг кафедры.

Ренан был уже заслуженный профессор, не по выслуге лет, а по исключительному положению в литературе всего мира. Он занимал кафедру еврейского языка и словесности и был вместе с тем директором Collège de France, где и жил.

Случилось так, что в Петербурге, в редакции одной газеты, меня просили побывать у него — по поводу сотрудничества весьма близкой ему особы, посылавшей свои парижские письма под прикрытием мужского псевдонима. Но прежде мне захотелось познакомиться с преподаванием Ренана хотя бы и задним числом, послушать его вблизи, присмотреться к его натуре и темпераменту.

Занимая пост директора, Ренан читал в одной из самых плохих аудиторий. Ее, наверное, помнит кое-кто из моих сверстников или молодых людей, бывавших там в последнее время, если они посещали лекции и уроки славянских языков: когда-то — старика Александра Ходьзко, а теперь — Луи Леже, которого я видал у Ходьзко еще начинающим слушателем, с забавным русским произношением. В этой же аудитории, если не ошибаюсь, читает и Гастон Парис, занимающий кафедру старофранцузского языка после своего отца Полена Париса, милейшего старца, проходившего с нами текст средневековых книжек, вроде, например, «Roman d'Antioche», причем он давал нам мягким, благодушным тоном старого рап-

сода * объяснения каждого слова рыцарской эпохи, вроде слов: «moult» [1] или ласкательного «ma mie» [2].

В этой аудитории и двадцать пять лет тому назад, и теперь собирались и собираются слушатели особого рода: два-три молодых ученых, какой-нибудь старичок священник, пожилой господин из дилетантов и непременно несколько дам, более пожилых, чем молодых, скорее англичанок, чем француженок; в последнее время с примесью русских.

В эту аудиторию входят прямо из нижних сеней.

Служитель с цепью на груди и в черной бархатной шапочке указал мне на дверь. Из-за нее уже раздавались раскаты голоса: я немного опоздал. В аудитории нашел я человек до двадцати, сидевших вокруг длинного стола, точно в классе; некоторые держались в сторонке, у окон правой стены. Комната так невелика, что ближе к входу было тесно. У дальней стены — доска. Между доской и стеной расхаживал Ренан.

Я попадал на один из его «разносов». Он кого-то распекал тут же на лекции. В нескольких аршинах расстояния он от полноты казался очень небольшого роста; лицо жирное, с двойным подбородком, и в ту минуту красное от охватившего его полемического припадка.

Если он похож был на французского священника в партикулярном платье, то уж никак не на медоточивого и осторожного семинариста. Он весь пылал и кипятился, и раскаты его сильного и сочного голоса так и потрясали стены убогой аудитории. Держа небольшой томик в руках, он ни одной минуты не оставался на месте; забегал то направо, то налево вокруг стола, как будто накидываясь на своих слушателей и слушательниц. Иностранец, не понимающий по-французски, подумал бы, что он на них кричит.

А кричал он не на них, а на какого-то немца, своего соперника по еврейской литературе и специально по комментариям Псалтири, которую он в ту минуту и объяснял. Фамилию этого немца и еще каких-то других германских ученых произносил он, разумеется, на свой лад. Один из них особенно раздражал его.

— Это чистая софистика! — восклицал Ренан, грузно

---

[1] много, зело *(франц.)*.
[2] моя милая *(франц.)*.

двигаясь в тесном пространстве. — Это очевидная недобросовестность; можно сказать, передержка, где автор только формально прав, а не по существу, в чем вы, mesdames et messieurs[1], убедитесь сами!..

И тут потекли не менее бурные доказательства того, что многоученый немец толкует все вкривь и вкось.

На иной взгляд, этот горячка-старик, похожий на ожирелого расходившегося церковного старосту, держал себя уже слишком шумно и размашисто; но такая энергия и искренность, если бы они даже были и смешноваты, делали для вас тотчас же личность Ренана более простой и близкой. Контраст между изящным стилистом и задорным сангвиником, разносившим какого-то соперника-немца, нисколько не умалял его личности; напротив, показывал только, что в Ренане до самой смерти рядом с потребностями писателя-художника и тонкого идеалиста жил темперамент борца, упорно защищавшего то, что ему принадлежало в области положительного знания. Припомним, что ему было тогда уже под *шестьдесят пять* лет, а так пылко, с таким натиском полемизировать вслух, не щадя живота своего, — впору хоть и юноше. Он не священнодействовал с профессорским олимпийством; он жил всем своим существом перед слушателями и втягивал их в дымящийся сосуд своей интеллигенции. Такое преподавание трудного древнего языка может всякого заохотить, помимо уже обаяния имени лектора.

На мою записку о позволении навестить его, он ответил тотчас же и просил меня к себе в квартиру, помещавшуюся во втором этаже здания Collège de France, в дообеденный час.

Помещение это состоит из ряда высоких, несколько узковатых комнат, почти сплошь заставленных тогда шкафами с книгами. Вторая или третья комната служила ему кабинетом, где он сидел у стола, прислоненного к окну. Я уже не нашел задорного старика, разносившего немца-соперника. Тут вступил в права свои другой Ренан, известный каждому, кто встречался с ним и беседовал: необыкновенно мягкий, со старинной ласковостью, какая образуется во Франции разве у высших прелатов в преклонном возрасте. Гостя своего он вы-

[1] дамы и господа *(франц.)*.

слушивал, точно тот сообщает ему вещи, особенно ему близкие и занимательные. Многие в Париже нападали на Ренана за это благодушие, видели в нем преднамеренность и хитрость; позволяли себе даже возгласы вроде: «Это — слащавый поп!» или: «Настоящая Лиса Патрикеевна».

Я с этим не согласен, и не потому, что знаменитый ученый принял весьма мало ему известного русского писателя так, как в нашем отечестве — говорю это смело — не принял бы его первый попавшийся журналист средней руки или чиновник, даже и не считающий себя особой. Я не нашел и никакой сладости в том, что и как говорил Ренан. У меня не было ни малейшего намерения «интервьюировать» его, но разговор, затянувшийся на добрый час, коснулся целого ряда литературных идей и задач. Не хочу восстановлять его от себя. А тогда я не записал этого разговора, в чем и прошу извинения у читателя. Необычайно благородный и мягкий тон не мешал нисколько Ренану высказываться по каждому вопросу совершенно ясно, в полном соответствии с тем, что он считал правдой и красотой, чего желал для своей родины, над чем работал весь свой век.

И вот эта-то *работа*, громадная, на две трети сухая по своим материалам, но облекаемая им в обаятельную форму, как бы сквозила чрез все поры его головы. Он, как всякий француз, очень охотно сообщил мне и о тех трудах, которые были у него, по французскому выражению, «на верфи» — sur le chantier. Он желал жить подольше, чтобы довести до конца прежде всего свою «Историю израильского народа». И, кажется, он довел ее до самого конца. Для каждого из нас, русских, пример такой душевной молодости в старом и тогда уже ожирелом теле — вдвойне драгоценен. Предо мной сидел специалист с европейской репутацией, сверстник и соперник немецких ученых, и не стыдился говорить о своих чисто литературных опытах с таким содержанием, как тогда уже напечатанная «Abbesse de Jouarre». И зачем стал бы он совеститься даже и такой разговорной драмы, написанной на тему о всемогущей власти страстной любви? Если он стариком мог одушевиться таким сюжетом, тем лучше для него.

Будь я духовидец, знай я вперед, что в текущем

году Ренана уже не станет, я бы нарочно навестил его в прошлом мае, чтобы сообщить отрывок из моего, также продолжительного, разговора с Элеонорой Дузе здесь, в Москве, в начале января. Говоря о своих попытках освежить итальянский репертуар, она рассказала мне, как, заехав в Болонью, увидала в витрине книжного магазина экземпляр этой самой «Жуарской игуменьи», купила книжку, прочитала ее в один присест и воспылала желанием играть заглавную роль. На другой день под теми же аркадами встретила она своего друга, известного писателя Панкацци, и призналась ему. Он так восхитился ее мыслию, что они тут же на улице расцеловались...

Великий писатель Франции, сошедший на днях в могилу, не хотел и на старости отказывать себе ни в каких духовных наслаждениях. Скажем ему за это сердечное спасибо. Простим ему и то умственное эпикурейство, о котором любили в последнее время распространяться не одни его враги, но и почитатели. Он не был аскетом, отзывался на приманки популярности и сочувствия, желал сохранить бодрость и жизненную радость; может быть, и злоупотреблял таким символом веры. В Париже большая известность не обходится без постоянных приглашений и ухаживаний в светской сфере. Ренан охотно попадал в столовые и гостиные, где его ублажали. Один русский вивёр передавал мне якобы подлинную фразу Ренана, с которым он был приглашен на обед к одной светлейшей княгине. В курильной комнате, за кофеем и ликерами, Ренан, рассевшись на турецком диване, сладко вздохнул и сказал:

— C'est égal! Il est doux de vivre à une epoque de décadence! [1]

Незадолго до смерти он начал испытывать и горечь популярности. Молодые писатели, из тех, у которых при таланте и вкусе гораздо больше эпикурейского скептицизма, чем у Ренана, стали в печати подшучивать над его душевным самодовольством и неуместным будто бы жизнерадостным оптимизмом. Всего чувствительнее покалывал его критик-драматург Жюль Леметр, забывая то, что он сам по своему умственному складу может считаться прямым потомком Ренана.

---

[1] Все равно! Сладко жить в эпоху декаданса! *(франц.)*

Как раз за несколько дней до посещения директора Collège de France я был у Жюля Леметра. Он заинтересовал меня к тому времени тонкостью своего критического чутья. Но в этом недавнем еще учителе гимназии, выскочившем в парижские модные писатели, я нашел настоящего умственного сластолюбца, у которого, несмотря на большие критические и литературные способности, нет твердых научно-философских принципов. И не таким эклектикам «себе на уме» уличать Ренанов в умственном жуирстве и недостатке прямоты. Жизнерадостный скептик не стал, добившись известности, разменивать себя, как они, на красивую и мягко-ехидную газетную болтовню, а неустанно работал над многолетними трудами, согретыми преданностью своему делу и высотой задачи. Каждому из тех, кто подхихикивал над Ренаном, можно пожелать сначала сделаться таким писателем, которых Франция хоронит под сводами Пантеона.

24-го сентября 1892 года.
Москва.

ТВОРЕЦ «ОБЛОМОВА»

(Из личных воспоминаний)

I

Время летит. Не успеете вы оглянуться, и живые люди уже перешли в царство теней. Летит оно в последние годы с такой же предательской быстротой, как для тех, кто должен высиживать месяцы и годы в одной комнате; а с ним стушевывается в памяти множество фактов, штрихов, красок, из которых можно создать нечто, или — по меньшей мере — восстановить.

Давно ли умер И. А. Гончаров? * Настолько давно, что в нашей печати могло бы появиться немало воспоминаний о нем. Их что-то не видно. Не потому ли, что покойный незадолго до смерти так тревожно отнесся к возможности злоупотребить его памятью печатанием его писем? Этот запрет тяготеет над всеми, у кого в руках есть такие письменные документы. Недавно сделано было даже заявление одним писателем: как разрешить этот вопрос совести и следует ли буквально исполнять запрет покойного романиста?

Здесь мы не станем поднимать вопроса — принципиально, разбирать, составляют ли письма собственность того, кто их писал, или того, кому они адресованы. На Западе, в особенности во Франции, частные люди, даже совсем неизвестные, гораздо щекотливее по этой части. Но с развитием репортерства и рекламы наступило царство всякого рода нескромностей. Не помню, однако же,

чтобы кто-нибудь из известных писателей, ученых или политических деятелей на Западе, сходя в могилу, наложил такой точно запрет, и у нас это, сколько мне кажется, первый случай.

Как ни почтенно желание каждого, у кого имеются письма первоклассного писателя, исполнить его предсмертную волю, но не пожалеть об этом трудно. Правда, опыт последних годов показал, что печатать без выбора все, что сохранилось из переписки хотя бы самого знаменитого человека, значит оказывать медвежью услугу его памяти *. Однако сколько же писем нельзя не считать драгоценными не только для знакомства с натурой и судьбой писателя, но и для фактического изучения его эпохи? В самое последнее время стали появляться целые серии писем передовых русских людей 30-х и 40-х годов. Есть, например, заграничный сборник (который мог бы появиться и в России) писем двух крупных личностей: * одного романиста, другого ученого и общественного деятеля, к их другу, умершему за границей, с которым оба они должны были разойтись по некоторым, тогда жгучим, вопросам и принципам. И если б тот и другой воззвали к своим современникам с таким же запретом, как Гончаров, — драгоценнейший эпизод из истории нашего общества был бы потерян для потомства.

Но воспоминания — дело личное. Это собственность каждого из нас, самая коренная и неоспоримая. И было бы чрезвычайно приятно видеть поскорее в печати все то, что об авторе «Обломова» знали и слышали его современники фактического, свободного от всякой ненужной примеси.

II

До 1870 года я не был знаком с Иваном Александровичем; кажется, даже не видал его нигде: в обществе, в театре, на заседании или на каком-нибудь публичном чтении.

Первые пять лет 60-х годов я провел большею частью в Петербурге, принадлежал уже литературе, даже профессионально издавал большой журнал в течение двух с лишком лет, посещал всякие сферы и слои общества и все-таки не встретился с Гончаровым. Не помню, обращался ли я к нему письменно с просьбою о сотрудниче-

стве. Скорей не обращался; вероятно потому, что тогда сложилось уже мнение о том, как он медленно и редко пишет, так что бесполезно к нему и обращаться. А последние пять лет того же десятилетия я провел за границей с одним только приездом в Москву, где прожил с лета до зимы 1866 года.

К маю 1870 года перебрался я из Вены в Берлин перед войной, о которой тогда никто еще не думал ни во Франции, ни в Германии. Между прочим, я состоял корреспондентом тогдашних «Петербургских ведомостей», и их редактор, покойный В. Ф. Корш, проезжал в то время Берлином. Там же нашел я моего товарища по Дерптскому университету, тоже уже покойного, Владимира Бакста — личность очень распространенную тогда в русских кружках за границей; с ним я еще студентом, в Дерпте, переводил учебник Дондерса *.

В Hôtel de Rome, где я обедал за табльдотом [1], нашел я целое русское общество: племянника В. Ф. Корша и его двух молодых приятелей, слушателей Берлинского университета: сына одного знаменитого хирурга и брата второй жены этого хирурга. Душой кружка был Бакст, прекрасно знакомый с Берлином и отличавшийся необыкновенной способностью пленять русских высокопоставленных лиц. Его приятели называли это «укрощением генералов».

Это молодое общество прозвало само себя «бандой» и проводило время всегда вместе, устраивало у себя русские чаепития; по вечерам и даже по ночам посещали всякие характерные места Берлина.

Вот эту «банду» и полюбил И. А. Гончаров, проживавший также в Берлине как раз в то время. Он, вероятно, отправлялся на какие-нибудь воды или на морские купанья, но не торопился туда ехать. Берлин ему нравился, и он проводил время, с обеда, почти исключительно в обществе «банды», к которой и я должен был пристать. Но наша встреча произошла не в Hôtel de Rome за табльдотом, а на улице Под липами, когда члены «банды» отправлялись с ним на прогулку в Тиргартен.

Обед в Hôtel de Rome считался самым лучшим, и наши веселые ребята постоянно звали Гончарова обе-

---

[1] за общим столом (от *франц.* table d'hôte),

дать с ними. Он жил Под липами, в существующем до сих пор Britisch Hôtel.

— Иван Александрович, — повторяли они ему, — ведь вы сами говорите, что еда у вас не первый сорт; так зачем же вы там обедаете? Да лучше бы вам и совсем переехать в «Рим», где цены такие же, а комнаты и стол и сравнить нельзя?

— Вы правы, друзья мои, — кротко отвечал им каждый раз Гончаров, — но, видите ли, как же я тогда буду проходить мимо Britisch Hôtel'я. Хозяин может стоять на крыльце, увидать меня. Я не могу этого сделать. Как хотите!

Этот штрих был и тогда уже чрезвычайно характерен для автора «Обломова». Для него стоило великих усилий решиться на что-нибудь такое, что может поставить его в неловкое положение. Про эту преобладающую черту его натуры и воспитания мне много рассказывал автор «Тарантаса», граф В. А. Соллогуб, еще в последние годы моего учения в Дерпте. Он хорошо знал Гончарова с самых первых его шагов как писателя, и у него было несколько забавных рассказов: как Иван Александрович тревожно охранял свою неприкосновенность, боясь пуще огня как-нибудь себя не скомпрометировать. Но мы и тогда, студентами, не очень доверяли автору «Тарантаса», его рассказам и анекдотам, обличавшим почти всегда слабость к красному словцу.

На тротуаре вблизи Britisch Hôtel'я и познакомили меня с Гончаровым. До сих пор помню, с какой интонацией он повторил мою фамилию и своим мягким, приятным тоном прибавил вопросительно:

— Писатель?

И пошли мы всей «бандой» к Бранденбургским воротам, а оттуда в парк. Разговор сейчас же зашел именно о Тиргартене. Гончаров восхищался этим удобством: иметь под боком, в центре города, такую обширную и прекрасную прогулку. Дорогой было удобно оглядеть его.

Он показался мне очень похожим на тогдашние его портреты и смотрел моложе своих лет. Ему было уже под шестьдесят, так как он родился в 1812 году. Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся до глубокой старости; седины очень мало, умеренная полнота, чисто плотно и старательно одетый, по тону и манерам не

похожий ни на чиновника, чем он долго был, ни на артиста, ни на помещика, а скорее на типичного петербургского жителя, вроде образованного и воспитанного представителя какой-нибудь фирмы или человека, имеющего почетное звание в каком-нибудь благотворительном обществе.

Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни, облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных; но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем своей беседы.

Через несколько дней на вечернем чае все той же «банды» он очень долго рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исключительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.

Нежелание *первому* задевать вопросы литературы и общественной жизни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного *личного* оттенка, за исключением щекотливых пунктов, которые рискованно было задевать с ним.

III

В Петербурге в половине 70-х годов мне привелось провести вечер с Гончаровым в одном редакторском доме *. Хозяин и хозяйка хотели воспользоваться посещением такого видного гостя, и в обширной гостиной, где собрано было много дам, произошло повальное представление литературной знаменитости всех присутствующих. Тут еще яснее можно было распознать одну из основных черт натуры и душевного склада Гончарова. Его должно было очень коробить оттого, что хозяева заставили его играть роль крупнейшего литературного сановника. Довольно сильное сознание своего писательского «я» было у него соединено не только с боязнью

всякой неловкости, всякого щекотливого положения, но и с застенчивостью, какую до смерти в большом обществе имел и Тургенев. Помню очень хорошо, что Гончаров на этом же вечере воспользовался первой же возможностью, чтобы уйти в залу, где начались танцы, и стать там в сторонке.

Прошли целые пять лет с нашей встречи в Берлине, и мы разговорились. Он немного постарел за это время, но был еще очень бодр и представителен, с той же свободной, красивой речью. Свою писательскую карьеру он начинал уже считать поконченною, изредка появляясь в печати с вещами вроде его статьи «Миллион терзаний», где его ум, художнический вкус и благородство помыслов вылились в такой привлекательной форме.

У меня никогда не было привычки, встречаясь с писателем, от которого ждут всегда нового и крупного, спрашивать: чем он «подарит» публику? И я знал уже, что Гончаров не любил таких вопросов. После «Обрыва», напечатанного в конце 60-х годов, он вправе был огорчаться тем, что в тогдашней критике произведения его не оценили как следует *. Непонимание и выходки рецензентов очень часто заслоняют от самого писателя тот прием, какой оказывает ему масса публики. Так было в значительной степени и с «Обрывом». На роман накинулась вся тогдашняя грамотная Россия. Известно было, что печатание его в «Вестнике Европы» привлекло особенный интерес и к самому журналу.

Этот роман и в особенности лицо Марка Волохова для будущего биографа-психолога — поворотный пункт в душевном настроении Гончарова. В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор «Обрыва» заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова *, так как его собственный нигилист был им задуман давно, раньше появления «Отцов и детей». И в начале 70-х годов эта идея особенно сильно бродила в его душе. Ближайшие его знакомые в разное время передавали мне подробности о взрывах этого живучего подозрения, которое питалось, вероятно, всем складом жизни Гончарова, жизни старого холостяка, привыкшего перебирать в себе на всевозможные лады малейшую подробность в своих человеческих и писательских испытаниях и впечатлениях. Поэтому собеседник, знавший

про такой болезненный пункт его души, должен был всегда держаться настороже и лучше совсем не упоминать о некоторых именах и книгах. Я слышал от тех же лиц, что, к половине 70-х годов писательская подозрительность все в том же направлении дошла до того, что Гончаров видел во многом, выходившем тогда из-под пера парижских натуралистов, приятелей Тургенева, подкопы под него; находил у них даже свои сюжеты и замыслы лиц.

Я вполне уверен, что те, от кого мне пришлось не раз узнавать про это, передавали фактически верно все слышанное ими в разговорах с автором «Обрыва»; но мне лично не привелось ни в Берлине в 1870 году, ни в Петербурге пять лет спустя, ясно и отчетливо схватить проявления такого характерного писательского аффекта.

Вот хоть бы на том вечере, который остался у меня довольно отчетливо в памяти, мы разговаривали долго, задевали, сколько помню, и литературные темы; но мой собеседник говорил обо всем сдержанно, изящно, без всякого неприятного, болезненно-нервного оттенка, какой, например, сейчас же сказался бы у Достоевского.

Хотя Гончаров не любил ничем щеголять в разговоре — ни остроумием, ни глубокомыслием, ни блестящей образованностью, но когда он был в духе, его беседа стояла совершенно на уровне такого писателя, каким он считался. Несмотря на щепетильность и осторожность его натуры, он цельно, искренно и своеобразно высказывался обо всем, что составляло его человеческое и писательское profession de foi[1]. Ни малейшей уступки красному словцу, превосходный, как художник сказал бы, *сочный* тон в рассказе, в описании, в диалектике, с тем оттенком приятного резонерства, какой проник и в лучшие его произведения.

Лично я не могу сказать, чтобы и в эти встречи, и впоследствии, когда мы видались очень часто, он вызывал на более задушевный разговор, интересовался бы, над чем вы работаете в данную минуту. Вероятно, это происходило прежде всего от сильно развитого чувства такта и осторожности, мешающей в какой бы то ни было форме касаться личных дел, мыслей, интересов своего собеседника. Зато с этим литературным сановни-

[1] мировоззрение *(франц.)*.

ком всякому, самому молодому литератору — повторяю опять: когда он был в духе — говорилось легко. Вы не слышали ни покровительственного тона, ни генеральских советов; вы не чувствовали и большого расстояния между собой и этим знаменитым представителем старого поколения. Вы стояли с ним на одной и той же почве — на почве общечеловеческой и культурной любви к образованию, науке и нравственным идеалам. Вы вперед видели, что если бы к этой знаменитости, знающей себе цену, обратились вы в разговоре или в письме *как писатель,* он ответил бы вам, как равный равному, говорил бы или написал бы письмо содержательно и приятно, без сладости и без рисовки.

Гончаров, и часто встречаясь с вами, писателем моложе его и скромнее по своему положению, не имел привычки привлекать вас тем, что интересуется вашей последней «вещью»; но в его тоне вы распознавали достаточное литературное знакомство с вами, как бы не требующее никаких особенных заигрываний.

Меня всегда интересовал вопрос: как крупный писатель-художник *работает,* как ему дается то, что называется *письмом, пошибом.* Автор «Обломова» давно уже, с самого появления этого романа, считался *сам* Обломовым. Про него все *уверенно* говорили как про человека, чрезвычайно ленивого и, главное, кропотливого. Это поддерживалось тем, что он выпускал свои произведения в такие пространные промежутки; не сделал себе привычки писать постоянно и сейчас же печатать написанное.

Ленивой никак нельзя было назвать его натуру. Осторожной, склонной к мнительности и постоянному передумыванию известной темы — да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. Голова постоянно работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привычках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышечном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный ходок и уже за семьдесят лет с постоянным катаром и одышкой, если только был на ногах, ходил пешком обедать с одного конца Петербурга на другой, с Моховой на Мойку. И психически он склонен был к душевному возбуждению, что беспрестанно сказывалось в его разговоре. Человеку, даже мало знавшему его, легко было предположить, что в писательской работе он

бряд ли вел себя как апатический фламандец, как истый сын Обломовки.

В преклонных летах обратился он к русскому читателю с своей исповедью «Лучше поздно, чем никогда», где и рассказал историю развития своего творчества. Такие документы чрезвычайно драгоценны, и ими недостаточно пользуется критика. Но в этой вещи Гончаров не входил в подробности, которые ему казались бы в печати недостаточно скромными и интересными для читателя. И задолго до появления его статьи, написанной уже за немного лет до кончины, мне привелось услыхать от него одну весьма ценную подробность о том, *как* писался «Обрыв». Это было, кажется, еще во время прогулок наших по Берлину.

Последнюю часть «Обрыва», задуманного им так давно, он писал за границей, на водах и, если хорошо помню, — в Париже.

— Целыми днями писал я, — рассказывал он, — с утра до вечера, без всяких, даже маленьких, остановок, точно меня что несло. Случалось исписывать целый печатный лист в день, *и больше,* и так быстро, что у меня делалась боль в пальцах правой руки, и я из-за нее только останавливал работу.

Припомните, что это было во второй половине 60-х годов. Так мог работать человек за 50 лет, в душной комнате отеля. Подобная порывистая и энергическая работа немыслима для *пассивной* натуры, и она же показывает, что в деле стиля, пошиба можно достичь мастерства, яркости и красоты формы совсем не одним только корпеньем над выбором существительных и прилагательных, каким страдал Флобер. В «Обрыве» общий замысел и отдельные лица подвергались критике; но язык почти везде так же хорош и колоритен, как и на лучших страницах «Обломова».

IV

Время подползло к 80-му году. После лечения на немецких водах приехал я в первый раз на наше Балтийское взморье в Дуббельн, около Риги. Тогда это купальное местечко только что завело у себя благоустроенный акционерный кургауз, и купальщики Петербурга, Москвы и провинций потянулись туда.

Поселившись в акционерном доме, я сразу очутился среди знакомых русских. Там проводил лето на маленькой дачке около самого кургауза и Гончаров. Это был, кажется, не первый его приезд на Балтийское побережье, которое он очень полюбил, и с тех пор часто езжал, настолько часто, что теперь улица, ведущая от акционерного дома по направлению к следующему местечку, Майоренгоф, названа Гончаровской. Вместе с одним общим добрым знакомым мы составили маленький кружок и обедали на террасе кургауза, по вечерам ходили по *Штранду* (как там называют прибрежье) и вели продолжительные разговоры.

Тогда Гончарову было уже 68 лет; но он совсем не смотрел дряхлым старцем: волосы далеко еще не поседели, хотя лоб и обнажился, в лице сохранялась еще некоторая свежесть, в фигуре не было еще старческой полноты; ходил он очень бойко, все тем же крупным энергическим шагом, держался прямо. Только голос стал слабее, и тогда уже начал он жаловаться на катаральное состояние дыхательных путей; жаловался и на болезнь глаза, которая в скором времени обострилась, причиняла ему впоследствии сильнейшие боли и кончилась потерею зрения в этом больном глазе. Болезнь эта была внутренняя, болезнь зрительного нерва и сетчатки.

Все это пришло позднее, а тогда он был еще довольно смелым купальщиком и беседа его отличалась живостью и разнообразием. Большой возраст сказывался иногда во внезапных вспышках раздражения, хотя каждый из его собеседников старался о том, чтобы не произносить при нем некоторых имен и не заводить речи на известные темы, которые могли сделаться щекотливыми.

Вообще, Гончаров держался и тогда широкого и благожелательного отношения к нашей беллетристике и к молодым писателям. Личных нападок он избегал, не позволял себе и в то время того, что мы называем литературным генеральством. В нем каждый молодой его собрат мог видеть необычайно цельное мировоззрение художника, который никогда, однако же, не оставался равнодушным к высшим запросам морали и человечности. Этот писатель с полным правом мог с своей авторской исповедью «Лучше поздно, чем никогда» позволить себе возглас о бесплодии словопрений, вращающихся около формулы *искусство для искусства*. Бездуш-

ным эстетиком, конечно, он никогда не бывал, но в нем жил *пушкинист* чистой воды, испытавший в ранней молодости обаяние нашего великого поэта, доходившее в людях его поколения до настоящего культа.

Если сравнить его беседу с тем, что давал в разговоре прямой его соперник Тургенев, то получится значительная разница. Тургенев любил искусство не менее, чем Гончаров, и его коробила тенденциозность нашей критики, тот загон, в котором вообще находились тогда художественные запросы; но разговор Тургенева носил часто слишком анекдотический характер; в нем было больше ума, остроумия и очистительной критики, направленной на людей, чем цельности чувства, проникающего крупного художника, высокой преданности своему делу. За последние 10—12 лет своей жизни Тургенев говорил о собственной писательской работе изредка, как бы нехотя, постоянно оговариваясь, что он пишет мало и редко и смотрит на то, что пишет, как на вещи, к которым совсем не следует относиться с такими требованиями, какие раздавались тогда. Почти всегда, даже в более задушевной беседе, у него был тон усталого и скептического знатока литературы, желающего оградить свои ощущения от ненужной тревоги. Конечно, в нем могла сказываться и горечь непонимания, оставшаяся от травли, какую критика устроила когда-то роману «Отцы и дети» *, но ведь и Гончаров тоже был вправе считать себя обиженным всем тем, что было в отзывах об «Обрыве» резкого, а иногда и прямо враждебного.

И несмотря на это, в Гончарове до последних лет его жизни сидело очень цельное чувство писателя-художника. Он смотрел на себя уже как на ветерана, не решался задумывать и выполнять большие произведения; но как только заходила речь на какую-нибудь общую художественно-литературную тему, он высказывался всегда в тоне искренней преданности задачам творческой литературы. Тогда в нем слышался не петербуржец-холостяк с душевными странностями, не отставной крупный чиновник, не литературная знаменитость, знающая только свое генеральское *«я»,* а писатель, долгие годы воспитывавший в себе любовное и почтительное отношение к изящной литературе, ее задачам и идеалам.

Такой Гончаров мог быть очень приятен в беседе и семидесятилетним стариком. Слушая его в то первое

лето, которое мы проводили вместе в Дуббельне, я частенько забывал совсем о главном щекотливом пункте, которого рискованно было касаться, то есть о Тургеневе. Не помню, случилось ли мне проговориться, — помню только чрезвычайно отчетливо часть нашего разговора, бывшего тотчас после обеда в парке акционерного дома, и где Гончаров сам, говоря о способности писателя к захватыванию в свои произведения больших полос жизни, выразился такой характерной фразой, и притом без малейшего раздражения:

— Возьмите вы, например, Тургенева. Он вам представит ряд прелестных картинок. Перед вами будет сад, полный цветов и красивых растений. *Но большого английского парка он вам не разобьет!*

Это было сказано четыре года спустя после напечатания самого обширного романа Тургенева «Новь». Не знаю, согласятся ли многие с таким определением. В нем, однако ж, не сквозило никакой неприятной ноты.

И в течение всего лета мне не привелось выслушать от Гончарова какую-нибудь диатрибу[1], направленную на своего соперника.

Зато несколько раз бывали за обедом и во время прогулок по берегу моря вспышки раздражения уже с некоторым оттенком старчества — и всегда почти против французского натурализма, романов Золя и его школы. Гончаров не отрицал в них таланта; но и не мог беспристрастно оценить то, что они внесли с собою в дело художественного изображения современной жизни. Тут чувствовалась, быть может, и особенная подкладка, но протест против крайностей натурализма вскипал в нем, вероятно, и помимо всякого личного чувства, как в писателе старых традиций, проникнутом большой целомудренностью художнического чувства. Его возмущало тогда и промышленное направление западной беллетристики, в особенности французской. Попадая на эту зарубку, он легко раздражался.

— Ведь, что горько, — говорил он раз, тоже на берегу моря, — кабы они были бездарности... А то возьмите вы хоть какого-нибудь Габорио. Ведь у него талант есть, но он животное! Раз попал в жилку, привлек публику и пошел валять, без стыда, без совести!

---

[1] речь с нападками личного характера (от греч. *diatribē*).

Все лето 1880 года Гончаров чувствовал себя прекрасно, был чрезвычайно общителен, приглашал нас и к себе завтракать в мезонин той дачки, где он жил. Вернувшись в Петербург, он продолжал свои беседы в нескольких письмах, которые я получил от него в Москве *. Хотя в них не было ничего сколько-нибудь щекотливого для его памяти, а, напротив, много доказательств того, как он симпатично и даровито писал письма более интимного характера, я воздержусь от напечатания их в этом очерке.

Еще два раза встречались мы на том же Балтийском прибрежье, но жили в разных местах и видались гораздо реже. Тогда уже Гончаров стал страдать глазом и припадками болезни легких. Он как-то сразу превратился видом в старца, отпустил седую бороду, стал менее разговорчив, чаще жаловался на свои болезни, жил на Штранде больше для воздуха, чем для купанья. Его холостая доля скрашивалась нежной заботой о чужих детях, которых он воспитал и обеспечил *.

За последнее десятилетие мне привелось навещать его и в Петербурге, в его квартире на Моховой, куда доступ делался все труднее и труднее. Коренные душевные особенности всплывали тогда гораздо яснее в разговоре, и надо было всегда заботиться о том, чтобы не навести его на какую-нибудь щекотливую тему. Старчество людей с громким именем сказывается всего чаще в беспокойном тщеславии, которое заставляет человека беспрестанно говорить о том, чем он прославился. У Гончарова преклонный возраст проявлялся скорее в болезненном ограждении себя как человека и писателя решительно от всего, что могло бы поставить его в какое-нибудь ответственное положение перед публикой и критикой. Но творческий инстинкт не замирал в нем почти до самых последних дней, и уже семидесяти пяти лет он мог еще художественно изображать типы прислуги крепостного времени *.

Последняя наша встреча была все-таки же на берегу моря, по дороге из Дуббельна в Майоренгоф, тихим летним вечером.

1892 год.

«MÉLODIE EN FA»

(Из воспоминаний об А. Г. Рубинштейне)

I

В громадном hall[1] казино во время сезона в Остенде перед обедом бывают короткие концерты, исключительно на органе, размерами с самые большие церковные органы. Я не пропускал ни одного. И публика тут другая, менее банальная, и всегда ее гораздо меньше. И слушает она лучше, не болтает, не шумит.

В программе вижу раз: «Mélodie en fa» Антона Рубинштейна. Я сообразил, что это, должно быть, одна из его любимых «мелодий», какие он играл так часто и у друзей, запросто, и на блистательных концертах, когда публика неистово кричала: «Bis», и нельзя было отделаться от проявлений ее энтузиазма. Так оно и оказалось.

Орган придает всему величавую мощь и торжественность. Рубинштейновская мелодия лилась могучим потоком по громадному вокзалу. Но она меня так не трогала, как когда-то... не только в исполнении самого гениального пианиста, но и в хорошей игре тех, кто его слыхал. И вместе с тем этот романс без слов сейчас же вызывал образ нашего поистине незабвенного виртуоза с великой исполнительской душой, особенно из последних годов его жизни.

---

[1] зале *(англ.)*.

Антон Григорьевич стал плохо видеть. И вот на бешеные клики показывается на эстраде, пробираясь сквозь стену публики, всего больше женщин, дорогая всем фигура «maestro», с седеющей курчавой шевелюрой его бетховенской головы. Он нетвердо, немного волоча ноги, идет к стулу, утомленный, с влажным лбом, раскрасневшимися щеками и растрепанными волосами, в небрежно повязанном белом галстуке и далеко не модном фраке.

Все мгновенно смолкает.

Сильные, более широкие, чем длинные ладони опускаются на клавиши. И польются первые звуки одной из его любимых мелодий с тем, только ему одному доступным, проникновением в душу слушателей. Некоторые из самых восторженных поклонников А. Г. называли его руки «лапами». Он сам говорил про себя, что у него слишком толсты и недостаточно длинны пальцы. Он всегда добродушно признавался, что ему сплошь и рядом случается «смазать» тот или иной пассаж, что у него всегда окажутся мелкие погрешности, особенно когда его подхватывала волна вдохновения и он кидал свои «лапы» с некоторой высоты на клавиатуру, не заботясь о том, как это выйдет.

Какой-то досужий немец вычислял (или предлагал вычислить) то количество нервной и механической силы, какую Рубинштейн мог в течение часа испускать из себя за инструментом. Получилось бы что-то колоссальное, такое, чем можно было бы убить вола. И эта колоссальная нервно-мышечная сила превращалась в нечто дивно мягкое и пленительное, в звуки, которые действительно «тают», по выражению того поэта, который вдохновил его как композитора, как создателя на нашей оперной сцене «Демона».

Мелодия — все равно что благоухание. Мгновенно она будит в вас рой образов. Голова, помимо вашей воли, предается тому, что на ученом языке называется «ассоциацией идей». Любимая мелодия Рубинштейна в несколько минут заставила ваше психическое «я» пережить почти все то, чем оно связано с ним в ваших личных воспоминаниях, — на протяжении не одного года или десятилетия, а полвека, если не больше. Всякое слово — символ. Самый звук «Рубинштейн» — уже целый момент в ваших самых ранних воспоминаниях. Это отзывает вас к детству, а на более точный язык — к

40-м годам уже прошлого, XIX века. Стало быть, больше полвека.

Тогда никто еще не прибавлял «Антон» к имени Рубинштейна. Быстрой и ранней славой окружен был только старший брат. О младшем брате никто еще не говорил даже и тогда, когда Антон Григорьевич был уже всемирно известный виртуоз. Только в Москве в музыкальных кружках знали, что есть второй Рубинштейн, Николай, даровитейший студент и также пианист. Юношей, только что вышедшим из подростков, приезжал Антон к нам в Нижний во время ярмарки. Я был еще слишком мал, и меня в концерты его не возили; но его имя, а вскоре и портрет в каком-то издании, и толки «больших», — все это создало уже нечто легендарное. И потом, в отроческие и в юношеские годы, какого бы виртуоза мне ни привелось слушать, в провинции, в Нижнем и в Казани, — передо мной всплывала голова гениального Wunderkind'a, его интересный худощавый облик с огромной головой и со сложенными на груди руками, и всегда охватывала меня мечта о том, когда я его услышу. А услыхать так и не привелось более десяти лет за все время моих странствий по русским университетам, вплоть до переселения в Петербург в зиму 1860—1861 года, уже в виде писателя, начавшего в печати свою карьеру.

Тогда Антон Григорьевич был уже несравненный, никем не превзойденный, после Листа, виртуоз, который принадлежал Петербургу более, чем какому-либо городу в Европе, несмотря на его всемирную славу и огромные связи с Западом, особенно с музыкальной Германией. Увидать его случилось мне в первый раз не на эстраде концертной залы, а на улице, на Невском. Мне указали его, когда он торопливо спускался с лестницы из одного музыкального магазина. Но я и без того сейчас же бы узнал его по тем портретам, какие видал позднее, в студенческие годы. Он, спускаясь, запахивался в шубу, — род чуйки с меховым воротником, как тогда носили. На голове была меховая шапка. И все это сидело небрежно, без малейшей франтоватости. И запахнулся он, и сел на извозчика с деловым, немного озабоченным видом, с полным отсутствием того «гениальничанья» в позах и выражении лица, какое присуще виртуозам, особенно тем, кто начинал Wunderkind'ом.

Он и тогда уже брил лицо совсем и носил такие же длинные волосы, как и перед смертью, и опять-таки без всякого гениальничанья.

Определить тот вечер, когда я слышал его на эстраде, трудно. Но вряд ли я сразу был охвачен безусловным восторгом. Сколько помню, этому мешала самая обстановка, — толпа, теснота, утомление от всего, что исполнялось раньше. Это не было Klavier-Abend[1] или утро, где вы слушаете только одного пианиста. Вероятно, мне привелось слышать его исполнение одного из фортепьянных «концертов» с оркестром, где самую видную роль играет виртуозность, где всегда больше шума и грома, чем глубины замысла и мелодической прелести. Эта запоздалая форма смешанных пьес слишком долго царит в обиходе музыкальных исполнений. Пора бы ее, хотя полегонечку, сдавать в архив. И в меня не запало то высшее обаяние от игры Рубинштейна, какое пришло позднее. Сила, блеск, мастерство, темперамент — все это больше обжигало, чем пленяло и трогало или уносило ввысь нетленной звуковой красоты.

Случилось так, что я попал сразу в воздух тогдашнего русско-музыкального «кучкизма». Слово еще не было пущено;* но самая вещь уже существовала. И тот русский самородок, который стал группировать около себя «могучую кучку», оказался моим товарищем и земляком. Это был М. А. Балакирев, нижегородец, как и я, учившийся сначала в нашей гимназии одним классом старше, а потом в местном дворянском институте, откуда поступил вольным слушателем в Казань, в один год со мной. И мы целую зиму жили даже на одной квартире. Потом, студентом, я видался с ним проездом в Петербурге, где он уже совсем основался и стал «столпом» русской школы. У него я познакомился с его тогдашним как бы учеником и поклонником Мусоргским. Он же повел меня и к Стасовым, когда я приехал зимой на вакации с моей первой комедией «Фразеры»*, так и оставшейся ненапечатанной и неигранной, — ее запретила тогдашняя цензура Третьего отделения.

В Могучей кучке (к тому времени, когда я переселился в Петербург, то есть к зиме 1860—1861 года)

---

[1] фортепьянный вечер *(нем.)*.

Рубинштейна, конечно, признавали «первым пианистом»; но относились к нему не особенно сочувственно, — кажется, потому, что он стоял от них особняком и не увлекался их «русским» направлением, держался традиций немецкой классической музыки. Кучкизм был, по-своему, похож на то антиакадемическое направление в живописи *, которое стало у нас поднимать голову как раз к тому же времени. Тогда Рафаэль, Микеланджело, Венера Милосская, — все это было «казенщина»; а идеал — русский пейзаж, русский зипун, русский бытовой жанр.

И, в сущности, между музыкальными вкусами тогдашнего Рубинштейна и кучкистов не лежало никакой непроходимой пропасти. И они преклонялись перед Бетховеном и Шуманом, как и он. Но он, вероятно, не носился так, как они, с Берлиозом. Перед Вагнером и у них не было тогда никакого преклонения, так же как и у него. Приезд Вагнера в Петербург и его концерт я хорошо помню. Публика им интересовалась, но умеренно. И вряд ли тогда была хотя какая-нибудь группа вагнеристов. По крайней мере никаких слишком тенденциозных оваций я не видал. Напротив, разных толков и слухов о характере Вагнера, о его генеральских замашках, как дирижера, о его непомерной самовлюбленности, — ходило по городу немало.

Вагнеристом чистой воды был тогда Серов. Но он не примкнул к Кучке, или, лучше сказать, отошел от них. И к Рубинштейну он относился еще резче, чем тогдашние кучкисты, в особенности как к композитору. Для него, как и для кучкистов, Антон Григорьевич был запоздалый классик с немецкой выучкой.

С Серовым я впервые познакомился у Писемского, когда стал постоянным сотрудником «Библиотеки для чтения», на вечере. За ужином он овладел разговором и начал очень ядовито и задорно острить над Рубинштейном, повторяя слово «тапер». Этот пренебрежительный термин «тапер» нашел я перед тем в его музыкальном фельетоне «Библиотеки для чтения» *, и не одному мне было неприятно видеть в таком умном и даровитом человеке подобную резкость, которая так чудовищно противоречила тому, что Рубинштейн представлял собой *как пианист*. Можно было относиться строго к его композициям (да и в них он представлял собой выдаю-

щуюся величину), но как виртуоз он стоял на недосягаемой высоте, по крайней мере среди тогдашних русских пианистов, не исключая и Балакирева.

И тогда уже судьба его была в общих чертах та же: кумир публики как исполнитель и предмет нападок или пренебрежения музыкантов, которые не прощали ему то, что он не восхищался их коньками и не считал их тем, за что они сами себя признавали. Как он на них смотрел впоследствии, через полвека, он высказал с полной искренностью в своей предсмертной книге о музыке *, — книге чрезвычайно ценной для его характеристики.

Толков о нем в городе и тогда ходило множество, — разумеется, чисто анекдотических: или в тоне восторженного поклонения, или с таким привкусом, какой у Серова достигал самых резких нот.

Познакомиться с ним лично мне в тот период, то есть в первую половину 60-х годов, не привелось; а вторую половину этого десятилетия я провел почти сполна за границей до января 1871 года. Но и тогда мне хотелось составить о нем более цельное и объективное представление: что это за человек, какого он общего развития, какого тона и обращения с людьми, — простой или преисполненный славолюбия.

На эстраде он держал себя и тогда с полной непринужденностью, как и впоследствии, шел к роялю небрежно, без всякой приятной усмешки, своеобразно кивая головой, тряся своей шевелюрой, и ударял по клавишам так, как бы он делал у себя в рабочем кабинете, и не во фраке и белом галстуке, а в халате. Все это можно было объяснять двояко: или простотой его натуры и *хорошим* равнодушием к своим успехам виртуоза, или как своего рода рисовку, «генеральство», пренебрежение к публике и ко всему на свете. Одно было несомненно для всякого мало-мальски наблюдательного человека: этот кумир концертной залы не может банально упиваться своими успехами, он целит выше, он вряд ли успокоится на таких лаврах исполнителя. И это нашло себе подтверждение в деле всей его жизни. Высшим его идеалом было творчество, а не роль виртуоза, хотя бы и гениального. И если он как пианист взял, кроме великолепного природного дара, огромной практикой, то

как композитор он до дня смерти был мученик своей «работоспособности», высиживал до восьми, до десяти часов в день за скучнейшей цифирью писания оркестровых партитур. Если немцы в чем отлиняли на нем, то, конечно, в такой трудовой выдержке.

В тех кружках, где его недолюбливали, ходили тогда неблагоприятные толки о его характере и тоне, а главное, о его положении как придворного солиста. Но один из анекдотов, повторявшийся тогда на разные лады, выставляет его как артиста с законным чувством достоинства. Рассказывали, что на одном вечере в Михайловском дворце его попросили аккомпанировать какому-то заезжему французику-куплетисту; Рубинштейн энергически отказался.

II

Во вторую половину 60-х годов в Москве (где я прожил несколько месяцев в сезон 1866—1867 года), раньше чем с Антоном Григорьевичем, познакомился я с его братом Николаем. Тогда только что намечалась консерватория Петербурга, обязанная почину братьев Рубинштейнов. Теперь можно сказать, не боясь вызвать чей-либо протест, что им обоим (Антону, быть может, еще больше, чем Николаю) Россия обязана своей музыкальной *грамотностью* и всем дальнейшим развитием у нас музыкального дела и обучения. Николай Рубинштейн организовал уже в ту зиму вечера в небольшом помещении московского отделения Русского музыкального общества. Если не на самый первый вечер, то, конечно, на один из первых попал и я.

Тогда в Москве жил с семейством гр. В. Л. Соллогуб, автор «Тарантаса», с которым я был давно уже знаком по Дерпту. Помню его на этом вечере и князя В. Ф. Одоевского, уже старца, с белой головой, в синем, старого покроя, фраке. Оба они, особенно Одоевский, были приятно возбуждены этим возникновением первой серьезной школы музыки в России одновременно в обеих столицах.

Несколько позднее я слышал от одного бывшего дерптского же студента, хорошего музыканта и впоследствии выдающегося художника, уже за границей, рассказ, наполовину юмористический, как он попал на

свадьбу Антона Григорьевича в Висбадене, куда приехал играть в рулетку и вообще кутнуть его меньшой брат Николай. Он должен был участвовать в венчании в качестве шафера. Но накануне он провел бурную ночь, и церемония едва не потерпела фиаско из-за этого слишком жизнерадостного шафера.

В бойкой передаче моего знакомого ярко выступали контрасты натуры и нравов обоих братьев: Антон — серьезный, корректный, неспособный на увлечение игрой и кутежом, но неспособный и негодовать на своего любимца, которого он совершенно искренно ставил всегда выше себя по дарованию и как пианиста и как композитора, и Николай — библейский «блудный сын», всюду и в Европе сохранявший свою московскую повадку великого прожигателя жизни, скандализуя не только своего брата, но и всех немцев в отеле, но привлекательный в своей распущенности bon enfant[1], щедрый, если хотите — беспутный, но милый сердцу своих приятелей и приятельниц.

В начале сентября 1868 года я, проезжая из Парижа в Швейцарию на конгресс «Мира и свободы», навестил Тургенева на его вилле в Баден-Бадене, где тогда была еще рулетка, и первый русский, которого я увидал в игорном зале Conversation[2], около рулеточного стола, был Николай Рубинштейн, одетый по-московски, с длинным мундштуком папиросы-пушки.

Тургенев после возвращения моего в Россию в зиму 1870—1871 года был вызван туда по одному делу *, которое производилось у Цепного моста. От него я получил приглашение на сборище в зале отеля «Демут» для особого рода совещания. Идея *шла* от Антона Рубинштейна. Он заручился прекрасным помещением в Михайловском дворце и предложил Тургеневу и его приятелю П. В. Анненкову положить основание литературно-артистического кружка *. На первое собрание (оно так и осталось последним) приглашены были некоторые представители литературы и мира искусства, из драматических артистов — В. В. Самойлов, кто-то из художников; Тургенев и Анненков вместе с Рубинштейном были как бы хозяева вечера. Рубинштейн привез четырех учеников

---

[1] славный малый *(франц.)*.
[2] место сбора посетителей курорта *(франц.)*.

новорожденной консерватории и, обращаясь к нам, несколько раз повторял, называя их русские фамилии:

— Слышите, господа, не Миллер, не Шульц, не Шварц и не Кох, а настоящие русские! И это — первый по счету настоящий русский квартет из учеников русской музыкальной школы.

Кажется, в числе их был Галкин, теперешний дирижер Александринского театра.

На этом вечере я впервые видел как следует вблизи Антона Григорьевича и слышал его голос, тон, манеру говорить. Он говорил громко, твердо, с своеобразной картавостью, хорошим языком. Чисто русскому звуку его дикции мешала несколько эта картавость. Голос был высокий, более тенорового, чем баритонного тембра. Николай был более москвич по дикции, тону и жаргону, но и Антон не имел в себе ничего прямо петербургского, скорее нечто русско-заграничное, почти студенческое.

Были выбраны и делегаты для дальнейших совещаний. Ему так хотелось, чтобы что-нибудь вышло из его идеи такого литературно-артистического кружка. За ужином он говорил после Тургенева. Оратором он никогда не был, так же как и Тургенев, но говорил, как всегда, убежденно, горячо, сильно, с той смесью добродушия и резковатости, какая была у него характерна. Так бы обратился к своим «коммилитонам» бурш на студенческой сходке. И он же под конец вечера угостил всех нас своей игрой.

Помню, он начал с бетховенской увертюры к «Эгмонту». Я стоял, кажется, вместе с Анненковым у самого рояля. И тут я впервые испытал психо-физиологическое воздействие его исполнительского темперамента на близком расстоянии. Удар его по клавишам производил в вас внутреннее сотрясение и не одной механической силой, а особого рода вибрацией. Вы начинали не слушать только его игру, а чувствовать ее всем вашим существом. Никогда потом и нигде я не испытывал такого чудесного слияния физиологических ощущений с сферой чисто душевной, с обаянием звуковой красоты. Может быть, под самый конец он сыграл и свою «Mélodie en fa». Знаю, что он играл и свои вещи.

Тургенева и Анненкова я никогда не видал в таком эстетическом возбуждении. Тургенев посматривал на

всех с блаженной улыбкой на губах, а Анненков, щуря глаза, тихо восклицал:

— А? Какова сила! Каков блеск! И души, души сколько!

В такой обстановке мне уже не приходилось больше слышать Антона Григорьевича, хотя слыхал я потом его игру десятки лет, вплоть до его предпоследней зимы.

Как я уже сказал, идея кружка, несмотря на обаяние имен Тургенева и Рубинштейна, канула в воду. Даже для предварительных собраний явились затруднения. Рубинштейн с юмором рассказывал нам, как его принял тогдашний градоначальник, который чуть не спросил его: «Кто вы такой?» И в писательском мире идея такого кружка пришлась некоторым не по вкусу. Находили, что такие места нельзя принимать в дар. Особенно сильно протестовал М. Е. Салтыков, встретив меня вскоре на одном благотворительном вечере, где я читал заключительную главу из «Солидных добродетелей». Я помню, в каких выражениях он честил и Рубинштейна, но воздержусь от приведения их в тексте. Это было дело подозрительного темперамента нашего знаменитого сатирика.

На ту трехлетнюю полосу, с 1872 по 1875 год, которая опять из-за болезни протянулась для меня за границей, приходятся два воспоминания о Рубинштейне: одно — общее, другое — более личное.

Жил я во Флоренции зимой 1873 года. На главной улице Tornabuoni в витрине музыкального магазина выставляют вдруг портрет Антона Григорьевича в натуральную величину и с такой же громадной афишей в другом окне. Случилось так в артистической одиссее великого виртуоза, что он до 70-х годов не концертировал в итальянских городах. По крайней мере Флоренция, хотя и довольно музыкальный город, никогда его не слыхала. Дал он, сколько помню, два концерта. После первого газеты, разумеется, поместили похвальные отзывы; но еще не чувствовалось настоящего «подъема» в этих беглых оценках, а скорее какое-то колебание, как будто рецензенты не могли *сами* найти настоящего *тона*. И вот, после второго концерта в лучшей тогдашней газете «Nazione» (она и до сих пор издается во Флоренции) появляется фельетон в виде переписки двух приятельниц. И одна из них описывает своей подруге все,

что она испытала от игры Рубинштейна. Автор сделал эту барыню, или барышню — уж не помню! — музыкантшей, прошедшей серьезную школу, с определенными вкусами, традициями, оценками. Разумеется, под всем этим багажом сидел сам автор фельетона, музыкальный критик, передававший через нее о том, что произошло с ним самим.

«Скажу тебе, милая, — воскликнула музыкальная флорентинка, — что Рубинштейн перевернул вверх дном все, что мы с тобой считали до сих пор образцовым по части исполнения самых высоких произведений. Он нас всех раздавил». Если не так стояло в тексте буквально, то смысл был именно такой. Для музыкальных флорентинцев, а стало, и для итальянцев в других больших городах, это была в своем роде дорога в Дамаск, откровение свыше, такая ступень виртуозной гениальности, о какой они не мечтали.

А в эти годы как раз у Антона Григорьевича возникли нелады по Русскому музыкальному обществу *. Он не нашел возможным оставаться во главе консерватории — своего кровного детища. Тогда он удалился в Вену, где дирижировал в концертах тамошнего общества «Друзей музыки». Тогда же, если не ошибаюсь, стал он работать как оперный композитор на западные сцены. В связи с постановкой на сцене парижской оперы его «Нерона» находилась его поездка в Париж, через Вену, в 1875 году. Я тогда жил в Вене уже около года и чрез моего петербургского собрата П. И. Вейнберга узнал о проезде Рубинштейна. Вейнберг приходился с ним в свойстве через брак его родной сестры. И сестра Рубинштейна, и племянница случились также в Вене. Мы возобновили знакомство с А. Г. Он жил на Kärthnerstrasse в отеле «Эрцгерцог Карл». Пригласил он нас — меня с женой моей — отобедать в его интимном кружке.

Перед обедом он ждал несколько визитов из музыкального мира, и тут в его тоне сказался русский юмор, когда он нас предупреждал об этих визитах.

— Это все *немцы́*, — выговорил он с ударением на «ы». — Надо их принять. Народ не особенно занимательный... Слишком профессиональный.

«Немцы», — все какие-то заслуженные «музикусы», — являлись на поклон и неизменно взапуски назы-

вали его «Herr Director», что для нас было довольно смешновато. Но они иначе не могли его звать: ведь он был еще недавно и директор Петербургской консерватории, и директор концертов «Друзей музыки» в Вене.

Владел он этим языком очень бойко, как человек, долго живший среди немцев; но все-таки *звук* его речи был свой, особенный, не похожий ни на говор заграничных немцев, ни на то произношение, какому нас учат наши остзейские немцы. Все-таки в нем чувствовался гораздо больше русский. Тон его разговора отзывался Россией, а не Веной и не Берлином. Иначе он бы и не называл их «немцы́».

За обедом он особенно оживился. Вышел у нас горячий литературный разговор, даже спор, в котором приняли участие мы с П. И. Вейнбергом. В нем он высказал себя, так сказать, «Naturkind'ом»[1], — защищал свои личные вкусы и взгляды или держался того, что, на иной взгляд, считается уже слишком безусловным, неподвижным. И в этих своих принципах и оценках он был больше человек германской умственной культуры, чем нашей, особенно новейшей русской. Но отрадно было слушать его вибрирующий молодой голос, видеть его обаятельную искренность. Даже неловкости его фразеологии, с которыми он справлялся по-своему, — все было как-то достолюбезно и подмывало к молодым, горячим прениям.

Мы с ним прошли на graben, и он мне говорил с такой же простотой и живостью о цели своей поездки в Париж, куда его вызвали для совместной работы с его либреттистом Жюлем Барбье, составлявшим для него текст «Нерона». Предстояло немало возни и переделок, урезываний. И в этом он оставался таким же «буршем», как и во всяких житейских делах. Он завел меня по дороге в меняльную контору. И стоило видеть, как он обращается с деньгами, чтобы распознать в нем щедрую натуру человека, для которого деньги — неинтересная подробность, только необходимая «подтопка» жизни, без которой нельзя предаваться творческой работе, уноситься воображением и чувством в высшие сферы музыкальной красоты.

---

[1] сыном природы *(нем.)*.

III

Верности дат я не могу держаться. С половины 70-х годов до той зимы, когда скончался А. Г. *, протянулось слишком двадцать лет, целая четверть века.

В его двойной карьере — виртуоза и композитора — были самые крупные подъемы. Композитор стал поглощать пианиста; но для него многое доставалось с боя. Не все имело такой успех, о каком он мечтал. За границей и композитора стали ценить больше, чем у нас, ставили его оперы, исполняли его большие симфонические произведения в самых музыкальных центрах Германии.

И у себя дома он после нескольких попыток добился громкого успеха с «Демоном», где проявил лучшие стороны своего творчества и мастерства и в лиризме, и в танцах, и в оркестровке. Напиши он только одного «Демона», — он и то оставил бы по себе имя *русского* композитора. «Демон» после опер Глинки стал на сцене кульминационным пунктом по всеобщему признанию в той все разрастающейся толпе, которая и в столице и в провинции делается способной ходить в оперу не из простого любопытства, не из обезьянства моды.

Как всемирно признанный гениальный пианист Рубинштейн в этот же двадцатипятилетний период взял дань восторгов, оваций, сборов и подношений с обеих частей света. Его объезды Европы и Северной Америки были непрерывным рядом триумфов. Никто до него, не исключая Листа и Бюлова, не проявил такой изумительной красоты и силы, глубины понимания, памяти, музыкальной неутомимости, прямо волшебного могущества виртуозного таланта. Его «исторические» концерты было нечто чудодейственное и небывалое в истории фортепьянной игры.

Все это пронеслось, как вихрь, точно затем, чтобы усилить горечь нежданной потери. И накануне внезапной кончины Рубинштейн был способен сесть за рояль и, в течение нескольких часов сряду, без нот, без пропусков и утомления, исполнить всего фортепьянного Бетховена, Шумана, Шопена, Шуберта, Листа. Теперь это уже кажется «легендой» для поколения, которое не могло еще присутствовать на исторических концертах

Рубинштейна. Восходящая гамма триумфов закончилась небывалым в России чествованием простого музыканта в дни последнего юбилея Антона Григорьевича *.

И тут является вопрос: был ли он счастлив, чувствовал ли он себя удовлетворенным и вообще *как* он относился к жизни? Еще до личных бесед с ним, какие мне привелось иметь в последнюю четверть века его жизни, я от его ближайших приятелей и старых его знакомых уже слыхал, что он — «великий пессимист». Кто бы это подумал? Такая завидная доля! С детства — слава, до последних дней — свобода творчества, энергия, позволявшая неустанно работать до глубокой старости, безусловное поклонение громадных масс в обеих частях света, много друзей, материальная обеспеченность, всякие видные отличия, редкое в России возведение в дворянское звание * и крупный чин только за талант, собственное сознание своих заслуг перед Россией, как главного насадителя у нас музыкального образования. А поверх всего то неудержимое обаяние, какое он производил на окружающих.

Чего же еще желать?

А пессимизм давно забрался в его душу, и его отношение к жизни, не к своей только, а всеобщей, было полно горечи. И только такая натура атлета, какою он обладал, делала то, что он стоял всегда «на бреши», работал не покладая рук, писал и писал, мечтал накануне смерти о новых замыслах опер и симфонических вещей. Одно с другим может уживаться. Ведь и Эмиль Золя, колоссальный работник и неизменный проповедник жизни и ее радостей, был, по своей личной психике, скорее пессимист, чем оптимист, даже и в те годы, когда добился всемирной славы, состояния, независимости и почетного существования.

Да, все, что у Рубинштейна выливалось на тему «цены жизни», носило несомненную окраску пессимизма. И в этой горечи виновато, вероятно, не одно природное расположение его психики, а также и то, что он, как русский, должен был испытать на своем веку. Душою он был всегда предан своему отечеству; но и он, несмотря на все свои успехи и отличия, чувствовал, что его все-таки считают инородцем, что вкоренившаяся в наше общество расовая нетерпимость распространяется и на него. Это — не предположение, *а подлин-*

ные его чувства и мысли. Задолго до тех скандальных выходок печати, которые омрачили его юбилейное торжество *, до наускивания за его «жидовское» происхождение он говаривал при мне:

— Вот и подите! Кажется, я люблю Россию и служу ей, как только могу. Я — православный, я — русский дворянин, детей своих воспитываю в России, не желаю никуда переселяться. Но я — не свой. Я это чувствую всегда и во всем!

Он должен был это чувствовать и в отношении к нему русской Кучки, если не потому, что он был родом еврей, то потому, что они, члены ее, не считали его способным писать в *русском* направлении.

Не имел он никаких иллюзий и насчет прекрасного пола, хотя и не мог пожаловаться на холодность и равнодушие женщин. И тут звучала та же нота Экклезиаста: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas!» [1] Ведь недаром же в его жилах текла кровь того племени, из которого вышел и царь Соломон, среди всех наслаждений страсти, пышности и величия изливавший свою «мировую скорбь» в лирических изречениях, полных глубокого разочарования.

Всемирная слава была у него далеко не однородная. Как пианист он стоял на недосягаемой высоте. Но композитор испытал немало горького, и всего сильнее в те годы, когда ему всего страстнее хотелось создать себе имя композитора, а не гениального «тапера», как называл его Серов, к тому времени уже добившийся успеха своею «Юдифью» *.

Но этого еще мало. И как *деятель* Рубинштейн не мог не страдать очень долго, вплоть, быть может, до последних дней жизни. При его пылкой и сосредоточенной натуре ему ничто не проходило даром, все оставляло осадок горечи. Ведь только в последний период его деятельности как руководителя и организатора он не испытывал того гнета, который у нас тяготел так долго над миром искусства. Мне приходилось не раз говорить печатно на тему «свободы театров» в наших столицах. У нас все очень скоро забывается. Теперь эти слова «свобода театров» — пустой звук для молодых генераций; а мы, люди 60-х годов, писатели и артисты,

---

[1] Суета сует и всяческая суета! *(лат.)*

по крайней мере *двадцать лет* изнывали от гнета *привилегии,* которая тяготела тогда над всем театральным бытом в обеих столицах — и над драмой и над оперой. И вот на эту именно тему, помню, в Москве Рубинштейн едва ли не накануне театральной реформы 1882—1883 годов говорил нам:

— Сколько раз я хлопотал о разрешении частных оперных спектаклей... в самых скромных размерах. Ничем нельзя пробить эти твердыни! Пока будет там придворное начальство (всесильная тогда фамилия Адлербергов *), — все пойдет по-старому.

Оживляясь, с выразительным жестом в мою сторону, он воскликнул:

— Поверьте мне!.. Скорее пройдет какая угодно реформа; но сцена будет в Петербурге и Москве в таких же узах привилегии, как и теперь, и до скончания мира!

Он увлекался в своих предсказаниях; но это самое показывает, сколько горечи накопилось у него, — и в каком деле? В таком безобидном и простом, как возможность завести оперный театр, стать в нем директором и дирижером. И кому? Антону Рубинштейну, который к тому времени, то есть к 80-м годам, уже создал консерваторию, побывал в ее директорах, написал не одну оперу и выступал долгие годы как авторитетный дирижер и чужих и своих произведений. Приди театральная реформа двадцатью годами раньше, разве эта нота горечи слышалась бы в таком близком для него деле, как создание частного оперного театра, особенно тогда, когда русская казенная опера управлялась кое-как «чинушами»?

И в Москве же я был свидетелем торжества создателя «Демона» на сотом представлении оперы, на которое приехал Рубинштейн. Но и тут обошлось не без терний. Он как композитор и дирижер не всем был доволен в исполнении, и тут все-таки царила администрация.

За завтраком в отеле «Дрезден» (где стоял Рубинштейн), на котором были музыканты и певцы, разговор пошел о наших русских порядках на казенных оперных сценах. Тут сидел один певец московской оперы. Он стал жаловаться, что им теперь задают слишком много работы на лето — готовить новые партии к сезону. Рубинштейн вскипел и начал стыдить наших певцов за их лень.

— А как же в Германии? — вскричал он. — Каждый певец, если он претендует на первое амплуа, обязан знать по крайней мере до *пятидесяти* партий всех немецких композиторов, в том числе и *всего* Вагнера, французские оперы, включая сюда и репертуар Opéra Comique. Об итальянских и говорить нечего! Вот как там работают — круглый год!

Это было не по вкусу кое-кому из его гостей. Потому-то, быть может, в музыкальных кружках *русского* направления и недолюбливали А. Г., считали его слишком пропитанным немецкими традициями. А он требовал только того, что в дельной Германии составляет conditio sine qua non[1] всякого оперного обихода.

Сам он до последних дней своих был олицетворением трудолюбия, и не холодного, механического, а страстного, трепетного, преследующего идеал совершенства, и как исполнитель и как композитор. Кто, кроме того, показал пример такой вдохновенной и изумительной работы, как он в своих знаменитых исторических концертах? Это была поистине его лебединая песнь.

Чтобы оценить всю почти неестественную мощь его музыкальной памяти и нервной и мышечной энергии, надо было ходить на серии этих концертов не в залу Дворянского собрания, где вас могла развлекать толпа, хлопанье, вызовы, крики, гул разговоров во время пауз. Утренние исполнения в одной из малых зал собрания были гораздо драгоценнее. Их главная публика состояла из учеников и учениц консерватории. Попадали и несколько личных знакомых А. Г. Не допускалось обычное «галденье» наших театральных и концертных зал. Вы сидели в нескольких шагах от рояля. Вся внутренняя работа исполнителя сообщалась вашей душе. Вы испытывали то, что я впервые испытал 20 лет перед тем на том сборище, где Рубинштейн угостил нас своею музыкой.

Помню особенно живо утро, где он сыграл в хронологическом порядке всего фортепьянного Вебера. На что уже заиграно его «Aufforderung zum Tanz»[2], особенно оркестрами, и в Германии и у нас. Мы все привыкли к оркестровому исполнению этой пьесы. Рояль

---

[1] непременное условие *(лат.)*.
[2] «Приглашение к танцу» *(нем.)*.

не мог, казалось бы, дать таких оттенков звука, таких чередований *forte* и *piano*. Под пальцами Рубинштейна все преображалось. То колено, где нотки падают раздельно под аккомпанемент, пленяет вас их ритмическим чередованием. Игра Рубинштейна заставляла играть ваше воображение. Вы точно видели перед собою фигурки в дамских платьях и цветных фраках времен Реставрации. Ни один виртуоз не вызывал во мне таких умственных картин. И какая нежность, грация, живописность в малейших оттенках игры!

Вся публика замирала.

Но вообще — не тем будь помянута — эта юная публика не была достаточно проникнута сознанием того, что совершается перед нею, какое *чудо* музыкальной мнемоники[1] и художественного совершенства являет перед нею *один* пианист. И этот пианист был создателем ее консерватории.

После перерыва, когда Рубинштейн уже занял место перед роялем и начал было играть, в одном углу залы все еще усаживались, двигали стульями, даже болтали. Он поднял голову, обернулся в ту сторону и остановил их, но в очень добродушной форме. Не так бы вскипел Ганс Бюлов, которому случалось обрывать всю публику на своих концертах, если она не хранила гробового молчания. А ведь для них-то А. Г. и подрывал свои силы, два раза исполняя каждый концерт, уже прямо из чисто альтруистического побуждения, из-за своей беззаветной любви к русскому музыкальному делу.

IV

Смерть уже сторожила своего избранника. Зрение его наполовину угасло. Но он все еще появлялся, хотя и редко, перед большой публикой. Одно из таких появлений трогало до слез. К эстраде его уже вели; и он нетвердой поступью приближался к роялю, ни на кого не глядя. В последние годы он заметно постарел в лице, но волосы почти что не седели. Голова хранила еще свою «бетховенскую» маску. Из двух напастей, какие посылает жизнь человеку, — глухоты и слепоты, — пер-

[1] Здесь: искусства запоминания (от *греч.* mnemonica).



А. Г. Рубинштейн
1860-е гг.

вая ужаснее для музыканта. И Бетховен не ушел от нее и должен был творить совершенно глухим. Рубинштейн сохранял слух нетронутым и все-таки видел, хотя и плохо, до внезапной своей кончины.

И вот, на одном из этих как бы прощальных концертов, когда публика, особенно женщины, стала под конец вскакивать на эстраду, охваченная порывом энтузиазма и глубокой жалости к несравненному артисту, она неистово требовала услышать еще что-нибудь любимое и ею и самим музыкантом. Он долго не появлялся, утомленный, совсем почти разбитый, с влажным лицом, но все-таки уступил, сел и заиграл свою вещь. Это была «Mélodie en fa», которая в исполнении органиста несколько лет спустя разбудила во мне ряд переживаний слишком за 30 лет.

Все возраставшая слабость зрения не могла сломить внутренней энергии в этом удивительном организме. Если он стал равнодушен к своим успехам виртуоза, то композитор в нем не хотел сдавать себя в архив. Опера продолжала его привлекать. Он искал сюжетов. Это искание для огромного числа композиторов ставит их в зависимость от случая, от удачи, от таланта и охоты либреттистов. На одного Вагнера или Бойто — 50 музыкантов, которые не могут сами создавать драму, писать стихами и даже прозой, как делают нынче новейшие композиторы, например, автор оперы «Louise»[1]* и других вещей, написанных на прозаический текст.

Никто не в состоянии писать партитуру, не имея текста, на общие темы или на лирические и драматические моменты, не нашедшие себе олицетворения, не воплотившиеся в живые существа. Есть выбор сюжетов, и он такой же обширный, как и драматический репертуар трагедий, драм и комедий. Но сколько ими уже воспользовались на протяжении XIX века? Все романтические драмы перешли на оперные сцены. Театр до сих пор держит оперу в полной зависимости от своих авторов. Вагнер чувствовал это подчиненное положение, он уверил себя, что в нем поэт стоит даже выше музыканта, и стал создавать свои оперные драмы, не нуждаясь в помощи либреттистов. Рубинштейн лишен был литературного дарования. И ему еще труднее было бы писать

[1] «Луиза» *(франц.)*.

стихами или поэтическою прозой по-русски. Он всю свою жизнь искал хороших текстов. В библейских сюжетах он был всегда более дома. Их можно было заказывать и за границей. В самой *театральной* из его опер, «Нероне», либретто состряпано опытным парижским поставщиком в условном французском жанре. И сколько композитор должен был делать уступок своему либреттисту! Но за границей по крайней мере есть всегда писатели, которые набили себе руку на этой специальности: и в Париже, и в Германии, и в Италии.

У нас этот персонал — самый скудный. Два-три человека, — и обчелся. Все, что было подходящего в русской драме, — почти что использовано. Принялись за повествовательную беллетристику. Даровитейшие композиторы, как Чайковский, увлеклись пушкинскими сюжетами, уже совсем не сценическими. Не будь обаятельного таланта у автора партитуры «Евгения Онегина», разве можно представить себе что-либо более неумелое, детски разрывчатое, как текст этой оперы? От полнейшего провала спасают только две-три лирических сцены. Остальное, точно на пари, написано на самый неоперный текст и держится только благодаря прелести музыкального вдохновения. Огромный успех Чайковского, как творца «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», целый ряд опер русской школы не могли не усиливать в Рубинштейне жажду создать что-нибудь такое и на русский сюжет, что удалось бы ему по крайней мере настолько же, как «Демон».

Еще в тот его приезд в Москву, к сотому представлению «Демона», он был преисполнен думами о хорошем сюжете. Он, заведя со мною разговор на эту тему, спросил меня, писал ли я когда-нибудь оперные либретто. Такой работой я никогда не занимался с самых первых шагов моих, как писателя.

— Но вы — не исключительно романист, — возразил мне А. Г. — Вы ставили и ставите пьесы.

— Даже *дебютировал* как драматический писатель, прямо большой бытовой комедией.

— Вот видите!

— Но я не решился бы предложить вам что-нибудь свое. Да если бы вам и понравилось что-нибудь, тут нужно быть версификатору, а я — неисправимый прозаик.

— Это пустяки... А вы подумайте, — продолжал он, оживляясь. — Я бы хотел что-нибудь очень сильное... но историческое, не выдуманное.

— Из нашей истории?

— Да... Но вот беда... Очень уж изъездили некоторые эпохи... Междуцарствие, Иван Грозный, Самозванец... И я когда-то увлекался.

Он, вероятно, намекал на лермонтовский сюжет о купце Калашникове.

— Мечтаешь о чем-нибудь другом... из эпох поближе к нам... например, из XVIII века. Когда-нибудь нам надо с вами поговорить об этом посерьезнее. Может быть, вам что-нибудь придет в голову. Вы постоянно создаете сюжеты. А тут не нужно непременно выдумывать. Прямо взять готовую тему, которая дана историей, и только обработать, скомпоновать.

Об этом мы еще два раза говорили с ним уже в Петербурге.

В тот праздник, который был дан в дни его последней годовщины в зале Кононова, я очутился в одном уголке около А. Г. с целым роем его поклонниц из общества, с ученицами и ближайшими товарищами по консерватории. Его лицо выражало приятную истому от всего испытанного, и тут он, указывая на окружающих его женщин, говорил:

— Без женщин... тяжело было бы жить на свете. От них я никогда ничего, кроме хорошего, не видал. Без них нет и поэзии жизни. А если они вам и насолят, то прямо, открыто, не из-за угла, не так, как мужчины, из одной потребности бросать в вас грязью... накидываться с пеной у рта, только из-за своей злости.

Это было вызвано тою постыдною выходкой, которую, к чести русской прессы, пустила только *одна* газета.

И, как бы перебивая себя, он обратился ко мне:

— А ведь у меня есть одна идея... помните наш разговор... в Москве... насчет оперных сюжетов...

— Простите, Антон Григорьевич... не знаю, могу ли я быть вам полезным.

— А вот увидим... Как-нибудь потолкуем. Я вам на досуге укажу на одну богатую тему.

Едва ли не последняя наша беседа и была на эту именно тему. Рубинштейн в ту зиму жил в Петербурге, временно занимая целое отделение в отеле. Я навестил

его в дообеденное время. Сначала попал в салон, где принимала его супруга. И он там сидел; но немного погодя увел меня в тот нумер, где стоял рояль и где он постоянно работал. И тотчас же, точно продолжая прерванный разговор, он, усадив меня рядом с собою на диван, стал говорить о том замысле, который не покидал его, вероятно, до самой смерти.

— Знаете, о каком сюжете я мечтаю? — необычайно молодо воскликнул он.

— ?

— Ужасная трагедия, разыгравшаяся между отцом и сыном. Отец — Петр, сын — царевич Алексей.

Я подумал, что, может быть, мысль ему запала с того времени, как появилась картина художника Ге. Она мне в ту минуту живо представилась: низковатая комната, отделанная в голландском вкусе. Петр — лицом к зрителю — в энергической позе дожидается ответа от того сына — крамольника, которого сам допрашивает. А подсудимый стоит в какой-то перекошенной позе, отведя лицо вбок от сверкающих глаз страшного судьи — отца, с некрасивыми чертами и туповато-скрытным выражением.

— Сюжет прекрасный, Антон Григорьевич... Но выполним ли он?

— Почему?

— Вряд ли можно будет перенести на сцену самые сильные моменты этой драмы. Петр был обвинителем и судьей, а есть известия, что и самым исполнителем приговора. Вот это и не позволят.

— Ограничимся психическою коллизией. Богатый материал для характеристики лиц и колорита эпохи.

— Не спорю; но в какой степени это отвечает требованиям музыкальной драмы?

— Где сила, страсть, душевная борьба и правда, — там есть и материал для музыкального творчества.

И он стал мне развивать то, как ему представляются главные моменты этой ужасной схватки между новым и старым духом Московии.

— Вот вы бы сами и набросили план.

— Не могу! Для этого нужно иметь особенную голову. Я чувствую возможность найти мелодии, схватить то или иное лирическое или чисто драматическое движение... Или дать колорит оркестру, заставить его слы-

ваться в одно целое с тем, что делается на сцене. Но для всего этого я должен иметь перед собою уже что-нибудь готовое. Надо мне поставить лицо во весь рост... или целую сцену с началом и концом, а то все останется только в общих очертаниях, расползется...

И, тряхнув волосами, он протянул руку.

— Подумайте... войдите воображением в такой богатейший сюжет. Может, у вас что-нибудь и сложится.

— Для этого надо подготовиться.

— Зачем копаться в материалах? Это — сушь. Освежите в памяти то, что вы давно знаете, а остальное доделает фантазия.

— Но беда в том, что я — не стихотворец.

— Этого не нужно! Составьте сначала конспект. Мы бы его обсудили. Право? Большое бы сказал вам спасибо!..

А вскоре он ушел из жизни.

Конец пришел не на смертном одре, а в обычном течении его трудовой жизни. Он чувствовал себя не совсем хорошо; но еще в тот день работал, как всегда; а вечером играл в карты по маленькой, — его всегдашнее вечернее отдохновение... Ночью его не стало...

Прошло всего несколько лет с его кончины, а кажется, все это уже как далеко. У толпы меломанов — другие кумиры: но у настоящих друзей музыки, у тех, кто зазнал игру Рубинштейна в высший расцвет его таланта, память о нем умрет только вместе с ними самими.

И всякий раз, как я слышу «Mélodie en fa» в России, где-нибудь из-за стены соседней квартиры, или за границей, на водах, во время прогулки, при звуках садового оркестра, — сейчас же всплывет передо мною голова львиного, бетховенского типа и раздадутся точно его могучие звуки.

Боишься только, чтобы эта любимая мелодия А. Г. не приелась всем от слишком частого повторения. Она потому так и дорога всем нам, что мы слушали ее в его игре и в минуты высшего энтузиазма всех жаждавших еще и еще слушать... чудного виртуоза.

Ницца, 1904 г.

А. И. ГЕРЦЕН[1]

Публичная беседа, посвященная памяти великого русского публициста и политического деятеля! Как ни печальна наша действительность и в настоящий момент *, но все-таки говорить об А. И. Герцене с публичной трибуны было немыслимо не только десять лет, но и три года, и два года тому назад. Припомните, что еще в половине 90-х годов в периодической прессе нельзя было свободно приводить это имя и что сокращенное собрание его сочинений, сначала было дозволенное, прошло через целый ряд мытарств *.

Если б над нами в настоящую минуту витала тень, дорогая всем нам, она бы нашла некоторое смягчение той горечи, с какой Герцен доживал свой век после того, как его публичная деятельность испытала тяжелый кризис в начале 60-х годов. Жизнь Герцена, его богатая испытаниями и борьбой психика, его значение для всего дальнейшего хода нашего освободительного движения — все это уже достояние истории. И мы поставлены в положение несравненно более благоприятное, чем его ближайшие сверстники и даже люди дальнейших генераций, для того чтобы воздать ему в полной мере не бесстрастную, а объективную, всестороннюю оценку, в которой он до сих пор нуждается.

---

[1] Этот текст моих лекций, прочитанных в Москве и Петербурге (первая в пользу голодающих, вторая в пользу Литературного фонда), заключает в себе несколько сокращенное содержание их. *(Прим. П. Д. Боборыкина.)*

Запрет, какой лежал над именем Герцена вплоть до последних годов прошлого столетия *, сделал то, что русская периодическая печать и книжная литература оказались до такой степени бедными во всем, что относится и к биографии Герцена, и к оценке его чисто литературного таланта, и еще более к истории его политического и социального развития, к тому, что теперь называют обязательным словом «платформа».

Мои слушатели легко поймут, что при всем моем искреннем желании написать портрет А. И. во весь рост, я не могу сделать это в пределах одной беседы, даже если б я и дал ей необычные размеры. Здесь, в Петербурге, в начале января один из моих коллег по академии впервые выступил с характеристикой Герцена * как писателя в более тесном смысле, беллетриста и автора целого ряда блестящих и глубоко прочувствованных очерков, воспоминаний, характеристик той серии переживаний, которым он дал такое удачное общее заглавие: «Былое и думы». Поэтому я могу сосредоточить мою беседу на той продолжительной полосе жизни Герцена, когда он, так сказать, из русского подцензурного писателя *Искандера* превратился в *А. И. Герцена* *. Этот период вбирает в себя почти четверть века, с 1847 года до 1870, года кончины Герцена в Париже на 59-м году жизни. Но я не хотел бы ограничиваться только оценкой его произведений и моментов его общественной борьбы. Нельзя не привести в прямую органическую связь писателя и общественного деятеля с тем бытом и с той эпохой, которые сказались в нем так ярко и сохранились до последних дней его жизни. Это подтвердит каждый, кто, как беседующий с вами в настоящую минуту, имел счастье ближе познакомиться с Герценом в самый последний год его жизни.

Знаменательно уже то, что А. И. родился в 1812 году, в Москве *. Его детство, отрочество и юность, вплоть до «тюрьмы и ссылки», протекли в бытовых рамках старого московского барства. Хотя он и явился на свет как дитя внебрачной связи, но воспитан был как настоящее «барское дитё», с ранним и горьким сознанием особенностей своего происхождения. Ни один русский писатель — ни до Герцена, ни после него, — обладающий литературным дарованием, не оставил нам таких драгоценных документов *из первых рук* обо всем, что

представляет собою настоящую ценность, и бытовую, и психологическую, и общественную, особенно когда дело идет о такой личности, как Герцен. Все воспоминания, исповеди и жизненные итоги, записанные теми писателями (не исключая и таких даровитых, как младший сверстник Герцена Тургенев), нельзя и сравнивать с богатейшей эпопеей, вошедшей в серию «Былое и думы». И обыкновенно мемуары и исповеди писателей (за самыми редкими исключениями) оказываются по художественной их ценности гораздо ниже того, что их авторы писали как романисты, или драматурги, или стихотворцы; а у Герцена этот именно род литературы представляет собою самый крупный его вклад в отдел художественной беллетристики.

Если тут мы не имеем дела с «творчеством» в тесном смысле, то есть с фабулами, лицами, подробностями, умышленно созданными писателем, а только с записями того, что действительно *было*, — все-таки же яркая образность, свежесть колорита, глубина анализа, мастерство в изображении лиц, характеров, подробностей делают из автора «Былого и дум» настоящего художника изящного слова. И если б даже Герцен ограничился только, живя в России и за границей, таким проявлением своего писательского «я», а не приобрел бы имени как крупнейший инициатор нашего освободительного движения во второй половине XIX века, он все-таки стоял бы в ряду первоклассных русских писателей.

Но отделить Герцена-борца от писателя-художника нет никакой возможности, и, конечно, при всем его таланте содержание по крайней мере половины того, что он оставил после себя в форме этих переживаний, не могло бы быть так богато без его испытаний как русского борца за раскрепощение своей родины и как обличителя фальши хищного западноевропейского буржуазного либерализма.

Судьбе угодно было поместить начало юношеских годов Герцена в то московское десятилетие, когда в нашей старой столице, после жестокой репрессии, вызванной декабрьским восстанием, мысль, философская и научная, любовь к искусству, потребность к выработке более цельного миропонимания — все это стало бродить и прорываться сквозь полицейские тиски всякого рода, в небольших кружках писателей, профессоров, трепет-

ных искателей философских откровений. И когда Герцен в самом конце третьего десятилетия прошлого века превратился из барского дитяти, которого держали в хлопках, не пуская его ни в какое учебное заведение, в студента Московского университета, философско-литературная Москва была уже налицо. Там жил Чаадаев, автор «Философических писем», признанный николаевским режимом умалишенным, там проповедовал с кафедры шеллингианец Павлов, там Надеждин и Полевой создавали первые наши, по времени, живые литературно-общественные журналы, там зарождались уже два течения русской интеллигенции — западничество и славянофильство, там раздался горячий вдохновенный голос Белинского. И все эти освободительные стремления находились в тесной связи с тогдашним самым крупным просветительным центром — с Московским университетом.

Для Герцена поступление в университет, доставшееся ему не без борьбы с его отцом, Иваном Алексеевичем Яковлевым, было в полном смысле, употребляя славянофильский термин, «купелью паки бытия» *. Для него переход прямо из стен старого барского дома в воздух свободной науки и горячего общения с товарищами был настоящим праздником молодой жизни, и вряд ли кто-либо из его ближайших сверстников получил такой «заряд» идей, упований, протестов, какой он вынес из университетских аудиторий и из приятельских бесконечных бесед, споров, излияний и ночных пирушек.

Для него товарищество приобрело в лице первого его, по времени и по силе привязанности, друга Огарева такое обаяние, такую нравственную силу и прелесть, о каких люди позднейших генераций не могут составить вполне точного представления. Культ дружбы имел для них высокую духовную ценность. Этому помог, разумеется, и налет тогдашнего романтизма, увлечение героями Шиллера. Такая нежная и трепетная дружба отводила юношей от разных искушений чувственности, а главное, от всего низменного, мещанского, и в студенте Герцене уже сидел непримиримый враг не одного только русского, но и всемирного «мещанства», которое он с конца 40-х годов, после своих парижских испытаний, так беспощадно и глубоко обличал и клеймил.

Выбор факультета был сделан Герценом под влиянием бесед с своим родственником, сыном одного из старших братьев его отца, который был известен под прозвищем «химика» и послужил, кажется, моделью для того молодого москвича, о котором княгиня Тугоуховская рассказывает, как о каком-то чудище:

Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник!

Этот кузен оказался братом своей незаконной сестры Натальи Александровны Захарьиной, впоследствии жены А. И.

Для выработки всего мировоззрения Герцена поступление на физико-математический факультет было весьма важным фактом. Ученого из него не вышло; но верность научно-философским основам мышления и мироразумения восторжествовала в нем впоследствии и над временным налетом неохристианского мистицизма, в котором он находился в самую романическую полосу своей жизни, когда любовь к своей двоюродной сестре, в первый год брачной жизни, в ссылке держала его в воздухе тогдашнего несколько сентиментального идеализма, однако без какого-либо церковного изуверства. Университетские аудитории не блистали тогда талантами и ученостью преподавателей, но студенческие годы остались для Герцена самой дорогой полосой его молодой жизни и сделали его истинным питомцем той alma mater[1], с которой чуткие души и одаренные умы не разрывают связи всю свою жизнь, куда бы их ни забросила судьба.

Московский университет может по справедливости гордиться таким питомцем. Когда вы читаете все то, что Герцен рассказывает о своих студенческих годах, и сопоставляете это, например, с воспоминаниями Тургенева, его младшего сверстника, о студенческих годах почти той же эпохи и в Москве и в Петербурге — вы видите, до какой степени университет сделался дорог Герцену, между тем как студенческие годы Тургенева не оставили в нем ничего яркого, знаменательного для его дальнейшего развития как писателя и человека своей эпохи.

---

[1] матери-кормилицы *(лат.)*.

Изучение естественных наук и математики с его заключительным аккордом, талантливой диссертацией на астрономическую тему* (которая обратила на него внимание и профессоров, и высшего начальства), не помешали Герцену страстно отдаваться знакомству с теми запретными идеями, которые шли с Запада, из Франции. Сен-симонизм, как первая в XIX веке попытка указать культурному человечеству новый путь разрешения самых, как мы нынче говорим, «проклятых» вопросов, сделался у Герцена с Огаревым и некоторыми другими товарищами сладким запретным плодом, и их, в сущности, невинные беседы вошли как главный обвинительный пункт по той истории, какая разразилась над Герценом и несколькими другими его сверстниками, повела к аресту, к сиденью в Крутицких казармах и к административной ссылке сначала в Пермь, потом в Вятку.

Мы не находим в первых главах «Былого и дум» подробностей о том, к чему сводилась тогда литературность студента, кончившего курс на физико-математическом отделении. Читал он чуть ли не с младенчества очень много, сохранял всегда культ Пушкина, Грибоедова, Гоголя, но то, что он говорит про итоги своей московской жизни до тюрьмы и ссылки, представляет собою несколько очень существенных пробелов.

Например, оценка Гоголя, даже и после появления «Ревизора» и «Мертвых душ», нигде не встречается в его воспоминаниях с такими подробностями, которые показывали бы нам, как молодой Герцен воспринимал творчество нашего великого сатирика, вместе с своими ближайшими сверстниками, как он переживал различные моменты того обаяния, какое Гоголь производил на людей его генерации. А между тем та складка, какая дана была Герценом нашей беллетристике, приемы, тон, как бы обязательность некоторого условного юмора,— все это, несомненно, навеяно Гоголем. Не находим мы также и того, произошло ли в молодом Герцене временное охлаждение к Пушкину как раз в те годы университетской жизни, когда либерально настроенная часть публики стала гораздо равнодушнее к Пушкину, а тогдашняя критика до Белинского не сумела оценить дальнейшую фазу его творчества.

Есть и другие пробелы, например, обо всем том, что относится к тогдашнему Московскому Малому театру.

Есть, правда, упоминание о Мочалове. Впоследствии, уже в 40-х годах, по возвращении из ссылки, Герцен приятельски сходится с Щепкиным; и эта дружба продолжалась даже и в годы его заграничных скитаний. Если сопоставить, например, роль, какую театр, в лице Мочалова, а также и Щепкина — истолкователей Шекспира, Мольера и Гоголя, сыграл в критическом развитии Белинского, что он ему позволил пережить самого высокого и яркого, с теми умолчаниями, какие мы находим по этой части в воспоминаниях Герцена, то невольно является вопрос: переживал ли действительно молодой Герцен нечто подобное, оставлял ли в нем тогдашний московский театр столько животворных впечатлений? Мы склонялись бы скорее к положительному ответу и объясняем все эти пробелы тем, что когда Герцен стал писать за границей свои драгоценные для нас воспоминания, им руководила потребность останавливаться всего больше на тех сторонах жизни, которые создали из него борца за освободительное движение.

«Тюрьма и ссылка» помогли ему сознать в себе прежде всего *писателя*, были точно нарочно посланы ему судьбой, чтобы осмыслить и проявить то, чем одаренная его природа в связи со всеми уже яркими, и радостными, и тяжелыми испытаниями наделила его. Подневольное житье в провинциальном захолустье в качестве ссыльного чиновника, окунуло его в отрезвляющую действительность той беспробудной эпохи, самой жестокой николаевщины. Литературная возможность уйти воображением и внутренним чувством в писательскую работу — это являлось самым могучим средством против засасывающего давления тогдашней провинции. И все, что человека без дарования и без склонности к писательству только гнело бы и заставляло опускаться в тину — то позволяло такому человеку, как Герцен, накоплять богатейший материал, наполнять свои досуги развивающим чтением, проникаться все сильнее и сильнее сознанием того, что только в подготовлении себя к задачам писателя он найдет противоядие против того, что могло затянуть его в пошлость, скуку, потерю всякой энергии и всякого идеала.

Ссылка, с ее переездами из одного провинциального города в другой, дала тогдашней русской беллетристике и идейному журнализму писателя, прикрывав-

шегося псевдонимом *Искандер.* За целый десятилетний период, вплоть до желанного отъезда за границу в 1847 году, Герцен показал себя в различных родах литературы одним из самых типичных и чутких сынов своей эпохи, носителем лучших традиций тогдашней художественной литературы и участником в большом философском движении, которое повлияло тогда на всю нашу критику изящной литературы и на образование двух главных течений, расколовших самосознание тогдашней интеллигенции — западничество и славянофильство.

В этот десятилетний период Герцен-Искандер сразу был оценен молодой публикой как чрезвычайно даровитый беллетрист и то, что англичане называют, «эссеист»[1] в области критической мысли. Но можем ли мы согласиться с тем, что автор романа «Кто виноват?» (при всем его значении для галереи так называемых «лишних людей», в лице Бельтова) дал полную меру своей даровитости, своего художнического таланта и мастерства? Конечно, нет. Поставьте рядом такую вещь, как «Кто виноват?», которая представляет собою самый ценный вклад в писательскую работу Герцена до отъезда за границу, с любым отрывком из его «Былого и дум», — будет ли это из его детских лет, университетской эпохи, из годов ссылки или из заграничных скитаний, — только тут, то есть с конца 40-х годов, мы получаем настоящего Герцена, и в нем дарование, сила, блеск, остроумие, горячность, глубина негодующего чувства достигают художнического совершенства не только в целом ряде рассказов, очерков, портретов, картин, но и в том, что называется обыкновенно публицистикой, что мы увидим в особенности, когда будем говорить о такой изумительной книге, как «С того берега».

Добившись законного и быстрого успеха как романист своим «Кто виноват?», Герцен в этот же как бы подготовительный период своей писательской деятельности с особой охотой (и воздерживаясь от чисто политической работы) выступал и с темами критико-философского содержания. Для характеристики всего его умственного и этического склада в высшей степени знаменательно то, что он в первую половину 40-х годов, отчасти в ссылке, а больше живя в обеих столицах,

---

[1] очеркист (от *англ.* essayist).

отзывался на такие запросы, которые были достоянием только самого избранного меньшинства московской интеллигенции.

Пройдя через обаяние тогдашней идеалистической философии, он не остался ни шеллингианцем, ни ортодоксальным гегельянцем. В нем научная закваска дала очень хороший всход идей, приведших его к потребности в гармоническом сочетании научных принципов анализа и наведения с выработкой себе цельного научно-философского миропонимания. Это мы видим в целом ряде этюдов, появившихся в тогдашних журналах, как «Дилетантизм в науке», «Буддизм в науке» и опыт изложения развития философских систем, который ему не удалось докончить: «Письма об изучении природы». В этих письмах он дает как бы род философского введения, но его credo вполне определилось. Через гегельянство левого лагеря в лице Фейербаха он дошел до выработки себе того свободомыслия, которому он будет верен всю свою жизнь. Из-за этих ударов двойственному идеализму он должен был впервые испытать печальную необходимость разойтись в принципах и верованиях с некоторыми из своих ближайших друзей-единомышленников, как, например, с Грановским, а раньше он также честно и пылко протестовал против тех увлечений Белинского, какие сказались временно в его статьях вроде «Бородинская годовщина» *.

Эта черта душевного склада Герцена была причиной и дальнейших его размолвок с самыми близкими приятелями. Мотивы их были всегда *идейные,* но не сухорассудочные, а жизненные. Он не признавал возможными настоящую дружбу или даже хорошее приятельство без солидарности в том, что составляет самое драгоценное достояние человека в данный момент его духовного развития.

В целый более чем десятилетний период от первой ссылки до отъезда за границу Герцен-Искандер прошел точно нарочно чрез испытания, которые подготовили его к той громадной роли, какую он сыграл в ходе освободительных идей в России. Писатель был уже готов: мы это видим во всех его беллетристических произведениях и в тех оригинальных этюдах на общественно-психологические темы, из которых самым удачным считаются «Записки доктора Крупова». Точно также и дальнейший

блистательный расцвет таланта Герцена, какой мы находим в целой серии воспоминаний и характеристик «Былого и дум», содержится уже в зародыше в «Записках молодого человека» и во многом, что вошло потом в сборник, изданный в России под общим заглавием «Раздумье».

Кажется, и сам Герцен, несмотря на быструю известность, приобретенную им после напечатания романа «Кто виноват?», не признавал за собою права считать себя равным тогдашним корифеям художественной литературы. Его младший сверстник Тургенев в первых же рассказах из «Записок охотника», появившихся в самом конце пребывания Герцена на родине, показал себя как первоклассный художник, и его значение в истории русского романа и вообще в художественной беллетристике стоит совершенно особенно; и к 50-м годам, когда Тургенев уже признан был литературным талантом первой величины, Герцен-Искандер не мог еще противопоставить ему произведения такого достоинства, как «Записки охотника». Но в дальнейшем своем развитии как бытописателя, прошедшего чрез столько крупных испытаний, связанного всем своим духовным существом с тем, чем жило тогда в течение четверти века самое передовое европейское человечество, Герцен поднялся до высокой ступени не только как ум, пылкость темперамента, остроумие, едкость, глубина анализа, но и как художественное воспроизведение всего того, что он переживал и в России и за границей. То, что есть самого замечательного в серии «Былого и дум», можно смело поставить рядом с лучшими вкладами в нашу творческую литературу.

Личная судьба Герцена в этот ссыльный период его жизни в России могла бы гораздо больше ожесточить его; но он вынес из нее вместе с верностью тому миропониманию, какое мы видим в его тогдашних философских и общественных этюдах, вместе с жаждой освобождения из-под тисков николаевского режима, — и более светлое настроение, связанное с историей его любви к своей незаконной двоюродной сестре Наталье Александровне, сделавшейся его женою после долгой и восторженной переписки между ними, тайного увоза ее из Москвы, брака во Владимире и первого года светлой и полной супружеской жизни, которая омрачена была

только известным эпизодом в начале 40-х годов, мимолетной неверностью, где действовало только чувственное. Об этом существует признание самого Герцена, еще не появившееся в печати, где он чистосердечно и без всякого желания выгораживать себя рассказывает едва ли не о единственном своем «падении».

Когда после смерти отца и получения очень хорошего состояния, после всех этих подневольных кочеваний по губернским городам, службы в Петербурге и более привольной, но все-таки же стесненной жизни в Москве, открылась перед ним возможность очутиться за рубежом отечества, уйти, хотя на время, от тогдашней николаевщины, трудно было бы и предположить, что он не воспользуется этим. Но никаких замыслов политического характера, никакого намерения «экспатрироваться»[1] у него не было. И все его письма из Парижа, появившиеся в «Современнике»*, по своему содержанию и даже тону подчинялись цензурным условиям. Он только начинал еще свое западноевропейское политико-социальное обучение, отдаваясь на первых порах впечатлениям заграничной жизни, разным сторонам парижского столичного водоворота, наслаждаясь вскоре потом всем, что он испытал живительного в Италии. Тогдашнее итальянское движение в Риме, несомненно, дало ему на первых же порах тот заряд освободительных настроений, с каким он приехал в Париж после февральской революции 1848 года.

И вот именно после подъема самых радостных чувств и радужных надежд он перенес удар, от которого всю свою жизнь не мог оправиться: «июньские дни» с жестокой, бездушной репрессией торжествующего мещанства над пролетариатом сделали Герцена непримиримым врагом политико-социальной фальши*, которая явилась еще более возмутительной после якобы торжества «демократических» идеалов.

То, что̀ он пережил в Париже, начиная с марта 48 года (когда уже можно было предвидеть, во что превратится республика, взявшая себе девизом слова «свобода, равенство и братство»), сказалось в произведении, которому нет равного ни в нашей, ни в западноевропейской литературе. Это книга «С того берега», со-

[1] покинуть родину (от *лат.* ex patria).

ставленная из ряда глав, написанных с конца 1847 до 1849 года. Если бы Герцен не написал ничего больше, то и тогда его надо было бы признать одной из крупнейших писательских индивидуальностей. Ее смело можно поставить рядом с знаменитой книжкой Ламене «Paroles d' un croyant»[1], которая до сих пор считается во Франции даровитейшим произведением в таком роде. Одна эта вещь для нас, русских, является драгоценнейшим документом, который показывает, как даровита, восприимчива и высока по своим идеалам была натура русского писателя, родившегося и воспитанного в такую эпоху и в такой среде, где всякое, самое невинное проявление свободомыслия глушил тогдашний режим. Это делает Герцена головой выше и своих заграничных сверстников, не исключая самых выдающихся и знаменитых.

Та жизнь, из которой вышли тогдашние корифеи революции в Италии и Франции, даже в Германии, Австрии, в русской Польше — все-таки же представляла собою более или менее подходящую почву для выработки и гнева, и протестов, и солидарности с своими единомышленниками. А тут москвич 30-х и 40-х годов, которого судьба держала в тисках много-много писательской кружковой жизни, выступил с пламенным словом горечи и обличения, брошенным в лицо всей тогдашней якобы радикальной прессы. И эта Европа в лице представителей своей прессы, когда «С того берега» появилось по-немецки, нашла в русском авторе «измену» принципам либерализма, обиделась на разные лады и обозвала горечь и негодование Герцена болезненным и вредным пессимизмом!

И тогда уже ему кидали обвинения в замаскированном славянофильстве и даже русофильстве, особенно после тех обращений к иностранцам, к Мишле и к англичанину Линтону, в которых он впервые в Западной Европе хотел дать правдивую и осмысленную картину того, как жил русский народ*, что он выработал в своей подневольной, трудовой жизни, как страдал от азиатского деспотизма и в допетровский период, и в постыдный петербургский период русской истории. То же разъяснял он и в своей французской брошюре «О раз-

[1] «Слова верующего» *(франц.)*.

витии революционных идей в России». Но ему все-таки же никто не простил: ни те обломки революции — эмигранты, живущие своими иллюзиями, ни революционеры, которые боялись идти в глубь вопроса о пересоздании европейского общества, ни самодовольные либералы буржуа, не говоря уже о целой стае торжествующих реакционеров, которые тогда и во Франции, под прикрытием внешних республиканских форм государства, готовили переворот второго декабря * и торжество наполеоновского полицейского шовинизма.

У нас «С того берега» до сих пор — произведение, не оцененное еще вполне ни в чисто литературной критике, ни в том, что в самое последнее время являлось в нашей публицистике всяких оттенков, партий и лозунгов. Сторонники платформы самых левых фракций могут, конечно, находить, что Герцен в этом произведении слишком лирик, слишком отдается личной горечи и чересчур пессимистически смотрит на дальнейшие судьбы освободительного движения в Европе, а потом и у нас. И действительно, в такой книге, как «С того берега», вы не найдете никаких партийных программ, ничего такого, что в настоящий момент считается принадлежностью всякого определенного credo. Но никто, как он, не выступил слишком пятьдесят лет назад с таким пламенным протестом во имя *социального* переворота. Вот в этом-то и сказался коренной русский поборник общественной правды и справедливости. И тогда уже для него вне социального вопроса хотя бы самая радикальная политика была только политиканством или запоздалыми однобокими «платформами», как нынче выражаются.

Нет во всей европейской литературе такой книги, как «С того берега»! Это не одно только субъективное выражение горечи и часто отчаяния, чрез какие проходил Герцен после июньских дней 1848 года. На всем Западе в числе его самых революционных сверстников не нашлось *ни одного,* который бы противопоставил торжествующей лжи радикальной буржуазии идеалы, созданные представителем народа, находившегося тогда в полном закрепощении, но сумевшего выработать основы экономической солидарности, каких на Западе не было.

В этом ведь и заключалось все так называемое «славянофильство» Герцена, и это обвинение стали выстав-

лять против него не только иностранцы *, плохо знакомые с нашей жизнью и историей, но и ближайшие его сверстники вплоть до людей, находившихся с ним когда-то в близких, приятельских отношениях. Славянофильство Герцена сводилось только к симпатиям, быть может, слишком горячим, какие вызывали в нем формы экономического быта, выработанные русским народом — сельской общиной и рабочей артелью. Но никогда он не изменял своему строго радикальному и освободительному исповеданию веры. Если он после испытаний 48 и 49 годов не мог оставаться *прежним* западником, то он возродился для высшего западничества, на которое представители и тогдашнего европейского радикализма не были способны так, как был способен он.

В научно-философском смысле слишком правоверно-ортодоксальные позитивисты имели, конечно, повод говорить, что Герцен, предаваясь неумеренно революционному пессимизму, как бы не признавал законов эволюции современного общества. На эту тему вступил с ним в продолжительную полемику и его когда-то близкий приятель Тургенев *, что и повело, как мы увидим дальше, к разрыву между ними. Такие научно-позитивные оговорки позволительно было делать и можно их предъявлять и теперь; но это нисколько не служит к поддержке той темы, что будто бы Герцен стал воевать со всей западной культурой, потому что впал в славянофильское credo.

Между его страстно обличительным отношением к торжествующей, хищной и вероломной буржуазии и тем, что он стал писать для иностранцев о России, что начал печатать в «Полярной звезде» под общим заглавием «Былое и думы», нет никакого противоречия. Никто еще не только из его современников, но и впоследствии, не умел в крупных чертах так ознакомить иностранцев с характерными судьбами русского народа и с движением освободительных идей в русской литературе, в той жизни, которая едва теплилась с конца XVIII столетия до половины XIX, и показывала, что в русской натуре заложены были уже задатки всего дальнейшего освободительного движения. Замечательно, однако, что та брошюра, которой пользовались и иностранные критики и публицисты, писавшие о на-

шем обществе и литературе, вроде Мельхиора де Вогюэ или Анатоля Леруа-Больё, появилась по-немецки и по-французски, а не была первоначально написана русской герценовской прозой. Это — «Развитие революционных идей в России» *.

Ни одному историку не только общества нашего, но и литературы, в тесном смысле, нельзя обежать этих итогов, так даровито и проницательно подведенных Герценом ко второй половине прошлого века. И далее все то, что вошло в «Былое и думы» и появлялось в виде более отрывочных очерков, портретов, отдельных картинок, и все, что составило главное содержание «Колокола», представляющее такой захватывающий интерес для каждого исследователя русского общественного движения, все это проникнуто верностью основному credo: ненависть к самодержавному режиму у нас и к хищническому торжеству буржуазии во всем остальном мире, и молодая, может быть, слишком юная для вполне сложившегося человека, вера в великую будущность социальных и экономических устоев русского народа. Но и в этом увлечении Герцен был только провозвестник целой полосы нашего литературного и публицистического народничества, которое открылось после его кончины в 70-х годах и продолжалось на протяжении 80-х.

Никогда еще ни один орган печатного слова в истории нашего общества не играл такой необычайной роли, как «Колокол», явившийся результатом развития той горячей потребности послужить своей родине, какая не переставала волновать Герцена. Неудержимым импульсом к осуществлению этой дорогой для него идеи явился момент подготовительной работы тогдашних лучших русских людей к уничтожению рабовладельчества, называвшегося «крепостным состоянием». Выступить во всеоружии в такой момент было доказательством не романтического увлечения, а делом глубокой любви к родине, доказательством ясного политического разумения с такой подготовкой и с такой возможностью действовать, каких не было тогда ни у кого из его сверстников по ту сторону русской границы.

Мне нет надобности повторять здесь все то, что известно про значение, какое «Колокол» приобрел в России, вплоть до высших правительственных сфер.

Тон, взятый Герценом в таких исторических документах, как обращение к дворянству или «Письмо к Александру II», был в высшей степени симпатичный и подходящий к моменту*. Находились, конечно, слишком прямолинейные люди, которые и тут способны были упрекнуть их автора в уступках, в известного рода компромиссе; но если их автор и выступил с словами искреннего, как бы примирительного призыва, то он опять-таки ни на йоту не поступился тем, что ставил как краеугольный камень своего credo. В таких проявлениях его натуры, восприимчивой и благородной, лежал задаток благотворного обаяния на все то, что тогда в России сочувствовало уничтожению крепостного права и способно было помогать правительству в борьбе за осуществление и этой и других великих реформ.

Конечно, то, чем занимался Герцен в первые годы существования «Колокола», на оценку представителей нынешних крайних партий может казаться совсем не революционным; но стоило только всплыть одному из самых болезненных вопросов нашего государственного быта, как сейчас же образовалась глубокая трещина даже между поклонниками Герцена и тем, с чем он выступил, рискуя потерять свое обаяние на массу русских читателей. Этот роковой инцидент был польское восстание*. Даже те, кто зачитывался Герценом и вовсю либеральничал по внутренним вопросам, стали бросать ему упреки в том, что он изменил национальному чувству и ударился в защиту такого дела, которое ни под каким видом ни один даже и либерально настроенный русский не может разрешать с польской точки зрения.

Но мы, теперь свободные от всяких узкопатриотических инстинктов, которые сводятся в конце концов к расовому себялюбию и жажде государственного преобладания, — мы, во-первых, обязаны подтвердить то, что в Герцене с тех пор, как он стал защитником освободительных идей, польские симпатии всегда жили и развивались с годами, поддержанные всеми его дружественными сношениями с героическими личностями эмиграции 30-х годов*. И это не было романтическим увлечением или позой, своего рода дилетантством либерализма, а отвечало основам его этики, не знавшей компромиссов и в вопросах междурасовых, и чисто государственных. Для него Польша, несмотря на все от-

рицательные стороны своего склада, достойна была симпатии всякого честного и великодушного человека, и среди русских — за все те большею частью незаслуженные страдания, через какие прошла под гнетом, одинаково ненавистным и Герцену, и всем его единомышленникам.

Требовать, чтобы он тогда иначе отнесся к польскому восстанию, это значило совершенно не понимать его и желать от него постыдной роли оппортуниста, забывающего в данный момент все свое прошлое, для того только, чтобы удержать обаяние своей популярности у читателей «Колокола». Если сам Герцен впоследствии (когда это столкновение с русской публикой лишило «Колокол» прежнего престижа), если он сознал свою ошибку, то только в формальном смысле *. Он не мог отрицать того, что действительно произошло. Но и позднее, в те годы, когда он после лондонского своего сиденья начал переезжать с места на место и сильно тосковать об отсутствии живой деятельности, взгляды его и симпатии, связанные с судьбой племени, нам родственного и потерявшего национальную самостоятельность оттого, что его хищным соседям было выгодно разделить его территорию, — все эти взгляды и симпатии остались, в общем, неприкосновенными.

И выступи Герцен сорок лет позднее с той же защитой прав польского народа и национальной самобытности — разве бы он столкнулся в этом не только с нашими крайними левыми, но и с преобладающей среди теперешних либералов партией «народной свободы»? Требования *автономии* вошли в программы не революционеров только, а и сторонников соглашения между монархическим принципом и конституционными гарантиями *. Тут Герцен явился провозвестником того, что вошло как один из существенных пунктов в освободительную программу нескольких партий. Не он изменил делу «Колокола», а те, кто считали себя его сторонниками и восторженными поклонниками, не знали самих себя и оказались в данный момент «патриотами своего отечества», в лучшем случае не могли отрешиться от пережитка государственного расового себялюбия.

Это роковое столкновение издателя «Колокола» и его ближайших товарищей по эмиграции переполнило ту чашу горечи, какую он выпил после июньских дней

1848 года. Он сознавал, что успеху «Колокола» повредила пропаганда идей Огарева и Бакунина *, одного в социальном, или, как теперь у нас говорят, аграрном вопросе, а другого в революционном, с оттенком и тогда уже анархически-бунтарским. Если это в значительной степени верно, то и тут Герцен сделался жертвою своих дружеских симпатий. С Огаревым их связывала неразрывная приязнь с того дня, когда они отроками поклялись в дружбе в Москве на Воробьевых горах. С Бакуниным у него не было такой точно связи, и он, оставаясь издателем «Колокола», не разделял многих пунктов его платформы. Не могли ему нравиться и особенности натуры и характера Бакунина, его слишком бесцеремонное обхождение со всем тем, что считается обязательным даже и людьми революционного склада. Позволительно пожалеть, что Герцен вовремя не освободил себя от давления этих двух сотрудников по «Колоколу»; но и мотивы его слабости остаются все-таки же симпатичными. И тут он пребыл верен всему своему душевному складу.

Попытки, по переселении его на материк Европы, поддержать «Колокол» в другом виде, на французском языке *, окончательно убедили его, что кампания его проиграна на долгое время, быть может, до конца его жизни, что и случилось. Будь он по натуре менее впечатлителен, выработай он в себе настоящее сознание того, что̀ он будет представлять собою для России конца XIX и начала XX века, ему бы легче жилось. Он мог бы победоносно бороться с тем огорченным настроением, какое только благодаря его блистательной даровитости и жизнеобильному темпераменту поддерживало в нем потребность высказываться если не как руководителю политического органа, то опять в целом ряде произведений, где трепетала его личная жизнь и жизнь всех тогдашних «лучших людей», с какими он сохранял дружеские связи.

Герцен-писатель и в том, что выходило из-под его пера ко второй половине 60-х годов, стоял все на той же высоте, и можно даже сказать, что в очерках и характеристиках, вошедших в тот том, который появился вскоре после его смерти *, до издания собрания его сочинений, мы находим Герцена лучших годов из «Былого и дум». Если язык стал более богат неологизмами,

отзывающимися долгим пребыванием за границей, то его пошиб, образность, темперамент, искры комизма и юмора, способность к анализу людей, характеров, целых полос европейской жизни — делает впечатление не подавленной психики огорченного неудачника, а, напротив, часто жизнерадостного и, еще чаще, негодующего, высокодаровитого обличителя ненавистного *всемирного мещанства,* все того же несравненного в нашей литературной эволюции писателя, сохранившего и после двадцатилетней жизни эмигранта неувядаемые черты душевного склада и развития русского человека, этого мало — москвича времен Чаадаева, Белинского и Грановского.

Последняя полоса жизни Герцена с переселением из Лондона на континент лишила его той кипучей политической деятельности, какая шла в дни самых больших успехов «Колокола». Попытка издавать «Колокол» на французском языке не удалась. В Женеве он продолжал действовать как писатель, освежая свои переживания в ряде таких же замечательных очерков, картин и портретов; но там же он должен был столкнуться с молодой русской эмиграцией, которая стала относиться к нему слишком придирчиво и строго.

Соглашения не могло быть не столько от разницы принципов, идей и антипатий, сколько от различия психики, оттого, что эта эмиграция была моложе поколения Герцена на целых двадцать пять лет, если не больше. Он несколько раз высказывается о ней довольно беспощадно, но в общем верно. Появились обличения великого бойца за свободу и социальную правду, каким была брошюра Серно-Соловьевича *, не остановившегося даже перед придирками к частной жизни и привычкам Герцена.

Примешалась тут и злосчастная история так называемого «русского фонда» *, тех двадцати тысяч франков, который какой-то довольно шалый русский эмигрант оставил Герцену на революционные цели. Женевские эмигранты стали приставать к нему и требовать выдачи этого капитала, на что он не соглашался; а впоследствии это кончилось тем, что деньги попали к Бакунину и были, главным образом, израсходованы на конспиративную пропаганду.

В Женеве в конце 1865 года я впервые имел случай встретиться с А. И.; но наше более близкое знакомство произошло в Париже и длилось с осени 69-го года вплоть до его кончины 9/22 января 1870 года. У тогдашнего издателя журнала «Philosophie positive» Г. Н. Вырубова и встретились мы. А. И. первый выражал желание познакомиться с автором, главным образом, тех корреспонденций, которые появились раньше в «Петербургских ведомостях» под редакцией В. Ф. Корша. Из этого первого вечера, проведенного с Герценом, у меня остался в памяти философский спор, который начался между ним и стариком Литтре, соредактором Вырубова, тогдашним главой позитивистов левого лагеря, не признававших той позитивной религии, которую Огюст Конт создал после выпуска в свет своей «Системы позитивной философии».

Герцен, оставаясь верным научно-философскому credo, не мог соглашаться с некоторыми положениями правоверного позитивизма. В нем сидел слишком убежденный и пылкий поборник революционного движения, он не мог соглашаться на слишком спокойное и объективное признание законов социологии. И тут я сразу увидал, до какой степени Герцен, несмотря на продолжительное пребывание за границей, остался русским человеком и москвичом 30-х и 40-х годов. Говорил он бойко по-французски, но думал по-русски, и нам всем, присутствовавшим при этом состязании, было заметно, что старик Литтре часто затруднялся сразу схватить то или иное выражение Герцена; его слова были французские, а обороты — русские.

И с этого вечера пошло наше более близкое знакомство.

Герцен жил с частью своего семейства сначала в Hôtel de Louvre, а по возвращении из Флоренции (куда он был вызван серьезной нервной болезнью старшей дочери) поселился на rue de Rivoli, в меблированном доме Pavillon de Rohan, куда теперь перешел Hôtel de Louvre. По приезде оттуда он раз под вечер зашел ко мне в небольшой отельчик, против Старой оперы (впоследствии сгоревший) на rue Lepelletier, говорил о болезни дочери, которую он привез, и тут я впервые услыхал от него, что он страдает диабетом, но этого никак нельзя было бы сказать, глядя на его еще свежую

фигуру, живую игру физиономии, блеск глаз, слушая его оживленную блестящую речь, полную темперамента, ума и тонкого понимания всего, что он переживал и раньше, и в данную минуту. Он остался по манере держать себя, по тону, разговору, по интонациям голоса опять-таки типичнейшим русским интеллигентом и москвичом. Из переживших его приятелей покойный К. Д. Кавелин всегда очень мне напоминал его, если не прямым сходством черт лица, то фигурой, разговором и манерой произношения.

Чувствовалась ли в нем огорченность человека, который не нашел себе все-таки же постоянного местопребывания и сознавал, что он уже не будет значить для своих соотечественников того, что он представлял собою несколько лет перед тем? У него прорывались грустные ноты, но никак нельзя сказать, чтобы тот пессимизм, какой овладел им после июньских дней 1848 года, сделался еще сильнее или подавлял его душевные настроения. Мне кажется, что, напротив, он, с переселения на континент, стал менее мрачно смотреть на европейскую реакцию *, на тогдашний бонапартизм, возлагал больше надежд на французскую молодежь (что сказалось в теплой и блестящей статье, посвященной Латинскому кварталу *) и, не превращаясь в форменного социал-демократа, последователя теории Маркса, все-таки же, несмотря на долгое нерасположение к автору «Капитала» (за то, что тот обвинил Бакунина чуть не в роли русского шпиона), в письме к Огареву, относящемуся уже к последнему году его жизни, признает Маркса великим инициатором в борьбе пролетариев с капиталистическим строем *, а в письме к Бакунину *, также от 1869 года, он говорил следующее:

«Работники, соединяясь между собою и выделяясь в особое государство в государстве, достигающие своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составят первое семя и первый всход будущего экономического устройства».

Думаю, что под такого рода словами подпишется и теперь всякий, даже очень ортодоксальный социал-демократ.

И в том же письме есть мудрый совет пролетариям: «Надо, во-первых, собирать полки, а не грозить, угроза при бессилии вредна».

Он ставил в великую заслугу Марксу создание «Международного союза рабочих». На втором съезде этого союза *, бывшем как раз в это время в Брюсселе, я был единственный русский корреспондент, сообщавший в «Голос» подробные отчеты о заседаниях * этого съезда. И Герцен заинтересовался и этими отчетами и говорил о них Вырубову, прося его устроить у себя наше свидание.

В своей квартире на rue de Rivoli Герцен зажил, как иностранец, сочувствующий тогдашнему настроению французского общества, но не как знаменитый эмигрант, вокруг которого собрался бы видный кружок политических и общественных деятелей. За несколько месяцев этой зимы 69—70-го года я не помню, чтобы познакомился у него с каким-нибудь выдающимся эмигрантом. Французов — политических деятелей, депутатов или выдающихся журналистов к нему что-то не ходило, кружок русских сводился к нескольким молодым людям, из которых я тоже не помню ни одного выдающегося эмигранта. Всего чаще посещали его Вырубов, я и покойный Е. И. Рагозин. По средам были журфиксы.

Здоровье старшей дочери А. И. поправилось; меньшая была уже невеста профессора истории Моно *, французского протестанта. Меня лично очень интересовала симпатичная Лиза, меньшая дочь Герцена, считавшаяся официально Огаревой, девочка двенадцати лет, необыкновенно развитая для своего возраста, так трагически кончившая свою жизнь самоубийством * несколько лет спустя. Я занимался с нею по русскому языку. А. И. обращался с ней как с своим ребенком; но Лиза, говоря о нем, никогда не называла его папой, а постоянно «Александр Иванович», с своей англо-французской картавостью.

Тогдашний Париж уже сбрасывал с себя иго бонапартова режима, оппозиция в палате поднимала голову, происходили и уличные демонстрации по поводу убийства одного молодого радикала * членом императорской фамилии. Все это волновало Герцена, точно молодого политического бойца. Он ходил всюду, где проявлялось брожение, посещая публичные лекции и сходки, но не

примыкал, сколько я помню, ни к какому тогдашнему оппозиционному кружку.

Когда я достаточно ознакомился со всеми характерными чертами его душевной и бытовой физиономии, я легко понял, что молодые поколения русской эмиграции не могли считать его своим руководителем исключительно потому, что он казался им слишком барином, если не «буржуем», потому что он, продолжая горячо сочувствовать революционному движению в России, не брал на себя роли тайного агитатора и не мог мириться со всем тем, что он в них видел слишком фанатически-прямолинейного, а главным образом, грубого, некультурного и мелочного. Но никто бы не сказал, что в нем чувствуется какое-нибудь «генеральство». Напротив, он оставался до смерти своей чрезвычайно доступным, отзывчивым на все, что отвечало его симпатиям и протестам.

Он способен был говорить с юмором и даже с прямой насмешкой о своих слабостях, о своих эпикурейских наклонностях, о пристрастии к хорошей еде и к стакану шампанского, в котором так беспощадно обличал его Серно-Соловьевич. Авторского тщеславия я не подмечал в нем никакого; разговаривая целыми часами, рассказывая интереснейшие эпизоды своей жизни, делая блестящие портреты своих сверстников и в России и за границей, он почти никогда не указывал на какие-либо свои произведения, очерки, статьи. Той чисто писательской самовлюбленности, какую я замечал во многих из его знаменитых сверстников и в людях дальнейших генераций — в нем решительно не было. И это понятно. Он слишком жил дорогими для него идеями, слишком ненавидел хищнический строй лжелиберальной буржуазии, слишком сочувствовал тому, что в России работало над делом раскрепощения страны, чтобы везде совать свое авторское «я». Он был так добродушно скромен, что на первых же порах нашего знакомства по поводу записки, написанной мне, сам шутливо заметил, что он всегда был «в оппозиции с русской этимологией», делая маленькие ошибки в мягких знаках неопределенных наклонений и в других отступлениях от общепринятого правописания.

За несколько дней до его болезни (когда он простудился на публичной лекции тогдашнего радикал-соци-

алиста Вермореля) за обедом в ресторане «Frères provençaux» (уже не существующем теперь), он был в особенности в ударе; и тогда я испытал самый сильный припадок обиды и горечи за то, что такой полный еще жизни, творчества и умственного блеска, такой великий возбудитель политического и социального самосознания нашего отечества принужден был все-таки довольствоваться жизнью иностранца, не имеющего возможности жить и действовать у себя дома, принять непосредственное участие в том, что у нас творится.

Болезнь (воспаление легких) скрутила его в несколько дней. Диабет осложнил ее нарывом в одном из легких. Когда уже он заболел, приехал на несколько дней из Баден-Бадена его когда-то близкий приятель И. С. Тургенев и почему-то не захотел дождаться того дня, когда должен был произойти кризис, что ему не помешало в это самое время присутствовать на казни знаменитого злодея Тропмана *, о которой он так талантливо рассказал русским читателям. Нежная любовь к Огареву, жившему в то время в Женеве, прорывалась до самых последних минут сознательного существования Герцена, и он умер с вопросом о том: получена ли депеша от Коли? Этот мотив я взял впоследствии для своего рассказа «Последняя депеша» *.

Огарев и Бакунин оставались его соратниками до конца его жизни; но к Бакунину он не чувствовал такой глубокой дружеской привязанности, а под конец не был с ним солидарен и во многих идеях, и в тактике революционной пропаганды, при всей своей снисходительности не мог сочувствовать и разным сторонам личного характера великого русского анархиста.

Дружба у Герцена не могла никогда идти вразрез с его исповеданием веры. Из московских друзей, остававшихся в живых ко дню его смерти, он разошелся и с Кетчером, и с Евг. Коршем *, или, лучше сказать, они отошли от него, даже издали испуганные в особенности тем, что писалось в «Колоколе». С двумя другими близкими приятелями и единомышленниками, с Тургеневым и Кавелиным, он долго продолжал переписку принципиального характера. И с тем и с другим эта переписка повела к охлаждению, с Тургеневым к временному разрыву *, а с Кавелиным и к полному. Кто прочитывал

письма того и другого к Герцену, вышедшие первоначально отдельной книжкой в Женеве после его смерти *, конечно, согласится, что из этих двух друзей для Кавелина разрыв с Герценом был самый тягостный: он нежно любил Герцена, горячо преклонялся перед его талантом, умом, высотой его принципов и верностью им. А размолвка с Тургеневым произошла на почве спора между таким неисправимым почитателем западной культуры, каким был автор «Отцов и детей», и грозным обличителем французского и всемирного мещанства.

Из заграничных политических бойцов, сколько я знаю, Герцен в год смерти вряд ли имел с кем продолжительные письменные сношения, не исключая и таких эмигрантов, как Ледрю-Роллен и Луи-Блан, живших в Лондоне. Тогдашняя радикальная пресса, еще очень слабая и малочисленная, проводила его в могилу сочувственными заметками; но похороны Герцена прошли более чем скромно, не вызвали никакой сенсации, никакого чествования его памяти. Он и не желал пышных проводов и речей. Не помню, чтобы проститься с ним на квартиру или на кладбище Père Lachaise явились крупные представители тогдашнего литературного и журнального мира, чтобы произошло что-нибудь хотя и на одну десятую напоминающее прощальное торжество с телом Тургенева в Париже перед увозом его в Россию. Помнили его только пролетарии, и за скромной похоронной колесницей шло человек 100—150 рабочих.

Для нас настал момент правдивой и сочувственной оценки того, что представляет собою Герцен, как великий инициатор в борьбе за политико-социальное раскрепощение России. В силу запрета, тяготевшего над сочинениями Герцена, у нас не могла в последние тридцать лет явиться обширная литература, посвященная ему. До сих пор она сводится только к нескольким брошюрам, статьям и монографиям. Молодые поколения мало его читали и делались равнодушны к его памяти. Но теперь наступает период не только настоящего знакомства с ним, как с писателем и политическим деятелем, но и разносторонней сочувственной оценки, которую мы и находим уже в этюдах, посвященных Герцену, вплоть до последних дней. Не только

политические радикалы, но и социалисты разных фракций приходят к тому выводу, что в лице Герцена сошел в могилу великий пробудитель освободительных идей и в политике, и в социальных вопросах.

В этюде, написанном сторонником социально-демократической доктрины *, мы читаем следующие слова:

«Много поработало грамотных людей на поприще развития и просветления общественного сознания на Руси; но одним из самых крупных останется навсегда А. И. Герцен, первый в России провозвестник идеалов *социализма* и идеи классовой борьбы, первый теоретик народничества и первый реалистический мыслитель».

Какие же заключительные выводы, спрошу я моих слушателей, можем мы подвести в нашей беседе? А. И. Герцен — не только великий русский гражданин, писатель и инициатор нашего раскрепощения, но и гордость перед старой Европой, где ни один из его сверстников не сослужил такого дела свободе и общественной правде, как автор книги «С того берега», никто так пламенно не обличал хищничество и лжесвободолюбие торжествующего до сих пор мещанства, способного всегда и везде поддерживать власть имущих, только бы они гарантировали ему беспробудное и невозбранное пользование его экономической узурпацией.

Мы видим, что наш самодержавно-полицейский режим своими преследованиями Герцена с первых его шагов, вместо того, чтобы довести его до полного падения душевных сил, напротив, точно по уговору, оказался главным виновником его славы и великого общественного дела. Этот пример может служить бодрящим поощрением всем тем молодым борцам за свободу и социальную справедливость, которые способны приносить самые тяжелые жертвы в деле служения своим идеалам. И для них гнет и преследование будут прекрасной школой, если только в них заложены задатки крупных душевных сил.

Я скажу в заключение моей беседы, что поколения, которым суждено еще долго жить на свете, увидят то, что людям моего времени вряд ли удастся увидеть, то есть, что свободная Россия воздвигнет памятник Герцену, всенародный памятник в сердце России, в Москве *, перед тем университетом, откуда молодой москвич вышел с лучшими упованиями людей его эпохи,

а в другой столице, где будет к тому времени красоваться новое здание палаты представителей, в стенах его будет приготовлено место для бюста Герцена. И каждый депутат из рабочих или крестьян, подойдя к нему и вглядываясь в благородные и одушевленные черты, скажет:

«Более полвека назад он горячо желал торжества труду над хищничеством капитала и не переставал до самой своей смерти требовать для многомиллионного русского крестьянства того, о чем оно и теперь страстно мечтает: земли и воли!»

В МОСКВЕ—У ТОЛСТОГО

I

Мое личное знакомство с Л. Н. Толстым относится к пятилетию между концом 1877 года (когда я переехал на житье в Москву) и летом 1882 года.

Раньше, в начале 60-х годов (когда я был издателем-редактором «Библиотеки для чтения»), я всего один раз обращался к нему письмом с просьбой о сотрудничестве и получил от него в ответ короткое письмо, сколько помнится, с извинением *, что обещать что-нибудь в ближайшем будущем он затрудняется.

В те годы и раньше я уже много слышал о нем рассказов и в литературном кругу Петербурга, особенно от А. Ф. Писемского, и в семействе кн. Д[ондуко]вых-К[орсако]вых, с которым он сошелся за границей.

И для меня его личность, фигура, лицо, тон разговора, разные особенности нрава были уже довольно близки. Одна из княжон Д[ондуко]вых часто рассказывала мне и представляла даже в лицах, как он ходил к ним запросто по вечерам (это было в Брюсселе), очень часто играл в четыре руки, читал им те вещи для народного чтения, которые он готовил тогда для своего деревенского журнала *. А петербургские писатели, вроде того же Писемского, называли его «Левушка Толстой», распространялись больше всего о его тогдашних «разносах» неприятной ему шекспиромании и обличениях своих старших собратов по беллетристике в напускных якобы эстетических восторгах.

Ко второй половине 60-х годов от князя Л. И. Урусова слышал я рассказ о том, как он ехал с Толстым по железной дороге, как Л. Н. был отрицательно настроен ко всему политическому движению тех годов и — между прочим — хвалил ему мой роман «Земские силы», оставшийся недоконченным с прекращением «Библиотеки для чтения» в начале 1865 года.

Вот, вероятно, и все.

«Исповедь» его (я ее читал в корректурах, кажется добытых от С. Л. Юрьева) впервые вызвала во мне усиленный интерес к его задушевной жизни, привлекла меня своей искренностью, заохотила к желанию личного знакомства.

Счетом у меня было всего три свидания с Л. Н. в Москве, все в том же доме, или сначала в наемном *, но в той же местности, если не ошибаюсь. Вперед оговариваюсь, что, быть может, хронологическая последовательность этих трех свиданий и не вполне точна; но они все три принадлежат к одной и той же полосе его саморазвития в смысле выработки религиозно-нравственного идеала.

Попал я к Толстым в приемный день, вечером, но прошел прямо на половину графа, и в том, что происходило в зале и гостиной, не участвовал и никому там представлен не был.

Застал я у него несколько человек мужчин, и в памяти моей остались два его собрата: Фет и Аполлон Майков. Фета я видел тут в первый и единственный раз в жизни, и меня довольно-таки удивило, что *тогдашний* Фет-Шеншин оказался близким приятелем Льва Николаевича *.

Майкова я знал давно, с самого моего приезда в Петербург, в зиму 1860—1861 года. Я часто его встречал у Писемского. Майков приходился родственником его жены и жил в том же доме, на одной площадке с Писемским. Тогда Майков еще читал на публичных вечерах *либеральные* стихотворения; а к тому времени, когда я нашел его у Толстого, он успел уже превратиться по своей «платформе» почти в то, что теперь зовут «черной сотней», с налетом церковности.

Признаюсь, я мечтал не о таком «антураже» автора «Исповеди». Он тогда уже прошел через острый кризис. Это могло быть в период интимного знакомства с Сю-

таевым *, но вряд ли еще дальнейших грозных протестов против господствующей церкви, какие раздались позднее, когда происходила более радикальная ломка всего, что не было чистым учением «Иисуса из Назарета».

Разговор шел о спиритизме, и Л. Н., кажется, тогда интересовался им *. Помню фразу Майкова, произнесенную с чинной усмешкой, насчет которой любил часто прохаживаться их общий приятель Григорович.

— Хорошо и то, что и это приводит к тому же.

То есть: не веря в загробную жизнь и к догматам ортодоксального христианства.

И хозяин и Фет-Шеншин сочувственно улыбались. И весь разговор, подробности которого не сохранились достаточно в моей памяти, шел в таком же духе и направлении.

Л. Н. был тогда по-внешнему добрый «мужчина средних лет», как говорится в таких случаях, с незаметной проседью, если она и завелась уже; лицо — неопростившееся совершенно, но уже с очевидным нежеланием подчиняться не только моде, но и обязательной для хозяина открытого дворянского дома корректности. На нем, поверх рубашки, без жилета, был надет короткий пиджак. А так как в комнате делалось жарковато, то он скинул его и остался в рубашке. Как раз в эту минуту вошла к нам хозяйка спросить, подавали ли нам чаю. Она сделала шутливое замечание мужу — насчет его костюма, на что он добродушно ответил, что в комнате слишком жарко, и пиджака не надел. Кажется, это немного сконфузило графиню.

Я видел ее тут в первый и последний раз. Она была тогда еще очень видная женщина, с красивым обликом, легкой походкой и приятным тембром голоса, элегантная, в туалете.

Она тотчас же удалилась к тем гостям, которые остались на ее половине.

Иметь с Л. Н. особый разговор мне не удалось в тот же вечер; но его тон, особенно по сравнению с его обоими приятелями, действовал обаятельно. Никаких суровых тирад в смысле обличения фальши и суетности общества он не говорил и не высказывал еще того отношения к искусству, изящной литературе и к своим собственным произведениям, каким переполнены были

его речи впоследствии, и довольно скоро после этого. Мне кажется, он стоял именно тогда на перепутье и к полному внешнему опрощению, и к выработке себе полного credo, после того как окончательно стряхнул с себя *временное* возвращение к православию, с какого он начал.

Как проходила довольно шумная вечеринка на половине графини, где была все больше молодежь, — не заинтересовало меня настолько, чтобы я решился провести там остаток вечера. Я только прошел по тем комнатам в переднюю и мог схватить лишь общую физиономию этого помещичьего дома в приемный день.

Ничто тут даже не намекало на то, что вы в доме великого писателя, который выработывал себе целое новое миропонимание, готовился быть вероучителем и производить в душах своих соотчичей и обитателей обоих полушарий, ломку их религиозных и этических исповеданий веры. Просто дворянский дом, где-нибудь на Плющихе, или на Сивцевом Вражке, или в Староконюшенном переулке, у богатых помещиков, проживающих зимой в Москве, где много детей, где собирается молодежь, музицируют, играют в petits jeux[1], болтают за чайным столом.

В этом было что-то бытовое, чисто русское: полное отсутствие того «священнодействия», каким семья какой-нибудь западноевропейской знаменитости непременно наполнила бы весь ритуал жизни дома в дни приемов. Не только не отзывалось все это обиталищем «вероучителя», но и автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». И об этих произведениях и в кабинете хозяина не было при мне сказано ни слова.

II

Второй разговор происходил также зимой, но уже в другой обстановке. Не знаю, было ли это в том же самом доме; но припоминаю хорошо двор и — налево — крыльцо со двора, как в старинных помещичьих домах. В сенях стоял почему-то самовар. В передней какой-то служитель, вроде кухонного мужика, спросил меня, кого

---

[1] салонные игры *(франц.)*.

мне угодно видеть. Вошел в переднюю мальчик-подросток — один из сыновей, — и когда услыхал мою фамилию, то сейчас же попросил меня к отцу. Вероятно, я предупредил Л. Н. о своем посещении.

Меня провели к нему, в его рабочую комнату. Надо было подняться во что-то вроде антресоля. Комната была довольно просторная, с невысоким потолком и смотрела более мастерской, чем благоустроенным барским кабинетом. Окна выходили в сад.

Процесс опрощения уже сказывался во всем, начиная с блузы хозяина. Писал он за небольшим столом. На ставне у входа висело платье и еще что-то — все «простецкое», как бы у мастерового или зажиточного мужика.

Затрудняюсь сказать, что, главным образом, вызывало во мне желание быть у Л. Н. именно в тот раз, но я отчетливо помню: это был визит ему, только ему, я не имел намерения быть вхожим в дом, сойтись с его семейством, посещать их вечера.

И так случилось, что он сам тут же, в начале разговора, стал с тихим юмором и откровенностью (которая показывала, как он сделался *далек* от рода жизни и привычек своей семьи), говорить на ту тему, как «господа» безобразно живут, как они жестоко относятся к своей прислуге, как вообще они «беса тешат».

— Я вот на днях говорю своим дамам: «Как вам не стыдно так жить?» Костюмированный бал у генерал-губернатора... Разрядятся и оголят себе руки и плечи. Им с полгоря: под шубой и в теплых комнатах... А кучер-старик должен на двадцатиградусном морозе ждать их до четырех часов ночи. Хоть бы к нему почувствовали жалость.

Это вступление дало тон и всей дальнейшей беседе. Вы уже имели дело с человеком, который как раз в ту полосу своей жизни проходил через страстное отрицание всего суетного, себялюбивого, хищного и бессмысленного, чем сытые господа услаждают свое праздное существование. И в том, что предметом его обличений явились сейчас его же «дамы», не было ничего удивительного.

Вспоминаю, что мне хотелось слышать от Л. Н. о его знакомстве с Прудоном, который жил в Брюсселе*, эмигрантом, как раз в то время, когда Толстой и

семейство кн. Д[ондуко]вых-К[орсако]вых проживали также в Брюсселе.

Прудоном я в первой половине 70-х годов немало занимался, в особенности его судьбой, личной житейской дорогой, дружескими связями и самыми кровными интересами, что так ярко и обильно содержится в его обширной корреспонденции (до 14 томов), которую я в те годы обработывал в «Вестнике Европы» * в целом ряде статей, не подписанных моим полным именем.

К идеям Прудона, особенно к его обличениям буржуазного государства, Толстой мог и тогда, в Брюсселе, иметь симпатию, да и к личности Прудона, ко всему демократическому складу его натуры, к его спартанским правилам, к моральному аскетизму, который сидел в этом французском мужике.

И вот это именно обращение к памяти о Прудоне (о котором, насколько я припоминаю, я не услыхал от Л. Н. каких-нибудь особенно ценных подробностей) вызвало во мне желание коснуться вопроса, который позднее сделался камнем преткновения для тех, кто хотел бы видеть в каждом поступке вероучителя полное соответствие с сутью его проповеди.

Это — вопрос о нем, как об имущем, даже богатом помещике, о его наследственных владениях, о том, почему он, хоть сам и опростился, допускает, чтобы его семья *на его средства* проживала доходы с земли, которая, по его убеждениям, должна была бы целиком принадлежать тем, кто ее обработывал. Тогда уже начались в интеллигентных кругах такие толки, и мне, относившемуся симпатично к его социальным протестам, было неприятно чувствовать и сознавать, что тут есть несомненное противоречие и что *такому* человеку нельзя защищаться тем, что это его *личное* дело. Его жизнь и его поступки принадлежали уже *всем,* кого он призывал к другим этическим и общественным идеалам.

Разговор о Прудоне дал мне прямой повод сказать Л. Н. следующее:

— Вы знавали Прудона. В своей семейной жизни он был настоящий французский мужик. И если б он был ваших нетерпимых взглядов на барскую собственность, он не стал бы отговариваться тем, что не желает никакого насилия над близкими людьми, а заставил

бы их отказаться от дарового пользования земными благами, которые они сами не заработывали; не только не позволил бы он им проживать то, что сам имел, да и их-то наследственной собственностью запретил бы им пользоваться, считая ее узурпацией и воровством.

Подлинного ответа Л. Н. я не записал; но он, вероятно, ответил мне так же, как и многим другим, даже и гораздо позднее, когда его отрицание всякого имущественного захвата пошло еще дальше. Он должен был согласиться со мною в том, что Прудон поступил бы так, как я говорю, и не стал бы смущаться тем, что не имеет якобы права лишать «своих» того комфорта, к которому они привыкли. Прудон был настолько мужик, что обедал один, а жена ему прислуживала.

Л. Н. принципиально не защищал себя, прекрасно сознавая, что нельзя этого сделать без натяжки: он как бы признавался в своей слабости к близким ему существам, хотя, как мы видели, и способен был и тогда так откровенно и даже беспощадно указывать на их образ жизни, который поддерживал ведь теми средствами, какие шли от *него* же.

Я испытал на себе обаяние тона и манер Л. Н., когда он желал быть тем, что француз называет: «un charmant» [1]. Спорить с ним не хотелось. Спора у нас и не вышло. Но я вынес тогда такое чувство, что *лучше* будет читать то, что выйдет из-под его пера, чем рисковать в дальнейших беседах нежелательными их осложнениями.

III

Последнее мое посещение Л. Н. было летом 1882 года.

Тогда я задумал поездку на Волгу и, уже заинтересованный сектантским движением, попросил Л. Н. дать мне письма к крестьянину Сютаеву и к кому-нибудь из выдающихся молокан где-нибудь на Волге, с которыми он находился уже в сношениях. И они считали его тогда еще своим «братом во Христе». Это было еще до появления в печати его окончательного profession de foi [2],

---

[1] очаровательный *(франц.)*.
[2] изложение взглядов *(франц.)*.

где «Иисус из Назарета» является только учителем божественной правды, а не второй «ипостасью божества». Позднее, когда я подробнее изучал религиозную жизнь молокан (главным образом, в Рязанской губернии), собирая материалы для своей повести «Исповедники», я нашел уже у молокан и баптистов совсем другое отношение к Толстому. Некоторые прямо считали его «антихристом».

Сколько помнится, Л. Н. принял меня в комнате, которая напоминала ту, где я его нашел вечером с Майковым и Фетом. Окна выходили, кажется, в сад. Как будто Л. Н. оставался один в городе. Я что-то не помню, чтобы в доме была и семья его.

Он мне дал записку к Сютаеву и к одному влиятельному молоканину в Самаре. С Сютаевым мне почему-то не удалось видеться, а самарского молоканина я нашел больным, в постели, но он много со мной беседовал. В коротком письме Л. Н. называл его «братом» и писал ему на «ты».

Тогда он находился, как мне думается, в самом *остром* кризисе своего писательского «отступничества», если мне позволят это выражение, которое я считаю в данном случае совершенно правильным. Он, как говорится, «и слышать не хотел» о возвращении к писательской работе художника. Не предвидел он тогда, сколько раз придется ему нарушать этот обет художнического «абсолютизма», браться и за перо автора «Анны Карениной», кроме своих поучительных писаний, в разное время давать такие вещи, как «Крейцерова соната», «Хозяин и работник» и, наконец, «Воскресение». Да и теперь, уже на самом крайнем склоне своего пути, он не открещивается более от замыслов чисто беллетристических вещей и пишет их, вероятно, с такой же любовью, как и в былое время.

Тогда вот я и услыхал от него характерную фразу насчет своего писательства, которую имел уже повод привести в печати. Когда я выразил сожаление насчет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так:

— Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состаревшейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: «Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки!»

При этом он перед словом «француженка» употребил крепкое русское словцо. И это было сказано в добродушном тоне, с таким спокойным юмором, что оставалось только... принять это без всякого протеста. Но было все-таки неловко слышать от самого Толстого приговор творческой работе автора «Казаков», «Анны Карениной» и «Войны и мира». Если все это можно было сравнить с кафешантанными куплетами, то что же оставалось каждому из нас для оценки собственной писательской работы?

Но жизнь сильнее, и она незаметно довела Л. Н. до измены тогдашнему своему аскетическому запрету, временно наложенному на самое великое и неумирающее, что было и есть в его жизни и творческой душе, чем он так обогатил историю всемирной изящной словесности.

С тех пор мы не видались. Несколько зим мы жили одновременно в Москве. Но я не ездил в его дом, не искал и бесед с ним с глазу на глаз. Его духовная эволюция (извиняюсь за это неприятное *ему* слово) пошла по такому пути, что избежать принципиальных разговоров, а стало быть, и прений, было бы невозможно, особенно при известном темпераменте. Я уже раз сказал Л. Н., что спорить с ним не могу и не хочу. А являться просто в качестве посетителя знаменитости я тоже не находил отвечающим тому образу поведения, какое я, в моей долгой жизни, усвоил себе со всякими знаменитостями.

И мне было часто очень неприятно за нашего великого писателя от постоянной болтовни о нем в обывательских домах разного сорта в Москве в те годы, от которой нельзя было никуда уйти. И все эти, даже и самые частые, посетители ничего действительно ценного не сообщали о нем. А большинство воспоминаний, заметок, писем о посещении Ясной Поляны часто носили на себе, да и теперь еще носят, такой подслащенный тон, который и самому яснополянскому мудрецу вряд ли может быть приятным.

От лиц, близких Л. Н., я слыхал, что его отношение ко мне, как его младшему собрату по беллетристике, оставалось сочувственным и для меня лестным во всех смыслах *. Фактическое подтверждение этого я получил тотчас после избрания меня в почетные академики,

Когда я делал визит покойному Сухомлинову, тогда председателю «разряда изящной словесности», он сообщил мне «конфиденциально», что Л. Н. на записке, которую тогда подавали или посылали до баллотировки шарами, вместо шести имен, написал только одно — мое *, сделав при этом особенно лестное для меня замечание.

Я счастлив тем, что могу кончить этой нотой мои слишком скудные воспоминания. Я хотел унести из жизни образ автора самых прекрасных произведений родной литературы.

Москва, февраль 1908 года.

ОТ ГЕРЦЕНА ДО ТОЛСТОГО

(Памятка за полвека)

I

Полвека и даже больше проходит в моей памяти, когда я сближаю те личности и фигуры, которые все уже кончили жизнь: иные — на каторге, другие — на чужбине. Судьба их была разная: одни умирали в Сибири колодниками (как, например, М. Л. Михайлов); а другие не были даже беглецами, изгнанниками (как Г. Н. Вырубов), но все-таки доживали вне отечества, превратившись в «граждан» чужой страны, хотя и по собственному выбору и желанию, без всякой кары со стороны русского правительства.

Один в этом списке Л. Н. Толстой кончил дни свои на родине и никогда не покидал ее, как изгнанник. Но разве он также не был «нелегальным» человеком в полной мере? И если его не судили и не сослали без суда, то потому только, что власть боялась его популярности и прямо не преследовала его, но все-таки он умер официально отлученным от государственно-полицейской православной церкви *.

В тех воспоминаниях, какие я здесь предлагаю, сгруппирована добрая дюжина имен. Это люди, принадлежащие к различным поколениям. Те два писателя, каких я поставил на двух крайних концах, — Герцен и Толстой — были старше меня, как и некоторые другие в этой группе: Герцен — на целых двадцать четыре года, а Толстой — только на восемь лет; он родился в 1828

году (также в августе), я — в 1836 году. И другие, серьезно пострадавшие или только очутившиеся в изгнании, принадлежали к старшему, сравнительно со мною, поколению, как, например: Чернышевский, Лавров, Михайлов. С одним эмигрантом, умершим на чужбине, с В. И. Жуковским *, я был ближайший сверстник, старше его, быть может, на два, на три года. Случилось так, что я держал вместе с ним экзамен в Петербургском университете в сентябре 1861 года, перед самым закрытием его после студенческих волнений. Один эмигрант был моложе меня — Ткачев. Кажется, он один из самых молодых в этой группе.

Расскажу я о них не в хронологическом порядке моего личного или заочного знакомства с ними, а по их значению для всей нелегальной России, почему и начинаю с Герцена, хотя сошелся я с ним только в зиму 1869—1870 года в Париже. А таких эмигрантов из ссыльных, как Михайлов, Чернышевский, Лавров, Жуковский, Ткачев, — знал гораздо раньше, еще с 1860 года и даже еще раньше, как, например, Михайлова: с ним я встречался еще тогда, когда я начинающим драматургом привез в Петербург свою первую комедию. Это было в кабинете Я. П. Полонского, одного из редакторов журнала «Русское слово».

II

Герцен!

Нет личности и фигуры в нелегальном мире русской интеллигенции более яркой и даровитой, чем этот москвич 30-х годов, сочетавший в себе все самые выдающиеся свойства великорусской натуры, хотя он и был незаконное чадо от сожительства немки с барином из рода Яковлевых, которые вместе с Шереметьевыми и Боборыкиными происходят от некоего Комбиллы, пришедшего «из Прусс» (то есть от балтийских славян) со своей дружиной в княжение Симеона Гордого.

На всем моем долгом веку я не встречал русского эмигранта, который по прошествии более двадцати лет жизни на чужбине (и так полной всяких испытаний и воздействий окружающей среды) остался бы столь ярким образцом московской интеллигенции 30-х годов на барско-бытовой почве. Стоило вам, встретившись с ним (для меня это было мельком в конце 1865 года в Же-

неве), поговорить десять минут, или только видеть и слышать его со стороны, чтобы Москва его эпохи так и заиграла перед вашим умственным взором. Вся посадка тела и головы, мимика лица, движения, а главное — голос, манера говорить, вся музыка его интонаций — все это осталось нетронутым среди переживаний долгого заграничного скитальчества.

Из тогдашних русских немного моложе его был один, у кого я находил всего больше, если не физического сходства с ним, то близости всего душевного склада, манеры говорить и держать себя в обществе: это было у К. Д. Кавелина, также москвича почти той же эпохи, впоследствии близкого приятеля эмигранта Герцена. Особенно это сказывалось в речи, в переливах голоса, в живости манер и в этом чисто московском говоре, какой был у людей того времени. Они легко могли сойти за родных даже и по наружности.

На Александре Ивановиче, как известно, житье за границей больше всего отлиняло в его стиле в виде частого употребления не совсем русских оборотов и иностранных слов, которые он переделывал на свой лад. В этом он был более «эмигрант», чем многие наши писатели, начиная с Тургенева; а ведь тот, хоть и не кончил дни свои в политическом изгнании, но умер также на чужбине и, в общем, жил за границей еще дольше Герцена, да еще притом в тесном общении с семьей, где не было уже ничего русского. И в его печатном языке не видно того налета, какой Герцен стал приобретать после нескольких лет пребывания за границей с конца 40-х годов, что мы находим и в такой вещи, как «С того берега» — в книге, написанной вдохновенным русским языком, с не превзойденным никем жанром, блеском, силой, мастерством диалектики. Но и тут вы уже наталкиваетесь на следы влияний жизни среди иностранцев.

III

Когда я сходился с Герценом осенью 1869 года, он по внешности был почти таким, каким является на портрете работы художника Ге*, экземпляр которого принадлежал когда-то Евгению Утину и висел у него на квартире еще до его женитьбы.

Красивым его лицо нельзя было назвать, но я редко видал более характерную голову с такой своеобразной, живой физиономией, с острыми и блестящими глазами, с очертаниями насмешливого рта, с этим лбом и седеющей шевелюрой. Скульптор Забелло сумел схватить посадку головы и всю фигуру со сложенными на груди руками в статуе, находящейся на кладбище в Ницце, только, как это вышло и на памятнике Пушкина в Москве, Герцен кажется выше ростом. Он был немного ниже среднего роста, не тучной, но плотной фигуры.

Истинным духовным удовольствием были для всех, кто пользовался его обществом, те беседы, которые так согревались и скрашивались его искрометным умом, особенно за столом в ресторане или в кафе за стаканом грога. Редко можно было встретить такого собеседника даже и среди французов или южан-итальянцев и испанцев. При таком темпераменте рассказчика и, когда нужно, оппонента, защитника своих идей, Герцен, конечно, овладевал беседой, и при нем трудно было другому вставить что-нибудь в общий разговор. И он не знал устали, мог просидеть за столом до петухов, и беседа под его обаянием все разгоралась.

По-французски он говорил бойко, так же как и писал; но мы и тогда находили, что он все-таки остался в своем произношении и манере говорить москвичом 40-х годов, другими словами: он произносил по-французски, а думал по-русски.

О его последней болезни и смерти я писал в свое время и резюмировал итоги нашего знакомства в книге «Столицы мира». А писателем я занимаюсь во втором (еще не изданном) томе моего труда о романе в XIX столетии * в двух отдельных главах «Личность и судьба писателя» и «Главные вехи русского романа». Повторяться я не хочу, хотя и очень нелегко отрываться от памяти о таком «эмигранте», как Герцен, об этом, без сомнения, даровитейшем и типичнейшем москвиче, который так страстно и преданно выступал бойцом за все, что Запад Европы написал на своем освободительном знамени.

Не могу не повторить того, что мы уже чуяли тогда в Герцене под блеском его беседы затаенную грусть,

тяжкое сознание того факта, что прервалась его героическая эпопея, когда «Колоколом» зачитывалась вся Россия. Он начал тосковать от своей жизни скитальца, как бы без определенного призвания, который видел, что и в Европе его идеи точно сданы в архив. А ведь это было всего за год до падения Второй империи.

Умер он в январе 1870 года (по новому стилю), когда ему шел всего пятьдесят восьмой год.

IV

Александр Иванович был первый эмигрант (и притом с такой славой и обаянием на тогдашнюю передовую Россию), которому довелось испытать неприязненные нападки от молодых русских *, бежавших за границу после выстрела Каракозова *.

До того Герцен оставался единственным эмигрантом на виду, вплоть до прекращения лондонского издания «Колокола». А тут явились «нигилисты» новой формации, и они сразу повели против него подкопы; кончилось это тем, что он принужден был, защищая себя, «отчитать» их в печати, показать всю суть их поведения. Для них Герцен — автор «С того берега», водрузивший на чужбине первый вольный русский станок, издатель «Колокола», поднявший до такой высоты наше общественное самосознание, — все это как бы уже не существовало, и они явились в роли самозванных судей его личности и поведения. Но разлад начался раньше, со свидания с ним в Лондоне Чернышевского, тогда уже властителя дум самого крайнего слоя русской молодежи.

Они не понравились друг другу и не могли понравиться *. Чернышевский приехал с претензией поучать Герцена *, на которого он смотрел как на москвича-либерала 40-х годов, тогда как себя он считал провозвестником идей, проникнутых духом коммунизма. Когда я познакомился с Герценом, я понял, до какой степени личность, и весь душевный склад, и тон Чернышевского должны были неприятно действовать на него.

С Чернышевским я лично знаком не был; но я начал свое писательство в Петербурге в годы его популярности, и мне как фельетонисту журнала «Библиотека для

чтения» (который я позднее приобрел в собственность) привелось говорить о тех полемических походах, какие Чернышевский вел тогда * направо и налево. Я слышал его публичную беседу, посвященную памяти Добролюбова *, только что перед тем умершего. Тема этой беседы была: желание показать публике, что Добролюбов не был нисколько выучеником его, Чернышевского, что он очень быстро занял в «Современнике» самостоятельное положение. Намерение было великодушное и говорило как бы о скромности лектора; но тон беседы, ее беспрестанные обращения к аудитории, то, как он держал себя на эстраде, его фразеология и вплоть до интонаций его голоса — все, по крайней мере во мне, не могло вызвать ни сочувствия, ни умственного удовлетворения. Сиди среди его слушателей Герцен, я думаю, что его впечатление было бы такое же.

Чернышевский и Герцен — это были продукты двух эпох *, двух обществ, двух интеллигенций. И оценка Герцена Чернышевским была тем зарядом, которым зарядились новые эмигранты и довели себя до тех беспощадных обличений, какими наградил их Герцен.

V

В нашей эмиграции более чем за полвека не было другого примера той нежной и глубокой дружбы, какая соединяла таких двух приятелей, как Герцен и Николай Огарев.

Это была не только у нас, но и во всей Европе совершенно исключительная душевная связь. Известно из воспоминаний Герцена («Былое и думы»), как зародилась эта дружба и через какие фазы она перешла. На Воробьевых горах произошла клятва во взаимной приязни двух юношей, почти еще отроков. Тогда уже в них обоих жили задатки будущих «свободолюбцев», намечена была их дальнейшая судьба общественных борцов, помимо их судьбы, как писателей.

Оба рано выступили в печати: один — как лирический поэт, другой — как автор статей и беллетристических произведений. Но ссылка уже ждала того, кто через несколько лет очутился за границей сначала с русским паспортом, а потом в качестве эмигранта. Огарев

оставался пока дома — первый из русских владельцев крепостных крестьян, отпустивший на волю целое село; * но он не мог оставаться дольше в разлуке со своим дорогим «Сашей» * и очутился наконец в Лондоне как ближайший участник «Колокола».

Влияние Огарева на общественные идеи Герцена все возрастало в этот лондонский период их совместной жизни. То, что в Герцене сидело с молодых лет народнического, — преклонение перед крестьянской общиной и круговой порукой, — получило при участии Огарева в «Колоколе» характер целой доктрины, и не будь Огарев так дорог своему другу, вряд ли бы тот помещал в своем журнале многое, что появлялось там с согласия и одобрения главного издателя.

Про Огарева у нас мало писали. И его поэтическое дарование стали оценивать только в самое последнее время. Перипетии их дружбы с Герценом тоже не были освещены в печати во всех подробностях. Не соединяй их такая нежная дружба, в их интимной судьбе случилось нечто, что, вероятно бы, заставило и приятелей разойтись. Вторая жена Огарева стала подругой Герцена *. От него у нее была дочь Лиза, которая формально считалась Огаревой; но была несомненно третья по счету дочь Александра Ивановича. Но это не охладило того чувства, каким дышал Герцен к своему «Коле» вплоть до последних минут своей жизни. Когда он умирал в Париже, он не переставал беспокоиться, не пришла ли депеша от его Коли. Это дало мне как беллетристу мотив рассказа, появившегося в газете под заглавием «Последняя депеша»... *

Да, такой дружбы не было в русской эмиграции, да и во всей писательской среде.

VI

Огарева видел я всего раз в жизни, и не в Лондоне или в Париже, а в Женеве, несколько месяцев после смерти Герцена, во время франко-прусской войны. Он не приезжал в Париж в те месяцы, когда там жил Герцен с семьей, а оставался все время в Женеве, где и А. И. жил прежде домом по переезде своем из Англии.

И вот жизнь привела меня к встрече с Огаревым именно в Женеве, проездом (как корреспондент) с театра войны в юго-восточную Францию, где французские войска еще держались. И я завернул в Женеву, главным образом, вот почему: туда после смерти Герцена перебралась его подруга Огарева со своей дочерью Лизой, а Лиза в Париже сделалась моей юной приятельницей; я занимался с нею русским языком, и мы вели обширные разговоры и после уроков, и по вечерам, и за обедом в ресторанах, куда Герцен всегда брал ее с собой.

Лиза была не по летам развитая девочка: в двенадцать лет похожа была на взрослую девицу по разговору, хотя по внешности не казалась старше своих лет; с миловидностью почему-то английского типа, с двумя выдающимися зубами верхней челюсти, с забавным англо-французским акцентом, когда говорила по-русски, со смесью детскости, с манерами и тоном взрослой девицы. Она не говорила Герцену «папа», а называла его и в его присутствии «Александр Иваныч», с сильной картавостью.

Мне захотелось по пути повидаться с этой милой «подружкой», которая позднее послужила мне моделью в романе «Дельцы» * (а после ее самоубийства * уже взрослой девушкой я посвятил ее памяти рассказ «По-русски», в виде исповеди матери).

Точно какая фея послала мне Лизу, когда я, приехав в Женеву, отыскивал их квартиру. Она возвращалась из школы с ученической сумкой за плечами и привела меня к своей матери, где я и отобедал. С ее матерью у меня в Париже сложились весьма ровные, но суховатые отношения. Я здесь не стану вдаваться в разбор ее личности; но она всегда при жизни Герцена держала себя с тактом в семье, где были его взрослые дочери, и женой она себя не выставляла.

Обедать пришел и Огарев. Тогда (то есть, в конце 1870 года) это был сильно опустившийся больной человек, хотя еще не смотрел стариком, с черными волосами, без заметной седины. Не одному мне было известно, что он давно страдал русским недугом алкоголизма. За столом он упорно молчал, и я не помню, чтобы он сказал хоть что-нибудь такое, что могло бы сохраниться в моей памяти. Впечатление производил он довольно тяжкое.

Я знал уже и раньше, что он находится в сожительстве с англичанкой, скромной девушкой, которая ходила за ним, как сиделка. Прежнего Огарева — поэта и политического писателя не осталось и следа в этом «живом трупе». Но какая игра судьбы, которая свела бывших супругов за этим обедом, где хозяйка приготовила для нас русские щи!

VII

Отступая несколько назад, я приведу подробности моего личного знакомства с М. А. Бакуниным, этим первоначальным насадителем анархизма, в котором он очутился выучеником Прудона, в Париже в конце 40-х годов. Оба они были воинствующие гегельянцы, и Бакунин после фанатического оправдания всякой действительности (когда сам начитывал Белинскому гегельянскую доктрину) успел превратиться сначала в революционера на якобинский манер и произвести бунт у немцев, был ими захвачен и выдан русскому правительству, насиделся в сибирской ссылке и бежал оттуда через Японию в Лондон *, где состоял несколько лет при Герцене и в известной степени влиял на него, особенно в вопросе о польском восстании. Если популярность Герцена покачнулась в России, то именно из-за польского восстания, и в этом главным виновником надо было считать все того же Бакунина *.

В Лондоне я к Герцену не ездил, и первое мое пребывание там относится к лету 1867 года, когда Герцен с Огаревым и Бакуниным перебрались уже на континент.

О Бакунине я и раньше слыхал часто и помногу от разных посетителей Герценовой гостиной в Лондоне, в том числе от А. Ф. Писемского, который прекрасно передавал его тон и даже интонации его зычного, как бы протодьяконского голоса (хотя он и ничего общего с духовным званием не имел, а был и остался характерным российским дворянином, тверским экс-помещиком и московским интеллигентом 30-х годов).

Он стал ездить на те конгрессы «Мира и свободы» *, которые собирались в конце 60-х годов в Швейцарии. Первый состоялся в Женеве. Я на него не попал, но попал на второй и на третий конгрессы, бывшие в Берне

и в Базеле. Тогда-то я и познакомился с этим страшным упразднителем всей цивилизации по рецепту непримиримого анархизма.

Об этих встречах мне приходилось уже говорить* в моих воспоминаниях, и я не хотел бы здесь повторяться. Но как же не сказать, какая живописная и архирусская бытовая фигура являлась в лице этого достолюбезного Михаила Александровича? Таких и на Руси его эпохи не нашлось бы и полдюжины.

Все в нем дышало дворянским побытом, все: и колоссальная фигура, и жест, и голос, и язык, и манера одеваться. На нем еще менее, чем на Герцене, отлиняла долгая жизнь за границей.

VIII

С Бакуниным, как я сказал, мы видались на обоих съездах в Берне и Базеле. Он был уже хорошо знаком с моим покойным приятелем Г. Н. Вырубовым; тот тоже приезжал на эти съезды и даже выступал на них как оратор.

Создатель европейского анархического Интернационала*, когда-то гвардейский офицер и тверской помещик, обладал прирожденным красноречием. По-русски он при мне не произносил речей, но по-французски выражался красиво, а главное — сочно и звучно своим протодьяконским басом.

В памяти моей сохранилась такая забавная подробность. Когда Бакунин (это было на Бернском съезде) с кафедры громовым голосом возгласил, что в России «все готово к политико-социальной революции», мы с Вырубовым переглянулись, особенно после заключительной фразы, будто бы «таких, как он, в России найдется до сорока тысяч».

В коридоре Вырубов остановил его и говорит:

— Михаил Александрович, побойтесь бога! Да таких, как вы, не только сорока тысяч не найдется у нас, а даже и двоих-троих.

Бакунин добродушно рассмеялся своим могучим грудным смехом. Вообще он, хоть и был жесток в своих полемиках, обезоруживал добродушием и какой-то не-

умирающей наивностью. Нельзя было хмуриться на него и за то, что он проповедовал.

Все это уже tempi passati[1], и теперь Бакунин, наверно, на оценку наших экстремистов, являлся бы отсталым старичиной, непригодным для серьезной пропаганды. Тогда его влияние было еще сильно в группах анархистов во Франции, Италии и даже Испании. Но он под конец жизни превратился в бездомного скитальца, проживая больше в итальянской Швейцарии, окруженный кучкой русских и поляков, к которым он всегда относился очень благосклонно.

Вот еще одна подробность из дней Бернского съезда. Сидели мы рядом с Вырубовым в коридоре; проходит Бакунин своим грузным, скрипучим шагом и, кивая на нас головой, кидает во всеуслышание:

— Вот сидят попы науки.

Так он называл сторонников позитивной философии.

Но в его анархизме было много такого, что давало ему свободу мнений; вот почему он и не попал в ученики к Карлу Марксу и сделался даже предметом клеветы: известно, что Маркс заподозрил его в роли агента русского правительства *, да и к Герцену Маркс относился немногим лучше *.

После съезда в Базеле больше мы с Бакуниным не встречались. Меня потянуло на родину; а из отечества я отсутствовал более четырех лет!

IX

Надо опять отступить назад к моменту освобождения крестьян, то есть к марту 1861 года, так как манифест был обнародован в Петербурге не 19 февраля, а в начале марта, в воскресенье на масленице. Тогда я проводил первую свою зиму уже писателем, который выступил в печати еще дерптским студентом в октябре предыдущего 1860 года.

В Дерпте, где я в течение целых пяти лет изучал химию, естественно-медицинские науки, я выпускного экзамена не держал и решил приобрести кандидатский диплом по юридическому факультету, для чего и записался

---

[1] прошлое *(итал.)*.

на второе полугодие 1860—1861 года в число вольных слушателей Петербургского университета. Это сблизило меня с несколькими кружками студентов и в том числе с одним очень передовым, где вожаком считался Николай Неклюдов (впоследствии сановник, товарищ министра внутренних дел) и некий Михаэлис, брат г-жи Шелгуновой, а чета Шелгуновых состояла в близком приятельстве с известным уже писателем М. Л. Михайловым.

Он как политический деятель прошел очень быстро, почти мгновенно. Не только теперь о нем многие забыли, но и тогда его тяжкая судьба (каторжные работы) разразилась совершенно внезапно. Даже в тогдашнем Петербурге его знали мало, а если и знали, то как писателя, беллетриста и автора литературных статей, а не как политического агитатора. У него тогда (то есть к году его процесса) было уже прошлое как у писателя, и довольно большое. Он еще в 50-х годах сделал себе имя как беллетрист и печатался в лучших журналах — в «Современнике» и в «Отечественных записках». Его перу принадлежал и обширный бытовой роман из актерского мира в провинции: «Перелетные птицы».

Эпоха реформ произвела в его внутреннем «я» быстрый переворот. Он из беллетриста и стихотворца (как известный уже переводчик песен Гейне) превратился в работника по экономическим вопросам, по политике и публицистике, сделался сторонником самых тогда «разрывных» идей, почитателем таких мыслителей, как С[ен]-Симон, Л[уи]-Блан, Прудон. Его потянуло за границу и сильнее всего в Лондон, к Герцену. Эта поездка решила его судьбу. Там он и сделался более пылким революционером и оттуда привез с собою ту прокламацию, которая загубила его. Он ее пустил в ход как раз после манифеста 19 февраля и оставался сам в Петербурге вместо того, чтобы переждать и, может быть, совсем не явиться на родину.

X

Тут я должен опять зайти к годам моего отрочества. Это было в Нижнем в конце 40-х годов. Я учился в тамошней гимназии до 1853 года, жил и воспитывался в

доме моего деда. И тогда уже я знал, что в нашем городе проживает некто Михайлов, племянник советника соляного правления, который ездил с визитами к моему деду; но этот племянник в наш дом вхож не был. С ним водил знакомство по клубу мой дядя, брат матери, человек умный, с образованием, любознательный и общительный. От него я, вероятно, и слыхал впервые про этого Михайлова; видал его только на улице и даже, вопреки моей большой близорукости, разглядел, что он отличался выдающейся некрасивостью лица: что-то инородческое, донельзя не «авантажное», как говорили еще тогда в провинции.

Эти Михайловы были сибиряки или из Приуральского края, чем и объяснялось его такая инородческая некрасивость, но от дяди я знал, что он «из университетских», очень умный, веселый и речистый остряк и уже тогда пописывал. Несколько позднее я стал читать и его рассказы и повести. Один из этих рассказов до сих пор остается у меня в памяти — «Кружевница», вместе с содержанием и главными лицами его романа «Перелетные птицы». В нем я узнавал актеров и актрис тогдашнего Нижегородского театра: первый актер Милославский, впоследствии известный антрепренер на юге, и сестры Стрелковы (в романе они называются Бушуевы), из которых старшая Ханея Ивановна попала в Московский Малый театр и играла в моей комедии «Однодворец» уже в амплуа старух, нося имя своего мужа Таланова. Мы — гимназисты, жадные до чтения журналов, — приписывали Михайлову и ряд очень бойких очерков бытовой жизни на Нижегородской ярмарке в журнале «Москвитянин».

У нас с Михайловым были встречи в конце 1858 года и в начале 1861 года, и оба раза в Петербурге.

В первый раз это случилось в кабинете Я. П. Полонского, тогда одного из редакторов кушелевского журнала «Русское слово». К нему я попал с рукописью моей первой комедии «Фразеры», которая как раз и погибла в редакции этого журнала и не появлялась никогда ни на сцене, ни в печати. На сцену ее не пустила театральная цензура.

У Полонского я и нашел Михайлова и в первый раз в жизни мог поближе разглядеть его, слышать его голос и манеру вести разговор. На мои слова, что я и

раньше видал его, Полонский (они были на «ты») воскликнул:

— Где же? Наверно, в каком-нибудь неприличном месте?

Оба они рассмеялись. И это приятельское замечание и тогда меня не особенно покоробило. Я уже из Нижнего вывез такое мнение, что Михайлов, несмотря на свою архинекрасивую внешность, имел репутацию любителя женского пола и считался автором довольно-таки эротических куплетов на тему о жизни девиц в веселой слободке на Нижегородской ярмарке.

XI

Позднее, когда я уже жил в Петербурге, молодым писателем, я всего на несколько минут столкнулся с ним у Писемского. Я шел к нему в кабинет, а Михайлов выходил оттуда.

Писемский, лежа на клеенчатом диване, как всегда в халате и с раскрытым воротом ночной рубашки, говорил мне:

— Вот сейчас Михайлов спрашивает меня: «Алексей Феофилактович, куда у меня литературный талант девался? А ведь я писал и рассказы и романы». А я ему в ответ: «Заучились, батюшка, заучились, все вопросами занимаетесь, вот талант-то и улетучился».

И это было, в сущности, верно. Идеи, социальные вопросы, политические мечты и упования отвлекли его совсем от интересов и работы беллетриста.

В третий и последний раз я нашел его случайно в том студенческом кружке, где вожаком был Михаэлис, его приятель и родной брат г-жи Шелгуновой.

Целая компания молодежи сидела вокруг самовара вечерком и среди них — Михайлов. В руках его был экземпляр манифеста об освобождении крестьян. Он жестоко нападал на него, не оставлял живой ни одной фразы этого документа, написанного велеречиво с приемами семинарского красноречия и чиновничьего стиля. Особенно доставалось фразе, которую приписывали тогда московскому митрополиту Филарету: «от проходящего до проводящего» *.

Вся эта компания была настроена очень радикально, прямо бунтарски. И, кажется, тогда же я и видел листок той прокламации, которая погубила Михайлова. Получил ли я этот листок от самого автора или от его приятеля Михаэлиса, не припомню. Но я больше с Михайловым уже не встречался.

На нынешнюю оценку, содержание и тон этого документа были бы признаны совсем не такими ужасными: повели бы за собою ссылку, пожалуй, и в места довольно-таки отдаленные, но вряд ли каторжные работы на долголетний срок с лишением всех прав состояния.

По Петербургу ходила потом запрещенная фотографическая карточка, где Михайлов сидит на барабане, когда его только что остригли, в солдатской шапке и в сером арестантском балахоне; портрет очень похожий, с его инородческими глазами и всем обликом сибирского уроженца.

Успех этой карточки показывал, что в петербургской публике им уже интересовались. Но кто? Исключительно, я думаю, молодежь. Я не помню, чтобы его процесс и приговор волновали всех *. Во всяком случае, гораздо меньше, чем впоследствии процесс и гражданская казнь Чернышевского.

Но этот быстрый поворот в судьбе писателя-беллетриста показывал, какой толчок дало русской более восприимчивой интеллигенции то, что «Колокол» Герцена подготовлял с конца 50-х годов.

Если Чернышевский мог во время своего процесса упорно отстаивать свою невиновность, то Михайлову было труднее отрицать, что он составитель прокламации *. А Чернышевский был приговорен к каторге только по экспертизе почерка его письма к поэту Плещееву; * ее производили сенатские обер-секретари, да и они далеко не все признали тождество с его почерком.

XII

Из той же полосы моей писательской жизни, немного позднее (когда я уже стал издателем-редактором «Библиотеки для чтения»), всплывает в моей памяти фигура юного сотрудника, который исключительно работал тогда у меня как переводчик.

Я дал ему перевести как можно скорее только что вышедшую тогда брошюру Дж. Ст. Милля «Об утилитаризме». Мой юный сотрудник перевел ее в два дня, и когда я послал ему гонорар с секретарем редакции, тот передал мне, что его самого он не застал, а гонорар передал его матери, которая, провожая его, сказала:

— Мой Петинька уж так старается для П[етра] Д[митриеви]ча.

И это «Петинька» был не кто иной, как впоследствии жестокий нигилист, критик и эмигрант-революционер Петр Ткачев. Это был тогда недоучившийся студент самого скромного вида и тихого тона. У меня в журнале он не приспускал еще себя к литературной и публицистической критике. И я не помню, чтобы он часто посещал редакцию. Его перевод этюда Милля постигла печальная участь. Тогда все статьи философского содержания шли на цензорский просмотр в «лавру», их читал какой-то обскурант-монах, да еще имевший репутацию сильно выпивающего. И он такую невиннейшую вещь перекрестил красными чернилами всю без остатка.

Ткачев поступил в дальнейшую радикальную выучку к Благосветлову, редактору «Русского слова», а потом журнала «Дело». Там и выработался из него самый суровый и часто бранчивый критик писаревского пошиба, но еще бесцеремоннее в своих приемах и языке. Он, как известно, доходил до того, что Толстого, автора «Войны и мира», называл именем юродивого — Ивана Яковлевича Корейши! *

В Ткачеве уже и тогда назревал русский якобинец на подкладке социализма, но еще не марксизма. И его темперамент взял настолько вверх, что он вскоре должен был бежать за границу, где и сделался вожаком целой группы русских революционеров, издавал журнал, предавался самой махровой пропаганде... и кончил убежищем для умалишенных в Париже, где и умер в половине 80-х годов. Про него говорили, что он стал неумеренно предаваться винным возлияниям. Это, быть может, и ускорило разложение его духовной личности.

Вот что вышло из тихонького трудолюбивого студентика, из того «Петиньки», мать которого радова-

лась, что он так усердствовал, переводя брошюру Милля.

Ни в Петербурге, до моего отъезда из России в сентябре 1865 года, ни за границей я его не встречал больше; а его деятельность мало привлекала меня. В нем умер осколок того материалистического нигилизма и демагогического якобинства, из которых ничего плодотворного, истинно двигательного не вышло ни для людей его поколения, ни для дальнейших генераций, даже и среди эмигрантов.

XIII

Другая, совсем иных размеров фигура выплывает в памяти, опять из той же полосы моего петербургского писательства и редакторства.

Это был сам Петр Лаврович Лавров, тогда артиллерийский ученый полковник, а впоследствии знаменитый беглец из ссылки и эмигрант, живший долго в Париже после усиленной пропаганды своих идей, ряда изданий и попыток организовать революционные центры в двух столицах мира — Лондоне и Париже.

В первый раз мне привелось видеть его, когда я, еще дерптским студентом, привозил свою первую комедию «Фразеры» (как уже упоминал выше) в Петербург, и попал я к Я. П. Полонскому, одному из редакторов «Русского слова». Полонский жил тогда со своей молоденькой первой женой (русской парижанкой, дочерью псаломщика Устюшкова) в доме известного архитектора Штакеншнейдера и привел меня из своей квартиры в хозяйский обширный апартамент, где по воскресеньям давали вечера литературно-танцевальные. Там я впервые видел целый выбор тогдашних писателей: поэта Бенедиктова, Василия Курочкина, М. Семевского (еще офицером Павловского полка) и даже Тараса Шевченку, видом настоящего хохла-чумака, но почему-то во фраке, который уже совсем не шел к нему.

Полонский заставил меня дочитать мою комедию среди целого общества в гостиной, где преобладали дамы и девицы. И когда я уже кончал чтение последнего акта, вошел рослый, очень плотный рыжий полковник в сопровождении своей супруги. Это и был Лавров.

Когда потом я перешел в кабинет, где сидели литераторы, случился такой инцидент: Лавров, войдя в кабинет и не заметив меня, сидевшего в углу, громко спросил Полонского своим картавым голосом:

— А как вы находите эту комедию дерптского студента?

Раньше, еще в Дерпте, я стал читать его статьи в «Библиотеке для чтения», все по философским вопросам. Он считался тогда «гегельянцем», и я никак не воображал, что автор их — артиллерийский полковник, читавший в Михайловской академии механику. Появились потом его статьи и в «Отечественных записках» Краевского; но в «Современнике» он не писал, и даже позднее, когда я с ним ближе познакомился, уже в начале 60-х годов, не считался вовсе «нигилистом» и еще менее тайным революционером.

Как только я сделался издателем-редактором «Библиотеки для чтения», я предложил ему взять на себя отдел иностранной литературы. Он писал обзоры новых книг, выходивших по-немецки, по-английски и по-французски. Каждый месяц из книжных магазинов ему доставляли большие кипы книг; он подвергал их слишком быстрому просмотру, так что его обозрения получали отрывочный и малолитературный колорит.

Это сотрудничество повело к знакомству домами. Я бывал у него на вечеринках. У нас нашлось даже (через его племянника, блестящего правоведа) какое-то дальнее свойство от моей тетки, жившей тогда в Петербурге.

Так прошло два с чем-то года; весной 1865 года прекратилось издание моего журнала, и с 1865 по 1871 год я прожил за границей (с коротким приездом в Москву в 1866 году), и в эту полосу моей жизни я нигде с Лавровым не встречался.

XIV

Тогда-то и произошел крутой переворот в его судьбе. Из артиллерийского полковника и профессора академии он очутился в ссылке, откуда и бежал за границу, но это сделалось уже после того, как я вернулся в Петербург в январе 1871 года. В идеях и настрое-

ниях Лаврова произошло также сильное движение влево, и он из теоретического мыслителя, социолога и историка философии превратился в ярого врага царизма, способного испортить служебную карьеру и рисковать ссылкой.

Как я сейчас сказал, в это время меня не было в России. И в Париже (откуда я уехал после смерти Герцена в январе 1870 года), я не мог еще видеть Лаврова. Дальнейшее наше знакомство относится к тем годам Третьей республики, когда Лавров уже занял в Париже как вожак одной из революционных групп видное место после того, как он издавал журналы * и сделал всем характером своей пропаганды окончательно невозможным возвращение на родину.

Он продолжал много работать и как теоретик, по истории идей и эволюции общества, брал на себя обширные труды, переводные и оригинальные; писал постоянно и в русские журналы анонимно, и под псевдонимами. В этом ему помогали, оказывая материальную поддержку, его друзья и в России и за границей. Но когда я с ним видался в Париже (и у Г. Н. Вырубова, и у него на квартире), он мне казался уже сильно «сдавшим», как говорят москвичи, не в смысле верности делу эмиграции, но по своим физическим силам, бодрости и свежести душевной энергии. Он стал страдать глухотой, но в нем еще сохранились пылкость речи, увлекаемость и склонность к спорам. Сохранился и его голос, высокий и очень картавый. У Вырубова, когда мы с ним там обедали, он не вел себя как революционный вожак, хотя всегда и спорил с хозяином; но эти споры были больше теоретические.

Жил он в тесной квартирке в глубине двора на длиннейшей rue Saint-Jacques. Помню, я его нашел раз в обществе каких-то русских курсисток, они принесли ему ягод, до которых он был охотник. И, продолжая горячую беседу, он доставал вишни из пакета, ел их и выплевывал косточки.

Мое общее впечатление было такое: он и тогда не играл такой роли, как Герцен в годы «Колокола», и его «платформа» не была такой, чтобы объединять в одно целое массу революционной молодежи. К марксизму он относился самостоятельно, анархии не проповедовал; а главное, в нем самом не было чего-то, что

дает агитаторам и вероучителям особую силу и привлекательность, не было даже и того, чем брал хотя бы Бакунин.

Собственно «лавровцев» было мало и в Париже, и в русских столицах. Его умственный склад был слишком идейный. Я думаю, что высшего влияния он достиг только своими «Историческими письмами». Тогда же и в Париже, а потом в Петербурге и Москве, как известно, наша молодежь после увлечения народничеством и подпольными сообществами ушла в марксизм или делалась социал-революционерами и анархистами-экспроприаторами, что достаточно и объявилось в движении 1905—1906 годов.

XV

Опять — несколько шагов назад, но тот эмигрант, о котором сейчас пойдет речь, соединяет в своем лице несколько полос моей жизни и столько же периодов русского литературного и общественного движения. Он так и умер эмигрантом, хотя никогда не был ни опасным бунтарем, ни вожаком партии, ни ярым проповедником «разрывных» идей или издателем журнала с громкой репутацией.

Это был Владимир Иванович Жуковский.

Впервые познакомился я с ним в коридорах Петербургского университета, когда мне привелось держать там экзамен на кандидата в сентябре 1861 года. Выходит, стало быть, что мы с ним ближайшие сверстники, если не ровесники: он был, вероятно, помоложе меня года на два, на три. Я был раньше (в годы моего студенчества в Казани) товарищем его старшего брата, Григория Ивановича, сделавшего потом блестящую судебную карьеру; он кончил ее званием сенатора.

Владимир Иванович попал в эмиграцию из-за горячего сочувствия польскому восстанию*. Это послужило толчком дальнейшим его житейским мытарствам. В России он не сделался вожаком ни одной из тогдашних подпольных конспираций. Его платформа была сначала чисто политическая; а о марксизме тогда еще и разговоров не было среди нашей молодежи.

За границей я стал встречаться с ним опять в Швейцарии, где он поселился в Женеве и скоро сделался

как бы «старостой» тогдашней русской колонии; был уже женат на очень милой женщине, которая ухаживала за ним, как самая нежная нянька.

А ухаживать надо было. Жуковский оставался весь свой век большим ребенком: пылкий, увлекающийся, податливый во всякое приятельство, способный проспорить целую ночь, участвовать во всякой сходке и пирушке. В нем жил гораздо больше артист, чем бунтарь или заговорщик. Он с детства выказывал музыкальное дарование, и из него мог бы выйти замечательный пианист, предайся он серьезнее карьере музыканта.

В Женеве он поддерживал себя материально, давая уроки и по общим русским предметам, и по фортепианной игре. Когда я (во время франко-прусской войны) заехал в Женеву повидаться с Лизой Герцен, я нашел его ее учителем. Но еще раньше я возобновил наше знакомство на конгрессах «Мира и свободы», всего больше на первом по счету из тех, на какие я попадал, — в Берне.

Тогда он держался группы приверженцев Бакунина, но я не знаю, был ли он убежденный и упорный анархист; скорее сомневаюсь в этом. Слишком он любил жизнь, культурность, все приманки общественности, которая ведь создана была почти исключительно «буржуями». И никогда я не слыхал, чтобы он что-нибудь проповедовал ярко разрушительное. К Бакунину он относился с полной симпатией, быть может, больше, чем к другим светилам эмиграции той эпохи, не исключая и тогдашних западных знаменитостей политического мира: В. Гюго, Кине, немецких эмигрантов вроде, например, обоих братьев Фохт.

XVI

И так вот и скоротал он свой век, сидя все в Женеве, и представлял собою тип вечного студента 60-х годов. Не думаю, чтобы кто-нибудь брал его «всурьез», как заговорщика или влиятельного человека партии.

В последний раз виделись мы уже давно, зимой в Женеве. Это было в самом начале 90-х годов. Я тогда создавал свой большой роман «Перевал»*, который кто-то в печати назвал в шутку: «Сбор всем частям русской интеллигенции». В виде вступления я задумал

главу, где один из героев романа вспоминает о том, как он ездил «прощаться» с обломками тогдашней русской эмиграции во французскую Швейцарию. Это проделал я сам. Направляясь зимой (это было под Новый год) на французскую Ривьеру, я навестил в Женеве и Лозанне несколько эмигрантов, доживавших там свои дни. В памяти моей остались две типичные фигуры: одна в Лозанне, другая в Женеве.

Лозанский, уже пожилой эмигрант, жил в мансарде; потерял надежду вернуться на родину и переживал уже полную «резиньяцию», помирился с горькой участью изгнанника, который испытывал падение своих молодых грез и долгих упований. Но другой, в Женеве, из земских деятелей, оставался все таким же оптимистом. На прощанье он мне говорил, пожимая мне руку с блеском в глазах:

— Вы будете надо мною смеяться; но я до сих пор верую в то, что вот сейчас подкатит к подъезду нашего дома тройка, возьмет меня и помчит на родину, освобожденную от ее теперешних оков.

Дожил ли он до этого радужного момента— не знаю: ведь это было более четверти века назад. Может, и дожил!

Жуковский прибежал ко мне в гостиницу (я останавливался в Hôtel du Russie), и у нас сразу завязалась одна из тех бесконечных бесед, на какие способны только русские. Пролетело два, три, четыре часа. Отворяется дверь салона, и показывается женская фигура: это была жена милейшего Владимира Ивановича, все такого же молодого, пылкого и неистощимого в рассказах и длинных отступлениях.

— Простите, П[етр] Д[митриевич]! — начала она с тихой и тонкой усмешкой, — я пришла напомнить Владимиру Ивановичу, что надо и вас пожалеть. Он, я думаю, совсем вас заговорил!

Я ее успокоил; она вскоре удалилась, а наша беседа протянулась еще на добрый час.

Плеханова (с которым я до того не был знаком) я не застал в Женеве, о чем искренно пожалел. Позднее я мельком в Ницце видел одну из его дочерей, подруг дочери тогдашнего русского эмигранта, доктора А. Л. Эльсниц, о котором буду еще говорить ниже. Обе девушки учились, кажется, в одном лицее. Но отец Пле-

хановой не приезжал тогда в Ниццу, да и после я там с ним не встречался; а в Женеву я попал всего один раз, мимоездом, и не видал даже Жуковского.

XVII

На конгрессах «Мира и свободы» знакомился я и с другими молодыми эмигрантами, сверстниками Жуковского. Одного из них я помнил еще во время студенческих беспорядков в Петербургском университете, тотчас после моего кандидатского экзамена, осенью 1861 года. Это был Н. Утин, игравший и тогда роль вожака, бойкий, речистый, весьма франтоватый студент. С братом его, Евгением, я позднее водил многолетнее знакомство.

В Швейцарии Н. Утин считался тогда как бы главным адъютантом Бакунина*. Он выступал, кажется, и на конгрессе в Базеле, на который я попал; но что он говорил с трибуы, улетучилось из моей памяти. Я больше наблюдал ту «банду» (как ее называли), которая группировалась вокруг него: все из молодых дамочек и девиц. Одна была хорошенькая. Он держался как их староста. Какие между ними существовали отношения — распознать было нелегко. Они все говорили друг другу «ты» и употребляли особый жаргон, окликая себя: «Машка», «Сашка», «Варька»! Мне привелось долго вбирать в себя этот жаргон, очутившись с ними в одном вагоне уже после конгресса. Всю дорогу они желали «épater»[1] (как говорят французы) умышленной вульгарностью своих выражений. Дорогой они ели фрукты. И все эти дамы не иначе выражались, как:

— Мы лопали груши.

Или:

— Мы трескали яблоки.

Немало был я изумлен, когда года через два в Петербурге (в начале 70-х годов) встретился в театре с одной из этих дам, «лопавших» груши, которая оказалась супругой какого-то не то предводителя дворянства, не то председателя земской управы. Эта короста со многих слетела, и все эти Соньки, Машки, Варьки сдела-

---

[1] ошеломлять *(франц.)*.

лись, вероятно, мирными обывательницами. Они приучились выть по-волчьи в эмигрантских кружках, желая выслужиться перед своим «властителем дум», как вот такой Н. Утин.

Но и он — во что обратился с годами? Из «страшного» анархиста и коммуниста — сделался дельцом, попал в железнодорожные воротилы, добился амнистии и приехал на место с крупным окладом в Петербург, где я с ним и столкнулся раз в Михайловском театре.

Он наметил движение, как бы желая подойти ко мне и протянуть мне руку, но я уклонился и сделал вид, что не узнал его. И тогда мне сразу и так ярко представился вагон и он посреди своих амазонок, вспомнился его тон вместе с самодовольной игрой физиономии; а также тот жаргон, какому он научил своих почитательниц, всех этих барынек и барышень, принявших добровольно прозвища Машек, Сонек и Варек.

XVIII

Вторую половину 60-х годов я провел всего больше в Париже, и там в Латинском квартале я и ознакомился с тогдашней очень немногочисленной русской эмиграцией. Она сводилась к кучке молодежи, не больше дюжины, — все «беженцы», имевшие счеты с полицией. Был тут и офицер, побывавший в польских повстанцах, и просто беглые студенты за разные истории; были, кажется, два-три индивида, скрывшиеся из-за дел совсем не политических.

То, что было среди них более характерного, то вошло в сцены тех частей моего романа «Солидные добродетели», где действие происходит в Париже. Что в этих портретных эскизах я не позволял себе ничего тенденциозно-обличительного, — доказательство налицо: будь это иначе, редакция такого радикального журнала, как «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова, не печатала бы моей вещи. Но, разумеется, я не мог смотреть на эту эмиграцию снизу вверх; не мог даже считать ее чем-нибудь серьезным и знаменательным для тогдашнего русского политического движения. Тут собрался разный народ: «С борка да с сосенки». Это было тотчас после польского восстания и каракозовского

выстрела *. Трудно было и распознать в этой кучке что-нибудь вполне определенное в смысле «платформы». Было тут всего понемножку — от коммунизма до революционного народничества.

Группа в три-четыре человека наладила сапожную артель, о которой есть упоминание и в моем романе. Ее староста, взявший себе французский псевдоним, захаживал ко мне и даже взял заказ на пару ботинок, которые были сделаны довольно порядочно. Он впоследствии перебрался на французскую Ривьеру, где жил уроками русского языка, и в Россию не вернулся, женившись на француженке.

К этой же «мастерской» принадлежал, больше теоретически, и курьезный нигилист той эпохи, послуживший мне моделью лица, носящий у меня в романе фамилию Ломова *. Он одно время приходил ко мне писать под диктовку и отличался крайней первобытностью своих потребностей и расходов.

Выражение из его жаргона, что отец и мать у него «подохли», — мною не выдумано. Он, вероятно, и не стал бы отрицать его. Совершенно неожиданно явился он ко мне в Нижнем, где он проживал, кажется, в виде поднадзорного обывателя. Это было уже гораздо позднее. Хмуро-добродушно он намекал мне в разговоре на то, что в моем романе имеется лицо, довольно-таки на него похожее. Но «идейных» разговоров я ни с ним, ни с его парижским товарищем не водил. Видал я их и у моего тогдашнего приятеля Наке, когда тот отсиживал в лечебнице, приговоренный за участие в каком-то заговоре, где оказалось наполовину провокаторов. Это было в конце наполеоновской эпохи.

Эта парижская эмиграция была только первая ласточка того наплыва русских нелегальных, какие наводнили Латинский квартал в Третью республику, в особенности с конца 80-х годов, а потом — после взрыва нашего революционного движения 1905 года.

XIX

Лондон в истории русской эмиграции сыграл, как известно, исключительную роль. Там был водружен первый по времени «вольный станок», там раздавался

могучий голос Герцена; туда в течение нескольких лет совершалось и тайное и явное паломничество русских — не одних врагов царизма, а и простых обывателей: чиновников, литераторов, помещиков, военных, более образованных купцов.

Лондон долго не делался главным центром нашего политического изгнанничества. Герцен привлекал всех, но вокруг него сгруппировалась кучка больше западных изгнанников: итальянцев, мадьяр, поляков, немцев, французов. Из эмигрантов с именем были ведь только двое: Огарев и Бакунин. Остальные русские писатели, как Чернышевский или Михайлов, только наезжали. И с оставлением Герценом Лондона он потерял для русской свободной интеллигенции прежнюю притягательную силу. Кажется, первые годы после переезда Герцена на континент вряд ли осталась в Лондоне какая-нибудь политическая приманка; по крайней мере ни в 1867 году, ни в 1868 году (я жил тогда целый сезон в Лондоне) никто мне не говорил о русских эмигрантах; а я познакомился с одним отставным моряком, агентом нашего пароходного общества, очень общительным и образованным холостяком, и он никогда не сообщал мне ни о каком эмигранте, с которым стоило бы познакомиться.

Одного настоящего эмигранта нашел я, правда, в в 1867 году, хотя по происхождению и не русского, но из России и даже прямо из петербургской интеллигенции 60-х годов. О нем у нас совсем забыли, а это была оригинальная фигура и на ее судьбу накинут как бы флер некоторой таинственности.

Про него я упоминаю в моих лондонских очерках в книге «Столицы мира» и здесь вкратце напомню о нем. Это был А. И. Бенни (Бениславский), сын протестантского пастора из евреев и кровной англичанки, родившийся и воспитанный в русской Польше. Он рано выучился бойко говорить и писать по-русски, примкнул к нашему радикальному движению начала 60-х годов и отправился по России собирать подписи под всероссийским адресом царю о введении у нас конституции. Он сделался сотрудником газет и журналов и писал в моем журнале «Библиотека для чтения», был судим по какому-то политическому процессу*и, как иностранец, под-

вергся высылке из России. Я его нашел в Лондоне в сезон 1867 года. Он знакомил меня с тогдашним литературным Лондоном; но ни о каких русских эмигрантах он мне ничего не говорил. Судьба этого неудачника довела до печального конца: шальная пуля папского зуава ранила его, когда он был корреспондентом при отряде Гарибальди. И он умер от своей раны в римском госпитале, сойдя в могилу с какой-то тенью подозрений, от которых его приятель Н. С. Лесков защищал его в особой брошюре, вышедшей вскоре после его кончины *.

XX

Пролетело целых двадцать лет, и весной 1895 года я поехал в Лондон «прощаться» с ним и прожил в нем часть сезона.

В этот перерыв более чем в четверть века Лондон успел сделаться новым центром эмиграции. Туда направлялись и анархисты, и самые серьезные политические беглецы, как, например, тот русский революционер, который убил генерала Мезенцева * и к году моего приезда в Лондон уже успел приобрести довольно громкое имя в английской публике своими романами из жизни наших бунтарей и заговорщиков *.

В России я его никогда нигде не встречал, да и за границей — также. Он засел в Лондоне, как в самом безопасном для него месте. Тогда французская республика уже состояла в «альянсе» с русской империей, и такой видный государственный «преступник» был бы не совсем вне опасности в Париже. Он сравнительно скоро добился такой известности и такого значительного заработка как писатель на английском языке, что ему не было никакой выгоды перебираться куда-нибудь на материк — в Италию или Швейцарию, где тем временем самый первый номер русской эмиграции успел отправиться к праотцам: Михаил Бакунин умер там в конце русского июня 1876 года.

Моим чичероне по тогдашнему Лондону (где я нашел много совсем нового во всех сферах жизни) был г. Р[усанов], сотрудник тех журналов и газет, где и я сам постоянно писал, и как раз живший в Лондоне на положении эмигранта.

Ему хотелось, кажется, чтобы я познакомился с «устранителем» генерала Мезенцева. Я не уклонился от этой встречи и не искал ее. Между нами была та связь, что он стал также романистом (под псевдонимом Степняка), но я — грешный человек! — до тех пор не читал ни одной его строки. Так я и уехал из Лондона, не познакомившись с ним. Должно быть, судьбе не угодно было этого, потому что в то воскресенье, когда г. Р[усанов] пригласил меня к себе (у него должен был быть еще и другой не менее известный изгнанник, кн. Кропоткин), я уехал на остров Уайт (еще накануне) и нашел у себя по возвращении его письмо со вложением двух депеш: от Степняка и от кн. Кропоткина, с которым я также до того нигде не встречался. Его личность, судьба и руководящая роль меня больше интересовали. И я был приятно изумлен, найдя в его депеше к г. Р[усанову] искреннее сожаление о том, что нездоровье помешало ему быть у него и познакомиться с автором тех романов... и тут стояло такое лестное определение этих романов, что я и теперь, по прошествии более двадцати лет, затрудняюсь привести его, хотя и не забыл английского текста.

Тем и завершилось мое знакомство с нелегальным Лондоном, и я точно не знаю, какую роль столица Великобритании играла для русской эмиграции в самые последние годы, вплоть до нашей революции.

XXI

Теперь, не покидая Франции, вспомню о знакомстве с теми эмигрантами, которые жили там подолгу. Один из них и умер в Ницце, а другой — в России.

Это были доктора Якоби и Эльсниц, оба уроженцы срединной России, хотя и с иностранными именами.

Первого из них я уже не застал в Ницце (где я прожил несколько зимних сезонов с конца 80-х годов); там он приобрел себе имя как практикующий врач и был очень популярен в русской колонии. Он когда-то бежал из России после польского восстания, где превратился из артиллерийского офицера русской службы в польского «довудца»; ушел, стало быть, от смертной казни.

Его старшего брата, художника В. И. Якоби, я знал

еще с моих студенческих годов — в Казани; умирать приехал он также на Ривьеру, где и скончался в Ницце в тот год, когда я туда наезжал.

Его брата, врача, звали Павел Иванович. Первая наша встреча случилась в Париже в конце 60-х годов в Латинском квартале у моего ближайшего собрата В. Чуйко, жившего тогда в Париже корреспондентом русских газет.

Я нашел этого, мне совсем незнакомого, компатриота[1] в самый разгар его разносов, направленных на личность и на политическую роль Герцена. Это было еще, кажется, до переселения Герцена в Париж. Я уже слыхал, что у него вышли столкновения и сцены с новой русской эмиграцией. Не зная фактической подкладки всей этой истории (дело вертелось, главным образом, около возвращения какого-то капитала), я не мог принять участия в этом разговоре; но весь тон Якоби, его выходки против личности Герцена мне весьма не понравились. Не знаю, остался ли он и позднее в таких же чувствах к памяти Герцена, но его разносы дали мне тогда оселок того, как наши эмигранты способны были затевать и поддерживать бесконечные распри, дрязги, устную и печатную перебранку.

Прошли года. К концу 1889 года, когда я стал проводить в Ницце зимние сезоны, доктора Якоби там уже не было. Он не выдержал своего изгнания, хотя и жил всегда и там «на миру»; он стал хлопотать о своем возвращении в Россию. Его допустили в ее пределы, и он продолжал заниматься практикой, сделался земским врачом и кончил заведующим лечебницей для душевнобольных.

Тогда я с ним встречался в интеллигентных кружках Москвы. Скажу откровенно: он мне казался таким же неуравновешенным в своей психике; на кого-то и на что-то он сильнейшим образом нападал, — в этот раз уже не на Герцена, но с такими же приемами разноса и обличения. Говорили мне в Ницце, что виновницей его возвращения на родину была жена, русская барыня, которая стала нестерпимо тосковать по России, где ее муж и нашел себе дело по душе, но где он оставался все таким же вечным протестантом и обличителем.

---

[1] соотечественника (от *франц.* compatriote).

XXII

В Ницце годами водил я знакомство с А. Л. Эльсницем, уроженцем Москвы, тамошним студентом, который из-за какой-то истории во время волнений скрылся за границу, стал учиться медицине в Швейцарии и Франции, приобрел степень доктора и, уже женатый на русской и отцом семейства, устроился прочно в Ницце, где к нему перешла и практика доктора Якоби.

Вот тогда я с ним и познакомился, и знакомство это длилось до самой его смерти, случившейся в мое отсутствие.

Сын немца, преподавателя немецкого языка и литературы в московских учебных заведениях (а под старость романиста на немецком языке из русской жизни), А. Л. сделался вполне русским интеллигентом. И в своем языке, и в манерах, и в общем душевном складе он был им несомненно.

Специальное ученье и долгое житье в Швейцарии и Франции вовсе не офранцузили его, и в его доме каждый из нас чувствовал себя, как в русской семье. Все интересы, разговоры, толки, идеалы и упования были русские. Он не занимался уже «воинствующей» политикой, не играл «вожака», но оставался верен своим очень передовым принципам и симпатиям; сохранял дружеские отношения с разными революционными деятелями, в том числе и с обломками Парижской коммуны, вроде старика Франсе, бывшего в Коммуне как бы министром финансов; с ним я и познакомился у него в гостиной. Не думаю, чтобы его можно было считать правоверным марксистом, хотя в числе его ближайших знакомых водились и социал-демократы. Сколько помню, он был близок с Плехановым, а дочь его дружила с одной из дочерей этого — и тогда уже очень известного — русского изгнанника, проживавшего еще в Швейцарии.

Как врач Эльсниц был скорее скептик, не очень верил в медицину и никогда не настаивал на каком-нибудь ему любезном способе лечения. Я его и прозвал: «наш скептический Эльсниц». И несмотря на это, практика его разрасталась, и он мог бы еще долго здравствовать, если б не предательская болезнь сердца; она

свела его в преждевременную могилу. На родину он так и не попал.

В Ницце мы видались с ним часто; так же часто навещали мы М. М. Ковалевского на его вилле в Болье. С Ковалевским Эльсниц был всего ближе из русских. Его всегда можно было видеть и на тех обедах, какие происходили в русском пансионе, где в разные годы бывали неизменно, кроме Ковалевского, доктор Белоголовый с женой, профессор Коротнев, Юралов (вице-консул в Ментоне), Чехов, Потапенко и много других русских, наезжавших в Ниццу.

Старший сын Эльсница занял его место и как врач приобрел скоро большую популярность. Он пошел на французский фронт (как французский гражданин) в качестве полкового врача; а младший сын, как французский же рядовой, попал в плен; дочь вышла замуж за французского дипломата.

XXIII

В некотором смысле можно было бы отнести к эмиграции и таких двух русских, как покойные М. М. Ковалевский и Г. Н. Вырубов.

Ковалевский прожил лучшие свои годы за границей на вилле, купленной им в Болье в конце 80-х годов. Может быть, иной считал его также изгнанником или настоящим эмигрантом. Но это неверно. Он не переставал быть легальным русским обывателем, который по доброй воле (после его удаления из состава профессоров Московского университета) предпочел жить за границей в прекрасном климате и работать там на полной свободе. Для него, как для ученого, автора целого ряда больших научных трудов, это было в высшей степени благоприятно. Но нигде за границей он не отдавался никакой пропаганде революционера или вообще политического агитатора: это стояло бы в слишком резком противоречии со всем складом его личности.

О нем я пишу особенно в воспоминаниях, которые я озаглавил: «Жизнерадостный Максим» *. Наша долгая умственная и общественная близость позволяла мне говорить о нем в дружеском тоне, выставляя как его коренную душевную черту его «жизнерадостность».

Другой покойник в гораздо большей степени мог бы считаться если не изгнанником, то «русским иностранцем», так как он с молодых лет покинул отечество (куда наезжал не больше двух-трех раз), поселился в Париже, пустил там глубокие корни, там издавал философский журнал, там вел свои научные и писательские работы; там завязал обширные связи во всех сферах парижского общества, сделался видным деятелем в масонстве и умер в звании профессора Collège de France, где занимал кафедру истории наук.

Все это проделал по доброй воле, без малейшего давления внешних обстоятельств, мой долголетний приятель и единомышленник по философскому credo, Г. Н. Вырубов, русский дворянин, помещик, дитя Москвы, сначала лицеист, а потом кандидат и магистрант Московского университета.

Очень редко бывает у нас, чтобы русский, не будучи беглецом, эмигрантом, нелегальным жителем, не имеющим гражданских прав в чужой стране (я таких в Париже не знавал ни одного на протяжении полувека), кто бы, как Вырубов, решив окончательно, что он как деятель принадлежит Франции, приобрел звание гражданина республики и сделал это даже с согласия русского правительства. Еще незадолго до того в турецкую войну он приезжал в Россию и заведовал санитарным отрядом на Кавказе, за что получил орден Владимира, а во Франции был, кажется, еще раньше награжден крестом Почетного легиона.

О нем следовало бы поговорить в разных смыслах, а здесь я привел его имя потому, что и он фактически принадлежал к эмигрантам, если посмотреть на этот термин в более обширном значении. Можно только искренно пожалеть, что такая замечательная личность была слишком малоизвестна в России, даже и в нашей пишущей среде.

XXIV

В заголовке этих воспоминаний стоит также имя Толстого.

— Какой же он эмигрант? — спросят меня.

В прямом смысле, конечно, нет; но если взять всю совокупность его деятельности за последние двадцать

лет его жизни, его пропаганду, его credo неохристианского анархиста чистой воды, то — не будь он Лев Николаевич Толстой, он давно бы очутился в местах «довольно отдаленных», откуда мог бы перебраться и за границу. Весь его умственный, нравственный и общественный склад был характерен для самого типичного эмигранта.

Наша полицейская власть даже и его желала бы заставить молчать и лишить свободы. Единственный из всех, когда-либо живших у нас писателей, он был отлучен синодом от церкви*. И в редакционных сферах не раз заходила речь о том, чтобы покарать его за разрушительные идеи и писания.

Можно сказать, что и в среде наших самых выдающихся эмигрантов немного было таких стойких защитников своего исповедания веры, как Толстой. Имена едва ли только не троих можно привести здесь, из которых один так и умер в изгнании, а двое других вернулись на родину после падения царского режима: это — Герцен, Плеханов и Кропоткин.

С Толстым я был лично знаком, но давно уже с ним не видался. Вполне сочувственного отношения к его проповеди я не мог разделять и не видел серьезного мотива являться к нему в качестве гостя или репортера в Ясную Поляну. Но наши сношения оставались чрезвычайно мягкими и благодушными. Я не видал между нами ни малейшего повода к какому-либо личному неудовольствию, к каким-либо счетам. Напротив, Толстой (насколько мне было это известно из разговора с его ближайшими последователями) всегда относился ко мне, как к собрату-писателю, с живым интересом и доказал это фактом, небывалым в летописи того «разряда» Академии, где я с 1900 года состою членом.

Покойный профессор Сухомлинов, бывший тогда «председательствующим» в нашем отделении, вскоре после моего избрания сообщил мне, что Толстой, которому надо было поставить шесть имен для трех кандидатов, написал шесть раз одно имя, и это было — мое.

В конце прошлого, 1916 года я задумал и кончил этюд: «Толстой как вероучитель»*, где я даю мою объективную и, смею думать, беспристрастную оценку его

натуры, мировоззрения и всего его credo с точки зрения научно-философского анализа и синтеза.

В первой половине этого «опыта оценки» я привожу все то, что у меня осталось в памяти о человеке, о моих встречах, беседах и наблюдениях над его жизнью и обстановкой в Москве в начале 80-х годов, когда я только и видался с Толстым.

Рагац (Швейцария).
Июнь 1917 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗА ПОЛВЕКА

Мои воспоминания

Стр. 8. ...*на конгресс «Мира и свободы».* — См. прим. к стр. 511 I тома наст. изд.

...*Виардо, возмутившаяся тем, как немцы обошлись с ее вторым отечеством — Францией.* — Полина Виардо (родом испанка) была замужем за французом, связана с Францией всей своей артистической жизнью.

...*ехал я на Страсбур — тогда еще французский город...* — После франко-прусской войны 1870—1871 годов французский город Страсбур (в Эльзасе) вошел в состав Германской империи. В 1919 году, по Версальскому мирному договору, возвращен Франции.

Стр. 11. *Тогда он увлекался мыслью переводить «Дон-Кихота».* — О своем желании заняться переводом этого романа на русский язык Тургенев писал В. П. Боткину 17 февраля 1857 года («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», «Academia», М. — Л. 1930, стр. 115). Выступая 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам, писатель говорил: «...К сожалению, мы, русские, не имеем хорошего перевода «Дон-Кихота» ... всеобщая благодарность ждет того писателя, который передаст нам это единственное творение во всей его красоте» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12 томах, т. 11, Гослитиздат, М. 1956, стр. 169).

Стр. 12. ...*с Достоевским, который как раз после «Дыма» явился к нему с гневными речами и потом печатно «отделал» его.* — Со времени опубликования романа «Отцы и дети» (февраль 1862 года), в некоторых образах которого большая часть передовой общественности усмотрела выпады против разночинной революционной демократии, Тургенев находился в известном «разладе» с русскими читателями. В период реакции, наступивший в России с 1862 года,

Тургенев, живший с семьей Виардо в Баден-Бадене, почти не принимал участия в общественной и литературной жизни России. Именно в этот период произошла встреча Достоевского с Тургеневым в Баден-Бадене 28 июня 1867 года, после которой Достоевский написал свое (впоследствии столь нашумевшее) письмо поэту А. Н. Майкову от 28 августа 1867 года (см. «Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка», «Academia», М. — Л. 1928, стр. 164—165). «Откровенно скажу Вам, — писал Достоевский, — я и прежде не любил этого человека лично... Не люблю тоже его аристократически-фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное, его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги, состоит в фразе: «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». (В XIV главе «Дыма» один из героев романа, Потугин, говорит: «...Наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте...» — *Э. В. и Л. Р.*) Далее Достоевский писал о Тургеневе, что «ругал он Россию и русских безобразно, ужасно...»

В сентябре 1867 года редактор «Русского архива» П. И. Бартенев получил по почте копию того места из письма Достоевского к Майкову, где сообщается о разговоре с Тургеневым. Аноним, приславший копию, просил сохранить этот документ для потомства. О существовании копии и ее содержании Тургенев узнал от своего приятеля П. В. Анненкова. 22 декабря 1867 года Тургенев написал (и передал через Анненкова) письмо Бартеневу (впервые было опубликовано в статье П. Бартенева «Тургенев и Достоевский» — «Русский Архив», 1902, № 9). В своем письме Тургенев полностью отрицал все написанное Достоевским, которого он характеризовал как человека «больного». «Вероятно, — писал Тургенев, — расстроенному его воображению представились те доводы, которые он предполагал услыхать от меня, и он написал на меня свое .. донесение потомству» («Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка», «Academia», М. — Л. 1928, стр. 178).

Беседа Достоевского с Тургеневым происходила с глазу на глаз. Но, если привлечь некоторые косвенные свидетельства, придется сделать вывод, что Достоевский оказался более правдивым в изложении мыслей Тургенева, нежели сам Тургенев. Можно было бы предположить, например, что в письме Достоевского (написанном через два месяца после беседы с Тургеневым) могли быть неточности, некоторые краски сгущены; но имеется дневниковая запись жены Достоевского, Анны Григорьевны, помеченная 28 июня (то

есть днем встречи Достоевского с Тургеневым), содержание которой полностью совпадает с письмом Ф. М. Достоевского. А. Г. Достоевская пишет о Тургеневе: «...Он вырос в России, она его выкормила и восхищалась его талантом. А он отказывается от нее, говорит, что если б Россия провалилась, то миру от этого не было бы ничего тяжелого» («Дневник А. Г. Достоевской. 1867 г.», М. 1923, стр. 199). Уместно сравнить эти слова, приписываемые Достоевским Тургеневу, со следующим высказыванием самого Тургенева в письме к графине Е. Е. Ламберт от 26 февраля 1865 года из Баден-Бадена: «Я повесил свое перо на гвоздик... Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней» («Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт», М. 1915, стр. 179).

Как несомненный отголосок истории с письмом Достоевского можно расценить анонимную заметку в газете «Голос», № 354 от 23 декабря 1869 года (4 января 1870 года), в которой И. С. Тургенева обвиняли в отрыве от русской жизни, в потере связи с русским обществом.

Говоря о том, что Достоевский «печатно отделал» Тургенева, Боборыкин имеет в виду роман Достоевского «Бесы» (печатался в «Русском вестнике» в 1871—1872 годах). В одном из персонажей этого романа — писателе Кармазинове Достоевский в шаржированном виде изобразил Тургенева, повторив те же обвинения, которые предъявлял самому Тургеневу — в «презрении ко всему русскому», в «превращении в немца» и т. д. Достоевский даже пародировал писательскую манеру Тургенева («Mersi» Кармазинова — пародия на «Призраки» и «Довольно» Тургенева).

Стр. 13. *...то, что его приятель Анненков рассказывал про Тургенева...* — Имеется в виду статья П. В. Анненкова «Молодость И. С. Тургенева», где, в частности, говорилось, что молодой Тургенев производил на некоторых друзей впечатление человека заносчивого, малоискреннего, склонного к «поэтической лжи». «... Цели юного Тургенева были ясны, —писал Анненков, — они имели в виду произведение литературного эффекта и достижение репутации оригинальности» («Вестник Европы», 1884, № 2, стр. 453).

Стр. 14. *...травля тогдашней радикальной критики, которую не могли ослабить и сочувственные рецензии Писарева!* — Боборыкин необоснованно называет «травлей» литературную полемику, развернувшуюся в печати после опубликования «Отцов и детей». «Рецензия Писарева», упоминаемая Боборыкиным, это статья «Базаров» в № 3 «Русского слова» за 1862 год.

Стр. 15. *Почему его дружба с Герценом кончилась принципиальной размолвкой?* — Причиной этой «размолвки» было не «русофиль-

ство» Герцена и «германофильство» Тургенева, а принципиальная разница взглядов революционного демократа Герцена и либерала Тургенева. «Наши мнения слишком расходятся», — писал Тургенев Герцену весной 1863 года, отвечая на письма А. И. Герцена «Концы и начала», печатавшиеся в «Колоколе» (листы 138, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 154, 156) в 1862—1863 годах.

...известно по переписке и воспоминаниям... — Боборыкин имеет в виду, главным образом, «Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883 годы», СПб. 1884; «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Женева, 1892; «Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям», перев. с франц., М. 1900; и, вероятно, «Литературные воспоминания» П. В. Анненкова (СПб. 1909).

Почему-то Герцен не приехал на Бернский конгресс. — Герцен отказался от участия в конгрессах Лиги мира и свободы — и в Женевском (1867) и в Бернском (1868). В письме к председателю учредительной комиссии Женевского конгресса Ж. Барни Герцен мотивировал свой отказ участвовать в конгрессе неправильным отношением западной демократии к России. «Я обнаружил в демократических газетах, — писал он в статье «Личный вопрос», — в распространяемых ими брошюрах такое усиление ненависти к России, что передо мной внезапно встал вопрос... нет ли в наших отношениях с западной демократией невольной, бессознательной *лжи*...» Чтобы внести ясность в эти взаимоотношения, следовало, по мнению Герцена, выступить на конгрессе. «Было ли б это уместно? Разве предоставили бы мне слово по вопросу, явно выходившему за пределы программы? Если меня и приглашали, то не в качестве русского, а в глубоком убеждении, что я меньше всего русский, — а именно с этим я не мог, не хотел, не должен был соглашаться». Герцен подчеркивал, что всецело принадлежит русскому народу. «...Я тружусь для него, он трудится во мне, и это вовсе не историческая реминисценция, не слепой инстинкт, не кровные узы, а следствие того, что в русском народе сквозь кору и туман, сквозь кровь и зарево пожаров, сквозь народное невежество и царскую цивилизацию я различаю великую силу, великое начало, вступающее в историю рядом с социальной революцией, к которой старый мир придет volens nolens, если он не желает погибнуть или же окостенеть» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XX, ч. I, М. 1960, стр. 18—19).

Стр. 16. *...барин, вошедший в бунтари и долго скитавшийся по Европе...* — В 1844 году Бакунин, находившийся в то время за границей, был заочно приговорен сенатом к лишению дворянского звания и ссылке в Сибирь, на каторжные работы. В мае 1849 года Бакунин за руководство революционным восстанием в столице Саксонского

королевства — Дрездене был приговорен к повешению, замененному пожизненным заключением. Через некоторое время был выдан австрийскому правительству, которое спустя полтора года выдало его (в 1851 году) царскому правительству. До 1854 года Бакунин находился в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, с 1854 по 1857 — в Шлиссельбурге. После покаянного письма Александру II в марте 1857 года Бакунин был выслан на вечное поселение в Сибирь. В апреле 1861 года, получив отказ на просьбу о помиловании, бежал через Японию и Америку в Англию.

Стр. 17. *Таких, как я, там уже десятки тысяч!* — В речи на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы в 1868 году Бакунин, говоря о революционно настроенной части русского общества, заявил: «Я думаю, что я скорее уменьшу, чем преувеличу, если скажу, что число таких людей простирается до 40, даже до 50 тысяч человек» (М. Бакунин, Избр. соч., т. III, П. — М. 1920, стр. III).

Стр. 18. *...Бакунин привез и свою молодую жену, польку, на которой женился еще в Сибири...* — Имеется в виду Антония Ксаверьевна Бакунина (рожд. Квятковская).

Стр. 20. *...ездил к войску Гарибальди.* — Имеется в виду поездка В. В. Чуйко в район Дижона, где действовал корпус Гарибальди, сражавшийся на стороне Франции во время франко-прусской войны 1870 года.

...конгресс ⟨...⟩ *«Международного общества рабочих».* — Имеется в виду Брюссельский конгресс «Международного товарищества рабочих» (I Интернационала), состоявшийся 6—13 сентября 1868 года.

... посылал в «Голос» большие корреспонденции. — П. Д. Боборыкин выступал в «Голосе» с большими отчетами, в которых излагал свои впечатления от Брюссельского конгресса I Интернационала (см. «Голос», 1868, № 239, 241—246, 248, 252, 254, 262, 274, 330, 333. Подпись: «Ѣ.Ѣ.Ѣ.»).

Стр. 22. *...до его сказочного возвышения, вызванного восторженным поклонением короля...* — Людовик II, король Баварии (1864—1886), был горячим поклонником музыки Вагнера. При его помощи в 1876 году был построен специальный театр в Байрейте для представления вагнеровских опер.

Стр. 24—25. *...империя Габсбургов* ⟨...⟩ *сделалась дуалистическим государством...* — то есть объединила под своей короной два государства — Австрию и Венгрию. Образование двуединого конституционно-бюрократического государства, получившего название Австро-Венгрии, состоялось в 1867 году, после поражения Австрии в австро-прусской войне 1866 года.

Стр. 31. *...его книгу, посвященную истории Бург-театра...* — Боборыкин говорит о книге Генриха Лаубе «Das Burgtheater» (1868).

Стр. 35. *Те венские писатели, которые приподняли австрийскую беллетристику к концу XIX века...* — Верно лишь отчасти. После поражения Австрии в войнах с бисмарковской Пруссией в 80-х годах, когда Австрия была низведена до положения третьестепенной европейской державы, австрийское искусство и литература были отмечены чертами ущербности и упадка. Однако уже в этот период начинает выдвигаться ряд деятелей культуры, которых, видимо, и имеет в виду Боборыкин: композитор Р. Штраус, драматург А. Шницлер, поэты Г. Гофмансталь и Р. М. Рильке, прозаики П. Альтенберг и другие, в том числе и вошедший в литературу в самом начале XX века Стефан Цвейг.

Стр. 38. *...слушать лекции Драгомирова...* — Военный писатель, генерал М. И. Драгомиров преподавал в Петербургской Военной академии в 60-х годах.

Стр. 39. *...лицо, похожее на личность и судьбу этого псаломщика.* — Боборыкин имеет в виду одного из героев своего романа «Дельцы» — Федора Дмитриевича Бенескриптова.

Стр. 40. *«Младочехи»* — чешская буржуазная политическая партия конца XIX — начала XX веков (официальное название «Свободомыслящая партия»), добивавшаяся преобразования Австро-Венгрии в Австро-Венгро-Чешскую монархию и превращения чехов в одну из господствующих в монархии национальностей. «Младочехи» искали поддержки у мелкой буржуазии города и кулачества, вели борьбу против рабочего движения.

Стр. 41. *А сорок лет спустя наши балетные триумфы в Париже прогремели...* — Боборыкин говорит об организованном в 1909 году С. П. Дягилевым первом сезоне «Русских балетов» в Париже, где выступали знаменитые артисты русского балета Павлова, Карсавина, Фокин, Мясин, Нижинский и другие.

Стр. 43. *...и в своих предисловиях к пьесам стал выступать в таком же духе.* — Имеются в виду такие пьесы, как «La Femme de Claude» («Жена Клода») и предисловие к ней, а также брошюры «L'homme-femme» («Мужеподобная женщина») и «Tue la!» («Убей ее!»), в которых выражены презрительное отношение к женщине, как существу, якобы порочному по своей натуре, и пессимистический взгляд на любовь и брак.

Стр. 49. *Он уже был автор радикально-социальной книжки и предварительно сидел в Мазасе...* — Речь идет о книге А. Наке «Religion, propriété, famille» («Религия, собственность, семья»), в которой подвергались критике формы семьи и брака в буржуазном обществе. Судебные органы Второй империи приговорили автора за «оскорбление общественной нравственности» к штрафу и тюремному заключению.

Стр. 50 *Наке послужил мне моделью лица, введенного мною впоследствии в роман «Солидные добродетели».* — Имеется в виду персонаж романа профессор Рике.

...Ломова, являющегося также в «Солидных добродетелях». — В романе «Солидные добродетели» Ломов является секретарем-переписчиком другого героя этого произведения — литератора А. П. Крутицына.

Стр. 51. *...Жохова — того, что был убит на дуэли Евгением Утиным...* — А. Ф. Жохов — либеральный публицист, сотрудник «Вестника Европы», «Санкт-Петербургских ведомостей», «Недели», был обвинен адвокатом Утиным в неблаговидном поступке в отношении его подзащитного, политического заключенного Гончарова. Жохов вызвал Утина на дуэль. Несмотря на уговоры друзей и секундантов, Жохов отказался взять вызов обратно. 14 мая 1872 года дуэль состоялась, и Жохов был убит.

Стр. 52. *«По-американски»* — впервые было напечатано в № 9, 10 журнала «Дело» за 1870 год.

Стр. 53. *...гораздо позднее в «Отечественных записках» 〈...〉 было разобрано и лицо героини 〈...〉 Автор статьи была Цебрикова.* — Имеется в виду статья М. К. Цебриковой «Беллетристы-фотографы» («Отечественные записки», 1873, № 11 и 12). В этой статье давался разбор нескольких произведений Боборыкина — «Солидные добродетели», «По-американски», «Посестрие», «На суд» (о последнем см. стр. 226—227 № 12).

...после прошлогодней сентябрьской революции и регентства маршала Серрано... — Имеется в виду революционное восстание в Испании в сентябре 1868 года, в результате которого королева Изабелла II была изгнана из страны и образовалось временное правительство во главе с генералом Серрано, вождем так называемого «Либерального союза».

Стр. 54. *Мне тогда еще не было полных 29-ти лет.* — Ошибка памяти. Боборыкину шел тогда 33-й год.

Об Испании я читал письма Боткина... — «Письма об Испании» В. П. Боткина печатались в «Современнике» в 1847 году и дважды издавались отдельной книгой — в 1847 и 1857 годах.

Стр. 55. *«Вечный город».* — Книга Боборыкина «Вечный город. Итоги пережитого» была издана в 1903 году в Москве.

Об этом я писал 〈...〉 даже в журнальных статьях. — В сборнике газеты «Неделя» (СПб. 1872) была помещена статья Боборыкина «Умственное движение Испании».

Стр. 61. *Редакция 〈...〉 отправила его отыскивать Ливингстона...* — См. прим. к стр. 312.

Стр. 64. *...в Берне на конгрессе...* — На конгрессе Лиги мира и свободы в 1868 году.

Стр. 65. *...война между германской и французской империями.* — Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 годов.

Стр. 66. *...после Амедея Сивы...* — Имеется в виду Амедей-Фердинанд-Мария, герцог Аостский. После революции 1868 года был избран в 1870 году Кортесами (под давлением военного диктатора маршала Прима) королем Испании. В 1873 году отрекся от испанского престола. В 1875 г. королем стал Альфонс XII, сын Изабеллы.

Стр. 71. *...что и сказалось в целом ряде вспышек, вплоть до громадных взрывов в 1909 году.* — Имеется в виду восстание в июне 1909 года, вызванное попыткой испанского правительства мобилизовать каталонские резервы для отправки в Марокко. Восстание было жестоко подавлено, а обвиненный в его подготовке Ф. Феррер — казнен.

Стр. 72. *Карлисты* — члены крайней реакционной монархической партии в Испании, главную роль в которой играли духовенство и аристократы.

Стр. 74. *Тогда печатался «Обрыв» Гончарова.* — В 1869 году, в № 1—5 «Вестника Европы».

Стр. 75. *...побывал на конгрессе...* — На Базельском конгрессе I Интернационала («Международного товарищества рабочих»), происходившем 6—12 сентября 1869 года.

Стр. 76. *...мой труд, тогда по счету первый, и погиб.* — Первый русский перевод работы Лессинга «Гамбургская драматургия» был издан лишь в 1883 году в Москве.

Стр. 78—79. *О встрече с Герценом ⟨...⟩ я уже говорил в печати.* — См. мемуарную статью «А. И. Герцен» в наст. томе, которую Боборыкин имеет в виду и далее, рассказывая о встречах с Герценом, его смерти и похоронах.

...что ⟨...⟩ проявляется в его письмах ⟨...⟩ письма к Герцену ⟨...⟩ Тургенева. — См. прим. к стр. 15.

Стр. 80. *...он, как мыслитель, на нашу тогдашнюю оценку и не стоял уже на высоте строго научного мироразумения и теории познания.* — Неправильная оценка взглядов Герцена обусловлена эклектизмом взглядов самого Боборыкина, его приверженностью к позитивизму. Совсем иначе оценивает Герцена В. И. Ленин: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом ⟨...⟩ Герцен вплотную подошел к диа-

лектическому материализму...» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 9—10.)

Стр. 82. *..чем он не угодил женевским эмигрантам...* — О взаимоотношениях А. И. Герцена с так называемой «молодой эмиграцией» см. прим. к стр. 411 I тома наст. изд.

Стр. 83. *..та все-таки оказалась неверной женой...* — О семейной драме А. И. Герцена см. в «Былом и думах» (часть пятая, с главы XIII до конца части), а также «Литературное наследство», т. 64, М. 1958, стр. 259—318.

Стр. 84. *Он жил тогда в Женеве maritalement с англичанкой, бывшей гувернанткой Лизы.*— Огарев жил в Женеве со своей подругой, англичанкой Мери Сетерленд, которая никогда не была гувернанткой Лизы Герцен.

Стр. 85. *..атамана наших турецких старообрядцев-некрасовцев.* — Некрасовцы — секта донских казаков, раскольников, получившая название от имени атамана Игнатия Некраса (Некрасова), одного из сподвижников К. Булавина в восстании 1707—1708 годов. После подавления царскими войсками восстания некрасовцы эмигрировали в Турцию. Под «атаманом некрасовцев» Боборыкин подразумевает О. С. Гончара (Гончарова), одного из видных руководителей некрасовской старообрядческой общины 50—60-х годов, приезжавшего к Герцену в Лондон в августе 1863 года. Боборыкин мог знать об этом как от самого Герцена, так и из «Былого и дум» (см. «Былое и думы», часть VII, глава «В. И. Кельсиев»).

Стр. 89. *К Некрасову он сохранял все то же неприязненно-брезгливое отношение, мотив которого слишком хорошо известен.* — Герцен считал Некрасова виновным в недобросовестном отношении к денежным средствам Огарева. (Об этом см. книгу: Я. З. Черняк, «Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве», «Academia», М. — Л. 1933.)

Стр. 91. *...зашла речь о Н[ечае]ве 〈...〉 Кажется, сначала Герцен верил в него...* — Неверно. По своим взглядам Герцен стоял далеко от Нечаева и его анархистско-террористических методов борьбы. Что же касается личного отношения Герцена к Нечаеву, то оно было резко неприязненным. «Редко кто-нибудь был так антипатичен Герцену, как Нечаев», — пишет в своих «Воспоминаниях» Н. А. Тучкова-Огарева (Гослитиздат, М. 1959, стр. 244).

Стр. 92. *Такою она у меня в «Дельцах»...* — В первой главе романа «Дельцы» содержится описание наружности героини произведения — Лизы, в котором есть почти портретное сходство с Лизой Герцен, даже упомянута «приподнятая верхняя губа, из-под которой виднелись два зуба, сильно подавшиеся вперед» (как и у Лизы Гер-

цен). Своего знакомого Федора Дмитриевича она зовет «Фед Миччч», как Лиза Герцен звала Боборыкина «Пет Миччч».

...мотивами ее самоубийства... — Лиза Герцен умерла во Флоренции в декабре 1875 года. См. об этом «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М. 1930, стр. 213 и далее.

Стр. 93. *История дуэли Пьера Бонапарта с Виктором Нуаром чуть не кончилась бунтом.* — Похороны французского радикального журналиста Виктора Нуара, убитого двоюродным братом Наполеона III Пьером Бонапартом, вызвали стотысячную демонстрацию парижских рабочих.

Стр. 94. *...есть ли депеша от Коли...* — Огарев в это время находился в Женеве.

«Последняя депеша». — Рассказ этот был напечатан в «Сборнике Общества любителей российской словесности на 1901 год», Москва.

Стр. 95. *...парижская интеллигенция проводила тело Тургенева...* — Тургенев умер в Буживале, близ Парижа, 22 августа 1883 года. Тело Тургенева, согласно его желанию, было перевезено в Россию и похоронено в Петербурге на Волковом кладбище.

Стр. 96. *...переворот 4 сентября.* — См. прим. к стр. 424.

Стр. 97. *...императору, тому, что отказался от престола в революцию 1848 года.* — Имеется в виду австрийский император Фердинанд I, отрекшийся в 1848 году от престола в пользу своего племянника Франца-Иосифа.

Стр. 99. *...свою статью о театре...* — Имеется в виду статья «Les Phénomènes du drame moderne» («Особенности современной драмы») в № 7—8 за 1868 год.

Стр. 100. *...в немецком переводе.* — «Abendliches Opfer», Stuttgart, 1893.

Стр. 101. *...дружба с моей кузиной пострадала от романа «Жертва вечерняя»...* — На взаимоотношениях Боборыкина с его великосветской кузиной С. Боборыкиной отразился скандал, вызванный в Петербурге опубликованием этого романа, в котором под прозрачными псевдонимами был выведен ряд лиц из высшего света.

Стр. 102. *...«Отечественных записок», перешедших от Краевского к Некрасову и Салтыкову.* — Неточность. Некрасов с 1868 года арендовал журнал у Краевского.

Стр. 105. *...борьба между Бисмарком и оппозицией.* — Имеется в виду борьба немецкой консервативной партии с политикой объединения Германии, проводившейся с 1871 года Бисмарком. Оппозиция консерваторов длилась недолго и закончилась в 1876 году, когда консервативная партия превратилась из прусской в общегерманскую.

Стр. 106. *Там нашел я моего товарища по Дерпту, который все еще считал себя как бы на нелегальном положении.* — Боборыкин

говорит о В. И. Баксте, участнике революционного движения 60-х годов.

...перевести с ним первый том ⟨...⟩ физиологии Дондерса. — «Физиология человека» Дондерса вышла в переводе П. Д. Боборыкина и В. И. Бакста в Петербурге в 1860 году.

Стр. 108. *...только его «Беловодова» (эпизод из «Обрыва») появился в «Современнике».* — Боборыкин ошибся. Отрывок из романа И. А. Гончарова «Обрыв» — «Портрет. Софья Николаевна Беловодова. Эпизод из жизни Райского» появился в № 2 «Отечественных записок» за 1861 год.

...я имел уже случай говорить в печати... — См. статью «Творец Обломова» в наст. томе.

...претензии Гончарова против Тургенева за присвоенный якобы у него тип «нигилиста»... — См. об этом подробно в прим. к стр. 439.

Стр. 110. *Даже и пресловутый инцидент испанского наследства еще не беспокоил ни немецкую, ни французскую прессу.* — Выражение «испанское наследство» Боборыкин употребляет в виде шутки, так как война за «испанское наследство» между Францией и коалицией Англии, Нидерландов, Австрии, большинства немецких государств и Португалии происходила в первом десятилетии XVIII века. Здесь же имеется в виду восстание генерала Прима в сентябре 1868 года в Испании, сопровождавшееся революционными выступлениями народных масс, в результате чего королева Изабелла II была низложена и власть перешла в руки либеральной буржуазии и военщины.

Стр. 111. *Я даже не помню, был ли он уже тогда депутатом.* — Р. Вирхов был депутатом прусского рейхстага с 1880 по 1893 год.

...и предписал мне Киссинген. — Знаменитый курорт в Баварии с минеральными источниками.

Стр. 112. *...собственноручное письмо от Н. А. Некрасова, в котором он просил у меня к осени 1870 роман...* — В письме Некрасова от 14 апреля 1870 года говорилось: «Милостивый государь! Вы предлагали мне Ваши работы для От[ечественных] зап[исок], но по некоторым обстоятельствам печатать их покуда не приходилось. Теперь обращаюсь к Вам со следующим предложением: напишите для От[ечественных] зап[исок] роман. Считаю лишним распространяться, чтó нам нужно. Вы это сами хорошо знаете. На талант Ваш мы надеемся, а Вы, конечно, избегнете того, что нам не совсем по вкусу и на что указание найдете в рецензии на одно из Ваших произведений, помещенной в «Отеч[ественных] зап[исках]». Если Вы эти предложения примете, то благоволите написать, к какому времени можно рассчитывать на Ваш труд и каковы примерно будут его размеры. Наша плата от 60 до 75 рублей за лист. Преданный искренно Н. Некрасов» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. 11, М, 1952,

стр. 171). Рецензия, о которой упоминает Некрасов, была помещена в № 11 «Отечественных записок» за 1868 год под заголовком «Новаторы особого рода». В ней был дан резкий критический разбор романа П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя». Автором рецензии был М. Е. Салтыков (см. о ней в прим. к стр. 456 I тома наст. изд.).

...никогда к нему не обращался с предложением сотрудничества... — Неверно. Боборыкин предлагал Некрасову в конце 1867 года свой «этюд» под заглавием «С перекрестка цивилизации» (который не был принят Некрасовым), затем 14 ноября 1868 года — статью о Бернском конгрессе Лиги мира и свободы (она также не была принята). (См. «Литературное наследство», т. 51—52, М. 1949, стр. 132—134.)

Стр. 113. *Разразилась в Эмсе история с депешей...* — «Эмская депеша» — фальшивка, сфабрикованная Бисмарком с целью спровоцировать объявление Францией войны Пруссии. Беседа в Эмсе 13 июля 1870 года, происходившая между прусским королем Вильгельмом I и французским послом графом Бенедетти, была в изложении Бисмарка, передавшего ее для опубликования в прессе, так искажена, что ответ Вильгельма послу выглядел публичным оскорблением французскому правительству, которое и объявило 15 июля Пруссии войну.

Стр. 114. *«Фриц»* — прусский принц Фридрих-Карл-Николай, сын принца Карла. Во время франко-прусской войны 1870 года командовал 2-й прусской армией.

Стр. 119. *Родина Бальзака...* — г. Тур.

Стр. 126. *...после потери одного глаза...* — О своей болезни П. Д. Боборыкин сообщал в частично опубликованных С. А. Венгеровым «Итогах писателя»: «С января 1888 года меня посетила неизлечимая болезнь правого глаза (отслоение сетчатки), и с тех пор я работаю одним левым. Правый же совсем потерян» (С. А. Венгеров, «Критико-биографический словарь...», т. IV, СПб. 1895, стр. 200).

«Европейский роман». — См. прим. к стр. 317 I тома наст. изд.

...я сделал из него публичную лекцию... — Лекцию о «Пане Тадеуше» и «Евгении Онегине» Боборыкин читал не только в Польше, но и в России (в Петербурге и Москве зимой 1894 года).

Стр. 127. *...в дни моей 40-й годовщины.* — Речь идет о сорокалетии литературной деятельности Боборыкина, отмечавшемся в 1902 году.

«Доктор Мошков». — Пьеса впервые напечатана в № 2 журнала «Изящная литература» за 1884 год.

...моя статья о варшавской драматической труппе... — Имеется в виду статья «Петербургское театральное искусство» в № 11 «Отече-

ственных записок» за 1871 год. Одна из частей этой статьи была посвящена варшавскому театру.

Стр. 129. *...и вскоре выступил даже на эту тему в газетном фельетоне.* — Имеется в виду фельетон П. Д. Боборыкина «Защитники вдов и сирот» в № 56 от 25 февраля газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 1871 год.

Стр. 130. *...как чиновники говорят: «по третьему пункту».* — По этому пункту царская администрация могла уволить чиновника с государственной службы без объяснения причин.

...до его превращения в миллионера... — За два года до смерти А. Н. Плещеев получил миллионное наследство.

Стр. 132. *Это была та самая особа, с которой он обвенчался уже на смертном одре.* — Речь идет о Фекле Анисимовне Викторовой, которую Некрасов звал Зинаидой Николаевной, Зиной; ей посвящены некоторые стихи из цикла «Последние песни». Некрасов обвенчался с ней весной 1877 года, месяцев за 8 до своей смерти.

Стр. 136. *...делали меня мишенью своих довольно-таки злобных эпиграмм.* — См. прим. к стр. 279 I тома наст. изд.

Стр. 137. *...я сделался сам сотрудником «Искры»...* — См. прим. к стр. 279 I тома наст. изд.

Н. Костомаров 〈...〉 в своих этюдах на тему: кто были Варяго-Русь? — Боборыкин имеет в виду работы Н. И. Костомарова о происхождении Руси — «Начало Руси» («Современник», 1860, № 1), выступление на публичном диспуте в университете 19 марта 1860 года о начале Руси («Современник», 1860, № 3), и ряд журнальных статей по этому вопросу.

Николай Курочкин 〈...〉 был вхож в дом Герцена. — А. Н. Пиотковский в своих воспоминаниях говорит, что Курочкин «к Герцену, кроме уважения, питал еще какую-то сердечную нежность, как к человеку рыцарского характера, с которым он познакомился лично во время своих заграничных путешествий» («А. И. Герцен в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М., 1956, стр. 300—301).

Стр. 141. *...разразилось восстание Коммуны...* — Пролетарская революция в Париже произошла 18 марта 1871 года.

Стр. 144. *«Поддели».* — Повесть печаталась в № 9 и 10 журнала «Дело» за 1871 год.

Стр. 145. *...даже полуславянофильское «Время» Достоевского.* — См. прим. к стр. 332 и 397 I тома наст. изд.

...той роли, какая ему выпала в 61 году... — Имеются в виду студенческие волнения 1861 года. См. прим. к стр. 187 и 251 I тома наст. изд.

Стр. 146. *От нее узнал я подробности и болезни и смерти бедного А. И. Бенни.* — См. прим. к стр. 363 I тома наст. изд.

...Тургенев. Его вызвали по одному делу Третьего отделения... — См. прим. к стр. 362 I тома наст. изд.

Стр. 147. *То дело, за которое он попал в ссылку в Лифляндскую губернию.* — А. И. Урусов выступал в качестве защитника нескольких участников нечаевского процесса в 1871 году. За нелегальные сношения с находившимися в заключении нечаевцами был выслан в Лифляндскую губернию (г. Венден), откуда через три года вернулся сначала в Варшаву, а затем в Петербург.

Стр. 148. *...моей книги, которую я обработал к 1872 году и издал отдельно.* — Имеется в виду книга «Театральное искусство», СПб. 1872.

Стр. 149. *...одна комедия Островского была забракована комитетом.* — Речь идет о пьесе «За чем пойдешь, то и найдешь», забракованной литературно-театральным комитетом в 1861 году. Впоследствии комитет пересмотрел свое решение, и пьеса была допущена (но только на сцену Александринского театра) с оскорбительной для Островского мотивировкой, что публика Александринского театра якобы менее взыскательна в художественном отношении.

Стр. 149—150. *...печальной памяти петербургский градоначальник фон Валь.* — Генерал В. В. фон Валь был в 1892—1895 годах петербургским градноначальником и «прославился» своими репрессиями по отношению к рабочим и революционерам.

Стр. 150. *После его двойной осады и разорения.* — Боборыкин имеет в виду осаду Парижа немцами (с 17 сентября 1870 года), вторичную осаду Парижа в дни Коммуны в марте — мае 1871 года и взятие его версальцами.

Стр. 151. *...генерал Галифе, усмиритель Коммуны, опозорил себя беспримерной жестокостью...* — Подавление Парижской коммуны сопровождалось зверскими расправами над революционным пролетариатом. Рабочий класс Франции потерял в этой борьбе десятки тысяч лучших своих представителей: 30 тысяч рабочих было убито и казнено, 50 тысяч — арестовано, 13,5 тысяч присуждено к различным наказаниям.

Стр. 154. *«На развалинах Парижа».* — Статья Боборыкина была опубликована в № 11 «Отечественных записок» за 1871 год.

Этюд этот я озаглавил: «На немецком захвате». — Очерк Боборыкина «На немецком захвате и в гостях у пруссаков» был напечатан в № 6 «Отечественных записок» за 1873 год.

Стр. 159. *...та комедия, которую я написал к осеннему сезону, на сцену не попала. Ее не пропустил «Комитет»...* — Имеется в виду пьеса «Неизлечимые», написанная П. Д. Боборыкиным в начале

1870 года и не пропущенная театральной цензурой. Пьеса эта никогда не печаталась и не шла на сцене.

...своими памфлетами и даже пасквилями. — В. П. Буренин подвергал глумлению все, что писал Боборыкин. Многие его памфлеты вошли в отдельные сборники («Очерки и пародии», СПб. 1874; «Критические очерки и памфлеты», СПб. 1884; «Стрелы», СПб. 1880; «Критические этюды», СПб. 1888; «Песни и шаржи», СПб. 1886, и «Пипя и Пуся», СПб. 1894, где имеется «Дело о П. Д. Боборыкине»).

Стр. 160. *...три лекции о «Реальном романе во Франции», которые явились в виде статьи у Некрасова.* — Они читались Боборыкиным в марте и были напечатаны в № 6 и 7 «Отечественных записок» за 1876 год.

Стр. 161. *...по 100 рублей за лист с рассказа «Посестрие».* — Боборыкину изменяет память: из сохранившихся гонорарных ведомостей «Отечественных записок» видно, что Боборыкин получил за рассказ «Посестрие», составлявший по подсчету редакции «4 л. без $1/8$», 292 рубля, то есть по 75 рублей с листа («Литературное наследство», т. 53—54, М. 1949, стр. 311).

Стр. 162. *«Полжизни».* — Роман печатался в № 11 и 12 «Вестника Европы» за 1873 год.

Стр. 164. *...взрыв, направленный из молочно-сырной лавки, где Желябов с товарищами готовил свою адскую машину.* — По плану Исполнительного комитета «Народной воли» покушение на Александра II было намечено на 1 марта 1881 года, для чего из подвала сыроварни был сделан подкоп, из которого во время проезда царя по Садовой должен был быть произведен взрыв. Но, уже находясь на своем посту, С. Перовская узнала, что царь поехал другой дорогой. Тогда ему навстречу были направлены метальщики. Александр II был убит бомбой, брошенной И. Гриневицким.

ИЗ КНИГИ «СТОЛИЦЫ МИРА. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по изданию: П. Д. Боборыкин, «Столицы мира. Тридцать лет воспоминаний», М. 1911.

Стр. 169. *...одно предисловие Тургенева ⟨...⟩ к русскому переводу тоже всеми позабытого романа Максима Дюкана...* — Речь идет о романе французского писателя М. Дюкана «Утраченные силы», вышедшем в «Собрании иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык», 1868, 1 (январь), издававшемся Е. Н. Ахматовой в Петербурге в 1856—1885 годах.

Стр. 170. *...перевод этого романа уже был сделан по-русски.* — Впервые роман «Мадам Бовари» был переведен в 1858 году.

...складывалась целая школа парнасцев. — Парнасцами называли группу французских поэтов (Леконт де Лиль, Эредиа, Дьеркс, Сюлли-Прюдом и др.), выпускавших альманахи под заглавием «Современный французский Парнас» (первый альманах вышел в 1866 году). Эта группа проповедовала аполитизм в искусстве, игнорировала социальную борьбу, провозглашала культ формы. Течение парнасцев было вызвано политической реакцией, наступившей после переворота 2 декабря 1851 года во Франции.

...в предисловии Тургенева вы найдете весьма пренебрежительный взгляд на тогдашнюю французскую беллетристику... — В этом предисловии Тургенев отозвался о французской литературе, как об «искусственной и подражательной», утверждал, что «французы слабо одарены поэтическими способностями», что «вкус француза тонок и верен особенно в отрицании — но жизненную правду и простоту он ощущает как-то вскользь...» Упоминая о Бальзаке, Тургенев указывал на него, как на «поразительный пример» того, что «великий талант может существовать рядом с непониманием художественной правды в одном и том же человеке... все его лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно, до мельчайших подробностей — и ни одно из них никогда не жило и жить не могло...» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12 томах, т. 11, Гослитиздат, М. 1956, стр. 344—345.)

...и, насколько мне не изменяет память, даже нет никакого упоминания ⟨...⟩ о Флобере. — Ошибка памяти Боборыкина. В упомянутом им предисловии Тургенева к роману Максима Дюкана «Утраченные силы» говорится: «...Роман г-на М. Дюкана — особенно в первых главах — напоминает, конечно, в более скромных размерах, «Госпожу Бовари» Флобера, бесспорно самое замечательное произведение новейшей французской школы» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12 томах, т. 11, Гослитиздат, М. 1956, стр. 346—347).

...любили ⟨...⟩ стихи из «Châtiments» Виктора Гюго ⟨...⟩ памфлет «Napoléon le petit». — Стихи из сборника «Возмездия» и памфлет «Наполеон Малый» изобличали Наполеона III.

Стр. 171. *...из-за «Мадам Бовари» Флобер подвергся обвинению в безнравственности своего романа...* — После опубликования романа в «Revue de Paris» в 1856 году прокуратурой был затеян процесс против автора, которого обвиняли в безнравственности и в нападках на семейную жизнь и религию. Обвинителем выступал Пинар — позже министр Наполеона III. Флобер был оправдан после защитительной речи Сенара, которому он и посвятил свою книгу.

...Шанфлери, который один из первых пустил в Париже самый термин «реализм»... — Шанфлери — псевдоним французского писателя Ж. Ю. Флери. В 1857 году он выпустил сборник своих критических

статей «Реализм», в котором выступил в защиту этого направления во французской литературе.

...блистательного этюда, который посвятил ему Тэн... — Имеется в виду «Критический анализ «Человеческой комедии» — вводная статья И. Тэна в книге Т. Готье «Оноре Бальзак. Его жизнь и труды», вышедшей в 1858 году в Брюсселе.

...о скандале, сделанном на первом представлении пьесы братьев Гонкур... — См. очерк «У романистов».

Стр. 172. *...когда драма Виктора Гюго «Эрнани» была заново разрешена цензурой...* — Впервые драма была поставлена в 1830 году, но вскоре, в связи с изгнанием Гюго, была запрещена, как и другие его произведения. В 1867 году цензурный запрет был снят, драма была поставлена на сцене Французской комедии и имела большой успех.

Стр. 173. *...Дюма-сын добился нескольких громких успехов с пьесами, которые тогда казались очень смелыми по своим мотивам и задачам...* — Имеются в виду пьесы «Дама с камелиями» (переделанная автором из одноименного романа и поставленная в 1852 году после упорной борьбы с цензурой, объявившей пьесу безнравственной), «Полусвет», «Денежный вопрос», «Побочный сын» и др. В этих пьесах автор нападал на предрассудки относительно брака и семьи и проповедовал свой кодекс нравственности, касающийся незаконнорожденных детей, развода, роли денег в семейных отношениях и т. п.

«Мир успеха...» — См. прим. к стр. 428 I тома наст. изд.

«Les Phénomènes du drame moderne...» — См. прим. к стр. 99.

Стр. 174. *Жена его — когда-то московская львица...* — См. прим. к стр. 286 I тома наст. изд.

Стр. 175 *...напечатания им разных предисловий и брошюр...* — В статье «На развалинах Парижа» («Отечественные записки», 1871, № 11) Боборыкин писал об одной из таких брошюр Дюма-сына «Une lettre sur les choses du jour» («Письмо о сегодняшних событиях»), явившейся перепечаткой письма к редактору «Руанского новеллиста»: «Это письмо — знаменье времени! В нем политическое скудоумие и нравственное помрачение высвободились из-под оболочки таланта» (стр. 100).

...вплоть до знаменитого возгласа: «Tue la!» — См. прим. к стр. 43.

Стр. 176. *На одном из них ⟨...⟩ я и познакомился с Гамбеттой.* — См. об этом в гл. VIII книги «За полвека» в I томе наст. изд. и в гл. V книги «Столицы мира».

Стр. 179. *Незадолго перед войной...* — то есть франко-прусской войной 1870—1871 годов.

...его внезапную смерть ⟨...⟩ все считали самоубийством. — Французский писатель и публицист Прево-Парадоль, получивший известность как либерал и противник Второй империи, к 1870 году отошел от либерализма и стал горячим сторонником Наполеона III. В связи с этим он был назначен посланником Франции в США. По приезде в США он узнал о начавшейся франко-прусской войне. Пережив тяжелое разочарование в наполеоновском режиме, поскольку война не соответствовала его представлениям о необходимости мирного развития империи, Прево-Парадоль покончил с собой.

...Эдмона Абу, автора книг о Греции и Египте... — Вероятно, речь идет о книге Э. Абу «Современная Греция» (1855), написанной после длительного пребывания в этой стране.

...печатавший книги об ораторах-якобинцах... — В 60-х годах Верморель выпустил пятитомный труд «Мирабо, его жизнь, взгляды и речи», а также этюды о Дантоне, Марате и Робеспьере.

Впоследствии он играл некоторую роль и в Коммуне. — Верморель был членом Парижской коммуны, принадлежал к ее прудонистскому меньшинству. Он был ранен на баррикадах, взят в плен версальцами и умер в тюремной больнице в 1871 году.

Стр. 180. *...я говорю о его романе «Сантиментальное воспитание».* — В статье «Реальный роман во Франции» Боборыкин писал: «Прочитывая «Сантиментальное воспитание» с полным беспристрастием, нельзя не сознаться, что в авторе вы не чувствуете совсем почти гражданина своей земли, почему роман его и лишен того одушевления, которое заставляет читателя с возрастающим интересом глотать страницу за страницей. Флобер по собственному своему желанию, или, лучше сказать, по наклонности своей натуры, заключил себя в оболочку писателя-эрудита, ушел от волнений действительности и кончил, разумеется, значительной долей гражданского индифферентизма и мизантропии...» В то же время Боборыкин отмечал и общее значение Флобера для литературы: «После него уже каждый даровитый и философски развитый писатель, усвоив себе его образцовые приемы, может тем с большей легкостью вложить в любое свое произведение все то, чего лучшая доля современного общества требует и в художественном и в гражданско-нравственном отношениях» («Отечественные записки», 1876, № 6, «Внутреннее обозрение», стр. 356 и 357).

Стр. 181. *...по поводу его трагедии, написанной по трилогии Эсхила «Эриннии».* — Трагедия Леконт де Лиля «Эриннии» (1872) являлась переделкой трилогии Эсхила «Орестея».

Стр. 183. *...в его известной книге о средствах художественного выражения...* — Имеется в виду книга Сюлли-Прюдома «Выразительность искусства» (1884).

Стр. 185. ...*«Les Blasphèmes», где Ришпен 〈...〉 плевал на все, что только человечество создало священного и высокого.* — В этом сборнике автор с анархических позиций выступил против уродливой морали буржуазного общества и вообще цивилизации, воспевал простые человеческие чувства и поэтизировал мир отщепенцев-бродяг.

Стр. 186. *В этой школе Рошфор подготовился и к той серии памфлетов, которые он в виде красных книжечек стал выпускать против бонапартизма.* — Рошфор начал свою публицистическую деятельность в газете Вильмессана «Фигаро», где он напечатал серию антиправительственных памфлетов, что навлекло на газету ряд административных взысканий и вынудило редакцию отказаться от сотрудничества Рошфора. Рошфор выпустил эти памфлеты отдельным трехтомным изданием (1866—1868), а затем основал собственное еженедельное издание — «Фонарь» (№ 1 вышел 31 мая 1868 года), который Боборыкин и называет «красными книжечками». «Фонарь» печатался огромным по тому времени тиражом в 80 000, имел огромный успех и переводился на многие европейские языки. Репрессии правительства вынудили Рошфора перенести издание своего еженедельника в Брюссель.

Стр. 187. *Золя начал действовать как романист уже в конце 60-х годов...* — Первые романы Золя «Марсельские тайны», «Исповедь Клода» и др. начали печататься в 1865 году, но прошли незамеченными. Лишь роман «Тереза Ракен» (1867) получил известность.

...*сделаться и глашатаем принципов художественно-литературного реализма, который 〈...〉 приобрел и общепризнанную кличку натурализма.* — Свои теоретические взгляды Золя изложил в серии статей, печатавшихся в 70-х годах в «Вестнике Европы» и объединенных затем в сборники «Экспериментальный роман» (1880), «Литературные документы» (1881) и др.

Стр. 188. *Тургенев добыл для Золя постоянную работу в «Вестнике Европы»...* — Золя сотрудничал в «Вестнике Европы» в 1875—1880 годах, помещая почти в каждом номере журнала свои статьи под общим заголовком «Парижские письма»; там же были напечатаны его романы «Проступок аббата Мурэ» (1875, № 1—3), «Его превосходительство Эжен Ругон» (1876, № 1—4).

Стр. 189. ...*несколько чтений, которые происходили в тогдашнем Клубе художников, а потом появились в виде статей в «Отечественных записках».* — См. прим. к стр. 160.

...*и в русских переводах.* — В русских переводах в первой половине 70-х годов появились романы Золя «Чрево Парижа» (СПб. 1873), «Карьера Ругонов» (СПб. 1873), «Завоевание Плессана» (СПб. 1874). В том же 1874 году в Москве и Петербурге был выпущен роман

«La Curée» («Добыча») под названием «Добыча, брошенная собакам» и «Подачка собакам».

...сообщил русской аудитории подробности о нем, взятые из подлинного автобиографического письма его ко мне. — В 1876 году Боборыкин, задумав серию публичных чтений о французском романе, обратился с просьбой к Золя сообщить о себе биографические сведения. Ответ Золя был зачитан в публичных чтениях Боборыкина в марте 1876 года в Клубе художников и приведен в его статье «Реальный роман во Франции».

...в свое время описывал мои посещения и беседы не только о Золя... — В очерке «У романистов», опубликованном в № 11 журнала «Слово» за 1878 год и вошедшем в наст. том.

Стр. 190. *За него же мне всего больше и доставалось в русской печати.* — То есть за защиту принципов натурализма и за натурализм («золаизм») в собственных произведениях Боборыкина.

Стр. 191. *...в которой Мопассан сразу заявил себя как первоклассный талант.* — В сборнике «Меданские вечера» был напечатан рассказ Ги де Мопассана «Пышка», сразу привлекший к нему внимание критики и читателей.

Стр. 192. *...рассказы, напечатанные за его подписью в той же петербургской газете...* — По-видимому, речь идет о ряде рассказов Доде («Подпрефект», «Актеры» и др.), печатавшихся в газете «Русская жизнь» в первой половине 90-х годов.

Стр. 194. *...где одна вещь была посвящена Тургеневу...* — Мопассан посвятил Тургеневу сборник рассказов «Заведение Телье» — как «дань глубокой привязанности и великого восхищения» (Ги де Мопассан, Полн. собр. соч., т. II, М. 1938, стр. 111). Кроме того, он написал о Тургеневе две статьи — «Изобретатель слова «нигилизм» и «Иван Тургенев» (там же, т. XIII, М. 1950).

Фурштадтский офицер — офицер, служащий в обозных воинских частях.

...вплоть до самой своей душевной болезни. — Первый приступ душевной болезни случился у Мопассана 1 января 1892 года, в припадке безумия он пытался покончить с собой.

Стр. 195. *...критик и биограф своего «учителя»...* — Поль Алекси в 1882 году выпустил книгу «Эмиль Золя. Дружеские заметки».

...Поль Бурже, выступив сначала как стихотворец... — До опубликования отдельным изданием серии литературно-критических статей, объединенных в сборнике «Этюды по современной психологии» (1883), П. Бурже выпустил стихотворные сборники «Стихи» (1872—1876), «Беспокойная жизнь» (1875), «Признания» (1882) и др.

Стр. 196. *...в журнале которой...* — В журнале «Nouvelle Revue» («Новое обозрение»), основанном в 1879 году.

Стр. 197. *...сначала русский роман, потом скандинавская драма.* — Преимущественно романы Толстого, Достоевского, Тургенева и пьесы Ибсена и Стриндберга.

Стр. 198. *...собрался первый по счету Международный литературный конгресс.* — Об этом конгрессе Боборыкин писал в статье «Авторы, их права и положение. К истории первого Международного съезда литераторов» («Слово», 1879, № 10, 11).

Стр. 200. *...перевод «Войны и мира», сделанный одной русской дамой из большого света.* — «Война и мир» Л. Толстого вышла во французском переводе, осуществленном А. А. Паскевич, за подписью «Русская» в 1884 году. Ею же были переведены «Казаки» и «Севастопольские рассказы».

Стр. 201. *...в виде целой книги о русском романе...* — Имеется в виду книга Вогюэ «Русский роман», вышедшая в 1886 году.

...еще молодым человеком женился на русской... — На сестре генерала М. Н. Анненкова.

Стр. 202. *Он же первый поставил и «Власть тьмы»...* — Пьеса Л. Толстого «Власть тьмы» была поставлена на сцене «Свободного театра» в Париже в год его основания — 1887.

Стр. 203. *...в той серии статей, какие я помещал на эту тему в журнале «Артист».* — Имеются в виду статьи «Литературный театр», опубликованные в № 12, 13 «Артиста» за 1890 год и № 24—27, 34 за 1892 год.

Рони — псевдоним братьев Бёкс. Первым воспользовался им старший брат — Жозеф-Анри, а затем и младший — Жюстьен стал выпускать свои произведения под этим псевдонимом. Многие романы были написаны братьями совместно.

Стр. 205. *...английского писателя Оскара Уайльда по поводу тогдашнего скандального процесса...* — В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд был приговорен к двум годам каторжных работ за преступление против нравственности.

Стр. 206. *Одними критическими статьями и фельетонами он ⟨...⟩ сделался популярным и ⟨...⟩ поставил несколько пьес...* — Ф. Леметр обратил на себя внимание статьей о Ренане, напечатанной в 1885 году в «Revue Bleue», и очерком о В. Гюго. Для сцены им были написаны комедии «Мятежница», «Белая свадьба», «Простите» и др.

Стр. 209. *Институт.* — См. прим. к стр. 426 I тома наст. изд.

Стр. 210. *Гонкур давно уже составил проект своей собственной академии...* — Речь идет об «Академии Гонкуров», учрежденной после смерти Эдмона Гонкура на средства, оставленные им для этой цели. Академия состоит из 10 членов, получающих пожизненную пенсию, ежегодно присуждает премию в 5 тысяч франков за лучшие худо-

жественные произведения, является также распорядителем литературного наследства Гонкуров.

Стр. 212. *...где мы в одной из предыдущих глав побывали вместе с читателем.* — Боборыкин ссылается на главы IV и V «Столиц мира», которые в значительной части повторяют главу VIII «За полвека» (см. т. I наст. изд.).

Стр. 213. *...профессор Бисли, о котором я упоминал в одной из предыдущих глав.* — В главе IV «Столиц мира».

Стр. 214. *Поэт-лавреат Тениссон.* — См. прим. к стр. 506 I тома наст. изд.

Стр. 215. *...одного из немногих британцев, поработавших на славу русской изящной словесности.* — Кроме ряда статей, опубликованных в английских журналах «Athenaeum», «Saturday Review», «Nineteenth Century» и др., Ральстон выпустил отдельными изданиями по-английски следующие книги: «Крылов и его басни» (1868), перевод «Дворянского гнезда» (1869), «Песни русского народа» (1872), «Русские народные сказки» (1873), «Древняя русская история» (1874). В 1868—1875 годах Ральстон несколько раз приезжал в Россию.

Н. С. Лесков напечатал о нем маленькую брошюру... — См. прим. к стр. 361 I тома наст. изд.

Стр. 216. *...его запутали в одно политическое дело...* — См. прим. к стр. 362 I тома наст. изд.

Когда папские войска дрались с Гарибальди... — См. прим. к стр. 362 I тома наст. изд.

...Меккензи Уоллеса ⟨...⟩, сумевшего так полно и талантливо изобразить характерные черты жизни современной России. — В 1870 году М. Уоллес приезжал в Россию, жил в Петербурге, Москве, Ярославле и путешествовал по стране, а затем выпустил двухтомный труд «Россия» (Лондон, 1877; в 1880—1881 годах был издан в русском переводе в Петербурге). В своей книге он рассказывал о России прежде всего как о стране разительных социальных контрастов.

Стр. 217. *...к своим недавним союзникам.* — Имеется в виду военный союз Англии и Франции во время Крымской войны против России 1854—1856 годов.

...автором замечательных книг критического содержания. — Дж. Морли из своих статей, публиковавшихся в журналах, составил и выпустил книги «Критические сборники», «Литературные этюды» (1891), «Литературные очерки» (1896). Кроме того, им были опубликованы отдельные монографии: «Вольтер» (1871), «Дидро и энциклопедисты» (1878), «Руссо» (1873).

Стр. 223. *Между нашими художниками в 60-х годах стали появляться признаки протестов против «академической выучки»...* — Про-

тест против принципов идеалистической эстетики и рутины нашел выражение в уходе из петербургской Академии художеств группы учеников, основавших в 1863 году Артель художников, которая сыграла значительную роль в развитии русского реалистического искусства. В 1870 году основная группа Артели во главе с И. Н. Крамским вошла в Товарищество передвижников (см. прим. к стр. 311 I тома наст. изд.).

Стр. 229. *...Глеб Успенский трогательно говорил о Лувре и его жемчужине...* — в рассказе «Выпрямила».

Стр. 232. *...книга об английских живописцах...* — Имеется в виду четырехтомный труд Дж. Рёскина «Modern Painters» («Современные художники»), вышедший в 1843—1860 годах.

Прерафаэлиты. — См. прим. к стр. 506 I тома наст. изд.

...книга Тэна о сокровищах итальянского искусства. — Имеется в виду «Путешествие по Италии, Неаполю, Риму, Флоренции, Венеции» в 2-х томах (1866).

Стр. 234. *Его «Фауст» был только что поставлен...* — в 1859 году в Париже.

Стр. 236. *«Африканка» Мейербера была еще новинкой.* — Эта опера впервые была поставлена в 1865 году.

Стр. 237. *«Фаворитка»* — опера итальянского композитора Доницетти, поставленная впервые в 1840 году на сцене Большой оперы в Париже.

Стр. 248. *...написать книгу о театральном искусстве, что я и выполнил позднее...* — См. прим. к стр. 148.

Стр. 251. *...в предисловии книги «Театральное искусство».* — В предисловии «От автора» Боборыкин писал: «Из всех друзей театрального искусства, с какими мне приводилось сталкиваться, приношу глубокую благодарность высочайшему мастеру сценической дикции, профессору декламации в Париже Ашиллю Рикуру, укрепившему во мне путем практического преподавания те теоретические начала, которые я привожу в моей книге» (П. Боборыкин, «Театральное искусство», СПб. 1872, стр. 10).

Стр. 256. *... на основании декрета, подписанного Наполеоном I в Москве в 1812 году...* — Декрет был подписан 15 октября 1812 года; в нем определены организация Французской комедии и сумма правительственной субсидии.

Стр. 262. *«Тридцать лет, или Жизнь игрока».* — См. прим. к стр. 420 I тома наст. изд.

Стр. 263. *...сыграл роль Антони...* — См. прим. к стр. 420 I тома наст. изд.

Стр. 266. *«Les Trois chapeaux»* — комедия А. Энника.

Стр. 268. *...роль Теодоры в пьесе Сарду...* — в одноименной пьесе.

...в моих воспоминаниях, помещенных в московском журнале «Артист». — Имеется в виду статья «За четверть века. Из воспоминаний о Саре Бернар», опубликованная в № 25 «Артиста» за 1892 год. Ранее Боборыкин напечатал еще один очерк о ней — «Сара Бернар» («Живописное обозрение», 1882, № 2).

Стр. 271. *...роль Галилея в пьесе этого же имени...* — в пьесе Понсара.

Стр. 284. *...в главе об уличной жизни Парижа...* — в главе III «Столиц мира».

Стр. 288. *...автора двух вещей, имевших большой успех как раз перед скандальным процессом их автора.* — В 1895 году впервые ставились новые комедии О. Уайльда «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным».

Стр. 290. *...пожалован титул сэра...* — то есть баронета, при котором слово «сэр» употребляется вместе с именем.

Стр. 291. *Мейнингенцы.* — Имеется в виду театр в г. Мейнингене (Германия), с 1860 года — придворный театр герцога Саксен-Мейнингенского, отличавшийся тяготением к внешней эффектности и натурализму постановок.

Стр. 296. *...джерсейского изгнанника...* — то есть Виктора Гюго, который эмигрировал из Франции после переворота 2 декабря 1851 года, поселился на острове Джерси (владение Великобритании) и возвратился на родину лишь после падения Наполеона III.

Стр. 297. *...когда он добивался успеха как редактор газеты «Presse»...* — Э. Жирарден основал эту газету в 30-х годах; подписная цена ее была вдвое дешевле цены других газет. Дефицит покрывался за счет помещавшейся в газете рекламы.

...муж талантливой своей сотрудницы. — Жена Э. Жирардена Дельфина Жирарден (урожденная Ге) была писательницей. В «Presse» в 1836—1848 годах печатались ее «Парижские письма» (под псевдонимом «Le Vicomte de Launnay»).

Стр. 306. *...Гонкур в своем «Журнале»...* — Имеются в виду литературные дневники, которые с 1850-х годов вели братья Гонкур, а после смерти Жюля Гонкура (1870) продолжал Эдмон Гонкур. В 1880 году он начал публиковать «Дневник» («Журнал»), что вызвало негодование и протест в писательских кругах Франции, так как в «Дневнике» предавалось гласности содержание дружеских бесед Гонкуров с рядом живых еще лиц.

Стр. 307. *«Общество драматических писателей».* — Имеется в виду «Общество русских драматических писателей и оперных композиторов», образовавшееся в 1874 году; одна из задач его состояла в защите авторских прав.

Переписка его с покойным актером Бурдиным, напечатанная в журнале «Артист»... — в № 18 за 1891 год и в № 19—21 за 1892 год.

Стр. 308. *...Куком — автором довольно талантливых романов.* — Д. Э. Кук — американский романист, участник войны за независимость США. Его произведения посвящены исключительно жизни штата Виргиния («Последний лесной житель», «Комедианты Виргинии», «Виргиния» и др.).

Стр. 309. *...наделал большого шума своими разоблачениями из мира тайного разврата...* — Ряд статей У. Т. Стэда, редактора газеты «Pall-Mall Gazette», был посвящен разоблачению торговли девушками в Лондоне, тайных притонов и роли аристократии в этих делах. После опубликования в газете эти статьи были изданы отдельной брошюрой «Девственность — дань современному Вавилону». Против Стэда был затеян судебный процесс, и он был приговорен к трем месяцам тюремного заключения.

Стр. 312. *...где он рассказал, как нашел Ливингстона...* — Имеется в виду книга Г. Стенли «Как я нашел Ливингстона» (Лондон, 1872). О Давиде Ливингстоне — исследователе Африки, отправившемся туда в 1865 году, с 1869 года не поступало никаких известий. Экспедиция Камерона, отправленная из Англии, не смогла его отыскать. По поручению издателя американской газеты «Нью-Йорк Геральд» на поиски Ливингстона в 1871 году отправился Стенли (корреспондент газеты), который, найдя Ливингстона, вместе с ним продолжил исследование неизвестных местностей Африки.

Стр. 313. *Он пришел к одному из моих русских сожителей...* — Имеется в виду Г. Н. Вырубов.

Стр. 314. *...Герцен вряд ли был особенно хорошо знаком с движением новейшего научного мышления.* — Под новейшим научным мышлением Боборыкин подразумевает позитивизм. Однако его мнение, будто Герцен плохо знал позитивистскую философию, ни на чем не основано. Сочинения Литтре были известны Герцену еще в конце 30-х годов (см. письмо Н. И. Астракову из Владимира от 27 августа 1838 года, опубликованное в «Литературном наследстве», т. 64, М. 1958, стр. 476—477). Герцен приветствовал выход журнала Литтре и Вырубова «La Philosophie positive» в листе 242 «Колокола» от 1 июня 1867 года. Но, оставаясь материалистом, он не был согласен с позитивистами. Еще в 1865 году, прочитав брошюру Г. Н. Вырубова и Е. В. де Роберти «Несколько слов о положительной философии», он писал Вырубову: «...Одно право на будущее России — ненужность христианства — вы наметили, а социальный быт пропустили» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XVIII, П. 1920, стр. 247). Позже Герцен в письмах к Огареву и детям не раз называл Вырубова «доктринером», гово-

рил о своем несогласии с ним и с Литтре, иронизировал по поводу того, что в Вырубове «пол-литра Конта» («Литературное наследство», т. 64, М. 1958, стр. 697), что «он всем доволен, все объясняет, все понимает, ни в чем не сомневается, ни о чем не печалится» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XXI, М. — Пг. 1923, стр. 502).

...убийство Виктора Нуара... — См. прим. к стр. 93.

... наш с вами общий знакомый это — какая-то мудрорыбица! — Подразумевается Г. Н. Вырубов, политическую холодность и оппортунизм которого Герцен неоднократно отмечал. Так 28 октября 1869 года Герцен писал М. А. Бакунину: «Вырубов меня не тешит, а бесит. Чистый и добрый человек, он доктринерством съел свое сердце и к окружающему относится, как адвокат или прокурор. Минутами он мне ненавистен» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XXI, М. — Пг. 1923, стр. 509).

Стр. 315. *В моем романе «Солидные добродетели»...* — См. гл. IX книги «За полвека» и прим. к стр. 50.

Стр. 316. *...речь Ренана ⟨...⟩ статья Вогюэ...* — Опубликованы в сборнике «Иностранная критика о Тургеневе» (СПб. 1884).

Стр. 317. *...образовалось какое-то «англо-русское» общество...* — В 1893 году в Лондоне было основано Англо-русское литературное общество («Anglo-Russian Literary Society»), ставившее себе целью поощрение изучения русского языка и русской литературы, устройство библиотек русских книг, выписку журналов и газет.

...одна дама, пишущая под инициалами О. К. ... — Имеется в виду Ольга Алексеевна Новикова (рожд. Киреева), известная публицистка. Ее «политический салон» в Лондоне посещался выдающимися политическими деятелями. О. А. Новикова вела неустанную агитацию в пользу англо-русского сближения (см. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского дома». С пред. и прим. Б. М. Энгельгардта, «Academia», П. 1923, стр. 47—50; W. T. Stead, «Депутат о России». Перев. Е. С. Мосоловой, т. 1 и 2, СПб. 1915).

...о двух выдающихся эмигрантах, из которых один тогда был ушиблен до смерти локомотивом. — Имеется в виду С. Кравчинский (Степняк), который погиб в 1895 году в предместье Лондона, попав под поезд. Другой эмигрант — по-видимому, П. А. Кропоткин или Н. С. Русанов.

Стр. 318. *...не подкуплено в патриотическом смысле, тут ничто не пахнет той шумихой, какая поднята была во Франции на тему «альянса».* — Речь идет о франко-русском союзе, заключенном между Францией и Россией в 1891 году. Заключению союза предшествовал период «сближения» обеих стран, чему способствовало ухудшение

отношений России с Германией. 17 августа 1892 года была заключена тайная франко-русская военная конвенция, о существовании которой во Франции стало известно в 1895 году. Тогда она и была названа «альянсом».

...профессор Морфиль... — Английский славист. В 1880 году в Лондоне вышла его книга «Россия», где давался обзор русского языка и литературы, рассказывалось о русских городах, социальной, политической и религиозной жизни русского народа и его истории. С 1890 года Морфиль преподавал русский и другие славянские языки в Оксфордском университете.

ВОСПОМИНАНИЯ 1878—1917 ГОДОВ У РОМАНИСТОВ

(Парижские впечатления)

Печатается по журналу «Слово», 1878, № 11, где было опубликовано впервые.

Стр. 321. *...с одним из наших выдающихся литературных деятелей...* — Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине. Воспоминания П. Д. Боборыкина о встречах с Салтыковым в Париже см. в статье «Монрепо. (Дума о Салтыкове)».

Стр. 324. *...в одной из книжек «Вестника Европы» Эмиль Золя набросал картину жизни и нравов современной парижской молодежи...* — Имеется в виду статья Э. Золя «Современная французская молодежь» из серии «Парижские письма» («Вестник Европы», 1878, № 4).

Стр. 326. *Все эти оттенки были также не так давно характеризованы Э. Золя в одном из его русских писем.* — Речь идет о статье Э. Золя «Наши современные поэты» из серии «Парижские письма» («Вестник Европы», 1878, № 2).

Стр. 328. *...на Международном литературном конгрессе...* — См. прим. к стр. 396.

Стр. 329. *Я уже говорил в своем письме из Парижа...* — В статье «Ликующий город. Письмо из Парижа», опубликованной в № 7 журнала «Слово» за 1878 год.

Стр. 332. *...романист Габорио получил вдруг известность одним уголовным романом...* — Речь идет, по-видимому, о романе «Золотая клика» (1871).

Стр. 334. *...под псевдонимом или кличкой «Деревянной Трубки».* — См. стр. 461 I тома наст. изд.

Стр. 335. *«Лев Латинского квартала».* — Очерк напечатан в № 10 журнала «Слово» за 1878 год.

Стр. 336. *Письмо Эмиля Золя, посвященное школе реалистов...* — Имеется в виду статья Э. Золя «Романы гг. Гонкур» из серии «Парижские письма» («Вестник Европы», 1875, № 9).

«Вестник Европы» ⟨...⟩ напечатал ⟨...⟩ подробное изложение... «Жермини Лясерте». — Роман в изложении «Э. А.» (Анны Николаевны Энгельгардт?) был опубликован в № 11 «Вестника Европы» за 1878 год.

Стр. 337. *Лекции эти были напечатаны потом в «Отечественных записках».* — См. прим. к стр. 160.

Стр. 337—338. *...один из русских писателей ⟨...⟩ обедал с ними ⟨...⟩ Ему именно Гонкур очень не понравился.* — Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине. В письме к Некрасову от 3 мая 1876 года Салтыков писал из Парижа: «Вчера я был утром у Флобера, с которым еще прежде познакомился: вместе обедали в ресторане. Познакомился с Золя и с Гонкуром. Золя порядочный — только уж очень беден и забит. Прочие — хлыщи» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII, М. 1937, стр. 361).

Стр. 338. *Другой русский ⟨...⟩ приятельски знакомый с тем же самым кружком...* — По-видимому, речь идет об И. С. Тургеневе.

Стр. 347. *...беседовал с петербургской публикой, в Клубе художников, о личности Эмиля Золя...* — См. прим. к стр. 189.

Стр. 351. *...у одного из наших весьма известных беллетристов 40-х годов.* — Возможно, речь идет о В. А. Соллогубе.

Стр. 360. *...рассказал недавно Золя русским читателям о творческой работе Доде...* — В статье «Новейший роман Альфонса Доде «Набоб» из серии «Парижские письма» («Вестник Европы», 1878, № 3).

Стр. 365. *...москвича, который послужил ему оригиналом для одного из приятелей Репетилова.* — Имеется в виду Ф. И. Толстой («Американец»), богатый помещик, авантюрист и дуэлянт.

Стр. 366. *Все его типы, сделавшиеся классическими, — живые лица...* — О том, как расценил Тургенев это утверждение Боборыкина, см. прим. к стр. 396.

ПАМЯТИ А. Ф. ПИСЕМСКОГО

Печатается по газете «Русские ведомости», 1881, № 32, 1 февраля, где было опубликовано впервые.

Стр. 373. *Он родился 10 марта 1820 года.* — Эту дату указывал всегда сам Писемский, однако она неверна. Писемский родился 11 марта 1821 года, умер 20 января 1881 года.

Стр. 374. *...трагической смерти своего меньшого сына.* — См. прим. к стр. 206 I тома наст. изд.

...раньше «Тюфяка» он напечатал небольшую повесть, о которой никто, кажется, не упоминал. — До повести «Тюфяк» (1850) Писемский опубликовал в 1848 году в журнале «Сын отечества» рассказ «Нина».

Стр. 376. *Фонд* — Литературный фонд.

Стр. 377. *...знаменитая диссертация «об отношениях искусства к действительности».* — Речь идет о диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855).

...когда редакция этого журнала фактически очутилась в руках новых людей... — Боборыкин имеет в виду тот период, когда во главе редакции «Современника» стояли Некрасов, Добролюбов, Чернышевский и, позднее, Салтыков-Щедрин.

...когда стал руководителем журнала. — С ноября 1860 года до начала 1863 года Писемский состоял редактором журнала «Библиотека для чтения».

«Современник» стал враждебен Тургеневу. — См. прим. к стр. 195 I тома наст. изд.

...пресловутый памфлет г. Антоновича «Новейший Асмодей»... — См. прим. к стр. 282 I тома наст. изд. и к стр. 384 наст. тома.

Стр. 378. *....реакции, какая в нем зрела и разразилась в романе «Взбаламученное море».* — Критическое отношение к действительности, характерное для Писемского 50-х годов, сочеталось у него с консервативными политическими взглядами. В период первой революционной ситуации в России, когда произошла резкая дифференциация сил русского общества, Писемский выступил против передовой его части и очутился в лагере реакции. Начав с отдельных фельетонов, направленных против русской революционной демократии, Писемский в 1863 году напечатал в «Русском вестнике» Каткова свой реакционный, пасквильный роман «Взбаламученное море».

...журналом, редакторы которого вызывали даже Писемского на дуэль. — См. стр. 278 I тома наст. изд.

Тогдашний руководитель «Современника»... — Имеется в виду Н. Г. Чернышевский.

Стр. 380. *Один из членов редакции «Современника» приезжал к Писемскому ⟨...⟩ начать переговоры о романе.* — Этим членом редакции был М. Е. Салтыков-Щедрин. Желание «Современника» получить роман Писемского может быть объяснено двумя обстоятельствами: с одной стороны — совершенно очевидно, что редакции неизвестно было содержание романа в целом; с другой — договоренность с «Современником» на опубликование романа неизбежно должна была оказать положительное влияние на его тенденцию, в чем «Современник», орган передовой революционной демократии, был кровно заин-

тересован, особенно в связи с наступлением в это время в России реакции.

...свой досуг Писемский пополнил службой... — В 1866 году Писемский поступил в Москве на государственную службу — советником Московского губернского правления. По свидетельству П. В. Анненкова, место это было предоставлено Писемскому по его просьбе министром внутренних дел П. А. Валуевым (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960, стр. 519).

Стр. 381. *...в моих публичных лекциях* (...) *под заглавием «Островский и его сверстники».* — См. прим. к стр. 295 I тома наст. изд.

ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА

Печатается по газете «Новости и биржевая газета», 1883, № 144, 25 августа, где было опубликовано впервые.

Стр. 383. *...век покойного канцлера князя Горчакова пожелал бы каждый Тургеневу...* — Министр иностранных дел и государственный канцлер князь А. М. Горчаков умер в один год с Тургеневым, в возрасте 85 лет. Он был старше Тургенева на 20 лет.

...говорить о постылых издательских делах, об исполнении своих обещаний... — За полгода до смерти больной Тургенев, тяжело переживавший невозможность сдержать свои обязательства перед издателем А. Ф. Марксом, писал Д. В. Григоровичу 1 февраля 1883 года: «Я бы рад был сдержать слово Марксу — и сдержу его, если только болезнь не помешает... Но пока я человек и без ног и без рук» («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 544).

...такой же адски долгий конец, как и Некрасову. — Некрасов заболел в 1876 году. Тяжелая смертельная болезнь (рак) длилась около двух лет.

Стр. 384. *...«Современник» с ликованьем выступил против него статьей «Новейший Асмодей».* — В статье «Асмодей нашего времени» М. А. Антонович расценивал роман «Отцы и дети» как злостную клевету на передовую, революционную молодежь. Антонович утверждал впоследствии, что Чернышевский, заведовавший в это время редакцией «Современника», не забраковал статью и, следовательно, вполне разделял точку зрения автора.

Его авторские признания, написанные в Баден-Бадене, в конце 60-х годов... — Боборыкин говорит о статье «По поводу «Отцов и детей», впервые напечатанной в I томе Сочинений И. С. Тургенева, М. 1869.

Стр. 385. *...с овации, сделанной ими на заседании Общества любителей словесности в Физической аудитории Московского университета...* — 18 февраля 1879 года в Москве на публичном заседании

Общества любителей российской словесности состоялась встреча И. С. Тургенева с демократической разночинной аудиторией.

...студент от лица товарищей еще читал автору «Записок охотника» как бы сочувственную нотацию... — Студент Московского университета П. П. Викторов, обращаясь к И. С. Тургеневу, в своей речи сказал: «Вы живой представитель того поколения 40-х годов, лучшую традицию которого современное поколение принимает как драгоценное наследство, заботясь лишь о дальнейшем ее развитии. Они видят в вас творца «Записок охотника», одного из славного ряда тех, кто впервые проникся живым чувством к угнетенному народу, его горю и страданиям. Они видят в вас одного из тех, кто личным, а не книжным только обращением к народу наметил грядущим поколениям великую роль: обеспечить за народом полную свободу развития. Они видят в вас последний луч славных людей вашего поколения, которое идеалами своими подготовило идеалы будущего, прибавило новое звено к общей цепи идей... В лице вас наступающее поколение может отдать и отдает дань уважения своим духовным предшественникам» («Русские ведомости», 1879, № 57, 6 марта).

Стр. 386. *Только в двух-трех журналах* ⟨...⟩ *его «не признают»...* — Имеются в виду журналы «Отечественные записки», «Дело» и, возможно, «Слово».

...когда должен был лишиться свободы за несколько сочувственных слов... о ком? ...о Гоголе!.. — За публикацию в Москве запрещенного в Петербурге некролога Гоголю весной 1852 года Тургенева продержали месяц под арестом, а затем выслали под административный надзор в село Спасское-Лутовиново. Лишь в ноябре 1853 года Тургеневу было разрешено вернуться в столицу.

ТУРГЕНЕВ ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

Печатается по газете «Новости и биржевая газета», 1883, № 177, 27 сентября, где было опубликовано впервые.

Стр. 388. *...когда-то в своих критических статьях покойный Аполлон Григорьев.* — Речь идет о статье А. Григорьева «Реализм и идеализм в русской литературе» («Светоч», 1861, № 4).

Стр. 392. *...из которых один оказался неудобным по своей горячности и манере ругать партнеров.* — М. Е. Салтыков-Щедрин. Его имя П. Д. Боборыкин называет в следующей статье — «Печальная годовщина».

Стр. 393. *...маленькое предисловие Тургенева к митавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим «вторым отечеством».* — Очевидно, Боборыкин имеет в виду предисловие к немецкому переводу «Отцов и детей», вышедшему в Карлсруэ в 1869 году.

В нем Тургенев писал: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не чтить ее как мою вторую родину» («И. С. Тургенев. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. О. Гершензон», «Русские пропилеи», т. III, М. 1916, стр. 188). Очевидно, Тургенев имел в виду ту пользу, которую оказало ему пребывание в Германии в 1838—1840 годах: для завершения своего образования Тургенев прослушал курс лекций в Берлинском университете, где изучал классическую филологию и философию.

Стр. 394. *...с его ближайшим приятелем...* — Вероятно, с П. В. Анненковым, близким другом И. С. Тургенева в течение многих лет.

Виардо и его жена не хотели оставаться у «пруссаков». — См. прим. к стр. 8.

Стр. 395. *...что он и выразил в нескольких корреспонденциях...* — Имеются в виду письма Тургенева о франко-прусской войне, опубликованные в «Санкт-Петербургских ведомостях» (№ 216, 219, 231, 252 и 265 от 8, 11, 23 августа и 13 и 26 сентября 1870 года). Тургенев радовался поражению Франции, считая, что «вместе с нею поражается насмерть наполеоновская империя, существование которой несовместимо с развитием свободы в Европе» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12 томах, т. 11, Гослитиздат, М. 1956, стр. 537).

...его большое предисловие ⟨...⟩ к переводу какого-то романа его знакомого, Максима Дюкана... — См. прим. к стр. 169.

...нашел даже время и охоту ⟨...⟩ перевести три повести Флобера. — В № 4 и 5 «Вестника Европы» за 1877 год И. С. Тургенев напечатал переводы двух произведений Флобера: «Легенда о св. Юлиане Милостивом» (под заглавием «Католическая легенда о св. Юлиане Милостивом») и «Иродиада».

Стр. 396. *...очерк «У романистов», напечатанный в «Слове». Относится он к лету 1878 года, когда мы съехались на Литературный конгресс.* — Международный литературный съезд состоялся в Париже летом 1878 года во время Парижской выставки. Возвращая П. В. Анненкову полученную от него книжку журнала со статьей Боборыкина, Тургенев возмущался тем, что Боборыкин ссылался на него «насчет воспроизведения в литературе живых отдельных людей — а именно всякое списывание портретов противоречит моим убеждениям — изустным и напечатанным. Те два-три случая, где я это сделал (как, напр., со Стасовым), относились к второстепенным лицам — да и в этом я раскаиваюсь». (Письмо П. В. Анненкову от 4 (16) декабря 1878 года. Клеман М. М., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, «Academia», М. — Л. 1934, стр. 274). Очерк «У романистов» см. в настоящем томе, стр. 321.

Стр. 397. *От одной искренно преданной покойному русской артистки я слышал...* — От М. Г. Савиной, артистки Александринского театра. Находясь в 1882 году в Париже, Савина посещала Тургенева и имела возможность наблюдать обстановку, в которой находился смертельно больной Тургенев в доме Виардо.

Стр. 398. *...в речи своей ⟨...⟩ даже уже слишком «прибеднялся» за нашу литературу перед Западом.* — Тургенев в своем выступлении заявил, что «два столетия тому назад, в 1678 году наша национальная литература еще не существовала», что «Россия имела полнейшее право считаться полуварварским народом» и отметил то «большое влияние, которое французский гений всегда оказывал на Россию». В заключение Тургенев сказал: «Двести лет тому назад, не понимая вас, мы стремились к вам; сто лет позднее мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете как своих товарищей... И — факт необыкновенный и не слыханный в летописях России — скромный писатель, не дипломат и не военный, не имеющий вовсе никакого чина по нашей табели о рангах, имеет честь говорить перед вами от лица своей страны...» («Русские пропилеи», т. III, М. 1916, стр. 254—255).

Заметка, появившаяся в «Русских ведомостях»... — См. прим. к стр. 406.

ПЕЧАЛЬНАЯ ГОДОВЩИНА

(Из воспоминаний о Тургеневе)

Печатается по газете «Русские ведомости», 1908, № 194, 22 августа, где было опубликовано впервые.

Стр. 401. *...той беседы с читателями, где я вспоминал о некоторых ближайших приятелях Тургенева...* — Боборыкин имеет в виду четвертую и пятую главы своих воспоминаний «За полвека», печатавшиеся в 1908 году в журнале «Минувшие годы».

Стр. 405. *...печатного недовольства «Отцами и детьми», даже со стороны ⟨...⟩ Герцена.* — В письме к Тургеневу от 21 апреля 1862 года Герцен писал, что образ Базарова шаржирован, что Тургенев «с сердцов» заставлял Базарова говорить нелепости, что он намеренно сделал его вульгарным материалистом, желая этим уязвить Чернышевского и Добролюбова. «Вообще мне кажется, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному мировоззрению — и смешиваешь с каким-то грубым, хвастливым материализмом...» И далее, подчеркивая, что сила таланта Тургенева не в «тенденциозных писаниях», добавлял: «Если б, писавши, сверх того — ты забыл о всех Чернышевских в мире — было бы для Базарова лучше» (А. И. Герцен, Соч. в 9-ти томах, т. 9, Гослитиздат, М. 1958, стр. 474). Спор вокруг «Отцов и детей» послужил исходным пунктом печатной

полемики Герцена против Тургенева в цикле его писем «Концы и начала».

...коллекция его писем интимного характера, которые она не желает печатать при жизни. — После смерти М. Г. Савиной (8 сентября 1915 года) был издан сборник «Тургенев и Савина» (изд. Государственных театров, Пг. 1918), в который вошли воспоминания М. Г. Савиной о Тургеневе и собранные А. Е. Молчановым письма Тургенева к Савиной. Нежелание М. Г. Савиной печатать при своей жизни письма И. С. Тургенева подтверждается в ее письме к А. Ф. Кони от 23 марта 1908 года: «...Очень хотела бы поговорить с Вами по поводу того, как ко мне пристают с письмами Ивана Сергеевича, придираясь к 25-летию со дня его кончины. 25 лет я свято хранила их...» (там же, стр. 99). В печати Савину упрекали за нежелание опубликовать письма Тургенева. «Письма такого лица есть общее достояние», — писалось в газете «Театральный мирок» (1884, № 46, «Арабески»).

Стр. 406. *...заболел у Маслова...* — Приезжая в Москву, Тургенев часто останавливался у своего приятеля И. И. Маслова, либерального общественного деятеля.

Об этом я сделал анонимную заметку в «Русских ведомостях»... — Заметка эта была помещена в № 42 «Русских ведомостей» от 17 февраля 1879 года. В ней, между прочим, сообщалось, что «в воскресенье, 18 февраля, должно состояться публичное заседание Общества любителей российской словесности. Иван Сергеевич — его член и, как нам сообщили, собирается на это заседание, быть может, примет участие и в чтениях».

...обращения к нему — с хор — студента В[икторова]. — См. прим. к стр. 385.

Стр. 407. *Слушательница тогдашних курсов Е. П. Л[етко]ва с большим волнением высказалась...* — Имеется в виду Е. П. Леткова, в то время слушательница курсов Герье в Москве (впоследствии писательница и общественная деятельница). Выступая на литературном банкете, устроенном в Эрмитаже в честь Тургенева передовой общественностью Москвы, Е. П. Леткова сказала: «...Как должна быть благодарна русская женщина Ивану Сергеевичу за то, что он показал ей, что у нее есть «крылья» и что стоит ей развязать их, и она может лететь в вышину. Его героини стремятся к свету, правде, к делу, а главное, они протестуют против житейской пошлости и в этом их громадная заслуга» (Е. П. Леткова, «Об Ив. С. Тургеневе (Из воспоминаний курсистки)». Сб. «К свету», СПб. 1904, стр. 455).

...после моего обращения к нему... — См. об этом в № 42 «Русских ведомостей» от 17 февраля 1879 года.

...знаменитый генерал Трепов... — Речь идет о петербургском градоначальнике Ф. Ф. Трепове, приказавшем наказать розгами политического заключенного Боголюбова (не снявшего перед ним шапку), в связи с чем 24 января 1878 года в Трепова стреляла Вера Засулич.

...напечатать в «Полицейских»... — в «Полицейских ведомостях».

...эндемическая... — то есть свойственная данной местности.

Стр. 409. *Тогда он уже не скрывал ни перед кем* ⟨...⟩, *что он не восхищается очень многим, что есть в «Анне Карениной»...* — Тургенев отрицательно отнесся к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина». В письме к А. С. Суворину от 14 марта 1875 года он писал, что в «Анне Карениной» чувствуется «влияние Москвы, славянофильского дворянства, старых православных дев, собственного уединения и отсутствие настоящей, художнической свободы. Вторая часть просто скучна и *мелка...*» («Первое собрание писем И. С. Тургенева, 1840—1883 гг.», СПб. 1884, стр. 257.)

...историю своей ссоры с Толстым... — Ссора И. С. Тургенева с Л. Н. Толстым, едва не кончившаяся дуэлью, произошла в мае 1861 года в доме у поэта А. А. Фета, который подробно рассказал об этом в «Моих воспоминаниях» (1890). О своей ссоре с Толстым Тургенев писал графине Е. Е. Ламберт 7 июня 1861 года: «Виноват был я фактически, хотя в основании лежали причины, меня оправдывающие» («Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт», М. 1915, стр. 129). Толстой в письме к Б. Н. Чичерину от 28 октября 1861 года писал: «...Я все возможное сделал, чтобы его успокоить. *Драться* же с кем-нибудь, и особенно с ним, через год, за 2000 верст, столько же для меня возможно, как, нарядившись диким, плясать на Тверской улице» («Письма Толстого и к Толстому», М. — Л. 1928, стр. 24).

Стр. 410 *...я* ⟨...⟩ *направился* ⟨...⟩ *на конгресс «Мира и свободы».* — См. стр. 511 I тома наст. изд.

Стр. 411. *...слышал, как он читал на вечере «Довольно».* — См. прим. к стр. 390 I тома наст. изд.

«МОНРЕПО»

(Дума о Салтыкове)

Печатается по газете «Новости и биржевая газета», 1889, № 154, 19 июля, где было опубликовано впервые. Публиковалось С. А. Макашиным в книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957.

Стр. 412. *...по краткому некрологу какой-то парижской газеты...* — Некрологи были напечатаны в майских номерах газет «Figaro», «La Presse», «Paris», «Journal des Débats», «Gaulois» и «Temps» за 1889 год.

...вздор, что с Салтыковым в лицее учился в одно время Федор Достоевский, как сын «знатных родителей». — Ф. М. Достоевский вовсе не был «знатного происхождения» (отец его был московским штаб-лекарем) и образование получил в петербургском Инженерном училище. М. Е. Салтыков же действительно был воспитанником Царскосельского лицея, который закончил в 1844 году.

Стр. 413. *В начале 80-х годов...* — Это было в августе 1881 года. Дата подтверждается самим Салтыковым, который в письме к М. М. Стасюлевичу от 7 сентября 1881 года сообщал: «В том же отеле, где я — Боборыкин» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XIX, кн. 2, М. 1939, стр. 225).

Он перевел ⟨...⟩ «Сказки» Салтыкова и издал их на свой счет... — Речь идет об издании «Trois contes russes de Chtehédrine (pseud.). Traduits par Ed. O'Farell», Paris, «Librairie des bibliophiles», 1881. («Три русские сказки Щедрина (псевдоним). Перевод Э. О'Фарелля», Париж, «Либрери де библиофил», 1881). В книгу вошли сказки «Как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик».

Стр. 414. *...Ожье и Дюма-сына, который ⟨...⟩ был ⟨...⟩ проводитель разных идей и нравственных идеалов ⟨...⟩ казавшихся ⟨...⟩ очень смелыми...* — См. прим. к стр. 173.

Стр. 415. *...были напечатаны в «Отечественных записках» три лекции ⟨...⟩ «О реальном романе во Франции».* — См. прим. к стр. 160. Салтыков отрицательно отнесся к этим статьям Боборыкина, отозвавшись о них, как о «пустословии, соединенном с сквернословием» (См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XIX, кн. 2, М. 1939, стр. 65).

Стр. 417. *...публичное чествование как писателю от покойного канцлера кн. Горчакова.* — Об этом рассказывалось в газете А. С. Суворина «Новое время», 1876, № 29, 28 марта: «В прошлом году князь Александр Михайлович был в Баден-Бадене, куда в то же время привезли совершенно больного М. Е. Салтыкова (Щедрина). Когда больной начал поправляться и его стали вывозить на гуляние в тележке, к нему подошел раз наш канцлер, с которым он не был знаком, и, протянув ему руку, сказал: «Позвольте мне, как русскому, порадоваться выздоровлению знаменитого писателя и от души пожать вашу руку». Салтыков впоследствии писал Некрасову о «неприличной выходке Суворина», сделавшей из него «предмет негнушательства кн. Горчакова» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII, кн. 1, М. 1937, стр. 359).

Стр. 418. *...Юрьев ⟨...⟩ приглашенный накануне смерти руководить новым журналом.* — С. А. Юрьев, товарищ детских и школьных лет Салтыкова, был редактором-издателем журналов «Беседа»

(1871—1872) и «Русская мысль» (1880—1885). О каком «новом журнале» говорит Боборыкин, установить не удалось.

Стр. 419. *И британский «декан»...* — С 1713 года Д. Свифт был деканом (настоятелем) Дублинского собора (Ирландия).

...которая даже в такой мягкой натуре, как Тургенев, вызвала побег на Запад и клятву: не мириться с крепостным строем тогдашней России! — Боборыкин имеет в виду следующие слова И. С. Тургенева в статье «Вместо вступления»: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел... В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца, с чем поклялся никогда не примириться...» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 10, М. 1956, стр. 261).

Стр. 420. *...такие сетования Иова!..* — Имеется в виду элегия Салтыкова «Имярек» (в «Мелочах жизни»), во многом автобиографическая, в которой он сравнивал свои страдания со страданиями библейского Иова.

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ СКЕПТИК
(Из воспоминаний о Ренане)

Печатается по газете «Русские ведомости», 1892, № 266, 26 сентября, где было опубликовано впервые.

Стр. 421. *Он — своего рода Конрад Валленрод.* — Имеется в виду герой одноименной поэмы А. Мицкевича, литовец, вступивший в Тевтонский орден с целью отомстить ордену за разорение своей родины, но вместе с тем причинивший много вреда Польше и Литве. Боборыкин сравнивает Ренана с К. Валленродом потому, что Ренан, будучи выходцем из среды католического духовенства, выступал против церкви.

Экзегет (экзегетика). — См. прим. к стр. 156 I тома наст. изд.

Стр. 422. *...по поводу книги Ренана...* — Речь идет о первой части восьмитомного труда «История происхождения христианства» — «Жизнь Иисуса Христа» (1863). Научного значения эта книга не имела, но сыграла заметную роль в идейной борьбе своего времени — в ней отрицалась божественность происхождения Христа.

...часть молодежи, подстрекаемая старыми клерикалами и устроившая Ренану знаменитую демонстрацию 2-го февраля 1862 года. — В 1861 году Ренан был назначен профессором Collège de France. Первая его лекция, в которой он изложил свои взгляды по вопросу возникновения христианства, прерывалась враждебными возгласами клерикалов, а также либералов, считавших Ренана сторонником Наполеона III, но вызвала и дружественную манифестацию другой

части слушателей. После первой лекции чтение курса было приостановлено администрацией, и Ренану предложили перейти на должность хранителя библиотеки. Он отказался от этого поста и выразил свой протест в брошюре «Кафедра гебраизма (языка и истории древней Иудеи. — *Э. В.* и *Л. Р.*) в Коллеж де Франс» (Париж, 1862).

Стр. 424. *...тем, кто ⟨...⟩ с трибуны Законодательного Корпуса провозгласил династию Наполеонидов падшей и на ее место посадил опять изгнанницу во фригийском колпаке.* — Речь идет о революции 4 сентября 1870 года, когда, узнав о поражении французской армии 2 сентября при Седане, народ восстал, ворвался в здание Законодательного Корпуса и потребовал установления республики и защиты Франции.

Стр. 425. *...по другому отделению Института...* — См. прим. к стр. 426 I тома наст. изд.

...Литтре, как составитель знаменитого «Словаря»... — Литтре был составителем «Французского словаря», над которым работал в 1863—1873 годах. Этот словарь считался лучшим из существовавших в то время словарей живых языков.

Стр. 427. *«Поэт-солнце»* — В. Гюго.

Стр. 428—429. *Рапсод* — странствующий певец в древней Греции.

ТВОРЕЦ «ОБЛОМОВА»

(Из личных воспоминаний)

Печатается по газете «Русские ведомости», 1892, № 339, 8 декабря, где было опубликовано впервые.

Стр. 434. *Давно ли умер И. А. Гончаров?* — И. А. Гончаров умер 15 сентября 1891 года.

Стр. 435. *...опыт последних годов показал, что печатать без выбора все, что сохранилось из переписки хотя бы самого знаменитого человека, значит оказывать медвежью услугу его памяти.* — Несомненный намек на опубликованное в 1884 году «Первое собрание писем И. С. Тургенева, 1840—1883 гг.», в котором содержалось много субъективных и не всегда справедливых оценок личности и творчества ряда писателей — друзей и знакомых Тургенева. В частности, это касалось и Боборыкина.

...заграничный сборник ⟨...⟩ писем двух крупных личностей... — Имеется в виду книга «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», изданная М. Драгомановым в Женеве в 1892 году.

Стр. 436. *...переводил учебник Дондерса.* — См. прим. к стр. 106.

Стр. 438. *...мне привелось провести вечер с Гончаровым в одном редакторском доме.* — Вероятно, у М. М. Стасюлевича, с 1865 года

издававшего журнал «Вестник Европы». В этом журнале Боборыкин сотрудничал в 70-х годах. Гончаров находился со Стасюлевичем в дружеских отношениях.

Стр. 439. *После «Обрыва» ⟨...⟩ в тогдашней критике произведения его не оценили как следует.* — Передовая русская критика отрицательно отнеслась к роману И. А. Гончарова «Обрыв», содержавшему выпады против революционно-демократического лагеря (см., например, статью М. Е. Салтыкова-Щедрина «Уличная философия» — «Отечественные записки», 1869, № 6).

...толки о том, что автор «Обрыва» заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова... — Речь идет о нашумевшем в свое время обвинении в плагиате, которое предъявил И. А. Гончаров И. С. Тургеневу. Состоявшийся 29 марта 1860 года третейский суд (в состав которого по обоюдному согласию Гончарова и Тургенева вошли П. В. Анненков, А. В. Дружинин и С. С. Дудышкин), вынес решение, в котором, отрицая плагиат или даже заимствование со стороны Тургенева, отмечал, что «произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях» («И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского дома». С предисловием и примечаниями Б. М. Энгельгардта, «Academia», Пг. 1923, стр. 20).

В литературном мире позиция Гончарова не встретила сочувствия. В журнале «Искра» (1860, № 19, стр. 197) было напечатано юмористическое описание третейского суда (принадлежавшее перу поэта-юмориста Д. Д. Минаева), под названием «Парнасский приговор», в следующих строках которого иронически подчеркивалась неосновательность претензий Гончарова:

У меня герой в чахотке,
У него портрет того же,
У меня Елены имя,
У него Елена тоже;
У него все лица так же,
Как в моем романе, ходят,
Пьют, болтают, спят и любят...

Стр. 444. *...травли, какую критика устроила когда-то роману «Отцы и дети»...* — См. прим. к стр. 14 и 384.

Стр. 446. *...в нескольких письмах, которые я получил от него в Москве.* — Обнаружить письма И. А. Гончарова к П. Д. Боборыкину не удалось.

...заботой о чужих детях, которых он воспитал и обеспечил. — Речь идет о Елене и Александре Трейгульт, дочерях умершего слуги

Гончарова, в воспитании которых он принимал сердечное участие и которым завещал свое состояние.

...семидесяти пяти лет он мог еще художественно изображать типы прислуги крепостного времени. — Имеется в виду произведение И. А. Гончарова «Слуги» (1888).

«MÉLODIE EN FA»

(Из воспоминаний об А. Г. Рубинштейне)

Печатается по газете «Русские ведомости», 1904, № 193, 13 июля; № 196, 16 июля; № 200, 20 июля, где было опубликовано впервые.

Стр. 450. *...«кучкизма». Слово еще не было пущено...* — О Могучей кучке см. прим. к стр. 225 I тома наст. изд.

«Фразеры». — См. прим. к стр 120 I тома наст. изд.

Стр. 451. *...антиакадемическое направление в живописи...* — то есть передвижники (см. прим. к стр. 223 наст. тома и к стр. 311 I тома наст. изд.).

...в его музыкальном фельетоне «Библиотеки для чтения»... — Боборыкин, очевидно, имеет в виду статью А. Н. Серова «Концерты Ф. Лауба и А. Рубинштейна», напечатанную в № 11 «Театрального и музыкального вестника» за 1858 год. Написанная в крайне нелояльном, даже оскорбительном тоне, статья содержит ряд утверждений о полной беспомощности и бездарности Рубинштейна как композитора, хотя как музыканту-исполнителю Серов отдает Рубинштейну некоторую дань.

Стр. 452. *...в своей предсмертной книге о музыке...* — Имеется в виду книга А. Рубинштейна «Музыка и ее представители. (Разговор о музыке)», М. 1891.

Стр. 454. *Тургенев после возвращения моего в Россию в зиму 1870—1871 года был вызван туда по одному делу...* — Здесь несомненная ошибка памяти. Тургенев приехал в Петербург из-за границы 13 февраля 1871 года и пробыл в нем до 8 марта. Затем, после непродолжительного пребывания в Москве, 22 марта того же года выехал из Петербурга за границу. Ни о каком деле, связанном с Третьим отделением, за этот период жизни Тургенева нет нигде никаких упоминаний (см. М. М. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, «Academia», М. — Л. 1934, стр. 198). Тургенев вызывался Третьим отделением в январе 1864 года для дачи показаний по делу «32» (см. прим. к стр. 362 I тома наст. изд.).

...основание литературно-артистического кружка. — См. об отношении к этому начинанию М. Е. Салтыкова-Щедрина на стр. 146.

Стр. 457. *...нелады по Русскому музыкальному обществу.* — А. Г. Рубинштейн был инициатором создания в 1858 году Русского

музыкального общества, целью которого являлось устройство в Петербурге и других городах регулярных симфонических и камерных концертов, а также создание высших и средних музыкальных учебных заведений. Деятельность А. Г. Рубинштейна проходила в атмосфере острой борьбы между ним и его противниками (А. Н. Серовым, М. А. Балакиревым и др.), обвинявшими Рубинштейна в том, что он в своей музыкально-общественной деятельности недооценивает русские национальные традиции, копирует иностранные образцы и т. п. Все это вынудило Рубинштейна в 1867 году покинуть пост дирижера симфонических концертов Русского музыкального общества и уехать за границу.

Стр. 459. *...той зимы, когда скончался А. Г.* — А. Г. Рубинштейн умер 8 ноября 1894 года.

Стр. 460. *...в дни последнего юбилея Антона Григорьевича.* — Торжественное празднование 50-летия артистической деятельности А. Г. Рубинштейна состоялось в Петербурге 17—22 ноября 1889 года.

...возведение в дворянское звание... — А. Г. Рубинштейну было «пожаловано» личное дворянство.

Стр. 461. *...тех скандальных выходок печати, которые омрачили его юбилейное торжество...* — Имеются в виду выступления реакционной газеты «Гражданин», которая в № 317, 318, 321, 326 от 15, 16, 19 и 24 ноября 1889 года допустила злобные антисемитские выпады против А. Г. Рубинштейна. Газета писала, что, чествуя Рубинштейна, устроители юбилея «бросают дерзкий вызов народному чувству» русских. Весьма осторожно поддерживал эту кампанию Суворин, писавший в своей газете «Новое время» (1889, № 4929, 17 ноября) по поводу юбилея Рубинштейна, что «немецкий и еврейский элемент тут играют роль каких-то отчаянных противников русского направления в музыке».

...Серов, к тому времени уже добившийся успеха своей «Юдифью». — Опера А. Н. Серова «Юдифь» была поставлена в 1863 году.

Стр. 462. *...всесильная тогда фамилия Адлербергов...* — Отец и сын Адлерберги — Владимир Федорович и Александр Владимирович пользовались огромным влиянием при дворе. В. Ф. Адлерберг был в течение 20 лет (с 1852 по 1872 год) министром императорского двора; с 1872 по 1882 этот пост занимал его сын — А. В. Адлерберг.

Стр. 465. *...как делают нынче новейшие композиторы, например, автор оперы «Louise»...* — Композитор Г. Шарпантье, автор «Луизы», написал и либретто этого произведения.

Печатается по журналу «Русская мысль», 1907, № 11, где было опубликовано впервые.

Стр. 470. *Как ни печальна наша действительность и в настоящий момент...* — Статья писалась в 1907 году, в период реакции после поражения первой русской революции.

...сокращенное собрание его сочинений ⟨...⟩ *прошло через целый ряд мытарств.* — Первая попытка издать в России собрание сочинений А. И. Герцена была предпринята в 1905 году душеприказчиками издателя Ф. Ф. Павленкова. Для осуществления этого семитомного, урезанного цензурой издания потребовалось специальное разрешение Николая II.

Стр. 471. *Запрет, какой лежал над именем Герцена вплоть до последних годов прошлого столетия...* — После отъезда А. И. Герцена за границу в 1847 году и отказа в 1850 году вернуться в николаевскую Россию, он был объявлен государственным преступником, и имя его некоторое время даже было запрещено упоминать в печати. Царский суд заочно приговорил Герцена к лишению всех прав состояния и признал его «вечным изгнанником из пределов Российского государства» (А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. VI, Пг. 1917, стр. 147).

...один из моих коллег по академии впервые выступил с характеристикой Герцена... — П. Д. Боборыкин имеет в виду выступление А. Н. Веселовского в Академии наук с докладом «Герцен-писатель» (впервые опубликованным в журнале «Вестник Европы», 1908, № 3, 4). В переработанном виде издано отдельной книжкой (М. 1909).

...из русского подцензурного писателя Искандера превратился в А. И. Герцена. — Боборыкин подразумевает не простой переход от литературного псевдонима к собственной фамилии, а перемену, происшедшую в деятельности Герцена, превратившегося в политического бойца, открыто выступающего против царизма.

А. И. родился в 1812 году, в Москве. — Все, что здесь и далее говорится о «детстве, отрочестве и юности» А. И. Герцена, более полно рассказано им самим в «Былом и думах» (см. части I, II, III, IV).

Стр. 473. *«Купелью паки бытия».* — См. прим. к стр. 412 I тома наст. изд.

Стр. 475. *...диссертацией на астрономическую тему...* — «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» (1833).

Стр. 478. *...протестовал против тех увлечений Белинского, какие сказались временно в его статьях вроде «Бородинская годовщи-*

на». — В статьях «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения» (1839) Белинский обосновывал свою ошибочную теорию «примирения с действительностью», вызвавшую резкое осуждение его друзей и, в первую очередь, Герцена. «...Отчаянный бой закипел между нами», — писал по этому поводу Герцен (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, М. 1956, стр. 22). Увлечение Белинского этой теорией продолжалось недолго. Уже 4 октября 1840 года он писал В. П. Боткину: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью...» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 11, М. 1956, стр. 556).

Стр. 480. *...его письма из Парижа, появившиеся в «Современнике»...* — Имеются в виду «Письма из Avenue Marigny», опубликованные в № 10 и 11 «Современника» за 1847 год. Впоследствии эти письма составили первый цикл книги «Письма из Франции и Италии».

...«июньские дни» ⟨...⟩ сделали Герцена непримиримым врагом политико-социальной фальши... — Боборыкин говорит о зверском подавлении июньского восстания парижского пролетариата в 1848 году, свидетелем которого был Герцен. Свои впечатления об этих днях Герцен изложил в книге «С того берега» (глава «После грозы»), вышедшей в 1850 году на немецком языке и изданной на русском языке под псевдонимом «Искандер» в Лондоне в 1855 году.

Стр. 481. *...особенно после тех обращений к иностранцам ⟨...⟩, в которых он ⟨...⟩ хотел дать правдивую и осмысленную картину того, как жил русский народ...* — Имеется в виду статья А. И. Герцена «Русский народ и социализм», написанная в форме открытого письма к французскому историку Ж. Мишле, а также его открытые письма к Ш. Риберойлю и В. Линтону.

Стр. 482. *...готовили переворот второго декабря...* — См. прим. к стр. 423 I тома наст. изд.

Стр. 483. *...это обвинение стали выставлять против него не только иностранцы...* — В «славянофильстве» обвиняли Герцена как либералы-западники Тургенев и Кавелин, так и революционный демократ Чернышевский. Ошибочность и утопичность взглядов А. И. Герцена на русскую сельскую общину, которую он называл «живительным принципом русского народа», отметил К. Маркс в письме 1877 года в редакцию «Отечественных записок» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 1, т. XV, М. 1933, стр. 375). В. И. Ленин писал, что в народнических взглядах Герцена «нет *ни грана* социализма. Это — такая же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее *революционность* буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы «социализма 48-го года» на Западе» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 11).

...вступил с ним в продолжительную полемику и его когда-то близкий приятель Тургенев... — Речь идет о цикле писем А. И. Герцена «Концы и начала», печатавшихся в «Колоколе» в 1862 году в листах 138, 140, 142, 144, 145, 148, 149, и в 1863 году в листах 154, 156. В этих письмах нашел свое отражение спор Герцена с Тургеневым о путях развития России и Запада. О разрыве Герцена с Тургеневым см. прим. к стр. 362 I тома наст. изд.

Стр. 483—484. *...та брошюра 〈...〉 появилась по-немецки и по-французски 〈...〉. Это — «Развитие революционных идей в России».* — Книга была написана А. И. Герценом в 1850 году, впервые опубликована в 1851 году по-немецки; в том же году вышло французское издание. На русском языке книга впервые издана в 1861 году в Москве, нелегально, литографским способом, под названием «Историческое развитие рев. идей в России. А. Герцена. Издание первое в переводе. Посвящается студентам Московского университета». Выпущена книга была московским студенческим кружком П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиропуло.

Стр. 485. *Тон, взятый Герценом в таких исторических документах, как 〈...〉 «Письмо к Александру II», был в высшей степени симпатичный и подходящий к моменту.* — Такая оценка объясняется либеральными взглядами П. Д. Боборыкина. Общеизвестно отрицательное отношение к этим письмам революционных демократов. Эти письма характеризовал как «либеральную апелляцию к «верхам» В. И. Ленин, отмечавший, что «бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю... нельзя теперь читать без отвращения» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 12).

Таким образом, ясно, что Боборыкин возвел в достоинства Герцена его слабости, выражавшиеся в некоторых отступлениях «от демократизма к либерализму» (В. И. Ленин, там же).

Этот роковой инцидент был польское восстание. — В. И. Ленин писал: «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 13).

...с героическими личностями эмиграции 30-х годов. — Имеются в виду Алоизий Бернацкий и Станислав Ворцель, о дружеских отношениях с которыми рассказывает Герцен в шестой части «Былого и дум» (глава «Польские выходцы»).

Стр. 486. *...если он сознал свою ошибку, то только в формальном смысле.* — Герцен ни формально, ни по существу не мог при-

знать ошибку, которой не совершал. Он писал Тургеневу 10 марта 1864 года: «Придет время — не «отцы», так «дети» оценят тех трезвых, тех честных русских, которые одни протестовали — и будут протествовать — против гнусного умиротворения (то есть подавления польского восстания 1863 года. — *Э. В.* и *Л. Р.*). Наше дело, может, кончено. Но память того, что не вся Россия стояла в разношерстном стаде Каткова, — останется... Мы спасли честь имени русского — и за это пострадали от рабского большинства» (А. И. Герцен, Сочинения в 9-ти томах, т. 9, Гослитиздат, М. 1958, стр. 500).

Требования автономии вошли в программы не революционеров только, а и сторонников соглашения между монархическим принципом и конституционными гарантиями. — Боборыкин имеет в виду программу «Конституционно-демократической партии» (кадеты) — партии русской либеральной буржуазии, организованной в 1905 году. В национальном вопросе программа этой партии предусматривала за Финляндией и Польшей право на культурное самоопределение и автономию в пределах империи.

Стр. 487. *...повредила пропаганда идей Огарева и Бакунина...* — Это утверждение ошибочно. Причины падения влияния «Колокола» были скрыты вовсе не в пропаганде идей Огарева и Бакунина. Огарев и Герцен были единомышленниками и лишь иногда придерживались разных мнений по тактическим моментам. С Бакуниным же Герцен по ряду вопросов расходился во взглядах (например, по вопросу о славянской федерации, о польском восстании 1863 года и др.). Причины падения влияния «Колокола» состояли в том, что после подавления крестьянских и студенческих волнений 1861 года в России и разгрома польского восстания 1863 года часть демократической интеллигенции и либеральные круги были напуганы и подавлены репрессиями; с другой стороны — молодая революционная эмиграция стала предъявлять новые требования к «Колоколу», который все меньше и меньше удовлетворял ее, особенно отсутствием теоретических материалов, руководства к действию — того, что в период революционной ситуации молодежь находила в работах Чернышевского.

...«Колокол» в другом виде, на французском языке... — См. прим. к стр. 412 I тома наст. изд.

...тот том, который появился вскоре после его смерти... — Речь идет о «Сборнике посмертных статей Ал. Ив. Герцена», подготовленном к печати и изданном семьей покойного в Женеве в 1870 году.

Стр. 488. *...брошюра Серно-Соловьевича...* — Речь идет о брошюре А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (1867), в которой он резко критиковал Герцена. Эта брошюра отражала расхождения

между Герценом и так называемой «молодой эмиграцией» (см. подробно в прим. к стр. 411 I тома наст. изд.).

...история так называемого «русского фонда»... — В августе 1857 года Герцена посетил в Лондоне русский помещик П. А. Бахметев, собиравшийся, по его словам, уехать на Маркизовы острова. Он передал Герцену 20 тысяч франков «для русской пропаганды», в чем ему Герценом и Огаревым была дана расписка (см. А. И. Герцен, «Былое и думы», часть седьмая, глава III («Молодая эмиграция»). В Лондоне Бахметев больше не появлялся, и дальнейшая судьба его до сего времени неизвестна. До 1869 года фонд Бахметева оставался нетронутым. В июле 1869 года Герцен, по требованию Огарева, находившегося под влиянием М. А. Бакунина и С. Г. Нечаева, отдал ему половину фонда (чек на 10 тыс. франков, по свидетельству Н. А. Тучковой-Огаревой — см. ее «Воспоминания», Гослитиздат, М. 1959, стр. 243—244, — был вручен Нечаеву). После смерти А. И. Герцена его сын А. А. Герцен передал вторые десять тысяч франков Бакунину и Огареву. Деньги эти были растрачены без всякой пользы для русского революционного движения, как этого справедливо опасался Герцен.

Стр. 490. *...стал менее мрачно смотреть на европейскую реакцию...* — Свидетельство П. Д. Боборыкина о сдвигах во взглядах А. И. Герцена на судьбы Запада, происшедших к концу его жизни, заслуживает серьезного внимания. О том же говорят и некоторые письма Герцена того периода. Например, в письме М. Мейзенбуг от 20—25 ноября 1866 года есть такие строки: «А вокруг буря, все растущая буря, — вот это утешает. Мы кое-что еще снова увидим...» В письме к Н. П. Огареву от 21 октября 1869 года из Парижа говорится: «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане... Эта страница парижской жизни стоит томов...» — и в письме к нему же от 14 января 1870 года, за год с небольшим до Коммуны: «Что будет, не знаю, я — не пророк, но что история совершает свой *акт* здесь... это ясно до очевидности...» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. Лемке, т. XIX, М. — Пг. 1922, стр. 103; т. XXI, М. — Пг. 1923, стр. 505, 553).

...в теплой блестящей статье, посвященной Латинскому кварталу... — По-видимому, имеется в виду глава «La Belle France» из VIII части «Былого и дум».

...признает Маркса великим инициатором в борьбе пролетариев с капиталистическим строем... — Такое письмо к Огареву неизвестно.

...в письме к Бакунину... — Боборыкин приводит цитату из «Писем к старому товарищу» (Письмо второе).

Стр. 491. *На втором съезде этого союза...* — См. прим. к стр. 20.

...в «Голос» подробные отчеты о заседаниях... — См. прим. к стр. 20.

Здоровье старшей дочери А. И. поправилось; меньшая была уже невеста профессора истории Моно... — Речь идет о старших дочерях А. И. Герцена — Наталии Александровне и Ольге Александровне (в замужестве — Моно-Герцен).

...Лиза ⟨...⟩ кончившая свою жизнь самоубийством... — См. прим. к стр. 92.

...по поводу убийства одного молодого радикала... — Речь идет об убийстве В. Нуара (см. прим. к стр. 93).

Стр. 493. *...почему-то не захотел дождаться того дня, когда должен был произойти кризис, что ему не помешало в это самое время присутствовать на казни знаменитого злодея Тропмана...* — По свидетельству Н. А. Тучковой-Огаревой («Воспоминания», Гослитиздат, М. 1959, стр. 248, 290—291), Тургенев посетил Герцена во время его предсмертной болезни, а потом «исчез на несколько дней», ходил «смотреть казнь Тропмана, которую и описал вскоре в «Вестнике Европы», издание 1870 года». Несмотря на просьбы Тучковой-Огаревой задержаться в Париже, Тургенев 19 января уехал в Баден-Баден. В записке, посланной в этот день, Тургенев сообщал Тучковой-Огаревой, что получил телеграмму, вследствие которой «должен уехать в Баде́н», и поэтому не может «дождаться перемены в болезни Герцена» («Литературное наследство», т. 63, М. 1956, стр. 539). В письме из Баден-Бадена от 22 января Тургенев, сообщая П. В. Анненкову о смерти Герцена, признавался: «...Уезжая, я уже знал, что он безнадежен» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12, Гослитиздат, М. 1958, стр. 245).

«Последняя депеша». — См. прим. к стр. 94.

Из московских друзей ⟨...⟩ он разошелся и с Кетчером и с Евг. Коршем... — См. прим. к стр. 249 I тома наст. изд.

...эта переписка повела ⟨...⟩ с Тургеневым к временному разрыву... — См. прим. к стр. 405.

Стр. 494. *...вышедшие первоначально отдельной книжкой в Женеве после его смерти...* — См. прим. к стр. 435.

Стр. 495. *В этюде, написанном сторонником социально-демократической доктрины...* — Боборыкин приводит цитату из статьи Вл. Ивановского «Герцен как социалист», помещенной в № 2-а журнала «Образование» за 1907 год (стр. 116).

...воздвигнет памятник Герцену, всенародный памятник в сердце России, в Москве... — После Великой Октябрьской социалистической революции, в 1922 году перед зданием Московского университета были воздвигнуты памятники А. И. Герцену и Н. П. Огареву.

Печатается по изданию «Международный толстовский альманах», М. 1912, где было опубликовано впервые.

Стр. 497. *...короткое письмо, сколько помнится, с извинением...* — Письмо это не обнаружено. Известно, однако, другое, не отправленное Л. Н. Толстым письмо к Боборыкину. Оно написано в июле — августе 1865 года в ответ на двукратное обращение Боборыкина к Толстому с просьбой о сотрудничестве в «Библиотеке для чтения». Толстой пишет, что, прочитав романы «В путь-дорогу» и «Земские силы», — «полюбил сильно ваш талант», подчеркивает «тонкий вкус» Боборыкина, «который чувствуется во всем», и дает ему ряд советов, которые, по его словам, «может быть, насколько-нибудь подействуют и очистят от вредных напущенных на ваш талант петербургско-литературных наплывов» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, Гослитиздат, М. 1953, стр. 99—100).

...для своего деревенского журнала. — Имеется в виду педагогический журнал «Ясная Поляна», издававшийся Л. Н. Толстым в 1862 году.

Стр. 498. *...все в том же доме, или сначала в наемном...* — 15 сентября 1881 года Л. Н. Толстой переехал в Москву, где снял квартиру в доме кн. Волконского в Денежном переулке (теперь дом № 3 по Малому Левшинскому переулку). Весной 1882 года он приобрел дом с садом в Долго-Хамовническом переулке (ныне «Музей-усадьба Л. Н. Толстого», ул. Льва Толстого, № 21), куда переехал с семьей осенью 1882 года. Судя по описанию, Боборыкин посещал Л. Н. Толстого не в наемной квартире в Денежном переулке, а в доме по Долго-Хамовническому переулку.

...меня довольно-таки удивило, что тогдашний Фет-Шеншин оказался близким приятелем Льва Николаевича. — В 70-е годы Толстого с Фетом связывала близкая дружба. «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете», — писал Толстой Фету (А. Фет, Мои воспоминания, ч. II, М. 1890, стр. 121). Впоследствии Толстой, переживший кардинальный духовный перелом, разошелся с Фетом — приверженцем «чистого искусства», исключившим из сферы своих творческих интересов все социальные вопросы.

Стр. 498—499. *Это могло быть в период интимного знакомства с Сютаевым...* — В. К. Сютаев — крестьянин Тверской губернии, сектант, имевший большое влияние на Толстого. Знакомство их относится к 80-м годам.

Стр. 499. *...о спиритизме, и Л. Н., кажется, тогда интересовался им.* — Впоследствии Толстой в пьесе «Плоды просвещения» (1890)

высмеял увлечение дворянской аристократии модным в то время спиритизмом. О спиритизме («столоверчении») см. прим. к стр. 106 I тома наст. изд.

Стр. 501. *...о его знакомстве с Прудоном, который жил в Брюсселе...* — Толстой лично познакомился с Прудоном в Брюсселе в 1860 году.

Стр. 502. *...его обширной корреспонденции* ⟨...⟩*, которую я в те годы обрабатывал в «Вестнике Европы»...* — Имеется в виду работа «Пьер-Жозеф Прудон», напечатанная в № 3, 5, 7—12 «Вестника Европы» за 1875 год.

Стр. 505. *От лиц, близких Л. Н., я слыхал, что его отношение ко мне* ⟨...⟩ *оставалось сочувственным и для меня лестным во всех смыслах.* — В числе этих лиц был, несомненно, литератор П. А. Сергеенко, в записях которого мы находим сведения о беседах его с Толстым о Боборыкине и о благожелательном отношении к последнему Льва Николаевича (см. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 193—199). Характерно, что когда в начале 1904 года распространилось ложное известие о смерти П. Д. Боборыкина, Л. Н. Толстой писал В. В. Стасову 19 февраля 1904 года: «Как сухие листья осенью, сыпятся мои друзья-сверстники: Боборыкин, Чичерин...» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906», Л. 1929, стр. 337).

Стр. 506. *...вместо шести имен, написал только одно — мое...* — В январе 1900 года Л. Н. Толстой был избран почетным академиком и получил от вице-президента Академии наук М. И. Сухомлинова письмо с просьбой предложить своих кандидатов в академики «числом не более шести». В своем ответе от 2 мая 1900 года Толстой сообщал: «Писатель, которого я предложил бы к избранию в почетные члены, это художник и критик *П. Д. Боборыкин.* Если это можно, то я повторяю это предложение 6 раз» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 72, Гослитиздат, М. — Л. 1933, стр. 350). Боборыкин был избран в почетные члены Академии наук 1 декабря 1900 года.

ОТ ГЕРЦЕНА ДО ТОЛСТОГО

(Памятка за полвека)

Печатается по издававшемуся в Париже журналу «Грядущая Россия», 1920, № 1, где было опубликовано впервые. Публиковалось Б. П. Козьминым в книге «П. Д. Боборыкин. За полвека», М. — Л. 1929.

Стр. 507. *...он умер официально отлученным от государственно-полицейской православной церкви.* — В феврале 1901 года Синод «отлучил» Л. Н. Толстого от церкви.

Стр. 508. *В. И. Жуковский* — очевидно, имеется в виду Н. И. Жуковский; Владимиром звали его брата, которого Боборыкин ниже называет Григорием.

Стр. 509. *...осенью 1869 года, он по внешности был почти таким, каким является на портрете работы художника Ге...* — Этот портрет был написан в феврале — марте 1867 года во Флоренции.

Стр. 510. *...во втором (еще не изданном) томе моего труда о романе в XIX столетии...* — См. прим. к стр. 317 I тома наст. изд.

Стр. 511. *...неприязненные нападки от молодых русских...* — Об отношениях Герцена с так называемой «молодой эмиграцией» или «женевскими эмигрантами» см. прим. к стр. 487 наст. тома и к стр. 411 I тома наст. изд.

...после выстрела Каракозова. — См. прим. к стр. 397 I тома наст. изд.

Они не понравились друг другу и не могли понравиться. — См. прим. к стр. 276 I тома наст. изд.

Чернышевский приехал с претензией поучать Герцена... — По вопросу о содержании переговоров Чернышевского с Герценом в Лондоне в июне 1859 года в литературе нет полной ясности. Известно, что речь шла о выступлении Герцена против «Современника» в статье «Very dangerous!» (1859), ошибочность которой Герцен потом сам признал. В литературе существуют разные точки зрения на истинные цели поездки Чернышевского к Герцену. Об этом см. Б. П. Козьмин, «Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 году и его переговоры с А. И. Герценом», «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1953, т. XII, вып. 2; Б. П. Козьмин, «К вопросу о целях и результатах поездки Н. Г. Чернышевского к А. И. Герцену в 1859 году», «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1955, т. XIV, вып. 2; М. В. Нечкина, «Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революционной ситуации (1859—1861)», «Известия Академии наук СССР», Отделение языка и литературы, 1954, т. XIII, вып. I.

Стр. 511—512. *...мне ⟨...⟩ привелось говорить о тех полемических походах, какие Чернышевский вел тогда...* — См. прим. к стр. 275 I тома наст. изд.

Я слышал его ⟨...⟩ беседу ⟨...⟩ памяти Добролюбова... — См. стр. 275—276 I тома наст. изд. и прим. к ним.

Чернышевский и Герцен — это были продукты двух эпох... — См. прим. к стр. 276 I тома наст. изд.

Стр. 513. *...первый из русских владельцев крепостных крестьян, отпустивший на волю целое село...* — См. прим. к стр. 243 I тома наст. изд.

...в разлуке со своим дорогим «Сашей»... — Здесь, так же как и ниже, где Боборыкин приписывает Герцену обращение к Огареву, как к «Коле», чувствуется, несомненно, неверная нота. Известно, что Герцен и Огарев, как правило, называли друг друга по фамилии, как это было принято в их кругу. В ранней молодости Герцен называл Огарева «Ником» (как звали мальчика в семье), Огарев Герцена — Александром.

...что, вероятно бы, заставило и приятелей разойтись. Вторая жена Огарева стала подругой Герцена. — Боборыкин ошибается: оснований для этого не было, так как разрыв между Огаревым и Н. А. Тучковой-Огаревой произошел до сближения последней с Герценом. Огарев не «боролся» за Н. А. К этому времени относится его знакомство и близость с Мери Сетерленд. По этому поводу имеются свидетельства самого Огарева. В начале 1861 года Огарев писал Герцену: «Мысль, что я невзначай внес в твою жизнь страсти и страдания, без которых ты был бы светлее, меня преследует. Почему я не уехал с ней? ... да не из равнодушия ли я допустил все? не имел ли я темного чувства жажды личной свободы?» И далее: «Но внезапная любовь или быстрый переход в любовь к Мери не доказывает ли, что во мне была тогда потребность иной любви?» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XI, Пг. 1919, стр. 36).

«Последняя депеша». — См. прим. к стр. 94.

Стр. 514. *...послужила мне моделью в романе «Дельцы».* — См. прим. к стр. 92.

...после ее самоубийства... — См. прим. к стр. 92.

Стр. 515. *...бежал оттуда через Японию в Лондон...* — См. прим. к стр. 16.

Если популярность Герцена покачнулась в России ⟨...⟩ главным виновником надо было считать все того же Бакунина. — См. прим. к стр. 487.

...конгрессы «Мира и свободы». — См. стр. 8 наст. тома и прим. к стр. 511 I тома наст. изд.

Стр. 516. *Об этих встречах мне приходилось уже говорить...* — в главе IX книги «За полвека».

Создатель европейского анархического Интернационала... — Имеется в виду легальный анархический «Международный Альянс социалистической демократии», созданный Бакуниным в 1868 году. После роспуска «Альянса» продолжало существовать тайное анархическое «братство», которое вело борьбу против Генерального Совета Интернационала, возглавлявшегося Карлом Марксом.

Стр. 517. *...Маркс заподозрил его в роли агента русского правительства...* — Клевета о шпионской роли Бакунина распространялась

в целях дискредитации последнего русским послом в Париже Киселевым.

...да и к Герцену Маркс относился не многим лучше. — Несомненно, что на отношение Маркса к Герцену оказывала влияние близость Герцена с Бакуниным. «Вся вражда моя с марксидами из-за Бакунина»,— писал Герцен 29 сентября 1869 года Огареву (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. Лемке, т. XXI, М. — Пг. 1923, стр. 490). Однако основным, что определяло взаимоотношения Маркса и Герцена, было различие их взглядов на движущие силы революции. На протяжении целого ряда лет Герцен не понимал всемирно-исторической роли рабочего класса. Лишь к концу жизни Герцен стал освобождаться от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма. Это, по словам В. И. Ленина, послужило началом перехода Герцена «к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство: «Письма к старому товарищу», Бакунину, написанные за год до смерти Герцена, в 1869 году... разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс...» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 11). Маркс внимательно следил за деятельностью Герцена, за его «Колоколом». Во время польского восстания 1863 года Маркс писал Энгельсу: «...Теперь Герцену и К^{0} представляется случай доказать свою революционную честность...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 1, т. XXIII, М. 1932, стр. 134). Известно, как Ленин отозвался о деятельности Герцена в этот период — он, по словам Ленина, «спас честь русской демократии» (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, т. 18, М. 1948, стр. 13).

Стр. 520. *...«от проходящего до проводящего».* — Намек на следующую фразу из Манифеста, текст которого был составлен московским митрополитом Филаретом: «...всех наших верноподданных всякого звания и состояния... от проходящего высшую службу государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом».

Стр. 521. *Я не помню, чтобы его процесс и приговор волновали всех.* — Процесс и гражданская казнь Михайлова вызвали гораздо более широкий отклик передовой общественности, чем утверждает Боборыкин. Большая группа петербургских литераторов даже обратилась к министру народного просвещения с коллективным ходатайством за М. Л. Михайлова. В Москву выезжал для организации такой же петиции Чернышевский, но эта попытка не увенчалась успехом (см. Е. М. Феоктистов, Воспоминания. За кулисами политики и литературы, Л. 1929, стр. 99—100).

...Михайлову труднее было отрицать, что он составитель прокламации. — См. прим. к стр. 235 I тома наст. изд.

...по экспертизе почерка его письма к поэту Плещееву... — См. прим. к стр. 397 I тома наст. изд.

Стр. 522. *...Толстого ⟨...⟩ называл именем юродивого — Ивана Яковлевича Корейши!* — Речь идет об И. Я. Корейше — «прорицателе», пользовавшемся известной популярностью у верующих, а впоследствии посаженном на цепь в больнице для умалишенных в Москве. О нем см. «Из моих памятных записок о жизни и деятельности И. Я. К.» (1868).

Стр. 525. *...он издавал журналы...* — П. Л. Лавров издавал сборники «Вперед». Первый вышел в 1873 году в Цюрихе, в 1874—1877 годах издание осуществлялось в Лондоне; всего вышло 5 сборников. В 1875—1876 годах под редакцией Лаврова выходила двухнедельная газета «Вперед». В 1883—1886 годах он вместе с Л. Тихомировым редактировал официальный заграничный орган народовольцев «Вестник Народной воли».

Стр. 526. *...попал в эмиграцию из-за горячего сочувствия польскому восстанию.* — Неверно. Н. И. Жуковский эмигрировал из России в июне 1862 года (за год до польского восстания), так как был привлечен по делу Баллода об устройстве в Петербурге подпольной типографии.

Стр. 527. *«Перевал».* — Роман печатался в № 1—6 «Вестника Европы» за 1894 год.

Стр. 529. *...Н. Утин считался тогда как бы главным адъютантом Бакунина.* — Неверно. В 1869—1870 годах Н. Утин вместе с М. Бакуниным входил в редакцию журнала «Народное дело», но разошелся с Бакуниным и выступил против него на стороне Маркса. Н. Утин был членом I Интернационала, секретарем его русской секции в Женеве.

Стр. 530—531. *...после ⟨...⟩ каракозовского выстрела.* — См. прим. к стр. 397 I тома наст. изд.

...нигилист ⟨...⟩ носящий у меня в романе фамилию Ломова. — Имеется в виду Сомов (см. о нем стр. 50 и прим. к ней).

Стр. 532. *...был судим по какому-то политическому процессу...* — См. прим. к стр. 362 I тома наст. изд.

Стр. 533. *...в особой брошюре, вышедшей вскоре после его кончины.* — См. прим. к стр. 361 I тома наст. изд.

...тот русский революционер, который убил генерала Мезенцева... — С. М. Кравчинский, убивший 4 августа 1878 года шефа жандармов Мезенцева (см. о Кравчинском также стр. 316—317 и прим. к ним),

...своими романами из жизни наших бунтарей и заговорщиков. — Имеются в виду произведения С. М. Кравчинского (Степняка) — «Андрей Кожухов» (1889), «Домик на Волге» (1889) и очерки «Подпольная Россия» (1881).

Стр. 537. *...в воспоминаниях* ⟨...⟩ *«Жизнерадостный Максим».* — Эти воспоминания об М. М. Ковалевском в печати не появлялись.

Стр. 539. *...он был отлучен синодом от церкви.* — См. прим. к стр. 507.

«Толстой как вероучитель» — Эта статья напечатана в сборнике «На чужой стороне», т. XIII, Париж, 1925.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель включены все личные имена, названия произведений и изданий (кроме собраний сочинений), прямо или косвенно упомянутые в воспоминаниях П. Д. Боборыкина, во вступительной статье и примечаниях. Названия произведений даются под фамилией автора. Иностранные имена и названия, встречающиеся в книге только в иноязычном написании и не переведенные на русский язык, собраны отдельно, в конце указателя, и расположены в порядке латинского алфавита.

Аннотации даются применительно к периоду, охватываемому воспоминаниями. Имена и названия изданий, обширные сведения о которых можно найти в распространенных справочниках общего характера, как правило не аннотируются. Не аннотируются также имена и названия, встречающиеся только во вступительной статье и примечаниях. Эти имена и названия и номера страниц вступительной статьи и примечаний набраны курсивом.

Указатель составили Э. Виленская и Л. Ройтберг.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Дмитриевич Боборыкин

ВОСПОМИНАНИЯ
ТОМ 2

Редактор В. Панов

Художественный редактор С. Данилов

Технический редактор М. Позднякова

Корректоры А. Юрьева и Р. Пунга

*

Сдано в набор 30/XI 1960 г.
Подписано. в печать 28/I 1965 г.
Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ —.21 печ. л.=34,44 усл.
печ. л. 36,45 уч.-изд. л.+9 вклеек=36,9 л.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 1508.
Цена 1 р. 15 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.